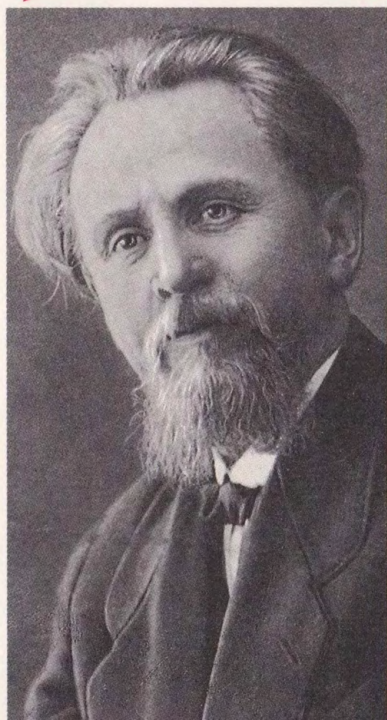


Ж. Д. Н. Б.



श्री १००
अथ श्री १००





Scan Kreyder - 27.06.2018 - STERLITAMAK





СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ



МОСКВА «ТЕРРА» — «TERRA» 1995



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ • ТОМ ПЯТЫЙ

**ЦЕСАРЕВИЧ КОНСТАНТИН
(В СТЕНАХ ВАРШАВЫ)**

Роман-хроника



МОСКВА «ТЕРРА» — «TERRA» 1995

ББК 84 Р1
Ж42

Составитель Т. ПРОКОПОВ

Художник Л. ЧЕРНЫШОВ

- Жданов Л.
Ж42 Собрание сочинений: В 6 т. Т. 5 / Сост. Т. Прокопов. — М.: ТЕРРА, 1995. — 624 с. — (Библиотека исторической прозы).
ISBN 5-300-00060-4 (т. 5)
ISBN 5-85255-651-3

Среди исторических романистов начала XX века не было имени популярней, чем Лев Жданов (1864—1951). Большинство его книг посвящено малоизвестным страницам истории России. В шеститомное собрание сочинений писателя вошли его лучшие исторические романы-хроники и повести. Почти все не издавались более восьмидесяти лет.

В пятый том вошел роман-хроника «Цесаревич Константин (В стенах Варшавы)».

Ж 4702010100-097 Подписное
А30(03)-95

ББК 84Р1

ISBN 5-300-00060-4 (т. 5)
ISBN 5-85255-651-3

©Издательский центр «ТЕРРА», 1995

ЦЕСАРЕВИЧ КОНСТАНТИН

(В СТЕНАХ ВАРШАВЫ)

РОМАН-ХРОНИКА



(1814-1831гг.)



ОТ АВТОРА

По общему признанию людей, более или менее знакомых с историей Польши, семнадцать лет пробежавших от Венского конгресса 1814 года до «дней листопада» в Варшаве, это время является одной из самых ярких, красочных полос в жизни польского народа за весь темный и долгий период предсмертных его трепетаний, когда начался ряд «разделов» могучей некогда Речи Посполитой.

Полоса эта имела значение не только для самой Польши, но и для целой Европы и, особенно, для ее сильной соседки и родной по крови России.

Именно в Польше в это время, в одной из первых после Франции, среди хаоса и толчеи полусредневековых и феодальных взаимоотношений стали пробиваться течения новой общественной жизни. Новая конституция Царства Польского, которая, по личному признанию творца ее Александра I, должна была служить прототипом «общеевропейского законносвободного» преобразования, эта конституция нашла верхи польского народа вполне подготовленными к принятию ее...

Но судьба ли, случай ли, влияние ли отдельных мощных лиц или рознь, еще существовавшая между массой народа, холопами и правящими классами, что бы там ни было — только явилось нечто всевластное над ходом событий и обратило ликующий гимн польской свободы в печальную, погребальную песнь!..

Русское общество, в лице его наиболее чутких, лучших людей, с живым сожалением и сочувствием смотрело на драму, разыгранную на берегах Вислы.

Но в России тогда не только не было призрака «законносвободных» учреждений, а царил невыносимый

гнет аракчеевщины, была «николаевская» пора, сменявшаяся потом водоворотом собственных, трагических порою переживаний. И потому немудрено, что русских «источников» о затронутой нами поре мало, даже почти нет.

Е.П.Карнович в своей монографии «Цесаревич Константин» слегка и во многих случаях даже ошибочно коснулся этой поры, особенно «дней листопада».

Хорошее, беспристрастное, но далеко не полное исследование дал генерал Пузыревский... Шильдер в своей истории императоров Александра и Николая попутно и исключительно с общеимперской точки зрения касается затронутых событий, потом идет Соловьев.

Вот и все.

Но гораздо более странно, что и сами поляки, не только привислянские, на которых тоже влияли запреты, посылаемые из Петербурга в свое время, — даже и зарубежные, более свободные во всех отношениях польские писатели, историки мало разработали эту пору своей народной жизни, самую блестящую и многозначительную по ее близости к современным настроениям польского общества и всей остальной Европы, с Россией заодно переживающей именно пору увлечения конституционализмом.

А в Варшаве и во всей Польше 1830-1831 годов это увлечение развернулось так ярко, было подкреплено таким рядом тяжелых жертв и самоотвержения, что одно это стоило самого подробного описания и разбора, заслужило полного увековечения в памяти людей.

И что же мы видим на самом деле?

Пять — шесть имен, скорее случайных в историографии, хотя бы славянской, как бы невольно раздвигающих рамки «мемуаров, воспоминаний и дневников» до объема исторического труда... В первых рядах тут Мирославский, Бжозовский, Шуйский, новейший Авг. Соколовский, Мохнацкий, затем идут Баржиковский, Смитт, Солтык... Вот почти и все.

За ними следуют авторы разных безыскусственных мемуаров и воспоминаний, весьма ценных в качестве материалов: генерал Уминский, Бонавентура, Немоевский, К.Малаховский, Свитковский, генерал Дембинский, Колачковский, князь Адам Чарторыйский,

Опочинин, Колзаков и некоторые другие. В беллетристике мелькнула повесть «Княгиня Ловицкая».

И этим заканчивается список.

А между тем и для польской публики, и для всех интересующихся историей было бы небесполезно заглянуть именно за этот период времени, туда, в лабораторию народной жизни, где люди и события переплетаются в тесном слиянии, влияя друг на друга могучим, роковым образом.

В настоящем романе-хронике я делаю попытку, первую и тем более трудную, отразить в ряде картин всю помянутую эпоху.

По примеру моих прежних работ читатель не найдет здесь общей придуманной интриги, красной нитью пробегающей по страницам книги, не встретит интересных, фантастических приключений, о которых может быть даже слушал от стариков, когда они касались Польши 1825-1831 годов.

Скажу словами Великой Екатерины: «Изобретать легко, делать открытия трудно...» Но меня манит именно эта трудная дорога. Если, описывая истинные, весьма занимательные и яркие сами по себе события, если, воссоздавая былую действительность, я успею вскрыть внутренний смысл событий и явлений, мне это послужит полным удовлетворением за упорную, кропотливую работу многих дней. Да, полагаю, и читатель больше будет доволен этим, чем игрой самого необузданного, даже гениального вымысла мнимоисторических романов школы Дюма и его последователей...

Задача моя особенно трудна уже потому, что слишком мало источников имеется для решения ее в ту либо в иную сторону. Заранее буду благодарен, если лица, знакомые с эпохой, укажут мне на промахи вольные и невольные в этом труде. Но «подводить итогов» я и не берусь.

Только такие мировые произведения, как «Война и мир», могут бросать в человечество известные тезисы, отстаивать их своим существованием и решать загадки человеческого духа так либо иначе.

Меня захватила яркая пора жизни целого народа, почти сто лет тому назад там, на берегах Вислы, пережившего многое из того, что нам стало близко и понятно только за последние годы...

Если я сумею передать читателю хотя бы в легкой степени свой интерес и захват, не прибегая ни к каким преувеличениям, всегда оставаясь в рамках исторической правды, это меня вознаградит за все, и я заранее готов встретить многие укоры и строгий разбор, которому неизбежно подвергнется настоящая хроника, — первая попытка в русской исторической литературе дать отражение смуты польской, пережитой три четверти века тому назад.

Л.Ж.

Часть первая

НЕКОРОНОВАННЫЙ КРУЛЬ

(1814—1820 гг.)

Глава I

«КОНГРЕССУВКА»

Какая смесь одежд и лиц,
Племен, наречий, состояний...

А. Пушкин

Варшава в начале минувшего столетия была одним из самых шумных и веселых городов Европы.

Если Польша издавна слыла «сарматской Францией», то Варшава по праву могла назваться Парижем Севера. Ее обыватели, не только варшавянки, но и варшавяне, — особенно из сословий более зажиточных, — в области мод, в отношении идей, обычаев и даже пороков старались подражать «столице света», шумному легкомысленному и блестящему Парижу, доходя до преувеличения порой.

Конечно, такое подражание было вызвано не одними внешними причинами.

По духу, по народному укладу своему сарматы, «Галлы севера», были и остались навсегда очень сродни с порывистыми, живыми, склонными к увлечению французами.

Но это сходство особенно сильно проявилось в пору «великого Корсиканца», в годы Наполеоновской эпопеи, когда холодный, расчетливый и в то же время полный скрытых сил и огня Корсиканец на плечах галльских неустрашимых когорт поднялся над целым полумиром, провозглашенный как император и вождь.

Он разбудил в груди у французов, у целого народа вечно дремлющее там под пеплом стремление к победам, к боевой славе. И морями пролитой крови, французской и чужой, не столько прославил нацию, сколько выказал свой гений, свое бессердечие, острями миллиона штыков начертав свое имя в памяти народов и веков на долгие времена.

Судить этого нового Тамерлана могли, посмели только после его падения; а пока он владел полумиром, остальная половина ненавидела, удивлялась и — подражала ему, безвольная, зачарованная.

Один только внук лукавой и гибкой правительницы Великой Екатерины, гибкий умом, с душою еще более сложной и полной неразгаданных донныне противоречий, чем это было у Наполеона, — только Александр I мог разгадать: где, в чем кроется слабое, легко уязвимое место общего победителя, пройдохи и гения, в одно и то же время?

Император российский, прошедший школу хитрой бабушки и отца своего, безумного и загадочного Павла, сумел победить лукавого императора французов, из глуши Корсики достигнувшего мирового величия с помощью чужого народа.

Александр и путями дипломатических переговоров, и затем на полях сражений успел обойти и осилить человека, который так долго был решителем судеб всех монархов Европы. После долгой борьбы, после полувынужденного похода на Россию в 1812 г., законченного так ужасно для Наполеона, после побед и поражений, сменяющихся одни другими, — Наполеон пережил последние действия своей великой трагикомедии; прощание с гвардией в Фонтэнбло, временное пребывание на острове Эльбе, блестящий взлет, получивший название «Ста дней» и — темный, мучительный последний этап: заточение и смерть на затерянном среди океана скалистом островке Святой Елены.

При более подробном знакомстве с эпохой Наполеона и с историей польского народа в конце XVIII и в начале XIX столетия невольно бросается в глаза одно обстоятельство. Судьба Великого герцогства Варшавского, а позднее — Королевства Польского была тесно связана с судьбой тогдашней Франции и с Наполеоном в особенности. И, наоборот, последние события в деятельности Наполеона, даже его окончательное падение имело какую-то неуловимую, но ясно сознаваемую связь с судьбою польской нации не менее, чем с делами императора Александра I и России.

Произошло это, конечно, не случайно, как не по прихоти случая артиллерийский поручик, нищий чужеземец Наполеон Бонапарт выплыл на поверхности революционного водоворота, охватившего целый мир вместе с Францией, где этот гениальный искатель приключений стал сперва солдатом-республиканцем, дошел до высших чинов,

сумел стать диктатором во имя охранения общего спокойствия и блага страны. И, наконец, как истый потомок народа, создавшего державный Рим-Империю, — успел облечь себя в корону и мантию императора «Божией милостью» той же самой Франции, где еще так недавно под ножом гильотины скатилась голова французского короля, потомка Людовика Святого, представителя династии, несколько сот лет спокойно царящей в стране.

Бесспорно гениальный, с холодным, ясным умом хирурга-исследователя Наполеон, когда ему было нужно, умел казаться и добрым, и чувствительным; но на самом деле стоял выше таких «человеческих слабостей» и любил только себя, свое величие, был зачарован, гипнотизирован, — как бы сказали теперь, — сознанием своей умственной мощи, силы воли, своим стремлением стать выше всего остального человечества.

Ради этого он не только пользовался своими дарованиями, но и слабостями, пороками, низостью окружающих.

Конечно, если бы он действовал, как обыкновенный ловкий правитель, дипломат или интриган прежних времен, — успех был бы также обеспечен этому странному человеку. Но он был действительно одарен необычайно и даже люди, поработанные, обманутые, преданные им, должны были сознаться, что чувствуют его превосходство над собой.

Ослепив взволнованную Францию своими победами и твердо намеченными, ясно выраженными замыслами, Бонапарт дал новую жизнь стране, ведя целый народ к смерти в лице ее лучших сыновей, в лице трехсоттысячной армии.

После королевского режима народу жилось так плохо, что терять было нечего. Жизнь потеряла значение. А выиграть при удаче на полях сражений можно было так много и лично для себя, и для всей страны...

Вот почему чужой авантюрист так легко успел собрать сотни тысяч французов под знамена, обойти с ними полмира, завоевать четверть его... и стать кумиром современников.

Теперь, почти сто лет спустя, конечно, трудно понять: что делалось в дни Наполеона?

Тысячи важных и насущных забот, новые перевороты, новые интересы захватили мир.

А тогда сознание европейских народов едва стало пробуждаться. Стремление к новым формам жизни переживалось всеми. Но все это было смутно, неясно.

И Наполеон сослужил двойную службу двум самым противоположным лагерям человечества.

Уловив общее стремление к обновленной жизни, стремление к назревшему за много веков перевороту не в одной Франции, но и во всей старой Европе, Корсиканец по своему своей натуры пожелал и сумел обратить этот водоворот в движение, которое служило больше всего его личным выгодам, его собственной пользе и возвеличению.

Как Европа, как весь мир, а, в частности, — его новая родина Франция — постепенно шли долгими, тяжкими этапами к «новой жизни», так и Наполеон, самый яркий сын своего времени, отразил в себе последовательно все переходы человеческой мысли от раба-солдата до владыки-императора включительно...

От Аркольского моста до полей Бауцена разыгралась эта великая драма великой жизни. Здесь именно кончился путь Корсиканца...

Старый мир, старый порядок, особенно ярко выраженный австрийской династией и ее двором, все время играл в осторожную игру.

— Наполеон пройдет, а монархия Габсбургов останется! — так выразился однажды в откровенной беседе Меттерних.

И он знал, что говорил. Отдельные люди дают толчки движению исторических событий, но не творят «истории»...

Слишком много интересов было связано с сохранением старых устоев Европы. Хотя и нехотя — служили люди былым богам, даже видя их близкую гибель.

Каждый отстаивал себя. Удары разрушителя-Корсиканца заставили сплотиться монархов и монархистов всей Европы, подготовили почву для позднейшей реакции.

Не то было с Наполеоном.

Он был одинок, но силен, и велик был именно своим одиночеством...

Стремительный, неоглячивый, дерзкий против самой судьбы, он этим мог наводить ужас на противников и одерживал победы над осторожными, медлительными врагами, особенно — над австрийцами.

Но вот круг почти завершился...

После Аустерлица, Тильзита и Эрфурта Наполеона ждали Москва, Березина... враги в покоренном Париже и остров Эльба... Бурбоны — снова у власти, презираемые, нелюбимые, — но «свои, привычные».

Последний порыв: поход на Париж, бегство Людовика XVIII. Франция снова у ног любимого вождя. И новые битвы с переменным успехом, хотя силы союзников почти

вдвое превышают армию Наполеона. Но он один стоит ста тысяч солдат.

И вот баталия при Бауцене. Вторая удача после Люцена на протяжении нескольких дней.

Как дальше поступить?

Генерал, даже первый консул Бонапарт не задумался бы над этим:

— Вперед — и будь что будет!

Но император Франции, первый ее император Наполеон I, оставивший за собой наследного принца и несколько лет полной власти, забыл старые уроки, которые давал раньше сам целой Европе.

Он принял перемирие. Не кинулся на усталого, обескураженного врага, опасаясь численного превосходства сил. Он понадеялся на свою звезду, поверил, что одно имя его еще по-прежнему страшно для всех.

Назначено перемирие. Начались переговоры. А там — враги собрались с силами, особенно — русский император, этот высокий, полный, бледный человек с ясными, холодными глазами...

И все остальное — Дрезденская победа, Лейпцигская «битва народов», все битвы, до Ватерлоо включительно, наконец медленное угасание на скалистом островке — это были заключительные аккорды, блестящий эпилог эпопеи, законченной так загадочно — битвой под Бауценом.

Там первый раз Наполеон усомнился в своих силах; после победы — стал выжидать чего-то и дождался позора, плена, преждевременной смерти.

«Новый Атилла», как его звал Александр, — умер с кличкой «кровожадного авантюриста».

Но это все выяснилось потом.

А пока шла борьба, весь мир увлекался могучим, гениальным человеком, и Польша, народ ее — чуть ли не больше всех.

Да и могло ли быть иначе?

Прозорливый Корсиканец давно обратил внимание на Польшу и сумел весь польский народ наполнить мыслями о судьбе нового Цезаря, суля полякам воскресить их былую славу и блестящие годы Речи Посполитой.

Затеялось и началось это как-то само собой, даже без точного, строго обдуманного плана.

Конечно, чуткий умом, пророчески предусмотрительный завоеватель уже в самом начале своего пути видел ту грань, где придется остановить движение и сказать самому себе:

— Здесь предел!

Границы самого восточного государства Европы, рубеж необозримой, полупустынной Московии, этого колосса с видом дикаря, полунагого, бедного и мощного с коротким императорским плащом на могучих плечах, — вот где придется задержаться.

Наполеон знал и помнил уроки истории.

Как монголы, идя с Востока, разлились по необозримым равнинам России, успевшей спасти Запад Европы от гибельного потока Орды, так и теперь течение народов Запада, которое надумал всколыхнуть Наполеон, должно остановить свои волны у опушки русских пограничных дебрей, на берегах многоводных рек и бездонных болот.

Там еще все слишком дико, чтобы стоило овладеть страной, покорить ее себе. Народ московский, эти россияне и другие племена не поймут гения итальянца, озаренного светом галльской и франкской вольнолюбивости и ума.

Так пускай же там останется все, как было.

Худой мир — лучше доброй ссоры. Надо наметить хорошие границы — и все будет хорошо.

Это решение Наполеон стал приводить в исполнение всякими способами, до сватовства к великой русской княжне включительно.

Высочка-император упустил из виду одно, что дик в России был ее народ. Грубым и невежественным пребывало и правящее сословие. А двор Екатерины Великой выковал уже великолепное оружие для борьбы с хитрым завоевателем. Александр I совместил в себе всю феодальную гордость тысячелетних самодержавных владык с утонченной изворотливостью ума и души, присущей западным лукавым правителям. И к этому — еще сберег сильную, неустрашимую и полную таинственных идеалов, цельную славянскую душу.

Когда Наполеон, наметив необходимые границы, предложил Александру мирно условиться о них, русский император уже знал, что скажет ловкий Корсиканец.

А тот говорил:

— Сир, вы видите: сама судьба за меня! Вам Бог послал власть и царство чрез ваших предков. Меня же лично он одарил величием и властью на земле. Преклонимся перед волей Божией и поделим между собою весь образованный мир... Весь шар земной... Пока — поделим Европу. Мне — Запад, вам — Восток. Вот, глядите: между моими и вашими владениями лежит этот старый, спорный клубок:

Королевство Польское. Отбросим все старые права, забудем споры и тяжбы об этом «ничьем» наследстве. Оно лежит между нами, как повод к вечным столкновениям и войнам. Настоящий Гордиев узел. Так поступим по примеру великого Македонца: разрубим его пополам, вам и мне по половинке — и узел будет развязан навсегда. И должна исчезнуть самая память о беспокойном и волнующем всех соседей Королевстве Польском. Какой это народ? Столько раз держали они судьбу свою в своих руках и только хуже и хуже запутывали узел. Дети или, вернее, старики, впадающие в детство, — вот что такое весь правящий класс в бурливом «крулевстве». А народ? О, недаром его называют свои же господа так презрительно и кратко: «быдло»! Скот безмолвный, а не сознательные люди. Так разделим все пополам. И пусть две соседних могучих Империи растут и крепнут на много веков: одна — ширясь на Запад, другая — на Восток, пока снова братски не сойдутся их границы.

Не такими точно словами, но так убеждал Александра Наполеон и устами своих послов, и лично на Тильзитском шатком плоту, и письмами.

И снова повторились те же увещания при каждой новой встрече, хотя последние были очень редки.

Сначала гибкий северный «византиец» Александр поддался было влиянию порывистого, великого преторианца. Но потом другие влияния ослабили внушения Наполеона; прежние друзья, вроде Адама Чарторыского, и новые советники сумели иначе направить мысли Александра.

А события для Польши катились своим роковым чередом.

Как Феникс из огня, возникло герцогство Варшавское, выкроенное из остатков прежней Великой Польши.

Саксонский король по-бывалому стал герцогом Варшавским по имени. А хозяйничали в стране поочередно два сильных соседа: Франция и Россия.

Но поляки, по привычке, больше глядели на Запад, чем на Восток.

Отборные воины польского народа, пикенеры и крылатые гусары носились вослед победоносным орлам Наполеона вплоть до стен Смоленска и пылающей Москвы; а здесь эти братья по крови были более жестоки к побежденным, чем все другие враги. Но так и бывает всегда при семейном раздоре.

Наполеон, зная заветное желание Александра — дать новую жизнь польской нации, смотрел на Польшу как на средство политического воздействия, как на пружину из-

вестной силы, которую можно пустить в ход с дипломатическими целями.

Сами же поляки в лице своих передовых людей не видели или не желали этого видеть и готовились серьезно к новой жизни, к новой свободе, которую ждали получить из рук тирана, уже подавившего последний призрак свободы не только в целой Франции, усыновившей этого волчонка, нового Рэма, но и во всех соседних государствах, более сильных и значительных, чем Польша.

Пал Наполеон — с ним рухнули последние, призрачные надежды патриотов польских.

И вдруг неожиданно загорелись они с новой силой и яркостью.

Александр, получивший прозвание Благословенного и Миротворца народов, пожелал совершить настоящее чудо, воскресить «крулевство» на берегах Вислы или — Царство Польское, как он называл его, — на новых устоях свободного конституционного государства.

К хорошей цели этот бладушный романтик и мечтатель на троне приступил довольно неудачным путем.

На Венском конгрессе, который собрался в 1814 г. после первого Парижского мира, главным пунктом, на котором сталкивались дипломаты всех дворов Европы, был вопрос о Королевстве Польском.

В это время Александр успел сгруппировать вокруг себя наиболее значительных представителей польского народа.

Кроме братьев князей Чарторыских, — граф Владислав Островский, генерал Домбровский, начальник бывших Польских легионов армии Наполеона, и другие военачальники и невоенные главари польского народа пришли с повинной к Александру, были приняты великолепно этим «очарователем» людей и вместо укоров услышали такие обещания, от которых затрепетали сердца привислинских патриотов.

Правда, после целого ряда свиданий, съездов и конгрессов, на которых в течение последних 10-15 лет Александру пришлось играть главную роль, он, русский император, как способный ученик, постиг науку «обещаний», даваемых именно для того, чтобы их не сдержать.

Но по отношению к полякам он не допустил этой лукавой игры.

Наоборот, дал больше, чем они ждали, и в будущем готовил еще лучшее.

В ожидании предстоящих событий польские легионы получили позволение вернуться на родину со всем оружием, с

Выдержав самую короткую паузу, необходимую лишь для того, чтобы не пришло в голову окружающим, что ответ приготовлен и заучен заранее, Александр заговорил своим приятным грудным голосом, на задушевных, средних нотах, слегка картавя, что особенно шло к его изысканной французской речи.

— Передайте достойному генералу Домбровскому и вашим отважным товарищам до последнего рядового, что они могут быть вполне спокойны. Я ничего не имею против их законного желания вернуться на

роны станем молить Бога, чтобы все так и свершилось. Еще одной милости просили мои товарищи: можем ли мы наравне с войсками сохранить и нашу национальную кокарду? Как воин, государь, вы поймете нашу заботу.

— О, да. Снимать кокарды не надо. Надеюсь, что очень скоро вы сможете носить ее в полной уверенности, что будете носить без помех навсегда. Конечно, еще немало затруднений предстоит мне преодолеть. Но видите — я в Париже, и этого пока довольно. Не правда ли? Прошрое все я предаю забвению. Конечно, я вправе пожаловаться на многих из сыновей вашей нации, но хочу все пустить на смарку. Я желаю видеть только ваши добрые качества: вы отважные воины и честно правили сво д , ваши доб
вы отважные воины и честно правили сво д
вы отважные воины и чес
вы отва

ветил с легким кивком головы Александр. Лицо его приняло менее официальное выражение. Гордость храбреца хорошо повлияла на чуткую душу государя. Он еще более ласково и задушевно продолжал:

— Мы — вековые соседи и родня по крови. Оба близких народа, которых сближают между собою и обычаи, и язык, должны полюбить друг друга навсегда, если судьба сблизит их, хотя бы и против воли... Когда вернетесь на родину, спросите у ваших соотечественников: как вели себя мои войска в пределах нашей земли? Вы убедитесь, что я издавна расположен к вашему народу. С Богом, в путь! Командовать вами будет брат мой!

Константин, стоявший до сих пор в стороне, выдвинулся вперед, как бы ожидая распоряжений.

Лица депутатов и всех поляков из свиты государя сразу изменились.

Этого заявления никто не ожидал. Скрытный Александр от самых близких лиц тайл задуманное назначение и теперь с интересом наблюдал, какое впечатление произвела новость.

Конечно, назначение в военачальники польских войск брата государя цесаревича, который считался наследником престола, могло быть принято только как знак величайшего доверия и милости.

Но в деле было и несколько других сторон.

Еще в юности цесаревич Константин, кроме общих странностей в поведении и в своем характере, прослыл очень жестоким, особенно по отношению к нижним чинам подчиненных ему команд.

Бессмысленная жестокость юности с годами прошла, но суровая дисциплина, мучительная по трудности, выправка и муштровка, которой он, по примеру покойного отца, подвергал войска, не только была известна повсюду, но и раздувалась до непомерной величины недоброжелателями России и вообще досужими вестовщиками, которых особенно много было в Европе в это тревожное время.

И вдруг такого «начальника» дают вольнолюбивым польским legionерам.

На родине они привыкли к свободному обращению даже со своими королями.

Наполеон хладнокровно посылал их на верную гибель, в огонь. Но делал это так мягко, умно, что они сами думали, будто это их собственное желание: кидаться головой в пропасть. Боевой пыл заглушал всякие другие соображения.

А тут предстояло совсем иное.

Парадомания самого императора и его брата была известна всей Европе.

Нет сомнения, что и польские войска теперь ждет муштровка, маршировка, мирное мучение, более жестокое и несносное, чем все лишения боевой жизни.

И ни слова нельзя возразить, чтобы не оскорбить брата российского императора, а в лице его — и самого Александра... Все вспомнили и личную несдержанность цесаревича, о которой ходили среди своих и чужих армий целые легенды...

Вот отчего вытянулись лица у депутатов и они только молча отвесили почтительный поклон на неожиданное объявление такой «милости»...

Адам Чарторыйский при всей своей выдержке весь как-то насторожился, перекинулся взглядом с депутатами, как бы призывая их к спокойствию и молчанию, переглянулся с князем Ожаровским, с Брозиным и остановил пытливый взгляд на полном загорелом лице Константина.

Цесаревич, очевидно, был доволен назначением и знал о нем заранее.

Польские легионы с их признанной храбростью и удалью, с их необычными красивыми нарядами и великолепной боевой выправкой давно привлскали внимание этого мученика парадировок.

Уловив все, что можно было заметить в этот миг на лицах у окружающих, Александр торопливее прежнего, как это всегда бывает в конце аудиенций, проговорил:

— Теперь вы слышали главное, господа. Добавьте еще вашим друзьям, что я требую от них доверия ко мне и терпения. Остальное — придет само собой. До свиданья — в Варшаве.

Любезный, но полный достоинства поклон, как будто бессознательно заимствованный внуком от его великой бабки, — и Александр вышел в сопровождении Аракчеева и Волконского.

Депутаты, обрадованные и встревоженные в одно и то же время, ответили почтительным поклоном на прощальное приветствие Александра, простились с окружающими, своими соотечественниками и знакомыми, и вышли молча, в задумчивости.

Аракчеева Александр отпустил без всяких вопросов. Он знал, что «без лести преданный» граф тут не может иметь своего суждения, а даже имея, — не выскажет, зная, как твердо вопрос решен Александром.

— Хотя бы и так. Разве они не исконные обыватели своего края? И, наконец, это умный народ. Если бы они не поняли, что сила окончательно на нашей стороне, никакой бы встречи не было... Пусть хотя это примут во внимание наши политики и «храбрецы»!.. 30 тысяч польского войска! Оно раньше было больше. Оно шло за спиной счастливого вождя. И чем кончилось дело? Кто победил? Разве не ясно, на чьей стороне Высшая сила? Чего же нам опасаться остатков рассеянных, побежденных полчищ Наполеона, польских полков? У нас, ты знаешь, в герцогстве свыше 200 000 солдат. И вдвое больше может быть двинуто туда либо в пределы Европы, если потребуется. Это всем известно. Страху и крови было много. Надо столько же доверия и любви, чтобы все печальное изгладилось из памяти. Тогда уважение сменит прежний страх — и будет мир надолго! Так я думаю, так я говорю. И можешь о том передать, кому придется...

— Слушаю, государь, Но я не виноват, если...

— Я тебя и не виню. Многие говорят то же. Самые близкие ко мне: Нессельроде, ди Борго, генерал Чернышев, Михаил Орлов, Ланской и сам Константин... А между тем...

Александр остановился.

— С ним мы сталкиваемся, — после мгновенного раздумья сказал он. — Брат верит, любит меня. Он поймет. А вот удивительно, как иные люди не могут понять совсем простых вещей... Обвиняют поляков в постоянном стремлении воскресить прошлое, создать на новых основах старое славное царство. Что тут дурного? Может ли порядочный человек отказаться от мысли иметь отечество? Будь я сам поляком, тоже не устоял бы против искушения, которому они все поддались. И теперь, насколько возможно, я верну им их родину, дам коое ста-
царство. Что тут дурного? Может ли
человек отказаться от мысли иметь отечество?
ляком, тоже не устоял бы против искушения,
все поддались. И теперь, насколько возмож-
м их родину, дам коое ста-
ут дурного? Может ли
от мысли иметь отечество?
оял бы против искушения,
теперь, насколько возмож-
кое ста-
ет ли
чество?
шения,
возмож-

мало устраивают их... «Все или ничего»! — вот пароль и лозунг истых патриотов, без оттенка и различия партий...

— Ты ошибаешься. Многие понимают, что лучше си- ница в руках, чем «Великая речь Посполитая» в небе... Урезки, которые придется сделать для Австрии и Пруссии, неприятны, что говорить, но приемлемы... И князь Адам...

— Чарторыйский? Да он, ваше величество, соглашаясь с вами на словах, делая вид, что готов помогать, сам поет ту же песню: «куцая конституция и куцее крулевство без Галиции, без Познани, Торна, Кракова, без Велички и воеводства Тарнопольского»... Обьедки, а не крулевство, так говорят все... И в будущем ждут еще худшего. Их пугает строгость цесаревича. Ему, как говорят, будет введен главный надзор в новом царстве. А он...

— Вот как: и граф Адам будирует. Что же, он умнее других, но... кровь не вода. Польский гонор, их любовь к отчизне порой перессиливают разум. Я это видел не раз... А брата им бояться нечего. Правда, прошлое его у всех на глазах. Но он теперь уходился. С годами страсти остывают, характер меняется к лучшему. Мы же сами видим. С Чарторыйским я еще поговорю. С ним мы теперь должны работать дружно, когда дело почти пришло к развязке... А благодарность людская? Я ее не жду. Это такая же редкость, как белый ворон.

Этим закончился разговор Александра с его личным другом князем.

С ним император держал себя совершенно просто, откидывая всякую официальность и этикет, как бы отдыхая от вечного стеснения и маски, какую считал нужным носить перед целым светом.

В этом разговоре нашли отклик думы императора, его беседы и переписка с разными лицами, от Лагарпа до Ланского включительно, с которыми в разное время делился Александр своими планами и мыслями о польском вопросе.

Но ожидаемая развязка была совсем не так близко, как думал император.

Двинулись польские легионы. Ушел с русской армией Константин, ведя в Варшаву отборные гвардейские батальоны.

Сенат герцогства Варшавского и русское временное правительство с В.С.Ланским во главе правили страну в ожидании решительных событий.

Константин держался в стороне, да и не оставался в Варшаве все время, выезжая часто то в Россию, то к брату императору за границу.

Год быстро пролетел. В сентябре 1814 года в Гофбурге, в любимом дворце императора австрийского, «музыканта Франца», как называли его приближенные и родня, собрался знаменитый «Венский конгресс», один из самых многочисленных блестящих и длительных, какой видела Европа в эту пору съездов и конгрессов, чуть ли не ежегодно заседавших где-нибудь на суше или даже на воде, как в Тильзите.

Но здесь, на зыбком плоту, кроме двух действительных «владык» земли и хозяев европейского равновесия — Наполеона и Александра — присутствовал еще только третий, почти в роли статиста, король Фридрих-Вильгельм прусский. А вопросы первой важности решались с быстротой полета ядра; области и целые государства с десятками миллионов жителей перекидывались из рук в руки, как мяч в детской игре.

Признанный гений Наполеона и природный ум Александра шли почти в ногу и дело кипело. Два «хозяина» могли легко столкнуться в своих делах.

Совсем иначе выглядел конгресс, созванный в Вене.

Кроме двух императоров, русского и австрийского, там собралось четыре короля: прусский, датский, баварский и вюртембергский, бывший вице-король итальянский, принц Евгений Богарнэ, представитель французского короля, блестящий принц Бенеventский, хитрец, проныра и обманщик, «король» дипломатов старой школы Талейран. Затем шли разные принцы, наследные и владетельные, такие же князья, герцоги... Целый Олимп Европы, Готский Альма-нах, представленный в лицах.

Все это ничего не делало, много болтало, суеилось и интриговало по мере умения и сил. И затем все веселились, охотились, пускали фейерверки и танцевали без конца. Так что принц де Линь мог по праву заметить:

— *Le Congres danse, mais ne marche pas!*

Но можно было с таким же правом сказать, что при избытке венчаных голов — конец не скоро увенчает дело!

— *Embarras des tetes couronnees a cree beaucoup d'embarras*, — как сострил «маленький» Нессельроде, ставший теперь большим дипломатом, согласно давнишним предсказаниям Наполеона.

Настал 1815 год. Зима уже была на исходе, справили Новый год, а вопросы, ради которых сошлись здесь все эти государи со своими женами, родней, дипломатами и камарильей, так и не двигались с места, кроме одного.

Правда, его и не значилось в программе конгресса, официально объявленной.

Но лиса Талейран сумел поставить его неожиданно на первый план для Англии и Австрии, как только выяснилось, что Александр не уступит ничего из намеченных им условий соглашения монархов.

— Король прусский будет королем прусским и саксонским, так же как я буду императором российским и королем польским! — твердо заявил Александр, когда стали делать попытки к иному решению данного вопроса.

Талейран, которому пришлось выслушать это решение, звучащее почти приказом старого доброго наполеоновского времени, смолчал...

А несколько недель спустя, к концу января получил из Парижа договор, ратифицированный Людовиком XVIII, гласящий, что «заключена конвенция между Англией, Францией и Австрией, по которой каждая держава, в случае войны, обязана выставить для союзной армии по 150 тысяч солдат и заключить мир только с общего согласия».

Это скромное «соглашение» трех держав, к которому собирались примкнуть еще три-четыре второстепенных государства, совершенно разрушало блестящую европейскую коалицию, созданную Александром против Наполеона и сам «избавитель Европы» рисковал остаться если не в блестящем одиночестве, как это было недавно с Францией, то в сомнительно-выгодном содружестве с тихим, смиренным королем Пруссии, если и его не успеют оторвать от недавнего благодетеля и друга...

Конечно, вопрос о возрождении Царства Польского под русским скипетром, хотя и совершенно самостоятельно, — этот вопрос отошел на последний план.

Не зная еще точно в чем дело, Александр сразу почувствовал перемену, и обострение дошло до того, что польским и русским войскам в текущих приказах сделаны были намеки о предстоящей новой войне «не за чужие, а за собственные интересы и владения».

Время тянулось, переговоры — тоже. Усталым государям Запада, как и народам их, хотелось отдыха, а не войны.

Только полудикие «москали» и их родичи сарматы над Вислой могли воевать без конца.

Правда, этот самый московский народ и его царь спасли все колебавшиеся троны и венцы Европы от захвата их смелым Корсиканцем.

Но теперь дело сделано, узурпатор сидит на Эльбе, подписав полное отречение от своих завоеванных владений и прав. Нет больше надобности ни в императоре Александре, ни в его армии. Пускай отправляются восвояси!

Так решили прихвостни-дипломаты и тупоголовые их господа.

Но вдруг в игру вмешался низверженный Корсиканец.

В ночь на 7 марта нового стиля Меттерних получил секретную срочную депешу от своего генерального консула в Генуе.

Заботливый австрийский дипломат, торопясь на один из бесчисленных приемов, сунул депешу в грудку бумаг, которые обычно прочитывал рано по утрам, поднявшись ото сна.

В восьмом часу вскрыл «великий политик» пакет, прочел, побледнел, перечел еще раз и побежал без всяких церемоний будить своего повелителя.

Вздрогнул, побледнел музыкальный длинноголовый Габсбург, узнав роковую новость, приказал немедленно оповестить Александра и короля прусского.

Затрепетали все танцующие и интригующие принцы и государи, разбуженные словно ударом грома от своего приятного препровождения времени.

Депеша гласила коротко и ясно: Наполеон скрылся с острова Эльбы... Конечно, высадится во Франции и с помощью приверженных ему полков снова возьмет власть над Францией, а там, кто знает, и над всеми этими куклами в богатых кафтанах, как оно было и до сих пор...

Не смутился один Александр, глубоко верующий в свое призвание, в силу Рока, в Верховный Промысел.

Он немедленно приступил к делу, стал готовиться к борьбе, к последней схватке с Наполеоном, но, конечно, все требования и желания императора были исполнены беспрекословно, а сооруженная Талейраном конвенция развеялась, как дым.

Задолго до окончания стодневной Наполеоновской эпопеи, еще 3 мая был подписан трактат о разделе польских владений, как это было давно намечено. Саксония отошла к Пруссии, а Александр дал знать официально в Варшаву о том, что было известно давно всей Польше: возрождалось «Крулевство Польское» под несменяемой властью российского императора, получившего также титул и короля польского.

Так создалось на этом долгом конгрессе новое «Крулевство Польское», получившее оттого даже название «конг-

рессувки» со стороны людей, не совсем довольных урезанной территорией новой отчизны, урезанными нравами и либеральной, но далеко не полной конституцией, которую новый король — император Александр «даровал» своим новым миллионам подданных.

Все примирились с фактом, реальность которого великолепно была подкреплена парой сотен тысяч русских штыков, расположенных по всему краю. Но полунасмешливое, полупрезрительное, протестующее в общем отношении ярко отразилось в этом названии: «конгрессувка»...

Все было сделано по церемониалу.

С фельдъегерями, скачущими без передышки, послал Александр последние распоряжения брату Константину в Варшаву.

Выполняя волю Александра, граф Владислав Островский, в качестве президента Сената герцогства Варшавского доживающего свои последние дни, огласил во всей стране, что ее ожидает согласно решению участников Венского конгресса.

Новость была встречена с большим интересом, но разными группами лиц весьма различно.

Как смотрела на возрождение Польши правоверная русская партия, как она оценивала и понимала настроения польского народа в этот важный момент, хорошим свидетельством является письмо к императору Александру от 4/16 мая 1815 года, посланное в Вену В.С.Ланским, одним из ближайших сотрудников Александра, занимающим важный пост председателя временного управления в герцогстве Варшавском по гражданской части.

Ланской писал:

«Всемилоостивейший Государь

Бывшего Сената герцогства Варшавского президент Островский объявил публике повеление к нему Вашего Императорского Величества об участии герцогства.

Хотя полагаю, что доведено уже до сведения Вашего Величества, как принято сие объявление, но вменяю в обязанность со своей стороны довести Вашему Величеству, что оно не произвело такого влияния, какого ожидать бы можно от народа более чувствительного.

Причиною есть следующее:

Более уже года, хотя не совершенно, но уже известно было настоящее событие. Во все сие время непрестанно было толковано, каким образом восстановится существование Польши? Всеобщее желание, частью — искренно, частью —

притворно запальчивое, но имеющее одну и ту же цель: чтобы быть Польше владением отдельным и в том же пространстве, в каком было оно прежде разделений. Сие желание так помрачило некоторые умы, что вместо довлеемой признательности к беспримерным благотворениям Вашего И. Величества, вместо покорного благодарения за высокое к судьбе сей нации участие, наконец, вместо того, чтобы чувствовать, чтобы превозноситься снисхождением, с которым Ваше И. Величество соизволили осчастливить их принятием титула короля, они (подстрекаемые свойственно некоторым кичливостью, что по твердости духа, по храбрости и другим мнимым достоинствам — они единственные!) наполнились мечтанием, что восстановление королевства Польши по-прежнему быть должно, и так решительно определяли сие, как бы имели право того требовать.

Обольщенные таковым заблуждением, казались добротнее для нас, нежели когда-нибудь. Но теперь сие прельщение исчезло и холодность, — особенно, как говорят, — через отделение некоторых частей герцогства к Пруссии и Австрии, — становится приметною до такой опрометчивости, что объявление титула короля и уверение в будущем конституционном правлении принимается не за милость, но за опасения последствий от беглеца с Эльбы.

Я уверен в душе моей, что приверженность некоторых, а особливо, военных, к врагу Европы (Наполеону) — не угаснет и ничто не обратит к нам их расположения. Туда манят их прелести грабежа, там господствует дерзкая вольность, там ни за какое бесчиние нет ответственности. Здесь — порядок, чинопочитание, повиновение повелениям, точность в исполнении их и ответственность за преступление правил службы и даже правил добродетели.

Государь, прости русскому, открывающему перед тобой чувства свои, осмеливаюсь изъяснить, что благосердие твое и все усилия наши не могут быть сильны сблизить к нам народ и, вообще, войско польское, коего прежнее буйное поведение и сообразные оному наклонности противны священным нашим правилам и потому, если и не ошибаюсь, то в формируемом войске питаем мы змия, готового всегда излить яд свой на нас.

Более не смею говорить о сем и, как сын отечества, как верный подданный Вашему Императорскому Величеству, не имею другой цели в сем донесении, кроме искреннего уверения, что ни в каком случае считать (рассчитывать) на поляков не можно.

Всемиловейший Государь, Вашего Императорского Величества верноподданный Ланской».

Конечно, к этому письму надо подойти с особой меркой, не надо забывать, что сам Александр был иного мнения о храбрости поляков, как и об умеренности русских войск, нападающих на неприятельскую землю.

Но многие из приведенных строк ясно выражают взаимные отношения, а иные — даже оказались пророческими, потому что подсказаны здоровым политическим чутьем осторожного неглупого человека, чуждого также сентиментальным затеям государя, его половинчатым мерам, как и низким, корыстным проискам интриганов всех наций, которые окружали тесным кольцом Александра в Вене в качестве его советников и слуг.

После первых оглашений настал торжественный день 21 мая нового стиля.

18 дней спустя подписания в Вене Польского трактата жители Варшавы пережили особый, памятный в жизни целого народа, миг.

День выдался чудесный. Чуть ли не с рассветом весь город высыпал на улицы, запрудил собой пути, ведущие к площади, на которой возвышается старинный кафедральный костел св. Яна. В домах оставались только старики, дети и хворые, неспособные передвигаться люди. Кроме своего стотысячного населения сюда съехалось почти столько же гостей из окрестных мест.

Пушечные выстрелы слились с громким перезвоном колоколов и заглушали ропот и говор многотысячной толпы.

Кончилась торжественная месса в костеле, отслуженная блестящим клиром соединенного духовенства столицы с примасом во главе. Умолкли последние звуки могучего органа.

Все, что есть знатного и чиновного в Варшаве, занимало передние ряды в костеле, переполненном толпою до того, что ни войти, ни выйти оттуда было невозможно, если только движение начиналось не там, у выходов, откуда порою выплескивались люди, как влага из переполненной чаши.

Стоящие вокруг шпалерами войска еще ослабляли силу напора народной волны, иначе могла бы произойти смертельная давка, как не раз бывало в подобных случаях.

С возвышения громко было оглашено отречение короля саксонского от всяких прав его на польские земли и сейчас же прочтен манифест императора всероссийского о принятии

им короны и титула короля польского на вечные времена. В том же манифесте говорилось, что жители королевства Польши получают конституцию, теперь вырабатываемую, главными основаниями которой является самоуправление народа, своя армия, свобода печати, неприкосновенность жилища, по образцу английской хартии и во всяком случае более широкая, чем та, которую реставрированный Людовик XVIII Бурбон дал своим вольнолюбивым французам — на словах...

Королю предоставлена была власть исполнительная, законодательная принадлежала Сенату и палате депутатов, сейму, который сходился через каждые два года в составе 128 депутатов, из которых 77 являлось от дворянства, остальные от городов.

Для выработки постатейного проекта конституции учреждался особый Комитет, под президентством графа Владислава Островского.

Делами царства ведал особый «Государственный совет Царства Польского» с наместником во главе. Новосильцев, давнишний друг государя, назначен был уполномоченным комиссаром императора российского в Польше¹.

Кончилось чтение. Грянули залпы, зазвонили колокола, понеслось торжественное «Te Deum!». Взвился польский государственный штандарт с белым орлом над кровлей королевского замка. Белые орлы зареяли на всех казенных зданиях, казармах, арсеналах и судебных местах...

Начиная от членов государственного совета до последнего обывателя — все должны были принести присягу на верность своему новому, богоданному королю.

Сейчас же высшие гражданские и военные чины принесли свои поздравления брату короля, цесаревичу Константину, который по-прежнему остался только начальником военных сил царства.

После гражданского состоялся военный парад.

На обширной равнине, близ предместья Воли, перед походным алтарем собрались все польские войска, стоящие в Варшаве, сверкая на солнце своим оружием, хоругвями,

¹ Первый состав этого государственного совета был таков: наместник, назначенный осенью того же года, князь Зайончек, государственный секретарь — граф Соболевский, министры: финансов — Матушевич, просвещения и духовных дел — граф Станислав Потоцкий, внутренних дел — граф Мостовский, военный — граф Вьельгорский, юстиции — Томас Вавжецкий, князь Адам Чарторыский, как временный председатель, присланный из Вены Александром, занимал свой пост до назначения князя Зайончека, т.е. до осени 1815 года.

орлами на значках боевых легионов, шитьем мундиров, кирассами и касками...

Полки побатальонно приняли присягу императору и крулю польскому в присутствии своего главнокомандующего, цесаревича. Грянули ружейные и орудийные залпы, прокатились клики:

— Виват, круль наш Александр! Нех, жис!.. (Да живет на многие лета!)

Клики были подхвачены стотысячной толпой, которая явилась и сюда полюбоваться на блестящее зрелище.

Грянули марши... Отряды стали расходиться по местам. Поредели и совсем рассеялись густые толпы, разливаясь веселым, шумным потоком по узким, часто извилистым улицам Варшавы тех дней...

Торжество совершилось. Но еще не сполна.

Оно завершилось только почти через полгода, 8 ноября нового стиля, когда российский император в Калише впервые вступил на землю своего нового королевства, снял с себя русский мундир и ордена, заменив их польским мундиром и лентой ордена Белого Орла.

Константин поспешил навстречу брату, любовь к которому у цесаревича доходила до обожания.

12 ноября, утром, на своем светло-сером любимце Эклипсе въехал Александр в столицу «крулевства» через заставу Мокотово. Блестящая свита из первых военных и штатских сановников сопровождала высокого гостя. Польские войска развернулись шпалерами по сторонам всего пути. Дальше темнело море голов. Обыватели Варшавы снова сошлись взглянуть на прославленного победителя Наполеона, на своего короля.

Толпе мало дела до политиканства правящих кучек, она плохо разбиралась в благородных, хотя и довольно туманных, спутанных начертаниях российского императора.

Ясный слегка морозный день, красивое зрелище войск, царской свиты, музыка, пальба... Стройный, высокий красавец в польской форме, «свой круль», хотя бы и не прирожденный поляк... Ласковая улыбка на открытом, приятном лице... и толпа всю грудью кричала:

— Виват Александр, наш круль!

Эти клики покрывали привет, который посылало войско державному вождю, прорезали салюты ружейные, пушечную канонаду и трезвон колоколов.

Все окна частных домов, палацов, даже крыши были усеяны любопытными.

Женщины поднимали детей над головами толпы, покаявая им «своего круля».

Многие плакали от радости.

Луч радости, прочная надежда на долгий мир, покой согрели сердца простого народа, обнищавшего, обессиленного от долгих и разорительных войн наполеоновской поры.

Все совершилось, как и подобает в подобных случаях. Войска проходили церемониальным маршем, радуя выправкой взор такого любителя до плац-парадов, каким всегда оставался Александр, не меньше самого цесаревича.

Школьники и школьницы подносили цветы и пели кантаты. Духовенство молилось и благословляло прибытие «желанного освободителя, восстановителя отчизны».

Вся знать польская из своих ближних и дальних поместий съехалась в Варшаву, чтобы побывать на приеме у своего короля, прославленного в целом мире победителя и дипломата.

Варшава сразу оживилась, как в самые блестящие времена Речи Посполитой, и с той поры жизнь забила в ней ключом, почти не перемежаясь, на целых 16 лет, до печальной поры 1830-1831 года.

Но всему свое время.

Сейчас было одно сплошное ликование.

Милости полились сразу без конца. Полная амнистия всем, стоящим за Наполеона, возврат владельцам их имений, отобранных было в казну, награды деньгами и чинами, даже русскими орденами, назначения ко двору; новый варшавский королевский двор был назначен, как и подобает в таком царстве.

Не только были облегчены разные налоги и повинности, но для нового двора Александр оставил в Варшаве экипажи и лошадей из своих конюшен.

Арсеналы приказано было наполнить необходимым оружием. Словом, дождь милостей полился с первой же минуты.

Народ, которому все стало известно, кликами встречал нового короля.

Но и среди толпы были хмурые лица, раздавались глухие недовольные голоса.

Так было среди черни. А уж о более избранных классах или о шляхетстве — и говорить нечего.

Там почти сплошь все были взвинчены чем-то, едва умели сдерживать свое недружелюбие. Александр заметил это и, как только после первого приема остался наедине с цесаревичем, спросил:

— Что значит общее настроение, не можете ли объяснить мне, ваше высочество?

— Все то же, государь. Недовольны тем, что Пруссия и Австрия оторвали, отрезали по такому большому куску от прежней территории крулевства... Не могут дождаться, когда ваше величество осуществит известные им планы о присоединении в территории Польши тех западных губерний, которые некогда, в виде Литвы и Волыни, были слиты с короной польской... Словом, старые песни...

— Пожалуй, так. Ну, все войдет в свою колею. Немного терпения. Если князь Адам сумеет повести дело... О чем вы задумались, ваше высочество?

— Дорогой брат, позвольте мне теперь же решить один вопрос... Я уже писал вашему величеству. И снова прошу: позвольте мне сдать здесь свое место и я готов служить, где прикажете иначе. Теперь, когда все здесь образуется вновь, самое время мне уйти.

— Вот как. Значит, вы все-таки находите, что помогать мне вместе с князем Адамом вам неудобно? Неужели только оттого?..

— Что князь писал вам обо мне очень дурно и старался представить вред, какой происходит от моего пребывания на посту в Варшаве? О, нет, ваше величество. Я знаю свои недостатки. И если не могу сразу от них отрешиться, то все-таки не скрываю их... Но мы совсем разны с князем Чарторыским смотрим на многое в делах здешнего царства. Кто прав, судить не могу. Боюсь и вижу, что только раздор и вред последует от нашего совместного служения вашему величеству, если один из нас не будет поставлен над другим. Мне быть под князем не подобает... Потому и прошу: отпустите меня, государь.

— Об этом и думать нечего, — быстро возразил Александр, — я знаю поляков. Здесь положиться я могу лишь на себя или на вас... Особенно первое время. Если вы и круты немного нравом, — ничего. Я сумею загладить всякие обиды, невольно, конечно, нанесенные вашим усердием... Не могу не заметить, что ваши взгляды на свободные учреждения, здесь введенные, немного странны и более применимы в нашей, еще непросвещенной родине, чем тут, где народ гораздо развитее и политичней. Вы же должны помнить, что сказал австрийскому послу этот корсиканский выходец: «Конечно, австрийцы приличнее люди, чем рус-

ские, но союз с ними уже подписан и я ничего не могу поделаться!..» Надо сознаться, что поляки, и простой народ, и магнаты — просвещеннее нашего народа... Но я знаю, что и вы умеете разбирать людей. И если что было, так только случайно... Подумаем... Скажите, — после небольшого молчания продолжал Александр, — кого бы вы желали видеть наместником? Говорите откровенно.

— Иначе и быть не может, государь. И я скажу не только свое желание. Князь Адам имеет за собой сильную партию, пожалуй, даже чересчур сильную. Вы сами говорите: положиться можете лишь на меня. И вы правы, государь. А я ничего не мог бы сделать в минуту опасности, если не встречу содействия от объявленного наместника царства. От князя Адама содействия такого мне ждать нельзя. Есть другой человек, не столь значительный, но честный прямой воин и служака, очень почтенный в краю... Вы его знаете, государь: князь Зайончек.

— Да, знаю, по слухам. Совсем незначущий... Но честный... Я подумаю. Хорошо... И то, говорят, здесь у вас не Царство Польское, а крулевство «Пулавское», потому что князя Чарторыские из Пулавы насадили везде своих сторонников...

— Вот именно. Мне не хотелось касаться даже этой стороны, государь.

— Хорошо. Увидим...

Разговор перешел на другие вопросы. Константин стал сообщать подробности о польской армии, которую начал формировать с особенной любовью с первых дней своего появления в Варшаве.

На другой же день стали являться к Александру разные депутации.

Князь Огинский явился с представителями Литвы и Волыни. Там население тоже мечтало о слиянии с новым крулевством, как было в старину.

Князь Адам Чарторыский, который вел всю политику в королевстве, доставил Огинскому сперва личную аудиенцию, затем Ланской ввел к «крулю» и полный состав депутации.

Когда с Огинским наедине зашла речь о неравном положении Польши и Литвы, Александр сказал буквально так:

— Я успел второй раз вступить в Париж, потеряв не более полусотни человек из целой моей армии. Такие чудесные события не повторяются веками. Рука Всевышнего

во всем этом. Он помог мне осуществить и еще многое, что я хотел и обещал исполнить. Слово свое я всегда держу и все обязательства исполняю, как честный человек, для которого обещание равносильно клятве. От жителей этого королевства я всегда требовал терпения и доверия. Оно мне было оказано и я не обманул здешний народ. Доверяя мне, они побудили меня позаботиться о них. Я работал, делал все, что было возможно. Вот Адам вам скажет: чего мне это стоило, какие препятствия пришлось мне преодолеть в Вене ради блага Польши?! Я создал это королевство — и создал прочно, принудил европейские державы договором обеспечить его существование. Свершу и все остальное, как было обещано, только не разом. После всего, что мною сделано, я имею право на ваше доверие, а мои решения неизменны.

— Значит, ваше величество, Литва может просить о своем слиянии с Польшей?

— Только не это, князь. Никто и думать не должен, что именно вы меня о том просите. Все должны полагать, что я сам того желаю. Так лучше. Я знаю, вы в Литве недовольны и это продолжится до тех пор, пока вы не сольетесь с вашими соотечественниками, пока не воспользуетесь благами конституции, им данной. Вы правы, а я хочу привязать край к себе и слить с Россией навеки. Так и все, желаемое вами, должно совершиться. Конечно, тогда наступит полное доверие и слияние между Россией и вами. Если все в польской армии и в правительстве пойдет, как есть теперь, — я буду только доволен и выполню все свои обещания. Я должен иметь возможность указать на здешнее правительство как на образцовое. Пусть видят, что существование конституции не сопровождается никаким вредом для империи. Тогда легко мне будет совершить и все остальное, что касается Литвы. Еще раз прошу доверия и не ставьте меня в ложное положение излишними требованиями.

Почти то же сказал Александр и членам депутации, только в более общих выражениях.

Ноябрь подошел к концу.

Отпировали все пиры, пронеслись смотры, фестивали, охоты и празднества.

Александр скрепил своей подписью 165 статей конституции, выработанной особой комиссией с Островским во главе. Назначено было время первого сейма.

Дело и веселье завершилось, пора ехать в Петербург. Осталось только назначить наместника, который должен

представлять особу короля в отсутствие последнего в пределах Польши.

Накануне самого отъезда, 27 ноября нового стиля, поздно вечером князь Адам Чарторыйский, до последней минуты исполняющий роль министра-президента в королевстве, был приглашен к Александру, в его кабинет.

Комната была освещена лампами неравномерно и не особенно сильно.

Только рабочие канделябры с абажурами бросали яркие пятна света на письменный стол, за которым сидел государь. Лицо его оставалось в полутени.

Указав на кресло у стола, в которое князь Адам опустился после почтительного приветствия, Александр медленно, осторожно, как будто желая подготовить старинного друга к чему-то очень неприятному, заговорил:

— Ну, вот теперь почти все и кончено. Завтра я еду. Хвала Господу, дело завершено благополучно и в будущем можно ожидать много добра. Остается еще одно назначение...

— И самое главное, государь, — наместника... — пытливо вглядываясь в спокойное лицо императора, отозвался князь. Сам он сидел весь на свету.

Видно было, как менялся он лицом, как загорелись его глаза, как от нервного потряхиванья головой слегка вздрагивали легкие пряди волос, ниспадающие небрежно на его высокий гладкий лоб.

— Ты, наверное, слышал, кого предположено назначить?..

— Я слышал имя, государь... Но не мог верить... Мало ли чего не толкуют... Такое ничтожество, полуразвалина... старик, который...

— Славно сражался под знаменами великого вождя, Адам... Того же Наполеона, которого мы с тобой умеем ценить, несмотря на всю антипатию к нему как к жестокому, бесчестному авантюристу... Зайончек — имя очень почтенное во всей Польше, как я мог убедиться за это время... Общий голос... В чем можешь ты упрекнуть его?

— Ни в чем... потому что он сам полное ничто. Это же будет кукла, игрушка в руках первого, кто пожелает овладеть им. Разве можно оставлять на таком важном посту Зайончека? Наместник по имени. Да и то плохой.

— Он останется не один. Весь государственный совет, лучшие из ваших людей, Сенат, избранный вами. Ты, мой многолетний друг и помощник, главный вдохновитель все-

го, что узнала Польша теперь... Наконец, мой брат... Он будет передавать моему наместнику мою волю. И этого достаточно, полагаю...

— Цесаревич... Ваше величество, простите, если я буду говорить более смело, чем бы то подобало подданному, даже такому приближенному к вам, как я...

— Говори, говори. Я этого и хочу. Нам надо договориться до конца... И я подам пример. Конечно, ты первый и единственный кандидат на столь высокий и важный пост, какой я думаю вверить старому князю. Но... ты сам понимаешь: теперь между тобою и братом установились отношения, которые могут послужить во вред общему делу... Делу Польши, которую ты столь любишь, я знаю...

— Я и не помышляю о личном назначении, государь. Но скажу все. За что недоволен мною цесаревич? Разве мои отзывы о нем были сделаны из личного нерасположения к его высочеству? Сохрани Боже. Я писал и теперь повторю: ваш злейший враг не мог бы больше повредить вам, государь, чем это делает здесь цесаревич. В такое тревожное время, при столкновении стольких интересов в новом строе возрожденного королевства — вызывающее поведение великого князя имеет такой вид, как будто нас умышленно хотят вызвать на отпор, довести дело до разрыва, до вражды. Ничье усердие, никакая покорность не могут смягчить его высочество и заслужить его одобрения. Конечно, при вас, государь, ничего не заметно. Но спросите всех. Армия, частные лица, наконец, целая нация польская — никто не заслужил милости в глазах вашего брата. А конституция?! О, это учреждение, столь близкое и дорогое нам всем и вам самим, государь, — оно в особенности служит предметом порицания и глумлений самых обидных насмешек, самых язвительных. «Я вам задам конституцию, паны заклятые! Вспишу вам спину!» — так кричит при всех на плацу вождь польских войск, брат нашего короля. И вы знаете, что он приводил в исполнение дикую угрозу вопреки правилам и законам, которые дарованы нам вами, которым сами вы готовы подчиняться свято до конца, государь!

— Вы правы, такие неприятные случаи имели место. Но я писал брату. Просил, напоминал ему, что он первый обязан чтить законы, мною устанавливаемые... и...

— Простите, государь, все осталось по-старому. Законы, правила, даже военные уставы, от него исходящие, он поднимает на смех. Наши воины не привыкли к телесным наказаниям. Началось дезертирство. Офицеры тоже готовят

сильный протест и почти огулом собираются выйти со службы. Только не хотят сейчас омрачить пребывания вашего величества в стенах Варшавы, впервые очастливленной лицемерием своего нового короля... Люди неблагонамеренные, интриганы пользуются ошибками его высочества, стараются приписать их вашей воле. А люди, несочувствующие Польше среди русских, еще больше подстрекают Константина. Словом, как бы составлен хитрый заговор, чтобы мешать планам вашего величества, благодеяния ваши сделать мнимыми, за которыми кроется желание Польшу обратить в такую же бесправную, безгласную провинцию, как любая из российских губерний... В самом начале хотят уничтожить ваши успехи в деле возрождения Польши, которое важно и необходимо для самой России, столько же, как и для нас. Вы это знаете не меньше меня, государь. Сильная Польша охранит Россию от всех ударов с Запада... А его высочество не думает ни о чем. Он, как бы сам того не ведая, является слепым орудием пагубного замысла, имеющего целью провоцировать смуту, вызвать ожесточение у русских и у поляков, отнять силу у самых торжественных обещаний вашего величества... И, конечно, в мутной воде эти предатели половят рыбу всласть... Я это вижу и не могу не сказать всего вам, государь, хотя бы и рисковал потерять многолетнюю дружбу и доверие ваше! Простите.

— Наоборот, я благодарен от души. Но, полагаю, дело совсем уж не так плохо, как представляется твоему встревоженному уму, Адам. Сядь, не волнуйся. Выслушай меня спокойно. Тобою руководят добрые чувства, я знаю: любовь к отчизне, дружба и любовь ко мне... Но удивляюсь одному: куда делось твое обычное самообладание, рассуждение, ясность взгляда? Отчего ты так мрачно глядишь на все, не ожидая лучшего впереди? Правда, брат не отличается особым умом... широким взглядом; и характер его очень несдержан. Я понимаю почему это так сложилось, и не могу осудить. Знаешь, как говорит наша очаровательная госпожа де Сталь: все понять, все простить! Это правило, столь близкое и сродное мне, было и тебе не чуждо доньше. В чем же перемена? Верь, брат изменится со временем к лучшему. Надеюсь, даже скоро. Припомни себя и меня, хотя бы в то время, когда мы жили при дворе покойной бабки... Какая то была жизнь? Но мы опомнились скорее. Нам Бог раньше послал свою милость и от природы мы одарены иначе, чем мой бедный брат. Его больше испортила та пора, пресмыкательство куртизанов, ожидание власти над народами и землями востока и севера...

Помнишь: пять корон сулила брату судьба. Гляди дальше. И в позднюю пору мы тоже заблуждались с тобою. Взять хотя бы этого дьявола в образе человеческого, этого гения зла, который снова задумал было колебать покой Европы, мир всего человечества. Разве я не поклонялся ему вначале? А еще не так давно, разве ты сам и твои друзья не надеялись у него найти счастье и возрождение родины? Не хмурься. Я не желаю упрекать, делать обидные намеки. Ты был прав. Сила была в руках Корсиканца, и ты пришел к нему за спасением родины. Я все могу понять. Пойми же и ты... Сейчас я говорю с тобой как друг твой, как человек. Но я — государь стомиллионного народа. От меня зависит покой и жизнь стольких людей на огромном пространстве земли. Тут порою личные чувства надо устранять и действовать согласно государственными необходимостями. Брат мой должен оставаться здесь, чтобы народ русский был спокоен за судьбу возрожденной Польши, за ее верность, а значит и за свою судьбу. Ты с братом настолько восстановлены один против другого, что вместе вам дела не сделать. Как же мне быть?..

— Понимаю, государь... Теперь я понял. Цесаревич, видно, хорошо усвоил урок, данный одним монахом вашему царю Ивану Грозному: «не держать при себе советников умнее себя, чтобы те не умаляли значение государя и не овладели властью»... Но он забыл одно: и глупые, бесчестные советники сумеют прибрать к рукам господина еще скорее, чем прямой, разумный министр... И тогда последствия будут хуже и для государя, и для страны...

— Ты все ошибаешься, Адам. Я буду править Польшей. А он только явится исполнителем моих желаний, слепым, покорным. По его мнению, солдат должен идти в огонь и в воду по приказу начальника. А он для меня не колеблясь кинется в пропасть, даже не размышляя, нужно то или нет, если я только прикажу... И такой наместник, как Зайончек...

— Будет кстати при его высочестве... Понимаю. Еще скажу одно, государь... Вы поймете, ваше величество, что я думаю не о себе. Благо моей отчизны... Интересы вашей славы, вашего имени... все это заставляет меня сделать последнюю попытку. Я знаю ваше недоверие к людям. Оно имеет свои основания в прошлом и во всех событиях вашей жизни и царствования... И смерть государя, вашего батюшки... И ваши испытания... Но я никогда не думал идти против вас, затемнять вашего облика перед людьми, перед судом истории. Мои советы давались в тиши. Мои планы вы принимали охотно, я не навязывал их. Теперь Польша

свободна на поучение миру, на пользу вам и России. За что же мне такой удар? За что же я должен испытать участь другого помощника вашего, более одаренного, но и более несчастного? Теперь, когда Польша возродилась, я ухожу в тень, в ничтожество, я, который дал бы пролить всю кровь за великое дело... Чем заслужил я участь Сперанского, ваше вели...

Он не договорил, заметив, что совершил большую ошибку.

Александр при имени своего недавнего любимца, первого советника, а теперь опального изгнанника, насторожился, даже побледнел еще больше, чем был до этих пор. Лицо его словно посерело, а глаза стали неподвижные, утратили обычный голубой блеск, приняли оттенок стали.

— Простите, ваше величество, я не то хотел сказать, — поспешно начал снова князь. — Я только хотел просить: ради блага моей отчизны, ради вашей выгоды не ставьте на карту участи юного королевства... Верьте: и я, и все мы готовы на всякие жертвы, только бы угодить цесаревичу, исполнить в этом отношении желания вашего величества... Но это же решительно невозможно. И если он останется здесь, я предвижу самые несчастные последствия.

Овладев собою после первого неприятного момента, Александр уже с обычной любезной внимательностью делал вид, что слушает князя, хотя наперед знал, что может тот сказать, и слова Чарторыского только скользили мимо, почти не задевая слуха государя. Он глядел на пламя нагоревшей одной свечи и там ему казалось, что извивы пламени принимают очертания какой-то старческой головы с длинной волнистой бородой...

Вдруг, неожиданно наступило молчание. Чарторыский давно успел изучить своего державного друга. Он знал это застывшее выражение любезного внимания. Когда Александр заранее решал что-нибудь, он именно так выслушивал все возражения.

Словно пробужденный молчанием, государь любезно, но уже не с прежним дружелюбием заговорил:

— Я всегда верил тебе, Адам. Но полагаю, на этот раз ты ошибаешься. Послушай меня. Позволь мне быть твоим советником, хотя в данном вопросе ты и больше знаешь, и вообще много опытнее, разумней своего непростительного советчика. Потерпи немного. Увидишь, как все наладится. Я уверен, если ты пожелаешь, будешь играть первую роль, даже не занимая этого места, о котором у нас идет сейчас спор. Умные

люди — везде первые люди. Можно править, не царствуя, как и царствовать, не управляя. Вот именно последнего мне и желали иные советники, вроде твоего Сперанского. Но я того не пожелал. А брат? Он не станет и думать о таких вещах. Оставайся, работай, управляй... Твое назначение сенатором, которое здесь подписано, дает тебе возможность...

— Простите, государь, — решительно поднимаясь с места, прервал его Адам, — вот именно от этого назначения я и должен отказаться... Не беспокойтесь, лично нашим интересам я не перестану служить, как буду работать и на благо родине. Не стану мешать вашим планам или интриговать, как вам то доносили мои враги с цесаревичем во главе. Должен говорить открыто. Простите, ваше величество, но лучше быть мне первым в Пулавах, чем здесь безгласным сенатором при наместнике — безногом Зайончке и диктаторе — вашем брате... Я прошу об отставке, ваше величество.

— Вот как? Обсудите еще раз, граф, ваше решение. Если мой народ желает видеть здесь моего брата как охранителя русских интересов, то и поляки хотят и должны знать, что князь Адам Чарторыский не остался чужд судьбе возрожденного королевства... Конечно, если он от чистого сердца говорит о верности и преданности, а не думает искать где-нибудь в ином месте новых гарантий для существования возрожденной Польши, как искал их у Наполеона... в свое время...

Настало тяжелое молчание.

Тяжело дыша, сдерживаясь, чтобы слишком сильно не ответить на этот прямой вызов, прямой удар, князь только глядел в лицо Александру.

Глаза государя, сейчас холодные, спокойные, словно сверлили душу князя.

— Вы правы, ваше величество, — начал наконец напряженным тоном князь. — Совершенно верно, ваше величество. Теперь мне уйти нельзя. Сейчас же люди, слишком подозрительные или сами способные меняться ежечасно, припишут мне измену или недовольство положением вещей. А это — вредно для отчизны. Я сознаю всю важность единодушия всех патриотов в данную минуту. Ничто не должно сеять раздора между членами нашего нового правительства. Когда решается судьба отечества, партийные и личные раздоры неуместны. Благодарен вам, государь, что ваши слова напомнили мне об этом. Я знаю ваши чистые намерения и верю им до конца. Можете верить мне. Буду служить, если

не так, как бы сам того желал и мог, то согласно вашей воле, государь. Жду дальнейших приказаний.

— Да больше нет ничего. В добрый час. Я понял твои слова. Пройдет время, и вы, граф, поймете мои поступки... Вот указы. Возьмите, распорядитесь, как обычно. Пока — вы стоите у дела. Прощайте. До скорого и доброго свидания, надеюсь. Привет вашей матушке, которую я так люблю и уважаю...

Князь взял бумаги, почтительно поклонился и вышел в соседнюю комнату.

Давно пробило час ночи, но здесь, кроме дежурного флигель-адъютанта Михайловского-Данилевского и постоянного спутника государя князя Волконского, находился еще статсекретарь Марченко, которому предстояло принять от императора последние распоряжения перед завтрашним отъездом.

Чарторыйский, не поклонившись им, даже словно не видя всех троих, мрачный, расстроенный, сжимая кулаки, стал шагать по комнате, очевидно, желая успокоиться и не выйти в таком виде к остальной публике, находившейся в соседних покоях.

Иногда какие-то несвязные и невнятные восклицания срывались с его губ.

Так походил он около четверти часа и ушел, ни на кого не глядя.

На другое утро Варшава проводила своего короля. Но жизнь там не стихла нисколько и продолжала бить ключом.

Казалось, все народы Европы выслали своих представителей в этот веселый город. Французы, немцы, итальянцы и греки составляли свиту цесаревича, занимали места в управлении Царством Польским, являлись торговцами и просто обывателями тогдашней Варшавы. Магнаты и шляхта коренная, польская собрались сюда и для обсуждения нового курса политики в крулевстве, и для подготовки сеймовых выборов, и, главным образом, чтобы отдохнуть от военных тревог, повеселиться всласть, пожить на свободе.

Пирьы сменялись пирами. Горожане и простой народ тоже не отставали от знати. Театры, гостиницы, кофейни, игорные и увеселительные дома были переполнены. Красивые, бойкие, кокетливые варшавянки чувствовали себя особенно хорошо.

В городе было так много военных, и свои легионы, и русские полки.

Правда, сначала патриотки косились немного на «москалей», но после все обошлось. Польки, хорошо изучившие

своих смелых, но ветренных и непостоянных панов-кавалеров, скоро оценили душевные и физические качества прошлых «друзей поневоле», какими сначала казались русские, попадающие в Варшаву.

Наивность чувств; свежесть и сила дразнили желания блазированных полек.

И вслед за официальной, показной дружбой завязалась настоящая, скрепленная браками и влюбленностью с обеих сторон.

Так быстро катилось время. Настал 1816 год.

Теперь, когда читатель в общих широких чертах мог восстановить в своей памяти все многосложные события европейской и русской политики и государственной жизни, приведшие к созданию «конгрессушки» 1815 г., мы можем перейти к спокойному, более подробному изложению интересных событий, которые составляют содержание настоящей правдивой исторической повести.

Всю зиму бешено пировала Варшава. А канун Нового года справила особенно шумно и весело.

До самого света горели огни почти во всех окнах Старого и Нового города и предместий варшавских.

Покрытые снегом улицы и крыши домов, темные стены, опушенные снегом парки, городские сады, пригородные рощи и леса, темная синева неба с яркими, трепстными звездами, тонкий серп полумсяца, огоньки в окнах домов — все это казалось для наблюдателя фоном огромной картины, оживляемой нарядными группами людей, гуляющих на улицах и площадях, переходящих из дома в дом. Богатые собственные экипажи, резные тяжелые сани, извозчиьи санки и «цымбалки», переполненные менее взыскательными седоками, целые компании маскированных, которые переходили из дома в дом, из одного увеселительного заведения в другое, — вот что наполняло жизнью и движением все закоулки ликующей польской столицы до самого утра.

И не только в стенах самого города — далеко окрест кипит такое же веселье и жизнь. Из разных городских ворот выезжают время от времени целые поезда, по нескольку саней, переполненных людьми. По бокам гарцует на конях молодежь. Это едут на гулянку, в круговой объезд по знакомым и чужим усадьбам и поместьям раскутившиеся варшавяне. Это — «кулиг».

И везде, свои и чужие, широко раскрывают ворота для неожиданных, но желанных гостей. Дом мгновенно приводится в надлежащий вид. Самый большой покой или два

освобождают от мебели для танцев, в других покоях ставят угощение... Люди, лошади — все кормится на убой. Все веселы, рады. После долгой боевой тревоги дождались прочного мира, как всем сдается теперь.

Русские, живущие в польской столице по делам службы или по торговым интересам, тоже не отстают от друзей-варшавян.

Русское офицерство всех рангов, квартирующее в Варшаве, где расположены гвардейские полки литовской армии, особенно старается не отставать ни в чем от польской знати.

Подражая цесаревичу, они усердно изучают польский язык, перенимают местные обычаи, щеголяют гостеприимством и исконному русскому хлебосольству стараются придать изысканную любезность, европеизм старинных местных магнатов.

Иностранцы, военные и купцы, чиновники и эмигранты, дополняя общий пестрый тон, каким отличается картина жизни Варшавы в эти дни, вносят последний штрих в общую гармонию цветов, голосов и красок.

Посторонний, мало знакомый с городом наблюдатель, попав на какой-нибудь праздник в доме богатого варшавского пана, мог подумать, что видит «столпотворение вавилонское», только не в минуту отчаяния, не тогда, когда пораженные строители начали замечать, что говорят на разных языках и не понимают друг друга. Нет, это был иной момент.

Прошло время, разноязычные люди стали немного понимать друг друга, обрадовались и предались необузданному веселью по случаю такого счастливого события. Все еще чужие, но тянутся один к другому, хотят стать своими братьями, как то было встарь, когда все говорили одним языком, верили одному Богу и не строили дерзкой, высокой башни, чтобы спастись от неотразимой кары гневных небес...

Войдем в этот большой двухэтажный дом в глубине обширного двора, переходящего за домом в густой старинный сад, теперь засыпанный глубоким снегом, как и все сады кругом.

Шум, голоса, звуки музыки и свет огней вырываются из всех окон дома.

Двор полон санями и лошадьми. Лошади уже дремлют, изредка пожевывая овес из торбы, подвязанной у морды каждой из них.

Кучера, конюхи, многочисленная своя и чужая челядь тоже веселится, угощается на поварне, в людских, по комнатам, где только есть свободный уголок.

Полосы света, которые льются из большого дома, огоньки, озаряющие окна людских служб, фонари на экипажах, — все это отражается на белой пелене снега, там, где она не изрезана полозьями саней, не истоптана копытами коней и тяжелыми чоботами челяди, снующей взад и вперед, а порою и отбивающей гопака тут же на свободном пространстве этого двора, теперь имеющего вид оживленной ярмарочной площади.

Недалеко от среднего крыльца, ведущего в подъезд, на здоровенном, высоком шесте виден огромный транспарант: цифра 1816 в венке из цветов и листьев со звездой наверху. Огни, освещающие изнутри этот транспарант, еще не зажжены и он освещен только наружными огнями, кажется, пока тусклым и грубо намалеванным щитом.

Весь этот дом занимает генерал от кавалерии барон Меллер-Закомельский, один из ближайших к цесаревичу обер-офицеров.

Жена его, веселая, очаровательная полька из родовитой шляхетской семьи и потому, помимо блестящей русской молодежи, военной и штатской, дом этот охотно посещается лучшей польской знатью.

Десятый час вечера. Варшавяне той доброй, старой поры садились за ужин в такую пору. Но здесь еще не кончен большой парадный обед.

Обширный зал в два света обращен в столовую, где столы, сверкающие богатой сервировкой, уставлены покоем и заполнены пирующими.

Самый обед уже отошел. Дамы и часть молодежи, предпочитающая шелест дамских юбок, блеск белой шейки и живое сверкание глаз — рубиновым и янтарным огням в стаканах вина, звону и стуку чар, эти вышли из-за стола, рассеялись группами и парами по другим покоем, приютились в укромных уголках в гостиных, диванных и в галерее, которая при помощи лавровых, померанцевых деревьев в кадках обращена в зимний сад.

Тут взрывы хохота, лепет, шутки, любовные вздохи и взгляды горячат молодую кровь, пьянят без вина.

А там, в большой зале, за столами, где гости, пользуясь отсутствием дам, расстегнули мундиры и чамарки, распустили пояса дорогих контушей, свободно раздвинулись и

раскинулись на своих местах, там слышатся раскаты громкого нетрезвого хохота, говорятсЯ скабрзные анекдоты, передаются военные приключения и сыплются чудовищные, фантастические описания приключений на охоте всякого рода. Эта страсть присуща почти всем, сидящим здесь.

Венгерское, бургундское, рейнское вино вносится «барилками», небольшими бочонками. И эти бочонки опустошаются с удивительной быстротой.

Тосты обычным порядком идут один за другим, начиная с «крулевской» царской здравицы, потом за наместника, за цесаревича, за хозяев, за всех гостей с их чадами и домочадцами и так далее без конца!

Музыка, целый военный оркестр более чем в 60 человек, гремит на хорах тушь при каждом новом тосте, покрывая рев голосов, которые неистовым: «Урра! Нех жие!» — сопровождают каждый бокал.

Под конец поднялся хозяин дома, расправил свои холеные бакены и заговорил:

— По нашему обычаю, надо осушить последний «дедовский келишек» (рюмочку) вкруговую, дорогие гости. Пили мы за все: за живых и мертвых. За что же подыдем теперь круговую заветную чару, друзья?

Он дал знак, подошел мажордом с большим серебряным кубком на таком же подносе. Два лакея держали наготове две полураскупоренные бутылки шампанского. Пробки хлопнули и все содержимое бутылок перелилось в чару.

— Ого! — послышался чей-то одобрителный голос по адресу такой солидной вместимости кубка.

— Что занимает сейчас все наши думы? Чего хотим мы все, друзья, и русские, и поляки, братья-славяне по крови, которых целые века розни и вражды откололи друг от друга вопреки сердцу и разуму?! — так продолжал барон, очевидно заранее подготовивший свой маленький спич. — Мы братаемся на службе и за своим столом. Роднимся друг с другом при помощи святых уз брака. И все это ведет к одной славной цели: к единению двух славянских главных народов, за которыми, как овцы за своими вожаками, пойдут и все другие славянские племена. И настанет день, когда будет над полумиром господствовать славянское племя. Будет едино стадо и един пастырь! Так выпьемте же последнюю чару нынче за эту нашу надежду, за единенье славян!

— Виват! Жие! Урра! — прокатилось в ответ.

Даже четверти кубка не осушил барон, как ни старался, чтобы не ударить лицом в грязь. Кубок был живо дополнен

и пошел вокруг стола, пополняемый после каждого гостя. Никто не выпивал больше самого хозяина.

Хохот, клики, гром музыки — все слилось в какую-то хаотическую симфонию звуков и голосов, стройную и дающую подъем, несмотря на весь разлад отдельных звуков и тонов.

После десятка рук чара очутилась в распоряжении пана Торлецкого, приезжего шляхтича из Кракова, дальнего родича баронессы.

Когда он поднялся, взоры всей компании невольно обратились к нему.

Мужчина лет сорока, роста без малого трех аршин, с мощной грудью, широкоплечий, в дорогой расшитой чамарке, он одной рукой взял чарку и та почти скрылась в этой волосатой огромной руке.

Расправля густые длинные усы, он сильно крикнул и от этого лицо его, без того покрасневшее от выпитого вина, стало пылающим, багровым, в особенности пламенел толстый, нависающий над усами нос привычного «питуха».

Весь он словно сошел с потемневшей картины, украшающей стены шляхетского древнего замка, выскочил из страниц «Дядов», где поэт так хорошо описал людей доброго старого времени, когда молодецки пили и били врагов Речи Посполитой.

Басом, вполне соответственным своему дородству и росту, великан проревел при наступившем общем молчании: — За нашу отчизну! За единение всех славян!

Среди полного молчания поднес он кубок к губам.

Глаза всех были прикованы к этому кубку, к этому приоткрытому рту.

Челядь, даже музыканты на хорах поднялись, сгрудились, смотрели: что это происходит внизу?

Медленно, не переводя даже духу, стал осушать чару пан Торлецкий.

По мере того как рука, держащая кубок, запрокидывала его все выше и выше кверху широким, фигурным дном, изумление овладевало самыми завзятыми «питухами», каких немало находилось среди гостей.

Последняя капля выпита. Чтобы показать, как пуст бокал, великан поднял его и в опрокинутом виде опустил на свою голову: чисто!

И снова пробасил, как из бочки:

— Нех жие!...

Словно опомнясь, всею грудью подхватили гости, челядь, музыканты этот клич.

Грянул туш... Посыпались возгласы одобрения по адресу пана Торлецкого.

— Урра! Виват!.. Тож есть истый шляхтич!..

Чара снова пошла вкруговую, дошла до хозяина. Он и все гости стали подниматься, с разговором, с шумом выходить из-за стола. Только несколько закоснелых друзей чарки остались еще допивать свои стаканы, досказывать последние анекдоты и охотничьи сказки.

В двух-трех покоях уже были приготовлены столы для желающих.

Играли больше в «фараон». Хозяин ходил между столами, обходил и другие покои, стараясь, чтобы всем было весело и приятно.

Человек лет тридцати двух, в мундире майора польской службы, с бледным, угрюмым лицом поднялся вместе с другими и перешел в игорную комнату.

Скуластое лицо его с жесткими черными густыми усами, такими же бровями над темными небольшими, но острыми, упорными глазами, жесткие с отливом черные волосы, коротко остриженные на голове, обличали примесь восточной крови в этом шляхтиче из Подолии, где немало раз татарская и турецкая кровь смешивалась с польской.

Он мало пил за столом и не разгорячился даже после такого длинного, шумного пированья. Бледные щеки оттенялись сизой полоской там, где была гладко сбрита густая растительность бороды. Носить ее прилично было только холопу либо мещанину, но никак не шляхтичу, да еще военному, бравому майору.

Майор был, видимо, чем-то недоволен и, должно быть, стискивал крепко зубы, чтобы это недовольство нечаянно не прорвалось наружу. И только по легкому движению мускулов на скулах можно было подметить, что делается в душе бледного майора.

Стоя в амбразуре у одного окна, он прислонился к его переплету спиной и наблюдал за играющими, безотчетно перебирая пальцами брелоки, которые свешивались с цепочки его часов.

— Скучает пан майор?

С этим вопросом обратился к майору Лукасинькому полковник польской пехоты, блондин, стройный, среднего роста. По лицу — это был типичный поляк с ясными серыми глазами, слегка голубоватого оттенка, с волнистыми усами. Нос с горбинкой, раздвоенный подбородок и красиво очерченные губы, высокий гладкий лоб мыслителя допол-

няли облик полковника Крыжановского, который казался много моложе своих сорока двух лет.

Майор даже слегка вздрогнул от неожиданного обращения, так был он далеко от окружающих его людей и мест, погруженный в глубокие думы.

Узнав голос еще раньше, чем он поднял глаза на полковника, Лукасиньский быстро овладел собой, принял любезный вид и дружелюбно ответил:

— Так, что-то думы набежали на меня, пан полковник. И совсем не к месту. Вон что делается кругом: веселье, смех... Игра... золото так и переливается по столам. Тысячи дукатов пересыпаются, перекатываются из одного кошелька в другой, из кармана русского приятеля в карманы польского друга и обратно. Совсем не к месту раздумался я. Спасибо, что напомнили, пане полковник.

— А мне сдается, как раз к месту подумать здесь обо всем, что приходится слышать и видеть... Большая и почтенная компания, не правда ли, пан Валерий? Цвет русского войска... Сливки нашей шляхты и военного люда... И наперерыв — все отличаются друг перед другом. Я слышал, тут пан Торлецкий целое волнение вызвал, сенсацию произвел, доказав, что не перевелись еще витязи в Польше, что не легенда ходит о польских богатырях, которые выпивали чуть не по ведру зелена вина за единый дух... Ха-ха-ха...

Холодный, деланный смех Крыжановского звучал глумливо, злобно. Окидывая спокойными ясными глазами собеседника и всех окружающих, почти не понижая голоса, он продолжал, словно бы и не опасался совсем, что его слова могут быть услышаны посторонними лицами:

— И тост какой хороший: за единение братьев-славян... Что же, братья разные бывают. Каин с Авелем были даже родные братья, а не... семикородные... Ха-ха-ха! Сарматы и Лехи, пожалуй, именно в таком дальнем родстве с великороссами, немцами и... татарами, из которых составилась теперешний русский народ, как думаете, майор?

— Право, я не задавался этими этнографическими вопросами, пане полковник, — сдержанно ответил Лукасиньский, глядя в глаза товарищу, словно желая безмолвно остеречь его от чего-то.

— Что вы, милейший пан Валериан? Думаете, наша беседа покажется кому-нибудь интересной? Напрасное опасение. Все заняты «фараоном» и до простых пешек им дела нет. Бог азарта, бог злата владеет сейчас всеми. Но если вам не нравятся исторически-народные темы, займемся ста-

тистикой. Как думаете, сколько дней должен был работать впроголодь «добрый польский народ», все это тупое угрюмое грязное быдло, сколько голодало и недоедало людей, чтобы собрать в казенных и панских сундуках так много блестящих червонцев, которые грудами рассыпаны там на столах? Сколько насилия пущено в ход панами, вельможной шляхтой, сколько низостей, предательства и интриг проделано придворными и иными чиновниками, какие долгие часы проводили солдаты на плацу, в тяжелой маршировке, затянутые ремнями, отягощенные поклажей, годной для осла, не для человека? Сколько слез и крови пролилось, пока все эти светленькие кружочки скопились в кошельках тех господ, которые сейчас с равнодушным видом пошвыривают сотнями червонцев, а дома кормят не до сыта прислугу и сами ходят в старых, засаленных кафтанах?.. Давайте займемся подсчетом, пане Валериане.

— Да, полагаю, уже давно подсчитано, измерено все... Но только...

— Не осуждено, как то случилось во дни его величества Валтасара? Что же, значит, еще чего-нибудь не хватает в весе или в счете... Там — наверху — редко ошибаются, как говорят наши почтенные ксендзы... Хотя и то сказать, мы здесь видим среднюю публику, игру не первого сорта. Я сейчас покинул другое, первоклассное заведение...

— Вы из дворца, полковник?

— Вот именно. Там другая компания, почище. Хозяин — герой Наполеоновских легионов, старец, увенчанный славой и добродетелями, безногий наместник возрожденного Польского Королевства, лишенного двух третей земли, «оторванных» друзьями даже от того лоскутка, который был брошен королевству после всех прежних разделов... В гостях у князя-наместника первые вельможи и магнаты Мазовии, Подолии, Волыни и Литвы, графы и князья Потоцкие, Радзивиллы, Огинские, Чарторыские, Замойские и прочие, и прочие, им же нет числа! Во главе всех — цесаревич, брат нашего яснейшего круля Александра, грядущий наследник российского престола и короны нашей, короны Пястов, Ягеллонов, Гедиминов!.. Грудь колесом, со вздернутым кверху крошечным носом, который все-таки длиннее его ума, — ходит настоящий «хозяин» по залам, где когда-то ходили наши славные государи... Громко хохочет, выглядит себе свеженький кусок среди первых красавиц края, которые, как бабочки на огонь, слетаются на эти праздники и балы в старом

королевском замке... Мужья, братья и отцы в военных и камергерских, залитых золотом, мундирах и кафтанах — гнутся перед этим фельдфебелем, который плохой польской речью отпускает дубовые москальские любезности и остроты кстати и некстати. И все довольны, все рады. Сердца «патриотов» ликут: отчизна воскресла!.. Им сытно, тепло. Явилась возможность пить народные соки и швырять золото ради своих прихотей. Так что им до настоящего возрождения, до истинных мучений родного народа, до его голода, горя и слез?!..

— Пан полковник, вероятно, полагает, я думаю иначе, что говорит мне все это? Или пан полковник...

— Я, пан майор, просто нынче тоже выпил немного вина — вот и разговорился. Молчать и хмуриться здесь, как то делали вы, — гораздо хуже. Скорее обратите на себя внимание. А видите, я болтаю с вами о таких милых вещах, смеюсь, даже громко хохочу при этом — и никто не обращает внимания на нашу беседу. А у меня есть кое-что сообщить... по делу...

Он подчеркнул последние слова.

Лукасиньский весь насторожился:

— Слушаю, полковник. Вы правы: здесь можно... Все ушли в свое...

— Уж верьте опытному человеку, пан Валериане. Мы могли бы совершенно спокойно собрать здесь всех товарищей, которые сейчас ждут у капитана Маевского, и с таким же удобством обсуждали бы свои маленькие дела... Где много народу шумит, пирует, веселится, там и можно без опаски собираться на тайную беседу, вести самый опасный заговор — без всякого опасения. Но слушайте: во дворце я беседовал со многими людьми... Есть и среди этой раззолоченной банды, среди этих прихвостней и продажных холопов — люди с душой, с умом и отвагой. Положим, и тут двигает иными лукавство или жажда власти, честолюбие, даже чувство мести... Как, например, нашего великолепного, величавого ясновельможного...

— Князя Адама Чарторыского?

— Угадали, дорогой пан майор. Как будто там были.

— Что говорил он?

— О, ничего особенного. Легкая, светская болтовня... Вы знаете, он состоит попечителем виленского учебного округа... И вдруг к нему посыпались доносы, что будто среди учащейся молодежи завелись преступные политические кружки... Мечтают об отторжении от России, при сли-

янии с Великой Польшей... Он, князь Адам, конечно, по долгу службы, приказал произвести самое строгое дознание, и, конечно, все оказалось вздором...

— Как?!.. Вздором?!

— Слушайте до конца. Он, князь Адам, даже знает пароль главной партии... «Литва и круль!» Его открыли доносчики-шпионы... Но мало того, есть, по словам князя, другой пароль... для самых близких участников. «Если только заговор существует», — заметил князь с улыбкой. И он... сказал этот лозунг...

— И это им донесли?..

— И — сделал знак...

— Знак!.. Так значит, князь Адам тоже?..

— Тише. Спокойствие. На вас смотрят. Ничего пока не значит. Будет успех — и князь запоеет с нами в один тон. А пока — он мило беседует, мимоходом сообщая сведения, полезные для нас, если бы мы были в числе заговорщиков. Поняли? Но это еще не все... Князя Адама я понимаю...

— Чего тут не понять! Князь Адам ненавидит... зайчиков, с тех пор, как один, да еще безногий, перебежал дорогу нашему великому патриоту, неудачному кандидату в наместники, почтенному пану сенатору! Все хорошо, что творится в этом лучшем из миров. Змеи пускай грызутся, меньше язв придется на долю простых людей. Теперь, дальше все также, мимоходом, в разговоре князь Адам назвал мне немало господ, которые доносили на «мнимых» литовских конспирантов.

— Да? Верно? Что же вы, полковник?

— Постарался хорошенько запомнить, а после — даже записал имен с десятков... Это, очевидно, добрые «патриоты»... Надо теперь...

— Послать их имена в Литву, чтобы их знали наши друзья...

— Конечно, и чтобы удивлялись милости небес, которая еще хранит отчизну... старанием доносчиков!.. Еще не все. Вы знаете профессора Ширма и его юного коллегу, любимца молодежи, Лелевеля? С ними тоже пришлось мне столкнуться и побеседовать о разных вопросах... чисто теоретического свойства. Молодой ученый рассказал мне следующий казус. Австрийские солдаты пришли в хату к мазуру, земля которого лежит на самой границе. Напугали челядь, грозят штыками, взвели курки у пистолей и говорят: «Не бойся, мы тебя не застрелим и не приколем. А только докажи, что ты нам

друг, дай клятву, что состоишь в подданстве у нашего цесаря... Присягни, как верный подданный. Потом угости нас хорошенько, мы пойдем с миром. И ты будешь безопасен под нашей защитой!» Присягнул мазур ради спасения себя, своей семьи и всего маентка... Покормил шайку и денег на дорогу дал... Ушли австрияки. Через неделю пришли швабы от прусской границы. Снова — здорово... Такая же завируха. Опять присягнул мазур... Пруссакom стал. А начал было он швабам о первой присяге толковать, ему фельдфебель только засмеялся в лицо. «Силой тебя заставили присягать, не доброй волей? Какая же тут клятва... Да покажи нам: где твой цесарь и его голоштанцы? Нет их. А мы — тут. Видишь наши багнеты¹? Вот вся твоя присяга. Ну! Живей...» Опять присягнул мазур швабам. Там — саксонцы пришли, а за ними — и четвертые соседи... Все присягать заставляли. Рассердился мазур, запер ворота, достал дедовскую пищаль, стал ждать. Как пришел снова другой обход, пальнул через окно, отогнал незваных, непрошенных гостей. Двое-трое повалились, остальные — наутек пошли. А он им вслед: «Вот вам моя вольная присяга, от дедов, прадедов завещанная!» И зажил потом мирно. Патрули обходили эту мызу. По пословице, что и петух на своем шесте — хозяин. И пес чужих в конуру не пускает, хоть ему сто раз о присяге говори, которую из-под палки давать приходится. Хороша история, пан майор?

— Быть лучше не может. Как раз об этом и толковать придется нам нынче с товарищами у капитана Маевского... Пора собираться, пожалуй! — поглядев на свои часы, прибавил майор.

— Поспеем. А, правда, история кстати пришлась. Молодой ученый немало их, таких же, нам пригодных, рассказать может...

— А что, пане полковник, если бы того профессора ближе к нашему делу привязать?

— Для чего? Мы — свои люди, военный народ. Знаем друг друга... А скворца среди воробьев скоро приметят, следить станут. И ему голову свернут прежде всех. А там такая голова, что любому отцу иезуиту сто очков форы даст! И будет помогать нам усердно... Это — настоящий поляк, без фальши. Не то что эти, гробы поваленные... которым, воистину, все едино, кому ни служить, только бы сладко было жить!

¹ Штыки.

— Вы правы, пан полковник, — сказал майор и окинул сидящих в игровой комнате взглядом, в котором видно было открытое презрение. Потом, как будто новая внезапная мысль или воспоминание пришло ему в голову. Спокойный румянец сбежал с его щек, он побледнел, нахмурился, стал сразу старше и суровее, чем за миг перед тем, когда Крыжановский с холодным высокомерием сыпал своими сарказмами перед приятелем майором.

Крыжановский словно угадал, что делается в душе его друга и, помолчав, осторожно спросил:

— А давно ли был пан у Бронницов? Или видел их нынче днем у князя наместника? Как панна Жанета? Она же недавно вернулась из Парижа. Я до сегодня и не видал панну еще в Варшаве, после ее приезда. Выросла, подровнялась очень. Еще больше похорошела! Как скажете, пан майор?

— Похорошела, да. Совсем принцесса. Товару — цены нет.

— Товару? Что значит, я не понимаю, пан Валериан? Ах, впрочем, да. Каждая девушка — товар. Купец бы хороший нашелся, муженек богоданный... А панна Жанета не засидится в девицах, как думаете, пан майор?

— О, наверно купец найдется, если уже не подыскали его почтенные отчим и мамаша. Вы графа Бронница знаете?

— Кто его не знает в Варшаве? Веселый пан!

— Продажная каналья, лизоблюд и москальский прихвостень! Да, да, это я говорю, не смотрите так на меня! Если бы вы знали... Да что таить. Скоро на рынках будут ляскать языками об этом. Отчим и мамаша панны Жанеты пустились в широкую авантюру. Хотят подставить дочку... нашему «старушку»¹. Благо, тот любит свежее мясо! Сто тысяч дьяблов! Вот в какой луже приходится дышать и жить!

— Угу! — только протяжно вырвалось у озадаченного полковника. Он больше не сказал ни слова.

Все стало ему понятно: и взвинченное настроение майора, всегда такого сдержанного, уравновешенного, непроницаемого для самых близких друзей, и перемена в лице, и эта ненависть, которая теперь горела холодным блеском в темных, сверкающих глазах холодного на вид Лукасиньского.

Майор уже года три как ухаживал за панной Жанетой Грудзинской, говорили, что и он пользовался ее вниманием. И вдруг...

¹ Т.е. наш старичок — так называли за глаза военные поляки цесаревича.

«Да, любовь порою может пришпорить и замыслы патриота-заговорщика» — подумал про себя хитрый, сообразительный полковник и громко заметил:

— А уж, сдается, пора и в путь!

Майор только молча кивнул головой. Болтая о пустяках, прошли они ряд покоев и, по-английски, не прощаясь с хозяевами, оставили дом.

Легкие сани майора быстро несли обоих приятелей по улицам города, где жизнь начинала понемногу затихать.

Успокоение это пришло не по доброй воле ликующих варшавян. Погода сразу изменилась после десяти часов. Подул порывистый ветер с севера, «от москалей», как говорили в народе. Тучи быстро затянули все небо. Звезды погасли, луны не стало. Только освещенные окна прорезали внезапную темноту, упавшую на город, своими тонкими снопами лучей; мерцали редкие фонари на более людных улицах, раскачивались другие фонари, висящие над дверьми кофеен, ресторанов, клубов, аптек и разных увеселительных мест низшего разбора.

Посыпались первые хлопья снега, как бы предвещающая настоящую метель.

Эти первые белые мухи заставили веселые толпы искать убежища в домах.

Быстро миновали приятели улицу Нового Света, ряд других улиц и переулков, пока после одного поворота не кинулась им в глаза темная громада Королевского дворца, нависшая над застывшей ложбиной, какую представляла из себя покрытая льдом Висла, извилистые берега которой сторожили густые темные сады и леса, еще не тронутые топорами для потребностей новой цивилизации.

Под темными небесами, на просторе снежных площадей и садов, окружающих замок, он выглядел черным силуэтом, высоким, загадочным, мрачным, несмотря на сотни огоньков, мерцавших сквозь освещенные окна дворца, иллюминированного по обычаю, ради Новогодья, подобно всем частным домам.

Как бы желая видеть сквозь стены, поднял кверху взгляд майор. Но, должно быть, он увидел там что-то очень неприятное, потому что проклятие сорвалось у него с губ, он крепко стиснул кулаки и, отвернувшись, ушел головой в воротник своего зимнего плаща.

Через четверть часа сани, миновав казармы пешей гвардии на Смочьей улице, остановились у крыльца, ведущего в квартиру капитана Маевского.

Когда приятели вошли в квартиру, в передней их встретили два вестовых, играющих от скуки в носки и в «хлапа» засаленными картами, унесенными из покоев после панской игры.

Как люди свои и добрые приятели хозяина дома, оба гостя без доклада появились в первой горнице, где сидело несколько человек, затягиваясь трубками, пили пиво, старый мед и о чем-то оживленно толковали.

Обменявшись быстро приветствиями со всеми, как со знакомыми давно людьми, оба друга прошли дальше.

Соседняя большая комната тоже была наполнена клубами дыма. Не помогали и печи, дверцы которых для тяги были раскрыты весь вечер. Стол после ужина был отставлен к стороне, все размещались, кто где хотел: верхом на стульях, развалясь на двух диванах, вроде турецких, у стены, против входа, приютившись на подоконниках или просто прислонясь к стенам, на которых висели ковры, украшенные различным оружием, по тогдашней моде, среди военных особенно бывшей в ходу.

Капитан Маевский, с тонким орлиным носом, с усами, закрученными в стрелку, худощавый высокий, напоминал фигуру Дон Кихота. Только вместо скорбно-трагического удивления, каким отмечено лицо Рыцаря Печального Образа, легкой саркастической усмешкой тонких губ, лукавым взглядом прищуренных, глубоко сидящих серых глаз капитан проявлял выражение чего-то тонко-насмешливого, затаенно-глумливого, что сквозило через маску постоянной серьезности, присущей Маевскому. Как будто он вечер наблюдал не только за другими, но и на самого себя глядел как-то со стороны, подмечая нечто забавное в самых сильных, драматических порывах чужой и своей души.

Стоя у стола, на край которого он даже опустился и присел слегка, хозяин что-то говорил гостям, которые, в числе 13—14 человек, находились у него перед глазами. Большинство их было в чине не выше поручика, один носил полковничьи эполеты и двое — майорские звездочки.

Новые гости остановились за порогом, чтобы появлением не помешать оратору, и стали слушать.

Маевский заметил их, дружески кивнул головой, в то же время не прерывая ровной, плавной речи, не повышая или понижая своего звонкого, почти юношеского голоса, мало идущего к общему мужественному облику капитана.

— Итак, панове товарищи, Новый год несет новое счастье... под старым соусом, с позволения сказать. Длинный

список наград по войскам польским от наияснейшего круля нашего Александра, который в далеком северном дворце, среди более важных дел нашел время, урвал минуточку вспомнить и о своем крулевстве на берегах Вислы и — так далее... Среди сотни имен немецких, российских, французских, греческих, даже турецких и итальянских найдем несколько родных польских фамилий, награжденных за особые услуги... «Старушку» — генерал-инспектору и главнокомандующему польской армией, цесаревичу, а также — и родной земле. Если девицы и дамы, рекомендованные их близкими этой высокой особе для разных целей и надобностей, дадут улучшенное потомство, — это же польза краю. Не так ли, товарищи? Сегодняшний торжественный вахт-парад удался превосходно. Никого не ругали бранными словами, не посылали за фронт или к ружью от команды... Конечно, маленькая «жучка» была, да уж без этого нельзя. Мы досконально знаем, панове товарищи, что только строгостью достигается успех, если дрессируешь безгласных животных... В том убежден наш вождь. Комментарии излишни, как говорил мой покойный профессор пан Квасинский... Перейдем к бюджетной части вопроса. И тут все так хорошо, как лучше быть не может. От всех военных до последнего кавалерийского конюха — требуется чистота и щегольство в амуниции и оружии. Мелу дается много, денег — мало. Положим, кто умеет блясть заодно с нашим барашком, для того он делается дойной козой, деньги сыплет не считая. Но увы! Не каждый шляхтич носит в себе таланты побирухи. Есть еще люди, уважающие себя, свой полк, свою отчизну. Они не вымаливают на задних лапках подачек цесаревича. Ну, такие дурни поневоле должны жить поскромнее, лишать родных последних грошей, перелицовывать мундиры и входить в неоплатные долги к благодетелям-иудеям, благо, те еще верят, что векселя, выданные военным, стоят хотя бы четвертую долю своей стоимости...

— Верно, правда, пан капитан: вчетверо пишут векселя, проклятые пся-ухи!

— Я ж то и говорю... Когда теперешний поручик станет генералом, он может быть заранее уверен, что от генеральского жалования немного ему будет оставаться по вычете погашений этим благодетельным кредиторам, выручающим всех теперь... Но дальше... Политическое положение страны. Оно превосходно! Лучше желать нельзя!..

— Как? Что? Почему?..

— Разве же вы сами не видите, дорогие приятели мои? Милость Божия почит над нами и отчизной. Она сугубо выполнила обряд, соединивший некогда Израиль с самим Господом Богом: у нее обрезали обе крайние плоти — Познань и Галицию с Тереспольским воеводством, обкарнали пышный хвост конституции, вместе с которой даровали нам грозного стража свободы, великого князя из Московии, дали нам и своего князя-наместника, но тоже с обрезанными конечностями, с ампутированными ногами. Трижды благоволел союз наш с новой короной. У обрезанной Польши — куцая конституция, безногий наместник. Что же вы не кричите «виват»? Или вам мало?.. Ну, так вы очень требовательны, дети мои! Не бывать вам даже капитанами, мальчишки, не только генералами польской крулевской армии, одетой в сукно из московских кладовых... Впрочем, нет, пардон, теперь у нас будет свое сукно: хитрый Френкель около гвардейских казарм возвел свою новую фабрику... Урра за родную промышленность и торговлю! За кровь польских сынов нашей отчизне платят наличными рублями, чтобы никто не умер с голоду.

— Так как же быть иначе? Что надо делать? Выкладывайте, капитан.

— Пока ничего. Знаете, каждая хвороба имеет свой конец. Надо ждать. И чирья у коня не режет коновал, пока тот не созреет. Хотя кругом и мир, но мы на счастье заняты больше всего армией. Литовский корпус и польские полки пополняются. Арсеналы принимают все новые запасы оружия. Войско, по выражению нашего яснейшего цесаревича, понемногу доходит до величайшей доскональности. И это — верно. Судьба помогает зрячим, отнимая чутье у слепых. Знаете старую немецкую сказочку об уроде кузнеце, лиходее? Ковал он полосу стали, выковал меч. Подошел юный витязь, говорит: ну-ка, хорошо ли ты сковал клинок? Взял, вж! И у кузнеца-урода голова долой!.. Пускай куются острые мечи. На них найдутся святые, родные руки! Все в свою пору...

— Цель оправдывает средства? — вдруг повышенно, резко прозвучал молодой голос из группы лиц, сидящих поодаль.

Станный вопрос, звучащий не то упреком, не то вызовом, бросил молодой некрасивый поручик со впалой грудью и близорукими глазами в очках.

Только необычайной красоты лоб и ясный взор близоруких, но привлекательных глаз невольно располагали к поручику каждого, кто глядел на него.

— Пан поручик Травский! История оправдывает свои законы. Не пугайте меня догматами иезуитского ордена, я служу крулю Александру, российскому императору Божией милостью и нашей «конгрессувке» — отчизне, волею Наполеона. Меня ничем не запугаешь и не удивишь.

— Ну, это свойство присуще не только порядочным людям, в числе коих я полагаю и вас, капитан. Все ж таки есть честь... Есть присяга, хотя бы и врагу данная... но...

— Данная поневоле! — неожиданно заговорил Лукасиньский, выступая вперед.

— Как поневоле? Почему? Мы сами присягали! — раздались нерешительные отдельные голоса.

— Присягали-то вы сами. Но при каких обстоятельствах, панове товарищи! Припомнить извольте. А я вам помогу.

Надоумленный примером Лелевеля, о котором говорил ему недавно Крыжановский, майор сумел вызвать перед глазами слушателей отчаянное положение Польши, окруженной врагами, беспомощной, беззащитной, которую, не спросив о ее желании, участники различных конгрессов, европейские государи, словно вещь, перебрасывали из рук в руки, торговали народом и страной, как бездушной вещью.

Мастерская речь, страстный голос, сильный жест сделали свое дело. Слушатели громкими криками покрыли последние слова майора:

— Верно! Вынужденная клятва цены не имеет для самых честных людей!.. Пусть настанет скорее час... Мы все готовы... Пусть живет Польша! Гибель врагам!

— Что ж, пусть настанет час... Я тоже буду молить Бога... И я люблю отчизну не меньше всех вас. Но... простите... дайте сказать, — снова упорно, решительно заговорил поручик Травский, когда смолкли возбужденные голоса товарищей.

— Что еще? Что такое? О чем тут... Довольно...

— Пусть говорит! — поддержали поручика другие.

— Да, я должен сказать. И мне никто не помешает. Мы все понимаем, для чего мы сюда сошлись. Но я еще не уразумел: правы ли мы в нашем решении — готовить месть под личиной дружбы? Может быть, настанет час... Весь народ станет сильнее, разумнее. Не захочет сносить чужое иго, поднимется сам, без тайных происков, как Богом ведомый... Тогда и я, конечно, встану за родную землю, пойду на ее притеснителей. Но как действовать из-за личных недовольств и обид, из-за недостаточной платы?

Из зависти к чужеземцам, которых предпочитают нам?.. Так я не могу! Может быть, вы правы: месть имеет свои права для современных людей. Но я хотел бы видеть иного человека... Который врагу и другу глядит прямо в глаза... И потому — я буду работать на пользу сознания народного... не уйду от идейной работы... Только прошу не считать меня в числе тех, кто сейчас собирается выступать активно. Я на это не готов по совести и не хочу обманывать себя и вас... Вы не понимаете? Я объясню. Вот все здесь особенно недовольны цесаревичем. Правда, у нас, в свободной Польше, с войсками, выдавшими победы под знаменами великого вождя, он ведет себя как среди своих рабов-москалей. Но он не может иначе. Он так вырос. Воспитался в такой среде. Я не оправдываю... Но и винить не могу. А он любит нас. Вы все это знаете, как и я сам. Он не делает разницы между своими и польскими батальонами. Его родина дает нам средства, которых мало в нашей бедной отчизне. Он верит нам, дарит Польше оружие, учит наши полки. Нсужели же для того, чтобы мы эти пушки, эти штыки обратили против них? И как? Без предупреждения, исподтишка... Нет, это противно мне, моей совести, моей морали! А я не для того ищу правды в словах Евангелия, в учениях философов, чтобы в своих делах поступать по рецепту дикаря: «хорошо то, что мне выгодно!» Пусть враг учится у меня величию души, а не приемам хитрости и предательской тактики. Вот как думаю... как чувствую я... И, кажется, не ошибаюсь.

— До известной степени! — покрывая голос поручика, заговорил Лукасиньский. — Всякая этика, всякая мораль и философия существуют только среди людей и для людей. Ее нет вне человека, в абсолюте. Отсюда вывод ясен: чем меньше людей страдает от господства известной морали, чем большее количество людей благоденствует при наличии известной истины, философии, этики, тем она выше, божественней, справедливей... От настоящего положения дел кто страдает в нашей отчизне? Большинство. Почти все! От переворота, который задумали мы, кто проиграет? Небольшая кучка... России и думать мало придется: слита с ней Польша или живет и управляется сама по себе, без попечительной опеки доброго «старушка» и всех его прихвостней... Мы не враги цесаревичу, за которого вы так вступаетесь, поручик. Совсем нет. Все мы понимаем, что он простое орудие в руках брата, в руках шайки наших собственных панов — магнатов, живущих за счет всей страны. Кто знает, может быть, Бог

обратит это же оружие в нашу пользу... Есть планы: ему самому предложить польскую корону, как просили мы себе отдельного круля, князя Михаила Павловича. Да Александр не пожелал... Может быть, когда Константин узнает и больше полюбит наш народ, нашу отчизну, он пожелает. Князь — не дурной, только испорченный, искалеченный другими человек... Он поддается влияниям и хорошим, как и злым. Кто знает... Но убеждать я вас не хочу, поручик. Вы свободны. И хорошо, что вовремя открыли свое кредо до тех пор, пока известная откровенность с нашей стороны не связала бы вас...

— Пустое. И тогда был бы выход... Я сумел бы сделать себя... не опасным для вас, товарищи. Ну, делать нечего... Прощайте!.. Или до свиданья... Кто знает... как велит судьба...

Быстро, нервно отдав всем поклон, поручик вышел из комнаты.

Среди наступившего молчания слышно было, как стукнула выходная дверь за ушедшим поручиком.

И неожиданно визгливым, юношеским, но озлобленным тоном заговорил совсем молодой подпоручик Починковский, розовое полное лицо которого напоминало облик упитанной деревенской курносой девки.

— Да как же это он решился? И как не понять? Вынужденную клятву и религия разрешает преступать! Да еще ради отчизны. Я сорок присяг приму и нарушу. Такое великое дело: отчизна! Вечная слава ждет на земле и в небесах того, кто падет за отчизну, а кто решается душу свою погубить для ее блага, — так уж тут и толковать нечего. А этот философ... Да как он решился?.. Право, странно. Уж не от тех ли он был подослан, чтобы смутить нас, а? Как думаете, панове товарищи? Говорят, теперь столько разных шпигов спущено... Пронюхали о нашей работе... Изловить всех хотят... Гляди, начнутся аресты теперь... Подпилят нас... Пропала тогда отчизна...

Внимательным, пристальным взглядом окинул Лукасинький подпоручика и холодно, внушительно начал говорить:

— Ручаюсь, подпоручик, что ни вам, ни кому-либо из нас не грозят предательства и беды от пана Травского. Его я и все мы знаем... Да и помимо того: меры приняты. Положим, нашелся бы среди нас предатель. Но все здесь сидящие — не перечисляю, не сумеют назвать друг друга. А будем мы выданы — дело наше пойдет все-таки своим чередом... Те десятки, которые подготовлены каждым из нас, по нашим правилам станут дальше работать... И сей-

час работают... Каждый день — кадры наши растут... Правда, вербуем мы больше молодежь, но оно и понятно: среди нее реже встречается предательство и низкий расчет... Наконец дело решиться может только прямой силой, открытым боем, когда придет пора. А сила — в рядах солдат. Чем будет у нас гуще, тем лучше... Офицеры найдутся. Высшее начальство всегда служит себе, а не каким-либо знаменам или государям. Мы, народ ли захватит власть, и все высокие паны немедля станут служить нам, народу... Так, не боясь предательства, вперед, за работу!.. И будем ждать, панове товарищи. Лозунги даны... Несите их дальше, кто как сумеет, на благо свободы и отчизны! Аминь!

— Аминь! — как будто по окончании молитвы, подхватили все...

Хотя важнейшие вопросы дальнейшей тактики, для выяснения которых и собралась компания, были обсуждены почти до конца, никто не спешил уйти.

Поданы были свежие жбаны пива, меду.

Посыпались анекдоты, большинство которых, конечно, было из военной жизни и касалось популярной в целой Варшаве личности цесаревича.

Поручик Живульт, пощипывая воображаемые усы, стараясь басить, рассказывал двум таким же юным офицерам:

— Понимаете, слышал он, что наш Ладенский сказал панне Ядвиге, которая пленила сердце ласуна — «старушка»: «Пани ма свиньски очи!»¹. Та от удовольствия зарделась, вся растаяла, рассиропилась, да и лепечет: «Ах, что пан говорит. Где же... Вовсе нет того. Самые у меня простые глаза!» Вот только Ладенский отошел, наш ловелас с лысиной в тарелку подсоседился и шепчет: «У пани не только свинские глаза. Пани вся похожа на свинью...» Он думал, что угодит таким комплиментом красавице. А она вскочила, слезы на глазах... Ха-ха...

— Ошибаетесь, поручик! Цесаревич очень хорошо говорит по-польски и вовсе не рассыпается хотя бы и в таких комплиментах перед нашими красавицами, если они ему нравятся. Он просто подходит и говорит: «А пойдемте-ка, пани, я вам покажу в кабинете мою... одностовлку», — вмешался в разговор хозяин, который переходил из комнаты в комнату, желая видеть, как вестовые обслуживают гостей.

¹ «Свиньски глаза» — по-польски — глаза с поволокой.

— Да не может быть! — с неподдельным возмущением воскликнул один из слушателей Живульта.

— Ну вот, не может быть! А вы не слыхали, чем он на днях вздумал угостить генерала своего, графа Красинского. Приходит тот утром с докладом, а «старушек» со смехом к нему: «Граф, — говорит, — хотите видеть, до чего я забываю все на свете во время плац-парада? Вчера, говорит, идут батальоны лихо маршем, без сучка, без задоринки, такт ногами по земле отбивают, как по нотам... А я им враз хлопаю себя ладонями по... спине. Да так, что синяки остались. Стал меня переодевать мой Яшка и говорит: «Ваше высочество! У вас синяки на... спине». Ха-ха-ха! Хотите поглядеть?» Насилу граф отклонил великую честь: полюбоваться на высокую... поясницу с синяками!.. Вот он какой у нас. А нашлись из его свиты такие молодцы, что пожелали обозреть сии места во всей их прелести... Ха-ха-ха!

— Нет, а слыхали, что было с ним у Вильсона? Вернулся англичанин домой не в пору и застал там «старушка» совсем в неподходящем костюме и положении. Сделал вид, что страшно оскорблен. Хитрый британец. Тот и струсил. На него, говорят, крикнуть в пору, так он и сам ниже травы, тише воды делается. Вильсон кричит: «Бесчестье! Жалобу подам нашему королю, императору российскому... Дуэль и больше никаких!» А тот его уговаривает: «Оставьте, господин майор! Поладим иначе. Стоит ли храброму воину из-за бабы такой шум подымать. Я не думал, что вы обидитесь»...

— Как? Он не думал? Ловко!

Раздался дружный хохот.

— Не думал, что поделаешь. А Вильсон только капитан, как вы знаете, был. Вот он и кричит: «Какой я майор? Вы не путайте. Я капитан. А жены трогать не позволю. Нет!» А он ему и говорит: «Если я сказал: майор, значит — майор гвардии при этом... Я вам говорю!..» А англичанин смекнул, не умолкает: «Дуэль! Жалобу подам!..» Тот ему: «Да будет, господин подполковник!» «Нет! Хоть бы сам полковник я был, все-таки к барьеру...» — «Да перестаньте, господин генерал-майор!» Тот орет: «Жена мне дороже чина!..» «Ну, говорит «старушек», неужели вы, генерал-лейтенант, и скандала не побоитесь?!» Тому мало... Не спускает тону. Рассердился наш Константин, говорит: «Что же мне из вас второго себя, цесаревича, сделать? Так я не могу. Да и с вашей жены меня одного будет. На что ей второго?» Видит Вильсон, что дальше, в самом деле,

лезть некуда. Так и помирились на генерал-лейтенанте. Вот как чины у нас получают...

— Кому охота. А я бы прямо обрезал: «Не жалуй меня майором, не трогай моей женки!» Вот и весь сказ...

Беседа велась по всем углам. Все были веселы, беззаботны, хотя каждый мог ожидать, что завтра же его схватят, предадут военному суду.

Об этом сейчас не думал никто.

Было больше двух часов ночи, когда сани Лукасиньского снова очутились на Новом Свете, унося домой майора и полковника.

Странная процессия, огромный поезд в шестьдесят саней попался им навстречу. Впереди всех верховой держал тот самый транспарант с цифрой 1816, который приятели заметили во дворе барона Меллера-Закомельского.

Внутри горел огонь и прозрачный рисунок выглядел теперь очень красиво.

— Гости разъезжаются от барона! — сразу догадался майор.

Он не ошибся. Шестьдесят человек гостей, большинство в состоянии полубесчувственном от вина, размещены были по одному в каждом санях. Рядом сидел один музыкант из оркестра, игравшего во время пира. Левой рукой этот спутник придерживал пьяного пана, правой — держал у рта свою трубу, кларнет или флейту и что было силы наигрывал в нее застывшими, озябшими губами.

От кочек и ухабов разбитой ездой дороги звуки рвались, прыгали, как стая визгливых, сорвавшихся с цепи, чертенят. Все дикие, нестройные, расшатанные звуки сливались в шумную, дикую какофонию, от которой спящие просыпались в домах с испугом, дети поднимали плач, старые люди крестились и били себя в грудь рукой, призывая милосердие Божие.

Больше часу колесил этот поезд по засыпающим и спящим улицам и площадям города, потом сани за санями стали отделяться от общего обоза, скрываясь в боковых улицах и развозя пьяных гостей по домам...

— Видишь, пан Валерий, эти паны тоже стараются поддержать былую славу отчизны и вплести новые лавры в увядшие венки... Бог в помощь... Чем хуже, тем лучше! Не так ли, пан?

— Так, пан полковник... Только тяжело и стыдно видеть, слышать все это... Терпеть и молчать, пока добьемся своего...

— Да и добьемся ли еще, Бог весть. Вы обратили внимание на речи поручика с бабьим лицом... об измене? Уж больно скоро он вспомнил об этой штуке. Как будто хотел всех на ложный след навести. Что-то и глаза мне его не понравились. Все он мимо смотрит, не прямо на вас...

— Вы вспомнили поручика Починковского? Я знаю этого мальчика. Можно ли его подозревать в такой низости?... Он слишком молод...

— Змея родится с ядовитым жалом, майор.

— И набожный, глубоко верующий мальчик...

— Ничего нет опаснее верующих мерзавцев. Он изнасилуется родную мать, зарежет больного отца, потом помолится, пойдет к исповеди — и будет считать себя очищенным, чуть не святым... Не пожимайте плечами. Чутье редко обманывало меня, реже даже, чем мой разум. Этот Починковский заставил меня вздрогнуть, когда я подал ему руку: словно ужа схватил... Ну, вижу, вы хмуритесь. Бросим, майор. Не хочу быть Кассандрой в санях. Вот я и дома. Спасибо, что подвезли. Доброй ночи. До среды...

Они расстались.

Глава II

ПОСЛЕДНИЙ РОМАН

И может быть на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной!

А.Пушкин

Если бы часом раньше приятели пересекли пустынную, обширную площадь перед королевским замком, они увидели бы того, кем мысли их были невольно заняты почти весь этот вечер.

Обыкновенно Константин задолго до полуночи покидал самые веселые, самые оживленные собрания. А на этот раз он задержался в замке много позже обыкновенного и только около часу ночи тронулся к себе в Бельведер, до которого считалось больше семи верст пути.

Когда год тому назад выяснилось, что цесаревич надолго поселится в Варшаве, ему приготовили для жительства два помещения, летнее — маленький Бельведерский и для зимы Брюлевский дворец.

Но последний почему-то не особенно нравился великому князю и он жил там неохотно, очень мало. Напротив, почти круглый год проводил в Бельведере, который облюбовал с первых же дней.

Расположенный в чудном парке в Лазенках с просторными, но не чересчур обширными покоями, довольно уютный и стоящий в то же время совершенно особняком, этот загородный маленький дворец служил постоянным жилищем Константину. Свита же его, какая полагалась российскому цесаревичу, получила помещение частью в королевском замке, частью в наемных помещениях. Только генерал Дмитрий Дмитриевич Курута, когда-то товарищ игр ребенка-цесаревича, а теперь флигель-адъютант и начальник его штаба, жил всегда там же, где и Константин.

Это было легко осуществимо, потому что генерал, несмотря на свои 45 лет, был холост и очень неприхотлив в домашнем обиходе. Он любил хорошо выпить, вкусно поесть, питал особую слабость к разным сортам острых сыров, которых держал большие запасы в своих покоях. Толстый, ожирелый, обленившийся, но хитрый, ловкий грек, он был необходим цесаревичу. Хоть тот был девятью годами моложе Куруты, но обращался с ним по старой памяти без малейшей церемонии и порою ругал, как последнего лакея. Но, в свою очередь, никто так не умел успокоительно влиять на взбешенного Константина, как Курута.

И сейчас они вдвоем сидели, укутанные в свои шинели, в санях и оба молчали.

Курута от выпитого вина, от усталости после долгого суматошного вечера совсем дремал и даже слегка похрапывал, вскидываясь только от неожиданных толчков по дороге.

Константин, тоже чувствуя телесную усталость, откинулся к спинке саней, ушел головой в меховой воротник, но мысли проносились в разгоряченной голове с какою-то даже непривычной ему быстротою, яркостью и силой.

Вообще, он не любил людных сборищ, особенно официального характера.

От природы немного угрюмый, несообщительный, и воспитанием неподготовленный к более изысканному, светскому образу жизни, цесаревич отличался вкусами и привычками всех военных его времени: своя небольшая компания, кутежи, порою самого бесшабашного характера, любовные приключения, не отнимающие много времени и хлопот, вот что нравилось ему больше всего.

Но и помимо таких привычек, что могли дать цесаревичу самые блестящие пиры и приемы у польской знати, или даже в королевском замке? Вся их роскошь, многолюдство и блеск казались ему поневоле убогими, жалкими, пародией на царственную роскошь и блеск.

Он вырос при дворе великой своей бабки, помнил пиры и праздники Екатерины, Потемкина, Строгонова, Салтыкове и других вельмож той поры.

На этих праздниках действительно почти сказочная роскошь востока сливалась с утонченными привычками, с изысканными выдумками многоопытного Запада. И даже потом, когда на несколько лет Павел обратил свою столицу со всеми летними резиденциями в вооруженный лагерь, а все дворцы — в солдатские казармы, в этом чувствовался широкий размах, граничащий с величием.

В разводах и плац-парадах принимали участие целые полки, масса войск всякого рода.

А тут, у этих «вшивых поляков», как подчас даже ласково называл их Константин, ничего путного нет. Только гонору хоть отбавляй!

— Да я бы два червонца дал, только бы не ехать на эти ассамблеи, не видеть надутой, брезгливой рожи князя Чарторыского, не беседовать с подлизой Огинским, не слышать трескотни князя Любецкого, а приходится. Черт бы их побрал. Впрочем, и то сказать, все они за малыми исключениями славный народ. Не хуже и не лучше наших питерских придворных куртизанов, шаркунов, не говоря уж о прежних фаворитах. Слава Богу, повывелась та порода!.. А что у них больше «пыхи» и «гонору», чем денег, так они не виноваты. Народ небольшой, казна такая же. Где им взять?.. Выпивают ловко, танцуют лихо и... на счет бабенок тоже не плохо... Чего же еще требовать от них...

Сразу мысль Константина перескочила на другое.

Ему представилась фигура Новосильцева, который, уловив минуту, сделал ему несколько важных сообщений. По крайней мере он сам так думал.

— Странная физиономия у Новосильцева, — думалось Константину, — что-то в ней лисье, что-то женское и словно детское, приятное с тем вместе... Говорит он мягко, все справедливо, сдается на вид. А вот ровно клубком тебя опутывает. И не хочешь ты с ним согласиться, и спорить нельзя... Непонятный человек. Слово и сам он боится тебя и чует, что имеет власть над тобой... Остерегал, толковал, что очень ропщут поляки... Рука-де у меня тяжела. Брат

умышленно ласков с ними, льготы им всякие. А я так жучить стал сразу. Мол, приучить надо понемногу к нашей русской выправке вольных ляхов. А я ему хорошо ответил: «Государь все волен делать. Он одному Богу ответ даст. А мы все, с меня начиная, обязаны по правилам. Служба — не дружба!..» Да еще спрашиваю: «Мол, если сытые, неприрученные кони тяжелый тарантас с горы шибко мчат от непривычки, что тут нужно?» — «Что? Тормоз», — говорит мой разумник. А я и отрезал: «Вот такой тормоз и я здесь, в Польше. Чтобы колымага с разбегу в пропасть не ухнула!» Замолчал, отошел. Ловко я придумал... Пусть зря не болтает. Поляки не олухи совсем. Я им душу отдаю. Хочу их войско лучшим в Европе сделать. А они не понимают этого, что ли? Станут бунтовать против меня? Против брата Александра? Вздор! Я тоже людей знаю... Не глупее этих ученых пустовсев... Да!..

Думает обо всем об этом Константин, ловит рассеянным слухом мерный топот коней по укатанной дороге, а одна мысль, один образ заслоняет собой все важные и мимолетные думы.

Стройная, гибкая девушка, совсем ребенок на вид, но открытые по бальному плечи и грудь, полуукутанная газом, ласкают взгляд своей еще невинной зрелостью и упругой свежестью, красотой линий. Походка ее так легка, движения так созвучны, полны небрежной грации. Пытливо, почти строго глядят полные огня большие голубые глаза из-под густых длинных ресниц. Душистые русые локоны целым каскадом спадают по плечам, живою рамкой окружают свежее, милое личико. А губы, розовые, прелестно очерченные, так весело, радостно улыбаются. Тонкий чуть вздернутый носик капризно и лукаво вздрагивает своими прозрачными, розовыми ноздрями, особенно когда девушка смеется или говорит что-нибудь так быстро-быстро, таким задушевым, мягким голоском... Эта девушка стоит в глазах Константина и сейчас, как живая.

Совсем ребенок, чистая, нетронутая жизнью. Это видно. Но — и вполне женщина. Он понимает в этом толк. Его наигранный взор сразу как бы раздевает каждую женскую фигуру, которая порой чем-нибудь привлекает внимание пресыщенного волокиты.

И как странно это вышло: все знакомство и дальнейшее, что нынче произошло.

Он и перед этим слышал, что графиня Бронниц, жена его камергера, веселого балагура и чудесного собутыльни-

ка, вернулась из-за границы, где у нее в Париже училась взрослая дочь от первого брака с графом Антонием Грудзинским из воеводства Познанского, отошедшего к Пруссии.

Графиня, когда-то прославленная во всей Европе красавица, держала вдали эту дочь, как живой паспорт, предъявление которого особенно неприятно для женщин известного возраста, еще претендующих на победы.

Но вдруг все переменялось. Графиня почувствовала прилив необыкновенной нежности к девушке, о которой все, видевшие ее, отзывались с восхищением.

Лично явилась мать за своей старшей дочерью и привезла девушку под родной кров, поселила в королевском замке, где имел квартиру Бронниц по роду своей службы, как гофмаршал двора.

Первый большой бал при дворе, у князя наместника, на который можно было взять графиню Жанету, пришелся в Новгороде, на сегодня.

Несколько раз перед тем Константин слышал восторженные похвалы Жанете со стороны многих своих офицеров, которым случилось видеть девушку теперь, по возвращении из Парижа.

Слушал их цесаревич, как мудрец-циник, искушенный жизнью в свои 36 лет, и думал, снисходительно улыбаясь: «Телята молочные! Им на швабру юбку наверти, они и слинки распустят...»

Лукавый отчим, граф Бронниц, осторожно, дипломатично тоже проговорился о выдающейся прелести и женских достоинствах своей старшей падчерицы. Но цесаревич знал своего гофмаршала.

— Хитрый, старый полячишко! — соображал про себя Константин. — Думает, стану волочиться за ихней паненкой, так и ему какой пай перепадет... Что у нас в Питере, что здесь, все один черт на дьяволе, где жареным пахнет. Может, сама бы девчонка и не захотела, так родня ее подставит. А черт с ними. Если не дурна собой паненка, мне что... Не поп я им. Для меня же стараются, ради моего удовольствия. Поглядим...

И Константин ждал уже с известным, заранее подготовленным в себе настроением. Так ждет большой жирный кот, что услужливая рука кинет ему сочный лакомый кусок, который и съесть большой охоты не имеется, и отказаться жалко.

Настал ожидаемый вечер.

Выполнив официальную часть программы, все свои обязанности по отношению к князю-наместнику, которого он окружал всегда большим почетом, цесаревич стоял и толковал с Новосильцевым, Ланским, князем Любоцким и графом Замоиским о текущих новостях.

Только что произнес Константин свою фразу о «тормозе», которую с таким удовольствием припомнил потом, сидя в санях, когда подошел гофмаршал и вкрадчиво, с оттенком особой, почтительной фамильярности, присущей графу Бронницу, заговорил:

— А, ваше высочество, и не желаете взглянуть на дебютантку, мою обворожительную падчерицу? Она танцует — и многие пары остановились, чтобы полюбоваться этой Сильфидой, как люблю Господа Бога!

— Господа, мы — свидетели близкой трагедии: отчим, влюбленный в падчерицу, или гибель семейного счастья. Предчувствует ли беду красавица мамаша, у которой отнимет мужа родная дочь? — смеясь, кинул Константин и пошел за оживленным и жестикулирующим Бронницом, который продолжал на ходу выхвалять ему девушку.

Кстати, цесаревич не слышал едкого замечания, вызванного его сравнением себя самого с тормозом.

Ланской, вставив стекло в глаз, проводил крупную фигуру Константина критическим взглядом и спокойно уронил:

— А ведь сказано недурно: тормоз солидных размеров, для большой деревенской колымаги. Только — действующий не по воле разумной руки человека, сидящего на козлах, а сам по себе. Самодействующий, сказочный тормоз, который дергает и стопорит невпопад, отпускает колеса в самую опасную минуту и доводит до крушения там, где все могло бы обойтись благополучно и весело!..

Никто не возразил и не дополнил удачной характеристики.

— Вот, вот она! — указал предупредительный граф, указывая на Жанету, танцующую вальс среди других пар.

Но Константин сразу сам заметил девушку, которая и ростом, и очень скромным, но изящным парижским туалетом, и грацией своей выделялась среди других девиц и дам, к которым давно пригляделся цесаревич на разных вечерах и балах.

Не слушая жужжанья Бронница, Константин взгляделся в девушку и сразу был поражен ее внешностью.

«А ведь старый сводник не соврал на этот раз. Чудесная девчонка! — про себя решил Константин. — Надо пошу-

пать теперь ближе: какого это поля ягода? Если «мамина дочка» уродилась, да под соусом морали ее отчима, — так с девицей можно будет хорошо время проводить. Посмотрим».

Это откровенное «посмотрим» сквозило в первых фразах цесаревича, когда он, знакомясь с девушкой, которую ему представила сияющая мамаша, оглядел ее с ног до головы своими блестящими голубыми глазами, странно сверкающими из-под темных густых бровей.

Правда, как всегда с дамами, цесаревич был очень вежлив, утонченно-любезен. Но этот, словно обыскивающий, будто щекочущий взгляд, эти бархатистые интонации голоса, обычно резкого и отрывистого, даже совершенно неопытным девушкам давали сразу понять, как смотрит на них лакомка-князь.

Совсем иначе говорил он с женщинами почтенного возраста или даже с молодыми, но стоящими вне всяких покушений с его или с чьей-либо стороны. А во всех остальных случаях он начинал свою обычную игру с первого слова, с того момента, когда желание овладеть женщиной приходило ему на ум.

Правда, за последнее время такое желание приходило все реже. Женщины сами гонялись за цесаревичем. Тщеславие, жажда пополнить свои приключения романом с наследным князем российской империи, чувственность, которую будил в душе испорченных женщин этот рослый, крупный здоровяк с некрасивым, но оригинальным лицом и красными чувственными губами, — все это заставляло десятки женщин искать встречи и сближения с Константином. Были и такие, которые щедротами августейшего милостивого возлюбленного поправляли свои опустелые кошельки.

Но на этот раз Константин, к удивлению своему, сразу почувствовал, что в нем пробудился ищущий и алчущий мужчина.

Не думая о долгом сопротивлении, а тем более о возможной неудаче, он решительно подошел к девушке.

Но первый же звук голоса Жанеты, отвечающей очень почтительно, хотя и с достоинством, заставил Константина насторожиться, чуть не вздрогнуть.

Нежные, приятные женские голоса низкого оттенка особенно сильно влияли на все существо цесаревича. Он и своей первой жены сразу не влюбил из-за ее бездушного, «пустого», как он определял, голоса.

— Ничего в нем нет, ни красы, ни радости, ни горя, ни веселья. Так, дудка!

И, наоборот, иные, не особенно красивые, случайные подруги привязывали к себе князя на более продолжительное время только своими приятными, ласкающими голосами.

А у Жанеты Грудзинской голос был не только ласкающий. Он был манящий, чарующий, проникающий в душу и покоряющий ее без малейшего, казалось, усилия или желания со стороны самой девушки.

В ответ на приветствие Константина, глядя ему прямо в глаза своими детскими светло-голубыми глазами, она, видимо, волнуясь, но внятно сказала:

— Я так счастлива, что имею честь быть представленной вашему высочеству!

И сразу Константин почувствовал, что девушка говорит правду: она действительно счастлива, гордится тем, что он стоит с ней рядом, говорит с ней, наклоняется к ней, лаская всю ее своим жадным, смелым взглядом.

Она даже не сконфузилась от этого осмотра, от нескромного мужского взгляда. Не то она по совершенной чистоте не понимала его, не то сама так была взволнована, так сильно переживала собственное настроение, что и не думала, как на нее смотрит тот, с кого сама она не сводила глаз с наивной бесцеремонностью обожающей институтки.

Завязалась обычная светская болтовня. Умная маменька быстро успела незаметно стушеваться. Говорили о Париже, где цесаревич оставил так много приятных воспоминаний. Девушка откровенно делилась с ним своими впечатлениями и относительно пансионских подруг в Париже, и здесь, в Варшаве, где она училась раньше, тоже у француженки мадам Воше...

Желая сделать приятное девушке, Константин с французского перешел на польский язык.

— Как хорошо вы говорите по-нашему. Право, даже лучше, чем многие наши кавалеры. Так решительно, твердо. Геройски... да, да! Я знаю, что вы храбрый герой. Я слыхала о ваших приключениях на войне, ваше высочество... И уже тогда восхищалась вами. А теперь... да еще, когда услышала, как вы говорите по-польски... я буду только молить Бога, чтобы вы были счастливы и чтобы мне почаще видеть вас, говорить с мосцью-князем.

Даже Константин опешил на мгновение, до того неожиданно и смело прозвучало это полупризнание милых, девических уст.

«Что она, такая... бесстыдная... или в самом деле дитя чистое? Из Парижа? Гм... посмотрим», — подумал он. Но тут же почувствовал, что и сам переживает что-то очень необычайное, словно далекое, полузабытое чувство нахлынуло на него.

И вдруг он чуть не крикнул:

— Тоже Жанета!..

Но сдержался и только с новым вниманием стал всматриваться в графиню.

— Как зовут вашего батюшку по имени, графиня? — словно против воли задал он неожиданный вопрос.

— Антон-Казимир-Эммануил граф Грудзинский, — подняв на собеседника слегка удивленный, вопрошающий взгляд ответила Жанета.

Цесаревич не удержался, вздрогнул, щеки его покрылись краской от прихлынувшей в голову крови.

— Жанета Антоновна... и тут сходство! — шептала ему встревоженная мысль.

Острая память вызвала перед глазами цесаревича другой женский образ, полузатерянный в глубине давно минувших лет.

Жены своей цесаревич никогда не любил, а скоро после брака и совершенно охладел к этой «надутой немецкой принцессе».

Окончательно оттолкнуло от жены молодого князя глубокое чувство, которое внушила ему княжна Жанета Антоновна Четвертинская.

Вот стоит перед его глазами эта чудная, обаятельная девушка. Такие же синие глаза, волнистые светлые волосы, чистый взгляд, в котором он читает, что он близок этой дивной душе!

Константин загорался и трепетал от каждого прикосновения к руке обожаемой девушки, тосковал, рвался видеть ее каждую свободную минуту, был готов сидеть с ней часами, даже забывая любимые разводы и ученье.

Так больше не любил Константин никого никогда. Жениться на княжне ему не позволили с одной стороны как цесаревичу, предполагаемому наследнику престола. Тогда еще полагали, если у Александра не будет наследника, трон придется передать Константину.

И другая причина мешала этому браку, такому желанному для молодого цесаревича, который готов был отречься от прав на престол, только бы не мешали его счастью.

Старшая сестра Жанеты, Марья Антоновна, вышедшая за Нарышкина, привлекла к себе внимание Александра, который даже имел потом от нее двух дочерей. Поэтому и религия, и традиции не позволяли, чтобы два брата стали мужьями двух сестер, хотя Александр и не венчался с Марьей Антоновной, не желая разводом обижать свою законную жену и подавать дурной пример в семье.

Было это почти тринадцать лет тому назад. Чтобы поврать увлечение, княжну Четвертинскую родные выдали за какого-то пана Вышковского, и Константин потерял ее из виду.

И вдруг эта встреча... То же имя, та же чистота. Так же с первой встречи чуть ли не первая, открыто девушка готова сказать, что он ей нравится...

И, конечно, не своим титулом, не из-за влияния или денег...

— Герой! — назвала она его... Вот что влечет милую девушку...

Но что же привлекает его? Неужели только дорогие воспоминания? Этот голос рока, давшего то же имя, даже сходную наружность девушке, которую теперь, на середине жизненного пути, встретил Константин так неожиданно? Но он не знал ее имени... Он только слышал ее голос, только видел ее, как грациозно и легко носилась она в танце... Только взглянул он в ясные глаза — и потянуло его к девушке...

От природы чуждый всякой мечтательности, мистицизма и даже романтизма, простой, трезвый малый, даже скептик скорее, усвоивший и при дворе бабки, и среди уроков своих наставников, начиная от Лагарпа и кончая Салтыковым, начала полнейшего позитивизма, Константин в любви видел такое же жизненное удобство, такое же отправление организма, как и в еде или сне.

Но против воли теперь мистический холодок пробежал по спине этого тяжелого, коренастого здоровяка.

— Что же, неужто, как говорит наш народ, — здесь моя судьба? — тревожно задал себе вопрос Константин.

А вслух, отвечая на немой вопрос девушки, заметил:

— Знаете, у нас, у русских, такое обыкновение, графиня, — называть по имени и по отчеству... Вот я и спросил об имени вашего батюшки...

Разговор продолжался, становясь все задушевней, оживленней, как будто давно они уже знакомы друг с другом.

Отступая от привычек последних лет, цесаревич даже протанцевал раз или два с девушкой, чтобы ощутить ее бли-

зость, пить дыхание ее разгоряченных нежных уст, вдыхать аромат волос, слышать трепетание молодого стройного тела.

Константин видел, что все обращают внимание на такое открытое, быстрое предпочтение, оказанное им молодой девушке. Но он не смущался взглядами, которые со всех сторон осторожно кидали на него с Жанетой.

А девушка, словно не опасаясь никаких дурных нареканий, очевидно, гордилась вниманием цесаревича.

Они не заметили, как прошло время.

Мать, ликующая, довольная, все же нашла, что пора везти домой дочку и прервала это первое свидание, сразу решившее судьбу Константина и Жанеты.

И там, на балу, и теперь, возвращаясь к себе в Бельведер, обвеянный холодным воздухом, Константин понимал, чувствовал, что с ним произошло что-то непоправимое, важное.

— Суженую свою, видно, повстречал это я! — думал цесаревич. — Вот вижу ее... Слышу ее щебетанье милое... Глаза вижу... Вот взял бы и... — он не закончил, оборвал мысль.

Плотнее закутался в шинель и нарочно вызвал в уме образ другой женщины, которая уже десять лет живет при нем... У них ребенок, сын, которому идет девятый год.

Правда, особенной любви тут не было. Чувственное увлечение... даже, скорее, жалость к бедной хорошей женщине, обманутой, покинутой негодяем...

Но разве и сравнивать их можно?

Вот сегодня, расставаясь с Жанетой, он уже не глядел на девушку так, как при первом знакомстве. Он поцеловал руку у нее так почтительно и нежно, как целовал только любимую во всей семье сестру Екатерину Павловну или руку своей жены, если бы она имела у цесаревича. А когда при этом девушка поцеловала его в лысеющий высокий лоб, его в жар кинуло от волнения.

А эту, Фифину?... Он взял ее чуть ли не в первый вечер знакомства на маскараде... Потом пожалел и оставил при себе... Потом привязался... Так и тянулось десять лет. Но и сама Фифина виновата, что не сумела сильнее привязать к себе Константина. Эти частые сцены, нелепая ревность, за которой следовали порывы отчаяния, раскаяния, унижения без конца...

— Эх, все это надоело! — вслух даже вырвалось у Константина.

В это время сани остановились у подъезда Бельведера и Курута проснулся.

— Сто такой? Сто такой? — озабоченно спросил он, не разобрав спросонья восклицанья цесаревича.

— Ницево такой, греческая старая туфля! — с притворным неудовольствием откликнулся Константин, сбрасывая шинель дежурному гусару. — Ишь, тридцать лет учится, а не умеет сказать правильно слова по-русски... От своего сыру сам скоро будешь, как лимбург, пахнуть. Вот это и надоело мне... Понял...

И вдруг схватил за плечи преданного пестуна, прижал к груди, поцеловал в обе толстые румяные щеки и оттолкнул снова от себя со словами:

— Спать пора. Завтра потолкуем, старый бризоль на шкаре. — затем крикнул по-гречески. — Доброй ночи, кир Деметриос, добрых снов... — и быстро двинулся на свою половину.

Быстро покончив с ночным своим туалетом, Константин отослал маленького черномазого грека, заменяющего ему дежурного камердинера, который был нездоров.

По словам кирасира Анастаса, как звали грека, он сражался за независимость Эллады и спасался от преследований турок, когда его, раненого, подобрала русские отряды, откуда он и попал к цесаревичу.

А иные просто толковали, что юркий грек был корсаром и ушел от недоразумений, возникших между ним и правосудием.

Здесь, у цесаревича, как и другие греки, кир Анастас чувствовал себя во всяком случае лучше, чем на родине.

Укрытый заботливой рукой Анастаса Константин протянулся на своем походном жестком матраце с кожаной подушкой под голову.

Так спал всегда цесаревич, подражая брату Александру, и вообще по привычке к бивуачному образу жизни, которая особенно нравилась им обоим.

Обыкновенно, как и старший брат, цесаревич засыпал моментально, как только ложился в постель, и спал глубоким сном, почти без сновидений.

Но сейчас, несмотря на такое позднее время, цесаревич не мог уснуть, хотя и пробовал закрыть глаза и поудобнее улечься на жестком матраце.

Положительно, он помолодел, воскрес душой с минуты встречи с милой девушкой.

Вот именно такие же бессонные, сладко-мучительные ночи он проводил тогда в свои двадцать два года, когда в первый раз полюбил по-настоящему княжну Четвертин-

скую, когда хотел движения, шума, ласки, безумных и чистых в то же время, без конца.

Протянув руку, чтобы налить и выпить воды, Константин увидел на ночном столике белеющий конверт.

Тонкий, связный, причудливый почерк был ему хорошо знаком: это записка от Фифины. Не могла подождать утра, чтобы поговорить... Пишет письма...

Должно быть, вздор какой-нибудь?

Он небрежно отодвинул атласистый конверт дальше от края стола, где он назойливо лез в глаза, снова с наслаждением протянулся на постели, утолив жажду, и стал мечтать о Жанете.

Что делает она теперь? Разделась, спит? Или тоже не ложилась еще, думает о нем? Может быть, молится? Наверное, молится.

Что-то в этой девушке говорит ему, что она очень набожна, хотя и не похожа на ханжу... Но это письмо? О чем сочла нужным так экстренно известить его Фифина? Не на счет ли Павла? Он и не спросил сегодня о мальчике, как делал это обычно, когда бы ни вернулся домой.

Мысли о Жанете вытеснили у него все остальное. А вдруг мальчику нездоровится, и Фифина пишет об этом сама, чтобы чужие люди неловким заявлением не встревожили отца.

Все знают, что больше всего на свете Константин любит сына, хотя и не выказывает к нему особенной нежности, считая такие проявления вредным баловством. Наоборот, он наружно чересчур строгий отец.

И только воспитатели мальчика: француз-эмигрант граф Мориоль и обруселый поляк Фавицкий знают, сколько нежности и любви скрыто в этом суровом, грубом на вид человеке по отношению к единственному сыну¹.

Тревожимый навязчивой, внезапно налетевшей мыслью, Константин взял и разорвал конверт, раскрыл испитанный листок, придвинул свечу с абажуром и стал читать.

После первых же строк записка была скомкана сильной, большой рукой и брошена далеко прочь.

— Черт бы ее подрал, сентиментальную кошку. Тоскует... предчувствие... я разлюбил... Больна... извольте к ней являться по ночам. Нет, матушка. Больна, так зови

¹ Павел Константинович Александров, крестник Александра I. Умер в чине генерал-адъютанта. Был женат на княжне А.А.Щербатовой. Их единственная дочь вышла замуж за флигель-адъютанта, князя Львова.

коновала. Я тебе не лекарь. Себе дороже стоит. Баста! Пора бы покой мне дать. Десять лет отмаялся, ее жалея. Да вот ради Павла... Пора понять. Так нет, привязалась, кобыла проклятая! — выругался мысленно Константин, и вслух нередко выражавшийся по-солдатски, чему он научился еще в походах с Суворовым. Особенно, говоря по-русски, не стеснялся в выборе слов. А думал он всегда по-русски.

Решительно погасив свечу, он закрыл глаза.

Но еще долго не удалось ему заснуть. Жанета вытеснила все мысли, отогнала все другие образы и горела светлым видением в темноте, как призрак, видимый наяву, пока от этих грез он перешел к настоящему спокойному сну. Но и тут виделась ему Жанета, которую он все ловил и не мог догнать. Все между ней и им вырастала знакомая гибкая фигурка Фифины и подставляла себя вместо девушки...

Чутье влюбленного не обмануло Константина: Жанета Грудзинская долго не могла заснуть в эту ночь. Но молилась она мало, не больше обыкновенного. Наоборот, даже эта обычная молитва была не так горяча и не захватила души девушки, что часто с нею случалось в менее важные дни.

А день сегодня был очень важный. Если хорошенько вникнуть в себя, она ждала его больше году... ждала даже с тех пор, как сестра ее Жозефина, вышедшая потом за графа Гутаковского, флигель-адъютанта цесаревича, стала так часто и много говорить ей о Константине.

Между сестрами всего год разницы, они очень дружили одна с другою и замужняя, не стесняясь, посвящала Жанету в свои и чужие самые заветные тайны брачной жизни, знакомила с секретной скандальной хроникой Варшавы, которая и раньше была очень богата событиями, а теперь, после появления русских гвардейских полков, могла перещеголять и Париж времен Короля-Солнца, и даже Вену, над которой ее же император как-то предложил сделать одну общую крышу и надписать: «Дом свободной любви».

Как большинство полек, Жанета с детства отличалась сильным развитием женских инстинктов, врожденным кокетством, затаенным желанием выделиться среди всех подруг, властвовать над мужчинами.

Очень опасный и вредный пример в этом отношении подала ей родная мать, по второму мужу Бронниц.

В полном расцвете своей красоты и в разгаре ненасытных страстей она вынуждена была развестись с первым мужем, небогатым графом Грудзинским, который так бе-

зумно ревновал кокетку-жену, что даже одно время был болен душевно и лечился в доме для умалишенных.

Не желая оставаться в сомнительном положении «разводки», графиня быстро вступила во второй брак, дав согласие своему давнишнему обожателю, веселому кутиле графу Бронницу, имеющему довольно крупное состояние.

Этот был не так придирчив, как его предшественник и супруги жили довольно сносно. Но наступили военные грозы. Граф вынужден был эмигрировать, его маентки подверглись конфискации и семья долгое время жила довольно плохо в материальном отношении. Только старые связи графини и ее новые друзья облегчали гнет нужды сиятельному семейству, где, кроме трех дочерей от первого брака, явились еще дети второго мужа.

Мать, очень легкомысленная в других отношениях, не могла расстаться с дочерьми, тем более что все они были очень миловидны и дальновидная матушка не напрасно надеялась, что судьба девочек устроится хорошо, влияя тем и на лучшее будущее самой графини.

Случай помог Бронницам. Граф после семилетних своих скитаний по Европе столкнулся с цесаревичем, сумел понравиться ему, расположил к себе, тронул доброе сердце Константина описанием действительных и мнимых страданий и бед, какие претерпело все сиятельное семейство... И как только Константину пришлось поселиться на житье в столице Польши, — по названию скромным начальником польской армии, а на деле — диктатором всего края, — Бронниц получил назначение при свите цесаревича; как гофмаршалу, ему отвели помещение в замке, дали приличное содержание. В общем же все обязанности графа сводились к нулю, он занимал синекуру, потому что сам Константин не вел придворного режима, принимал сослуживцев по гвардии только в Пасхальную ночь, да еще раза два в год, в особо торжественные дни.

Наместник князь Зайончек устраивал в королевском замке приемы, но и это случалось нечасто.

И семья Бронницов тихо коротала свои дни под сенью замка. А Бронниц — картежник, кутила и игрок — под предлогом светских связей, в надежде картами сразу поправить обстоятельства семьи, ночи проводил в безобразных кутежах или за зеленым столом. Конечно, долги увеличивались и на жизнь не хватало казенного содержания и тех крох, какие еще сохранились у графа и графини от их бывшего состояния.

Нужно было придумать что-нибудь особенное.

Одна из дочерей, Жозефина, нашла себе приличную партию, хотя и с трудом. Слишком широкой и не совсем почетной известностью пользовался дом ее красавицы-матери. С годами графиня Бронниц несколько остепенилась, но старых привычек бросить совсем не могла...

Оставались еще две девушки. Обе хорошенькие, прекрасно воспитанные. Старшая из них, Жанета, особенно выделялась среди сестер. И на нее-то возложили свои надежды, с ее помощью надеялись осуществить задуманные хитро тонкие планы супруги Бронниц.

Для последнего, так сказать, штриха, чтобы придать законченность и лоск воспитанию своей «принцессы», графиня повезла Жанету в Париж и поместила в одном из лучших пансионов.

Наконец девушке исполнилось двадцать лет.

Ни ее года, ни обстоятельства семьи не позволяли болсе медлить.

— Пора поставить ва-банк! — объявил на тайном домашнем совещании граф своим образным языком. — Взята или бита! С Фифишкой у его мосци совсем пошли нелады. Он, как я заметил, человек прилипчивый, мужчина слабый: привяжется к какой-нибудь шлюхе. И тогда первая красавица и умница в мире не отклеит его долгое время. Момент самый психологический, как говорит мой приятель профессор Лелевел. Кстати, и делу отчизны пора помочь с особенной силой. Зайончек гроша не стоит. Чарторыские своими промахами оттолкнули от себя не только нашего наияснейшего круля Александра с князем Константином, но и первейших вельмож наших и русских. Они это заметили, вербуют себе мелкую шляхту, даже всякий сброд в Варшаве и на Литве. Суют нос и в войска... Словом, дело опасно. Надо умненько, чтобы не поднять на дыбы, дать понять Константину, в чем тут дело. И тогда возможно, что сила перейдет к нам и к нашим друзьям... Князь Любецкий, сам Зайончек и многие другие обещали мне поддержку... Теперь необходимо пустить в ход женское влияние. Жанета умна, покорна вам и набожное дитя... Отчизна и наша святая вера не забудут всего, что она сможет сделать на пользу народу и церкви... Я уже толковал с отцом Винцентием. Поговорите, графиня, еще с ним и с Жанетой, когда привезете ее к нам... Скажите, как мы все ее любим и ждем, что Бог пошлет ей высокую счастливую долю...

Через месяц после этого совещания Жанета вернулась в Варшаву. А через две недели еще состоялась ее встреча с Константином.

Но матери, хотя бы и очень осторожно, тонко, вовсе не было надобности намекать Жанете, какое «счастье» может встретить она на своем пути.

Жанета по природе была странное существо.

Узнав очень рано о том, что составляет сущность отношений между мужчиной и женщиной, еще ребенком она умела отлично разбираться в оттенках самых странных отношений, какие возникали между матерью и ее многочисленными любовниками. Сама девушка рано почувствовала в себе известного рода безотчетное влечение к представителям другого пола. Но это стремление не было грубо-чувственного оттенка, как у многих из ее подруг.

Те видели определенного рода сны, сильно отдавались в своих пылких грезах и просыпались разбитые, утомленные, но счастливые.

Совсем иначе проявилась женская зрелость в Жанете.

И она любила окружать себя молодыми красивыми поклонниками, шутить с ними, упиваться огнем их сдержанной страсти. Ей снилось порою, что она — царица, окружена рыцарями, принцами, королями. Все ей покорны. Молят об одной ласке. Ради этого они совершают всякие подвиги, убивают соперников, освобождают заключенных, помогают тысячам несчастных... И затем она выбирала достойнейшего. Одежды спадали с нее, и он, как бешеный, кидался к ней, целовал безумно, страстно, бесконечно долго всю... всю... И — не больше.

Грубая чувственность спала в девушке. А наблюдательный ум и широкое честолюбие подсказали, что самое верное средство овладеть мужчиной — это и поддаваться его домогательствам, и вечно отдалять самый счастливый миг.

Это касалось общей тактики с мужчинами.

Являлся второй вопрос: кто может быть избранником этой девушки?

Ответ был дан давно: император, король или владетельный герцог, по крайней мере. И непременно герой.

Иногда, напротив, Жанете казалось, что все это: и страсти, и геройство, и величие земное — ничтожно перед Небесным Светом и неземной радостью. Тогда ей хотелось уйти в келью, поразить мир силой подвига, своей святостью. Огнем молитвы она хотела бы исправить зло мира,

очистить души людские, такие слабые и грешные, как она это хорошо успела узнать.

Но и такое настроение уходило в конце концов. Ей грезилось, что родина не может больше выносить чужого позорного гнета. И она, новая Жанна д'Арк, Жанна из Полонии, ведет за собой победоносные полки... Враг изгнан, она избирает лучшего из лучших, храброго из храбрых и возводит на древний трон Пястов и Ягеллонов. И сама, конечно, садится рядом, героиня и повелительница по милости Бога и по воле отчизны...

Эти грезы сильнее всего потрясали нервную девушку. Никакое наслаждение сладострастных снов, никакая греза честолюбия не могла так потрясти души и тела Жанеты.

И вдруг нечто подобное она услышала от людей, которые, как она знала, слишком практичны, чтобы тратить напрасно слова и грезить о несбыточном.

Довольно неожиданно мать повела с девушкой беседы о положении родины, о былом ее величии, о настоящем унижении, хотя и состоялось комическое возрождение.

— Знаешь, Жанеточка, что однажды я слышала про нашу милую родину, как говорили о Польше? Кто-то из патриотов пожаловался на урезанный вид настоящего крулевства. А злобный остряк Ланской возразил: «Зато, посмотрите, как красиво выглядит она на карте: совсем обнаженная женская грудь, напряженная от страстных желаний...» «Не мудрено, что столько рук и жадных ртов тянется к этой бедной груди», — опять отозвался первый. — А это грудь нашей отчизны, не продажной какой-нибудь прелестницы... Вот, Жанеточка, как дело обстоит. А между тем есть надежды. Круль Александр думает вернуть нам те земли, которые теперь называются западными губерниями... И если бы его мосць князь Константин сумел... Если бы нашлись люди, которые могли бы повлиять на него осторожно и умно... Он — дикий, бешеный... Но женское влияние чего не может!..

Мать не договорила... Перешла на другие темы.

Однако Жанета поняла, к чему клонился разговор.

Итак, не Жанной д'Арк придется ей быть, а, может быть, Эсфирью, спасительницей Израиля! Что же, все равно! Она бы не отказалась и от роли Юдифи, если бы только знала, что даст свободу и счастье отчизне, заслужить себе славу и величие теперь и в веках.

Но не успела эта мысль сложиться в голове у девушки, как она взглянула на свои маленькие холенные, почти де-

тские руки с узкими тонкими пальцами, с отточенными ноготками, подошла потом к зеркалу, взглянула на свою легкую стройную фигурку, такую хрупкую, с узкими покатыми плечами, с округлой, налитой, но такой еще девической грудью... Посмотрела и улыбнулась: можно ли этими руками поднять тяжелый меч, эти ли плечи дадут силу размахнуться для страшного удара?.. Даже нож Шарлоты Корде не удержится в ее тонких слабых пальчиках... Да и не по душе девушке насилие, кровь! Не того хочет Спаситель мира! Любовью, жертвой своей собственной жизни Он спас людей от вечных мук и гибели... К такому же подвигу, к подобной, хотя и меньшей жертве стремится сердце девушки. Лучше быть кроткой Эсфирью... смягчать сердце Артаксеркса.

Вдруг мысли девушки сделали скачок: а и в самом деле он похож на такого человека, каким в детстве Жанета представляла себе Артаксеркса — большой, сильный... Брови — кустятся над глазами, как темные заросли над двумя светлыми озерами. И добрый он, и злой. В ярости доходит до безумия, оскорбляет смертельно людей... И тут же остыв, проявляет величайшее великодушие, смирение... Самые противоположные пороки и добродетели столпились, сплелись загадочно в душе этого полного, грузного на вид, даже неуклюжего человека. Он на войне бравировал перед лицом смерти, здесь — ходит по больницам, посещает разных больных из числа своих приближенных или военных сослуживцев, как он зовет всех, от последнего солдата до генерала... Как хорошо овладеть такой душой. Затупить в ней огни злых стремлений и страстей, разжечь пламя высоких порывов и дум. Ради этого стоит жить, насиловать себя годами, осторожно, упорно, хитро перевоспитывать этого огромного, могучего «ребенка» и представить его миру, как свое дитя, как прекрасное творение Бога, совершенное, усовершенствованное любовью, душою преданной женщины...

Иногда, когда какие-нибудь сильные ощущения наполняли грудь девушки, ей хотелось быть блестящей музыкантшей, чтобы звуками выразить свой восторг. Порою она жалела, что не имеет дара живописи, чтобы запечатлеть на полотне прекрасные уголки природы или красивые женские и мужские лица, которые чаровали зрение эстетически чуткой Жанеты.

Иные, неясные, тонкие и волнующие настроения девушка готова была бы выразить в созвучиях, красивыми

стихами... Теперь ей тоже казалось необходимым как-нибудь излить все, что душило ей грудь, жгло лицо, задерживало биение сердца и холодом обливало плечи и стан.

Сев к столу, она стала быстро набрасывать своим мелким, четким, бисерным почерком письмо к далекой наставнице, мисс Коллинз, которая в Париже занималась воспитанием девушки и успела очень привязать к себе впечатлительную, горячую душу ее.

«Дорогая мисс Коллинз, — писала Жанета, — минуты, какие я переживаю сейчас, сдается мне, будут роковыми, решающими в моей жизни, и я не могу не поделиться с вами, кого судьба послала мне, как близкого друга и лучшего советника. Вы не только знаете людей и жизнь, вы знаете меня такую, как я есть со всеми моими пороками и теми искорками хорошего, какие Господь в своем милосердии отпустил бедной глупой светской девушке.

Правда, у меня здесь есть мама. По моим рассказам и по личному знакомству вы хорошо знаете ее, мою бедную, немножко слишком беззаботную и легкомысленную маму, на которую я порою смотрю, как на свою младшую подругу. Конечно, все недостатки людей, все, что делается плохого на свете, мама видела больше моего и знает это отлично. Но многое, что меня глубоко интересует, от чего волнуется моя душа, для нее покажется детским лепетом, наивностью монастырской послушницы. А между тем, вы знаете, что я далеко не наивна по природе. Да и вы, дорогая мисс, старались сделать из меня по возможности настоящего человека, женщину, которая знает, почему она именно так создана на свет, в чем ее назначение, что значит любовь во всех ее проявлениях и какие последствия влекут за собою такие священные, такие неземные порывы, как ласки двух влюбленных душ. Я все это знаю, не меньше мамы. Но мама не знает, что есть еще кое-что, кроме земной ласки... Что есть мировое влечение душ, сродство их, стремление стать лучше, чем успела их отлить и выпустить в земную жизнь творческая сила природы. Да и кроме того множество материальных, мелких, досадных забот по устройству дома, поддержание блеска семьи — все это отнимает много сил и дум у мамы... Вот почему вы одна остаетесь мне... Впрочем, зачем кривить душою? Вы же не любите этого, дорогая! Если бы мама и захотела, и умела меня понять, я сама не пойду ей навстречу... Раньше я просто боялась, не любила... презирала... да, презирала свою родную мать за многое, что считается принятым в

нашем свете, но что для моей детской гордости и брезгливого чутья казалось позорным, отвратительным. Потом, когда я стала старше, мне стало жаль маму... Но любить ее я все-таки не могла... И только вы, дорогая, научили меня понимать и прощать... Показали, что мама не могла быть иною... Что ей самой хотелось бы стать лучше, да не хватает сил... Я даже простила маме, что она взяла такого мужа, как мой отчим, который не стесняется грязными руками, с порочными ласками касаться своих названных дочерей... Но простив, я все же не могу видеть друга в той, кого я называю своей матерью только по имени... не любя, не уважая... только жалея... И потому, что я не могу любить ее, так несчастна... Но об этом мы много говорили с вами, милая мисс Коллинз! Молитва помогала мне выносить мое тяжелое детское горе.

Теперь наша дружба и благодать Божия помогут переступить порог новой жизни смело и твердо, как подобает настоящей женщине, сознающей свое превосходство и свою слабость на земле. А переступить порог пора настала.

Сегодня я встретила его! Вы не улыбнетесь, я знаю. Вы поймете, что я не ввожу в заблуждение себя и вас.

Это — именно он, тот, кого каждая женщина должна встретить в своей жизни для того, чтобы жизнь ее не была прожита напрасно. Пусть несчастье, пусть муки ада, но с ним они дадут полноту жизни. А без него и царский престол кажется пустыней или кельей темницы... Это не романтические возгласы. Я же успела кое-что испытать в области чувства и даже страстей... Не говоря уже о тех книгах, которые прочла одна и с вами, о разговорах наших и тех, какие приходилось вести с кузенами, с молодыми людьми, уверявшими, что они умирают от любви и страсти ко мне... Помните, я вам говорила о майоре Лукасиньском, который мне очень нравился и готов был сделать мне предложение, если бы надеялся на согласие моих родных... Потом капитан Велижек, который иногда даже кружил мне голову своей необузданной силой чувств... Я только почему-то боялась и боюсь его, как будто он носит на себе роковую печать несчастья... А своим предчувствиям я очень верю... Но не в том дело... Когда мне говорили о нем, я уже волновалась заранее, хотя он был очень далек от меня... Наследный князь огромной империи... деспот, необузданный тиран по привычкам, распутный мужчина по наклонностям, но в то же время нежный отец и терпеливый любовник, ради сына готовый сносить десять лет причуды

женщины, им уже не любимой, взбалмошной, но безупречной в прошлом и, как говорят злые люди, даже и в настоящем...

Вы догадались, что я говорю о нашем цесаревиче Варшавском, о Константине, о котором столько вестей и слухов долетало и в Париж, в наш милый пансион.

Видела я его и раньше. Но я была совсем девочка. Он мне нравился, вопреки дурным толкам, доходящим и до моей комнатки... Потом я уехала. Теперь вернулась и почему-то сразу первая моя мысль по приезде была о нем.

Каким я его встречу? Изменился ли он? Понравлюсь ли я ему? И без конца пошли думы... Особенно, когда моя милая мамочка осторожно дала мне понять, что я с моей наружностью, с моим умом могу очаровать первого мужчину в королевстве и затмить всех других женщин, принести счастье отчизне и т.д. и т.д. Мама не прибавляла, что и ей, и отчиму будет неплохо, если первые мужчины королевства падут к ногам их дочери... И, конечно, не безногого наместника нашего князя Зайончека видели они у моих ног... Эта почтенная кукла с седыми усами очень симпатична. Но благо или несчастье родины зависит не от него... Я сразу поняла, о ком говорят... И сразу же решила: умру или он будет мой!

Так я решила умом. А теперь, когда мы провели вместе почти весь вечер... Когда он сидел так близко и кровь то кидалась мне в голову, то отливала далеко, будя какие-то неясные, но жгучие ощущения... Когда мы говорили при первой встрече так, как-будто много лет знали друг друга... Когда его поцелуй, которым он коснулся моей руки, заставил меня понять, что я — женщина... Когда... Словом, когда я сердцем сразу поняла, что это — он! и полюбила его, как посланного мне судьбой, как своего мужчину должна любить каждая женщина...

Теперь я повторяю свою клятву: он будет мой или я не буду жить на свете!

И если это сбудется, что бы ни грозило мне впереди, — я буду счастлива! И постараюсь дать ему счастье... И помогу ему стать лучшим среди людей! Аминь, да услышит меня Господь Бог мой! И вы, дорогая моя, молитесь за меня!

Ваша Жанета.

P.S. Дружбою нашу заклинаю: прочтите эти строки — и сожгите их. Я так прошу. Ж».

Кончив письмо, девушка перечла его, запечатала, потушила свечи на маленьком письменном столе, у которого сидела, и подошла к окну.

Занимался холодный зимний рассвет. В городе еще спали. Только там, у реки, из труб небольших бедных домишек вились тонкие дымки. Там просыпалась нужда...

В плохо натопленном покое старинного замка Жанета вздрогнула, представив себе, как холодно там, в этих совсем остывших за ночь, жалких конурах...

Потом поглядела туда, где лежал парк с Бельведерским дворцом.

«Он спит теперь, — подумала девушка. — Может быть, видит меня во сне... Как смешно: и не молодой он, и не красив собой... Лысый уже... А вот именно он мне стал близок... и так сразу... Судьба!»

С этими думами бросилась усталая девушка в постель и мгновенно заснула.

Дня два спустя особенная суматоха поднялась в квартире, занимаемой графом Бронниц в Королевском замке. Не только покои были прибраны, как к светлому празднику, но и площадь, прилегающая к небольшому боковому подъезду, который вел в квартиру, была подметена и убрана тщательнее обыкновенного.

Капитан Велижек, бывший в караул на гауптвахте замка, из окна караульного помещения время от времени поглядывал на слишком знакомый ему подъезд и заинтересовался усердием челяди, заботой о порядке, проявленной совсем не в урочное время.

Какое-то неприятное ощущение, не то физическое, не то душевное, вроде дурного предчувствия, сжало ему грудь.

— Кого это ожидают Бронницы сегодня? Кажется, у них не приемный день? Или... «старушка» нашего ждут в гости? Недаром, говорят, на балу у Зайончека он увидел Жанету, так и прилепился к ней... Старый козел!

Встревоженный капитан почти и не отрывался теперь от окна и ровно в восемь часов увидел, как без гайдука, без всяких спутников, совсем в виде частного человека в небольших санях появился у подъезда Константин и скрылся за дверьми.

Побледнев, крепко стиснув зубы, капитан отошел от окна и весь вечер проходил из угла в угол, угрюмый, мол-

чаливый, отрываясь от тяжелых дум лишь на минуту, когда того требовала служба.

Константин, заранее предупредив Бронница о своем посещении, просил, чтобы все было за просто, но сам явился в полной парадной форме, со всеми орденами, исключая только Почетного Легиона, полученного после Тильзитского соглашения из рук Наполеона.

Разлюбив прежнего героя своих дум, цесаревич избегал носить знак отличия, напоминающий тяжелые для России дни, тем более, что это был орден, полученный не за военные заслуги, а скорее, за содействие к заключению мира, за то, что цесаревич умел влиять на Александра так, как того желал сам Наполеон.

Кроме графини и гофмаршала все три дочери были допущены в гостиную, где состоялся первый прием.

Это был очень ловкий ход со стороны опытной мамы.

Вечеру был придан семейный оттенок, посещение не могло носить такого щекотливого характера, как будто гость явился ради одной Жанеты. Девушка и без того чувствовала невольное смущение; но при сестрах, которые первое время щебетали и болтали без умолку, — особенно младшая, Антуанета, или Тонца, как звали ее свои, — Жанета постепенно успела овладеть собою, приняла участие в общей беседе.

Гофмаршал тонко сумел направить в надлежащее русло наивные вопросы и замечания младшей падчерицы, которая естественно заинтересовалась бесчисленными регалиями необычайного гостя.

— Вот пристаёт ко мне малютка: не знаю ли я, где и как ваше высочество получили такие большие знаки отличия? Девочки мои слышали о ваших военных подвигах, ваше высочество. Но если бы ваше высочество пожелали сами в нескольких словах пояснить?.. Это вышел бы такой блестящий урок истории, какого, конечно, ни один профессор не преподаст им по своим книжкам, ваше высочество!

Стрела попала в цель.

До этой минуты Константин сидел очень официально и после первых, «визитных» фраз, словно не знал: как ему себя держать?

В своем обычном, военном кругу или с женщинами — более веселыми, чем приличными, цесаревич был всегда оживлен, мог говорить без умолку, хотя и тут, как всегда, речь его лилась несколько тягуче, как тянется от руки к руке густое вязкое тесто...

Всякая сдержанность была тяжела для Константина. А тут в присутствии молоденьких особ, из которых одна совсем его чаровала, — грубоватый по манере гость предпочел больше молчать, чтобы не прорваться чем-нибудь в пылу беседы.

И вдруг такая благодарная тема была предложена хитрым графом!

Константин любил вспоминать прошлое даже не потому, что сам играл в нем значительную роль.

Настоящее всегда стояло неприятной, трудной загадкой перед нерешительным, тяжелым и в мыслях, как в речах, Константином.

Он умел говорить образно, остроумно, забавно. Но должен был раньше хорошенько подготовить себя и свои остроты и шутки. Наблюдательности и чутья было у него гораздо больше, чем способности к импровизации, к быстрому соображению, как в мелочах, так и в важных вопросах и делах.

Повторяя много раз свои самые удачные рассказы, картины из прошлого, цесаревич умел внести каждый раз что-нибудь новое, занимательное в знакомую нить повествования.

Но в первый раз даже самую простую историю, как бы она ни была забавна сама по себе, он передавал так нудно, что окружающие могли заснуть от тоски.

Зная за собою этот грех, Константин всегда опасался начинать «с начала», предпочитая идти с конца, повторять то, что было уже сказано, продумано не раз.

Бронниц хорошо знал, что он делал.

На его предложение цесаревич отозвался очень живо и охотно.

— Графине Антуанете интересно? Что ж, если и другие желают?... Да? Извольте. Начну с начала. Вот первое, самое драгоценное для меня, отличие: орден св. Иоанна Иерусалимского, пожалованный мне покойным государем Павлом Петровичем, который вы, должно быть, знаете был магистром мальтийцев и сей орден ставил превыше всех других, даваемых за военные труды и заслуги. Мы тогда воевали в Италии. Высокие горы, знойные долины. Французы страху нагнали на всех... пока их самих не погнал наш богатырь-чудак Суворов. Что это был за человек... Какой начальник! Больше нет таких. Недаром даже враги боялись, но любили его. Вот он учил меня военному делу. Первое время было еще туда-сюда. А потом — задали мы чёсу французам.

Оживляясь, Константин с французского перешел на польский язык, как бы желая блеснуть перед слушателями своими познаниями в их родной речи. Да и легче было ему говорить о былых годах боевой жизни на языке, который все-таки имел много общего с русской речью.

— Вот освободили мы Турин. Там — Александрия в наших руках. Дождь, ветер. Не беда. Пешком шли мы. И я с моими солдатами. Славный народ наши солдатики. Макдональд нам наперерез, а мы его так притиснули, что он, чертов сын, за Тидоне, на Треббию кинулся...

Благодаря огромной памяти цесаревич словно вчера переживал, видел перед собою былые события и сыпал именами, приводил даты, как будто по книге читал настоящую лекцию истории. Передохнув, он продолжал:

— Два дня шла драка. Упорные эти французы, особенно если их подогреет хороший генерал. А Макдональд был не промах. Но — куда ему до нашего «орла»! В ночь на 9 июня ихнего стиля — и от Треббиа отступили макдональдские полки. Знойные были деньки, нечего сказать. Сверху — солнце палит. Внизу — бой горячий два дня тянется. Ничего, одолели! Еще два месяца прошло. Александрия, Тортон, Мантуя — все понемногу у нас в руках. А тут и август подошел. 15 августа, по ихнему счету, завязалась баталия при Нови. Знаменитое дело! Да Суворов заново при Нови их в пух расколотил, республиканцев этих, задир безоглядых. Не выдержали русского штыка. Тыл дали! Ха-ха-ха!.. Весслый был денек. Я тут тоже пулям поклонялся, как и другие. Выбили мы врага из городка из проклятого. Огляделись, — а почти вся Италия свободна от насильников: и венецианские земли, и сардинская корона. И Ломбардия, и Пьемонт. Тогда вот от сардинского короля и получил я свою Аннунциату, эту вот, с цепью... Красивая штучка...

— Прелесть... прелесть... какая работа! — щебетала Антуанета. — А дальше, мосце ксенже?.. Мы слушаем...

— Дальше? Швейцарский поход сломали. Тут потруднее дело было. Горы, пропасти — глядеть страшно. Зима, снег, обледенелые дороги по краю провалов... И мосты-то там «чертовы» называются. Так уж про остальное что говорить?! Да еще неприятель нас намного числом превосходил, сударыни мои. Одного у них не было — Суворова! Тем только мы и взяли! Сен-Готтард пресевалили с боем... К Муттену прошли, а тут — запятая. Кругом обложили нас вражьи силы. Массена уж и хвастать стал, что Суво-

рова со мною напоказ в Париж привезет... Да по русской поговорке: «Бог не выдаст, свинья не съест»... Фигу съел хвастунишка! Через горы, через страшный перевал перелетели соколики наши со своим «орлом впереди. Только спустились в долину посвободнее, тут и драться пришлось, сторожили уже нас. Ничего, пробились на Гларис, на Илланцу. 30 сентября пустились в путь, а 15 октября на месте были, в безопасности... Те, конечно, кто в живых остался. А и погибло немало, упокой Господи.

Константин невольно тихо сотворил молитву...

— И за это?.. — после небольшого молчания негромко спросила Антуанета.

— Вот Марии-Терезии звезда и ленты от императора австрийского. А от покойного государя, от Павла Петровича — одобрение... и награды были... Цесаревичем наименован...

— А это? — указывая тоненьким розовым пальчиком на шпагу с золотым эфесом, украшенным камнями, неугомонно продолжала допытываться девушка.

Он как-то особенно, даже нежно коснулся георгиевского креста второй степени, украшающего его грудь:

— Это — за Лейпциг. Там пришлось поработать... Сначала артиллерия моя погладила приятелям спину и бока. А там — 16 октября — мои отряды все двинуты были на центр вражеских позиций. Имел честь потрепать армию, которой распоряжался сам непобедимый Бонапарт, ха-ха-ха... Ничего, Бог помог!.. Ха-ха-ха...

Константин совсем развеселился. Довольны были и окружающие.

Вдруг совершенно неожиданно его густые, щеткообразные брови нахмурились, лицо словно потемнело.

Насколько он казался привлекателен в минуту веселья, миг тому назад, настолько же старообразным и некрасивым показался сейчас.

Окружающие с тревогой и недоумением переглянулись. Уж не они ли причина такой внезапной перемены? Чем только? Никто не мог понять.

Константин заметил общее смущение и быстро заговорил:

— Да вот, расхвастался я тут... Солдатики дрались, кровь проливали... А я...

— Ну, как же, мосце ксенже, — решительно возразил Бронниц, поняв в чем дело, — вспомните, каким опасностям извоили и вы подвергаться наравне с другими. Вы — опора

трона, надежда целого народа... А ваши личные подвиги... Вот спросите, девочки, как лихо действовал его мосце при Фер-Шампенуазе... Что? Не скажете, что тут вы ни при чем?

— Что такое? Я слыхала, ваше высочество... Только немного, — неожиданно подала голос Жанета, чувствуя, что только она одна может смягчить тяжелое настроение, почему-то овладевшее высоким гостем. — Если вам не трудно, может быть, вы соизволите... Нам бы так хотелось...

— О, если вы хотите... Хотя и дело простое... То есть с моей стороны, конечно. А по голосу всех знатоков, дело это, о котором Бронниц помянул, самое красивое было, может, за все 20 лет, что Наполеон народы друг против друга взбаламутил... Атака кавалерийская лихая, единственная была! Представьте себе. Бой шел целый день. И завязался-то он так неожиданно... Как сейчас помню: было это 25 марта позапрошлого года... Бонапарт нам отступление отрезать задумал, в тыл кинулся... А мы его провели. Закрылись, как занавесью, отрядами конницы и сами от Сомспьон прямо на Париж двинулись! И совсем неожиданно — нос к носу под Фер-Шампенуаз столкнулись с целым корпусом Мормона и Мортье. Тысяч семнадцать у них было на счету... Ну, да мы стянули сюда вдвое больше. К вечеру отступать стал чуть не бегом к Парижу Мормон с приятелем своим Мортье. И откуда ни возьмись подвалил второй отряд поменьше: корпус Аме и Пакто. Тоже тысяч шесть в отряде... Сам император Александр в дело вступил... Искрошили эту горсть врагов, лучше быть нельзя. Три тысячи человек из бригады в плен попало. Всех бы изрубили наши молодцы. Сам брат в свалку кинулся, под сабли, среди штыков. Остановил резню... Да это все знают. Всего одиннадцать тысяч человек с Мортоновскими попало в плен, да орудий семьдесят пять взято. Я с моими двумя полками, с конной гвардией да с лейб-драгунским в обход с левого фланга за Мртоном кинулся. Овраг глубокий их прикрывал на несколько верст. Вечерело. Думали французы, спокойно уйдут. Нет, не тут-то было! На свежих конях обогнули мы овраги... Построились! Там тоже изготовились нас встречать. Затрубила труба: тра-та-татата-та! Команда... Сабли наголо... Марш-марш! Дрогнули живые стены... Зарокотала земля от удара тысячи копыт. Гуп! Гуп! Гуп! Гуп! Стеною, лавиной понеслись наши молодцы-гренадеры. Драгуны молнией обрушились на французскую конницу. Сшиблись! Сердце рвалось из груди, глядя, как сеча пошла! Тыл дали конные французы. Пехота за ними ждала,

наготове стояла... Пехоту смяли наши молодцы... Гнали, рубили. Пушки ихние и выстрелить не могли в наших, так лихо и близко налетели мы. Врассыпную враги... А там, как нельзя было больше их гнать, снова скинулись наши эскадроны. Как на параде, без задоринки бой выдержали и назад вернулись. Не даром я с ними столько трудов на ученье потратил!..

— И жизнью тут же рисковали, мосце ксенже?

— Ну, разве думаешь тогда о чем-нибудь? Команда дана. Рассуждать, колебаться не время. Выше всего на свете — команда. С нею все легко. Вот уж как сойдет эта горячка, тогда, конечно, и о жизни вспомнишь... и о смерти... А когда враги перед тобою, особенно, когда тыл дали... О чем тут можно думать? К черту их загнать, к дьяволу одна и дума!

— Правда, конечно, тут все забудешь! Боже мой! Подумать, сколько опасностей вы перенесли! — вздохнула панна Жозефина.

Антуанета молча всплеснула руками.

Жанета взглянула лишь на цесаревича и перевела глаза на небольшое распятие, стоящее на камине, как бы благодаря Бога и призывая Его хранить всегда смелого рассказчика.

Константин все заметил, задумался, помолчал, потом заговорил негромко, медленно. Узнать нельзя было, что минуту тому назад он так сильно рисовал картину боя.

— А после этих уроков истории, как вы назвали, Бронниц, хочу я вам сказать, как я разлюбил войну... Кстати, расскажу, как струсил раз... самым скверным образом.

— Струсили?! Что вы, мосце ксенже? Быть того не может, как Господа Бога люблю. Шутите. Смеетесь над нами...

— Послушайте. Вот узнаете. Я вообще, от природы робок. Да, да. Потом это я понял, что не годится робеть. Хуже тогда. Ну, и ничего. А бывало, всех и всего я боялся. Наставника-швейцарца, Ла-Гарпа... Слыхали о нем... Отца покойного, государя Павла Петровича как огня опасался... Не смейтесь... Его самые храбрые боялись... И потом многих... Ну да не о том речь... А вот в ту же кампанию в итальянскую такое раз случилось... в самом начале еще. Было это семнадцать лет тому назад. А я вот как сейчас помню... В 1799 году поход наш итальянский начался. 27 апреля к Валенце мы пришли. А 30 — пришлось атаковать французов в Басиньяно. И по соседним местечкам отряды

их засели. Две роты были у меня. Деревеньку Пиччето очистить надо было. Уж правда: «крошечная» деревенька. А вся в зелени, виноградом домики заплетены. И в домиках — стрелки, нас пощелкивают... Жужжат вокруг пули, как шмели... Да что делать! Приказано выбить врага. Оружие я поставить на холмике приказал, оттуда как стали сыпать по деревеньке, — живо убралась дружина... Пушки ихние тоже отошли далеко назад. Начало, думаю, хорошее... А к концу боя — не то вышло... Отступить, почти бежать нам пришлось, чтобы в плен не попасть всему отряду... Далеко французы не гнались, тоже побоялись, видно. А наш отряд весь — как стадо без пастуха, в кучу сбился у высокого берега речного, где переправа была... Я сзади ехал. Казак мой, Пантелеев, за спиною у меня, как нянька, бережет... И вдруг выстрелы сзади послышались... Черт их знает, откуда... Словно безумье нашло на людей. Стадом кинулись к воде, падают с берега, давят, топят друг друга... Все смешалось. Ни строя, ни порядка, ни начальства... Врага не видно... Драться не с кем... Вот-вот засвистит картечь вражеская и станет косить, как спелый хлеб, людей и коней... Сам не знаю, как шпоры я дал коню. Уйти бы только от этой гибели, которая тут, за плечами, бессмысленная, противная, бесславная... С кручи конь мой в воду прыгнул... Бьется, тонет, видно... А я и не помню ничего... шпору его... закоченел на седле... Вдруг Пантелеев рядом появился, коня за повод к берегу вывел... Меня снял... Лодку нашел какую-то, меня посадил... Переправил меня через реку... Монастырь тут оказался и деревенька, Мадонна-делле-Грация называется... Там и переночевал я. Как дитя, на чужую волю отдался. Только на другое утро пришел в себя и к отряду прискакал своему... С той поры я войну разлюбил... тогда понял, как противно гибнуть так нелепо... Как это страшно... Понял, что тысячи так гибнут... и только сотая часть в упоении боя забывает ужас смерти... А если его не забудешь... тогда — позор!..

Наступило молчание. Потом все хотели что-то сказать — и остановились разом, как это бывает в подобных случаях. Наконец граф овладел ситуацией и сентенциозно произнес:

— Самым прославленным храбрецам свойственны такие минуты... растерянности...

— Храбрым бываешь только тогда, когда не думаешь сам... когда тебя ведут, когда тебе приказывают... когда нет времени рассуждать. В этом — сила дисциплины солдатской.

Без слепого послушания не может существовать ни войско, ни война. Храбрости не может быть у человека, если он не совсем глуп... — настойчиво возразил Константин.

Тема была исчерпана. Девуцы издали несколько восклицаний восторга, кроме Жанеты, которая молчала. Графиня перевела разговор на житейские темы и вечную борьбу, особенно если есть дети... О них надо подумать, ради них приходится воевать не хуже, чем на полях сражений...

Разговор принял светский характер. Как-то незаметно, через известное время вполне прилично вышло так, что Жанета и Константин очутились одни.

Это было уже перед самым уходом гостя.

Молчаливая бледная подняла на него девушка свои блестящие глаза и твердо произнесла:

— Я поняла, зачем вы говорили... про Басиньяно...

— Чтобы вы узнали меня хорошо, Жанета.

— О, я так знаю вас уже...

— Дай Бог! А я и сам не знаю себя... когда приходится самому разобраться в себе или решиться на что-нибудь, что не совсем ясно моей душе... Так трудно мне разобраться тогда и в себе, и в поступках...

— А я вас вижу, знаю все-таки... Вы такой...

Она не договорила.

— Вспыльчивый, жестокий, взбалмошный... Беспутный порою, испорченный...

— Нет, нет! Прямой, хороший, чудный...

— Пусть будет так... хотя бы только в Вашем воображении. За это я...

Он тоже недосказал, остановился, тем более что слышны были голоса родителей, благоразумно дающих знать о своем приближении.

— Мы скоро увидимся... еще поговорим, — целуя руку, сказал Константин и снова его лысеющий лоб обожгло мимолетным поцелуем девушки...

Вошли Бронницы. Еще поговорили для приличия и с низкими поклонами проводили чуть не до крыльца дорогого гостя. Особенно рассыпался граф.

Когда около 11 часов вечера Константин вышел из подъезда, сел в сани, вдруг на гауптвахте ударили сигнал, выскочил караул, вытянулся с дежурным офицером во главе, отдавая честь отъезжающему цесаревичу.

— Дурень! — громко выругался Константин не то по адресу дневального, не то караульного офицера, который не сумел понять, что подобное усердие совсем не к месту.

Криво улыбаясь, проводил взором Велижек сани, убегающие по тихой сейчас широкой Замковой площади, окутанной зимней полумглою...

— Коего черта я вдруг перед ними про Басиньяно вспоминать стал, — едва отъехав от крыльца, буркнул про себя Константин. — Вот уж язык мой — враг мой! Ну, с нею бы еще откровенничать. Девицы это любят. Но старая лиса Бронниц и неувядаемая графиня-маменька... Вовсе уж перед ними не след бы так душу выкладывать изнанкой кверху. Прямо дурею я, когда немного заплешет у меня в голове от какой-нибудь мамзели... Просто все глупость, надо думать. Давно я интрижки не вел настоящей, вот кровь своего и требует. А пока что навернется, надо, видно, к Фифине приласкаться, голову освежить. Ее счастье.

Подумал и невольно сморщил лицо в гримасу, словно кислого хлебнул.

— Хныкать станет, корить. Да и отошала совсем за это время. Пожалуй, и вправду, больна серьезно. Как ее ласкать, когда боишься: не рассыпалась бы тут же на щепочки от неосторожной ласки... То ли дело Жанеточка... Огурчик... яблочко наливное... Эх!.. Нет, лучше не думать... Фифина с огоньком еще женщина. Особенно, когда мириться с ней начнешь после ссоры... Загляну. Навернос, не спит еще. Может быть, и влюбленность всякую к этой девочке большеглазой с души, как рукой, снимет. Оно бы и лучше. Только хлопоты новые... А суть вечно одна и та же...

С такими благоразумными решениями и намерениями возвращался Константин в свой Бельведер.

Фифина, как он ее называл, или иначе — Жозефина Фридерикс действительно сейчас не спала.

После нескольких дней серьезного нездоровья она чувствовала себя сегодня гораздо лучше и весь вечер провела полулежа на кушетке в своем будуаре.

Обширная, по-казенному раньше отделанная комната стараниями хозяйки-француженки была оживлена, скрашена мягкой уютной мебелью, коврами и ковриками, цветами в кадках и в вазах, картинами, этажерками и полочками, на которых пестрели различные безделушки, оживляя пустой простор стен высокого покоя.

Укутанная легкой шалью фигурка хозяйки будуара казалась еще меньше, чем была на самом деле эта среднего

роста, гибкая, худощавая, но не слишком, женщина лет 29—30.

Узкие покатые плечи, не особенно маленькая, но красивая выхоленная рука с длинными пальцами, стройная нога и быстрые движения делали ее привлекательной с первого взгляда. Темные, почти черные волосы, по моде того времени, упали маленькими кудерками на высокий покатый назад лоб, почти закрывая его до бровей. Живые темно-карие глаза мечтательным и добрым взглядом сверкали из-под длинных черных ресниц, изредка загораясь какими-то неожиданными, не то лукавыми, не то злыми искорками. Небольшой вздернутый слегка носик задорно и лукаво вздрагивал порою над тонкими свежими губами, на которых почти всегда играла слабая приветливая улыбка. Грудь, не особенно полная, но тонко и хорошо очерченная, начала уже вянуть, и Жозефина корсетом искусно поддерживала ее в прежнем виде. Легкий румянец молодил ее чистое белое лицо с тонкой кожей, еще не тронутой притираньями.

Но во всей фигуре женщины уже заметны были признаки наступающего увядания, вызванного не столько годами, сколько бурно проведенной юностью и настоящим нездоровьем г-жи Фридерикс.

Как только уехал сегодня вечером Константин, Жозефина отошла от окна, из которого виден был отъезд цесаревича.

Еще за обедом он сказал между прочим, что должен отправиться в город часов около восьми. Но не пояснил куда. А сама она знала, как не любит Константин, если задать ему прямой вопрос, какие дела вызывают его из дому по вечерам.

— К любовнице еду. Да не к одной, к четырем разом! — раздраженно отвечает он в этих случаях. — А ты к себе пятерых позови. Вот и сквитаемся...

Чтобы не слышать такого ответа, Жозефина перестала спрашивать, даже не напоминает ему, что было иное время. Иногда выжить не могла она его вечерами из своей комнаты, хотя он знал, что его ждут по делам, даже очень важным, люди, которых он сам собирал на совещания.

— Все переменялось! — вздыхая, думала Жозефина.

Но все-таки ей хотелось знать, где бывает без нее Константин, вообще предпочитающий сидеть дома, если не с нею, то у себя в кабинете с газетами или беседуя с кем-либо из приближенных.

Оставив окно, Жозефина машинально побродила по комнате, пошевелила огонь в камине, хотя он и без того горел так весело, причем сухие дрова потрескивали, а порою даже раздавались выстрелы вроде пистолетных от полена, которое разрывалось в огне.

Постояв у стола, она как будто собиралась сесть писать, но потом тоскливое выражение пробежало по лицу. Решительно прошла Жозефина к кушетке, стоящей близ каминна, и, усевшись с ногами, взяла томик в красивом переплете, лежащий тут же на китайском лаковом столике.

Читать тоже могла недолго. Уронила книгу и задумалась, глядя на огонь.

«Что же это? Неужели конец? Вот уже месяца три, как он и ссориться перестал с нею или, вернее, не дает ей случая поднять ссору, как бывало часто в прежние годы. Он старательно избегает оставаться с нею наедине или даже втроем, в присутствии сына Павла, при котором мать тоже порою не стеснялась сводить счеты с ветреным Константином».

— Совсем разлюбил. Надоела... Увлекся другою?

В сотый, в тысячный раз эти простые, но мучительные вопросы жгут сознание растерявшейся женщины, наполняют болью ее усталую грудь, заставляют сердце останавливаться на короткие, но мучительные мгновения...

Куда он поехал сегодня? Она узнает. Сейчас придет с Павлом воспитатель его граф де Мориоль, который все знает. Только он очень осторожен, этот надутый хитрец. Хотя они и земляки, но он дорожит своим положением в Бельведерском дворце цесаревича больше, чем расположением и дружбой с многолетней сожительницей великого князя.

«А в самом деле, как много лет прошло со времени первой встречи ее с Константином... Это было как раз в январе 1806 года... Ровно десять лет тому назад... И неужели всему конец? Нет, этого нельзя допустить!»

Жозефина хотела вскочить, но внезапная слабость овладела и телом, и волей взволнованной женщины. Такая слабость бывает у нее в минуты опасности или сильного горя. Значит, и теперь душа ее чувствует близкую сильную опасность?

Нет, слишком много горя было в прошлом. Надо отстоять крупицу счастья, которую судьба послала в эти последние десять лет...

Сделав над собою усилие, Жозефина хотела позвонить, но в это время услышала стук в дверь и мягкий, даже до

приторности слащавый, скорее женский, чем мужской голос по-французски произнес:

— Это мы с Полем. Можно войти?

— Граф, входите, входите... Я ждала вас. Поль, милый, сюда, ко мне. Я поцелую тебя, мой мальчуган...

Мальчик девяти лет, худенький, высокий не по годам, живо бросился к матери, которая поцеловала его с показной нежностью, пригладила ему волосы и усадила на кушетку у своих ног.

Очертанием бровей, разрезом глаз и общим овалом головы и лица Павел Константинович напоминал больше мать. Но цвет глаз, короткий нос с широко открытыми ноздрями, большое расстояние от носа до верхней губы и самый рот — все это было отцовское, хотя и не очерченное так до крайности резко как у самого Константина. Примесь галльской крови скрасила немецко-русскую уродливость, образец вырождения, особенно ярко выраженный в дедушке мальчика — Павле Петровиче.

Бледное личико скрашивалось двумя огоньками смысленных глаз. Но безволие и капризный характер глядели из них так же, как его выдавали углы подвижного рта и вечно раздутые ноздри и без того широкого внизу носа.

Золотушный в отца и в свою семью с этой стороны, мальчик поражал белизною и прозрачностью кожи, сквозящей тонкими синими жилками на висках, на шее, на тыльной части нервных породистых рук.

Наставник-граф степенно и мягко приблизился к кушетке вслед за своим питомцем. Жестом Версальского куртизана лучших времен он принял протянутую ему руку и прикоснулся к ней губами не слишком почтительно, не слишком небрежно, именно так, как надо целовать руку особы, много лет заменяющей хозяйку дома у человека с таким высоким положением в свете, какое занимал Константин. Тут был и оттенок снисхождения, и некоторая игривость, совершенно недопустимая по кодексу придворной морали, если придворный целует руку законной великой княгини, хотя бы она была известна, как необузданная Мессалина.

Мягко и ловко после «бэз-мэн»-а граф сделал шаг назад, еще раз полупочтительно поклонился больше шеей и головой, чем всем туловищем и огляделся, чтобы согласно жесту Жозефины занять место.

Сел он тоже не слишком близко, как простой знакомый, но и не слишком далеко, на почтительной дистанции, как садятся только в присутствии высоких дам.

Лицо графа, не слишком прямо, но устремленное к Жозефине, выражало и удовольствие от лицезрения ее особы, и участие к состоянию здоровья, и больше всего, что он как бы старался не подчеркивать этой черты.

Граф родился в 1760 году и теперь ему уже исполнилось 56 лет, но он казался гораздо моложе. Этому помогало и его бритое, хорошо упитанное, розовое лицо человека, который хочет и умеет позаботиться о себе, а от природы одарен хорошим желудком и удобной, гибкой, практической философией, помогающей выходить сухим из воды.

Небольшие, но острые глаза сероватого оттенка если не сверкали особенным умом, то выражали врожденную наблюдательность и сметливость, житейский здравый смысл.

Тонкие сжатые красные губы говорили о сдержанности, осторожности и наклонности к хорошему столу. О силе характера и склонности к дамскому полу намекали широкие твердо-очерченные скулы, хотя и покрытые жирком, и выдающийся затылок, который под пудренным старомодным париком, казалось, чувствует себя тесно и распирает его, как отекаящая рука распирает перчатку.

В этом парике с темными бровями граф казался еще молодым человеком лет 35, но усталым от жизни, с помятым лицом, на желтоватой коже которого, особенно вокруг глаз и около рта, собрались ряды тонких женских морщинок. И весь он лицом, даже полностью невысокого стана напоминал средних лет женщину, на Святках надевшую старинный фрак и жабо из отцовского или дедовского гардероба.

Но какой бы вид ни принимал весь Мориоль, какое бы выражение не отражалось на его подвижном, как у актера, лице, одна особая черта, одно преобладающее впечатление оставалось от всей фигуры, голоса и движений графа: он словно делал одолжение земле, что ходил по ней, воздуху, который устаивал поглощать своими легкими, солнцу, которому разрешал озарять и согревать себя.

А уж о людях, окружающих эту избранную натуру и говорить нечего: они все должны были благоговеть перед графом. И забавно было видеть, с каким искренним сожалением поглядывал граф на людей, не понимающих его достоинств, с какой сугубой, убийственной любезностью и грацией старых времен обращался он с теми, кто сам дерзал, в свою очередь, думать, что он лучше графа и может обращаться с ним не только как с равным, но даже свысока.

Заняв облюбованное полукресло, граф достал миниатюрную золотую табакерку, украшенную гербом старинного рода де Мориолей из Лотарингии, изящно, как, наверное, это делал сам Людовик XIV, потянул понюшку табаку, легким футляром вытер нос, стряхнул табак с жабо и с бортов старинного, но свежего на вид щегольского фрака и, слегка склонив голову на бок, приготовился слушать и говорить.

Но, конечно, говорить больше любил Александр-Никола-Леон-Шарль — таково было полное имя, данное при крещении графу де Мориолю, который уже семнадцать лет числился капитаном кавалерийского полка его величества короля Людовика XVI. В эпоху Генеральных Штатов он явился кандидатом в депутаты от Седанского округа, но скоро бежал со многими другими дворянскими семьями, спасаясь от суровых мер якобинского правительства.

Об этом и вообще обо всем на свете любил порассказать граф де Мориоль и говорил он также кругло, мягко и вкрадчиво, как ходил, как сморкался, как нюхал табак.

— Графа хорошо заставить говорить, если мучит бессонница! — не раз думала Жозефина. — Он наверное нагонит спокойный, крепкий сон своим говором.

Сейчас, вся возбужденная, нервная, Жозефина вовсе не была расположена слушать его вязкую, паточную речь. Но ей казалось, что граф должен знать то именно, что интересовало ее теперь, и она очень любезно спросила:

— Что нового, дорогой граф? Как поживаете сами? Что мой Поль? Хорошо ли учится? Ведет ли себя хорошо?

Очень пылкая и чувственная, как женщина, как любовница, она не отличалась горячностью материнского инстинкта, но всегда умела казаться очень нежной и заботливой к единственному сыну.

Граф, старый, искушенный жизнью хитрец, умел читать в душе Жозефины, но не обнаруживал этого и с самым серьезным, озабоченным видом заговорил:

— Ах, мадам! От природы Всемогущий, Всеблагий Творец наградил нас своими дарами. Да оно и не мудрено: величие, сила и древняя царская кровь сочетались с таким очарованием, грацией и умом, каким бывают одарены только дочери нашего великого народа! Плод получился достойный своих корней. Но!.. Увы! И на самом солнце существуют темные пятна!.. То есть, мы видим в телескопы эти пятна. А ученые говорят, что это огненные вулканы страшной силы, целые вихри огня и пламени... Так и в

душе нашего доброго Поля: избыток энергии, дарований и сил увлекают его прочь порою от прямого пути прилежания к науке, от послушания наставникам и воспитателям своим... Особенно таким, которые, вроде моего товарища и помощника мосье Фавицкого, сами еще не совсем овладели искусством: направлять молодую порывистую душу богато одаренного ребенка. Вот на этой почве и происходят некоторые... как бы сказать... недоразумения, шероховатости в общем успешном ходе обучения и воспитания нашего милого Поля...

Весь этот длинный доклад граф отчеканил в один прием без запинки, не переводя духа, елеиным, вкрадчивым голосом.

Жозефина, все время смотревшая на него и сочувственно, одобрительно покачивающая головой, почти не вникала в содержание журчащей, снотворной речи и только сокрушенно вздохнула, когда он кончил. Но, видя, что граф ждет реплики, подняла глаза к небу и сокрушенно заметила:

— Господь все видит. Он нам поможет.

— Аминь! — согласился с этим всеобъемлющим замечанием граф и снова заговорил ровным голосом, негромким, но внятным, как жужжание веретена у самопрялки:

— Теперь, конечно, и Поль еще мал годами, и его высочество слишком занят устройством обширного государства, целого народа, врученного ему доверием августейшего царственного брата, императора и короля; но как только дела примут более спокойное течение и здешний государственный корабль, покорный руке нового могучего кормчего спокойно и прямо поскользится по волнам среди бушующей бездны европейских политических событий, — тогда пробьет час обратить больше внимания и на самого нашего милого малютку, и на тех людей, которые окружают его сейчас, быть может и ошибочно, слишком поспешно призванные для выполнения высокой миссии: воспитания отпрыска столь знатного рода...

— О, я вас понимаю, — снова согласилась Жозефина. — Я тоже всегда готова сделать, что могу для моего Поля... Конечно, пользуясь вашими советами и руководством.

— Природа и Высшая Сила — вот лучший руководитель для сердца матери, да еще такого нежного и любвеобильного сердца, каким обладаете вы, мадам!

Любвеобильность была здесь как будто и некстати, но Жозефина не нашла нужным задумываться и толковать о пустяках. Она придралась к предлогу и заметила:

— А вы правы, граф!.. Константин... Его высочество очень занят, особенно теперь. Вот и сегодня пришлось ему выехать даже вечером... в день Нового года... Конечно, по делам...

Мориоль понял, что в этом утверждении завернут осторожный вопрос и поспешно подтвердил:

— О, конечно... Я слышал: в замке что-то такое... А потом, если я не ошибаюсь, придется заехать к Бронницам...

— К Бро?.. Ах, да, я вспомнила... Он мне говорил... Вспомнила! — совсем живо и искренне заговорила Жозефина. — Вернулась из Парижа графиня. Он счел нужным. Вы понимаете, граф? Старые друзья... Он говорил.

— Да, конечно... графиня лечилась за границей. Говорят, поправилась... насколько позволяют ее года... Ей... если не ошибаюсь... лет 40... 45, да, так!

Тут же, словно мимоходом, самым легким тоном граф заметил:

— Много толкуют о прелестной Жанете, старшей дочери графини, которую мать взяла наконец из парижского пансиона, где держала чуть ли не до двадцати с лишком лет. Но барышня, говорят, очень моложава, выглядит не старше шестнадцати-семнадцати лет и очаровательна, как бесенок... Как умеют быть эти польки... У них — вы заметили мадам? — есть смесь грации ваших парижанок с наивной, беззастенчивой чувственностью восточной одалиски. Занимательный тип.

Как бы не видя, что его слова заставили насторожиться и побледнеть собеседницу, он сразу переменял тему:

— А какая суровая зима стоит в этом году. Морозливая, снежная. Настоящая сибирская. Такую же помню я в 1798 году, когда жил в поместье моих друзей, графини и графа Браницкого... И потом в 1812, когда убегал из России этот изверг, авантюрист... Бонапарт... Вы не помните, мадам? Впрочем, нет: вы были тогда в Петербурге, если не ошибаюсь?

— Да... и в Стрельне, — машинально ответила Жозефина, занятая тем, что ей осторожно сообщил хитрый Мориоль. — Зима была, я помню... А скажите, сколько дочерей у графини Бронниц от первого мужа? Вы не слышали?

— Кажется, три или четыре. Все миленькие, говорят. Но эта, из Парижа лучше всех. Здешняя молодежь и раньше была от нее без ума: стрелялись, ссорились горячие

поляки... А теперь только и речей... Первая из первых. Вчера на большом балу ее прозвали царицей даже сами женщины. Ну, вы понимаете... Грациозна, умна... и... Впрочем, мне, старику, это мало интересно. Я это так, мимоходом слышал... Вернемся к нашему милому Полю... Посмотрите, как он нежно прильнул к своей очаровательной матушке... Жаль, что нездоровье не позволяет вам, мадам, вести более светскую жизнь. Вот тогда бы варшавяне узнали, кого им следует назвать царицей грации и красоты.

Совсем погруженная в свои думы, Жозефина даже не подхватила брошенного ей позолоченного мяча.

Граф медленно с достоинством поднялся со своего места:

— Однако, уже поздно. Нашему питомцу пора и на покой. Прощайся со своей милой матушкой и пойдем, мой друг... Примите, мадам, мои лучшие пожелания и уверение в глубочайшей преданности! — откланиваясь как и раньше, обратился он к Жозефине.

В эту самую минуту раздался стук в дверь, гайдук-лакей появился на пороге, почтительно доложил:

— Доктор господин Пижель, по приказанию вашего превосходительства!

Впустил доктора и скрылся за дверью.

— Вот, значит, я оставляю вас, мадам, как раз вовремя. Надеюсь, наш милейший врач приглашен не больше, как для обычного визита?.. Да хранит вас Господь! Честь имею кланяться, господин доктор.

Любезно-церемонный поклон доктору, и Мориоль со своим питомцем вышел от Жозефины, вздохнувшей с большим облегчением.

— Садитесь, милый доктор, — протягивая ему руку для поцелуя, пригласила Жозефина второго земляка, который в числе еще других французов состоял при дворе цесаревича.

Доктор, оверньят, сын разбогатевшего крестьянина, отличался необычной наружностью. Очень высокого роста, сухощавый, широкий в кости, с большими волосистыми руками, с медвежьей большой ступней, он казался весь каким-то узловатым, ширококостым и мускулистым, как дровосек. Густые черные волосы спутанной волнистой шапкой сидели на голове над невысоким, но гладким лбом с выпуклыми висками. Кудрявая борода росла от самых глаз, почти покрывая все лицо, сливаясь с кустистыми темными бровями. Концы острых кверху ушей выглядывали из этой

густой поросли, да два темных сверлящих глаза сверкали умом и жизнью. Очень красив был рот с большими, но хорошо очерченными, ярко-красными губами, которые часто раскрывались в веселую улыбку и тогда белым блеском выделялись из-за них два ряда ровных крепких, как у хищника, острых зубов.

Вообще, Пижель напоминал сильного молодого фавна, ради шутки одетого в стеснительный, забавно сидящий на нем европейский парик.

Когда красные, влажные, всегда горячие губы Пижеля прикоснулись к ее руке, с поцелуем более продолжительным и свободным, чем это следовало бы, Жозефина не поторопилась отнять руки. Ее приятно щекотало прикосновение этой волосистой головы, теплота губ, сила поцелуя.

Кокетка по природе, она особенно любезно указала на стул Пижелю и ласково заговорила:

— Уж не взыщите, милый земляк, что я так часто вас беспокою. Вы так хорошо помогли мне, что я теперь почти здорова... Физически, по крайней мере. И теперь призвала вас скорее как друга, как симпатичного мне человека, чем как врача... Но если вы заняты?..

— О, нет, нет... пожалуйста... Я так рад... всегда готов, сударыня...

— Ну вот и хорошо... Хотя и врачу дело найдется. Душа у меня страдает. А ведь вы можете помочь и в этом случае? Да? Я верю в вас невольно. Потолкуем. Мне хочется... Я должна открыться перед вами, как на исповеди. Мои болезни, я чувствую, в значительной степени зависят от того, что мой дух стеснен, что я... что я несчастна!.. Вы даже намскали мне, спрашивали об этом. Но тогда были другие... И я еще мало пригляделась к вам. А теперь... я хочу... я должна...

— Прошу вас, сударыня... Я буду счастлив. Буду гордиться доверием...

— И не нарушите его... я вижу, знаю. Здесь я должна быть очень осторожна. Люди мне мало знакомые. Двор, собранный великим князем, почти весь составлен наново... У меня, я знаю, есть сильные враги и здесь, и в Петербурге... Я вам все расскажу. Сядьте ближе. Что? Хотите посмотреть пульс? Смотрите. Я совсем здорова. Только взволнована и своими думами, и вестями, которые дошли ко мне недавно... Видите: пульс ровный, такой, как всегда. Пожалуйста, оправьте абажур этой лампы. Свет мне в глаза. Так. Благодарю. Хотите чаю? Нет? Ну, хорошо. Так

слушайте. Я хочу вам рассказать всю свою жизнь. Вы сами просили.

— Конечно. И прошу опять. Для врача необходимо знать все прошлое его пациентов, как и для священника, даже больше. Вы правильно заметили, что в значительной доле ваши недуги зависят от состояния вашей психики... Если я найду ключ к душе, я сумею прогнать и телесные недуги гораздо легче...

— Я дам вам его, этот ключ. Так отрадно поделиться с кем-нибудь своим горем, затаенными страданиями, жалобами. А вы — такой сильный, умный. Вам еще приятнее все сказать. Даже не как врачу, просто как человеку... Вы — добрый, несмотря на внешний такой суровый вид. Правда?

— Не знаю, право... Говорите, сударыня. Я вас слушаю...

— Вы, как я знаю, из крестьянской семьи, милый Пижель. Я — тоже из народа. Мой отец, Франсуа Мортье, был типографский наборщик. И при нем мы жили небогато. А когда он умер еще молодым, мать совсем выбилась из сил, чтобы вырастить меня и еще двоих: брата и сестру. Брат умер. Остались я и сестра. Мама отдала меня в ученье в модный магазин, который открыла одна обедневшая аристократка, графиня Пьеретта Буде де Террсей. Террор унес у нее мужа, семью, состояние. Только одна малютка, Анна-Жозефина, моя тетка, привязывала к жизни разбитую, утомленную, хотя еще молодую и красивую собой женщину. Небольшая пенсия от императора Наполеона и доход от мастерской поддерживали ее жизнь. Вы знаете и теперь эту даму: госпожа Митон, дочь которой и сейчас носит имя графов де Террей. Она невеста русского офицера Пьера Колзакова...

— Эта красивая особа? Знаю, знаю.

— Вот мать ее и приняла меня в свою мастерскую. Живая, бойкая, недурна, как говорили, собой, в четырнадцать лет я уже нравилась всем. Хозяйка приучила меня помогать ей при продаже в магазине, особенно когда приходилось уходить по делам. Тогда я заменяла главную приказчицу и довольно успешно. Много клиентов из молодежи только у меня и покупали свои жабо и галстуки. Но я, хотя и понимала их вздохи, взгляды, держала себя строго, оберегая свою честь, жалея свою маму, которая была очень несчастна. А мое увлечение совсем бы испортило ей жизнь. Так прошло около года. Однажды у нашего магазина ос-

становился кабриолет, вошел молодой бледный красивый собою иностранец. Он выбрал себе жабо. Я примерила ему. Он пожелал какую-то переделку. Заехал на другой день... Стал ездить очень часто, закупил почти все, что было из вещей мужского туалета у нас в магазине. Всегда платил золотом. Наконец однажды прямо явился к госпоже де Террей и стал просить, чтобы она отпустила меня с ним в Лондон. «Не думайте, я не опозорю этой девушки, которую полюбил. Она будет моей женой. Давно уже я решил: не брать жену из нашего круга, где все искажено в девушках дурными примерами и отвратительным воспитанием. Сам я хочу воспитать и создать себе подругу, жену. Вот почему, очарованный этим полуробенком, я собираюсь увезти ее, дать ей блестящее образование и надеюсь получить такую именно жену, о которой мечтаю!..» Моя хозяйка была поражена и объяснила, что у меня есть мать, к которой лучше всего ему обратиться со своим необычайным предложением. «А ты, Фифина, поедешь со мной?» — спросил он тогда меня. Очарованная, ослепленная блестящим будущим, которое этот лорд развернул предо мною, увлеченная его красивой внешностью и благородством манер, я только молча кивнула головой. Мы поехали к маме. Он писал ей какую-то бумагу, дал очень много денег. Мама очень плакала, но отпустила меня «ради моего счастья», как она сказала, ради лучшей участи моей сестры, которую я с тех пор так и потеряла из виду... С лордом Гаррисом мы уехали в Лондон. Там он поместил меня в лучшем пансионе столицы, выдав за дочь своего друга, погибшего в Индии. Три года пробыла я там, как в монастыре, узнала очень многое, изучила немецкий, итальянский и английский языки, приобрела манеры и лоск настоящей леди. Когда мне исполнилось восемнадцать лет, лорд Гаррис взял меня из пансиона, увез в свое поместье недалеко от Лондона... Роскошная вилла, полная всяких чудес, великолепные лошади, экипажи, толпа челяди, парк, цветники, оранжереи, рояль и арфа... все было в моем распоряжении. Только я не видела никого чужих. Мы проводили время вдвоем. Он, как чародей заколдованную принцессу, сторожил меня от всего мира для себя, для своей любви и нежности... И я полюбила этого тихого задумчивого болезненного человека, душа которого была гораздо прекраснее и сильнее, чем его слабое тело. Два года так прошло, как сон! Мы толковали о предстоящей нашей свадьбе... Но тут...

Жозефина остановилась, как будто не могла дальше говорить.

— Он разлюбил вас... Изменил? Женился на другой?..

— Нет. Он умер. И так ужасно, неожиданно для меня. Как-то утром я гуляла в саду, набрала цветов, осторожно вошла к нему в кабинет, вижу он сидит за столом, откинулся в кресле, как будто задумался по обыкновению. Подкралась, бросаю ему в лицо цветы. Он неподвижен, молчит. Касаюсь лица, рук — ледяные... Он умер внезапно, от разрыва сердца...

— Да, понимаю.

Оба замолчали. Жозефина смигнула слезы, набежавшие на глаза и задумалась. Светлые, хотя и полные грусти воспоминания придали свежесть и юность ее лицу. Она вся вдруг похорoshела. Пижель горящим тяжелым взором засмотрелся на нее и даже откинул слегка голову, когда она снова заговорила, как будто ожидал совсем не того.

— Конечно, явились родственники лорда, давно уже возмущенные моим пребыванием в их родовом замке. Узнав, что мы не венчались, что завещания он оставить не успел, они не стали стесняться. Дворецкий, раньше едва позволявший себе поднять на меня глаза, принес мне распоряжение наследников: собрать свои пожитки и немедленно оставить замок. «Если мисс нужна сумма на переезд, мне приказано выдать мисс 50 фунтов стерлингов», — добавил этот холоп. «Оставьте их себе!» — ответила я. Подан был экипаж и через несколько часов я очутилась одна в шумном, мрачном даже летом, огромном Лондоне. В кошельке у меня было несколько соверенов, которые я получала от Гарриса для бедных, живущих в соседних коттеджах. В небольшой шкатулке лежало несколько золотых и бриллиантовых украшений, не особенно дорогих, так как я не любила этого... Два больших сундука туалетов и дорогого белья... Верхнее платье. Вот что увезла я с собой. А затем двадцать лет и ничего впереди, никого близкого. Ни одного друга. Правда, пансионские подруги могли бы помочь мне, приютить у себя, найти место гувернантки. Но я была очень самолюбива, горда. Да и доля белой рабыни, воспитательницы мне казалась совсем не привлекательной. Я сняла небольшую квартирку, скромно обставленную на одной из тихих улиц огромной столицы. Быстро там познакомилась и сдружилась я с молодой вдовой, жившей по соседству на пенсию, оставленную моряком-мужем. Желая как-нибудь заглушить горе, устроить

себя, я вместе с этой соседкой стала появляться везде, где можно бывать приличной женщине, одинокой и независимой, не имеющей в городе своего круга знакомств. Общественные гулянья, парки, танцевальные вечера и более скромные маскарады — вот где мы бывали... Мужских знакомых скоро явилось много. Сначала, избалованная благородством сэра Гарриса, я слишком доверяла англичанам. Но скоро выяснилось, что и они — такие же свиньи, как наши французские ветрогоны. Узнав, что могли, первые мои поклонники, скоро скрывались с моего пути, как только я заводила речь о прежней близости, потому что хотела иметь не любовника, а мужа. Тут и повстречался мне приезжий из России, родом немец, Фридерикс.

— Ваш муж, сударыня?..

— Мой бывший муж. Теперь мы в разводе. Но сразу он умел овладеть моей душой. По его словам, он был одним из самых приближенных к русскому императору лиц, его любимый флигель-адъютант, полковник гвардии, богатого баронского рода. Я тем более слыхала как-то подобную фамилию от лорда Гарриса. Молодой, красивый, он быстро сумел добиться от меня согласия: мы повенчались. Первые дни муж был ненасытен в ласках, внимателен, нежен. Казалось, судьба послала мне желанную пристань. Но сразу поразило меня одно: обстановка, в которой находился мой супруг. Такой важный дипломат, приехавший в Лондон, по его словам, с секретным поручением императора к самому принцу-регенту, — занимал довольно скромные две комнаты в гостинице средней руки. Он заметил впечатление и поспешил пояснить эту странность. «Я здесь инкогнито, дорогая! — оказал он. — Иначе и мне грозит опасность, и не удастся выполнить великой задачи, возложенной на меня...» Конечно, я поверила. Но еще не истек и полный медовый месяц нашей страсти, как муж очень обстоятельно начал осведомляться, чем обеспечил меня лорд покровитель, о котором я, правда, говорила до свадьбы мужу, но в общих чертах. Мне казалось лучше, если я не открою богатому русскому вельможе, что живу на деньги, вырученные от продажи последних драгоценностей, что мои туалеты — единственное, что осталось блестящего и дорогого от всей былой роскоши в замке сэра Гарриса... Теперь же скрывать нельзя было дольше. Я шутя сказала ему: «Милый, ты взял бедную девушку. Но я не прихотлива. Авось твоих курляндских и русских поместий хватит, чтобы прокор-

мить и одеть такую маленькую женщину, как я...» Никогда не забуду, как потемнели, засверкали скрытым гневом, злобой его глаза, как он побледнел и со стиснутыми зубами, сжимая кулаки, пробормотал: «Вот такая это вышла штука!» И сейчас же вышел из спальни.

Переживая душою прошлое, Жозефина умолкла.

— Он вас оставил? — спросил Пижель, теребя свою густую вьющуюся бороду.

— Да, и очень скоро, дней через десять. «Фифина, — сказал он как-то вечером, — сегодня я получил приказ моего императора: немедленно ехать в Петербург, дать отчет в миссии моей и получить новые указания... Я скоро вернусь. Оставайся, жди меня, будь умницей!» Холодно поцеловал меня в лоб и уехал, не оставив почти никаких средств.

— Как, ничего?

— Да. Он объяснил, что сейчас сам сидит без денег, что на дорогу надо захватить почти всю наличность, но что его банкир здесь, в Лондоне, через неделю вручит мне тысячи две фунтов на всякие расходы... Вы улыбаетесь. Конечно, все это была ложь... Ни его, ни денег я больше не видала... Он, очевидно, сам рассчитывал на мои воображаемые средства, обманулся и бросил меня, как надоевшую, стесняющую в пути болонку оставляют где-нибудь в гостинице, полагая, что ее подберут добрые люди... Но... в Лондоне мало добрых людей... Да и я не сразу поняла всю величину моего несчастья. Мне и в голову не приходило: до чего нагло, чудовищно была я обманута моим мужем! Ожидая его, я берегла каждый сантим, продала до последнего, что еще оставалось ценного в моей шкатулке... Ни вестей, ни его самого нет как нет. Я решила на последнее: явилась в посольство, стала спрашивать о бароне Фридериксе. Такого здесь не знали. Но я еще не образумилась. Думала, что тайна, связанная с поручением, данным моему мужу, заставляет чиновников обманывать и меня... Продав последние безделушки, более дорогие туалеты, я собрала столько, что могла на парусном коммерческом судне доехать до Петербурга. Да и то в пути немало натерпелась от ухаживаний, даже от грубых приставаний чуть ли не всего экипажа этого корабля, начиная капитаном и кончая молоденьким голубоглазым мичманом, который усердно изображал моего пажа... Слишком суровой, резкой и непреклонной я опасалась даже казаться, одинокая, беззащитная женщина, на корабле, затерянном среди

необъятного моря. Вы понимаете, каким испытаниям подвергалась моя добродетель, моя печаль...

— О, прекрасно понимаю.

— Но наконец я очутилась в Петербурге. После томительных розысков, усилий и трудов я узнала... что мой муж не барон... не богач... не полковник... не флигель-адъютант государя, а простой фельдъегерь, дипломатический курьер из эстонских немцев... Был в Лондоне с депешами. Теперь снова услан на Кавказ, вернется не скоро... Я едва устояла на ногах, шатаясь вышла из приемной, где получила эти ужасные известия, и как полоумная, долго бродила по улицам незнакомого, мрачного города, почти готовая покончить с собой. Но молодость и жажда жизни взяли свое. И, признаюсь, какая-то надежда, безумная, детская, тлела в моей душе. Я еще верила в человеческое благородство... Не допускала, чтобы можно было так подло надругаться над слабой женщиной, взять у нее все и кинуть в пропасть нищеты, отчаяния, позора! Чтобы окончательно убедиться, я пошла по адресу, данному мне в канцелярии... Нашла казармы, где жили товарищи моего дипломата мужа! Его кровать стояла в ряду других солдатских коек... Товарищи описали его... Это был он, мой муж... Мой господин, законный супруг... Все возмутилось во мне от такого обмана, бесчеловечного, низкого! Я решила отомстить. Но надо было дожидаться возвращения супруга. А средств никаких, кроме молодости и привлекательной наружности... Как пришлось мне существовать несколько времени, лучше не буду вспоминать. Душа содрогалась, тело трепетало от отвращения... Но мы, хрупкие на вид женщины, бываем порою несокрушимы, как сталь... Наконец судьба или сам Бог сжалился надо мною... На Невском я увидела хорошо одетую даму, черты которой показались мне так знакомы. Приглядываюсь и вдруг крикнула: «Графиня де Террей! Мадам Пьеретта!..» — «Фифина!» — таким же радостным, громким окликом ответила мне дама. Я не выдержала и тут же залилась слезами, сжимая ее руку, едва сдерживаясь, чтобы при всех не упасть на шею к этой благородной чудной женщине... Вы можете себе представить, что я испытала в этот счастливый миг!..

— О, да, я понимаю, сударыня...

— С этой минуты я уже была не одинока, я перестала быть так несчастна. Графиня, и в Петербурге имеющая свой магазин, взяла меня к себе. Потом приехал мой муж...

Мы встретились... Он... вы знаете, он, наглец, даже не очень смутился, увидя меня. А когда я стала осыпать его упреками, бранью, проклятиями, он почти спокойно возразил: «Не понимаю, из-за чего ты так напустилась на меня. Ведь я из-за любви к тебе решился на обман... Да, правду сказать, и не думал, чтобы от твоего лорда ты не приберегла копеечки на черный день... А если потом не вернулся к тебе, как обещал, — так моя ли вина? Знаешь, служба не свой брат, да еще военная...» И он привлек меня в свои объятия... Я... я не оттолкнула его. Молодость, жажда своего угла, семьи... Он снял небольшую квартирку и мы зажили снова, как муж и жена... Но тут оказалось, что он и пьяница, и картежник, и грязный волокита. Начался семейный ад... Это было в конце 1805 года. В начале следующего мадам де Террей переехала в Москву, где надеялась поправить свои дела. И я уехала с ней... Муж остался в Петербурге и не очень упрашивал меня не покидать семьи... Но в Москве я недолго жила покойно. До мужа как-то успели дойти вести, что я живу привольно, весело, даже делаю сбережения из своих заработков. И он стал требовать, чтобы я вернулась к нему, угрожая, что силой закона восстановит свои права. Ясно, он ждал, что я откуплюсь от его притязаний, надеялся иметь во мне легкую и выгодную статью дохода. Но я не захотела стать рабыней, вещью этого негодяя немца, грубого, злого, невежественного, который кроме своей тяжелой речи даже не умел говорить ни на каком ином языке и был совсем необразован... Однажды в маскараде, куда я часто являлась по своей любви к веселью, к живому общению с людьми, — там увидела я цесаревича Константина, о котором все говорили, как о человеке очень добром, о настоящем рыцаре старых времен, особенно по отношению к молодым недурным собою женщинам. Французские актрисы, клиентки мадам де Террей, обожали его и часто кутили с ним в компании вместе с товарищами-актерами. Все дало мне смелости... Я подошла... заговорила... Должно быть, звук моего голоса, моя искренняя растерянность, робость подкупили его, избалованного женщинами, пресыщенного и маскарадными, и всякими другими приключениями и интригами. Он стал меня слушать... Отвечал... Когда же узнал, что не веселье, а горе приводит меня к нему, сказал: «Здесь неудобно толковать о серьезных вещах. Если доверяете мне, поедemте к одному моему приятелю, по соседству...» Я молча взяла его под руку. Мы очутились скоро

вдвоем в холостой квартире одного из приближенных к нему офицеров... Я все рассказала Константину... Просила защиты от мужа... Разрыдалась... Он стал меня утешать все нежнее, все горячее... Сильный, юный, окруженный ореолом своего сана, решительный и страстный... Я сначала сопротивлялась, молила... но скоро последние вздохи моих рыданий слились с первыми вздохами страсти... Вы не осудите меня, Пижель?

— О, сударыня...

— Да, да... Я вижу, я знаю: вы такой добрый, сердечный и умный... Вот так это и началось... И тянется до сих пор... Может быть, все бы кончилось тогда же, как мимо-летная вспышка с его стороны. Но в пылу признательности за участие, за обещанную помощь я отдалась сразу так горячо, беззаветно, что тогда же забеременела. Сказала ему... Этот благородный принц был тронут, успокоил меня... Обещал устроить мою судьбу — сдержал слово... Особенно, когда я родила сына. Надо было видеть, с какой любовью, нежностью, как осторожно до смешного брал на руки этот большой, грузный, не совсем ловкий в жизни человек малютку Поля и как нянчил, ласкал его, повторяя: «Мой сын! Мой наследник! Я перещеголял своего брата-императора: у меня есть сын!» Это было и трогательно, и забавно, вместе с тем... Поль очень сблизил нас с Константином... И годы потянулись за годами. Муж должен был тогда же дать мне развод, конечно, получив приличное вознаграждение за свою уступчивость... Десять лет прошло почти безоблачно. Но года два тому назад я стала хворать... Правда, прежних страстных ласк не было уже давно между нами. Как всякие приличные супруги, привыкшие друг к другу, мы делились нежностью без прежних бурных ее проявлений... Я порой сквозь пальцы смотрела на мимолетные связи Константина, зная, что Поль — моя лучшая, самая надежная защита в глазах отца... Но вот... с недавних пор... особенно, с переезда сюда, в эту проклятую Варшаву, где столько беспутных женщин... Где каждый продажный по-лячишка готов подложить князю свою жену, дочь, сестру, только бы добиться влияния и набрать больше денег... Здесь Константин совсем охладел ко мне... Очевидно, и я как женщина стала совсем непривлекательна для него...

— О, что вы... Может ли быть, — невольно делая движение со стулом ближе к ней, искренно возразил Пижель.

— Оно так есть, дорогой друг. Сначала я была вне себя, наделала массу глупостей, устраивала ему сцены, гро-

зила убить себя, его, сына... Это, пожалуй, еще больше оттолкнуло моего друга. Он так любит в семье покой, уют, тишину... В этом отношении — он самый образцовый семьянин, даже с мещанским оттенком наших земляков-французов... Что бы ни было за стенами дома, а в семье — мир и тишина, показная добродетель и порядок самый строгий... А я не хотела помнить этого, не в силах владеть собою... И вот... развязка близка... Я чую последнее горе... последний удар... Но, надеюсь, что недолго проживу после всех испытаний моей бурной жизни... Мое сердце... этот изнурительный кашель...

— О нем скажу я как ваш врач, о вашем сердце. Пока все еще в порядке. Правда, замечалась повышенная нервная возбудимость. Но теперь, когда вы сказали... мне понятно все. Постоянный страх, слезы, может быть, бессонные ночи...

— О, сколько бессонных ночей... Особенно за последнее время... Знаете, ведь вот уже месяца три-четыре, как мы совсем чужие друг другу... Понимаете... А я...

— А вы молодая, пылкая по темпераменту женщина, — вдруг заглушенным, взволнованным голосом заметил Пижель, — знаю... Но я не думал... Теперь мне понятно многое... И эти припадки, и все... Значит, вы?..

— Но как же иначе? Если бы я и захотела изменить ему, как решиться? Я окружена врагами... Ищут случая избавиться от меня... не только он сам, и другие... Я это вижу, понимаю. Тут надо быть очень осторожной... если бы и нравился мне человек... Я не смею быть женщиной...

Жозефина сказала это без всякой посторонней мысли. Но Пижель, очевидно, понял иначе. Он вдруг решительно заговорил:

— Теперь я знаю, как вас лечить и вылечу скоро совершенно... Позвольте еще теперь выслушать легкие... Хотите здесь? Хорошо. Вот еще подушка... Повернитесь спиной... Впрочем позвольте, чтобы не помешали...

Он быстро встал, прикрыл плотно дверь, ведущую в спальню Жозефины, а вторую в соседние покои, даже закрыл на задвижку, вернулся к пациентке и, нагнувшись, стал слушать дыхание.

— Так... хорошо... Теперь — дыхание чистое... все в порядке. Послушаем сердце... Расстегните пеньюар... Еще немного... Так, спокойно... Откиньтесь больше на подушку. Совсем спокойно... руки вдоль тела... Так, дышите ровно... хорошо... сердце в порядке... Теперь — посмотрим...

Рука врача распахнула пеньюар шире, чем бы это, казалось, нужно было для осмотра и выслушивания. Жозефина почувствовала, что он делает что-то совсем необычайное, миг — и она оказалась как скована его сильным объятием.

Негромкий крик, который успела она издать, пораженная, оцепенелая от неожиданности, был заглушен у нее на губах горячим прикосновением его пунцовых полных губ... Эти губы скользнули ниже, прильнули к ее еще красивой и упругой груди с долгим поцелуем вампира, от которого овальное, кровавое пятнышко сразу проступило на нежной атласистой коже. Она хотела бороться, крикнуть, но было поздно. И на второй поцелуй ее губы невольно, в порыве налетевшей страсти ответили долгим поцелуем, полуподавленные вздохи блаженства слились с его бурным порывистым страстным дыханием.

Через несколько минут, бледная, томная, но успокоенная, словно возрожденная после такой неожиданной и сильной ласки, она сидела на кушетке, по-прежнему кутая ноги в шаль, и слушала, как он ей говорил еще не успокоившимся голосом, но с обычной почтительно-дружеской миной преданного врача.

— Вы скоро будете совсем здоровы... Я навещать вас буду раза два в неделю... Не возражайте, — остановил он голосом слабое движение, которое сделала было, протестуя, его «пациентка», — я, врач, говорю и вы должны меня слушать... Конечно, если все пойдет у вас хорошо... Если ваша семейная жизнь устроится нормально, вы скорее поправитесь... и моя помощь понадобится вам реже... Только не волнуйтесь. Вы понимаете, как я вам предан... Фраз я не люблю. Увидите на деле. Помните: что бы вам ни понадобилось, — я ваш верный слуга и друг... Пока продолжайте тот же режим, как и до сих пор: вода, прогулки... То питье, которое я прописал...

Он, продолжая говорить, подошел, отодвинул задвижку, затем приоткрыл вторую дверь в спальню, как бы желая убедиться сам и успокоить Жозефину, что там нет камеристки. Затем вернулся к кушетке.

— Теперь я оставляю вас. Доброй ночи, сударыня... Верьте, вы скоро поправитесь совершенно...

Взяв руку Жозефины, бессильно лежащую у талии, он почтительно прикоснулся к ней губами и спокойно, словно давая наставление о лечении, проговорил:

— Последствий не опасайтесь... Помните: я врач... всегда можно предупредить, если явится что-либо нежелательное... Успокойтесь! Храни вас Бог!

И он ровными широкими шагами вышел из покоя, словно здесь ничего не произошло пять минут тому назад.

Неподвижная, словно изваяние, продолжала сидеть Жозефина.

Глаза ее были устремлены на предкаминный экран, из-за которого поблескивали красные отсветы пламени все слабее и слабее.

Мысли сейчас с трудом, лениво проходили в голове. В теле чувствовалась приятная усталость. В общем ею овладело какое-то непонятное ей самой настроение, не веселое, не горькое, как раньше, а какое-то спокойно-грустное, не совсем уловимое, спутанное, как тучи весной.

Мелькнула было мысль: не подослан ли Пижель ее врагами? Но сейчас же она отогнала нелепое подозрение. Он тогда поступил бы иначе... Что же это такое? Порыв неодолимой любви, которую он скрывал от нее до сих пор? Или просто взрыв необузданной чувственности со стороны сильного, ловкого и отважного не в меру мужчины, который, к тому же, в качестве врача привык к бесцеремонному обращению с самыми порядочными, безупречными с виду дамами, во избежание лишней огласки выбирающими любовников преимущественно среди патеров и своих врачей?

Долго думать над этим вопросом Жозефина не стала. Мелькнуло новое соображение: что же будет дальше?

Он, правда, сказал так решительно, спокойно, словно дело шло о самой незначительной вещи, о пустой формальности, что будет «визитировать» ее раза два в неделю.

Он с ума сошел. Разве она позволит допустить так рисковать ее положением? Раз-другой может еще пройти безнаказанно, урывками, при особых благоприятствующих обстоятельствах... Но вести такую интригу, иметь прочную связь, подвергаться опасности изо дня в день?! Да ни за что на свете. Лучше совсем не знать мужской ласки. Ее темперамент, правда, необузданный, слишком пылкий в молодые годы, теперь значительно успокоился... Она перетерпит. Только бы дожить спокойно под крылом у Константина, подле своего мальчика.

Такое решение сложилось у нее в душе. Но все мысли и все решения сейчас были подернуты у нее какой-то давно позабытой легкой грустью, щемящей и отрадной в одно и то же время.

Пробило одиннадцать, потом половину двенадцатого... А Жозефина все сидела, погруженная в думы. Ее камеристка, полька, болтающая и по-французски, бледная, бело-

курая панна Ядвига даже осторожно из спальни заглянула через дверь в будуар, увидала, что барыня сидит, словно спит наяву, с открытыми глазами, покачала в недоумении головой и снова ушла в свою комнату, неподалеку от спальни Жозефины.

Вдруг в дальних покоях послышалось какое-то движение, шаги.

Среди полной тишины Жозефине показалось, что она услышала звучный звонок в прихожей, внизу, которым давали знать о прибытии домой цесаревича.

Она не обманулась.

Скоро в соседнем покое раздались тяжелые, грузные, решительные, слишком знакомые ей шаги. Раскрылась сразу последняя дверь, и Константин направился прямо к ней с ласковым выражением и протянутыми руками.

— Здравствуй, Фифин! Еще не спишь?! Вот отлично...

Ее рука потонула в двух широких ладонях, которыми он охватил и поднес к губам холодные бледные пальцы Жозефины.

В этот же момент показалась на пороге спальни Ядвига, которой успела дать звонок барыня, едва убедилась, что сейчас войдет Константин.

Она предчувствовала, с чем сейчас может явиться ее друг, в каком настроении будет, разогретый беседой, может быть, слишком интимной, но все же платонической, с молодой красивой девушкой.

Это не раз случалось и прежде. После таких бесед он приходил особенно нежно и пылко настроенный, и Жозефина не прочь была ловить такие моменты.

Но сейчас она хотела совсем иного.

При первом взгляде на вошедшего, при первом звуке его голоса она убедилась, что угадала... Камеристка пришла кстати, чтобы служить бессознательно щитом своей барыне.

Но Константин не любил никогда и ни в чем стесняться.

Он не дал времени Жозефине отдать приказания камеристке и коротко, властно кинул оторопелой девушке:

— Прошу уйти...

Той мгновенно не стало в комнате.

— Я хочу сейчас быть с тобою вдвоем, прелесть моя, Фифина, а вовсе не сам третий... Это — скучная игра... Как скажешь, моя курочка?

— Я с этим согласна, мой петушок, — как будто в тон, но сразу много выше его, почти резко ответила Жозефина. — Вижу, вы возвратились после приятного визита

в очень хорошем настроении... и хотите найти у меня, чего не отыскиали в другом месте... Это — тоже игра втроем... да еще не совсем открытая, темная, неподобающая вашему высочеству... Так я думаю.

Константин стоял, не зная, что и подумать. Он, конечно, не мог читать мыслей своей подруги. А она вся дрожала от страха, хотя и храбрилась.

Если он начнет ласкать ее, то этот кровавый стигмат на груди, этот предательский след жадного, безумного поцелуя неизбежно должен был кинуться в глаза Константину.

Жозефина и думать боялась, что тогда может произойти!..

Вот почему с решимостью отчаянья она сразу перешла в смелое наступление.

Тут тоже скрывалась опасность.

Сказать, что она наверное знает, где он был, нельзя.

Шпионства, пыток, выслеживания не выносил он больше всего.

Пришлось ограничиться общими нападками. Помогло Жозефине еще одно обстоятельство. Когда он целовал ей руку, до утонченного обоняния взволнованной женщины долетел какой-то приятный незнакомый ей аромат от рук, от всего Константина.

«Духи той... Жанеты. Какой приторный запах!» — в уме порешила она.

И теперь этот легкий «чужой» аромат сослужил ей службу.

— Вы бы, если хотите быть любезны ко мне, раньше представляли бы в своей уборной запах любимых духов той особы, которая разбудила в вас аппетит... не утолив его, не напоив жаждущего... Ха-ха-ха... Весь пропитался ее духами... Должно быть, рядышком ворковали весь вечер... Три часа подряд... Как ее зовут, эту цирцею, эту очаровательную девушку... Наверное, девушку! От замужней особы вы бы только завтра утром решились оторваться, чтобы осчастливить посещением больную, несчастную женщину... мать вашего ребенка... Уходите с глаз моих скорее...

Жанета искренно сейчас жалела себя, хотя, конечно, не по поводу того, что Константин мог ей изменить, но не успел сделать этого и пришел сюда к исполнению супружеских обязанностей.

Давно, еще с момента удаления Пижеля, накапливающие слезы, рыдания вдруг прорвались и хлынули потоком.

— Ну, перестань... Ну, Фифин... Ну, право... Ты знаешь, я не выношу... Я... — начал было Константин.

Но видя, что самый звук его голоса словно бичом подгоняет ее, заставляя рыдать еще сильнее, он топнул ногой, выругался глухо, ни к кому не обращаясь и с этим подавленным проклятием быстро вышел из комнаты.

А Жозефина еще долго, безудержно рыдала, сотрясаясь, как в лихорадке. Ядвига, прибежавшая с графином и уксусом, с лавандовой водой, не знала, что и думать, как помочь своей плачущей безутешно госпоже...

Глава III

НАДЕЖДЫ И МЕЧТЫ

Да, были люди в наше время.
Могучее, лихое племя!
Богатыри — не вы!

М. Лермонтов

Еще не смолк шум и гул народных забав, пиров и увеселений, которыми вся Варшава встречала новый, 1816 год, как среди людей, руководящих общественной жизнью или чутко внимающих всему, что может влиять на эту жизнь, уже зародилась неясная тревога, как бы предчувствие далекой, но неизбежной беды.

Пришел в Варшаву последний, новогодний манифест императора российского и короля польского, дошли заграничные, особенно французские газеты, в которых этот манифест был сдержанно, но основательно исследован и обсужден.

Новая черта резко проступала в словах, с которыми монарх обращался к многочисленным народам своей обширной империи, еще недавно выдержавшей страшную борьбу с гением Наполеона.

Начав, конечно, выражением своей монаршей благодарности народу, войску, которое ценою огромных жертв и лишений купило победу, Александр поместил в этом манифесте не только ряд самых грубых укоризн по адресу побежденного, плененного врага, но кинул укоризну целому народу Франции и больше всего Парижу, где, главным образом, и разыгрывались события века, начиная с революции 1789 года и по настоящий момент, то есть целых 25 лет.

Эта «столица света», по словам манифеста, представляет не что иное, как «гнездо мятежа, разврата и пагубы народной».

Заканчивался этот ко всем народам обращенный акт самоунижением, которое порою колет глаза «паче гордости».

Перечислив подвиги, совершенные русским народом, манифест заканчивался следующими словами, полными фарисейской кичливостью и туманным мистицизмом, вдруг проступившим на сцену, неизвестно откуда и почему:

«Самая великость дел сих показывает, что не мы то сделали. Бог для совершения сего нашими руками дал слабости нашей свою силу, простоте нашей — свою мудрость, слепоте нашей — свое Всевидящее око... Что изберем: гордость или смирение? Гордость наша будет несправедлива, неблагодарна, преступна перед тем, кто изливал на нас толикие щедроты; она сравнит нас с тем, кого мы низложили. Смирение наше исправит наши нравы, загладит вину нашу перед Богом, принесет нам честь, славу и покажет свету, что мы никому не страшны, но и никого не боимся».

Неясные угрозы кому-то, спор с мнениями, которых и оспаривать не стоило, потому что открыто мало кто высказывал теперь слишком либеральные лозунги, предостережение собственному народу о вреде гордыни, о стремлении к новизнам, о которых еще не думали темные массы русского народа...

Втягиванье Божества в события на земле, слишком кровавые и печальные, чтобы видеть в них проявление божественного промысла... Все это, спутанное, неясное, словно было навеяно, подсказано кем-то Александру и тот, покоряясь мощному внушению, стал повторять еще незатверженный урок... А наряду с манифестом этим и в Петербурге, во всей России, наконец и в Варшаве узнали, что император заводит какие-то новые порядки в своем государстве, для чего ему самым лучшим, даже единственным помощником и исполнителем является полубообразованный, грубый солдат Аракчеев.

Появление на большой сцене этого всевластного временщика, раньше работавшего не менее усердно, но где-то на задворках политики, появление неожиданное, принявшее значение государственного события, — также быстро было оценено всеми, кто раньше был близок к гибкому, загадочному государю.

Разных мнений не было об этом человеке: «проклятый змей», «вреднейший человек в России», «без лести предан», — так честили Аракчеева и прежние друзья Александра, которых быстро оттер новый любимец, и даже его

ближайшие помощники. Ждать от Аракчеева хорошего никто не мог.

Но тем более удивлялись все, что Александр выбрал себе в ближайшие сотрудники именно эту «одушевленную машину», да еще жестокую от природы.

Загадочный всегда, Александр поразил людей новой стороной своего многогранного «я»... Он, очевидно, ясно видел, куда поведет свою страну и всю массу народа русского... Он наметил новый, еще никому неизвестный путь...

А тут же, рядом, возглашал самые свободные лозунги, давал либеральную конституцию полякам и готовился, как скоро выяснилось, слить с ними и те западные губернии, которые искони отошли к России.

Мало того: он думал и на всю Россию излить блага «законосвободных» учреждений, даровать ей конституцию. Но к этой заветной цели, к этой земле обетованной для каждого сильного народа русские должны были пройти сквозь узкие врата, через иго «аракчеевщины» и военных поселений, идущих об руку с «министерством затемнения», как прозвали деятельность князя А.Н.Голицына, в этом же году назначенного министром народного просвещения и духовных дел.

Подобный переплет планов и намерений Александра выяснился не сразу...

До открытия первого сейма возрожденного польского королевства оставалось еще времени больше двух лет.

Люди, преданные родине, искренне любящие свободу и законность, почуяв поворот в политике русского императора, искренне стали опасаться, что этого желанного мгновения не настанет, что их измученная родина даже не увидит зари свободы, обещанной так торжественно, при таких счастливых предзнаменованиях.

— Благо, дарованное одним словом, одним росчерком пера государя-самодержца, может быть и взято назад, уничтожено так же легко, если сам народ кровью не скрепит подписи, данной чернилами, на одном из бесчисленных конгрессов.

Так думали искренние конституционалисты, сторонники разумной, закономерной свободы.

Демагоги и люди, умеющие в мутной воде рыбу ловить, подхватили эти сомнения, раздули их, сеяли черные вести и слухи... Словом, готовили себе жатву, полагая, что при споре «двух глупцов» — народа и власти, они, «хозяева жизни», попользуются порядком.

Массы, особенно молодежь, тоже сразу подвинулись, впали в нервное настроение, при котором довольно было случайного толчка, чтобы привести к целому ряду взрывов, вплоть до общего смятения включительно...

Так начался 1816 год в Варшаве, которая, подобно Парижу, служила для всей страны очагом мысли и духовной жизни, центром всяких движений, источником указаний, исполняемых целой страной...

Константин, с одной стороны способный ясно оценивать события, протекающие на родине, тем более что он стоял от них как бы в стороне, открыто высказывал свое критическое отношение ко всему, что затевалось теперь в России, и даже в одном письме к другу своему, Сипягину, которое просит прочитавши, сжечь, «потому что оно слишком откровенно», — в этом послании цесаревич прямо выразил опасение: «не вернемся ли мы таким образом к средним векам?..»

Но так метко оценивая действия брата, сам цесаревич не умел разобраться в собственных поступках, в том водовороте влияний, мнений и интриг, которыми был окружен как негласный, но действительный диктатор крулевства Польского.

Конечно, русские, окружающие цесаревича, может быть, и вполне искренне ощущали тревогу, питали недоверие к целому народу, в сердце которого ворвались, где стали владеть всем и давать свои законы.

Они порою и без всякого повода, без малейшего основания подозревали, что раздражение побежденных вдруг усилилось, что поляки, отдохнув после ряда лет, проведенных на полях брани, после погромов, наносимых с разных сторон, собрались с силами и готовятся вступить в борьбу с победителями, хотя бы и такими великодушными, какими оказались по воле Александра его подданные, россияне.

Встревоженные воображаемыми страхами, люди из свиты Константина и его заражали порой тревогой и опасениями. Но цесаревич умел спокойно ожидать события и только усиливал обычную строгость, как бы не желая дать повода полякам подумать, что он их боится и потому делает им всякие поблажки.

Теперь же, когда действительно опасения за будущее охватили польские круги и Варшавы, и провинции, цесаревичу просто уши прожужжали о «крамольном настроении и опасном подъеме в польском народе, особенно среди военных».

Наряду с добровольными «информаторами», даже и прежде них работали в столице, как в целом крае и со-

седних западных губерниях, специальные отряды «шпигов», тайных, в партикулярном виде, и явных агентов власти, полицейских и иных служащих.

Они, правда, особенно ценных сообщений делать не могли, потому что их знали все, кому надо было опасаться нескромности или доноса...

Но эти агенты, желая проявить усердие, часто выдумывали слухи, создавали мнимые тревоги, даже заговоры, путая простых уголовных «рыцарей ночи» с деятелями политическими.

Все это долетало до кабинета Константина, сливалось там в один общий гул, как в «пещере слухов», куда, согласно мифологии эллинов, доходили все вести со всего мира.

Неуравновешенный вообще по характеру Константин, сообразно тому, что в данную пору казалось ему наиболее справедливым, или приятельски, ласково относился к своим «ученикам»-полякам, или «жучил» их всюю...

— Узду надо на горячего коня! — говаривал он в такие строгие минуты. — Иначе он и себе голову свернет, и тебя искалечит!..

Но эта «узда» оказывалась острым мундштуком и нередко заставляла «коня» запрокидываться через голову, когда слишком сильно натянутый повод давил шею, острая сталь мундштука резала до крови губы «смиряемому коню»...

В начале этого года, когда происходит все здесь описываемое, тревожные вести неслись одна за другой.

Константин хмурился, вглядывался подозрительно в окружающих его адъютантов и ординарцев из польских полков, особенно внимательно принимал рапорты полковых командиров, сам проглядывал все бумаги и дела. Во время ежедневных разводов, вахт-парадов и экзерциций старался проникнуть в душу каждому поляку-солдату.

Вместе с тем он удвоил, если это было возможно, строгость дисциплины и требовательность к порядку, к ловкости и знанию службы от последнего рядового до начальников отдельных частей в генеральских эполетах.

— Муха какая-то укусила, — замечали более близкие люди, знающие оттенки настроений цесаревича.

— Нет, просто осенью ждет короля Александра, вот и старается хорошо подготовить войска, — возражали другие. — Император российский, наш круль любит марши да парады, говорят, еще больше, чем наш «старушек»!..

Так говорили те, кто не знал закулисной стороны дела.

А Константин все подвинчивал себя и окружающих, усиливал строгости, увеличивал требования, в своей властной манере и грубости доходил до последних пределов, как будто желая узнать, убедиться, насколько справедливы доносы о «развале» в войсках, о «крамольном духе» среди окружающих его военных, особенно поляков.

Зная шалый, но добрый нрав своего «учителя» и «хозяина» края, каким был, в сущности, Константин, все терпели, молчали, старались как-нибудь смягчить «старушка», укушенного ядовитой мухой наветов и клеветы...

Но понемногу назрел целый ряд столкновений между Константином и окружающими его военными, не только поляками, но и русскими.

Дело началось пустяками; о смешных эпизодах варшавяне сначала говорили со снисходительной улыбкой.

— Слышали, адъютанты и ординарцы нашего «старушка» вторую неделю «без обеда» сидят, — толковали в офицерских собраниях военные, а в кофейнях и ресторанах — штатские обыватели Варшавы, всегда заинтересованные тем, что делается и в крулевском замке, а еще больше — в Бельведере у цесаревича.

— Что случилось? Как это «без обеда»? — спрашивал огорошенный собеседник.

— Вот так, просто! Заспорили с ним несколько из его адъютантов и ординарцев, которые ежедневно обедают у него всей компанией. О Наполеоне, что ли, речь зашла. Манифест поминали новогодний Александра, яснейшего нашего круля. И говорили некоторые, что без Божией помощи не мог бы тот Бонапарт до такой силы дойти. И если бы его гений не зарвался, не рискнул бы он на Россию, так и теперь еще сидел бы на троне и мы были бы не с русскими в союзе, а иначе как-нибудь. «Старушск» наш сразу разогрелся, заспорил. Те знают, что дома он позволяет говорить с собою свободно. Только на ученье да на службе — пикнуть не смей!.. Вот и не уступают, зуб за зуб. Он совсем из себя вышел. Едва до конца досидел. Ушел почти не простившись с ними к себе, спать после обеда, как всегда. А на другой день уже никого и не позвали к нему за стол. И так — вторую неделю. Вот и говорят, что «без обеда» он оставил молодежь, даже и тех, что не спорили с ним.

— А это уже у нас такой обычай: на полковника недоволен, весь полк виноват, все там ни к черту не годится. Или если солдаты плохо маршировали — он готов офице-

рам фонари подставить, если бы мог. А потом перейдет с ним скоро... Опять помирятся... Увидите...

— Конечно, помирятся, я сам знаю. Потеха с нашим «старушком».

Но за потехой начались и более серьезные стычки.

С адъютантами дело скоро уладилось.

Ротмистра Крупского, остроумного балагура и неподражаемого рассказчика из еврейского и восточного быта, Константин, любивший рассказы остряка, спросил как-то после развода:

— Послушай, Крупский, нет ли у тебя чего-нибудь новенького? Расскажи!

Ротмистр быстро сообразил положение и ответил:

— Нового много ваше высочество... Да рассказывать некогда. Сами знаете, ваше высочество, служба... Начальство ждет. А вот как-нибудь за столом — я вам все выложу... позабавлю.

Константину и самому скучно было без веселой молодежи, которую он привык видеть за столом. Намек был понят и в тот же день он приказал по-старому звать ординарцев и адъютантов; ссора сразу была позабыта. Недаром говорили про Константина:

— Он кроток, как овца, умей лишь блять с ним заодно!

Другое столкновение было серьезней и само по себе, и еще потому, что разыгралось не среди польского офицерства, которое винили не только в излишней щепетильности, но даже в заносчивой неблагодарности к русским вообще, и к своему «учителю» цесаревичу — в особенности...

Возникла история в лейб-гвардии литовском полку.

Войска стояли в прелестном лагере за Маримонтской заставой, где вокруг бараков начальства устроены были богатые цветники, стояли статуи, ровными рядами насажены были деревья вдоль лагерных улиц. Здесь устраивались часто гуляния с участием гостей из города, сжигались блестящие фейерверки и гремела музыка, а потом налаживались веселые пирушки до утра...

В один из холодных дней два капитана, поляк Морачинский и Колотов, по обычаю, принятому среди офицерства, грелись, играя в свайку. Крупные денежные ставки разгорячили игроков и они поссорились наконец, один кинул другому сгоряча:

— Мерзавец!

— Ты сам мерзавец! — ответил тот и оба разошлись.

На дуэль они друг друга не вызвали, будучи «мирными» воинами. Но их ссору слышали товарищи. Оба спорщика были нелюбимы, как завзятые и даже заподозренные кой в чем картежники... К ним примыкал и командир 2-го батальона, капитан Верпаховский. Офицеры, желая избавиться хотя бы от двух «сомнительных» товарищей, подняли разговор о том, что после взаимного обмена такими тяжкими оскорблениями оба офицера не могут оставаться в полку... Были сделаны представления самому цесаревичу и после многих волнений офицерство получило обещание, что оба «мерзавца» будут переведены.

Во главе протестантов стояла группа «баловней», любимцев цесаревича: капитан Николай Николаевич Пущин, умница, образованный, блестящий офицер, штабс-капитан Габбе, про которого шептали, что Константин ему приходится самым близким родственником «по крови»... Затем шли: Энгельгардт, поручик Вельепольский, бывший паж, богач, и другие, по развитию, по связям, по рождению стоящие выше остального рядового офицерства. Даже генералы из «выслуживших чин», люди худородные и малообразованные по большей части прислушивались к мнению этой кучки «избранников». Полковник Верпаховский, грубый, неразвитой человек, картежник, не стеснявшийся обыгрывать дочиста своих же товарищей, озлился за двух капитанов — соратников по зеленому полю. Он и раньше косился на «аристократиков», а теперь искал только случая, чем бы досадить кому-либо из них.

Этот случай представился.

Шло большое ученье. Рота Габбе, входящая в батальон Верпаховского, проделывала упражнения, как и другие роты.

Верпаховский особенно обращал внимание на эту роту, ястребом носясь кругом.

— На краул! — раздалась команда.

Звякнули ружья... Один солдатик роты Габбе из правофланговых сделал темп не враз с другими товарищами.

Багровый от злости подскочил Верпаховский:

— Этта что, такой-сякой?!.. Как делаешь приемы? Где твой темп?!.. Мне за вас отвечать, за мерзавцев?!.. Не учат вас ничему ваши ротные, а я отвечай?!.. Ах, ты...

Истошив брань, Верпаховский крикнул двум соседям омертвелою солдатика:

— Бей его тесаками! Будет знать вперед, сучий сын!..

Блеснули на солнце тяжелые тесаки, тупо прозвучал удар, вырвался полузаглушенный стон у солдатика:

— Уух...

Вторая гренадерская рота Пущина училась тут же, недалеко. Противник телесных наказаний, особенно таких жестоких, Пушин возмутился еще и за своего друга Габбе, которому косвенно нанес оскорбление Верпаховский.

Трепеща внутренней мелкой зыбью, бледный до синевы, но спокойный на вид выдвинулся немного вперед Пушин и, грозя кулаком по направлению Верпаховского, громко прокричал:

— Я тебя, сукина сына... я тебя, шута горохового, проучу... Я тебе, картежник, покажу, кто ты...

Все застыли.

Верпаховский побледнел. Будь он умнее, следовало бы сейчас промолчать, сделать вид, что ничего не расслышал. Но Верпаховский только того и ждал, словно нарочно вызвал эту вспышку. Дав шпоры коню, он поскакал ко взбешенному Пущину.

— Вы это к кому обращались, капитан?

— К вам, полковник!

— Кк... как?.. ко мне? — опешив от такой прямоты, мог только выдавить из горла Верпаховский. — Ну, хорошо... Я... Хорошо!.. Сейчас же доложу... донесу!..

— Ступай... доноси...

Новое крылатое словцо вырвалось у Пущина. Но Верпаховский уже усакал.

Доклад был сделан в тот же день.

Цесаревич очень опечалился. Скандал разыгрался при посторонней публике. Но еще более неприятностей грозило впереди, если придется пустить доклад по начальству. Надо будет наказать Пущина и наказать довольно тяжело, в виду грубого нарушения военной дисциплины.

— Позови ко мне Пущина! — приказал он Куруте.

Ожидая взрыва, готовый отразить его, хотя бы пришлось потом сильно поплатиться за это, решительный мрачный явился вечером в Бельведер Пушин.

К его удивлению, цесаревич принял гостя в кабинете, одетый в свой любимый белый китель. Все это было знаком расположения; доказательством, что Константин видит в госте сейчас своего товарища, а не подчиненного.

И заговорил он обычным ласковым тоном:

— Здравствуй! Садись подле меня, Николай Николаевич, и выслушай меня! Дело очень скверное. Сам понимаешь: придется пустить дон... доклад Верпаховского по начальству, тогда уж я ничего не смогу сам поделывать, хотя

бы и хотел... Я тебя люблю, ты знаешь... Но, брат, государь шутить не охотник в таких случаях... Что тебе была за охота при всех, при чужой публике связаться с этим... Верпаховским?..

— Ваше высочество, должен вам доложить, что он, этот...

— Постой, помолчи... Сам знаю разницу между тобою и этим человечком. Но дело от того не легче. Во фронте оскорбление батальонного командира... Ну, словом, что толковать... Кончится скверно... И я прошу тебя... слышишь, Пущин: прошу! Ступай ты к нему... Кончи миром с этим... хреном! Кончи, как там сам хочешь... и как он захочет. Но чтобы дело закончено было тихо... Чтобы он взял свой рапорт назад. А до тех пор ходу не будет дано... Слышал?

— Слышал, ваше высочество...

— Сделаешь?..

— Постараюсь, ваше высочество...

— Ну вот хорошо, молодец! Не люблю я этих дрызг... Да и за тебя обидно... Прощай.

Вернувшись к себе в упраздненный католический монастырь, где стояли гренадерские роты и были отведены квартиры для офицеров, Пущин долго молча шагал по двум комнатам, составляющим его жилище...

Так до рассвета прошагал он, не коснувшись подушки головой...

С исхудалым, осунувшимся от внутренней борьбы и муки лицом явился к Верпаховскому на другой день Пущин:

— Я бы хотел... кончить как-нибудь... миром все, что произошло между нами, полковник. Чего вы потребуете от меня для этого? Дуэль? Извинение при всех? Что вам угодно?..

— Зачем это? Не надо... проще дело обойдется, — едва сдерживая злорадство, весь надутый от чувства удовлетворенной гордости, проговорил Верпаховский, — просто напишите мне письмецо... Мол, «я, такой-то... все бранные слова... произнесенные... и т.д. там-то... относил вовсе не к лицу... ну, там, как там?.. почитаемого... либо досточтимого... имя рек...» И подпись ваша... Вот и все-с... И мир... И забыто дело-с...

Говорит, а Пущин и дослушать не хочет. Встал, взял шляпу:

— Этого именно я сделать не могу! Взять обратно сказанное можно. Но после моего объявления вам... все слы-

шали... И писать, что я говорил не вам? Кому же? Что же я? Безумный?.. Да и кто поверит? Пустое-с... Все, что желаете... но это...

— Именно это-с... Только это-с... и больше-с... ничего-с, господин капитан Пушин. Да-с.

— Это... нет... не могу...

И Пушин быстро вышел от глумливого, торжествующего Верпаховского.

Снова позвал цесаревич Пущина. Но принял уже его официально, в мундире. Тут и Курута, и Кривцев.

— Капитан Пушин, — резко обратился к нему цесаревич, — я... я просил вас вчера кончить с полковником Верпаховским дело миром... Вы не пожелали...

— Но он, ваше высочес...

— Молчать, когда я говорю... Я знаю, что он предложил... Что вы еще можете сказать? А?

— Ваше высочество, он не купит себе моей запиской чести... Кто ему поверит? Все слышали. Весь город знает. Как я солгу на себя?..

— Без разговоров. Он старший чином... Вы так тяжело оскорбили... какие тут разговоры, а? Якобинство все... Я вам покажу... я...

Бледный до синевы сначала стоял Пушин. Но понемногу кровь стала заливать ему лицо. От обиды и стыда, возмущенный необычным окриком, он стал терять самообладание. Своими темными расширенными глазами он так и впился в горящие глаза Константина, как глядит порою укротитель на разъярившегося зверя.

— Я вас всех подберу... тебя... тебя в особенности! — продолжал расходившийся Константин и совсем близко нагнулся на Пущина. Еще минута и его жестикулирующие руки заденут офицера.

Вдруг громко, почти властно, внушительно прозвучал голос Пущина:

— Извольте отойти от меня, ваше высочество, назад немного...

— Чччто?!.. Ччто... ты посмел...

— Отойти извольте назад, ваше высочество! — еще тверже, членораздельно отчеканил Пушин. Губы его сжались, побледнели, дрогнули руки, до сих пор опущенные по швам.

Сначала Константин замер от неожиданности, невольно отступил на два шага и вдруг еще сильнее загрохотал

— А, что?! Бунт!!

Слова оборвались. Какие-то хриплые выкрики, неясные звуки вылетали из посинелых губ. Он побагровел, жилы сильно вздулись на его мясистом лысеющем лбу, на короткой жирной шее.

Курута быстро подошел, словно готовясь стать между обоими — своим другом цесаревичем и Пушиным.

Константин немного овладел собой и крикнул Куруте:

— Дмитрий Дмитрич, взять его... под арест... в карцер... сейчас... Под суд! Бунт!

— Цейцаз... Цейцаз... Все будит исполнено... — успокоительно заговорил Курута, осторожно взял под руку Константина и повел его из комнаты.

Константин с восклицаниями, продолжая браниться и грозить, двинулся за Курутой, что-то говорящим цесаревичу по-своему, с жестами и одушевлением.

Константин тоже заговорил по-эллински, потом целый поток самых сильных русских ругательств, переведенных на греческий язык, хлынул у Константина, который находил особенное удовольствие передавать языком Гомера самую крупную солдатскую брань...

Когда находчивого Куруту спрашивали порою:

— Что вам говорил цесаревич?

Тот, пожимая плечами, спокойно отвечал:

— Так... пустячки... Он бранится... на русски языке это нехорошо... А по-гречески — ницего не выходит... Переводить это нильзя... никак нильзя...

Конечно, Пущин не был взят и посажен в карцер. Он пошел домой, где и был подвергнут аресту. Но приказ о суде был дан. «Дерзкие объяснения», как сам Константин определил вину Пущина, были налицо. Обвинение неизбежно.

Тогда проявился старинный товарищеский дух, которым сильна русская армия как внизу, так и в офицерской среде.

Как раз в эти печальные для всего Литовского корпуса дни состоялся обычный полковой праздник, на который собралось все офицерство Варшавы.

За одним из столов сидели офицеры Литовского полка, товарищи Пущина.

Константин в полной парадной форме поздравил всех. Была поднята здравица за государя. Начался завтрак. За столом, где сидели «литовцы», никто не притронулся к блюдам. Тарелки уносились чистыми.

За столом, где сидел Константин, окруженный высшим начальством, поднят был за него тост. Генералы первые стали подходить и чокаяться. Настала очередь за литовцами.

Они так и сгрудились в своем углу. Бокалы стояли на столе.

Сначала цесаревич не понял, в чем дело. Ему показалось, что гости смущены недавними неприятностями и не решаются быть запросто, как всегда. Желая сломить лед, он первый обратился к ним:

— За ваше здоровье, господа офицеры!..

Тяжелое молчание в ответ.

Несколько секунд простоял он с высоко поднятым бокалом. Ему казалось, что целую вечность он так стоит, что краска стыда заливает ему щеки...

Потом знакомое ощущение злобы, прилив слепого гнева начал овладевать душой...

Но перед ним не солдатские ряды на Саксонской площади, где он чувствовал себя полным властелином, что бы ни вздумал приказать или сделать этим живым шеренгам неподвижных людей...

Тут тоже неподвижные ряды... Но он видит эти бледные угрюмые лица... Видит, как его адъютант генерал Красинский подходит то к одному, то к другому, подталкивает их... Стоит одному послушать начальнического внушения, стоит одному чокнуться и все пойдут... и дело кончится хорошо...

Но нет... Все стоят, как вкопанные... глядят сурово, в землю...

Должно быть, так же глядели те... тоже офицерская компания, которые ночью сошлись перед дверьми спальни в Михайловском дворце... Давно, пятнадцать лет тому назад...

Эта внезапная мысль сразу утетила гнев Константина... Панический страх, сходный с тем ощущением, какое он испытал при Басиньяно, когда мчался в реку, сломя голову, только бы дальше от выстрелов, гремящих позади... Вот что овладело Константином. Едва сдерживаясь, чтобы не крикнуть, не побежать, он бросил бокал, схватил свою шляпу и быстро оставил покой...

Но этим не кончилась история.

Приговор, вынесенный Пушкину, хотя и довольно снисходительный, но все же признающий его виновным в нарушении дисциплины, лежал уже перед цесаревичем на столе для конфирмации.

Сидя вдвоем с Курутой, Константин грыз верхушку своего пера и говорил:

— Ты, старый дурак, виноват!.. Должен был вовремя удержать меня... Конечно, Пушкин надерзил, но он вышел из

себя... По себе знаю, что можно сделать, если выведут из себя... Теперь надо утвердить приговор. Иначе будут считать кукольной комедией военный суд... А это последнее дело! Все погибнет тогда! Старый ты осел! Молчи, не возражай...

— Я и не возражаю, голубчик... Поцему ты думаешь, что я возражаю?!

— И глуп! Неужели, ничего не можешь мне сказать на то, что я объяснил тебе? Может быть, я ошибаюсь? Есть еще выход?..

— Есть, зацем нет: не надо утверждать приговор... Вот и выход...

— Да ты от старости и распутства спятил, греческая образина! Мне самому не утвердить, когда я требовал суда?! За кого же меня принимать станут?

— За доброго целовека, милый мой друг...

— За пешку, за бабу, за тряпку! Ты того хочешь, бес-тия! А?! Осрамить меня желаешь перед государем, братом моим... Перед всем миром крещеным? Тут строгость нужна в чужом, недавно завоеванном краю, а не сантименты разводить... Олух... Подписать надо вот что...

— Подпишай... — спокойно ответил Курута, все время как будто прислушивающийся к чему-то за дверьми кабинета, где они сидели вдвоем.

— «Подпишай»! Осел... Жаль Пущина... Средств своих нет... семья... Что он потом будет дслать, когда уйдет со службы, отбыв наказание? Семья по миру... Самому тоже хоть в петлю... Разве он останется жив теперь?..

— Останется...

— Молчи, болван. Своим спокойствием ты меня выводишь из себя... Стой, что еще там?

За дверью послышались голоса, шаги, необычайный шум в это время в покоях Константина.

Он вздрогнул, изменился, крикнул:

— Кто там?

Вошел дежурный гайдук:

— Так что, ваше императорское высочество, господа капитаны лейб-гвардии просят дозволения видеть ваше высочество по служебному делу...

Не сразу, чувствуя, что во рту у него вдруг все пересохло, Константин приказал:

— Впусти!

Стоя у стола, он оперся на него рукой и рука эта сама вздрагивала и заставляла слегка вздрагивать предметы, стоящие по соседству.

Обширный покой был слабо освещен и это помогло Константину скрыть от вошедших свое внезапное волнение. Да и сами они, человек десять, были так напряжены, чувствовали такой нервный подъем, что не могли обращать внимания на чужое настроение.

— Здравствуйте. Что вам угодно, господа? — спросил Константин.

Выступил старейший из всех, седой рубака, любимый цесаревичем за отвагу и точную исполнительность по службе.

— Ваше высочество, мы все... капитаны лейб-гвардии Литовского полка приносят свое живейшее извинение, что потревожить решились в столь непоказанное время, равно выражают глубочайшую признательность, что удостоились принятия в непоказанный для сего час... Но только чрезвычайная важность и срочность в обстоятельствах дела...

Очевидно, готовивший долго свою речь, капитан все-таки, по непривычке к красноречию, споткнулся. Константин сам пришел ему на помощь.

Вглядевшись в лица вошедших людей, давно и хорошо ему знакомых, он прочел в них печаль, решимость, но и тени не было чего-либо угрожающего.

Скорее какая-то печать самоотречения, готовность к тяжелому чему-то, может быть, к собственной гибели читалась в этих взволнованных лицах, в глазах с темными расширенными зрачками в побелелых и плотно-сжатых губах.

Затаенный страх, против воли овладевший было в первое мгновение Константином, быстро прошел. Он выпрямился, теперь бестрепетный, тоже скорее грустный, чем суровый или озлобленный, и поспешнее обычного проговорил:

— Если не ошибаюсь, вы явились по поводу приговора, вынесенного нынче военным судом вашему товарищу, капитану Пущину... Я так думал, потому и не стал узнавать причин прихода, а прямо, как видите, пригласил вас сюда, к себе... Я готов вас слушать. Садитесь.

Указав на стулья незванным гостям, он опустил первый в кресло за своим столом. Этим как бы давалось знать, что разговор пойдет не строго служебный, не так, как мог бы говорить цесаревич, главнокомандующий армией со своими подчиненными, а, скорее, как между старшим товарищем, хозяином дома, со своими младшими товарищами и его гостями в то же время.

Такой прием придал развязности вошедшим, которые легче могли прийти к самому опасному и тяжелому для себя решению, чем выполнить таковое более или менее

дипломатическим путем. Да еще в том случае, когда приходилось иметь дело с «самим», с неукротимым громовержцем Константином.

— Итак? — выждав некоторое время, снова спросил цесаревич, обводя всех взором. — Вы явились с каким-то делом? Я слушаю. Продолжайте, капитан.

Седой усач, к которому прямо обратился Константин, побагровел от натуги. Казалось, можно было видеть, как мысль клубилась в его мозгу, как от этого вздувались на лбу жилы, а челюсти никак не могли раскрыться и пропустить необходимые слова. Но ни тени страха не примешивалось к этому смущению, к юношеской застенчивости, особенно странной в этом загорелом седом вояке, лицо которого даже перерезал глубокий шрам, памятка лихих рукопашных боев...

Но наконец он овладел членораздельной речью и сразу отчеканил:

— По поводу приговора и осуждения, вынесенного единогласно членами военного суда по делу капитана лейб-гвардии Литовского полка Пущина, все остальные капитаны того же полка, как здесь находящиеся налицо, так и отсутствующие, имеют честь единодушно доложить вашему высочеству, что...

Он тут снова на мгновенье остановился, как бы припоминая точные выражения, в которых следовало высказать решение товарищей. Но сейчас же с новой решительностью и напором, сразу отчеканил:

— Что мы все считаем себя участниками в ответах и возражениях капитана Пущина, неоднократно с ним таковые обсуждали, на таковые его уполномочили и ныне имеем честь просить ваше высочество отдать нас под суд совместно с помянутым капитаном как его единомышленников и соучастников, дабы не он один понес кару за вину, всем нам общую, вот-с...

И усач даже выпустил из груди со свистом остаток воздуха, отдуваясь после такой бесконечной речи, сказанной одним духом.

Опять наступило короткое молчание.

Курута, тоже присевший в сторонке, у стола, где занялся для виду рассматриванием каких-то планов, сам все время поматывал слегка головой в такт речи капитана, как будто был очень доволен и тоном, и содержанием ее.

Добродушный, хотя и слабохарактерный старик жалел Пущина, только не умел и не мог сам ему помочь. Теперь он видел, что цесаревич одумался, готов исправить свою ошибку, да не знает, как это сделать половчее. Речь ка-

питана, суровая и трогательная в то же время, именно могла дать исход.

Никто больше цесаревича не умел понимать и ценить порывов благородства. Они потрясали Константина, грубого и солдатообразного на вид, но в душе полного самых тонких ощущений и переживаний.

Сейчас он неожиданно услышал предложение капитана: судить их всех, чтобы целый товарищеский кружок был наказан за вину одного, чем, конечно, облегчалось и самое наказание.

Это сразу смягчило, даже растрогало цесаревича.

Конечно, будь здесь один из «друзей порядка» — Ланской, Новосильцов или лукавый «круль Пулавский» князь Чарторынский, — они бы постарались дать иную окраску заявлению капитанов, увидали бы в нем скрытую угрозу, массовое выступление и т.д., до военного бунта включительно.

Но на счастье никого из них тут не случилось. Константин так понял заявление, как оно было сделано, и, овладев волнением, которое постоянно охватывало его в подобных случаях, по-прежнему стараясь придать голосу твердость, даже суровость, хотя и безуспешно, заговорил:

— Гм... гм... что же, я того... не удивляюсь, господа, что вы стараетесь выручить своего товарища из беды... из несчастья. Да, гм... Я... я сам люблю и уважаю капитана Пущина, — совсем неожиданным, теплым, искренним тоном проговорил он быстро, как будто опасаясь, что кто-нибудь ему помешает досказать до конца. — Я... я просто горжусь такими офицерами, как он... Да-с! Вот-с... Я, того... хочу с ним помириться. Ступайте, будьте покойны, господа: все уладится лучшим манером. Да-с... А вас, — обратился он к усачу, — вас, капитан, попрошу: привезите мне немедленно Пущина. До свиданья-с, господа... И... без благодарностей... прошу вас, без всяких околичностей. Я вам сказал: я сам так решил... С Богом.

Остановленные в своих порывах капитаны раскланялись и с невольными, невинными, радостными и признательными возгласами вышли из комнаты.

— Что скажешь, старая бочка, сырной ларек: как я оборудовал дельце, а? — обратился Константин к Куруте, как только ушли все.

— Карасо, превосходна! — заплодировал старый наперсник. — Оцин умно. Я и не придумал би такой штука...

— То-то, старая обезьяна! Ступай, как приведут Пущина, сейчас же ко мне его...

Курута понял, что Константин не желает иметь свидетелей при этом щекотливом свидании и быстро выкатился, семеня короткими ногами, колыхаясь отвисающим, старческим брюшком...

Усач-капитан с Пушиным скоро явились к дверям кабинета.

Гайдук доложил, раскрыл дверь. Пущин переступил порог.

Гайдук ждал, чтобы и второй посетитель вошел, но тот отступил на шаг назад, сделал знак и дверь закрылась за одним Пушиным.

Константину понравилась такая догадливость усача-капитана.

Он стоял среди комнаты, держа в руках злосчастный приговор.

— Подойди ближе, Пущин. Видишь? — одним движением он разорвал лист, скомкал и откинул прочь. — Между нами все забыто, не правда ли? Ну, давай помиримся!

И широким дружелюбным жестом он протянул капитану свою увесистую руку.

Тот почтительно, но горячо пожал ее и вдруг очутился в объятиях цесаревича.

— Вот так, по-братски... Давай поцелуемся по-нашему, по обычаю... Так... так... Вот! Мир, так полный! Ну, не надо, ничего не будем сейчас говорить... Тебе извиняться не в чем... Оба виноваты и конец... Гм... Гм...

Он двинулся к столу, как будто желая там что-то взять, а на самом деле для того, чтобы смахнуть слезу, которая вдруг и совсем некстати повисла на реснице...

Пущин тоже поспешил отереть увлажненные глаза.

— Ну, братец, ступай домой... вольной птицей... А завтра обедать приходи, слышишь... будь здоров...

— Да благословит Господь Ваше высочество, — только мог сказать Пущин и вышел.

История кончилась лучше, чем ожидали и даже хотели того многие. Но тут же иные говорили:

— Погоди, еще то ли будет?

И эти дурные пророки не ошиблись.

Как и всегда почти, буря разразилась на одном из парадов на Саксонской площади.

Весной 1816 года, которая наступила рано и дружно, посетила Варшаву великая княгиня Екатерина Павловна, любимая сестра императора Александра.

Красота, живость характера и сила ума удивительно сливались в одно у этой принцессы, действительно, как бы одаренной всеми феями сказочного мира.

Константин, хотя и не так горячо, как его старший брат, но тоже чувствовал особое расположение к этой сестре и старался показать ей в полном блеске свою Варшаву. Главным образом этот блеск заключался в парадах и разводах, составляющих для цесаревича лучшее занятие и удовольствие в мире.

Вместе с Екатериной Павловной приехал и ее второй муж, наследный принц Вюртембергский Вильгельм. Он только в январе этого года был обвенчан в Пстербурге с молодой очаровательной вдовой герцога Ольденбургского, за которым была в первый раз замужем великая княжна.

После ряда празднеств, увеселений и балов, данных в русской столице в честь новобрачных, они, по дороге в Вюртемберг, заехали к цесаревичу Константину в веселую живописную Варшаву.

Вообще, в целом Царстве Польском, так недавно слившем свою судьбу с судьбою всей российской империи, было на что поглядеть в данное время.

В самой империи еще пролегал широкой, на сотни верст лежащей полосой гибельный след вторжения полчищ Наполеона.

Следы разрушения больше всего, конечно, видны были в Москве, четыре года тому назад выжженной дотла. Но и другие города, Смоленск, Клязьма и вообще западные губернии еще далеко не оправились от удара.

Кругом царило безлюдье, разрушение... Даже в уцелевших местах жизнь как-то замерла, остановилась, словно боялась забить с прежней силой и яркостью.

Совсем иное замечалось, как только поезд высоких путешественников перевалил за грань Царства Польского.

Местечки, в которых главным образом сосредоточивается краевая жизнь, обустраивались и возникали заново, как и целые десятки, сотни деревень, белеющих своими свежими хатками с золотистыми соломенными кровлями.

В самой Варшаве тоже чуялось широкое обновление. Старинные палацы, жилища знати, отделявались заново, старые деревянные и маленькие домики сносились и строились большие дома нового, столичного типа, с большими окнами, с подъездами на улицу. Старые улицы порою сносились целиком, расширялись, выравнивались, из средневековых извилистых закоулков обращаясь в прямые

широкие проезды, обсаженные деревьями, весенняя листва которых, нежная и редкая еще, так украшала общий вид, радовала взор, утомленный зрелищем лесов, одевающих возводимые дома, грудями кирпича, камня и бревен, наваленных вдоль улиц.

Лучшее, что по мнению Константина, он мог показать сестре и своему новому *beau frere*, это были его русские и польские войска, уже за один год доведенные им до большого совершенства в строевой службе.

Наравне с парадными спектаклями и балами, а то и прежде всего, гостей потчевали разводами, плац-парадами и смотрами.

Все шло довольно гладко, особенно вызывая внимание со стороны принца Вильгельма, человека очень недалекого и помешанного также на воснных упражнениях не меньше цесаревича.

Екатерина Павловна, хотя и понимала значение войска хорошо обученного и способного явиться грозной силой для отпора врагам в руках даровитых вождей, все-таки не так уж была заражена парадоманией, как ее брат и второй муж.

Но и сй пришлось признать, что Константин умеет показать товар лицом.

Вообще шагистика доведена была до совершенства в этих частях, которые теперь явились на смотр перед глазами гостей. Но особенно прищипывало и русских, и поляков, врожденных рыцарей, присутствие такой очаровательной, царственной зрительницы, как Екатерина Павловна.

До последнего солдата все невероятно подтянулись, напрягли внимание, силы, удвоили старания. Все на войсках было выложено, вычищено, аммуниция, как с игопочки, медные части горели на солнце, штыки поблескивали холодными огоньками, пушки, все металлические части лафетов, до последней гайки у колеса — все это сверкало отполированными гранями и всей поверхностью, как будто сейчас отлитое...

О стройной отчетливости движений и построений нечего и говорить.

Целые полки, тысячи живых существ ритмично, почти бесшумно, разом, по команде приходили в движение, останавливались или меняли фронт и дирекцию как самая точная, хитро слаженная машина.

Только проносилось в воздухе созвучное лязганье частей воинского снаряжения, переливалась молния света на линии штыков, вдруг изменивших свое положение, рокотал многотысячный дробный удар человеческих ног, то широко,

мерно пожирающих пространство, то отбивающих на месте, правильно и четко, задержанный почему-либо шаг.

Все были довольны, а цесаревич больше всех.

Но, по своему обычаю, чтобы «не зазнавались люди», — он сдержанно выражал свое одобрение и даже хмурил время от времени густые брови, как будто замечал нечто неудовлетворительное, но не хотел ради общего хорошего настроения замеченные им ошибки подчеркивать и выстав-
лять всем на вид.

И в самый последний день случилась настоящая беда.

Одна рота 3-го полка польских войск произвела совсем не то перестроение, которое требовалось по общей команде.

От переутомления ли или от слишком напряженного внимания, ведущий роту капитан Шуцкий плохо расслышал команду, перепутал и моментально люди его стали вразрез общему строю войск. Соседняя рота капитана Гавронского, хотя и получила правильный приказ, но стихийно поступила по примеру товарищей, после которых пришлось выполнять построение...

Это грозило спутать порядок на большом пространстве, нарушить общий ход парада.

— Проклятые, безголовые поляки! — багровея мгновенно, крикнул на всю площадь Константин, прорезая своим голосом даже свист флейт, рокот барабанов, созвучно исполняющих задорный военный марш.

Шпоры коню — и он сразу очутился перед двумя ротами, которые уже поняли свою ошибку и стояли на месте, не смея ни двинуться вперед, ни перестроиться, как следовало это сделать раньше...

Оба капитана, бледные, как полотно, покрытые холодным потом, глядели на темную грозную фигуру на крупном коне, которая мчалась прямо на них, грозя, казалось, растоптать кого-нибудь из двоих под копытами пущенного вскачь, обозленного шпорами коня.

— Пся крив!.. Лайдаки! Это что за штуки, крамольники! Наполеоновская банда! — загремел по-польски и по-русски, мешая в крупной ругани оба языка, голос главнокомандующего. — Оглохли?! Ослепли! Команды не слышите? Службы не знаете? Капитан Шуцкий! Капитан Гавронский! Я вас выучу службе. Карты, пьянство, девки на уме. А потом путаете команду. Дермо, не рота. Приемов не знаете. Взять по ружью... Становись в ряды... Ты, — обратился Константин к младшему офицеру в каждой роте, — и ты!.. Примите команду... Научите ваших ротных,

как надо маршировать!.. Слушай команды... Пол-оборот налево... Шаг на месте... Равнение направо... Слушай!.. Шагом... арш!.. Раз... Раз...

Исправив таким образом беспорядок и тут же, без разбора покарвав тех, кто ему казался особенно виновен, Константин вернулся на свое место, к сестре, к принцу, ко всему штабу.

Все были крайне смущены, но старались не показывать этого, не обидеть впечатлительного цесаревича.

В то же время свои удивлялись, как он сдержался, не пустил в ход самой крупной русской брани, что случилось не раз, несмотря на присутствие в публике дам и девиц.

Второй раз уже обошли оба капитана Саксонскую площадь, маршируя в рядах своих рот с ружьями на плече, как простые солдаты.

Екатерина Павловна, пошептавшись раньше с Курутой, очевидно, нашла, что можно вступить за несчастных.

— Как великолепно маршируют эти оба капитана, смотрите, дорогой Константин. Не думаю, чтобы во всем русском войске у нас офицер умел так носок тянуть, держать грудь, нести ружье. Картина! Не правда ли? — обратилась она к мужу.

Тот понял и тоже осыпал похвалами двоих провинившихся офицеров, сразу попавших в рядовые.

Понял это и Константин. Он уже успокоился, сообразил, что тут простое недоразумение, команда из-за ветра, из-за дальности могла быть плохо услышана...

— Ну, еще бы! — отозвался он, улыбаясь. — Я, если хотите сам сейчас возьму ружье да промарширую и лучше этого. Нас не так учили, как теперь портят солдат!.. А если начальник сам что знает, он тому научит и солдат. Не иначе... Граф, — обратился он к своему адъютанту, к генералу графу Красинскому. — Прикажете им занять свои места... Будут другой раз внимательнее к команде.

Через минуту оба капитана стояли уже на местах и руководили ротами.

Казалось, все кончилось хорошо.

Но в тот же вечер эта история служила предметом разговоров и толков во всем городе. А в военных собраниях ее обсуждали совсем серьезно.

Офицерство 3-го полка волновалось и шумело больше всех, конечно, от старшего офицера до последнего прапорщика.

— Такая грубая брань при высочайших гостях!.. При самой принцессе Екатерине Павловне... При чужом принце! И такое издевательство над нами, над целой нацией! Это недопустимо! — горячились самые завзятые, юные, неоглядчивые братья Трембинские, поручик Герман, капитан Бжезинский.

— Мы должны высказаться... Протестовать! Он не имеет права! Это дикость!..

— Позвольте, совсем не в том дело! — возражали другие, более благоразумные, осмотрительные, те, кто постарше, повыше чинами. — И раньше бывало так же. Но мы терпели. Мы же знаем характер «старушка». На плацу он дуреет. Ничего не видит, не помнит... И не думал обижать нацию. Выругался, так он и своих русских еще хуже, случается, ругает. А потом и ходит за ними, как сиделка за больными, и денег дает... И... да что толковать... Он не от злобы ругается. Так привык у себя в Московщине... отучиться никак не может и в другом более культурном краю. Из-за этого историю подымать — и себя дураками выставим, и делу не поможем... Слово всегда словом останется. А начнем кричать, скажут: мы бунт затеяли... Политику вмешают. Много ли друзей у поляков? Сами знаете... Не время еще бурю вызывать...

— Так как же? Смолчать?! Не высказать протеста! Глотать пощечины?

— Ну, кто вам сказал? — отозвался Живульт. — Голос надо подать... И внушительно... чтобы его сама совесть тому человеку не позволила заглушать... Мое мнение, которое разделяют и еще многие, таково: оба капитана были разжалованы. И теперь служить нам с ними не идет. Хоть он и вернул им команду, но они сами поймут, что не могут стоять наряду с остальными товарищами, которые не занимали места среди рядовых, с ружьем на плече.

Сразу выдвинулись вперед оба капитана: Шуцкий и Гавронский, которые до сих пор держались в стороне, чувствуя себя очень неловко.

Заговорил Шуцкий:

— Позвольте, товарищи... Да за что же?.. Почему же мы?..

— Вот в этом вся и суть. Если вы ни в чем не виноваты, дело надо разобрать гласно и пусть судьи скажут: должны ли вы были понести такое позорное наказание? Или виноват тот, кто безрассудно обидел вас перед лицом целого мира. А пока вы разжалованы... И нам, еще непокрытым таким стыдом, с

вами служить нельзя, если мы не желаем, чтобы завтра то же самое повторилось с каждым из нас!

Все задумались, потемнели, сообразив, в чем суть такого неожиданного требования, предъявленного к двум обиженным капитанам.

Все поняли, видели общее бессилие и молчали.

Прозвучал только один молодой напряженный голос поручика Германа:

— Позвольте, значит, суд над капитанами явится судом над ним?.. И если их оправдают, он окажется осужден... Да этого же никогда не допустят... Да надо быть...

— Очень юным и неопытным поручиком, чтобы говорить, что Б есть Б... А мы сперва должны сказать А... И поглядим, что после будет? Придется ли говорить всю азбуку до конца или как-нибудь иначе дело устроится...

Опять настало тяжелое молчание.

— Я нынче же подаю в отставку! — негромко, печально заявил Шуцкий.

— Я тоже, — подтвердил Гавронский.

— Вот и конец. А наше начальство, которое благоразумно не явилось сегодня на это собрание, обязано сообщить цесаревичу мотивы вашей отставки...

— Да, да, обязаны...

— Я нынче же переговорю с генералом, — объявил адъютант графа Красинского капитан Велижек. — Завтра мы услышим какие-нибудь новости. А вы куда же, Шуцкий, Гавронский? Оставайтесь, тут еще придется кое-что...

— Нет. Раз мы подаем в отставку, судите уж без нас. Прощайте, товарищи!

И оба вышли.

— Вот чудaki, — заметил старший Трембинский. — Чего они так расстроились? Все уладится. Их отставки не примут. Он извинится перед капитанами, как извинился перед своим Пушиным... И все дело будет с концом...

— Ну, вряд ли! — возразил Живульт. — Я тоже знаю «старушка». И любит он «своих друзей», учеников-поляков... и все такое... А с русскими нас не сравниет... Прощения не попросит. Увидите!.. Что тогда?

— Увидим... Тогда подумаем...

— А как же эти два товарища? Кроме службы у них и средств нет к жизни. У Шуцкого мать на руках... У Гавронского целая семья...

— Это последнее дело! — отозвался Велижек. — Теперь же мы можем для них собрать хороший куш, как товарищи, как братья... Вот, я начинаю: 1000 злотых, все, что могу...

— Давай и я!..

— И я...

Листок, вырванный из записной книжки Велижека, быстро пошел по рукам, покрылся записями и вернулся к адъютанту:

— 22600 злотых! Вот это по-братски! Отлично, панове товарищи! — радостно объявил он, подсчитав итог. — Пенский, пан казначей! Бери и выдай нынче же... Самое позднее — завтра... А мы внесем тебе свои деньги без замедленья, будь покоен...

— Ну, еще бы беспокоиться! — флегматично отозвался толстый усатый казначей полка, майор Пенский и аккуратно спрятал поданный ему листок.

До поздней ночи еще обсуждали товарищи тяжелый случай, почти позабыв вино, бильярд, карты, все, что обычно занимало военную молодежь и стариков.

Прошло два дня.

Вечером в обширной, хорошо обставленной квартире Велижека, располагающего значительными средствами, собралось человек пятнадцать товарищей обсудить положение вещей, которое нисколько не изменилось к лучшему.

Тут сидели самые горячие головы полка: оба брата Трембинские, капитаны Живульт и Бжезинский, поручик Герман, невозмутимый с виду майор Пенский, задумчивый, томный Шостацкий, «поэт», как его звали друзья, и несколько других. Не своего полка был только один, майор Лукасиньский, приглашенный от имени всех для совета.

Сам хозяин, порывистый и вдумчивый в то же время человек, капитан Велижек, открыл собрание короткой сдержанной речью, но голос его рвался и дрожал, когда он говорил:

— Почтенные товарищи, друзья! Ждать нечего больше! Все теперь ясно! Нас решили взять измором. Ответа на прошение капитанов об отставке нет никакого. Наше заявление по начальству осталось тоже без отклика. Москальскую моду мы знаем, с нами хотят воевать, как с Наполеоном. «Мол, время свое возьмет, покричат да и угомонятся понемногу. А остальное пойдет по-старому...» Но нет! Этого не будет. Наше терпение исчерпано. И мы должны теперь же решить, какие меры могут навсегда обеспечить и нас, и все польское войско, что больше не будет

повторяться подобных диких унижительных сцен... Прошу каждого высказаться.

— Мне сдается, — волнуясь, запинаясь от наплыва мыслей и чувств, первый подал голос поручик Герман, — мы прямо имеем право требовать объяснений...

— От кого?..

— От него, от обидчика, какое бы высокое положение он ни занимал... Да! Этот мундир, который и он носит, нам дороже выше всего на свете... Даже самой жизни!..

— Да, да, дороже жизни нам честь! — раздались порывистые голоса.

— И что же потом? Если он извиняться не пожелает, что вперед можно сказать, — задал вопрос снова тот же Лукасиньский, который как-то само собой явился неназванным председателем собрания. — Что же потом?

— Дуэль! — коротко отрезал поручик.

— С вами?

— Со мной, с вами, со всеми поочередно, если желает. Или по его выбору, или по нашему назначению... как сам захочет...

— А если и этого не захочет и пошлет ваших секундантов сперва на гауптвахту, а потом под суд, в казематы Шлиссельбурга?.. Как тогда?

— Тогда?.. — Герман совсем задохнулся от величины мысли, овладевшей им, от силы ненависти и негодования, которые так и прорвались в его отрывистом глухом возгласе. — Тогда смерть! И мне, и нам... Но прежде всех — ему, позорящему нас безнаказанно... Ему... смерть...

— И гибель отчизне! Смерть нашей, едва оживающей свободе, которая все-таки должна быть долговечней, чем правление одного грубого, несдержанного человека... Или вы не помните, поручик, что было четверть века тому назад... То есть забыли этот урок истории, который знает наизусть каждый поляк, каждый верный сын своей родины... Мы дали волю негодованию, свергли с себя на короткий час тяжелое иго, уничтожили всех врагов, которые в сердце отчизны, в ее столице хозяйничали, как у себя на псарнях... И что было потом? Вспомните взятие Праги, суворовскую резню... Ряды могил... Осиротелых жен и матерей... Темный, непроглядный гнет, окутавший Польшу и ее народ на долгие годы, пока не явился великий вождь и не освободил хотя отчасти нас от враждебных, черных чар! И если мы теперь в самом даже справедливом порыве гнева сделаем то, о чем вы сказали... Что ждет Польшу, весь край?.. Весь народ? Подумайте...

— Что же, все равно погибать. Так лучше в борьбе, с оружием в руках, чем под каблуками у гордых победителей-господ...

— На это я возражу: слишком рано отчаиваться... Правда, сейчас мы не готовы... Но оглянитесь, пан поручик... Оглянитесь все и подумайте, товарищи-друзья. Что творится сейчас вокруг? И что еще ждет нас впереди... В 35000 штыков рассчитаны кадры нашей польской армии. Их нет еще... Но скоро будут сполна... Их будет вдвое, втрое больше, потому что служба всего восемь лет... Да и среди отставных, запасных, среди бывших наполеоновских воинов немало годных под ружье... Артиллерия, ружья, порох — все идет к нам с севера, все шлетя щедрой рукой. Пока русские патрули, русские дозоры стоят вокруг этого на страже. Но не всегда так будет... Сейчас мир в Европе, и Россия занята внутренними делами, и нашей короной в том числе. Но время близко. Западные народы устанут жить мирно. Турки так и сторожат минуту... Снова кинется к разным окраинам своим русская сильная рать. А у нас руки будут развязаны... Оружия будет вдоволь для этих рук... Хлеба, всего напасем... И тогда... Это другое дело... А теперь? До срока разозлить сильного соседа... Дать ему шанс окончательно подчинить бедную Польшу московской плети?! Нет, пусть Господь Бог хранит каждого честного патриота от малейшей неосторожности... Верьте: работа идет... Молодежь воспитывается так, как вы сами знаете... Как выкормили вас ваши матери-польки, как подняли вас ваши отцы-патриоты, как учили вас святые учителя церкви, кзендзы-наставники... И также идет работа теперь... Войска, университеты, гимназии, каждый уголок в родных лесах, каждая избушка угольщика — алтарь, где тихо молится наш народ о пришествии Мессии-Освободителя, о появлении зари Свободы. Но брать счастье надо сильной рукой и в свое время. А так поспешишь и все разрушишь, что готовит десять миллионов народа, что строится много лет и будет достроено еще через несколько лет...

— Но ведь сил нет ждать, полковник!..

— Как у кого, друзья. Слабому все не по силам...

— Как, что? Вы решаетесь?! Нас будут ругать, пожалуй, даже бить... А наш протест вы назовете слабостью?..

— Успокойтесь... успокойтесь... Смотря какой протест... Одно поставлю на ваше решение: находите ли вы своевременным, что бы ни случилось, вызвать катастрофу, неизбежную, если хоть волос спадет с полуоблысистой головы

нашего «старушка», да простит ему Бог все, что он творит, не ведая...

Наступило молчание. И вдруг разом вырвался почти в один голос у всех громкий ответ:

— Нет, он пусть живет! Он должен остаться неприкосновенным до поры... Его нельзя трогать!..

— Но если так жить нам нельзя? Что же делать? — снова с тоской вырвался голос Германа. — Нам что ли умирать?..

— Видно, что так! — решительно проговорил Велижек, уже давно порывавшийся подать голос. — Я немало думал об этом... Конечно, еще попытаться можно... Пусть наши генералы выйдут из своего олимпийского спокойствия... Пусть пойдут, скажут, растолкуют ему, что он делает. На что толкает людей! Он же не зверь, мы все это знаем. Он ослеплен сам, его вводят в заблуждение, обманывают ради выгод и личных целей... Лгут ему и русские, и наши... Есть такие подлецы, которые готовы вызвать смуту, только бы выказать свою лакейскую преданность, явиться в качестве усмирителей, миротворцев... И нажить несколько тысяч злотых на крови своих братьев! Мы знаем таких, к сожалению, их немало... Среди высшей польской знати... Гордый князь Адам Пулавский... Лиса-Любецкий... Герой старых дней, Хлоницкий, играющий в Цинциннаты; его подручный колонель Хлаповский, готовый угодить и нашим и вашим, не хуже вельможных Потоцких, Вельгурского, Мостовского и кончая «Аристидом» нашим, судьей Немцевичем, который дружил с Вашингтоном, с Косцюшкой, теперь дружит с лакеями Константина, будет дружить с кем угодно, если за тем сила... Самому черту с рогами... Дьявол бы их побрал! Не будем толковать об этой мрази, об этих червях, сосущих нашу отчизну... О них, во главе которых стоит лучшее изображение нашей теперешней политической системы: безногий старый, из ума выживший Зайончек, когда-то смелый наемный солдат, купивший послушанием и кровью свой свежее испеченный княжеский герб и титул... А теперь — просто безногий наемник, Альфонс политических душных будуаров распутной европейской дипломатии... Черт с ними со всеми... Сделаем еще последнюю попытку... Я завтра же явлюсь к нашим генералам... У них военное совещание в полдень... Скажу им прямо... И если ничего не выйдет, кинем тогда жребий... Кто желает? Будем умирать! — откликнулось решительно, негромко десять-двенадцать голосов, как будто ударили далеко где-то в погребальный колокол...

— Значит, по-японски: если враг обидел — харакири... И он этот враг, если не трус, должен также пойти за обиженным во след, явиться к престолу Высшего судьи, чтобы там решить земную тяжбу?... Это вы думаете, пан Велижек?

— О, нет. Гораздо проще... Я читал: в России, у них... у наших «благодетелей» теперешних, живет племя чувашей... И, правда, если обидит сильно чуваша его одноплеменник, он ночью идет и... вешается на воротах у врага. Это по-ихнему зовется «сухая беда»... С одной стороны, сейчас являются власти, идет суд, допросы, следствие... Знаете, чем это пахнет там, у наших друзей? Поборы, плети, пытка... А если тот побогаче, откупится от судей, — так самоубийца все-таки умирает спокойно... Он верит, что есть совесть в том, кто его обидел, и остается в живых... Он верит, что эта совесть станет грызть обидчика, отравит ему каждую минуту радости, отравит всю жизнь...

— И вы надеетесь на это? — с кривой усмешкой спросил Велижека Лукасиньский.

— Я ни на что не надеюсь. Так больше жить нельзя... Молчать нельзя. Голоса поднять нельзя! Так пусть кровь начнет говорить и дымиться перед алтарем Божиим, как жертва за весь родной народ!..

— И наша... И моя... И моя!.. — зазвучали возбужденные, звенящие голоса...

Спустилась и пролетела темная влажная апрельская ночь. Настало утро такое ясное, прозрачное. Нельзя было и подумать, что под его сиянием сейчас, в этом уголке земли склубилось столько мук, так больно и сильно трепещут десятки и сотни сердец мужских, закаленных, привычных встречать опасность и смерть если не с улыбкой, то со спокойным презрением в душе и во взоре.

Было близко к полудню. Казалось, вся Варшава, пользуясь ясным вешним днем, высыпала на улицы и разноцветная, нарядная толпа, разливаясь по улицам и переулкам, заполняя базары и площади, спешила надыхаться легким теплым воздухом, еще полным испарениями последнего тающего снега, с навеваемым порою, острым холодком убегающей зимы...

Вся семья Зброжеков, зажиточных мазовецких помещиков из старинной шляхты, тоже вышла из дому. Только старшая панна Анельце осталась одна и сидела в саду, на

холме с беседкой, откуда видны были соседние сады и часть городской улицы.

Это было любимое местечко молодой девушки. Высокая, стройная, с ясными серыми глазами, матово-бледная, с легким румянцем на щеках, с чертами лица не совсем правильными, но такими нежными, с выражением ребенка, который чего-то боится и чего-то ждет, — она сама была олицетворением ясной весны в этой полосе между севером и югом земли...

Синее, слегка зеленоватого оттенка небо сквозило и сияло в переплете еще не оперенных листвою тонких сучьев и ветвей сада. Почки на сирени, на тополях и березах, налитые, разбухшие, готовы были раскрыться и ждали первого теплого дождя. Они только и смягчали угловатый и узловатый переплет ветвей, скинувших зимний белый свой пух, но не одетых еще зеленью лета.

Трава уже зеленела кое-где на открытых местах, такая нежная, полупрозрачная, казалось, вся трепетная, готовая сломиться под веяньем ветерка, под ногою гуляющей девушки, как ни мала, ни легка эта ножка...

Темная, влажная земля на куртинах и грядках ждала сева, жадно просила его, чтобы возвратить сторицей брошенные в нее семена...

Казалось, и девушка, сидящая тут, как вешняя земля, трепетала, раскрывала уста, ища лобзания, ожидая всего, что женщине суждено узнать на земле: любовь, страсть, материнские радости и восторги жены...

Но все это у нее скрывалось глубоко-глубоко. И только побледневшее лицо, выражение его ожидающе-испуганное, потемневшие зрачки давали знать, какая тревога сжимает сердце, холодом наполняет высокую, упругую, но тонко очерченную девичью грудь.

Солнечные блики играли на песке аллеи; какая-то птичка весело, задорно чиликала свой несложный напев в кустах. Другая перекликалась с нею так призывно и томно, как будто полуденная жара и обессилила ее, и в то же время заставляла чего-то ждать, желать чего-то...

Но панна Анельця, очевидно, задумавшись, не видела и не слышала ничего, пока твердые, быстрые шаги, совсем близко прозвучавшие по аллее, не вывели из раздумья девушку.

Еще не успел тот, кто подходил, показаться из-за ближних кустов на повороте аллеи, как Анельця вскочила, сразу вспыхнув огнем, и кинулась к нему навстречу с возгласом:

— Владек, ты?!. Кузен Владек... Вот не ждала!.. Впрочем, нет!.. Что я?! Именно ждала... думала о кузене сейчас... Только никак допустить не могла, чтобы в эту пору кузен пришел... Знаю, у тебя служба... А ты... Но что с тобою? Отчего так бледен... И... постой, почему без шпаги? Что случилось, говори скорее, Владек...

— Ничего особенного. Я подвергнут домашнему аресту, кузина. И вот по пути домой заглянул к тебе проститься. Ваших нет дома... Это кстати. Слушай, что я тебе скажу...

Они оба стояли внизу под горкой, у скамьи: капитан Велижек и его кузина.

Девушка, словно предчувствуя беду, молча, как подкошенная, опустилась на скамью. Они сели рядом.

— Видишь ли, Анельця, я знаю, ты меня очень любишь!..

— О! — легким вздохом только и сорвалось у девушки с побледневших губ.

— Знаю, знаю... Хотя совсем и не стою того... И ты знаешь, что я так же сильно... люблю другую...

Девушка опустила голову. Слезы быстро-быстро покатились у нее из глаз, как бывает у детей, глубоко огорченных, но не желающих громким плачем выдать свое горе.

Как бы не замечая ничего, Велижек продолжал:

— Но теперь всему конец... Так я полагаю, по крайней мере... Но прежде всего дай слово... поклянись, что никому не скажешь того, что я тебе открою.

Девушка, также молча, пересилив боль и слезы, подняла глаза на Велижека, взяла в руку крестик, висящий у нее на шее и в прежнем молчании поднесла его к своим губам.

— Хорошо. Теперь слушай... Я скоро умру... Не пугайся. Я не болен. Ничего нет, ни дуэли... ничего... Но я... сам должен скоро умереть... Не плачь только... не бледней так. Собери всю силу и выслушай меня. Ты сильная девушка, Анеля... Ты любишь меня. Но ты любишь и отчизну... любишь и чтить нашу святую веру... Нашего Господа Иисуса и Скорбящую Матерь Его... Ну, вот... ради них я и должен скоро умереть! Ты слыхала историю Шуцкого и Гавронского. Сегодня их облаяли и ставили солдатами с ружьем в общие ряды... Завтра меня, другого может постичь ни за что ни про что такой же позор. Ты же понимаешь: мы воины, дети нашей великой родины, старой Польши... Мы не можем сносить того...

— Ну, так надо...

— Еще не время, Анельця... Мы, мужчины, хорошо рассудили об этом. Женщина, верь мне.

— Верю! — покорно и скорбно шепнула девушка.

— Верь и еще: то, что мы решили, теперь неизбежное и самое лучшее для родины, для нас, для нашей чести, для тех, кто останется в живых... Молчишь? Все равно. Ты клялась. Значит, не станешь выдавать, мешать нам. Слушай, что было нынче: я пошел на собрание нашего генеральства. Там были почти все: и Ожаровский, и граф Красинский, и другие... Ты их знаешь... Жалкие куклы... Седые прихвостни, себялюбцы, с истрепанной душой, с мертвой совестью... Я им сперва объяснил, что мы все не напрасно заставили несчастных капитанов подать в отставку. Мы ждали, что Константин одумается... извинением загладит свой поступок, как было это с Пушиным... Но ожидания не сбылись... Мне ответили, что мы слишком заносчивы. Долг службы, дисциплина... Высокое положение оскорбителя... Словом, куча старых, гнилых слов и ни звука правды. Тогда я им выложил ее. Я им сказал...

Он остановился, как бы не решаясь продолжать.

— Что? Что ты сказал им?

— Правду... Что накопело в душе у меня, у нас всех, что мы говорили много раз в товарищеской беседе... Я им сказал, что они заботятся только о себе, о личной выгоде, забывают отечество, не щадят тех, кто вверен им по долгу службы, ни солдат, ни нас. Солдат они обкрадывают, нас отдают на жертву самодурства и произвола. Если бы они не были так малодушны и трусливы с русскими, как лизали руки французам, как готовы лизать всякому хозяину... Если бы у них, залитых в золото, увешанных орденами, хватило духу, как это хватает у меня, простого капитана, кинуть правду сильным в глаза, и все бы стало иначе! И не было бы напрасных страданий и смертей... Но я считаю своим долгом действовать и говорить, как им бы надлежало делать и говорить если бы они слушали голоса чести!..

— И они? Что они?..

— Они все молчали. Только мой граф, генерал Красинский, как шеф, нашел в себе духу взять у меня шпагу и... послать домой, под арест... По дороге я и зашел теперь сюда... А потом...

— Что? Что потом?

— Потом соберутся товарищи. Я им скажу, что больше рассчитывать не на кого и не на что... Бросим жребий... и начнем умирать.

— Владек!

— А как же быть по-твоему, Анельця? Молчишь?.. Так и молчи... Потом будешь плакать. Слушай, чего жду я от тебя, сестра. Конечно, и наша смерть не вольт жизни в этих истлевших, ходячих мертвецов! Если они молчат теперь, будут молчать и после, чтобы наша кровь не была брошена им в лицо, чтобы их не обвинили в нашей гибели... Они не решатся все высказать ему, виновнику нашей смерти... Будут лгать, выдумывать, клеветать на мертвых, как привыкли это делать с живыми... Но пусть мой голос после смерти прозвучит в ушах этого ослепленного самодовольного человека... Пусть он узнает! Ты дружна с Жанетой. Он часто, чуть не каждый вечер бывает у нее... Она совсем очаровала этого... Ну, не надо выходить из себя. Теперь счеты другие пойдут... без проклятий, без брани... Вот я и пришлю тебе письмо... когда настанет час... Ты попроси ее, пусть вручит это письмо своему поклоннику, заставит прочесть... Пусть она скажет ему все, что слышала ты теперь от меня, Анельця. Ты обещаешь?

— Да, обещаю... Но, Владек, неужели?

— Постой, не мешай. Обо всем остальном — после... Теперь надо самое важное. Так вот, сестричка, во имя отчизны, веры святой нашей... Во имя твоей любви ко мне обещаешь ли все исполнить, как я прошу? Да?! Хорошо. Теперь я спокоен. Пора идти... И только скажи еще ей... скажи Жанете, что даже умирая, я... Впрочем, нет, прости! Я больше ни о чем тебя не прошу... Отдай письмо... и все скажи, что слышала. Прощай...

Тихо коснулся он губами до помертвевшего лица девушки, до ее похолодевшей руки, прислонил ее, почти бесчувственную, к стволу дерева, у которого стояла скамья, и быстро ушел.

Долго в полуобмороке сидела девушка, потом опомнилась, огляделась, вскочила, но не могла сделать ни шагу по тому направлению, куда ушел Велижек.

Потом ноги ее сами подкосились, она припала головой к скамье и тихо стала повторять, глядя вдаль сухими воспаленными глазами:

— Боже мой! Да что же это? Что же это... Ведь я с ума сойду...

В три дня пять человек офицеров покончило с собой: братья Трембинские, Бжезинский, Герман и Велижек наконец...

Взволнованный, захваченный всеми этими трагическими событиями, о которых ему давали совершенно неверные сведения, цесаревич выходил из себя, созывал на совет русских и поляков из тех, кого считал своими друзьями и сторонниками русских. Но страшная загадка, вдруг выросшая перед глазами, мало выяснялась. Кровь лилась и хотя Константин чувал, что он замешан во всем этом, не мог уяснить: как и в какой мере?

Дня три со всеми печальными тревогами и хлопотами он даже не мог, вопреки обыкновению, бывать у Бронниц, где аккуратно просиживал от 8 до 11 вечера, как и в первый визит, во всей парадной форме, с регалиями и орденами.

Цесаревич уговорил Жанету позировать для большого портрета и каждый день художник-француз, очень даровитый, хотя еще и мало известный покуда мастер, приходил и часа два-три работал над портретом, обещающим уже и теперь дать прелестное изображение этой очаровательной девушки.

Когда Константин вошел в гостиную, где обычно происходил сеанс, он нашел там одного живописца, смущенного, укладывающего свою палитру, вытирающего кисти. Мольберт с портретом стоял занавешанный в стороне.

— Что такое? Что случилось? Мне ничего не сказали, когда я пришел. Графиня больна?

— Не знаю, ваше высочество. Графиня была здесь, по обыкновению, но объявила мне, что сегодня сеанса мне не даст... чувствует себя не в духе. Я уже собирался откланяться, когда графиня, слышав ваши шаги, попросила меня встретить ваше высочество и сказать вам, что она сейчас явится, что...

— Хорошо, хорошо, я подожду. Лишь бы она была здорова... А как за эти дни подвинулась работа?

Поспешно, угодливо кинулся художник, передвинул мольберт к широкому окну, из которого лились лучи весеннего дня, и осторожно раскрыл холст.

На поясном портрете Жанета была зарисована в светлом, декольтированном, но не слишком, легком платье, рукава которого были собраны на плечах и скреплены крупными жемчужинами. Двойная нитка крупного жемчуга, привезенного нарочно для этого Константином, оттеняла своим переливчатым блеском розовато-млечный оттенок груди и шеи девушки. Слегка распущенные локоны падали по сторонам лица, скрываясь под белым легким покрывалом, вроде подвенечной фаты или прозрачной, кисейной

мантильи, вроде тех более плотных кружевных, какими окутывают голову и стан кокетливые испанки.

Особенно хорошо удались художнику почти законченные глаза красавицы с их открытым, ясным и задорным взглядом, губы, тронутые не то грустной, не то ласковой улыбкой, и общее выражение лица, полное внешней свежести, женственной мягкости и покоя.

Залюбовавшись, Константин не слышал, как отворилась дверь, беззвучно ступая по ковру, подошла Жанета, знаком пригласила художника уйти и остановилась в трех-четырех шагах за плечом цесаревича.

Он вдруг словно почувствовал на себе взгляд ее, быстро обернулся, радостно протянул руки, начал было громко, радостно:

— Дорогая гра...

Но сейчас же остановился, смолк, уставился на нее изумленным взором. Девушка стояла перед ним, бледная, грустная, словно сразу постаревшая на десять лет. Темное, почти траурное платье, против обыкновения, было застегнуто до горла, не обнажая шеи, как это всегда делала Жанета, знающая цену своей лебяжьей шейке и красивым плечам.

— День добрый, ваше высочество. Я думала, что вы придете... Мне сердце говорило... Хотя вы давно уж не заглядывали к нам...

— Да, виноват, простите. Эти три-четыре дня... Но вы слышали: такие тут вещи... Пять самоубийств в этом несчастном 3-м полку за трое суток... Голова кругом идет. И толком я добиться не могу: что это значит? Один — одно, другой — другое... А я...

— Что же вам говорили, мосце ксенже, по поводу этих... событий? Не секрет?

— Нисколько, — оживленно заговорил Константин, до такой степени занятый и событиями прошлых дней, и печальным видом любимой девушки, что даже не обратил внимания на ее странный прием: она сама не садилась и его не просила сесть. А в одной руке держала крепко зажатым что-то вроде сложенного письма.

— Вот я вам в двух словах скажу... Одни уверяют, что это в пику мне! За то, что я слишком с ними строг! Какая нелепость. Из-за этого пулю в лоб. Вот вздор... И я не строг... Я душу им всю отдаю и требую внимания к делу. Но это пустое. Они бы могли ко мне прийти, сказать... Эти сплетни не говорят мне в глаза, а так, стороной я слышал, из третьих уст... От своих уж, от русских, которым говорили поляки...

Да мало ли что толкуют подлые, завистливые люди! Вон, про сестру Катерину да про императора Александра тоже негодяи сколько всякого болтали... Грязи и мерзостей... А меня моя женушка ославилась по всей Европе, что я весь болен, да еще как... Будто оттого она и бросила меня; штука в том, что у нее там новый домик завелся... Люди всегда лгут... Ну, можете ли вы допустить, чтобы оттого и пять человек себе пулю в лоб? Из-за моей строгости?! А?

Подождав минутку и не получив ответа, Константин уже не так уверенно и громко продолжал:

— Ну, еще уверяют, какая-то темная история... Какой-то клуб, не то политический, открытый раньше времени... не то просто бездельники играли, распутничали и до того зарвались, что пришлось бы перед законом отвечать... Так они... Но я не совсем допускаю... Там были такие, которых я хорошо знал... Особенно, Велижек. Славный парень...

— Он вам прислал письмо, мосце ксенже...

— Письмо? С того све... Впрочем, нет, я не то хотел... Почему вы? Чсрез вас? Это? — принимая пакет, спросил Константин.

— Когда вы его получили?

— Сегодня утром, когда он умирал...

— Вот как? А скажите?..

Он не дождался вопроса и, поглядев на конверт, спросил тихо:

— Позвольте прочесть?

— Да, да, прошу вас... Я еще должна сказать вам кое-что раньше... Вот что он просил мне передать вместе с этим письмом.

Тихим голосом, словно помимо воли или в гипнотическом сне передала Жанета все, что поручил Велижек сказать Анельце.

Оба продолжали стоять у окна, за которым сияло солнце, наливалась на деревьях зелень, текли вешние ручьи по бокам улиц. Но здесь, в комнате вдруг как будто потемнело и какие-то знакомые, бледные тени зареяли в воздухе.

Константин стал медленно пробегать глазами письмо Велижека, ступив шаг к окну, как будто в самом покое не хватало света, чтобы прочесть эти строки, писанные четким, твердым почерком, совсем как рапорты, которые писал постоянно капитан по должности адъютанта.

Ни одна дрогнувшая буква или перечеркнутое слово не выдавали, что это письмо — предсмертное послание человека, своей рукой загасившего свою жизнь.

Как будто бы с черновика, с особым старанием были переписаны все три страницы убогистого письма.

Он писал:

«Мне очень бы не хотелось, Ваше Высочество, беспокоить вас своим письмом и в последние, решительные минуты, перед тем как душа моя перейдет в вечность, подымать в ней злые воспоминания, будить враждебные чувства, тесно связанные с содержанием моих строк.

Но иначе нельзя. Постараюсь только быть краток и возможно сдержан, наименее раздражителен, как прилично человеку моего круга и христианину в эти великие часы, у преддверия смерти, кто знает: уничтожения полного или жизни вечной и ясной, какой мы не знаем на земле?

Но не о том будет речь.

Я пятый по счету. Потом последует остановка. Все, кто дал клятву, подобно нам пятерым, подождут: какие последствия вызовет смерть пятерых молодых честных воинов, оставляющих на земле так много дорогих им людей... Кидающих горе и слезы в пять семейств, где есть старики и старухи, матери и отцы, жены и невесты и даже малютки-дети, как у Бжезинского... как у старшего брата Трембинского... Но что думать об этом! Все кончено, все решено... Исполните же, если можно, мою, нашу последнюю просьбу!

Правда, я никогда не считал себя вашим другом, но всегда надо сказать по справедливости, а в эту минуту и подавно: вас именно — врагом своим, врагом своей отчизны я не полагал и полагать даже теперь не могу, вельможный великий князь, русский цесаревич, наследник императора-брата, конечно, и короля. Значит король в будущем моей отчизны... Что же вы за человек? Не дурной, но далекий от совершенства! Способный на самое прекрасное проявление души, а в то же время способный служить игрушкой в руках шептунов и грязных, жадных интриганов... Позволяющий себе доходить до самозабвения в припадках самовластного гнева, необузданной ярости, которая предосудительна в последнем поденщике, не только в наследнике стольких корон! Простите, что говорю более прямо, даже, пожалуй, резко, как не принято говорить с человеком, стоящим выше по сану, с начальником своим, к тому же старейшим по годам. Но я сейчас заплачу своей кровью и за свои... и за ваши вины, высоковельможный князь. Да, и за ваши... как жертва искупления. Пусть же это послужит мне извинением. Теперь — наша просьба: пощадите себя и нас!

Да, и себя, Ваше Высочество! Я считаю долгом христианина и солдата предупредить вас, чтобы вы не доводили моих соотечественников до отчаяния, которое легко может довести кого-либо из них до преступления, от коего я отказался по зрелом обсуждении.

Вы меня понимаете, конечно. Я щадил столько же вас, сколько и свою отчизну, на которую тысячу бед может навлечь даже справедливое зло, даже акт возмездия в отношении вас!

Но не все благоразумны и самоотверженны, подобно мне и моим четверым погибшим товарищам. Мы не грозим вам, а остерегаем. Теперь иные времена, и Муций Сцевола, положивший руку на костер, только вызовет насмешки, будет посажен в тюрьму или в дом умалишенных, а его друзей будут разыскивать и казнят... Поэтому мы даем большее доказательство решимости нашей и наших друзей: жертвуем собственной жизнью... Берегите же свою жизнь, не топчите нашей чести, не глумитесь над нами за то, что мы готовы честно служить новому знамени возрожденной отчизны, готовы дружески слиться с нашими братьями с берегов Москвы... А иначе!.. Повторяю: это не угрозы, мольба, предостережение... Вы должны понять. Кровь, которая лилась из моих четырех товарищей, моя кровь, которая брызнет сейчас из черепа, это крепкая порука и печать для наших слов. Вслушайтесь, помните... и мы будем рады там, куда уходим теперь, что жертва наша не напрасна, наши юные жизни погибли не зря!

Капитан Владислав Велижек».

Еще в половине письма цесаревич опустил в кресло у окна и теперь сидел там, глубоко-задумчивый, неподвижный, словно забыл, где он, кто стоит тут рядом, словно гений печали, воздушный и темный, как летняя безлунная ночь.

— Какой ужас! — наконец проговорил почти беззвучно Константин, сделав движение рукой, которая давно вместе с письмом упала на колено, но не хватило сил поднять руку, снова перечесть последние строки.

Ужас сейчас ощущался им двоякий. Ясно представил себе Константин, что пережили все эти люди, один за другим покончившие с собою в течение трех дней, как жертвенные агнцы, без звука, без жалобы, без надежды на спасение в последнюю минуту... Страшно ему стало и за собственную жизнь. Ведь и он, оказывается, также обречен, как жертва... И только ему дана отсрочка. Эта прекрасная жизнь, небо, земля, люди, милая девушка,

надежда и вера, радости жизни и упоение успехами в любимом деле — все это может быть порвано одним ударом чужой, враждебной руки. Может быть бессмысленно отнято по воле кого-то другого... такого же человека, как и сам он, Константин... Нет, даже не такого, а совсем незначительного... безрассудного юнца-фанатика, который помолится Милосердному Христу, освятит нож у ног Всеблаготворительницы Матери Его и, как новый Равальяк, заколет его, цесаревича, считая, что совершил доброе, святое дело, спас отчизну от угнетателя...

Освободил Польшу от тирана...

«Глупцы, они так думают... Положим, им тяжело терпеть строгость... Но чтобы из-за этого решиться убивать и себя... и других?! Нет, русские больше христиане и более мудрые люди, чем эти поляки... Они терпеливы и кротки... Они...»

Но тут мысли Константина снова были прерваны новым вопросом, опалившим ему мозг: как же быть теперь? Смягчиться... пойти на уступки, выказать малодушие? Значит, унижить свой авторитет, ослабить значение русского имени здесь, в кичливой стране... Или по-прежнему поступать, как подсказывает ему его привычка, его чутье и заранее обдуманый план действий?..

Но тогда он сам умрет... будет убит, зарезан... Сомнений быть не может.

Константин так ясно представил себя лежащим на земле, с ножом, торчащим из груди, залитой потоками крови, что ему стало дурно.

— Воды! — попросил он, совсем не помня, к кому обращает свои слова.

Внимательно следившая за ним, Жанета быстро подошла к графину, стоящему у дверей на столе, налила и подала воды.

Он только тут вспомнил, что кроме него и Жанеты в комнате нет никого. Принимая воду, осторожно коснулся губами руки девушки, отпил, отставил стакан и спросил, предлагая ей письмо:

— Вы знаете содержание, графиня?

— Догадываюсь... Не надо, не показывайте... Оно писано вам, так пускай...

— Вы правы. Боже мой, значит, меня обманывали, когда уверяли, что эти смерти случайные совпадения... И когда я указал на голоса, которые говорили иное, мне толковали, что кучка интриганов хочет воспользоваться

случаем, напугать меня, разжалобить, принудить к уступкам, которые будут только во вред и полякам, и нам...

— Теперь вы сами видите, князь...

— Вижу, вижу... Какой ужас! Но что же делать?

— Теперь правда открылась. Что же трудного осталось, не понимаю?

— Для вас, для женщины, для человека частного, для польки к тому же, конечно, все ясно. Но я... брат вашего короля, представитель русской власти, начальник всех войск края...

— И тоже человек и христианин, ваше высочество, не правда ли?

— Ах, вот что! Ну, благодарю вас. Правда: я спрошу свое сердце, спрошу свою веру и больше никого! Дайте мне ваши милые руки, я должен поблагодарить вас...

— За что?

— За то, что вы были возле меня... за то, что вы...

Он оборвал, встал, взял ее обе бледные холодные руки, коснулся их почтительно губами.

— Пока — прощайте. До завтра! Сейчас я ничего не могу сказать вам... Подумаю... Вы узнаете... До завтра!

Необычайное волнение не только среди офицеров 3-го полка, но среди всех военных, поляков и русских, даже в целой Варшаве вызвал приказ, отданный с вечера: собраться всем офицерам 3-го полка на другой день у генерала Тулинского. Капитаны Шуцкий и Гавронский, отставка которых еще была не принята, также приглашались в это собрание.

К назначенному часу все были в сборе. У каждого на руке траур по пятерым погибшим товарищам.

Почти у всех были бледные лица, глядели все решительно и мрачно. Это молчаливое, многочисленное собрание как будто думало одну думу, трепетало одним напряженным чувством и имело грозный, внушительный вид.

Генерал Тулинский, обычно живой, эластичный, все готовый примирить человек, явился вскоре в большой приемный зал и поклонился очень приветливо в ответ на сдержанный поклон своих посетителей.

Вид у генерала сейчас был довольно печальный. Бледное, почти зеленоватое лицо говорило, что он не спал всю ночь или страдает сильнейшей коликой желудка. Этому впечатлению еще помогало, что он ежился и подбирался, поднимал нервно плечи с эполетами, втягивал живот, в страдальческой гримасе обнажал испорченные зубы, словом, вертелся, как на угольях.

И заговорил он не сразу. Сперва откашлялся, принял внушительный вид, потом вдруг словно спохватился, изобразил отеческую любезность и благоволение... Словом, нащупывал почву: как себя вести в настоящую необычайную минуту...

Он наравне с другими «честными поляками» убеждал Константина, что не надо уступать. Молодежь и так чересчур своевольна. А показать перед ней слабость, обнаружить склонность к уступчивости, так выскочки и вовсе сядут на шею...

Этим начальники думали больше укрепить свой авторитет, сделать себя более необходимыми, особенно, если волнения будут продолжаться, как они сами того ожидали.

И вдруг, неизвестно почему, Константин отменил все свои прежние решения, полные твердости, спасительные для дисциплины и сильной власти... Ему, Тулинскому, поручил исполнить то, чего генерал никак не ждал со стороны цесаревича...

Тулинский даже надеялся, что Константин до утра одумается, отменит свое распоряжение, изменит приказ...

Но увы! Настал час, офицеры явились. Отмены не было и приходилось передать им сполна все, как было поручено главнокомандующим.

Генерал приготовил дома начало речи, даже всю ее. Но сейчас она испарилась из головы, как соус со сковородки, слишком накаленной огнем. Остались одни подгорелые хлопья, отрывки слов и мыслей.

А начать надо.

И Тулинский сразу отрезал:

— Господа! Нам всем известны прискорбные случаи, которые общая молва связывает с той карой, которая постигла двух здесь стоящих капитанов, панов Шуцкого и Гавронского. Желая положить конец толкам и успокоить взволнованные умы, его высочество поручил мне в присутствии всего полка принести его извинения в опрометчивости перед теми двумя офицерами, которые должны были встать под ружье. Это именно я теперь и выполняю, господа капитаны Шуцкий и Гавронский. Позвольте узнать: удовлетворены ли вы этим сполна?

Задавая свой вопрос, генерал ждал, что последует взрыв признательности, который несколько скрасит и его неловкое положение, и всю эту тяжелую сцену, конечно, долженствующую стать известной всей Варшаве, целой Польше.

Но случилось нечто совершенно неожиданное и для него, и для большинства присутствующих.

Выступил капитан Шуцкий и медленно, печально, но отчетливо проговорил:

— Мы оба не можем дать ответа, ваше превосходительство, потому что дело теперь касается всего общества офицеров, вставших на нашу защиту, тяжелой жертвой купивших настоящую минуту нравственного удовлетворения. Оно пускай и дает вам первое свой ответ.

— Что же, господа офицеры, тогда я к вам обращаюсь с тем же, — повторил Тулинский, поворачиваясь ко всем офицерам вообще.

Легким говор прошел по рядам и группам стоящих здесь бледных, взволнованных людей, у которых сейчас не только мундиры, воротники, но даже лица, выражение глаз, невольные жесты были однообразны, почти одинаковы.

— Что ж... Если так... Если он наконец... Извинение, конечно, искупает ошибку. Даже такую тяжкую! — раздались возгласы со всех сторон.

Наконец, потолковав с остальными, вышел один, старший по годам, офицер и заявил:

— Общество офицеров 3-го полка, в виду оглашенного здесь генералом извинения, считает вопрос исчерпанным и самый факт как бы не свершившимся. Да будет этот печальный случай предан вечному забвению с обеих сторон!

— Так! Да! Да будет! — прозвучали голоса.

— Очень рад! — сразу порозовев, приобретая прежнюю эластичность и самообладание, проговорил генерал Тулинский. — Я так и доложу его высочеству...

Он уже сделал было движение к дверям, как вдруг остановился и желая быть любезным до конца, снова обратился к Шуцкому:

— Ну, что, мой строгий капитан, теперь вы, надеюсь, вполне удовлетворены?

— Нет, ваше превосходительство, — так же печально, медленно и веско отрезал Шуцкий.

— Как?! Вы не...

И генерал, уже готовый было совсем лететь дальше по назначению, и многие из офицеров, двинувшиеся к выходу, остановились, словно замерли в ожидании.

Другие, более чуткие, которых сразу передернуло выспрашивание Тулинского, обращенное к Шуцкому, совсем потемнели, словно увидели что-то очень печальное перед собой.

Они не ошиблись.

Так же спокойно, грустно и четко Шуцкий проговорил:

— Конечно, общество офицеров должно быть удовлетворено извинением его высочества. Он этим только смысл оскорбление, нанесенное его поступком офицерскому званию и чести... Но для моей чести — этого мало! Я опозорен лично и прошу личного для себя удовлетворения!

— Те... де... так... что же? — совсем опешенный, машинально спросил Тулинский. — Уж... не хотите ль вы стреляться с великим князем?!

— Так точно, генерал. Разумеется, хочу!

Все переглянулись, Тулинский раза два раскрыл и закрыл рот, потом сообразил, что ему надо говорить и отрезал:

— Вы арестованы, господин капитан. Пан адъютант, возьмите его шпагу и отведете под своим присмотром на квартиру!

— Вот как! Что же, вот моя шпага! — также спокойно продолжал Шуцкий. — И я последую за моими честными, дорогими товарищами! Жалею только об одном: умру, не получив удовлетворения моей поруганной чести!

Вручив шпагу адъютанту, он послал привет всем товарищам, которые стояли потрясенные, взволнованные сильнее прежнего, и вышел вместе с адъютантом, у которого тоже стояли слезы на глазах.

Едва Шуцкий скрылся за дверью, офицеры быстро преградили путь Тулинскому, который совсем растерялся и хотел скорее скрыться. Его окружили толпой: горячо жестикулируя, говоря все разом, зашумели офицеры:

— Да как вы могли генерал!.. Что это такое! Провокация... Толкаете на верную смерть!..

— Позвольте, господа! Я... я только был послан... Я исполнил волю...

— Неправда! Ложь! Для этого вас не могли послать! Вы не поняли великого князя... Или сами зашли слишком далеко... Вам не то поручили! Разве можно было задавать ему, поруганному, такие вопросы, когда мы все постановили, что дело кончено и забыто... Он не мог иначе ответить! — проговорил старик майор.

— Конечно, он должен был дать именно такой ответ! — подтвердили остальные. — Подите к князю... Доложите... Пусть скорее примет меры...

— Да, да, товарищи. А я буду при нем неотлучно, пока не кончится дело! — вызвался поручик Хелмицкий.

Тулинский, совсем раздавленный, успокоительно махал только руками, бормотал торопливо, покорно:

— Иду... бегу... сейчас... все устрою...

И скрылся, поехал к Константину.

Перед рассветом полковой командир злосчастного 3-го полка был разбужен своим вестовым:

— Прошу встать, пане полковник! С квартиры пана капитана Шуцкого денчик ихний прибеж, бо пан поручник Хелмицкий пану полковнику здоложить приказували, що пан капитан себя мало не удавил!

Моментально вскочил разоспавшийся толстый пан полковник, кое-как оделся, на ходу уже пристегнул палаш, едва дождался, чтобы подали экипаж, и поехал к Шуцкому.

В небольшой, просто обставленной квартире полковник застал еще целый переполох.

Доктор, за которым послали раньше всего, уже успел привести в чувство полуудушенного Шуцкого, и собирался уходить. Квартирная хозяйка, набожная старушонка, лежала перед распятием в своей комнате и громко читала молитвы об отогнании злого духа...

Денщик бегал взад и вперед и с помощью толстой прислуги-хохлушки давал воды, прибирал разбросанную постель, мокрые простыни, совался всюду и большей частью невпопад.

Шуцкий, еще с красным, потемневшим лицом, но уже спокойнее, ровнее дыша, лежал на полу, с грудой подушек под головой.

Он узнал вошедшего полковника, но чтобы не отвечать на расспросы, закрыл глаза, как будто уснул.

— Что тут было? — обратился полковник к поручику Хелмицкому.

— Отходили? Спасли? Слава пану Иезусу... Как это он?... Как вы проглядели?..

— А уж и сам не понимаю, — негромко, возбужденно говорил поручик, только теперь немного приходя в себя. Он еще весь дрожал и был красен от возбуждения. — Сидели мы, толковали... Он казался совсем спокоен. «Лягу, — говорит, — отдохну до утра...» Я еще подумал: кажется, ничего нет, чем бы мог он убить себя. Пистолеты, кинжал — заперты... Веревки не видно нигде... Я у двери присел, дверь запер, читал, когда он прилег уже на постели на своей... А там смогло и меня... Задремал. И сквозь сон слышу собака будто вошла в комнату, сердито так ворчит. Я вскочил лампа горит, никого нет... А ворчанье или хрип громкий слышится с постели. «Ишь, думаю, как сладко уснул капитан!» Глянул — и обмер. Завязал он галстук свой концом за гвоздь над кроватью... Другим затянул шею и повис... Совсем уж потемнел,

хрипит так страшно... Я позвал на помощь... Сам держу, денщик, хозяйка узел распустили... сняли его... положили сперва на постель, за доктором... Сами растирали, в чувство приводили... Потом — доктор... Отходили понемногу... Вот видите, дышит ровнее и заснул, кажется... Что теперь делать? Надо еще кого-нибудь, пусть меня сменят. Я уж не надеюсь на себя. Особенно после этой ночи...

— Да, да... Пан Иезус... Вот история... Генерал мне прямо сказал: чтобы жив был хоть до утра... Под мой ответ! Придется его перевезти отсюда на гауптвахту... Там и взять можно от него все, и галстук, и подтяжки, и все... И присмотреть есть кому...

Осторожно одели Шуцкого, который не сопротивлялся, но и не помогал ничем людям, хлопочущим вокруг него, и тут же перевезли его на гауптвахту, устроили в особом, просторном помещении под надзором двух человек.

Как только утром Тулинский едва пролепетал о событиях минувшей ночи цесаревичу, этот весь вспыхнул:

— Вот заставь дурака... Видишь, что наделал своим усердием не по разуму. Куруту ко мне. Самому приходится развязать этот проклятый узел. Никому ничего поручить нельзя... Эх, если бы я не сдерживался...

Он не договаривал, но Тулинский чувствовал, что ноги у него подогнулись и генерал сразу стал намного ниже ростом, чем был всегда.

Спешно были собраны все офицеры 3-го полка в помещении гауптвахты. За ними приехал туда и Константин в сопровождении Куруты как начальника штаба.

Шуцкий еще не совсем оправился после своей попытки. Большие черные круги у глаз, припухшее лицо, посиневшие губы странно бросались в глаза.

Но он уже стоял в мундире вместе с другими в самом обширном помещении караулки, когда вошел к ним цесаревич.

После первых приветствий Константин прямо обратился к Шуцкому:

— Прежде всего — возьмите вашу шпагу. Вы свободны и попали сюда только в силу печального недоразумения.

Как только капитан принял от адъютанта свою шпагу, цесаревич снова заговорил:

— Вы объявили, что желаете стреляться со мною. Генерал Тулинский арестовал вас и тем не выполнил моего поручения так, как я того желал...

Сразу глаза всех обратились на эластичного генерала. Под перекрестным огнем этих негодующих, презрительных,

явно насмешливым взглядов, всеми нелюбимый генерал чувствовал себя хуже, чем в детстве после порки, которую задавал шкодливому сыночку суровый его папаша.

Но цесаревич продолжал речь и общее внимание было снова захвачено ею. Предчувствие хорошего, чего-то необычного охватило сразу всех при первых звуках голоса Константина.

Он, очевидно, тоже почувствовал внезапную связь между собой и окружающими и теперь еще уверенней, тверже, с полным достоинством, но без всякой заносчивости говорил:

— Вот теперь я явился сюда, чтобы исполнить ваше законное желание, капитан Шуцкий.

— Как, что? — вырвался один невольный общий возглас.

Шуцкий был поражен не меньше остальных.

Он почувствовал, что какая-то нестерпимая тяжесть спадает у него с груди. Холодное ожесточение, испытанное при появлении Константина, сразу ушло и что-то так странно защекотало в горле, как будто слезы подступали против воли, не вовремя, совсем некстати в такой серьезный миг.

А Константин, как бы отвесчая на общее движение, как бы успокаивая сомнения, которые могли возникнуть у кого-нибудь, продолжал:

— Смотрите на меня сейчас не как на брата вашего монарха, вашего круля, не как на генерала и начальника, а просто как на товарища, который...

Голос у Константина невольно дрогнул, но сейчас же тем решительнее продолжал:

— Который очень сожалеет, что оскорбил такого хорошего офицера.

Тулинский подвинулся совсем к дверям.

Шуцкий стоял молча, словно не слышал ничего. Грудь у него порывисто подымалась и опускалась, он закусил губы, как бы опасаясь, что с первым звуком голоса рыдания, подошедшие к горлу, вырвутся бурно наружу.

Такое полное очищение... перед всеми товарищами, перед целым светом... И так хорошо, искренне сказано было... Больше ничего и не надо...

Такие мысли быстро пронеслись в голове у Шуцкого, у всех здесь стоящих.

Но Константин уже решил и говорил дальше; не мог по своему характеру остановиться на полпути.

— Я готов, хоть сейчас! Все дела мои в порядке. Генерал Курута получил подробные распоряжения на случай

моей смерти, как распорядиться тем, что я желал бы еще устроить... и в собственных делах... и для вашей родины... Назовите ваших друзей... Словом, все в порядке. Я — вполне готов...

— Ваше... ваше высочество! — заговорил наконец Шуцкий, видя, что все смотрят, ждут его ответа.

Голос капитана сперва рвался, дрожал, но он сумел овладеть собою и более твердо продолжал:

— Неужели вы полагаете, что я бы теперь захотел?.. Нет, никогда! Я вполне доволен... Честь моя чиста перед всеми. Перед всеми, ваше высочество! Я так тронут... Я понимаю... ценю милость, какую вы желаете оказать мне... я вполне удовлетворен, ваше высочество, говорю это перед Богом и людьми... Да...

— Гм... вот как... Это что же значит? Роли теперь меняются... Вы желаете щадить меня?.. Мне хотите оказать одолжение... Полагаете, что я не стану целить в человека, обиженного мною, а вы... вы должны будете?.. Но слушайте, господин капитан, это не годится. Я решился... мы должны стать друг против друга, чтобы никто не посмел когда-либо сказать про вас... либо про меня...

— Никто не посмеет, ваше высочество! Клянусь вам! — в порыве ответил Шуцкий. — Кто посмеет слово сказать — будет иметь дело со мною...

— И с нами... со всеми! — вдруг разом почти отозвались присутствующие офицеры.

— Видите, слышите, ваше высочество! Все исправлено... Все забыто и навсегда! Верьте, ваше высочество. Да разве теперь я бы мог? Я руку скорей свою дам...

Он не договорил. Две слезы выкатились-таки у него из глаз и потекли по лицу, скрылись в усах.

Константин заметил это, сам растроганный, он обратился к остальным офицерам:

— Так вы полагаете, господа?!

Все словно ждали вопроса и дружно, громко раздались возгласы:

— Ваше высочество! И думать нельзя... Храни Господь! Все кончено... Вы так все поправили, ваше высочество...

— Ну, хорошо. Я повинуюсь общему голосу. Но если вы по чести довольны, капитан. Если старое забыто... докажите, что вы мне друг!

Он раскрыл свои большие руки для объятия:

— Только обнимемся по нашему, по русскому обычаю... Поцелуемся... в губы... трижды... вот так... вот

так... В добрый час! И да будет, правда, все забыто навски!

Не сдерживая слез, теперь катящихся одна за другой по лицу, Шуцкий кинулся и потонул на широкой груди Константина, обменявшись с ним троекратным братским лобзанием...

Многие из поседелых рубак отирали глаза. А про молодежь — и говорить нечего.

На другое утро назначен был смотр 3-му полку.

Жанета получила приглашение от цесаревича быть на площади и вместе со всей Варшавой видела трогательную сцену.

Константин подъехал к оскорбленным капитанам, громко проговорил:

— Я имел неосторожность оскорбить вас лично и мундир, который вы имеете честь носить, в чем приношу извинение также публично, как нанесена была обида!

С этими словами он снова обнял Шуцкого и отъехал под громкие клики войска и возгласы публики, которая пришла в восхищение от рыцарского поступка своего «старушка»...

Жанета в этот вечер встретила Константина вся сияющая, радостная, но все в том же темном наряде, в каком он ее видел два дня тому назад.

— Довольны мною, графиня?

Вместо всякого ответа она тихо привлекла его голову и нежно поцеловала в лоб, у виска.

Горячими поцелуями ее нежных тонких рук ответил Константин на чистую ласку, потом, не владея собой, поднял голову и потянулся губами к ее дрожащим от волнения губам.

Но Жанета осторожно, мягко уклонилась от порывистой, слишком пылкой ласки.

— Нет, молю вас, не надо...

— Почему, почему, Жанета? Ведь вы же знаете: я вас так люблю... И вы...

— Я тоже вас люблю, Константин... Но нет... лучше не надо! Это грешно... Вы дважды связаны... А я хочу любить вас чисто, свято, чтобы не краснеть перед людьми... перед собой... Не дрожать перед алтарем Божиим. Берите жизнь мою, Константин! Теперь в особенности, когда я так узнала вас, готова кровь свою до последней капли посвятить вам... Но это... не надо...

— Угу... связан, дважды. Вот в чем дело?.. Вы правы, с одной стороны... Эта женушка, с которой мы в полной

разлуке вот уже ровно теперь пятнадцать лет... Я сколько раз просил... Брат уже согласен. Но матушка-императрица не позволяет взять формальный развод... Тысячи причин у нее... И все выеденного яйца не стоят. А надо покоряться... Она глава семьи... Ну, а вторые цепи... Мадам Фридерикс... Поль? О них вы говорите?

Жанета молча кивнула головой.

— Ну, это уже совсем пустое... Удалось бы мне сбыть немецкую принцессу... А тут. Впрочем, вы правы... тут запятая... Мальчика жаль. Он любит, кажется, мать... Она в нем души не част... Тут подумать надо.

— Нет, и думать нечего, Константин... Я решила...

— Решила? Что решила?

— Я иду в монастырь.

— И думать не смейте, графиня!.. Виноват, нельзя вам и мечтать ни о чем подобном. Да я не допущу... Пушками разобью каждый монастырь, который только решится принять вас в свои стены, дорогая Жанета!

Она невольно улыбнулась и с той же грустной полуулыбкой спросила:

— Даже если я сама выйду и буду стоять на стенах?..

— Вы сами? Гм... это иное дело... Все равно, не допущу! Понимаете? Я говорю серьезно. Все на свете, только не это... Ну слушайте, ну, бросьте вздор... Не смотрите так печально на свет.

Придвинув сильным движением свое кресло ближе к ней, он взял ее обе руки в свою одну, мясистую, широкую руку и нежно, ласково поглаживая их, заговорил, словно нянька, желающая убаюкать встревоженное дитя:

— Давайте, подумаем о чем-нибудь более светлом, более отрадном, чем ваш монастырь, моя милая птичка! Вы видели: когда нужно, я умею принимать решительные хорошие меры... Вот и потолкуем...

— Хорошо, мой князь. Правда, сегодня особенно вы заслужили, чтобы я исполнила каждое ваше желание...

— Каждое желание? — с лукавым, неожиданным огоньком в глазах повторил Константин. — Э, где уж пока и думать об этом... Вон самый невинный поцелуй и того нельзя получить... Ну, да не о том теперь речь. Вот, значит, начнем с портрета...

— С портрета? Почему с него?

— В нем самое начало... К маю он будет готов... Просохнет краска, как говорит наш мазилка, и все такое. Портрет, кажется выйдет на славу. Главное, похо-

же, хоть я и думал, что этого будет трудно добиться... Сходство уловить с моим ангелом... с моей богиней... Нет, нет, я сижу смиренно... В конце мая мне надо ехать в Петербург...

— Вы едете? Я и не знала... надолго?.. зачем?.. И не сказали мне...

— Я сам на днях получил письмо от брата... Император желает поручить мне кое-какие работы по устройству учебных военных заведений... И там еще кое-что... Портрет я повезу с собой...

— С собой? Зачем? Такой большой...

— Покажу его матушке... Пусть она увидит мою птичку... А брат, он увидит, узнает вас лично осенью. В сентябре назначен его приезд. Узнает, значит полюбит... Вот тогда посмотрим... Видите, какой у меня блестящий, настоящий стратегический план!..

Он радостно и громко по своему обыкновению рассмеялся, очень довольный всем, что высказал сейчас.

Несомненно, обрадовалась и Жанета. Но она не выдала своего удовольствия, наоборот, еще больше затуманилась и тихо проговорила:

— План немного односторонний, выработанный без участия всех заинтересованных сторон. Не знаю, как на войне... А в жизни такие планы редко удаются...

— Гм... понимаю... Но вы на лицо... Извольте высказать ваши замечания, очаровательная моя птичка... Все будет принято к сведению и исполнению...

— Я что? Может ли быть обо мне речь? Пожелайте, и я исполню все, что только в силах... Чего бы мне это ни стоило... У меня нет воли... кроме вашей... Вы владеете моей душой... моими думами...

— Только не твоими губами, мой ангел... Скоро ли, скоро ль?..

— Я вся ваша, милый Константин. Но я знаю, верю: вы пожалеете меня... не захотите воспользоваться слабостью девушки, для которой только и есть счастье на свете: ваша любовь... ваше уважение... У которой одно богатство: ее честь...

Эти слова Жанета прошептала вполголоса, лежа на груди у Константина, куда он вдруг привлек ее сильным движением руки, где готов был впиться своими большими, тяжелыми губами в эти тонкие розовые лепестки ее уст.

Тяжело дыша, отирая пот, сразу выступивший на лбу, на облысевшем спереди черепе, Константин, под влиянием

шепота Жанеты, ее осторожной, ловкой речи отпустил девушку, сам отодвинулся со стулом и сразу севшим, хрипловатым голосом проговорил:

— Да, вы правы... Воли себе давать нельзя... Какая вы умница, графиня... Как все понимаете... каждую мысль в уме, каждое чувство в сердце... А сами совсем дитя. Я же вижу: это не притворство... Вы чисты, как снег... И однако все вам понятно! Удивительная женщина... Но это мне нравится... Будем дальше говорить о... о делах... Значит, вы согласны на мои планы... и на все... Но конечно, с благословения господ ксендзов, папаши, мамыши и прочее. Понятно, говорить не о чем. Я сам понимаю, что иначе быть не может. Но одно удивительно: кто учил вас этим вещам? Матушка ваша, не в обиду будь сказано... Впрочем, гм... Не будем о ней. Я знаю: вам больно... Граф Бронниц? Ну уж этот. Может быть, граф Грудзинский старался?..

— Мой отец? Конечно, он бы сумел... Но мы так мало виделись. Очень мало! Правда, был у меня один чудный наставник... Отец Жан Мальерб... Он преподавал в нашем пансионе... И от него...

— Ага! Слышал, слышал я немало о почтенном отце иезуите... Одно остается сказать, — вдруг, оживляясь, по-французски заговорил Константин, — *Je vois, que de mal herbe aussi on recoit de si beaux fruits.* Ха-ха-ха! Что, каков каламбур? Можно сказать Дамасу, он в куплетах там во своих пустит его в ход... *De mal herbe — beaux fruits...* Так, значит, он научил мою птичку показывать коготки, когда надо?.. Ничего, хорошо. Держите меня в струне, графиня. Вы правы... Чем с нами строже, тем мы больше ценим женщину. Видите, против себя даю вам оружие.

— Напрасно, Константин. Моя любовь, моя вера в ваше благородство, вот все мое оружие.

Растроганный этими словами, тоном голоса девушки, он сразу стал серьезнее. Подумав немного, заговорил:

— Значит, с законной семьей моей, как Бог даст. Надеюсь, матушку уломаю... А вот с Фифиной... Виноват... с госпожой Фридерикс дело труднее уладить. И головы здесь не приложу...

— А что говорит ваше сердце, мой князь?

— То же, что и ваше, Жанета: чем дальше, тем ближе вы мне... И как странно. Вот я живу. Делаю там все, что надо. Встаю, ем, работаю... Вижу людей, говорю с ними... И это так стоит рядом одно с другим, без всякой связи... Только время дает что-то общее всем моим поступкам... Понимаете?

— Понимаю... понимаю: вечная случайность и бесцельность нашей жизни...

— Вот, вот: как это вы хорошо двумя словами охватили, мой друг... А вот все, что касается вас: наши встречи, ваши все движения, мои мысли о вас... Все, все это так крепко связано одно с другим, так лежит в моей памяти одним чудным узором, вьющейся картиной... Так все близко, понятно мне. Полно такой прелести, глубокого смысла. Этим окрашивается и остальная сутолока жизни... А от этой сутолоки я уже так было устал, что подумывать начал: не уйти ли на покой? Не в монастырь, вот как вы собирались... А так в глушь куда-нибудь... И только встретив вас, полюбив, понял, полюбил жизнь!.. Фу! Вот теперь все сказал. Ясно? Что же вы молчите? Плачете? Что с вами?

— Нет, ничего... Я поражена. Это же чудо... чудо Господне! Его веяние почуяла я сейчас... Вы говорили — а я слышу, что вы говорите мои мысли, мои думы... С первой минуты, как я узнала вас... Хотите, я все начну сначала и перескажу день за днем, час за часом наши разговоры, встречи, думы мои, все...

— Не надо... верю... верю... Птичка...

И снова в невольном, но теперь осторожном, нежном порыве он привлек ее и долгим поцелуем коснулся закрытых глаз девушки, которая на этот раз чуяла, что опасности не грозит никакой и отдалась нежной, чистой ласке.

— Так как же нам быть с нею? — вдруг спросил Константин, снова возвращаясь к трудной задаче.

— Не знаю... Мне так жаль ее, — вдруг грустно заговорила Жанета, — потерять тебя... тебя! Потерять твою любовь! Можно ли это пережить?.. Но если бы она могла. Как бы я любила, жалела ее... Я заменила бы ей сестру, друга... Я была бы самой нежной матерью твоему Павлу.

Константин ловил каждый звук с широко раскрытыми глазами, как будто получил откровение свыше.

— Как? Ты бы могла?! Такое самоотвержение? Но ты знаешь ее жизнь... И характер дьявольский... Я терплю из-за Павла... Но ты, чистая, светлая...

— Не говори так, Константин... Вспомни, что заповедал нам Он Сам, Господь, Распятый за нас: «Не судите да не судимы будете!»... Кто без греха, пусть бросает камнем... А я не могу!.. Мне так жаль ее... А Павла? Я уже люблю его, хотя еще и не знаю... Но он твой сын... Сын моего рыцаря... моего князя... моего повелителя...

Неожиданно она легким и быстрым движением склонилась к руке Константина и нежно поцеловала эту сильную, тяжелую руку.

Он сидел, потрясенный.

Никогда в жизни не приходилось ему испытывать ничего подобного. Сила чувства и ума девушки подавляла его.

Сейчас Константин снова ощутил, что необузданная страсть заливает его волною, наполняет грудь, туманит сознание.

Но он сделал огромное усилие и остался в своем кресле, скованный, неподвижный...

Он боялся сделать движение, чтобы она не испугалась, не ушла... И в то же время его неудержимо влекло кинуться, схватить, сдавить ее в своих могучих объятиях и ласкать... ласкать без конца...

Так, должно быть, чувствует себя голодный паук, в паутину к которому попала слишком крупная, сильная муха.

Он сидит, видит, как она бьется в сетях, не имея сил выпутаться из липких тенет. Но боится накинуться тут же на добычу, чтобы та внезапным порывом не освободилась из паутины, при этом изорвав весь хитрый долготканый ее переплет.

Наконец, прерывая наступившее неожиданно полное обоюдного смущения жуткое молчание, он произнес:

— Ну, если так, и думать больше нечего... Все, значит, уладится хорошо... Вот видишь: как мне легко с тобою! Самые запутанные вопросы решаются словно по наитию... Будто кто шепнет в ухо... тебе и мне... Милая умная головка! Как пойдет к ней корона, когда...

С неподдельным ужасом отшатнулась от него девушка и так сразу побледнела, что стала похожа лицом на восковую статую.

— Не говори... не говори об этом... Я не хочу никакой короны...

— Что ты, милая... Почему?.. Это вовсе не так страшно. Вот посмотри на эту лысеющую раньше срока голову... Не очень она красива... А над ней с колыбели висело целых пять корон... Только, — со смехом продолжал он, — верно, крепко были привязаны... Ни одна на голову не свалилась до сих пор... А если на твоей очаровательной головке...

— Умоляю тебя, замолчи... Мне тяжело... Я скажу тебе... Только не говори, не повторяй... Это был страшный сон...

— Ах, сон?! Ну, конечно... Все женщины видят страшные сны... И моя... госпожа Фридерикс тоже их часто...

Впрочем, что я глупый вздор молоть стал... Разве можно сравнить вас обоих?.. Небесная звездочка и... факел... пожарного... Ну, говори твой сон... Интересно слышать...

— Хорошо. Я скажу. Только вперед прошу, обещаю никогда не говорить и не думать ни о какой короне...

— Странно... И тут, смотри, мы сошлись... Хотя мое решение зависит не от сна... Оно подсказано одним черным делом рук человеческих... Я тебе скажу... Но говори ты раньше.

— Хорошо... Я скажу. Это недолго. Только очень печально. И повторялось несколько раз... Вот отчего я так и волнуюсь при одной мысли... при воспоминании... Слушай, любимый мой князь... Ты же знаешь наш кафедральный костел св. Яна? Так вот я была в нем... и молилась святому и Пречистой Деве... О тебе молилась... и о своем счастье. Темно совсем под высокими сводами, только в черном мраке между колонн горят огоньки лампад вечных перед ликом Господа Иисуса и Его святых... Пригляделась: ты, мой Константин, тут рядом со мною распростерся ниц в молитве. Как-то не удивилась даже я, что в нашем костеле молишься перед Нашим Кротчайшим Иисусом... Словно забыла, что ты не веришь так, как меня учили... как верю я! И кажется мне при этом, что мы не чужие, как сейчас вот, а повенчанные, муж и жена!.. Подумай, что иногда присниться может бедной, глухой девушке которая так сильно любит...

— Сон в руку случается, малютка моя. Но я не вижу пока ничего страшного... для меня, по крайней мере... Такая женушка, как моя Жанета, меня не испугает...

— Постой, сейчас... Сразу случилось, как во сне, но я тут же в себе узнала: почему мы здесь молимся, в самом алтаре, куда и войти нельзя женщине...

— Кроме царицы, Жанета... кроме моей крулевы...

— Вот, вот: поняла я, что мы оба молимся перед коронованьем. Тебя короновать должны. А ты собираешься и меня увенчать... Сумасшедший сон... Право, если я и думала когда-нибудь видеть венец на этой благородной голове... — она коснулась своими трепетными, нервными пальчиками его лба, — то о себе уж нисколько и не мечтала никогда!.. Поднялась я с земли, оглянулась, а уж весь костел горит огнями, полон несметной толпой. Все красивые сильные воины, наши военные. Дамы на хорах. И с такой завистью смотрят вниз на меня... А я прижалась к тебе плечом. И счастлива, горжусь тобою... Епископы в золотых и кружевных, белоснежных ризах... Музыка неземная. С купола хор ангелов звучит, сли-

ваясь с этой музыкой... Нунций папы в пурпуре, в полной славе, с золотым посохом в руке осенил тебя святым Крестом... потом меня... И подошел ряд людей. Впереди похожий на яснейшего круля нашего, на императора Александра, но только совсем старый, согбенный, с широкой белой бородой... Вот как вы рисуете своих апостолов и святых... «Корона российской империи!» — возгласил нунций... Взял высокую, вроде митры, вашу корону и надел на тебя. Подошел второй, похожий на твоего Куруту. Только одетый иначе, вроде византийских воинов. Я видела рисунки в пансионе. Он подал широкую золотую корону обручем. Нунций принял: «Корона Византии!» И одел сверх митры. Третий подошел, одетый вроде второго, но с мехами на плечах, на поясе, загорелый высокий... Стройный такой... И лицом похожий на знакомого моего, полковника Лукасиньского... Я говорила тебе, помнишь? Мой бывший претендент...

Константин, нахмурясь, только молча кивнул головой.

— Нунций принял от него легкую, жемчугами унизанную корону, надел поверх прежней: «Корона Дакии и Албании!» И четвертую, узорную, кованную корону принял от человека, одетого в чудный рыцарский наряд, в латах из вороненой стали с золотом и камнями: «Корона Швеции». Три венца уже лежали на высокой митре как венцы на тиаре святейшего отца, папы нашего в Риме. Пятый выступил вперед, в старинном кунтуше, с дорогой саблей, в сверкающем шлеме и булава в руке. А другой рукою подал нашу, старую корону... Это князь наместник.

— Ба, и безногий «зайчик» пришел во сне к тебе?

— Пришел. Только не безногим. Помолодевший, здоровый, крепкий. Склонил колени, подал корону нунцию. Тот поверх всех ее надел на голову твою... И запели еще слаще голоса, сильнее загредел орган... Все крикнули: «Виват!»

— Что же тут для тебя страшного, не пойму никак?.. Пока все красиво... Как будто даже и хорошо... Особенно для такой гордой души, как твоя. Что я говорил тебе порою о самом себе, ты и увидела в спутанном сне твоём...

— Да, гордая у меня душа... Но за тебя... за моего милого князя гордится она и жаждет всего великого... Не скрою: я хочу видеть тебя на высоте... Но то, что мне снилось... Сейчас я кончу... Вот я уже готова была тоже склонить колена перед тобою, перед моим повелителем, перед царем души моей... Вдруг...

Девушка и теперь сразу побледнела, словно видя наяву что-то страшное:

— Все четыре венца зашевелились. Это были золотые окоченелые змеи, а не короны царские... И одна за другой, начиная с нижней, вытянули шейки... и ужалили тебя вот... сюда...

Она указала место на виске, у самого глаза, где необыкновенно выпуклый лоб Константина, покрытый ожирелой, толстой кожей, образовал как бы слегка покатым навес над нижней частью лица. Вообще, эта выпуклость лба и всей верхней части черепа придавали голове Константина форму, напоминающую шампиньон с вершиной, слабо развившейся и сдавленной по бокам.

При словах Жанеты, при ее жесте, ужас, который теперь отражался в движении, во взгляде девушки, передался невольно и Константину. Он тоже поднял машинально руку и спросил негромко:

— Сюда?.. Странно... У меня так часто и сильно болит именно здесь... Я тебе говорил... Странно. И все?

— Нет. Еще страшнее потом... Я видела: ты умер, как только змеи ужалили тебя... Но не упал, а продолжал стоять... И никто не заметил, что ты мертв. Шел обряд... Ты двигался, склонял голову и колени, говорил что-то... Но уже мертвый... И снял с себя ужасную тиару... сделал мне знак... Я хотела бежать. Ноги мои не слушали меня... Крикнуть!.. Голос не выходил из груди. Оцепенелая, не могла я даже шевельнуться, сделать знак от ужаса... Только глядела... Потом колени подогнулись. Я склонилась тихо, а сама глядела... Медленно ты опускал мне корону над головой. Вот она на мне... Ледяным кольцом сжимает голову... Но змеи меня не жалят... Только кольцо сжимает сильнее, сильнее... Мозг стынет. Череп, чувствую, поддается под тяжестью... Раздавленная, склоняюсь я... и умираю... А меня подняли... повели рядом с тобою... И мы идем так тихо... оба мертвые... И подвели нас к двум тронам, которые стояли в подземном склепе. «Здесь они будут царить! — сказал чей-то тихий страшный голос. — Замуруйте их... Мертвые, но живые будут сидеть они здесь века и царить в царстве смерти...» И нас стали возводить на троны... Усадили, ушли. Начали замуровывать нас... Камни ложились рядами. Я вне себя крикнула и проснулась...

— Правда, тяжелый сон... Кошмар...

— Но почему же я несколько раз видела этот кошмар... этот самый? — с неподдельным ужасом прошептала Жанета, совсем прижавшись к нему.

— Несколько раз? Да, странно... Успокойся... Ты и сейчас дрожишь, моя птичка.

Ласково, тихо стал он гладить рукой ее мягкие душистые волосы, теперь рассыпанные волной по плечам...

— Конечно, сон твой никакого значения для нашей судьбы не имеет... Тем более, что я и не собираюсь носить российской короны... либо какой иной...

Говоря эти слова главным образом для успокоения суеверной, встревоженной девушки, Константин сам прислушивался к ним, как будто хотел проверить: какой отзвук они найдут в его собственной душе? Слишком часто думал цесаревич о будущем, когда ему, по смерти брата Александра, придется решить: царить или не царить?

Но он теперь не успел прислушаться к собственным мыслям и ощущениям, так быстро девушка подхватила его слова:

— Не будешь носить короны? Почему? Ты мне не говорил... Разве есть что-нибудь? У Александра ожидается наследник?.. Но ведь императрица...

— Да, они так же далски друг от друга, как я от моей благоверной, хотя и живут рядом... Не в этом дело, милая. Пока ничего еще не решено. Могу открыть тебе лишь одно, что касается меня лично... Помнишь, когда мы говорили о печальном детстве нашем, о нашей семье... Я открыл тебе, как погиб мой император-отец! Тогда же я поклялся в душе и сказал самым близким друзьям и брату Александру, что ни за что в мире не надену на себя корону империи, обогренную кровью моего отца!

— Российскую корону?.. Она, значит, отойдет другому... А... польская? — осторожно задала вопрос Жанста.

— Польская?.. Польская? — словно сам не уясняя себе смысла этого слова, повторил Константин. — Я мало еще думал об этом... Польская, конечно... эту я бы мог спокойно... Нет, я еще не думал о том... Мне не так легко обсудить и решить что-нибудь. Моя большая, тяжелая голова не так легко справляется с каждой задачей, вот как эта светлая, умная головка. Ты совсем чудная у меня... Разумница-царевна... Вон и сны какие тебе снятся... мудреные, загадочные... действительно страшные! Поневоле подумаешь: надевать на себя хоть какую-нибудь корону?..

— Да, да... Ты прав: надо еще много думать... Но это не теперь... Не хмурься, будь веселее. Мне бы так хотелось видеть тебя довольным, счастливым!.. Особенно сегодня. После этого блестящего утра... после твоего подвига, поистине царского, прекрасного... Мой рыцарь!..

— А ты королева моя! — снова воспламеняясь от близости этой увлекательной девушки, так быстро меняющей настроения, умеющей и его заражать сменой своих переживаний. Обвив ей талию рукой, он шепнул:

— Ты знаешь, чем можно сделать меня счастливее всех на земле!.. Одна ласка...

Лицо его снова вспыхнуло страстью, глаза полузакрылись, он вытянул вперед губы, точно без слов просил поцелуя, властно ждал его...

Тонкая, прирожденная кокетка, Жанета обладала особым чутьем, умела читать в душе, тем более в мужской...

Что-то ей подсказывало, когда на ее обожателя находили особенно опасные приступы, приливы страсти. Она как будто знала: стоит ей выказать резкое сопротивление в такую минуту — и он потеряет последние остатки самообладания, возьмет ее силой или уйдет, слишком решительно отстраненный, и не вернется больше никогда.

Ни того, ни другого девушка не желала.

Теперь она видела: именно подошла такая минута. Зверь испытывал слишком сильный голод. Был так алчен, что нужно бросить подачку, кинуть небольшую кость в открытую пасть.

Не отстраняясь от трепещущего мужчины, девушка тихо шепнула:

— Ну, пусть... только не в губы... Мне больно... Вот... целуй...

Быстро отстегнув две-три пуговицы, она полураскрыла свою шейку, которую он так любил... Округлилось начало девственной груди...

Жадно, как к источнику жизни, прильнул губами Константин к заветному местечку и замер в поцелуе.

Когда он, с кружащейся головой, не имея воздуха в груди, на миг оторвался, чтобы передохнуть и поднял на нее с немой мольбой свои мутные сейчас глаза, в которых прыгали зеленые и золотистые огни, девушка осторожно, легко выскользнула из объятий и, шепнув:

— Теперь доволен? До завтра! — быстрым, острым и сладостным поцелуем, как уколом жала, коснулась его глаз и вышла из комнаты.

Прошло лето. Настала осень.

В середине августа император Александр начал свой обычный объезд по России, какие любил делать почти еже-

годно. Но теперь, после французского разорения, он впервые посетил Москву, которую ему как будто тяжело было видеть после сдачи и плена, испытанного первопрестольной русской столицей в печальной памяти 1812 года.

Кроме двадцати человек прислуги, камердинеров, их помощников, лакеев, гоф-фурьера с четырьмя официантами, четырех певчих, фельдъегерей и знаменитого кучера Кузьмы, — обычная небольшая свита, всего человек двенадцать, сопровождала государя с начала поездки. Во главе всех, конечно, находился «грузинский отшельник» граф Аракчеев, которого Александр при въезде в каждый новый город непременно сажал в свою коляску рядом с собой, на место, которое обыкновенно занимал в пути другой любимец государя, его генерал-адъютант князь Волконский.

Александр знал, как все окружающие трон враждебно относятся к преданному лакею в генеральском мундире, знал, что самые дурные слухи и отзывы об Аракчеве сеялись постоянно повсюду. И хотел показать народу, как он ценит этого «своего друга».

Еще трое, кроме Волконского: Уваров, Закревский и поляк граф Ожаровский дополняли число генерал-адъютантов. Три флигель-адъютанта: князь Меншиков, граф Орлов и Киселев, затем граф Капо-д'Истрия как министр иностранных дел и второй статс-секретарь Марченко по внутренним делам являлись ближайшими исполнителями воли и желаний этого «странствующего государя», подобно тому как раньше были странствующие рыцари... Важнейшие дела докладывались и обсуждались порою в походе. А за коляской императора и его свиты нередко следовали целые экипажи, нагруженные разными донесениями, рапортами, делами и прочее, что обычно должно проходить через руки самого государя.

Лейб-медик баронет Виллие и ведущий дорожный журнал квартирмейстер царский полковник Михайловский-Данилевский дополняли состав всей свиты.

В Москве государь оставался очень недолго, хотя пребывание в ней прошло для Александра непрерывным торжеством: народ целовал его стремяна, клики потрясали воздух. Духовенство возглашало ему хвалы, люди всех сословий шли с поклоном к Благословенному Миротворцу-царю... Но Александр слишком ясно понимал людей и дела, умел ценить восторги народа и похвалы ораторов разного рода... А тут же, рядом, на Бородинском поле еще, как язвы, темнели следы этой «победы», как называли ее, после которой русское вой-

ско торопливо отошло с пути побежденных и открыло им путь к древней столице, к сердцу России.

Самолюбивый, болезненно-чуткий ко всему Александр знал, что на этом поле «победы» еще валяются скелеты незарытых коней, убитых тысячами в бою... темнеют холмы, наскоро набросанные над павшими бойцами, над защитниками родины, трона, которых принесли в жертву почти без всякой надежды на успех не только тогда, но хотя бы и в будущем...

Ошибки самого Наполеона, столько же, сколько и тактика «пространства и времени», подсказанная Александру самым ходом событий, промахи великого вождя столько же помогли русским, дали им в конце концов возможность дожидаться торжества, как и старания или планы полководцев Александра и его самого.

Сам скрытный до болезненности, неискренний до того, что его улыбку считали предвестием опалы и бед, Александр не выносил в окружающих ни малейшей фальши, самого безобидного притворства, страдал от обычного лицемерия светских, образованных людей.

Поэтому он даже 26 августа, в день поминовения убиенных на Бородинском поле, не отправился туда со всеми, не приказал служить панихиды в своем присутствии. Мало того: графиня Орлова-Чесменская, позабывшая о годовщине, назначила у себя бал в этот вечер великой тризны и, спохватясь, хотела отменить его. Но Александр, который обещал быть у графини, дал знать, что просит бал не отменять. Сам явился на него, казался весел и доволен.

Так отметил в своем секретном дневнике Михайловский-Данилевский, внимательно и бережно заносивший на его страницы все, что касалось этого, загадочного среди людей и государей, повелителя России.

В день своих именин, 30 августа, император, среди прочих милостей, какими одарил близких и дальних сотрудников и слуг, поразил весь мир удивительным указом, согласно которому Сперанский, бывший в тяжелой опале, получил условное прощение и назначение в Пензу гражданским губернатором, а второй опальный, Магницкий, как менее важный, назначался вице-губернатором в Воронеж, так как государь, согласно словам указа, «желал преподать им способ усердною службою очистить себя в полной мере» в тех не доказанных, но подозреваемых грехах крамолы и даже государственной измены, за которую они потерпели кару без суда и следствия четыре года тому назад.

Этот указ после новогоднего манифеста был особенно непонятен, противоречил всем ожиданиям людей реакции, дал новую надежду сторонникам обновления, возрождения России, а в Польше поднял целую бурю толков и мнений.

Один из друзей цесаревича, его боевой сотоварищ, генерал-адъютант Сипягин, сообщая о волнении, которое вызвано в России неожиданной новостью, написал:

«Неожиданное происшествие сделалось на сих днях предметом изумления и общих разговоров в городе. Сперанский и Магницкий определены к местам. Случай сей произвел такое же волнение в умах, как и бегство Наполеона с острова Эльбы».

Конечно, сравнение значительно преувеличенное. И положительный Константин, оглядевшись, оценил более трезво события; а относительно себя, особенно при близком знакомстве с характером брата Александра, мог по праву ответить Сипягину:

«На счет того, что одна новость произвела почти такое же волнение в умах, как и бегство Наполеона с острова Эльбы, скажу вам, что я никогда не волновался и не волнуясь... Впрочем, как мы друг друга довольно знаем и хотя вдали бываем, но всегда отгадываем мысли один другого, следовательно и в теперешнем разе вы меня понимаете. Говорить хотя и не позволено, но думать не запрещается. И я заключаю на счет сего тем, что всегда большие праздники кончаются иллюминацией...»

Вот как оценил знаменитый указ загадочного мечтателя-императора его более скромный, положительный и безусловно более прямой, откровенный брат: «иллюминация» после праздника... Потешные огни, которые быстро сгорают, оставляя копоть, чад и обгорелые фитили...

Он угадал: последние десять лет правления Александра подтвердили догадку недалекого с виду, но прозорливого порою Константина.

Однако все это еще было впереди.

А сейчас — торжественное шествие Александра медленно подвигалось вперед. Только 19 сентября нового стиля попал он в Киев, откуда отпустил Аракчеева в его любимое Грузино, а сам двинулся дальше.

Два дня, 22 и 23 сентября, провел император в Александрии как частный гость очаровательной графини Браницкой, своей давнишней приятельницы, и любезным обращением, ловкостью, показным весельем увлек всех, особенно дам.

Но эта игра в «Гарун-аль-Рашида» не могла обмануть таких близких к императору лиц, как его новый любимец, Михайловский-Данилевский, который в эти два дня записал:

«Во всех его поступках я находил весьма мало искренности. Все кажется личиною. Я думаю: Теофраст и Лабрюейр были бы в затруднении, ежели бы им надлежало изобразить характер этого человека».

Подтверждение этих слов последовало сейчас же со стороны самого Александра.

Всего года полтора тому назад он писал и уверял старую княгиню Чарторыскую и ее сыновей, что «Пулавы — для него рай земной и минута удовольствия при свидании с этой семьею кружит ему голову».

А теперь, когда в Польше все почти было закончено, да еще дошли оттуда вести, будто Чарторыские ведут осторожный, но опасный широкий заговор в стране против него, против русских вообще, Александр неожиданно приказал изменить прежде составленный маршрут, чтобы объехать Пулавы, двинулся на Житомир, а затем, минуя Люблин, повернул на Брест-Литовский, а оттуда поехал на Варшаву.

Разлад с князем Адамом по поводу назначения Зайончека Александр невольно перенес и на всю семью Чарторыхских.

30 сентября нового стиля столица Польского Королевства вторично встречала своего наияснейшего «круля» Александра.

Все время в польском мундире с орденом Белого Орла «король» Александр, как бы подчеркивая, что он выполняет роль хозяина в своем новом королевстве, был особенно любезен с поляками, что даже вызвало зависть и нарекания среди русских, и прибывших вместе с императором в качестве его ближайших спутников, и тех, кому он вверил по старинным связям важнейшие посты в этом новом царстве, начиная с Новосильцева, Ланского и кончая начальниками военных и гражданских учреждений, если это не были природные поляки.

— Право, не стоило покорять Польши, чтобы теперь нам всем очутиться на запятках у польских карет! — ворчали недовольные русские.

Но Александр делал вид, что ничего не замечает, и вел заранее намеченную политику, при каждом удобном случае расточая полякам уверения в своем особом благоволении.

Тогда же стало известно, что перед отъездом Александр окончательно назначит давно желанный и ожида-

емый всей Польшей день открытия первого королевского сейма.

Сомнения, которые искренне или притворно высказывали многие по поводу наступления этого дня, должны были рассеяться.

Говорили даже, что настоящий приезд Александра именно и вызван разными толками и опасениями относительно честного выполнения конституционных гарантий и прав, данных в 1814 году. Враги и друзья русских понимали, что от степени расположения, которое завоюет теперь новый король, зависит тот или иной состав первого сейма, его настроение и партийный состав.

А это было важно и для русских, и для самих поляков.

Если первый сейм сойдет благополучно, без особых взрывов и приключений вызывающего характера, можно считать, что «законно-свободные» учреждения войдут навсегда в жизнь польского народа при новой династии, хотя бы тот же круль Александр, либеральный конституционный правитель Польши, умел двоиться и являлся неограниченным, почти деспотическим автократом у себя, в пределах необъятной российской империи...

— Тем хуже для русских, тем лучше для поляков! — говорили последние. — Каждый народ имеет такого царя, какого заслуживает иметь по своим умственным и духовным свойствам!...

Русские чувствовали оттенок кичливости в этих рассуждениях, но втайне тоже были довольны проявлением такой «двойственности» в своем императоре.

— Кто знает, может быть, он решится, особнно, когда увидит, что править свободными людьми приятнее и даже легче чем немymi, испорченными неволей, отупелыми и огрубелыми от кнута и страха рабами...

Среди всsx этих надежд и сомнений — холодный, непроницаемый, с вечной ласковой, чарующей улыбкой на губах стоял сам Александр и думал...

Что он думал — не знал никто.

Порою лишь брату Константину он сообщал часть своих предположений и затасанных планов, но лишь настолько, насколько это было необходимо ему самому для проведения того или иного начинания.

Константин всегда проявлял к брату привязанность, которая граничила с обожанием. Встретив его далеко от Варшавы, он со слезами расцеловал брата, хотя они виделись только два месяца тому назад.

На другое утро по приезде в Варшаву Константин спозаранку, чуть ли не первым был уже в замке, перед покоем, в котором спал Александр.

И король-император, в 8 часов утра, как только открыл глаза, спросил камердинера:

— Брат здесь?

— Его высочество уже двенадцать минут как сидят в соседнем покое с князем Волконским.

— Проси его сюда.

Вошел цесаревич и Александр встретил его с ласковой улыбкой:

— Прости, что принимаю тебя в постели, дорогой брат. Устал немного. А нынче, поди, предстоит немало работы... Так я и решил понежиться еще несколько минут... И потолковать с тобою без посторонних. Садись вот сюда, ближе...

Кроме проявления особой дружбы, эта просьба имела и другое значение.

Александр плохо слышал на одно ухо, а другое было почти совсем у него оглохшее от залпов из орудий еще во время гатчинских учений, при жизни Павла, когда он был только наследником.

Слишком выдавать своей глухоты император очень не любил. И если беседа должна была носить интимный характер, он садился как можно ближе к собеседнику.

Так вышло и теперь. Константин уселся совсем рядом с изголовьем походной кровати и негромко, но очень отчетливо заговорил:

— Как спали, дорогой брат?

— Ого! Да ты, должно быть, забыл мой сон: стоит мне лечь и я как в бездну падаю. Мой Василий или другие люди тут толкуются, убирают... Могут перевернуть все вверх дном и возить меня по комнате в кровати, я не проснусь до утра. Разве уж очень растормошить меня. Или если я засну с тяжелой, неотвязчивой заботой на душе. Тут мне плохо спится. А пока, благодарение Богу, ничего такого нет... А ты как? Неужели потерял и свой спокойный сон с тех пор, как...

Александр не кончил и ласково погрозил брату:

— Молодеешь все... сердцем, друг Константин. Это хорошо. Молодей, молодежь!.. Вот одно, чем ты богаче меня: можешь любить, увлекаться... Шалить, как любой прапорщик или корнет... А, да не в том дело. Посмотрим, посмотрим твою фею. На портрете мила. Как-то в действительности? Не под золотыми ли лучами писал ее художник? Ха-ха-ха... Не

обижайся. Я заранее готов признать, что лучше ее нет другой на свете... для моего доброго Константина... Видишь, как я рад нашей встрече: болтаю, смеюсь. А это бывает редко. Хотя теперь, во время поездки было немало смешного. Боже мой, как еще дика наша провинция! Даже самая Москва. Ты уже, конечно, слышал, как меня там принимали?

— О, да, конечно, ваше величество! И по заслугам... Даже меньше того...

— Ну, ну, хорошо... Я знаю, ты неравнодушен ко мне... А вот можешь себе представить: московское дворянство, должно быть, другого мнения... Встретить меня и представиться победителю Наполеона, освободителю родины собралось всего... Сколько бы ты думал?..

— Все дворянство московское... Сотни... тысячи дворян... Как же иначе?!

— Ровно сорок два человека... Да, сорок два, не меньше... Как мне всеподданнейше объяснили, одни не удосужились приехать из разоренных имений, другие за границей; те больны, иные выздоравливают... И прочее и прочее. Просто дуются... А за что? Сами, поди, не разберут. Уж эта мне Москва. Только простой народ там и верен, и предан нам и престолу... Еду дальше... Что ни город, то курьез. Встречали по одному шаблону: духовенство, купцы, хлеб-соль на блюде... Дворяне и чиновники в своих тесных, неудобных мундирах... Я проехал семь великороссийских губерний, я, первый дворянин империи, и нигде ни один предводитель дворянства не сумел рта раскрыть, чтобы достойно приветствовать своего главу и государя... Только угощали меня огромными осстрами и индейками белее снега. А я, ты знаешь, умерен в еде... Совсем метрдотели, а не первые дворяне в губернии... Спрашиваю одного: «А почему я не видел вас нынче поутру на смотру?» Что же он отвечает? «Я распоряжался столом вашего величества!» Это предводитель дворянства! Холопство. Только у них и жизни, что питье, еда и крепостные девки...

— Да, я знаю, государь. Мне тоже приходилось видеть такое... Но зато у нас здесь, дорогой брат, встречали вас совсем иначе?! — не то задал вопрос, не то отметил своими словами цесаревич.

— Здесь другое дело, ты прав. Начиная с Волыни, совсем иная жизнь, другие люди. Там, в России, если и попадался человек, умеющий связать две-три мысли, сказать путное слово, так это местный архиерей. А в Житомире, например, меня встретило двести человек дворян.

Предводитель, богат, европейский человек, граф Илинский сказал прекрасную речь... Было хоть о чем занести в путевой журнал... сообщить в наши Ведомости и за границу, в их листки... Потом польское духовенство. Хитрые, пронырливые господа. Но умны, образованы, воспитаны все... до последнего ксендза-пробооща... Красивые женщины, изящные туалеты. Поглядеть приятно... Словно, действительно, из Азии перевалил в Европу... Досадно, а надо сознаться. Посмотрим, что тут будет? Я, ты знаешь, тут делаю большой почин, который в случае удачи протяну и дальше...

— Знаю, ваше величество... Ваша воля, конечно. Вы все обсудите и сделаете, как вам подскажет ваш разум, ваше сердце золотое... Что укажет Господь.

— Да. Господь! Господь, это ты прав, дорогой Константин. На Него одна надежда. Думаю: Он образумит моих новых подданных и они понемногу войдут в колею. Как ты тут с ними ладишь? Прошли эти неурядицы, о которых мне писали? То есть, о которых ты сам сообщал мне весною и летом говорил, в Царском... Все кончилось хорошо?

— Все, государь... Моя была вина... Но и всякие тут проныры... вроде князя Любецкого и Чарторыхских и иных, путались, сколько было силы. А не то бы...

— Конечно, иначе и не возникло бы ничего. С ними, с поляками, надо быть очень осторожным. Они сами не отвечают за себя. Как с ними ни быть мягким и уступчивым, они могут вдруг с ума сойти. Вот и надо всегда иметь про запас розгу на них, если не две... Я так полагаю.

— И я так полагаю. Но теперь, сдается, дело сладилось. Они поняли, что мы им не враги. Особенно вы, ваше величество. Они верят вам, как Богу. Любят вас. Я уже знаю... Вот сами увидите, дорогой брат.

— Увижу, увижу... Сейм мы им откроем через два года. А к тому времени надо будет подобрать побольше разумных, честных, добросовестных людей... Которые по-настоящему любят родину и желают ей блага... и при том могут понять, что это благо теперь заключается именно в полном подчинении мне, моим планам, моей воле... Они же должны понять, что прямых выгод я от Польши не жду и не ищу... Но из своей воли выйти тоже не дам... Ну, да это еще впереди... А партию такую, как я сказал, понемногу собрать необходимо...

— Она уже и подбирается, государь... Я назову вам, если хотите...

— Нет, не сейчас... Пусть подбирается еще больше... только не к казенным сундукам, как это любят делать у нас всякие дельцы и народоводители... Ха-ха-ха!

Он слегка рассмеялся своей остроте.

Улыбнулся и Константин.

— Да, тут тоже, охулку на руку никто положить не любит...

— Что делать, брат, люди слабы к земным благам... Это мы с тобой такие спартанцы, можем иметь все и готовы ограничиться самым малым. А все остальные, все без исключения почти, воры, плуты и предатели или продажные дураки...

— О чем ты задумался? Отчего так нахмурился, Константин?

— Думаю: как трудно вам бывает порою, ваше величество!

— Не порою, а всегда! Сохрани тебя Бог от такого ярма, которое ношу я вот уже пятнадцать лет...

— Вы знаете, государь, я решил никогда не носить его и надеюсь...

— Хорошо, хорошо. Я знаю... Но пока мне еще нельзя уйти со сцены. Дело терпит. Почувствую, что слабую или не станет терпения, сил... Тогда я подумаю... А что нынче нам предстоит? Парад, приемы? То же, что и всегда?

— Все то же, ваше величество...

— Ну, хорошо. Иди. Позови мне Василия. Я буду одеваться. Подожди там с Волконским. Он тоже немало забавного порасскажет тебе... Я скоро выйду...

Действительно, все время до 17 октября прошло по обычной, давно знакомой и не стареющей все-таки программе: разводы, парады, маневры, смотры, столь близкие и любезные сердцу обоих братьев, перемежались приемами военных и гражданских сановников, целого ряда сословных и народных deputаций, вечерами, балами и охотой.

Константин быстро похудел и от нервного напряжения, и от непривычной затраты чисто физических сил.

Обычно он привык спать днем и подолгу перед обедом, а иногда и после обеда. Ложился совсем на покой очень рано, чтобы рано встать.

А тут все пошло вверх дном. О дневном отдыхе и думать нечего было. Константин и всегда любил входить не только в дело общего управления войсками, но и во все

мелочи военного обихода, даже в частную жизнь его подчиненных. А теперь, желая блеснуть перед братом, цесаревич положительно сбился с ног, лишился сна, поздно уезжал к себе, но и тут еще толковал с разными лицами относительно предстоящих на завтра дел или просматривал срочные рапорты, разбирал отчеты и докладные записки.

А утром в шесть часов уже снова был на ногах, первым входил в спальню к брату, который говорил, что день ему кажется веселее, если Константин раньше всех скажет ему: «Добрый день»...

Александр видел все и не скупился на выражения признательности самому цесаревичу, хвалил все, что касалось его, ласкал тех, кого тот любил... Словом, полное согласие царило между двумя братьями, еще с детства связанными особенно нежной дружбой.

Больше всего тронуло Константина рыцарское отношение императора короля к Жанете Грудзинской.

На большом обеде у того же наместника, за которым следовал придворный бал, Александр познакомился с девушкой, осыпал ее любезностями, знаками своего внимания, которые носили неуловимый оттенок совершенно родственного, братского расположения, такой почтительности, какую Александр мог бы только выказать любой принцессе крови.

Константин теперь гораздо реже мог бывать у Бронников и тем более тосковал по своей милой, тем сильнее говорила в нем любовь и сдавленная до поры мужская страсть.

Теперь же, на балу, урвав минуту, он увел Жанету в уголок зимнего сада, осыпал ее ласками, нежными именами, выражая восторг юношеский, бурный, неудержимый, особенно по поводу хорошего впечатления, произведенного Жанстой на Александра, и оттого, что девушка всеми признана царицей вечера.

— Знаешь, я едва удержался, чтобы там не стать перед тобой на колени, не целовать твои руки, плечи... Вот, как сейчас!

— Довольно, будет! Варьят!¹ Милый! Могут пройти, увидь... И я должна теперь танцевать польский с его величеством... Он сделал мне честь...

— Да?! Как я рад. А что говорил я тебе: это ангел!

— Нет, это полубог...

¹ Безумец!

— Но о чем вы говорили? Что он сказал тебе?

— После, потом... Проводи меня теперь в зал. Слышишь, уже музыка...

Константин, еще раз коснувшись губами ее горящих щек, повел девушку и сам проводил ее к брату.

— Вы, кажется, теперь меньше боитесь меня, графиня? — спросил Александр свою даму, когда кончился танец и он вел ее на место.

— Я и прежде не боялась вас, государь! Я слышала так много о царе Благословенном в целом мире... О спасителе моей родины, своей империи, всей Европы... Но при встрече с вами, ваше величество, я испытала столь понятное смущение, что даже не нашлась сразу вам отвечать... А между тем так давно и страстно я ждала этой минуты... И неодолимое смущение...

— Но чем оно было вызвано? Я со своей стороны...

— О, вы ангел... Но сияние гения, печать силы и милости Божией, почивающей на этой царственной голове, вот что смутило меня...

Цветистая похвала верующей девушки была высказана так горячо и искренне, что Александр, заклятый враг лести и похвал, даже не поморщился. Он видел, как взволнована девушка, как неподдельны ее речи и взгляды. Но все-таки, желая повернуть разговор на другую, не личную тему, он попробовал пошутить:

— Если графиня намекает на сияние моей начинающей обнажаться от волос головы, я в том не виноват... Года, затем, должно быть, давление от короны, плохо прилаженной при посадке ее на мою голову... Ну, и иные причины... В том числе лучи глазок, подобных вашим, которые выжгли остатки растительности на этом лбу, слишком часто желавшем греться под зноем опасных лучей... В этом весь мой гений, графиня... Все же остальное — благодать воли Божией, — вдруг, словно неожиданно для самого себя, серьезно проговорил он.

Слушая шутку, девушка улыбалась, правда. Но глаза ее с таким наивным удивлением смотрели на Александра, губы так по-детски раскрылись, что он понял: не этих шуток, не таких речей ждет девушка от императора-героя, прославленного всеми.

Бросив шутливый тон, Александр совсем задушевно проговорил:

— Брат мне говорил о вашей удивительной способности направлять его мысли только на все возвышенное и бла-

городное. А я сейчас убедился, что вы умеете достигать этого одним своим взглядом, без слов... Счастлив мой брат, что нашел такую подругу... Вот он идет. Передаю вас с рук на руки...

Всю ночь снова не спала Жанета после этого бала. Ей теперь грезилось, ей казалось, что давнишние, несбыточные мечты становятся уже не так несбыточны и дерзки, как ей это прежде казалось...

В течение семнадцати дней, проведенных в Варшаве, Александр имел еще немало случаев видаться и говорить с Жанетой. И каждый раз она умела только усилить приятное впечатление, которое вынес государь от первого знакомства с девушкой.

Приближался день отъезда, который был назначен на 17 октября.

Александр все хвалил, всем был доволен. Особенно пленили его военные упражнения польских и русских войск.

Когда на большом параде все полки, стоящие в Варшаве и квартирующие в окрестностях ее, когда вся пехота, десятки тысяч людей, построясь по-батальонно колоннами, когорта за когортой проходили перед императором, сохраняя ровные интервалы между собою, держа линию далеких, прерывающихся и в то же время ровных рядов, наблюдая эту необычную для его глаз картину, Александр пришел в неподдельный восторг. Вся его парадомания вылилась наружу и он сказал брату:

— Знаете, Константин, это же великолепно! Батальоны движутся точно так, как подают мне графленные ваши польские, в клеточках, рапорты... Эти удивительно!

— Стараемся, как можем, — скромно, почему-то даже стараясь нахмурить свои густые брови, проговорил было Константин. Но не выдержал, все лицо его озарилось счастливой, довольной улыбкой и он быстро отъехал, как будто затем, чтобы отдать новое приказание.

12 октября состоялся развод польского гвардейского гренадерского батальона и двух батальонов 1-го пехотного полка. Гренадерскому батальону цесаревич скомандовал произвести примерное ученье.

Тут снова Александр был поражен выправкой и сметкой солдат, точностью всех построений и маршей.

При деплоядах и построениях колоннами, где движение происходит рядами, Александр с восхищением заговорил:

— Да ведь это прямо чудеса, дорогой Константин. Посмотри, как верно во всех трех шеренгах люди держат плечи,

как точно равняются на передовых! По линейке, да и только! Ты видишь: следы ног на земле составляют три черты, совершенно ровные и параллельные! Ни тряхнуть, ни вильнуть, не отрывают локтей друг от дружки и не толкаются... И как держат линию... Чудеса, да и только! У нас в лучших полках гвардии ничего нет подобного, божусь!..

Константин от удовольствия, от радости весь зарделся, как девушка, и даже не нашел, что сказать.

— Мои ученики! — только и мог пробормотать он, хотя вовсе не думал проявить самохвальства. Наоборот, ему хотелось как можно выгоднее представить поляков, их смысленность, желание как можно лучше усвоить себе и военную, и всякую науку, которую принесли теперь к ним бывшие враги.

Цесаревич видел в этом залог сближения, вечной дружбы и слияния двух наций-сестер. Он не чуял, что поляки «берут только уроки», точно также, как брал их лично Петр I в Савардаме и его войска на полях битв со шведами, пока не оплатили одним полтавским днем за много дней «науки»...

Так именно думали военные поляки.

А гражданские магистраты и простые обыватели, не говоря о магнатах и вельможной шляхте, только улыбались насмешливо, когда читали в своих, многочисленных уже в это время, газетах и листках, чем наполняют все дни оба брата: верховный повелитель короны и его наследник, теперь уже фактически правящий страной.

На князя Зайончека никто иначе не смотрел, как на живую куклу, посаженную только для того, чтобы не было пустого места в тронной зале Королевского замка в течение долгих дней, пока польский король исправляет в России трудную службу самодержавного императора над 70 миллионами людей.

Наступило и 17 октября.

Император-король уехал, довольный всем, что видел и слышал. Ни единая тень, ни малейшее облачко не омрачило сплошного праздника, каким прошли эти все семнадцать дней. Дел особенных не было, огорчать, лишать, ограничить кого-либо в чем-либо не пришлось.

Напротив: просьбы, которыми осыпали своего круля со всех сторон преданные верноподданные поляки, почти все были выполнены, так как не требовали больших напряжений и затрат со стороны государя, не касались крупных общественных или государственных интересов.

По большей части зывали к справедливости «своего короля» лица, у которых именем «императора всероссий-

ского» конфисковали земли, секвестрировали имущества и тому подобное. Просили о возвращении невинно сосланных по суду, а порою и без всякого суда, о разрешении вернуться на родное пепелище лицам, бежавшим на чужбину в годы войны, печали и разрухи всеобщей, царившей в Польше, как и в России, как и в целом полумире...

Эти все просьбы даже приятно было исполнять умному Александру. Он оказывал личную милость, как царь польский, совершал дело справедливости, как самодержец огромной империи, слуги которого совершили поступки, бросающие тень на императора прежде всего. Кроме всего этого, край быстро оживлялся, как только разносилась весть, что русские победители и их государь, новый царь польский, и не думают мстить за прошлую вражду, за пролитую в борьбе кровь, за разрушенные жилища и поруганные храмы, как то было в Москве, где польские легионеры позволяли себе подобное кощунство...

Словом, милосердие лилось струей... Сыпались золотым дождем также милости и награды. Особенно при отъезде никто почти не остался без знака внимания со стороны короля Александра.

Начиная с князя Зайончека, украшенного первым орденом империи — лентой св. Андрея Первозванного, все министры, главные магистраты, низшие чины, военное начальство до последнего рядового, все были награждены.

Но и тут сказалось явное предпочтение, которое в польских пределах оказал царь Александр своим «подданным полякам» не в пример исконным детям и слугам русского престола.

Каждый польский солдат получил по рублю серебром, а русский тоже по рублю, только медной монетой, что по курсу того времени составляло вдвое меньшую ценность против серебра.

Поляки все учили, всему придали не только настоящее, но преувеличенное значение. Этим, правда, Александр отчасти достигал цели: располагал к себе сердца простых, бесхитростных людей.

Но политики, особенной высшей марки, даже из этой милости, из этого знака внимания успели добыть немало жгучих крупниц и кинуть их в сердца толпе. Они говорили:

— Видите, Александр сам себя выдал: он боится нас! Польша для него теперь единственный оплот, последнее спасение против натиска с Запада, в тайне подготовляемого

против зазнавшейся России. Западные державы не допустят такого усиления Московии, которое хуже Наполеоновских когорт может угрожать целой Европе, ее вольности, ее культуре... И русский император закупает этими рублями польский народ, чтобы лучшие дети его проливали охотней кровь здесь, на передовом посту между Европой и Москвой, когда первая двинется на вторую...

Но пока, рассыпая милости, Александр не слышал этого шипенья и довольный, насколько мог быть доволен такой всем пресыщенный человек, поехал дальше, главным образом, чтобы теперь ознакомиться с состоянием своих прибалтийских владений.

Константин, проводив любимого брата, был искренне огорчен разлукой, но в то же время радовался от души, что все прошло так удачно, что его любимый, обожаемый брат и монарх проявил столько внимания к любимой Константином девушке, что осень стояла и стоит такая ясная, чудная... Можно было с блеском развернуть войска и показать их выправку, искусство...

Доволен он был и тем, что жизнь войдет в прежнюю колею: можно спать вдоволь, не проводить круглые сутки затянутым в парадную форму, ежедневно в обычные часы можно просиживать в кресле против милой очаровательной девушки, умеющей так умно ворковать, так жечь и холодить взглядами...

— Вот вы все опасались, милая графиня! — с торжеством говорил он ей чуть ли не в двадцатый раз, — а как все хорошо прошло и кончилось превосходно! Александр, наш император и король, уехал в восхищении от поляков и Польши. Войска, магистрат, суды, новые дома, заводы и дороги, даже наши красавицы показали себя в полном блеске. А их царица очаровала моего, избалованного в этом отношении, брата. Интересно знать: как вам понравился наш император?

— Можно ли даже спрашивать, мой дорогой князь? Если б я раньше не встретила вас, — сердце мое было бы в ужасном затруднении: кого предпочесть? Он, конечно, немного старше, не так мужествен, но очарователен почти одинаково с моим милым воином!

Нежный взгляд еще сильнее подчеркнул всю силу комплимента.

Константин широко улыбнулся, но имел еще силы возразить:

— Ну, знаете, вы того... В вас говорит ослепление чувства. Конечно, если женщина отдала мужчине свое сердце,

так он для нее лучше всех, если только не уродливее самого черта! Можно ли сравнивать меня и брата Александра? Стройную пальму... и...

— Могучий, коренастый дуб моих родных лесов... С такими ясными глазами и милой улыбкой... Вы никогда не видите себя, когда улыбаетесь, Константин? Жаль, вы бы поняли, что так влечет к вам женские сердца! — не сдавалась девушка, понимая, что нельзя обнаружить неискренности, если бы она и таилась в ее похвалах. Поэтому она и пошла дальше.

Константин еще шире улыбнулся и умолк. Он был побежден и в знак покорности взял обе нежные ручки, покрыл их бесчисленными поцелуями, как любил это часто делать.

Взглянув в лицо Жанете, он испугался неожиданной перемене, к каким было способно только это нервное, подвижное лицо, на котором столько же искренне, сколько и по воле девушки, самые противоположные настроения и чувства, как в калейдоскопе, быстро сменялись одно за другим...

Сейчас лицо Жанеты вдруг опечалилось, приняло страдальческое выражение, даже две слезинки, не сбегаая, заворачивали на ресницах.

— Что с тобою, моя птичка? Слезы? Даже слезы?.. Я сделал тебе больно моими неловкими, порывистыми ласками? Да? Экой медведь... вот уж...

— Нет, нет, мой любимый! Совсем не то. Но я подумала... Вот ты так счастлив, так уверен за свое... даже за наше общее будущее. А у меня тоска порою, как железный обруч, сжимает сердце... Самый веселый смех гаснет... Самые розовые надежды вянут... И не мудрено. У тебя столько еще великого, прекрасного в жизни... Ты столько еще должен изведать и славы, и радостей, и счастья... А я?.. У меня одно счастье — моя любовь... твоя любовь ко мне... Ты знаешь, отец далеко... Маленьким ребенком покинула я его и не видала с тех пор... Мама?.. Она, конечно, не виновата... Такою создала ее природа... Бог Милосердный простит ей все... Я буду молить Его усердно... Но ты знаешь... Тебе одному открывала я, как это тяжело: иметь маму... и не иметь ее, на самом деле!.. Ты мне заменил отца и мать... Отчизна и рай мой в тебе. Моя любовь заставила меня светлее глядеть на жизнь и не желать смерти, как раньше я звала ее... молила Бога и Пречистую Матерь Иисуса взять скорее с земли... И вот такая радость: мы полюбили друг друга. Я сначала просто бо-

ялась этого. Думала: искушение послано мне Богом... Счастье это не для меня. Не надо ловить призрака. Потом поверила понемногу. Мы сблизились. Году нет, как мы знакомы, а ты мне ближе, дороже всех в мире... И все-таки я гнала от себя эти ослепляющие мысли... Твоя матушка, императрица, брат твой, наш наияснейший круль... Разве они позволят, чтобы между их царственным Константином и бедной Жанетой Грудзинской возникла какая-нибудь близость?.. Кроме той, которая приносит позор женщине и пресыщение мужчине... Но ведь ни ты, ни я и не думаем о чем-нибудь таком, неправда ли, мой любимый князь?

— О, нет! Конечно, нет! — громко, но не особенно решительно подтвердил Константин.

— Что же оставалось? Взять себя в руки и отойти с мукой в сердце... Отойти и умереть, тихо, без слез, ежеминутно благословляя тебя и миг нашей первой встречи...

— Отойти? Это еще что? Что ты выдумала, Жанета? Вот неугомонная головка! Каждый день новое извержение вулкана... И не угоняешься за тобой, правду надо сказать. Куда еще отойти?

— Не знаю... сама не знаю: к отцу в его далекое прусское поместье... Или в монастырь... Где глуше, где меньше людей, где ближе Сладчайший Иисус, Мой Единый Супруг и Повелитель.

— Вот, извольте видеть: снова за то же. Да ведь мы условились — про монастырь баста! К чему же ты... да еще в такую минуту...

— Нет, нет, я помню. Я так, к слову говорю. Чтобы ты видел, как сильна любовь твоей Жанеты. Даже любовь к Господу Нашему Распятому не могла пересилить ее...

— Ну и слава Аллаху. Так в чем же дело? Зачем твоя грусть? Мы будем счастливы, верь! Брат Александр ничего прямо не сказал, правда. Но он так хвалил тебя и обещал передать матушке, какое впечатление произвела на него «этот маленький ангел-графиня», как он выразился.

— Вот, вот: это самое ужасное. Ты изумлен? Не понимаешь? Сейчас скажу. Это дает и мне надежду... Моему сердцу, которое бродило во мраке, обливаясь кровью, блеснул золотой луч. И как будет тяжело, если он погаснет! Боже мой!..

Слезы чаще закапали, как жемчужинки из отуманенных глаз девушки.

Воображение овладело ее чувством и вместе они придали вид искреннего горя этой полунадуманной сцене.

— Правду сказать, я совсем теперь ничего не понимаю...

— А это так ясно! Не было ласковых слов короля Александра, не было ничего... И я любила без надежды на счастье. А теперь?.. Когда пройдет угар увлечения. Когда жизнь покажет свое настоящее лицо... Ты меня разлюбишь и оставишь, как всегда бывает...

— Я? Тебя?! Да ты с ума сошла, птичка моя! Мне уже не двадцать лет. Я видел всяких женщин!.. Но такой, как ты, еще судьба не посылала мне. Ты и кружишь мне голову... и дураком порою чувствую я себя перед тобой... И сам порою думаю, что ты не от мира сего... Не понимаешь таких земных вещей, которые теперь любой девочке в четырнадцать лет хорошо известны... И все это вместе делает тебя самой дорогой птичкой... Вот еще раз говорю тебе: не разлюблю я тебя никогда! Верь!

— Верю... Тем хуже... Значит, я попорчу моей любовью всю твою жизнь! Ты мог бы еще получить развод с этой злой принцессой...

— Да уж получу, жив не буду... Я уж снова закинул тут и императору словцо. Уж он уговорит матушку. Мы тут и престолонаследие подпустим, и высшие интересы династии... Все сделаю, лишь бы избавиться от этой петли...

— Вот видишь: от одной избавишься. А вторая останется на твоей бедной шее.

— Фифина? Вздор. Мы ее сплавим за кого-нибудь... Я уж говорил с Курутой... Старина мне поможет... и Митонша... и другие... Видишь, и вторая петля не страшна...

— Да я не о ней думала, а... о себе. Не удивляйся, милый Константин, — о себе. Вот ты будешь разведен, не женат. Тебе надо тогда выбрать какую-нибудь молоденькую, красивую, добрую сердцем принцессу, иметь детей, продолжать династию... А я и останусь второй петлей... твоя любовь ко мне... Вот что меня мучит.

— Фьюю! — он даже присвистнул слегка, позабыв все правила этикета. — Вот оно что! Да ни на ком я, кроме тебя, не женюсь. Пора тебе знать это, моя птичка!

— Мечты, мой Константин! Светлые, геройские мечты. Разве тебе позволят жениться на мне, на простой польской шляхтинке, хотя бы и старинного почтенного рода?! И думать нельзя... Ты не сможешь, не посмеешь бороться...

— Я... не посмею?! Чего бы я не посмел в моем собственном деле, хочу я знать! Это не касается короны или государственных дел... В своей семье, в своем чувстве я

один хозяин... Сам император не смеет мне тут ничего указывать, если я не захочу... Увидишь, как я посмею...

— Замолчи... замолчи! — прошептала прерывисто Жанета. — Не вливай таких ярких надежд в усталое сердце... Сон упоителен. Как страшно будет пробуждение!..

— Еще лучше сна! Увидишь. Действительность много лучше снов! Это тебе, как послушать, снятся самые диковинные, волшебные сны. А я сплю так крепко, что почти и снов не вижу или снится что по службе, парады, экзерциции и другое подобное... Ну красотки иногда. Ты стала мне сниться теперь часто. Вот как сейчас, словно глядишь без слов, а я понимаю, чего ты хочешь... И готов душу черту отдать, только бы выполнить все, как ты хочешь. Так и будет, верь мне, радость моя...

— Верю, верю... И вот тебе доказательство!..

Быстрым движением достала она на груди спрятанный там в глубине, в естественном ложе, за корсажем, небольшой тонкий кинжал в красивых серебряных ножнах и бросила на столик, стоящий между нею и Константином, который сначала даже попятился от удивления. Смертоносное оружие, хотя бы и маленьких размеров, скрывалось в таком заветном месте, а он и не подозревал ничего.

— Что еще такое? Откуда эта игрушка? На что она тебе?

Машинально он взял тремя пальцами за рукоятку, больше на ней не поместилось пальцев его широкой, мясистой руки. Другой рукой снял ножны, которые прилегали очень плотно и сошли не сразу.

Узкое, как жало, очень острое лезвие сверкнуло под лучами лампы, стоящей рядом.

— Ого! Да это опасная игрушка! — проворчал он, хмурясь.

— Недля меня. Я хранила это стальное жало на случай... для своего освобождения от земной неволи... Если бы...

— Ффу! Час от часу не легче! Боюсь теперь и оставить тебя одну, Жанета. Какие чудеса приходят тебе на ум!.. Господи!.. Даже в пот бросило...

— Нет. Теперь не бойся. Я не боюсь за себя. Будь и ты спокоен... Но раньше боялась... Никого другого — самой себя. Ты знаешь: мне уже двадцать лет... Я женщина вполне. В мои годы девушки у нас становятся женами и матерями... Я так тебя люблю. Тебя я не опасалась: ты слишком рыцарь, чтобы обидеть беззащитную, любящую тебя девушку... Но я сама могла забыть... увлечь и тебя.

Я так люблю моего Константина... И если бы это случилось... я бы сейчас же после того покончила с собою, чтобы избежать стыда... Чтобы не испытать минуты, когда ты, пресытись мною, карая меня за легкомыслие, оттолкнешь свою Жанету и пойдешь за новым наслаждением... Когда... Словом: искупление пришло бы немедленно за минутой слабости. Но теперь я полна новых сил! Надежда стать твоей женой... Если не теперь, так через год, через два... через пять... О, это придает мне уверенности, что падения своего я не допущу... ради себя, ради твоей чести: ты должен взять чистой свою Жанету, когда она станет женой Константина перед Богом и людьми... Я была страшна самой себе и носила оружие на всякий случай. Теперь оно бесполезно. Я не боюсь ничего... Милый!

В первый раз Жанета, не дожидаясь почина со стороны Константина, первая обвила его шею и приникла к его губам нежным долгим поцелуем.

У него вздулись на лбу жилы, закружилась голова; но он, ответив на поцелуй, осторожно отстранил ее и заговорил мягко, поглядывая изредка на «игрушку», лежащую рядом на столе:

— Вот и отлично! Не волнуйся... Радость моя! Так и будет. Разве могло быть иначе... Ты вся сама чистота. Как же иначе могу я отнестись к тебе?... Моя Клеопатра наизнанку. Та убивала желающих... а ты себя собиравалась... Брр!.. Убери, пожалуйста, это... Или нет, лучше я...

Он вложил снова стальное светлое жало в матово-бледный серебряный футляр и спрятал кинжал в карман.

— Бери, бери... Все, душу, жизнь мою бери, мой любимый... Мой будущий супруг и господин...

В порыве чувства эта удивительная девушка вдруг опустилась к ногам Константина и прильнула к его коленям лицом, губами, головой.

Он встал, весь трепеща, поднял ее, усадил, сел снова рядом и умоляющим тоном заговорил:

— Перестань Жанета! Не мучь же и меня... Я живой человек... и люблю тебя... Будем сейчас благоразумны... Вот, — сразу меняя разговор, предложил он, — не хочешь ли, я прочту тебе письмо брата Александра? Он пишет из Риги... Там ужас что делается по военной части... Хочешь?

— Все, что хочешь! — томно протянула Жанета, откинулась на спинку кресла и, полускрыв глаза, вытянув на коленях руки, как бы отдыхая после порыва, приготовилась слушать.

Бормоча про себя, Константин пропустил несколько строк и потом стал читать вслух:

«22 числа сего месяца, на другой день по прибытии произведен был смотр и столь был неудачным, что пришлось мне своеручно писать таковой приказ: генерал-лейтенанту Гельфрейху выговор за слабость двух полков его дивизии, составляющих 2-ую бригаду. Оной командиру генерал-майору Пушкину состоять при дивизионном начальнике той же дивизии, а на его место бригадным генерал-майор Тимрот был назначен. Батальонный командир I-го батальона Навагинского полку за слабость его батальона отрешается от командования сим батальоном. Строжайше предписано как дивизионному, так и бригадному командиру привести Навагинский и Эстляндский полки в надлежащий порядок. Сделаны вследствие бывшего смотра следующие замечания: 1) Шаг слаб, неверен, многие люди ноги совсем не держат. I-й батальон Навагинского полку еще хуже прочих. 2) Штаб-офицеры своих мест не знают. Проходя сомкнутыми колоннами, иные батальонные командиры ехали вместе с адъютантами; в 3-м батальоне Эстляндского полку младший штаб-офицер ехал на правом фланге, а адъютант на левом первого взвода. 3) У того же штаб-офицера оголовие на лошади не форменное и не доставало уздечки. 4) Большая часть батальонных адъютантов не умеют сидеть верхом, ни шпаги держать. 5) В Навагинском полку унтер-офицеры под знаменами были из гренадерской роты, чего не следует».

— Что скажете, графиня? Это же позор!

— Ужасно! Могу себе представить, как был возмущен император, особенно после такого блеска, какой вы, мой князь, представили ему здесь!

— Да, могу сказать: лицом не ударили в грязь! Особенно мой, литовский батальон. Не правда ли?

— Да и финляндский не уступал ему ни в чем, Константин, надо сознаться...

— Ого! Вы тоже научились различать мои батальоны? Превосходно. Правда ваша: финляндцы молодцы... Не маршируют, а плывут... Как стена движется, так взводы идут... И целым фронтом, и рядами маршировка удивительная... Тишина, осанка... Точность в перемене фронта, чудо да и только!.. Истые чада российской лейб-гвардии...

— И наши, польские батальоны, тоже не хуже сознайтесь, Константин. Они достойные ученики своего великодушного учителя...

— Да, уж пришлось повозиться с ними... Но могу сказать: не посрамили! Да я бы тоже, вот как вы говорите, жив не остался, ежели бы мне такой указ на долю вышел, вон, как рижанам! Помилуй Бог!..

— Спаси и помилуй Святой Иисус... Быть того не могло.

— Надеюсь... А теперь снова за работу примемся... Я их вымуштрую, моих молодцов... Я их вгоню в девятый пот... Ха-ха-ха... Будут знать своего «старушка», как негодяйчики зовут меня любя... Молодых угоняю...

— Как, теперь? После такого напряжения, когда все устали. И сам яснейший круль так был доволен... И не дадите передохнуть себе и всем другим!

— Именно теперь! Хвалил их брат Александр, даже очень. И мне пишет новые похвалы. Я не возмечтаю. А от людей станется... Вот я и подтяну всех сызнава, дабы не думали, что уже дошли до совершенства и не опустились оттого, подобно этим рижанам несчастным. Строгости теперь у нас страшные пойдут... Брр!..

И он шутливо зарычал, хмуря щетки своих бровей.

Жанета закрыла лицо руками, как будто испытывая настоящий страх.

— Ах, Иезус Мария... Опять строгости. Но, даст Бог, уже ничего не будет такого, вот как...

Она остановилась, как бы опасаясь обидеть своими словами Константина.

Он догадался, притих и, помолчав, проговорил:

— Будьте спокойны, графиня. Того не повторится, что было весною... Я клятву себе дал. Вижу, не те здесь люди, что у нас... Лучше ли, хуже ли, не стану разбирать... Только не те!.. Как они могли меня не понять! Вот... Я вам скажу то, чего не услышит от меня больше никто и никогда! Вот брат Александр очаровал всех ваших от мала до велика. Раньше не верили ничему, что хорошего шло от России.

— Магнаты толковали, что это подачки, «чечевичная похлебка» за отнятое первородство... Ксендзы твердили: «Timeo Danaos et dona ferentes!»¹ А стоило второй раз появиться здесь нашему «принцу Шарманту», как звала его бабушка, и все переменялось! Кричать о том, как король и император великодушен, как он любит Польшу и весь народ... Какую светлую будущность готовит вам... И никто не подумает, как легко было Александру овладеть сердца-

¹ Боюсь данайцев, даже и дары приносящих (лат.).

ми. Он меня поставил здесь вроде сторожевого пса, инструктора, охранителя русских интересов. Что бы ни случилось неприятного, не говорят: «Новосильцев устроил, Ланской пожелал... Это сделано ради русских интересов, по воле царя Александра...» Нет. Сразу решают: «Негласный диктатор, цесаревич, брат короля-императора это сделал!» Я хорошо знаю, что про меня говорят везде... А сколько приходится мне тратить сил и здоровья, чтобы создать вам же хорошую, муштрованную армию, грозную для ваших врагов... Как много огорчений я переношу и от брата Александра, который, живя вдали, совсем иначе раньше глядел на поляков, на всю страну, чем я хотел ему раскрыть глаза. Да, я... Строгий... неукротимый «старушек»... Этого не ведает никто. Да навряд ли и узнает когда-либо! Я жертвовал своим трудом, временем, самолюбием подчас... И для чего? Потому что люблю ваш народ, полюбил и этот старый прекрасный... этот несчастный город... Такой веселый, такой кипучий и разоренный наполовину! Полюбил я его особенно с тех пор, как полюбил тебя, Жанета... как через тебя и еще немногих из вашей нации узнал, сколько хорошего кроется в душах сынов и дочерей вашего народа!.. И с той поры я охотно продолжаю нести свой крест, свою жертву. Я вижу, что она полезна моей родине. Всякий другой не станет так стоять на стороже русских интересов, как я здесь. Неуменье свое я возмещаю старанием, любовью к делу... Полезен я и вам, вашей отчизне, которую начинаю считать своей второй родиной... Потому что здесь родилась ты, моя птичка, моя вторая душа... Ты не мешай... Я разговорился нынче. Дай высказать... Давно я хотел. Не понимаю, как твой народ, чуткий и умный всегда и во всем, мог не понять этого! Выходит, что их, как детей, больше подкупает тонкая любезность, хорошие манеры и сладкие слова. Стоит приласкать их, дать несколько бомбошек и они растают. А два года жертв ставятся ни во что из-за нескольких резких слов, которые прорвутся, как от рассерженного отца к родным детям! Вот что больно, Жанета!.. Быть непонятым, вот что тяжело! Повторяется старая история... Моя блаженной памяти бабушка, великая Екатерина, как ее прозывали, умела тоже чаровать людей... И от нее ваши поляки были всегда в восторге, хотя она дважды разрывала на куски Польшу и собиралась разорвать в третий раз... да смерть не дала! А при встрече с вашими королями, которых она ссаживала с трона, как умела мягко стлать

старушка! И вашим панам... Да это что... Слушай, что раз я случайно наблюдал еще мальчишкой... Это было несколько дней спустя после «Варшавской бани», помнишь?.. Слышала?!.

— Не надо, не вспоминайте, ваше высочество... Или я начну жалеть, что родилась полькой!..

— Нет, что же! Я понимаю: ты совсем тут ни при чем... Да и сами убийцы были игрушкой в руках ваших панов и иезуитов-ксендзов... Недаром их теперь брат решил выселить из России!..

— Как?! Совсем?! — пораженная нечаянно открывшейся перед ней государственной тайной, спросила девушка.

— Да... Но не о том теперь речь... Значит, прискакал курьер с депешей об этой резне. Передал ее Зубову Платону, тогдашнему фавориту... Тот вызвал осторожно государыню из Эрмитажного покоя, где было большое веселое собрание, и подал сообщение... Я случайно был в той комнате, куда привел он императрицу. Я боялся бабушки тогда — страх! И сам не помню как спрятался за какую-то статую, чтобы не попадаться ей на глаза. А то подумает, что я подслеживаю ее разговоры сердечные с фаворитом, — беда! Стою, смотрю, слушаю, что могу... Он подал ей бумагу. Она прочла, вся побагровела от гнева! «Как! Подобное коварное, бесчеловечное деяние! Я им покажу!.. Я проучу их!.. Дать в сей миг приказ Суворову: пусть ведет войска в Варшаву! Не оставит там камня на камне... Вырежет всю эту... свору до последнего младенца! На поток отдать проклятый город со всеми полячишками! Слышал?.. В сей миг!.. Проводи меня назад, составь там указ. Я подпишу...» Взяла его руку, постояла немного и уже хотела вернуться в зал... Да, на грех, увидала меня... «Ты что здесь? Подглядывать, подслушивать стал, мальчишка! Зачем здесь, говори?!» Я обмер. Однако по совести доложил: сидел здесь от скуки, уйдя от больших... Увидал, мол, ее... И не желая попасть на глаза, не зная за собой вины, укрылся... Она зорко поглядела на меня. Выдержал я этот взгляд, которого и старые солдаты не всегда вынести могли. Поверила, видно, моим словам. Ласковее стала сразу. «Идем, говорит, со мною. Только навсегда забудь, что слышал здесь...» Зубова тут же отпустила. Тот пошел указ писать. А бабушка со мной в гостиную вернулась. И видела бы ты, как весела, любезна была в тот миг со всеми, а с графиней Браницкой, да с другими из поляков, кого пригласила раньше на прием, особенно... Словно и не она стоя-

ла минуту назад с побелевшим, злобным лицом, с горящими глазами, отдавая приказ: смести с лица земли целый город, вырезать десятки тысяч людей... Тут я понял цену любезности, какую порой проявляют властелины к своим подданным, понял, какую личину могут носить они, когда смерть в их сердце и гибель на устах!..

— Так что же значит? Или круль Александр тоже?..

— Сохрани Господь... Совсем я не к тому вел. А только показать хочу, как лучше: быть, подобно мне, взыскательным в деле, свирепым на словах и стараться добро принести целому краю или улыбаться ласково и готовить гибель сотням и тысячам людей ради своих профитов и удовольствий, либо особых успехов в политике?.. Скажи, прошу на милость, что лучше? А?

— Да, разве и вопрос тут может быть, милый мой князь... Мой герой... И разве я...

— Кто говорит про вас, графиня? Вижу, как вы относитесь ко мне. Но то причиной — слабость женского сердца, любовь... Дорога она мне, да все же вы — не весь народ польский... А от него я пока мало вижу признания моих услуг, хотя бы и не велики они были. Да есть же, скажу без ложной скромности... А их ни во что не ценят... И больно порой... Да Бог с ними. Я для совести своей работаю, не ради чего иного. Хвалы всемирной и всемерной не ищу, хотя бы и по заслуге! Жизнь почти прожил с горем пополам... Проживу и остаток... А с тобою, птичка моя, и совсем ладно будет мне... Моя змейка! Недаром я тебя так звал... Вот нынче ты и жало свое мне показала!.. Милая заговорица с кинжалом!..

Ласково, нежно звучали его слова, кротко глядели голубые, сейчас взволнованные глаза. Весь он, большой, сильный, казалось, готов лечь к ногам девушки и целовать край ее платья.

Ликовало в Жанете ее сердце, невольно подымалась надменная головка, но она сломила этот порыв и покорно, кротко прошептала:

— Ах, если бы мой народ знал тебя, как я... Но... я научу их... я заставлю их понимать великую душу, чудное сердце моего, сурового с виду, героя...

Часть вторая

НА ДРЕМЛЮЩЕМ ВУЛКАНЕ

(1818—1821 гг.)

Глава I

РАЗВОД И БРАК

Мир желает обманов;
да будет обманут!

Никогда еще вожаки различных партий в Польше не находились в большем затруднении и напряжении, как накануне первого Сейма при новом «круле», российском императоре Александре.

В самые трудные времена, при Екатерине или при деспоте Наполеоне, не говоря о безликих саксонских королях, не чувствовали в крае так сильно чужой неодолимый гнет, как теперь, в конце 1817, в начале 1818 года.

Наполеон просто отдавал повеления и требовал, чтобы они были выполнены, предоставляя «почтенным, храбрым полякам, своим союзникам» рабски выполнять приказ, но не вмешиваясь в это выполнение. Карающие отряды Екатерины моровой язвой проходили по стране, а затем все оставалось по-прежнему. Надеясь на спасительный страх, императрица только ссраивала между собою сильных магнатов, чтобы ослабить последнюю опору польской гордыни.

Теперь было совсем иначе.

С виду соблюдались всевозможные гарантии свободной политической деятельности. Брат польского короля и российского императора почтительно являлся в торжественные дни к князю Зайончеку, наместнику из польской шляхты, и наравне с другими высшими чинами царства докладывал ему о положении вверенных цесаревичу дел по организации королевской польской армии.

Но все знали, что тот же Зайончек и Государственный Совет ничего не решают без предварительного осведомле-

ния скромного по виду, но самого влиятельного в королевстве «главнокомандующего» всеми силами польской армии. Знали, что каждый шаг, каждое движение партийных вожаков и вообще людей, почему-либо значительных или кажущихся опасными для «москалей», сообщается во дворец Бельведера еще раньше, чем о нем становится известно официальному правительству и безногой «главе его» Зайончеку.

Это страшно угнетало многих. Но положение было таково, что даже нельзя было воспользоваться явными проявлениями насилия и гнева в целях подогреть народные массы, вызвать сильный протест и тем осадить натиск победителей.

В самой России так не следили за малейшими проявлениями политики непонятного, ясного на вид, темного в глубинах души и в замыслах своих короля-императора Александра, как это делали поляки.

И поляки обратили особенное внимание на факт, который в самой России прошел почти незамеченным не только для стомиллионного ее народа, но и для большинства политических и общественных русских деятелей, если таковые в настоящем смысле слова уже существовали тогда.

Выборгская губерния, давно завоеванная и вошедшая в состав империи, была присоединена к новому «домэну» России, к Великому герцогству Финляндскому на тех же правах, на каких подчинилось России это герцогство с его развитым, трудолюбивым и вольнолюбивым народом.

Конечно, для обширной России что мог значить такой клочок, да еще не отданный в чужие руки, а только отчисленный в другое ведомство, к новой области, неразрывно, навеки связанной с остальной империей, под скипетром и властью того же самодержца всероссийского, который носил дополнительно и скромный титул «великого герцога финляндского»...

Но поляки взглянули иначе. Это присоединение ожидало в них давнишние мечты о слиянии старинных западных губерний России с новым Царством Польским. Волынь, Литва, Подолия, кто знает, может быть, даже Киев — вот какой кусок в мечтах польских патриотов отпадал от Великодержавии, плотно приклеивался к землям великопольским, мазовецким и иным над Вислой и дальше до Галиции...

Окрыленные такими надеждами, самые непримиримые противники слияния Польши с Россией под властью одного

императора-короля стали действовать осторожнее, проявили больше умеренности и в обычной политике, и во время выборов в первый польский сейм.

— Пришлось самим себе на время руки связать! — как выразил это граф Мокроновский, один из вожakov оппозиции.

— А как совсем окрепнут эти руки — сами все повязки перервут, тогда им полная воля будет! — пояснил осторожный граф Адам Чарторыйский, который даже и в своем близком кружке был очень осторожен и не бросал на ветер ни единого слова.

Молодежь, не такая прозорливая и осмотрительная, просто из себя выходила, видя явное «предательство», по их мнению, со стороны людей, которых всегда привыкла видеть во главе народа во всех его порывах к свободе и возрождению без чужих опеки.

Но окончательно все были поражены, когда «старушек» — ругатель, гроза Варшавы и всей Польши, сам цесаревич Константин был выставлен кандидатом в депутаты от одного из Варшавских предместий, Праги.

— Как?! — единодушным воплем возмущения неслось со всех сторон. — Он, внук Екатерины, по приказанию которой эта самая Прага была взята на поток, обезлюдела и выжжена дотла, — он явится теперь депутатом от несчастной местности?! Да там возопиют камни на мостовой, облитой польской кровью, хлынувшей тысячью ран, нанесенных штыками суворовских батальонов, пиками свирепых казаков!.. Даже при недоношенной конституции, данной вечно изменчивым внуком и учеником своей бабушки, невозможно допустить такого случая... Это полное самооплевание, конец старой польской доблести, конец мужественной стойкости поляков, которые гибли, но не бросались добровольно к ногам победителей. Это — истинный конец Польши!..

Так, волнуясь, говорили юные ораторы; эти же мысли осторожно, намеками высказывались на страницах более независимых польских газет, издаваемых в Варшаве. А в Галиции и Познани и совсем открыто повторялись подобные протесты.

Но убеленные опытом и годами главные, самые влиятельные вожаки, вроде Чарторыйских, Потоцких, Любецких, Эльских, настойчиво возражали:

— Именно так и надо. Все прошлое забыто. Новая жизнь начата и в будущем даст богатые плоды полной

вольности и счастья для всей Польши... Так нужно показать, что и Польша умеет забывать прошлые удары, что она искренне мирится со своими недавними врагами, которые теперь желают явиться в роли друзей и благодетелей. И символом такого забвения, всепрощения, полного мира явится избрание внука Екатерины в депутаты от предместья Праги...

И цесаревич был избран, принял эту «честь», официально выразил искреннюю благодарность и признательность... А в тот же день, смеясь, говорил Куруте:

— Видишь, до какой чести мы дожили с тобой! Ты теперь должен служить и угождать мне больше прежнего... Потому что я, волей брата Александра и доверием польского народа, не только российский цесаревич, главнокомандующий всей польской армией, генерал-инспектор военно-учебных заведений империи и прочее и прочее, но также и прежде всего есмь представитель швецов, жнецов и в дуду игрецов, портных и рыбных торговков, жидов и цыган, обитающих в предместье столичного города Варшавы, в крепости Праге... Понял?

Залпом выпалив свой спич, Константин презрительно расхохотался.

Для довершения идиллической картины председателем сейма избран был граф Красинский, генерал-адъютант и правая рука цесаревича Константина.

Русским нечего было больше желать. Могли быть спокойны и поляки. Такой председатель до открытия сейма уже служил залогом, что сессия пройдет и закончится благополучно, как благодаря своему законопослушному, трудоспособному, не революционному составу, так и усилиям столь удачно выбранного руководителя прений.

Конечно, все события предвыборных дней, списки депутатов с соответствующими отметками, словом, полная картина избирательной кампании в Варшаве и в целом царстве с ее конечными результатами своевременно были сообщены императору, который особенно интересовался теперь «своею Польшей», как он ее как-то назвал.

Когда это выражение дошло до Ростопчина, злой бонмотист в опале, поэтому кусающий злее обыкновенного, заметил:

— Наш император совершил чудо большее, чем сам Галилеянин. Тот вызвал из могилы трехдневного Лазаря. Этот поднял из гнили мертвеца, тлевшего уже четверть века, если не больше... Но как же он провонял тлением,

этот новый Лазарь? И не придется ли воскресителю, заткнув нос, бежать от дела рук своих? Константину, конечно, не опасны никакие запахи: у него нос сквозной, в одну ноздрю входит, в другую выходит, не оставляя в голове никаких следов... А наш Александр все-таки одарен обычными чувствами нормальных людей. Поглядим: что будет из этого чуда?

Пока ожидания Ростопчина не обещали исполниться, по крайней мере в ближайшем времени. Наоборот: по внешности дело шло гладко и не предвиделось никаких туч со стороны самой Польши или от Севера из России.

Опекунша добродушно гладила по шерсти опекаемую, а последняя доверчиво ластилась к своей сильной, большой покровительнице и ласково мурлыкала, глубоко запрятав коготочки под бархатом мягких гибких лапок...

Очень много ждали от тронной речи Александра не только в Польше, но и в России.

Конечно, эти ожидания ограничивались кругом столичного дворянства, светскими и придворными чинами, высшими представителями служебного и военного сословия и представителями богатого, родовитого купечества.

И в Польше, как и в России, не только крестьянство, мещанство и ремесленники, но и мелкое торговое сословие, низшие военные и гражданские чины, учащие и учащиеся почти не принимались в расчет при ведении большой политики. Это «стадо» учитывалось лишь в редкие минуты волнений, когда демагоги помогали политическим шарлатанам или опрометчивым идеалистам изображать на государственной сцене грозу разных размеров, от которой мутились политические воды, и караси лучше попадали опытным рыбакам на крючки обещаний и громких фраз, в сети угроз от натиска взволнованных рядов «народа»...

Но как бы там ни было, еще в начале февраля 1818 года, за месяц до предстоящего открытия варшавского сейма, по Москве пронеслись слухи, что император Александр поручил своему министру иностранных дел графу Капо д'Истрия составить для Варшавы тронную речь, в которой многое более важно для России, чем для Польши...

«Либералисты» русские, которых уже и тогда было немало даже в высших классах русского общества, догадались, в чем дело.

— После Польши и Финляндии, конечно, пора дать конституцию и собственной империи, давно заслужившей такой милости с высоты трона, особенно после испытаний

и подвигов 1812-го года и следующих, тяжелых для империи, лет...

Так говорили под сурдинку в Москве, где находился Александр, в Питере, куда сейчас же передавались все важные вести, и в самой Варшаве, если не в покоях Константина, то в кружке Новосильцева, уже много лет носившего в душе заветную мечту: поставить Россию по образу ее правления наряду с передовыми государствами остальной Европы.

— Стыд и срам! — повторял Новосильцев не раз. — До сих пор, в начале XIX века у трех, соседних с Европою народов, одинакий, автократический образ правления: у персов, у турков и... у русских!.. Сие давно пора переменить.

И вдруг понеслись упорные слухи, что перемена близка. И свет обновления «воссияет не с востока», не из Москвы, а с запада, из Варшавы, где будет сказано великое слово...

Конечно, сторонники древнего самовластия, прикрываясь которым всегда все дела царства вершила кучка наиболее богатых и влиятельных лиц из придворных и дворянских кругов, они постарались повлиять на Капо д'Истрия и тот с необычным для дипломата упорством, с настоящим гражданским мужеством стал уговаривать государя, склонял изменить некоторые важные положения варшавской речи, продиктованные самим Александром.

— Об этом у нас еще будет время подумать! — выслушав соображения Капо д'Истрия, сказал Александр. — Напишите пока по моим наброскам проект речи, как вы ее понимаете... А затем мы увидим!

Когда же министр представил речь, составленную по его соображениям и пониманию, Александр проглядел внимательно, не сделал ни одного замечания и, оставляя работу Капо д'Истрии у себя, сказал:

— Благодарю вас. Время терпит. Мы к этому возвратимся в Варшаве.

Дипломат понял, что его редакция совсем не понравилась.

Об этом узнали все заинтересованные люди. «Либералисты» сильнее возрадовались. Люди «старых времен» решили поставить все на карту, но не допустить дело до неприятного им конца...

Александр видел все это, но по своему обыкновению делал вид, что ничего не замечает, ни о чем пока не думает. Этим он выигрывал время, которое, как он знал по

опыту, выручало его вечно лучше всяких союзников, помощников и друзей...

Так подошел конец февраля.

20 февраля по русскому исчислению, а по-варшавски — 4 марта состоялось в Москве торжественное освящение памятника «Гражданину Минину и князю Пожарскому» на Лобной площади.

Даже и надпись к этому памятнику дала пищу догадкам и толкам.

— Прежде упомянут *гражданин* Минин, а уже после князь Пожарский!.. По-западному, на «гражданскую» статью думает государь повернуть Россию!.. Старое дворянство, князей, бывших бояр по шапке... Аракчеевы в ход пошли, разночинцы пролазы... Вот, и на памятнике так отмечено... Мясник впереди князя!..

Так брюзжали «зубры» минувшего века.

То же почти самое, только с иной точки зрения выражали сторонники новых, законосвободных форм жизни общественной и государственной.

А государь улыбался всем любезно, говорил милостивые, ласковые речи и ничего важного никому не открывал...

Так и ускал он 5 марта нового стиля в Варшаву, куда прибыл на рассвете, в 5 часу утра, 13 марта 1818 года.

В общем повторилось почти то же, что и осенью 1816 года. Почти вся та же свита сопровождала государя. Только общество увеличилось, когда прибыл великий князь Михаил Павлович из заграничного путешествия с сопровождающим его, в качестве ментора, генерал-лейтенантом Иваном Федоровичем Паскевичем и другими лицами небольшой свиты юного князя. Здесь же очутились два русских графа: Милорадович и Остерман, которых Александр пригласил пробыть в Варшаве до конца сейма, как бы желая окружить себя большим числом чиновных лиц из русской знати.

С первого же дня, не передохнув хорошо от длинной, утомительной дороги, Александр с обоими братьями появился на Саксонской площади перед войсками, и теперь удивившими государя выправкой и совершенством всех движений. Так и пошло изо дня в день, продолжаясь даже и потом, во время заседаний сейма, который назначено было открыть 27 марта нового стиля.

Являясь с обычными докладами по должности, граф Капо д'Истрия не поднимал больш вопроса о тронной речи, видя что сам Александр молчит об этом.

Утром 25 марта, закончив обсуждение дел, представленных графом, Александр неожиданно заговорил:

— Вот здесь моя речь!

Развернув приготовленную на столе бумагу, он медленно прочел текст, тщательно свернул лист и подал его изумленному графу:

— Возьмите, граф. Даю вам полную власть расположить получше слова, фразы, согласно с требованиями грамматики расставить точки и запятые, но не допущу никаких других изменений!..

Граф был поражен. Эта речь была полнейшим повторением того, что наметил Александр еще в Москве, против чего так восставал и тогда сам Капо д'Истрия.

Но делать было нечего. С поклоном принял огорченный дипломат черновик и пошел его обработать, как ему было поручено.

На другое утро министр подал Александру черновик и ту же речь, исправленную в отношении стиля и грамматики, но без всяких изменений по существу.

— Благодарю вас, граф. Очень хорошо! — быстро пробежав глазами лист, сказал Александр. — Но вы еще что-то хотите сказать? В чем дело?

— Простите, государь! Я позволил себе... наряду с этим полным списком изготовить и второй... Он несколько не разнится от первого, — поспешно прибавил дипломат, видя, как выражение недоумения промелькнуло на лице государя, — только я позволил себе опустить два места, кои, став известные в пределах вашей империи, могут породить много разных толков и даже вызвать нежелательное, преждевременное волнение, несбыточные для настоящего времени надежды и ожидания, бессмысленные мечтания и порывы...

— Хорошо, давайте, я просмотрю...

Внимательно проглядел государь и вторую, сокращенную речь, опустил лист и после небольшого молчания заговорил:

— А вы, однако, крепко вгрызлись в вашу идею. Это нечто большее, чем простая настойчивость... Это...

Словно «упорство» не было досказано. Сейчас же, принимая свой обычный любезно-непроницаемый вид, он закончил очень мягко:

— Жаль труда, который вы приняли на себя... Благодарю вас, граф, но... я предпочитаю мою редакцию вашей!

Слишком заинтересованный в вопросе, дипломат и после такого решительного заявления не сложил оружия.

— Дело слишком большой важности, государь... и я умоляю вас в последний раз выслушать мои соображения и доводы, и затем я уж буду считать, что до конца выполнил свой долг, как я его понимаю.

— Пожалуйста, я вас охотно готов слушать... Интересно, что еще нового можно сказать по этому вопросу?

— Нового ничего, все старое, но тем более важное и значительное, ваше величество... Именно теперь, когда после военных волнений началась так успешно созидательная работа в империи по указанию вашего величества... Народ теперь страдает повсюду. Напряжение душ и умов, вызванное вторжением неприятеля в сердце России, ослабело. А последствия всех бурь — нищета, разорение, тысячи, сотни тысяч погибших юных жизней у всех в памяти, у всех на глазах!.. Поводов к неудовольствию слишком много. Пока эти неудовольствия рассеяны между сословиями... Одно ропщет на другое... И все надеются на своего Миротворца-государя, на Благотворителя Европы, что он внесет успокоение и мир в свое царство... А вдруг вместо того...

— Что же вместо того? Разве я намерен внести что-либо разрушающее, вредное для моего народа?

— Нет, государь! В самой сути — наоборот, это прекрасно и великодушно! Это великий почин, достойный такого монарха, как вы... Но своевременно ли такое начинание именно теперь? Как взглянет на него высший класс, ваша главная опора, опора вашей династии — дворянство? Как взглянет с другой стороны на некоторые ваши планы и простой народ? Новые, свободные установления, о которых говорится в речи, разъединят государя и его дворян, поставят между царем и народом новую стену — две палаты... Выборных, но далеко не лучших людей, как то показывали палаты всего света... Это первое... Второе, — как взглянет народ на обещание придать к Польше и ранее завоеванные Россией западные губернии?.. Они уступлены России не по решению конгресса, завоеваны кровью народа... Можно ли, не спросив народ, отдавать обратно побежденным то, что издавна вошло в состав земель русской империи?.. Вот вкратце мои соображения, государь. Вы сами, конечно, лучше всех оцените их значение и потому я умолкаю...

— Да если бы все было точно так, как мы иногда думаем... А я за последние годы имел случай убедиться, что воля Божия, внушенная вождю народа, единичная во-

ля благонастроенного повелителя может сотворить лучшие дела, вызвать больше благих последствий, чем темные стремления народов или логические выводы холодных мудрецов. Благодарю вас, во всяком случае за откровенное мнение. Все это прекрасно и хорошо... Но... я не изменю принятого решения. Впрочем... — после минутного раздумья прибавил он, — я посмотрю еще до завтра... Нельзя ли из этих двух проектов составить третий? Я пришлю за вами!

Капо д'Истрия встал и отклонялся со словами:

— Слушаю, государь. Еще раз прошу извинения за свою докучливость...

— О, нет... Вам не в чем извиняться...

Настало утро 27 марта.

Еще чуть ли не до света стали собираться густые толпы народа, чтобы посмотреть на депутатов, которые станут съезжаться на первое заседание, на членов сената, Государственного Совета, на самого круля Александра и на Михаила Павловича, красивого, но несколько нсуклюжего юношу, который особенно любил брата Константина и подражал ему во всем, кончая манерой говорить и вздергиваньем плеч, пока еще узких, почти детских...

Капо д'Истрия еще накануне вечером был призван, как обещал Александр.

— Вот возьмите: это мой ультиматум! — сказал он, подавая исправленный и кое-где перечеркнутый лист. — Прикажете переписать эту бумагу набело... но покрупнее... Это — речь, которую я прочту завтра!..

Капо д'Истрия взял, ушел и быстро пробежал лист. Оказалось, что из редакции министра Александр взял некоторые выражения и слова, которыми заменил свои, но в общем его речь осталась без всяких существенных изменений или сокращений.

— Посмотрим, что будет завтра в момент, когда эта бомба разорвется перед целым сеймом, целой Варшавой... Перед Европой и всем миром, черт возьми! — пробормотал раздосадованный, одураченный министр.

Миг этот настал.

Кончилась торжественная месса в кафедральном соборе с участием всех архиепископов и нунциев, прибывших ради такого торжества в древнюю столицу Польши.

Сквозь густые толпы народа, над которым перекатывались восторженные клики в честь депутатов и «круля Александра», прошли сановники, чины сената, Государ-

ственного совета с наместником Зайончеком, несомым в кресле впереди... Блестящие мундиры свиты, генералитет польских и русских литовских войск, городской магистрат, судьи, представители цехов в своих нарядах, напоминающих средние века... Депутаты, дамы, иностранные агенты, войска... Словом, зрелище было великолепное, величественное.

Здание дворца, куда направились все из храма, было окружено многотысячной толпой. Но толпа сама расступалась, давая дорогу процессии. Порядок царил полный. Не было видно пьяных, которых всегда можно в большом числе видеть среди русской ликующей толпы.

Говорливой рекой влилась вся процессия в обширный тронный зал, где назначено было самое открытие.

Депутаты заняли места по обеим сторонам залы: верхняя палата с одной стороны, нижняя — с другой.

Особенно красочна была группа депутатов от народа. Тут горели огнем суконные, кармазинового цвета, чамарки дедовского покроя, были вышитые шелками казакины, на иных, избранных от татарских семей, осевших в Польше, золотом сверкали ятаганы, кинжалы, бешметы, зашитые галуном... Мазуры в своих щегольских жупанах, подолыне в свитках... Словом, этот угол залы так и просился на полотно. Но интересны были и паны, шляхта вельможная в своих европейских костюмах, с длинными усами или бритые, важные, гордые минутой, которую им приходилось переживать... Господа сенаторы, казалось, тоже сошли с картин, развешанных в старинных польских замках. Мундиры наполеоновской поры на отставных войсках, явившихся теперь посмотреть на возрождение Польского царства, о чем они мечтали так долго, ради чего проливали свою и чужую кровь... Тут же, рядом — старинные кафтаны саксонского покроя... Модные туалеты на дамах, перья, бриллианты... Рой красавиц, наполнивших хоры и глядевших оттуда гирляндой оживленных прелестных головок...

На общем цветистом, красочном фоне удачно выделялись фиолетовые мантии князей церкви, белые жабо и нарукавники католического духовенства, попавшего в большом числе в депутаты...

Словом, все было красиво и торжественно.

Когда все заняли места, особая депутация явилась и доложила Александру, что сейм ожидает появления своего суверена.

В сопровождении довольно многочисленной свиты явился Александр к дверям зала.

Здесь его встретил президент и секретарь сената и, предшествуя ему, с ним вместе появились в зале среди полного торжественного молчания.

Великий князь Михаил уже занимал место среди других сенаторов. Константин тоже стоял давно в ряду депутатов от города Варшавы с предместьями.

Александр быстро и величественно взошел на верхние ступени и остановился у самого трона, отдав на все три стороны обычный поклон.

По правую сторону от него заняли места министры и члены Государственного совета с сидящим Зайончеком впереди.

Свита и весь двор разместились слева и позади трона.

Громко по-французски начал читать Александр свою знаменитую тронную речь 1818 года.

Он читал почти на память, изредка взглядывая в бумагу: его осанка, уверенный голос еще больше, чем слова речи наполняли всех, стоящих здесь, каким-то особенным чувством, жутким и приятным в одно и то же время. Как будто в самом деле, Божественная сила лилась в блеске этих холодных ясных глаз, в твердых звуках этого приятного, звучного голоса.

Дамы особенно глядели, как зачарованные, на северного красавца-царя.

Вот что слышали все в этот исторический день:

— Представители Царства Польского¹. Надежды ваши и мои желания совершаются. Народ, который вы призваны представлять, наслаждается, наконец, самостоятельным бытием, обеспеченным уже созревшими и освященными временем, установлениями. Только забвение прошлого — могло вызвать ваше возрождение. Оно непреложно было поставлено в мыслях моих с того времени, когда я получил надежду на приведение в исполнение этого замысла.

Ревнуя к славе моего отечества, я хотел, чтобы оно приобрело еще новую. И действительно, Россия после бедственной войны, по правилам христианской нравственно-

¹ Эта речь приведена здесь в русском переводе князя Петра Андреевича Вяземского, которому за эту работу Александр выразил особенную благодарность. Кое-где, применяясь к современной полноте языка, лучше способного теперь передавать оттенки французского подлинника, перевод П. Вяземского немного исправлен. — Л.Ж

сти, воздав добром за зло, — простерла к вам братские объятия и из всех преимуществ, даруемых ей победою, предпочла единственно честь — восстановить храбрый и достойный народ. Содействуя сему подвигу, я повиновался внутреннему убеждению, которому сильно помогали и события. Я исполнил долг, предначертанный мне сим внушением только, долг посею драгоценнейший моему сердцу!

Устройство, существовавшее в вашем крае, дозволило мне ввести немедленно то, что я вам даровал, применяя на деле основы законсвободных учреждений, бывших постоянно предметом моих размышлений и спасительное действие таковых, я надеюсь, с Божией помощью, — *распространить на все страны*, вверенные Провидением попечению моему.

Таким образом, вы дали мне возможность явить моему отечеству то, что я уже с давних лет ему приуготовляю и чем оно воспользуется, когда основы столь важного дела достигнут надлежащей зрелости.

Поляки! Освободясь от губительного предубеждения, причинявшего вам такие бедствия, вы видите, что теперь от вас самих зависит дать прочное основание вашему возрождению. *Существование ваше неразрывно соединено с жребием России.* К укреплению сего спасительного и покровительствующего вас союза должны стремиться все усилия ваши... Восстановление ваше определено торжественными договорами. Оно освящено конституционной хартией основных законов. Ненарушимость этих внешних обязательств и коренного закона отныне отводит Польше достойное место между народами Европы: драгоценное благо, которого она долгое время напрасно добивалась ценою жесточайших испытаний...

Пред вами открывается новое поприще для трудов. Министр внутренних дел изложит вам нынешнее положение управления царства. Вы увидите проекты законов, подлежащих вашему обсуждению. Они имеют целью постепенное усовершенствование. Учреждение финансов государства еще требует сведений, которые время и точное измерение ваших средств могут лишь доставить правительству. Конституционное управление постепенно применяется ко всем частям государственного строя. Судебная часть еще будет образована. Проекты гражданского и уголовного законодательства будут вам предложены. Я утешаюсь твердой уверенностью, что вы, рассмотрев их со всевозможным

вниманием, предуспеее постановить законы, которые будут служить к ограждению драгоценнейших благ: безопасности личной вашей, вашей собственности и свободы мнений.

Не имея возможности находиться всегда среди вас, я оставил вам брата, искреннего моего друга, неразлучного сотрудника от самой юности. Я поручил ему ваше войско. Зная мои намерения и разделяя мои о вас попечения, он полюбил плоды собственных трудов своих. Его стараниями это войско, уже столь богатое славными воспоминаниями и воинскими доблестями, — с тех пор, как он им предводительствует, обогатилось еще тем навыком к порядку и устройству, который приобретается только в мирное время и приуготовляет воина к его истинному предназначению.

Один из достойнейших полководцев ваших представляет лицо мое среди вас.

При этих словах все взглянули в сторону наместника, который словно оживился и помолодел под этими взорами.

Александр продолжал:

— Поседевший под знаменами вашими, разделяя постоянно счастливую и злополучную участь вашу, — он не престава! доказывать преданность свою к отчизне. Опыт в полной мере оправдал мой выбор.

Однако, не взирая на мои усилия, возможно, что следы бедствий, вас угнетавших, не все еще заглажены. Таков закон природы. Благо творится медленно. Полное же совершенство недоступно слабости человеческой!

Представители Царства Польского! Постарайтесь достигнуть высоты вашего предназначения! Вы призваны дать великий пример Европе, устремляющей на вас свои взоры.

Докажите вашим современникам, что законосвободные установления, священные начала которых смешивают с разрушительными учениями, угрожающими в наше время бедственным падением общественному устройству, — что эти установления не опасная, бессмысленная мечта, но что, напротив, эти установления, если приводятся в исполнение от прямого сердца и направляются чистыми измерениями, к достижению полезной и спасительной для человечества цели, то они совершенно согласуются с порядком и своим содействием утверждают общее истинное благосостояние народов.

Вам предстоит теперь на опыте явить сию великую и спасительную истину. Да будет взаимное согласие душою

вашего собрания, а достоинство, хладнокровие и умеренность да ознаменуют ваши прения.

Руководясь только любовью к отчизне, очищайте мнения ваши от всех предубеждений, освобождайте их от зависимости частных или исключительных выгод и, выражая их с простотою, отвергайте обманчивую прелесть, так часто заражающую дар слова.

Наконец, да не покинет вас никогда чувство братской любви, нам всем предписанной Божественным Законодателем!

Первейшие чиновники государства, сенаторы, нунции, священные послы! Я изъяснил вам свою мысль, *я показал вам ваши обязанности!*

Последствия ваших трудов в сем первом собрании покажут мне: чего отчизна должна впредь ожидать от вашей преданности к ней и привязанности вашей ко мне? Покажут мне: *могу ли я, не изменяя своим намерениям, расширить те права, которые мною вам уже даны?*

Вознесем благодарение к Тому, Который Единый просвещает царей, связует народы братскими узами и ниспосылает на них узы любви и мира!

Призовем Его: да благословит Он и да усовершенствует начинание наше!

После нового поклона он ступил шаг назад.

Государственный секретарь прочел внятно перевод французской речи по-польски. И простые представители народа, которые раньше только прислушивались к интонации голоса царя, теперь были растроганы до слез словами, попадавшими им прямо в цель, западавшими в простые сердца и в доверчивые души...

Легкий говор одобрения часто во время чтения перекачивался по рядам мазуров и других людей земли, когда им на родном языке читали речь чужого императора, своего короля...

Оглушительное: «Виват! Нех жие!» — много раз прозвучало после этого чтения.

В начале чтения легкий румянец проступил было на щеках Александра. Но теперь он сошел, и государь стоял важный, бледный, величественный, как только он умел быть в иные минуты, очевидно, унаследовав от бабки эту тайну: перерождаться во властелина из обаятельного светского человека без особой натяжки и признака фальши, как то бывает у большинства лиц, несущих на себе трудное ремесло государей, правителей.

Затем выступил граф Мостовский, министр внутренних дел польской короны.

Его длинная, витиеватая речь грешила одним главным недостатком: она была скучна и холодна, несмотря на усиленный пафос, а может быть, благодаря именно ему... Граф все припомнил: и разорение отчизны, еще памятное всем, и долгие войны... Указал и перечислил все благодеяния, какие дарованы Александром с момента его вступления на престол Польши, указал на быстрое возрождение страны, на рост промышленности и торговли.

Свое восхваление императору-королю Мостовский закончил так:

— Ныне возвращается нам *истинная* свобода, цену которой мы узнали, благодаря тяжким бедствиям, испытанным нами!

И эта речь была покрыта виватом в честь Александра.

Прозвучало еще много речей, как и полагается при открытии всяких учреждений, а тем более высших законодательных.

Торжество длилось несколько часов.

Русские, особенно из свиты самого Александра и Михаила Павловича, наравне с последним, ничего не поняли из моря польских слов, которое разлилось после французских тирад Александра. Под конец явная скука обозначилась у них на лицах.

Но вот все речи кончились. Тем же порядком, при восторженных кликах и приветствиях, которые неслись даже с хор, Александр в сопровождении братьев и ближайшей свиты удалился из зала. Разъехались и дамы.

Но большинство тех, кто был внизу, особенно депутаты, разлились на группы, на кучки и долго еще не расходились, обсуждая все виденное и слышанное за нынешний день.

Человек пять русских военных тоже замешкались на несколько минут перед уходом из-под крыши польского Сената, где им, детям далекой России, суждено было услышать так много важного для своей родины.

— Слыхал, Иван Федорович? — обратился к генерал-лейтенанту Паскевичу граф Милорадович, похлопывая, по привычке пальцами по золотой табакерке, украшенной портретом Екатерины II. — Многозначительная речь... И не для одних поляков, и для нас, для чад российской империи, многое в ней изъяснено...

— Да, немало! Но уж особенно поляки расхвалены без конца. По доброй чести сказать: оно как бы и обидно для

нашего русского сердца и самолюбия... Ужли же все способности и качества в одних поляках кроются? А мы, дети родной страны, только на тяжкие службы и пригодны, да и то с грехом пополам? Глядите, как полячишки ликуют! Словно Светлое Христово Воскресенье у них нынче, да и только! И так зазнавались они над нами, а ныне и хуже станут, государи мои!

— Гляди, как возмечтают о себе эти фанфароны! И ранее старались оттеснить и от государя, и во всех делах нас, где можно. А теперь...

— Да уж, зазнались! Гордый, гордый, надменный весь народец от природы, а его еще шпорят похвалами, ну, вот... Винить их даже невозможно слишком. Мы и все чести удостоились слышать, что поляки впоследствии и нам, победителям своим, россиянам, должны служить великим примером... Конечно, и политика тут играет роль. Чтобы понравиться полякам, нас, своих, близких держат как бы в черном теле... Само собой понятно, те в свой черед умненько дело поведут, на сейме по старинной привычке не станут очень лаяться и безобразничать. Будет чем, значит, и перед Европой нам козырнуть...

— Кому это «нам»? Мы русские — варвары... Еще у нас и «основ для разумной, законосвободной жизни не положено». Слыхали?

— Вот, вот! — подхватил Остерман, который стоял тут же. — Ему и будет слава, кто чужие народы покорил и своих просветить собирается, как новый Владимир или Петр Великий... Только гражданским крещением... Один веру дал, второй просвещение и нравы... А сей государственное устройство наиболее совершенное и европейское к нам внесет. Малая ли хвала в веках ждет за то...

— Хм? — пожевав тонкими губами, ухмыльнулся Мило-радович. — Без сомнения, весьма любопытно и немаловажно было слышать и нам, и всем подобные слова о свободе и прочее из уст самодержца абсолютного... Но надобно еще видеть, приведутся ли так легко предположения сии в действие?... Петр никому не объявлял торжественно, что русские дикари непросвещенные... что он намерен их просветить. А просто начал дело и образовал их без дальнейших о сем предварений. Ни у кого выпытывать мнений, искать поддержки он не желал и надобности в том не имел. Силу за собой и в себе чувял. Той силой, как духом святым, просветил и окрестил на-ново Россию... А кто иначе делает, видно, иначе себя чувствует и почитает. Бывает охота горькая... да...

— Участь смертная? — закончил Паскевич. — Так к чему так явно нетвердые вести разглашать? Они смуту внести могут и в самой России...

— Смута там давно растет... Особенно волнуются умы молодые... многие спят и видят эту самую «конституцию»... Как же, новое широкое поприще для столь большого числа новых людей откроется... Старикам тогда уходить надо будет, по углам прятаться. Только и остается... Ну, да поглядим. Все зависит от воли Господней. Бывает — мы так, а Бог по-своему...

Милорадович даже незаметно осенил себя крестом, словно отгоняя что злое.

— Да, пока что, а каша завариться может немалая... Вон, поглядите: здешних генералов, подвижников Бонапарта свыше меры превознесли... И оклады им выше наших, и все такое... Войско формирует для поляков брат государя... И какое войско! Не похвалить нельзя. У себя отрываю куски, а сюда свозят и припасы военные, и пушки, и ружья без конца... Господи, ужли же понять трудно, как опасна такая политика!.. Что из этого будет, государи мои?! Скажите! — не унимался Паскевич.

— А вот что будет, — спокойно заметил Остерман, оскаливая зубы не то в улыбке, не то в презрительной гримасе. — Лет через десяток со своей дивизией, братец, будешь ты их штурмом брать, — вот что будет!..

Будущий князь Варшавский широко раскрыл глаза, как будто уже видел свои подвиги, за которые, действительно, тринадцать лет спустя получил титул князя, но ничего не сказал...

— Хорошо. Вот, рассудили вы, граф, с поляками... Но что нам, дома, может от сей прекрасной речи грозить, о том не скажете ли, благо уж такой стих прозорливости на ваше сиятельство снизошел? — задал теперь вопрос Милорадович.

— Поди, и сами, ваше сиятельство, ответ себе дать могли бы. О молодежи нашей мы уже суждение имели... Массонские ложи, мартинистские и иные учения, особливо пример французской распушенности довольно корней пустил у нас... Начнут толковать, писать понемногу... А о чем? О свободе крестьян? Ибо в ней основа и грядущей конституции, не ясно ли? Иначе понимать нельзя. А ежели мы, владельцы, дворяне, так понимаем, может ли народ иначе понять? Здесь, в Польше, кто не знает — класс дворянства издавна истребил в чувствах и мыслях простого

народа истинную свободу... Есть у него «горелка» и все ладно остальное... У нас пока не так... Смышлен наш мужичок. Свою выгоду хорошо понимает. А до чужой ему дела нет. Пока дворянство да помещики могут с народом ладить, пока власть им помогает, дотоле и самая эта власть крепка. А начнется разлад... Сами знаете, государи мои, как велика прилипчивость и неукротимость народных заблуждений, волнения народного... Даст много воли народу царь, так и самому ему трудно придется без нашей, без дворянской подмоги. Одними солдатами царством не управить... Да и солдат не так легко ставить начнут, коли дворянство найдет нужным отбить эту охоту... Но смуты не избежать, что говорить...

— И большой смуты, граф, ваша правда! — подтвердил Милорадович. — Немало есть и среди дворян теперь предателей, которые против общего дела идти готовы. А потом разночинцы, проходимцы всякие стали в государстве силу забирать... Аракчеевы разные да им подобные... Ну, да, авось, при нас еще ничего такого не последует... А после нас загремит гроза... так Бог с ней. Не услышим!..

— И то утешение, ваше сиятельство...

Учтиво раскланялись, разошлись собеседники...

Константин в своем близком кругу тоже подсмеивался над ролью «статиста», которую ему пришлось играть во всем торжественном событии открытия первого сейма.

Но, с другой стороны, он был очень доволен, что имел случай показаться перед любимой девушкой среди ее собратьев, как лицо, удостоенное доверием ее родного народа, самих варшавян из предместья Праги...

На большом балу, где Жанета привлекала взоры и своей миловидностью и в силу явного, рыцарского обожания, знаки которого рассыпал перед графиней Константин, они оба сидели после танцев в уютной гостиной, куда в деликатности публика старалась не заходить, и болтали оживленно, как будто по целым вечерам не просиживал Константин у Бронницов и не было сказано так много в эти счастливые часы.

— Как понравилась вам моя новая роль? — спросил прежде всего Константин девушку полусерьезно, полушутя. — Гожусь ли для штатских дел, как для военных?

— О, как я была очарована тобою, мой любимый князь! Только теперь я вижу — как любишь ты меня, как

любишь мой бедный народ, мою истерзанную несчастную отчизну! Раньше я обожала тебя, теперь стану боготворить... Буду молиться за тебя, как никогда еще не молилась за собственную душу!..

Константин взволновался и смутился, так много неподдельного чувства звучало в голосе девушки, таким огнем горели ее выразительные глаза.

Чтобы переменить разговор, он, словно теперь только, вспомнил и сказал:

— Я не говорил вам еще, графиня: завтра в театре государь выразил желание видеть вас... Приготовьтесь, очаруйте его еще больше, чем он теперь очарован моей птичкой...

— Если бы я смела... если бы смогла выразить, как я... люблю одного человека... Если бы найти такие слова... Мне кажется, это скорее всего нашло бы путь к сердцу брата, такого нежного, как наш король, ваш брат, Константин.

— Попробуйте, найдите... скажите...

— Попробую... Но теперь пойдемте в зал. И то уж обращают, я думаю, внимание на наше уединение...

— А вы боитесь?..

— За вас, мой дорогой! Девушка, на которую обращено внимание моего принца, не должна дать возможности, чтобы даже тень подозрения коснулась ее.

— Да, этого нет и быть не может... Я знаю, что в Варшаве говорится о каждой женщине или девушке, которая выдается в нашем кругу... И, правда, обо всех ходят толки, сплетни... Только не о вас, Жанета. Вы, как чистая звездочка на ясном далеком небе...

— Увы, и на звездах, как и на солнце, есть пятна, дорогой Константин...

— На вас? Нет!..

— Есть! Я так страдаю, что не знала вас раньше, всю жизнь... Что не могу, не умею выразить, как вы мне дороги и близки... И даже, как мне кажется, люблю вас гораздо меньше, чем вы достойны мой славный рыцарь! Мой паладин!.. И я сама, и любовь моя так бледны, так слабы...

Слезы показались у Жанеты.

— Слезы? Отчего это? В такую минуту...

— Не волнуйтесь... Это... слезы счастья, — тихо шепнула она, склонилась к нему, как бы ожидая поцелуя и, получив, выпрямилась, взглянула затуманенными глазами в его загоревшиеся глаза и быстро проговорила. — Ведите меня скорее отсюда... Туда, к людям... Скорее...

Большой театр в Варшаве был убран тропической зеленью, цветами. Из старинных палацов богатейших вельмож привезли чудные статуи и расставили в живых нишах, под навесами пальм. Зрительный зал каждый вечер сверху донизу наполнялся представителями лучшей варшавской публики, знатью, богатым купечеством, военными и чиновным людом. Даже «парадиз» теперь видел на своих скамьях людей, которые в обычную пору и не заглянули бы в театр, в оперу, как ни была хороша постоянная труппа этого сезона.

Между тем на время сейма и ради пребывания в Варшаве короля была приглашена на гастроли сама чаровница — Каталани. Александр ее очень любил и часто слушал за границей. Теперь артистка пела в его владениях и получала сказочной красоты букеты, корзины, ценные подарки; всякие знаки внимания оказывал любезный по-рыцарски король-император своей знаменитой «гостье».

В этот вечер шла «Страделла».

Голос артистки так чудно звучал, ее пение до того потрясало сердца, что даже эта придворная, сдержанная публика порою не выдерживала оков этикета и взрывы аплодисментов, крики: «Brava! Fora!» — вырывались из груди у всех раньше, чем Александр подавал из своей ложи знак благосклонным аплодисментом.

В одном из антрактов артистка была приглашена в ложу и здесь Александр сам надел ей осыпанный бриллиантами медальон со своим портретом.

Едва артистка, растроганная приемом, вышла из аванложи, туда вошел Константин с графиней Жанетой.

— Театральная фея уступила место самой богине Диане! — любезно встретил девушку Александр. — Прошу вас...

Они уселись. Константин, чтобы не мешать более интимной беседе, отошел на другой конец аванложи, где Михаил Павлович, окруженный небольшой группой придворных, восторгался оперой, труппой и в особенности — чудным голосом Каталани.

Кроме Новосильцева, Ланского, Остермана, Паскевича, Милорадовича, Орлова и Капо д'Истрия с Нессельроде и Марченко, здесь были первейшие польские сановники и вельможи, начиная с графа Островского, Адама Чарторыского и кончая князем Любецким, который умел ладить со всеми партиями и лицами...

Тут же был и граф Бронниц.

Константин огляделся, словно отыскивая еще кого-то и увидел, что Зайончек сидит в ложе, на своем месте, даже в антракты не передвигаясь никуда до самого конца спектакля.

Легкий говор доносился сюда из зрительного зала. Группа в углу аванложи государя тоже оживленно болтала, и нельзя было расслышать, что говорили в своем углу Александр и его юная гостья, хотя последняя, зная досадную глухоту собеседника, вынуждена была довольно сильно подымать голос, при этом очень близко наклоняясь к правому уху, так как на левое он совершенно ничего не слышал.

Жанета проделывала свой маневр как можно незаметней, зная, что государь досадует на свой недостаток и не любит явного обнаружения его.

Оживленный близостью привлекательной, кокстливой и умной девушки, Александр чувствовал себя очень хорошо и скоро от оперы, от певиц и певцов разговор незаметно перешел на самое важное для девушки — на Константина.

Отношения его к ней прямо не разбирались в этом разговоре. Но недомолвки, намеки, сравнения, до которых была большая охотница и искусница Жанета, помогали взаимному пониманию беседующих.

— Пение особенно влияет на души, переполненные симпатией! — между прочим заметил Александр. — Оттого, может быть, так тронуло вас пение дивы и так тонко чувствуете, переживаете вы все страдания и радости...

— Вы угадали, сир! — так же по-парижски слегка грассируя, как это было у Александра, ответила Жанета. — Но нынче есть и еще другая причина. Как вы знаете, ваше величество, Филомела обожает луну и поет при ее лучах... Но не все знают, что она боготворит то солнце, которое дает свет и луне, и темной, печальной земле... Только когда это светило появляется на небесах, лучи его заставляют так сильно трепетать сердце скромной птички... Так вся она бывает поражена величием и красотой лучезарного бога, что смолкает и ждет вечера, когда скромная ее песнь к родственной солнцу луне служит выражением других, более затаенных и несбыточных ощущений и грез!

Аллегория была и сама по себе ясна. Но восторженный, хотя и мимолетно брошенный взгляд досказал и то, что не было договорено.

Легкая краска удовольствия покрыла бледные щеки Александра.

— Могу только жалеть, что Филомела в конце концов подруга вечернего светила, и желаю, чтобы его любовь разогнала тоску и грусть чудесной птички... Прямо должен сознаться — завидую брату Константину, что в его «милой старой Варшаве», как он ее часто называет, хранятся такие сокровища ума и поэзии... И Грации, и Музы — слиты вместе в одном очаровательном существе...

— Сир!.. О, сир! — только и могла пролепетать Жанета, искренне потрясенная такой похвалой, и низко-низко поникла головой, даже не находя слов для благодарности, для выражения восторга, охватившего ее впечатлительную, чуткую душу.

Это молчание было красноречивее слов. Но чтобы вывести из смущения девушку, Александр стал делать ей вопросы относительно ее образа жизни, занятий. Разговор перешел на религию.

— Конечно, я верная дочь нашей церкви... И, как женщина, сир, особенно отдаю себя на волю Провидения. Но я понимаю, что Вечная Истина не может храниться в одном сосуде, как бы велик и чист он ни был. Главное — верить в Милосердного Бога! Это связует смертного с Вечностью... Может быть, строгие учителя наши назовут меня недостаточно правоверной католичкой! Да простит мне Святой Наш Искупитель и Пречистая Матерь его! Я вымолю прощение моим грехам... если любовь ко всем людям такой уж тяжкий грех!

— Многие грехи простятся и вам, если вы их сотворите не зная, и вашим близким — за эту любовь! И да благословит небо вас и тех, кто сумел в слабое женское сердце влить такой ясный луч света...

Беседа, начавшаяся мифологическими аллегориями и комплиментами, перешла на самые глубокие, серьезные темы, что в эту пору особенно любил Александр.

Квакеры, Эйлерт, рационалист-пастор, затем мистик Паррот, иллюминатка баронесса Крюдепер — все вместе и порознь находили в это время слух и сердце северного государя открытым для своих проповедей и туманных учений.

Кое-что слыхала об этом и Жанета. Осторожно, без преувеличений и ханжества, как это было прилично молодой светской девушке, она тоже коснулась излюбленных

идей русского императора, польского короля и загадочного для целого мира человека.

Разговор пошел живее... Как вдруг прозвучала музыка...

Константин подошел увести свою даму...

Александр, прощаясь, любезно коснулся губами руки девушки, что делал только в исключительных случаях, да и то, лишь с дамами более почтенного возраста.

Глубокий реверанс, взор, затуманенный слезами восторга, послужил ответом на эту выходку рыцаря.

Как только дверь ложи закрылась за ними, Константин спросил:

— Что, и теперь ты не веришь в будущее? И теперь боишься за наше счастье?..

— Я?! Теперь?.. Не спрашивай меня ни о чем... Я ослеплена... я боюсь, что я сплю:.. что я проснусь и умру в тот же миг, поняв, что счастье и восторг я видела только во сне!..

Недели две пробыл Александр безвыездно в Варшаве и только 13 апреля нового стиля выехал на шесть дней в Калиш.

Никто не мог себе хорошо уяснить цели этой поездки. Но все-таки одно предположение казалось самым вероятным: в присутствии Александра не только в заседаниях сейма, но даже в Варшаве ораторы, особенно из оппозиционного лагеря, чувствовали себя слишком связанными, и сейм с его речами и возражениями скорее походил на какую-то чинную игру в парламенте, чем на это учреждение, хотя бы заключенное в рамках самой строгой закономерности и порядка.

Ни из докладов министров, ни из возражений депутатов не пробивалось той живой струи политической мысли, которая ведет к государственной творческой работе, говорит о новых, лучших путях общественного и политического строительства.

Совсем не того ждал от неукротимых в прошлом поляков вдумчивый Александр. Никакой комедии, кроме разыгрываемой им самим, он не любил.

А сейм был скучной плоской комедией.

Если его отъезд был только средством вызвать дремлющие силы, дать простор сжатым до сих пор порывам, средство удалось.

В первом же заседании, по поводу самого незначительного вопроса, споры и возражения разгорелись с такой силой, шум и крики так наполнили высокие покои старинного замка, где заседал сейм, что гибкий, осторожный председатель граф Красинский заявил:

— Предупреждаю господ депутатов, что дальнейшее нарушение порядка заседаний не может быть допущено и я закрою в силу данной мне власти заседание, если сами вы не прекратите шум и беспорядок, столь недостойный высокого собрания.

Увещание подействовало. Задор исчез. Но температура уже осталась приподнятой. Толчок был дан, и занятия сейма, сначала вялые и неинтересные, пошли гораздо более живым темпом. Случалось, что заседания затягивались далеко за полночь. Но все выходило из стен Народного собрания бодрыми, оживленными, как будто и не было проведено долгих часов в душных стенах, за напряженной умственной и духовной работой...

А тут как раз первая весна коснулась и Варшавы своей бледной ласковой рукой... Текли ручьи. Пахло в воздухе прелой землей и назревающими почками сирени, берез и тополей...

В эти дни в Калише Александр тоже не сидел без дела. Ездил по имениям окрестных помещиков и зажиточных крестьян, приглядывался ко всему, чтобы поделиться впечатлениями с «другом своим» Аракчеевым и, по возможности, применить приемы самого лучшего вольного хозяйства... к каторжным поселениям, создаваемым в России при помощи кнута и шпицрутеноев тем же Аракчеевым, верным исполнителем воли своего государя-либерала и миротворца.

— Хотя бы пришлось уложить трупами дорогу от Петербурга до Москвы, но я сие дело выполню до конца, — в припадке редкой откровенности высказался раз кроткий Александр, оспаривая кого-то и отстаивая свои любимые «военные поселения».

Так совмещал в себе порою несовместимые идеи этот многогранный, слишком даже многоликий человек...

27 апреля нового стиля последовало закрытие сейма, на котором снова прозвучало красивое, свободное слово императора-короля, конституционалиста с ног до головы в Варшаве и насадителя «аракчеевщины» у себя, в России.

Мечтая создать по всей России цепь военно-поселенческих колоний, представляющих нечто среднее между спар-

танской «филой» и каторжным поселком, да к тому же управляемым вороватыми комиссариатскими чиновниками и такими же, но еще более грубыми военными чинами, Александр так говорил при закрытии сейма в своем конституционном Царстве Польском:

— Представители польского народа! Из предложенных вам проектов законов лишь один по большинству голосов обеих палат не получил одобрения.

Внутреннее убеждение и прямотушье руководили решением этим. Мне оно приятно! Потому что вижу в том независимость ваших мнений... Свободно избранные должны и рассуждать свободно. Эти два неприкосновенных признака являются отличительным свойством истинно народного представительства, какое я и желал собрать, чтобы при его помощи узнать мнение всей нации, выраженное открыто и до конца! Только народное собрание, таким образом учрежденное, может сохранить в правительстве уверенность, что народу даруются законы, польза которых подтверждается истинными потребностями этого народа. Рад, что мои ожидания оправдались и все работы сейма прошли в полном порядке, дав благие плоды.

Взамен такого строгого выполнения долга, возложенного на вас, и вы вправе ожидать, что власть исполнит свое слово, долг, внушенный ей совестью и разумом совершающихся событий.

Поляки, я дорожу выполнением моих намерений! Они вам известны. И, по мере человеческих сил, с помощью Всевышнего они будут выполнены до конца!

Снова дрогнул зал. Внизу толпы заколыхались, потрясли воздух приветственными кликами... Дамы сверху махали платками, вуалями, рукоплескали...

Александр, видимо взволнованный, отдал свой величественный и ласковый в то же время тройной поклон и вышел из зала...

Только 30 апреля выехал из Варшавы государь на Пулавы, где собирался в последний раз навестить старую графиню Чарторыскую.

Перед этим два вечера он часа по три-четыре проводил наедине со своим давнишним поверенным и вдохновителем во многих широких начинаниях либерального характера, с Новосильцевым.

Женственный на вид, со своими удивленными глазами и темными бакенами на бледном лице, при белой голове, Новосильцев выделялся в густой толпе придворных, окружавших Александра сейчас в Варшаве.

Все время он держался в стороне, как бы молча соглашаясь, что прежде всего государь должен покончить польские дела и вопросы...

Но как только закрылся сейм, Александр, почти оставя другие занятия, стал уединяться с Новосильцевым. Никто, даже Константин точно не знал, о чем беседуют они. Какими заметками исписывает Новосильцев целые груды бумажных листков и уносит с собой?..

Только личный секретарь Новосильцева, мосье Дешан, публицист из Парижа и юрист по профессии, был главным, если не единственным сотрудником его.

В самый день отъезда Александр, просматривая первые листки полузаконченной работы, которую вел так таинственно со своим другом юности, вдруг спросил:

— Ну, а если понадобится перевод на русский язык всего этого? Даже прямо скажу: он неотложно надобен... Основы российской конституции, хартия сия должна раньше всего быть знакома кому следует, на родном языке... Кому думаешь без опасения преждевременной огласки поручить дело?

— Есть, ваше величество. Я уже приглядел заранее человечка. И вам он известен, как думаю, государь.

— Кто же такой?

— Вяземский князь, Петр Андреич. Работает он у меня пока на небольших делах. Но верный, скромный и весьма неглупый человек... Как полагаете, ваше величество?

— Тебе лучше знать. Если веришь ты, и я поверю ему... Только поспеши работой...

— Буду присылать по частям, государь, для дальнейших указаний и поправок. Вот, как нынче же первой главы первых пять статей...

И по-французски Новосильцев прочитал заголовок листов:

— «La charte constitutionnelle pour l'empire de Russie».

— Постой! Как мы по-русски можем получше назвать сей акт? Хартия свобод, конституционная хартия — все это чуждо слуху русского народа.

— Вы правы, государь. Вот я пробовал и перевести. Позвольте?

— Читай, читай...

— «Уставная грамота государства Российского...»

— Ничего. Только нет! Похоже на сочинение Карамзина, нашего славного историка. «История Государства Российского»... Подумаешь... Что, если так: «Государственная уставная грамота Российской Империи»?.. Это звучит полнее, не так ли?

— И много значительнее, государь. Так и пометим¹.

Надписав заглавие по-русски, Новосильцев прочел по-французски первые 5 статей I-й главы, именуемой: «Предварительные распоряжения».

Статьи касались разделения империи на области, или наместничества.

¹ Для современников должны представить значительный интерес некоторые пункты этой грамоты, написанной 100 лет тому назад, касающиеся так называемых «гражданских свобод». Целиком вся грамота была отпечатана в количестве 200 экземпляров, когда в 1830 г. русские покинули Варшаву. Но в 1831 году, по взятии Варшавы, оказалось, что из этого числа распространено было всего 50 экземпляров, а остальные, по приказанию императора Николая, сожжены на арсенальном дворе, в Кремле, под наблюдением генерал-адъютанта графа Адлерберга и московского коменданта генерал-майора Стааля.

«Глава II. Статья 13. Законодательной власти государя содействует государственный Сейм, о котором ниже помянуто будет, на основании сей уставной грамоты и особенных учреждений.

Глава III. Ручательства державной власти.

Статья 81. Коренной российский закон: «без суда никто да не накажется» и освященное учреждением о губерниях, правило (№ 401), «чтобы никто, без объявления ему вины и снятия с него допроса, в течение 3-х дней по задержании не лишался свободы» распространяется на всех жителей вообще.

Статья 88. Свобода тиснения обеспечивается.

Статья 91. Да будет российский народ отныне навсегда иметь народное представительство. Оно должно состоять в государственном Сейме (государственной думе), составленном из государя и двух палат.

Глава IV. О народном представительстве.

Статья 128. Никто из членов Сейма, во время продолжения оного, не может быть задержан, ни судим судом уголовным без ведома той палаты, к которой он принадлежит.

Статья 130. Проекты, по Высочайшей воле вносимые на Сейм, не почитаются ни одобренными ею, ни утвержденными, почему и предоставляется Сеймам полная свобода на счет оных излагать свое мнение.

После статьи 191, которою кончаются все статьи, сказано:

«Убедившись в совести, что вышеизложенные коренные постановления соответствуют нашим желаниям утвердить благосостояние и спокойствие любезных наших верноподданных, основать неприкосновенность их лиц и собственности и охранять нерушимость их прав гражданских и политических, мы жалуем им сию уставную грамоту, которую признаем за себя и за преемников наших коренным и уставным законом нашего государства, предоставляя себе оную дополнить. Повелеваем всем государственным властям содействовать ее исполнению». (Подписи нет). — Л. Ж.»

— Благодарю. Превосходно! — выслушав чтение, похвалил Александр. — Продолжай с Божьей помощью великую работу. Жду поскорее дальнейших частей. Пока прощай.

Он обнял и расцеловал растроганного Новосильцева.

Отъезд состоялся 30 апреля.

Константин поехал проводить государя несколько станций. Тут, сидя вдвоем в экипаже, братья беседовали так задушевно, как это уже давно им не приходилось делать.

— Я сознаюсь, брат, сей приезд восхитил меня больше прежнего. О войсках твоих не говорю. Нечто — выше похвал, вот, одно сказать могу. Но и всем остальным я доволен. Общее движение умов самое желательное и в лучшем направлении идущее. Открытие, как и закрытие сейма, вопреки многим плохим гаданьям, произведено с желаемым успехом, да и весь он прошел весьма гладко. Ни сучка тебе, ни задоринки, право, Константин. Весьма желаю скорее возвратиться в любимую твою Варшаву. На ту осень жди меня снова в гости...

— Весьма буду рад, государь. Вы сами знаете...

— Знаю. Я подумаю теперь хорошенько еще об одном желании моих новых подданных... И ты подумай, скажешь мне свое мнение: придать ли к царству Польскому и все провинции, ранее забранные нами: Волынь, Подолию и другие...

— Подумаю, государь...

— А я о твоих делах подумаю... Но один тут еще вопрос. Ты — наследник по мне, если считать по закону покойного государя, батюшки нашего... А твоя женитьба, хоть бы и были дети у вас с этой очаровательной девицей, не даст наследника трону... Понимаешь, невозможно это...

— Понимаю. Да и не думаю о том...

— Нельзя и думать, сам рассуди... У нее всякие поляки родичи и сестры польки. У тех опять мужья и дети будут... И все это — близкая родня российских императоров!.. Нельзя...

— Нельзя, конечно...

— Выходит, Николая дети взойдут на трон... Вот жена его уже со дня на день ждет разрешения. Что пошлет Господь?.. Если сын — прямой наследник.

— Дай Бог, государь...

— И ты так легко готов?..

— Давно уж, государь... Я же говорил вам и матушке...

— Вот как! — протянул Александр. — Слово мы с тобою на одном желании сошлись... С небольшой разницей.

Я помню, еще тогда... в эту страшную ночь, 17 лет назад ты слово дал: не ступить на трон... Помнишь?

— Помню... и твердо стою на том... Особоливо, видя, как трудно вам вести корабль. А где уж мне?!

— Не говори... Господь поможет... А вот я... Мне, правда твоя, трудно, немоготу, право, порою... Конечно, пока еще силы есть... Нельзя оставлять службы, если могу еще сесть на коня и в минуту опасности отразить врага от границ моей империи... А еще лет через 10... Перевалит за 50... Болеть я начинаю... Николай возмущает... Дети у него подрастут. Династия будет обеспечена... Тогда...

Он умолк, задумался. Лицо его приняло усталое, скорбное даже выражение...

— Я должен сказать тебе, брат, — словно опомнясь и поймав на себе тревожный, вопрошающий взгляд цесаревича, торжественно, но негромко заговорил Александр, — я хочу абдикировать. Устал я... И не в силах сносить тягость правительства... Тебя я предупреждаю теперь, чтобы ты время имел подумать: что надобно будет делать тебе в сем случае?..

— Я уж давно надумал, государь... Я тогда буду просить у вас хотя бы место второго камердинера вашего...

— Смеешься, брат, не иначе!

— Нисколько, государь! Я буду усердно служить вам... ежели нужно, сапоги буду чистить, право... Когда бы я теперь это сделал, то почли бы подлостью моей душевной, что я к государю подлезаю... Но когда вы будете не на престоле, я докажу преданность мою к вам, к благодетелю моему... к моему...

Он не досказал. Слезы градом покатались из суровых, теперь скорбных глаз цесаревича.

Ничего не говоря, Александр крепко обнял и прижал к себе брата.

В тесном объятии, как еще никогда не сливались они друг с другом, провели несколько мгновений эти два родных брата, так мало сходные между собою, но связанные воспоминаниями детства, юношеской дружбой, тяжелой трагедией, лишившей их отца.

Успокоясь немного, Александр более спокойным тоном проговорил:

— Ну, пусть так. Ты мысли свои напиши матушке... Что также не желаешь царствовать. А я, когда придет время абдикировать, дам уж тебе первому знать!..

В Пулавы Константин не заехал, не любя шумных, праздных сборищ, еще больше не любя семьи Чарторыхских.

Он прямо проехал в крепость Замостье, дождался там Александра и простился с братом тепло и дружески, как всегда.

В мае того же года у Николая Павловича родился сын, получивший имя Александра в честь императора-дяди.

Государь, сообщая об этом Константину, написал также, что он говорил с Николаем, подготовил того относительно предстоящей ему участи — взойти на престол после него.

«Оба они с женою расплакались от моих слов, — писал Александр. — Но теперь начало сделано. Пиши императрице-матушке и проси согласия на брак».

После долгих обдумываний, совещаний с Жанетой, с Курутой и Новосильцевым Константин составил письмо к государю, в котором твердо и ясно высказывал свое отречение от прав на императорский титул за будущую жену и детей, если бы после предстоящего развода он вступил в брак с особой не царской крови.

Большого, пока, от него не требовалось.

Но императрица-мать напомнила, что второй брак должен быть непременно счастливым, совершенным на самых разумных основаниях, чтобы оправдать такой рискованный для цесаревича русского императорского дома шаг, как публичный развод с первой женой.

— Ничего, мы будем с тобою счастливы, птичка моя, голубка белая! Не так ли? — показав письмо матери Жанеты, проговорил он.

— Что меня касается, я буду счастлива любовью к тебе... И жизнь отдам, чтобы ты знал только одну радость!..

— Ну, так больше мне и не надо ничего! Посылаю это письмо...

— Ну, а как же еще один вопрос? — осторожно спросила девушка и вся покраснела.

— Понимаю... Ты говоришь о ней?.. Дело налажено. Там и Митонша взялась мне помогать, давнишняя благодетельница ее... Она уломяет эту безумицу... И есть еще у меня два приятеля, ее земляки. Доктор, что лечит ее, Пижель. Орангутанг такой, знаешь... Я даже думаю за него и выдать ее... Дам им денег... ну, и все такое... Да еще наставник, гувернер моего Павла, граф Морриоль.

Ты видела его. Обязательный мужчина. И умный... Они все взялись помочь в этом деле. Выгорит, как лучше быть нельзя...

— Да поможет им Святой Иисус и Дева Мария! — набожно прошептала Жанета. — А Павлу, клянусь, я заменю родную мать...

— Знаю, верю, голубка моя светлая... И я обещаю — беречь и любить тебя, как душу свою...

Живая, подвижная, несмотря на свой почти шестидесятилетний возраст, смуглая француженка мадам Митон сидела у Жозефины Фридерикс уже не в первый раз и убедительно внушала измученной, неподдельно страдающей женщине:

— Поймите, милая моя... Я вам не враг... Обманывать вас не хочу и не стану. Вовсе не из любви к этой польской девчонке должен и хочет наш общий благодетель расстаться с вами... Если бы даже вы не проявили к нему такого... ну, как бы сказать... строгого отношения... Вот уже больше года вы, собственно говоря, если встречаетесь, то не для радости. На и это бы не заставило нашего принца решиться на разрыв. Вы знаете, как любит он мальчика... Ради него многое вынес бы и от вас, от матери своего сына... Но теперь получены чуть ли не приказы от императрицы-матери. Она приглядела ему невесту — принцессу в этой Германии, где невесты, как куры в курятнике, сидят десятками и ожидают вывоза в соседние государства...

— Вот, вот, я и права... Его разведут... Он женится... Пусть на принцессе, но я не хочу... Я себя отравлю... зарежу сына... Я...

— Ничего этого не надо, моя милая. Я не говорю, что он женится... Он прямо говорит: «Скорее удавлюсь, чем снова женюсь, да еще на немке!» Бедный принц!.. Но матери послушаться нельзя... Она пишет, что он компрометирует и себя, и брата-императора... Наконец, что изменится оттого, если вы станете женой по имени только какого-нибудь из приближенных к нашему князю лиц? Все будет по-прежнему. Но приличия будут соблюдены...

— Вы думаете? Больше ничего?.. Хорошо, я не стану говорить «нет»... Только пусть он сам скажет, что я должна... Пусть осмелится...

— Если уж иначе нельзя... Хорошо, моя милочка... Я ему передам...

— Вот как! Ей угодно выслушать от меня лично? Думает, я не осмелюсь! — вскипел Константин, когда услужливая мадам Митон передала ему решение Жозефины. — Я сейчас же ей скажу...

— А я приготовлю Пижеля на всякий случай...

— Делайте, как знаете!

Жозефина еще не успела стереть слез после разговора с мадам Митон, не припудрила как следует щеки, не подправила бровей и сидела с распустившимися волосами и неподкрашенными губами перед зеркалом, когда послышались быстрые знакомые шаги и Константин в полной парадной форме, темный, как туча, вошел в будуар Жозефины.

Застыло в груди у женщины, похолодело и упало сердце. Она знала, что означает полная парадная форма, которую дома почти не надевал Константин, разве если хотел показать всю силу своей власти, проявить все напряжение грозного своего гнева.

— Вы желали меня видеть, сударыня?! — без всяких предисловий, отрывисто заговорил он. — Вот, я перед вами. Что изволите мне сказать?.. Ну-с?..

— О, Константин! Мой принц, я только хотела...

— Досаждать мне? Скандалить, как всегда? Не слушать голоса благоразумия! Не повиноваться верховной воле брата-императора и матушки моей императрицы? Да? Так я не смею ослушаться их. И вот мой сказ: замуж или как угодно... Но здесь вам более оставаться нельзя...

— Константин! — воплем вырвалось у потрясенной женщины. — Ты меня гонишь?..

— Ну, нет... Ничуть не гоню... — сразу смутясь и смягчаясь, заговорил совсем другим тоном Константин. — Но сама пойми: я человек, связанный своим положением... Ты останешься мне другом... Я дам широкие средства... Но здесь... оставаться здесь...

Он не мог досказать фразы.

— Хорошо. Понимаю! — кротко, почти умирающим голосом согласилась Жозефина. — А как же сын?.. Поль?!

— Он?! Ну, разумеется, ты всегда... вы всегда можете видеть вашего сына... Это ваше священное право...

— О, благодарю тебя хотя за эту милость... И... неужели, все-таки я должна выйти замуж? Для чего?

— Чтобы сразу покрыть прошлое. Покончить все толки, весь скандал... Мадам Фридерикс не станет... Понимаете... Будет мадам X, V, Z... И больше ничего...

— Ну, пусть так... Я тебя слишком любила... и еще люблю... чтобы не решиться даже на такую жертву! Но в последний раз взгляни добрее... приласкай по-старому твою бедную Фифину... которая все отдала тебе... Свою молодость, свою страсть... свою красоту...

— О, с удовольствием... как же... Непременно! Я сейчас не совсем здоров... Что-то мне не того... Но как только станет лучше... Я всегда твой... Всегда...

— Как, и этой последней ласки ты не хочешь?! Ты отказываешься... О, я понимаю! Ты любишь другую... Ты не бросил ее, эту испорченную, хитрую, продажную дев...

— Молчите... не заставляйте меня забыть, что вы... женщина... мать моего сына!.. Презренная...

— Боже! Он убьет меня... Умираю!..

И в обмороке ловкая француженка упала на ковер.

Прежде это пугало Константина, и он совсем смягчался, как ни был зол и разгневан на Жозефину.

А теперь он только посмотрел, пошел к двери, указал Пижелю, стоящему в ожидании, что надо войти, и сам быстро ушел.

Доктор сейчас же привел в чувство лукавую женщину.

— Где он? Ушел? Ах, доктор, дайте мне яду... Я должна умереть...

— Зачем, какой вздор! Пустое... Поживем сперва... А там, что повелит Судьба. Не надо ускорять события...

— Как, и вы против меня?! Что значит ваше «поживем»? Кто? С кем?

— Я с вами... Мне передавали: вам предложили выйти замуж... Я прошу вашей руки. Или плохой жених?

Упорно, но в то же время неуверенно, тревожно впился взглядом Пижель в Жозефину, которая сразу насторожилась.

Значительное приданое, обещанное бывшей фаворитке, улыбалось практичному французу, чуждому, как большинство выходцев из крестьян, всех пустых предрассудков.

— Отчасти от себя... отчасти нет... Очевидно, что-то успели узнать о наших... ну, как бы это?... о нашей... «дружбе»... о моих способах лечить вас... И мне прямо намекнули... Даже, пожалуй, вся ваша опала — результат этих подозрений.

— Вот как... Значит, вы предали меня? Негодяй!..

Пижель опешил. Он сказал о воображаемых подозрениях, чтобы выбить Жозефину из позиции, сделать ее уступчивее на требования Константина. А получилась совершенно неожиданная комбинация.

— Вон негодяй! Предатель! — топая ногами в настоящем истерическом припадке, неистово кричала женщина. — С глаз долой, Иуда!.. Вон...

Статуэтка из фарфора, стоящая рядом, мелькнула, ударилась в стену и кусками шлепнулась с легким, мелодичным, жалобным звоном на паркет. Подушка с дивана полетела за статуэткой. Потом взвилась книга, подносик китайской работы...

— Вон, негодяй, предатель!.. — истерически выкрикивала Жозефина и воспаленными глазами отыскивала, что бы еще пустить в Пижеля.

Тот, бормоча невнятные проклятия, стал осторожно отступать.

— За последнего конюха пойду... за истопника... Только не за тебя, Иуду... Вон...

Он исчез. Мадам Митон, бывшая на всякий случай в соседней комнате, осторожно подошла, подавая воды:

— Ради Бога, успокойтесь... Ну, что такое?.. Ну, довольно... Вы ему лоб разбили... Это же сумасшествие...

— Лоб? Отлично... Он мне все разбил, этот Иуда... Вы не знаете... Чтобы получить приданное, которое дает мне Константин, он, этот урод... Он... Нет! Не за него... За кого угодно, только не за него...

Жених скоро нашелся.

Белокурый, старательный остзейский немец, полковник Вейсс, — он не стал справляться о прошлом своей жены, получив перед венцом прямо на руки ее довольно солидное приданное и целую деревню, вдобавок, в вечное владенье. Павел, конечно, остался в Бельведере...

7 марта 1820 года Жозефина обвенчалась со своим полковником и стала мадам Вейс...

А 20 марта Константин, счастливый, сияющий, принес Жанете манифест, который гласил, что «цесаревич Константин Павлович принесенною императрице Марии Федоровне и государю просьбою обратил внимание на домашнее его положение в долговременном отсутствии супруги его, великой княгини Анны Федоровны, которая, еще в 1801 году, удалясь в чужие края по крайне расстроенному здоровью, как доньше к нему не возвращалась, так и впредь, — по личному ее объявлению, — возвратиться в Россию не может, — и вследствие сего изъявил желание, чтобы брак его с нею был расторгнут.

Вняв сей просьбе, мы предлагали дело сие на рассмотрение св. синода, который, на точном основании 35-го правила Василия Великого, постановил: брак цесаревича и великого князя Константина Павловича с великою княгиней Анною Феодоровною расторгнуть с дозволением ему вступить в новый, если пожелает»...

Дальше в манифесте точно было сказано, что если цесаревич женится не на особе соответственного достоинства, эта жена не царской крови лишается права носить титул и дети от такого брака лишены всех наследственных прав и императорского титула навсегда.

— Что, видишь, наша взяла!..

— Пока еще — твой развод, мой дорогой Константин, — печально ответила Жанета, — до нашей свадьбы еще далеко...

— Ровно два месяца. В воскресенье, 12 мая мы венчаемся...

— Что?.. Что ты говоришь?..

— Вот письмо моей матушки... Она и брат дают согласие... Что с тобой?.. Помогите!..

Сбежались Бронницы. Явился доктор.

Долго, как мертвец, бледная, холодная, без сознания лежала девушка. Наконец краска слегка заиграла на ее губах, на щеках. Слабый вздох вырвался из стесненной груди. Она, очевидно, пыталась раскрыть глаза, но сразу от слабости не могла.

— Видите, ваше высочество, — обратился к Константину доктор, который столько же боялся за него, сколько и за Жанету, — видите, опасного ничего нет. Графиня ожила... От радости еще никто не умирал... А вот вы, ваше высочество, выпейте теперь эти капельки... Чтобы с вами душно не приключилось.

Бледная, но вся сияющая, с пышной фатой и флердоранжем, Жанета казалась небесным видением под темными сводами церкви королевского замка, где она ожидала жениха, окруженная только матерью, отчимом и сестрами своими.

Это было как раз 12 мая 1820 года.

Из посторонних свидетелей, необходимых при подписании брачного свидетельства, кроме покладистого, вездесущего графа Куруты, — здесь еще были Нарышкин, Альбрехт и Кнорринг.

Жених подкатил к дверям церкви в кабриолете, запряженном парой лошадей, которыми он прекрасно, по обыкновению, сам правил и сейчас.

Бросив вожжи груму, легко, несмотря на свою грузную фигуру соскочил он на землю и вошел в церковь...

Невеста почти не ощущала, что творится вокруг нее.

Какой-то неодолимый, непонятный страх, смешанный с незнакомым ей до тех пор восторгом, наполнял ее всю. Холодные, трепещущие пальцы, которые она подала жениху, бледность лица, порывистое дыхание все обличало состояние Жанеты. Константин тоже мало обращал внимание на окружающее: держал свечу, отвечал на вопросы священника, ходил вокруг аналоя, а сам не спускал глаз с девушки. Так порою глядит на красивого мотылька большая сытая лягушка, готовая высунуть клейкий язык и проглотить красавицу. Но перед прыжком она, притаясь, принимает совсем скромный вид.

Что-то именно жадное, хищное чуялось в сдержанном волнении жениха, который имел терпение четыре года ждать блаженной минуты...

Когда Жанета на вопрос священника ответила так по-детски, неправильно:

— Та, я шельяю... вместо: «Да, желаю!» — Константин едва удержался, чтобы тут же не подхватить в свои объятия молодую жену и покрыть ее поцелуями.

Кончился обряд в православном храме.

В небольшой каплице замка совершено было таинство по обряду католической церкви, как и следовало, в виду того, что Жанета была католичка.

Все формальности были исполнены.

Провожаемый пожеланиями своих шаферов, благословениями супругов Бронниц, которые без вина казались опьяненными радостью, Константин вывел свою молодую жену, свою Жанету, усадил в тот же кабриолет и сам, по-прежнему, правя кровными, тонконогими, быстро бегущими лошадьми, повез в старый далекий Бельвесдер свое новое, светлое счастье.

Толпы варшавян, как-то узнавшие о великой тайне, встречали восторженными шумными кликами молодую пару:

— Нех жие, Константиий! И жена его!

В эту светлую, радостную минуту, когда кабриолет с новобрачными, озаренный солнечным светом, провожаемый приветами ликующей толпы словно катился по пути к ра-

дости и счастью, одна странная встреча, как тень случайного облака, как неожиданный диссонирующий звук, прорезала эту веселую картину, нарушила общую гармонию звенящих голосов.

Кабриолет успел уже свернуть с Нового Света на Уяздовскую аллею, ведущую мимо Лазенков и большого дворца к уютному Бельведеру, когда из аллей Уяздовского парка показался всадник, который мчался так, словно за ним гналась дикая погоня.

Это был майор Лукасиньский. Неизвестно, каким образом, но в казармах, расположенных здесь и занятых гвардией, разнесся слух, что цесаревич венчается в замке с графиней Жанетой и скоро проедут обратно в свой излюбленный Бельведер.

Лукасиньский, находившийся здесь, на мгновение словно застыл с широко раскрытыми глазами, услышав эту весть.

Через несколько минут, сославшись на внезапное нездоровье, он простился с товарищами и сломя голову поскакал по дороге к Варшаве.

Еще задолго до встречи восторженные клики, долетающие до майора, группы людей, которые бежали к широкому полотну дороги и выстраивались там в ожидании, — все это говорило майору, что слух справедлив. Новобрачные уже катили к своему очагу.

Одно мгновение майор колебался. Он готов был на всем скаку повернуть коня и мчаться назад, прочь от этой дороги, где сейчас столкнется с кабриолетом цесаревича. Но колебание пронеслось, как молния, в душе, почти не озабив сознания. И он продолжал хлыстом и шпорами торопить коня.

Вот клики, совсем близко. По ровному шоссе слышен тротт лошадей, мягкий рокот колес кабриолета...

Еще несколько скачков, и Лукасиньский сильной рукой остановил, осадил коня и каким-то недоуменным взглядом впился в быстро катящийся кабриолет, в нежную пару, которая так радостно и приветливо кивала головой толпе, стоящей по сторонам пути...

Как зачарованный, смотрел Лукасиньский и даже забыл требование дисциплины перед князем, долг вежливости перед графиней. Его рука не оторвалась от тела, к которому он прижимал ее сильно, почти судорожно; он не отдал чести главнокомандующему-цесаревичу, не поклонился знакомой, такой близкой раньше, даме. И только глядел,

словно хотел взором остановить мчащийся кабриолет, разрушить или сжечь его вместе с теми, кто там сидел.

Первая Жанета разглядела впереди всадника, узнала майора, едва сдержалась от сильного движения, от восклицания, полного жалости и страха.

Глаза ее тоже устремились на майора, словно молили: «Уйди! Не смотри... зачем ты ждешь?»

В то же время ей не хотелось, чтобы муж заметил остолбеневшего майора и она, отвлекая внимание цесаревича в другую сторону сказала ему, заставляя себя улыбнуться:

— Смотри, какой прелестный карапуз с этой стороны нам машет ручонкой...

Однако Константин уже различил скачущего офицера, узнал майора и готовился ласково ответить кивком на ожидаемый салют.

Видя, что тот осадил коня, глядит, как статуя, и не думает отдать чести, Константин сразу нахмурился, рука, крепко держащая поводья, дрогнула. Еще миг и кабриолет был бы остановлен, могла последовать неприятная сцена.

Но горячие кони, приняв трепет вожжей за знак поощрения, дружно прибавили ходу и быстро оставили за собой изгиб пути и майора, стоящего, как мраморный Ян Собиесский на Лазенковском мосту.

«Оно и лучше, что так вышло!» — подумал Константин, но обернувшись к новобрачной еще сильнее нахмурился. Он увидел, что она была бледна, как будто встреча и ее смутила так же, как окаменевшего майора.

«Что такое? — задал себе вопрос Константин. — Что может быть общего теперь между нею и этим прежним ее поклонником? Ничего, конечно, вздор!» — решил он сейчас же. Но все-таки спросил:

— Что с тобой, милая? Отчего ты вдруг изменилась? Скажи, птичка...

— Устала я, мой князь... Подумай, такой день! Столько волнений... И эти крики меня так растрогали... дети... Я так люблю детей...

— Ну, ладно, люби пока чужих, — совершенно успокоенный простым ответом жены, заметил Константин. — А видела ты «жену Лота» в военном издании, а? Заметила там твоего знакомого майора? Как он рот и глаза раскрыл, когда увидел нас, услышал поздравления народа. Никто ничего не знал. Ни мои, ни ваши поляки. Как я всех провел с тобою.

— Да, я заметила мельком. Он до того растерялся, что даже забыл поклониться мне и тебе... Совсем не похоже на нашего галантного майора. При встрече я попеняю ему.

— Ну, вот! Не стоит. Тем более сегодня... Знаешь, как я решил: всякая вина будет прощена!.. Нынешний день!.. Ведь он уже больше никогда не повторится, милая моя женка... Никогда!.. Это особый, единственный в моей жизни день... Так давай всем дадим амнистию... Согласна? Улыбаешься? Рада?! Солнышко ты мое... итичка райская.

И бойко катится вперед кабриолет по озаренной солнцем гладкой дороге туда, к маленькому дворцу в густой зелени парка, увозя двух счастливых новобрачных: Константина и его жену.

А неподвижный всадник еще долго глядел им во след.

Глава II

МЕДОВАЯ ПОРА

Вкушая, вкусих мало меду,
и се — аз умираю!

Жанста спала недолго, но так крепко, что, проснувшись, сразу даже не могла понять: где она? что с нею?

Яркое сиянье майского утра тонкими золотыми нитями пробивалось сквозь тяжелые спущенные гардины богато обставленной комнаты, совершенно не похожей на ее белую, скромную спальню в квартире Бронницов, там, в старом угрюмом Крулевском замке над быстрой Вислой.

Не длится ли это сон нынешней чудесной ночи?..

Или наоборот: вся прежняя жизнь была тяжелым, мучительным сном, а в эту ночь она проснулась и зажила по-настоящему?

Да, да, последнее — вернее всего.

В какой-то незнакомой ей до сих пор сладкой истоме Жанета потянулась на широкой, очень мягкой и эластичной постели, темное резкое изголовье и спинка которой обрисовывались в приятном полусумраке, наполняющем эту красивую, полную раздражающих благоуханий спальню.

Сбросив легкое покрывало, в шелковой, измятой, ночной сорочке, она босыми ногами стала на пушистую шкуру белого медведя, брошенную у самой кровати.

Пол всей комнаты был покрыт почти таким же пушистым мягким, но ярко-цветным ковром. Не надевая туфель, приготовленных у постели, Жанета скользнула к ближайшему окну и сквозь просвет гардины поглядела, что там за окнами?

— Сад... тот самый пустынный, зеленый уголок, который был вчера так дивно красив и загадочен при полной луне...

И никого не видно в этом уголке.

Быстро откинула Жанета одну половину гардины, зажмурилась от лучей солнца, которые целым потоком хлынули в комнату.

Распахнуть окно было делом мгновения.

Струя свежего теплого воздуха, бодрящие ароматы сирени и нагретой солнцем листвы, птичьи голоса и далекое людское, должно быть, детское, звонкое пение — все это ворвалось и, казалось, заклубилось в стенах покоя, таких высоких, веселых, обтянутых светлой голубой материей, затканной легкими букетами цветов.

Гонимая этой свежей, благоухающей, звучащей волной, приветами весны и солнца, Жанета снова быстро скользнула в постель и непокрытая, поверх одеяла, протянулась там.

Грудь ее сильно и часто вздымалась от быстрого движения, от притока свежего воздуха.

Вот ее спальня в доме мужа!

Эта половина отделялась, конечно, давно, но ее сюда не пускали, когда она порою с матерью и отцом появлялась в Бельведере.

И теперь она здесь хозяйка, жена...

Значит, все это не сон!

Как красив этот туалетный столик, убранный чудным старинным кружевом, с большим зеркалом в серебряной затейливой раме, с таким же затейливо украшенным набором всяких коробочек, несессеров, флаконов и ящичков. Серебряный, с большими вензелями умывальный прибор на мраморном столике в углу... Низкая мягкая, в тон стенам обитая мебель, широкими гнездами, мягкими раковинами светлела вдоль стен и по углам, чередуясь с жардиньерками, в которых стояли камелии, азалии и другие, не пахнувшие сильно, но красивые редкие цветы. Портрет ее самой и его, «мужа», — висел над беломраморным камином, уставленным чудными фарфоровыми и бронзовыми фигурками, посреди которых небольшие часы севр-

ского фарфора, целая пастушеская сцена, звонко тикали, отбивая секунды почти также быстро, как билось сердце Жанеты, но менее радостно, менее весело...

Оглядев все это при свете утреннего солнца, Жанета вытянулась поудобнее, подложила под голову обнаженные тонкие руки, округленные и красивые, как у Венеры Флорентийской, и стала вспоминать...

Все это было так прекрасно со вчерашнего полудня, что хочется еще раз пережить сполна рой мелькнувших ощущений...

Сборы к венцу... Белый, сияющий, словно к первому причастию, наряд, фата... Темная церковь и огни свечей, лампад... Жуткие, таинственные обряды здесь, потом — в католической каплице...

Мать, отчим, сестры и четверо чужих шаферов поздравляют ее... Бокалы звенят. Впервые при посторонних, при свидетелях она приняла и отдала поцелуй чужому мужчине, теперь — своему мужу...

Потом — наряд невесты снят. Она переделалась в выездное, темное платье, накинула легкую, весеннюю мантилью. В дамской красивой шляпе с веющими перьями спустилась по лестнице под руку со своим мужем.

Вот они мчатся, сидя рядом, в кабриолете. Он сам правит... Лошади мчат таким легким троттом... Копыта звонко отбивают, по шоссе: та-та, та-та, та-та! И со всех сторон, особенно на Краковском предместье, сбегаются люди, поодиночке, группами... Кое-где уже ждут, чернея рядами... Летят кверху шапки, раскрываются темные рты и сквозь топот лошадей, сквозь шелест воздуха, веющего по сторонам, гулко прорезаются клики мужчин, женщин, детей:

— Виват наш князь и его княгиня!.. Нех жие ксенже Константиний и Константинова!..

Ее родной народ успел проведать, что полька стала женой повелителя края, русского князя... И все рады, надеждами сияют их лица, весело горят глаза. Матери поднимают маленьких детей и те тоже машут ручонками, долго глядя в след мчащемуся быстро вперед кабриолету.

Вот и Бельведер... Обед вдвоем, прерываемый взрывами жгучей, но сдержанной еще ласки, ввиду присутствия челяди и этого тонкого, бледного, некрасивого мальчика, но доброго и тихого на вид... Тут же и его два наставника: смешной такой француз-эмигрант. Граф старинного рода. А теперь — наемный воспитатель чужого, незаконного ребенка... И другой, Фавицкий... да, так его зовут. Католик,

должно быть... Или униат?.. Хорошо говорит по-русски, умеет по-польски. Молодое, довольно приятное, но какое-то странное лицо. Как будто он вечно настороже... Смешной...

Потом обошли весь дом... В нижней зале вся челядь, все домашние явились приветствовать новую княгиню, свою хозяйку.

Перед чаем на часок появились ее родные приветствовать молодую княгиню в ее доме... Уехали...

Был уже совсем вечер. Огни горели во всем доме. А сад глядел в раскрытые окна такой темный, загадочный, пугающий...

Но взгляд мужа был еще темнее, еще больше пугал Жанету.

Он подошел к ней, что-то хотел сказать, уже протянул руки, чтобы обнять ее. Но она поспешно проговорила:

— Пойдем в сад, мой дорогой... На минутку... Видишь, луна показалась. Я ни разу не видала этого сада при луне...

Сдержав невольную досаду, он дал ей руку.

Они сошли с широкой террасы, по извилистым тропинкам покатою луговины спустились к излучистому пруду. Он поперек своей зеркальной поверхности был перепоясан сверкающей полосой лунного света... А стая лебедей, дремлющая на берегу и испугнутая их появлением, кинулась в воду, разбрасывая снопы сверкающих брызг... В тени вязов и тополей, осеняющих берега, птицы казались комьями снега... А в полосе луны они отчетливо вырезались, словно вылитые из блестящего серебра... Это было так красиво...

Потом вернулись на террасу. И сразу в нескольких местах, среди кустов сирени и в бузине стали раздаваться соловьиные переговоры, перезвоны, щелканье и трели.

Жанета совсем замерла от наплыва новых, незнакомых ей ощущений. Сидя совсем близко к мужу, она закрыла глаза и, казалось, задремала. Он тоже умолк, перестал даже осыпать ее нежными страстными словами, как делал до этих пор... Соловей за него рокотал, да не один, а несколько, влюбленных, ликующих, полнозвучных.

Склонясь головой на грудь мужа, Жанета грезилась... почти не сознавала, как ее подхватили сильные руки и понесли...

И всю ночь продолжалась греза, сменяясь восторгами ласки наяву. Порой она, усталая, засыпала. Муж тоже затихал на время. И тогда в настоящем сне ей виделось все то же: сад, луна, причудливые очертания кустов и деревь-

ев, глядящие в окно... Он, такой нежный и бурный в то же время... Ласки потрясающие, от которых вся она трепетала и горела... Ей снилась греза жизни... А проснувшись, она снова впивалась поцелуями в это бледное сейчас, большое, милое ей лицо... Обнимала своими тонкими руками с какой-то судорожной силой это большое, грузное тело и снова пила восторг и жгучие ласки, которые, казалось, наполняли все ее существо, такие порывистые, даже грубые порой... Но в настоящий миг именно это и нужно было ее существу, так долго ждавшему такой минуты, такой ласки...

Четыре года ожиданий, когда она только вспыхивала, не давая разгореться огню, создали в девушке ненасытную жажду мужской ласки.

И теперь, в эту счастливую ночь она пила их без конца...

Вот и сейчас, вспоминая, Жанета словно переживает эти безумные, яркие минуты... Она даже слышит запах его напряженного, мощного тела... Такой для нее знакомый, волнующий запах... Тут и аромат его сигар, и любимые духи... и его собственный аромат.

Жанета передвинулась на подушку, где ночью лежала его голова, и совсем зарылась в нее лицом, вдыхая этот запах, снова опьяняющий ее, как это было ночью. Она ясно поняла, что эта ночь положительно переродила ее.

Все бывшее, все, чем жила раньше девушка, теперь ушло куда-то далеко. Семья, подруги, мисс Коллинз, патер Мальерб, родина, все, все...

Что-то новое, большое, тяжелое, вот вроде ее мужа, вошло в нее и заслонило все. То, что много раз девушка переживала во сне, от чего вставала разбитая, взволнованная, трепетная и недовольная, теперь пережито вполне. И как это было сильно, как упоительно кружилась голова, как трепетало сердце... А сейчас она свежа, весела и снова ждет ласки...

Муж... ее муж! Вот что сейчас заполняет все думы, все чувства Жанеты. А что будет, когда у нее будет ребенок от этого мужа?! Сын, конечно. Такой же сильный, славный... Только немного более сдержанный, чем его отец. Она постарается воспитать хорошо этого сына... Как она будет счастлива тогда! Господь исполнил половину ее заветных молитв и ожиданий. Он, Всеблагий и Милосердый Иисус, и Его Пречистая Матерь услышат мольбы бедной, слабой женщины. Никому не будет плохо от того, что он

узнает немного счастья здесь, на земле. Много добра постарается сделать Жанета, посвятить себя слабым, обиженным судьбой... Только пусть Небо даст ей самой небольшой кусочек радости и счастья.

Так мечтала Жанета, мешая чувственные порывы с внезапным наплывом религиозного трепета.

Она ясно видела своего будущего ребенка: высокий, стройный и сильный в то же время... С синими глазами и темными волосами. Она уже тянула руки, чтобы прижать к груди малютку.

Бедная не знала, что четыре года, проведенных в вечном напряжении страстей, не получавших исхода, вечное подавление чувственных порывов, естественных в девушке, достигшей ее возраста, совершенно искалечили ее организм и материнство не суждено ей, так же, как и корона Польши, о которой она мечтала не раз... Игра в любовь с женихом, угасание пламени, ласки без завершения — навсегда подкосили надежды ее на материнство.

Сейчас, после дум о сыне, корона снова мелькнула у Жанеты в уме.

Но уже не с прежней силой и дрожью стала думать она о минуте, когда станет настоящей «крулевой» своего народа, первая между первыми.

Пока все мысли и чувства, все стремления девушки не находили никакого исхода, честолюбие сильнее всего владело ее душой, потому что оно меньше других чувств требует немедленного разрешения, всегда умеет ждать и считаться с обстоятельствами.

Но теперь, когда самые пылкие и естественные позывы и стремления молодого, здорового тела получили то, чего желали, все остальное побледнело.

И, закрыв глаза, Жанета снова видела перед собою близко-близко лицо мужа, чувствовала его дыхание на своем лице, его сильные объятия на своем тонком, но упругом стане.

Пробило десять часов.

— Поздно... надо встать! — решила она.

Протянула руку, взяла свежую, всю в кружевах рубаху, лежащую наготове, сбросила измятую и вдруг покраснела.

Несколько странных темных небольших пятен на ткани мелькнули ей в глаза.

«Так вот это и все!» — подумала Жанета и скомкала легкую шелковую ткань.

— Боже, как глупы люди, что придают значение таким пустякам! Сколько раз за эти четыре года всей душой,

почти вся я принадлежала моему будущему мужу. И это не имело значения. Но будь я менее сдержана, поступи хоть раз неосторожно, если бы эти две-три капли пролились раньше времени, вся моя любовь считалась бы ни во что... Люди стали бы презирать меня... Мой муж имел бы право оттолкнуть меня, как оттолкнул эту... несчастную Фифину, как он ее зовет... Хвала Иисусу, что я была умнее!.. Но как глупы люди... Нет, я его теперь не отдам никогда, никому на свете!

И она даже крепко прижала руками воздух к обнаженной груди, как будто прижимала его самого...

Потом, снова опустясь на подушки головой, она покрылась одеялом и дернула ручку сонетки, висящей над ее изголовьем.

— Дай, Зося, шоколаду... и приготовь умыться. Я скоро встану! — приказала она своей камеристке, молоденькой, миловидной девушке, которую привезла с собой из замка, так как привязалась к расторопной помощнице за три года, которые та служила в семье Бронницов.

Зося вышла, сейчас же принесла на большом подносе шоколад, который давно был готов, поставила на небольшой столик и подвинула все к кровати.

— Муж давно ушел? Я и не слыжала, крепко спала...

— В седьмом часу, ясновельможная княгиня!.. Их мосце ксенже уехали, как постоянно, в город, на прием. Говорили, что вернутся к обеду, а то и раньше...

— Хорошо. Иди, я позвоню! — приказала Жанета, почему-то избегая посмотреть прямо в серые любопытные и лукавые сейчас глаза Зоси, которая успела, между тем, проворно привести кое-что в порядок, убрать ненужное и придвинуть ближе к постели кресло, на котором легким облаком был брошен роскошный кружевной пеньюар.

— Окна все прикажете раскрыть, яснейшая княгиня?

— Раскрой.

Зося исполнила и бесшумно ушла.

Медленно отпивая шоколад, кроша легкие бисквиты в тонких, напряженных от раздумья, пальчиках, Жанета снова погрузилась в свои мечты.

Чашка была допита, поставлена на столик. Но Жанета не поднялась с постели. Вытянувшись на ней, она стала оглядывать себя, как бы желая узнать: не произошло ли и в ее наружности такой же перемены, как в душе?

Нет. Все то же. Высокая, упругая, нежно очерченная грудь, так задорно глядящая сквозь кружево сорочки... Об-

наженная нога так же нежна, бела, с розовыми тенями на колене... Бедра, лоно, рука — все, как и было...

Только она сама не та!.. Лучше, сложнее... Счастливее... И хочет надолго быть такой счастливой и довольной... Все сделает, чтобы так и было... на все решится, пожертвует всем...

Неужели и родиной, и своим народом? Нет, об этом лучше не думать. Этого и не придется сделать. Такого ужасного выбора ей не предстоит. Она не желает и думать о таких мучительных вещах... Будет любить... Любить и ждать...

С этими мыслями Жанета снова погрузилась в крепкий сон сразу, без дремоты. Бессонная ночь и усталость взяли свое.

Не спала всю ночь и другая женщина, близкая Константину, его прежняя Фифина, теперь госпожа Вейсс.

Все было красиво, со вкусом, даже довольно богато убрано в квартире спокойного, немолодого уже немца, полковника, который также без рассуждений женился на бывшей фаворитке цесаревича, как выполнял и различные другие распоряжения по службе. Тем более, что жена была много моложе его, недурна собой и сразу окружила его жизнь удобствами и избытком, какие не снились даже скромному служаке.

Почти два месяца, прошедшие со дня их свадьбы, молодые жили довольно приятно. Константин сам посетил их на новоселье, привез свой свадебный подарок: футляр с бриллиантовым убором жене и несколько теплых, почти дружеских слов мужу.

Но вчера, в день венчанья цесаревича с Иоанной Грудзинской, когда эта весть разнеслась по Варшаве и долетела до ушей Фифины, с последней сделался сильнейший нервный припадок.

— Меня обманули, низко посмеялись надо мной... Это ради подлой девчонки я выжита из дворца, брошена в лапы старому, сонливому тюленю... Какая подлость! Князь не решился мне прямо сказать... знал, что я изуродовала бы эту пигалицу!.. Презренный трус!

Все бранные слова французского, польского и даже русского лексикона, какие за четырнадцать лет пребывания в России и в Варшаве успела узнать Фифина, теперь неслись с ее губ, принявших фиолетовый оттенок, попеременно с рыданиями, стонами и истерическим хохотом.

Придя со службы, полковник застал дома настоящий ад: прислуга и денщики, потеряв голову, сустились, доктор и госпожа Митон, за которою успели послать, как только начался припадок, хлопотали около больной. А Фифина, увидя мужа, хотя и лежала почти успокоенная, без сил, но с его присутствием как будто испытала новый электрический удар, заматалась, стала браниться и выкликать:

— Низость! Предательство! Отомсти за меня! Убей ее... его... всех... О, я несчастная! Обманутая, брошенная!..

— Да хоть вы, пани Митон, скажите мне толком, в чем дело? — спросил напуганный, озадаченный полковник. — Отчего она больна? И так вдруг? Еще утром... Что это значит?..

— Потом, сейчас, — указывая глазами на прислугу и на доктора, успокоительно заговорила Митонша, как звали ее в кружке цесаревича.

В это время доктор, толстенький, живой, краснощекий старичок, опоясанный немец, кончил писать рецепт, подал его Митонше и наставительно пояснил:

— Так, пани, прошу не забыть: три раза в день... Ровно по 30 капель. И компрессы на сердце. Сердце у человека — важнее всего, сами знаете... А у дам — особенно, хе-хе-хе... И все будет хорошо... Честь имею, полковник... Сударыня... Ну, барынька, поправляйтесь. Все будет хорошо... Все пустое. Самое главное — сердце. Берегите свои покой и будете здоровы...

Ловко приняв и сунув в рукав камзола депозитку, поданную ему полковником, доктор вышел. Удалилась и прислуга.

Фифина в последнем порыве истощившая остаток сил, стихла немного и только жалобно стонала, порою даже взвизгивая, как прибитое маленькое животное.

Полковнику стало глубоко жаль эту женщину, хотя он и без пояснений Митонши стал догадываться, в чем тут дело.

А госпожа Митон со свойственной ей прямою даже не стала ему ничего объяснять. Она подала Фифине питье, заставила сделать несколько глотков и мягко, осторожно проговорила:

— Ну, что? Тепер угомонились? И хорошо. А то просто стыдно. Пришел муж, этот благородный, великодушный человек, а вы так расстраиваете себя и огорчаете его. Ну что вы поправите этим? А я знала вас как умную, твердую женщину. Вы же тепер с князем совсем чужие... Вот ваш

муж. Отчего же князю было не взять себе жену? Ну, скажите! Подумайте, и вы поймете, как вы были неправы... И вам сразу станет легче. Я уж это по себе знаю... Чем ты более права, тем более страдаешь. Такая уж у нас у женщин натура!

— Он не смел! Я спрашивала... Он уверил, что нет... Зачем же он лгал мне! Так нагло... Мне...

— Душечка, Фифина, да где же это видано, чтобы мужчина никогда не солгал женщине, а она говорила ему одну правду? Если немножечко любишь и жалеешь человека, порою приходится ему солгать. Подумай, и ты согласишься со мной. Вот я спрошу твоего мужа. Он человек неглупый, пожил на свете. Скажите: правду я говорю? Можно иногда без лжи обойтись? Если даже желаешь добра человеку? Ведь никак нельзя, не правда ли?!..

— Да не знаю... Пожалуй, вы правы... Я только не понимаю...

— Чего тут еще не понимать? Досадно вашей Фифиночке, что наш князь женился именно на этой графине, а не на другой. Да не все ли равно? С другою что было бы? Иначе стал бы он жить с нею, чем с этой, или с тобой, моя милочка? Совершенно одинаково. А я так думаю: если уж не с тобой, так пусть живет с кем хочет и как хочет. Это — дело их симпатий и вкуса... Не правда ли, полковник?

Поставленный экспертом в таких щекотливых вопросах да еще против собственной супруги, полковник только промычал что-то в ответ.

— Видишь, и твой полковник согласен. А он — умный, опытный человек... и со вкусом, иначе не женился бы на тебе... О, старый плут. Вы знали, где подцепить лакомый кусочек... Ну, теперь идите, утешайте вы свою молоденькую, нервную жену. Докажите, что вы в известных отношениях не хуже своего князя... конечно, соблюдая уважение к нему во всех остальных случаях... Ха-ха-ха... Глупенькая. Опять хмуришься!.. Что еще!.. Только без слез. Говори рассудительно, не то я уйду и слушать не стану. У меня уж голова разболелась. Знаешь, я сама не совсем здорова. А любя мою взбалмошную Фифину, прибежала сломя голову... Ну, что?

— Она змея, эта девчонка... Отняла моего Константиана... и сына хочет отнять, я знаю... О, бедная я... брошенная женщина, поруганная мать!.. О! о!..

— Ну, это уж совсем глупости! На что ей твой мальчик, подумай, Фифина? Положительно ни к чему. Тринад-

цатилетний хлыстик. Для одного — он уже вырос, ребенком ей служить не может, пока она своего заведет... И это будет очень скоро, увидишь. Мне сдается, они не ждали костела для своих шалостей... А чем-либо другим сделать мальчишку еще рано. Можешь быть спокойна... Сын твой не будет никем похищен... Увидишь... Ну, прощай. Если ты вспомнила о сыне, значит, плохая самая минута прошла... А у меня дома миллион дел. И мой старик тоже со своим ишиасом да подагрой покоя мне не дает... Теперь, полковник, ваша очередь. До свиданья. Завтра я еще забегу...

И живая старушка легко выскользнула из комнаты.

— Вы молчите, Теодор? Вы тоже согласны, как я вижу, с этой легкомысленной женщиной, которую ни года, ни страдания не научили серьезнее смотреть на жизнь! Значит, так и надо... Человек может лгать, обманывать... брать и бросать женщину, говорить ей одно и делать другое?! Прекрасно... Значит, и вы сами способны на такие же поступки, сударь... А мне вы что говорили?! Вот, все вы, мужчины, одним маслом мазаны... Все... Отойдите, не трогайте моей руки. Не касайтесь меня, старый развратник! И вы такой же, как и он... А я поверила ему, вам... Вышла за вас... Прочь... Лгун... негодяй...

— Да, Фифина... сохрани Боже! — жалобно, просительно заговорил ошеломленный полковник, чувствуя, что буря готова разразиться над его головой. — Разве бы я когда-нибудь решился обмануть вас... мое божество... И, вообще, слабую, деликатную особу вашего пола?! Спросите всех моих товарищей: я, овдовев, жил самым примерным образом и даже никогда...

— А, вы жили примерно... А этого развратника, этого обманщика, оболъстителя — его готовы оправдать... Почему?! Говорите!

— Но разве можно сравнивать? Он — и я! Цесаревич... второе лицо в империи после августейшего своего брата... Это еще милость, как он сделал с ва... то есть с нами... Я, конечно, понимаю всю цену высочайшего благоволения... Но я бы хотел, чтобы и вы успокоились, мой ангел... У них столько важных забот в голове. Они, можно сказать, несут тяготу всей империи на своих плечах... и здесь — королевство все на их руках. Так можно ли им поступать так же, как незаметному капитану, полковнику или даже, скажем, генералу, хотя бы и полному! И люди они другие... и поступки их иначе разбирать надо...

— Другие люди?! — саркастически смеясь, повторила француженка, не пропитанная почтительностью и лояльностью служаки-немца. — Правда ваша, они другие... только не люди... скорей животные, как и все мы... О, проклятье... Зачем я только узнала его... Мой сын, мой Поль, ты вырастешь тоже подобным, бездушным, бесчеловечным существом, из разряда «высших людей»!.. О, мой сын!.. Она оторвет, отнимет у меня моего Поля. Вытеснит из его сердца и самую память о родной матери... Незаконная мачеха — вот кто будет теперь у тебя!.. А меня, твою мать, конечно, и на порог не станут пускать в этот дворец, где я двенадцать лет была полной хозяйкой!.. Боже, Боже! Что вы смотрите, филин немецкий! Неужели и этого не понимаете? Или довольны подачкой, которую вам кинули? Так поймите, не будь ее, я бы еще втрое получила от князя... Впятеро... вдесятеро... если вам так дороги деньги и драгоценности... и чины... А теперь, при этой жене, нуль получите и вы, пешка немецкая...

Поток этих любезностей иступленной женщины был прерван неожиданным появлением в спальне нового лица.

Поль, узнав, что мать больна, поспешил почти бегом к ней, опередив Фавицкого, шаги которого еще слышались в дальней комнате и смолкли потом недалеко у порога спальни.

— Мамочка, что с тобою? — кидаясь к Фифине, спросил значительно теперь выровнявшийся мальчик. Но, не ожидая ответа, спохватился, выпрямился и отдал почтительный поклон Вейсу, который ответил очень ласковым поклоном и вдруг, словно вспомнив что-то, быстро исчез из комнаты.

А Фифина уже привлекла к себе сына и стала осыпать его поцелуями, ласками, повторяя:

— Поль! Милый Поль! Ты здесь... у меня? Что это значит! Как это случилось?.. А я думала... Боже мой, не сплю ли я?.. Я не больна, не тревожусь, мой мальчик. Просто нервы расходились, знаешь, как это иногда бывало и раньше с твоей мамой... Я целую неделю не видала тебя... Как поживаешь? Как ты попал сюда?

— Я здоров, мама, — засыпанный вопросами, тихо заговорил мальчик, поглаживая тонкую, нервную руку матери, — мы пошли гулять, выехали прокатиться с мосье Фавицким... И папа просил заехать к вам. И просил передать, что... княгиня Жанета Антоновна кланяется вам... и хотела бы вас видеть у себя на этой неделе. Вечером, к

чаю, запросто... Папа так сказал. И княгиня тоже просила меня.

Мальчик, очевидно, таящий в себе волнение, умолк с рдеющими щеками и потупленным взором. Он, конечно, многое понимал, но не решался стать судьей между отцом и матерью, тем более что почему-то отца он любил даже сильнее, чем мать.

Теперь он только еще нежнее и чаще стал гладить пальцы матери, как будто этой лаской хотел повлиять на мать, уговорить ее без слов также легко и просто принять предложение, как оно было сделано ей.

Догадалась об этом и Жозефина.

Она помолчала. Красное от возбуждения и гнева лицо ее теперь сразу побледнело, глаза потемнели, расширились. Ироническое выражение рта сменилось скорбной улыбкой. Несколько слезинок выкатились из-под темных густых ресниц и докатились до уголков рта, где она ощутила соленый вкус этих редких, тяжелых слез.

— Хорошо. Передай папа... и княгине, что я приеду... и... благодарю за внимание... А теперь поезжай, катайся. Тебе полезно. Вот как ты плохо выглядишь, мой мальчик!

И прижав голову мальчика к груди, она осыпала его поцелуями, затем слегка оттолкнула, шепнула:

— Иди!

Не успел он уйти, как Фифина кинулась головой в подушку и неудержимые потрясающие рыдания вырвались из ее трепещущей груди.

И всю почти ночь до утра проплакала Фифина, запершись одна в своей спальне...

Константин, по обыкновению своему, и в это утро проснулся около пяти часов, почти через час после того, как уснул, давая отдых от ласки и себе, и, больше всего, своей молодой жене.

Спать больше не хотелось. Многолетняя привычка оказалась сильнее усталости, которую испытывал он после бессонной почти ночи. Да и усталость эта была такая приятная. Вид спящей рядом Жанеты и воспоминания так возбуждали его, поднимали дух, бодрили тело, что князь осторожно поднялся и отошел от постели к умывальному столу, вылил сразу себе на голову кувшин воды. Это помогло. Он сумел прогнать искушение, тянувшее его: разбудить спящую красавицу поцелуем и снова отдаться безумию ласки.

— Нет, шалишь! И ей покой надо дать, бедняжке... Ишь, как бледна сейчас, моя ласточка... И дело ждет. Нельзя дела оставлять ни в каких обстоятельствах!

Так уговорил себя Константин. Накинул халат, вышел рядом, в ванную, где уже была приготовлена холодная ванна надлежащей температуры, как всегда брал цесаревич по утрам.

Сделав первый туалет, он перешел в уборную, куда по звонку вошел камердинер Фризе.

— Я сегодня поеду в город на прием, как всегда. Давай одеваться... и кофе! Там есть Курута? И кто еще?

— Полковник Колзаков. Больше никого нет, ваше высочество.

— Ну, скажи, я выйду к ним...

Через полчаса Константин, уже вполне готовый к выезду, вошел в небольшую приемную перед кабинетом, где Курута о чем-то оживленно беседовал с молодым Колзаковым, сыном старого боевого моряка, адмирала, бывшего в тесной дружбе с Константином. Поэтому и сын пользовался исключительным расположением Константина и несмотря на молодость, быстро повышался в чинах.

— Что, не ждали, думали, просплю? — обратился прямо к ним цесаревич. — Вижу, вижу ваши хитрые физиономии... Правда, я немного задержался. Но только за туалетом. Поезжайте, я сейчас буду. Сам всех приму... Не доставлю тебе удовольствия, старая греческая крыса, избражать мою особу, как бы ты того хотел, честолюбец!..

— Ма, скажи пазалуста!.. Какая особа. Теперь я бы дома лучси представил васи высочество, хе-хе-хе! — дробным смешком раскатился Курута и его глаза, еще полные жизни, словно маслом подернулись.

— Но-но-но! — погрозил ему почти серьезно Константин.

Грек-наперсник сейчас же изменил выражение лица на елейное и заметил:

— Зацем плохо думать?! Берегла лиса курятник... читал басенку старинную? Едем, едем, без дальних разговоров...

Курута и флигель-адъютант отправились вперед, а Константин снова покатил в Брюллевский дворец в том же кабриолете, что и вчера. Только теперь второе место занимал грум, которому он бросил вожжи у подъезда дворца, куда они подкатали чуть позже восьми часов утра, то есть почти в обычное время.

Хотя было сравнительно рано, но приемная комната и рядом большой зал уже наполнились народом, все преимущественно военными разных чинов и рангов, различного рода оружия и полков, начиная от начальников частей, до группы новобранцев, которых каждое утро смотрел сам цесаревич в их новой амуниции.

В приемной комнате Константин принял полковые рапорты, проглядел поданные ему наряды в карауле, доношения всякого рода от дежурных и ординарцев от гвардейских пеших полков.

Покончив с этой ежедневной работой, Константин кивком отпустил оставшихся и уже хотел перейти в соседний большой зал, когда ординарец доложил:

— Ясновельможный князь наместник!

Дверь широко распахнулась и Зайончека внесли на его неизменном стуле.

— Ясновельможный князь! — идя быстро навстречу с протянутыми руками, приветливо заговорил Константин. — Рад видеть! Чему обязан...

— День добрый, ваше высочество... Сейчас... Поставили? Ну, идите!..

Два гайдука, пятась, вышли из покоя. Гость и хозяин остались вдвоем.

— Прежде всего, конечно, я хочу поздравить ваше высочество с таким счастливым событием, которое случилось вчера в стенах нашей Варшавы! Теперь, мосце ксенже, я умру спокойно! — тепло проговорил седой ветеран и даже слезинка капнула на его седые, молодецкие усы, а сам он снова протянул руку цесаревичу, которую тот крепко, сердечно стал потрясать, так что старик заколыхался на своем сиденьи.

— Благодарю от души. Но я и сам думал с княгиней моей быть у вашей мосци, яснейший князь, и у княгини Зайончек... Тем более почтен и рад... Я передам моей княгине. Она будет тронута и польщена... Вы знаете, как Жанета уважает и любит вас, вашу семью...

— О, да! И я горжусь, что в моей семье княгиня чувствовала себя всегда, как родная, даже когда мы и не мечтали о счастье, готовом выпасть на долю ей, о чести, которую пошлет Бог всей Польше в лице одной из лучших дочерей ее.

— Рад, рад! — повторил Константин, не находя, чем ответить на такой поток цветистых приветствий и похвал.

— А кроме удовольствия слышать ваши теплые речи, чем могу служить вам, пане наместник? Нет ли каких дел

спешных? Говорите. Я к вашим услугам. Нынче идет курьер к брату, с повещением о моем браке и прочее... Может быть, есть что по управлению, что бы вам хотелось?.. Приказывайте.

— Да нет. Вы, яснейший князь, сами все знаете... Дело с обведением Варшавы стсною и рвами для прекращения подвоза контрабанды из провинции... Это, кажется?..

— Решено, как вы желали, яснейший князь. Теперь сбор пошлин усилится и толковать нечего. К работам можно будет приступить немедленно. Приказ получен. Старые валы и рвы можно почистить, подсыпать, стены поправить... Словом, денег будет довольно на расходы, помимо тех, которые шлет нам его величество, наш император и круль!

— Да хранит его Господь на многие лета... Значит, не вызвало опасения соображения наших «приятелей», что рвы и валы копаются для будущей защиты города от наших же друзей, ваших соотечественников?

— Какой вздор! Конечно, нст. А второе, и так сказал государь: «От наших пушек и штыков до сих пор никакие стены и рвы не спасали. Не спасут и эти, если, не дай Бог, что случится!..» Ловко? а?!

— Прекрасно... «Не спасут!» Вот уж правда!.. Ха-ха-ха!..

И оба дружно рассмеялись, хлопая друг друга от удовольствия по колену.

— А как насчет набора? Несколько лет Бог миловал... У вас в России совсем не брали солдат... Народ отдыхал после стольких войн. А у нас тоже мало тревожили хлопов. Как в этом году, не слышно ли, ваше высочество?

— Пока ничего не знаю, вельможный пане наместник. Вот что скажет предстоящий конгресс... Император Франц зовет брата в Троппау. Сами знаете, пане наместник, в Европе неспокойно. Эти масоны, монтаньяришки, всякие прохвосты, наполеоновская банда снова зашевелились. В Испании волнуются люди. В Неаполе того и жди бунт начнется против законных властей... В Италии, вон, уколошили герцога Беррийского. А за что, спросите их? Как будто другого на его место не найдется! Уж не им же власть отдадут все государи Европы! Шалишь... Да, авось, как откроется сейм месяца через три, все и повеселеют, как полагаете, пане наместник?

— Сейм? Гм... Гм... Да, это хорошо. Надо дать выговориться людям. Кстати, можно будет узнать, кто чего желает.

На сейме, конечно, все свободно говорят. Потом и разобраться легче: где враги?.. Но... гм... хм... должен сказать по чести. Врагов много у нас... и у меня, ваше высочество... и у вас... и... у самого нашего вельможного круля и императора, да сохранит его Святая Матерь на многие годы.

— Аминь. Да это пустое! Бог не выдаст, свинья не съест, знаете нашу пословицу русскую, яснейший князь? Пусть попробуют, лайдаки! Я им так спины и все прочее вспишу со своими драгунами и стрелками, что они будут долго почесываться. Долго не смогут и присесть, гицели¹ этикие... Знаю я, чего им захотелось: меня долой, вас долой. Не той вы кости, не магнатского роду! Тем больше чести, что ум и храбрость вам и чины дали, и титул, и славу... Эти Чарторыские, Замоиские, Яблоновские и присные их! Знаю я всех...

— Вот, вот... Эти самые...

— Чего уж тут? Они и не скрывают своих требований и планов. Новосильцев раньше был за них. А теперь и он их раскусил. Сестра Екатерина Павловна тоже с нами. Карамзин, умный, ученая голова, — такую записку через нее брату представил, что тому пришлось подумать... Я чуть не со слезами тоже молил. Подумать только: что это будет, если теперь к Царству Польскому наши старинные западные земли придать?! И так сладу нет с вашим народом. Глупый он. Пять-шесть задир командуют, а все другие, как бараны, прыгают за ними в яму! Просто в яму!.. Дурни... не правда ли, пане наместник? Ну, да еще поглядим... До сейма недалеко... А... вы меры какие-нибудь все-таки приняли?

— Да, стараюсь, — немного неуверенным тоном отозвался Зайончек, совсем не того ожидавший от собеседника. — Имею сведения... Держу всех на виду...

— Ну, значит, хорошо. А придет пора действовать, я вам помогу! Такую им покажу конституцию, этим смутьянам! Они меня не забудут... А насчет набора, значит, я все-таки спрошу государя...

— Да, да, прошу вас, ваше высочество...

Зайончек хлопнул в ладоши, вошли его два гайдука.

— Пока имею честь вам кланяться... Простите, если обеспокоил...

— Рад был видеть вельможного пана наместника... Завтра же мы с княгиней будем у вас, кстати, праздник... До приятного свиданья!..

¹ Собакобойцы.

Через всю залу к выходу понесли наместника, перед которым почтительно склонялись все здесь находящиеся, а старик приветливо кивал в ответ седой, отмеченной боевыми рубцами головою.

Когда Зайончека унесли, вышел Константин и стал обходить здесь собравшихся просителей и призванных им самим лиц, начиная со старших чином.

Колзаков, раньше опросивший всех о причине появления, с записным листом шел за плечом цесаревича и порою давал необходимые объяснения, если смущенный посетитель не так скоро и ясно мог ответить на отрывистые вопросы, которые Константин сейчас задавал к тому же с довольно суровым видом, очевидно, находясь еще под впечатлением предыдущей беседы с Зайончеком.

Группа штатских с графом Мокроновским во главе стояла особняком.

Обойдя нескольких генералов и генерал-майоров, цесаревич направился к этой группе.

— Чем могу служить? — отвечая сухим кивком на почтительные поклоны посетителей, спросил он, глядя прямо в лицо приземистому, толстому графу, который сразу почувствовал сухость приема, тоже слегка потемнел и стал покручивать свои длинные, польские усы.

— Здесь, в этой бумаге, ваше высочество, изложены наши ходатайства, — подавая лист, ответил Мокроновский. — Но мы и на словах явились ходатайствовать перед вашим высочеством о скорейшем решении вопроса. Новая богадельня, которую решил строить наш кружок при участии магистрата, будет возведена достаточно далеко от арсенала... И не выше его, а на одном уровне. Между тем, нам чинят препятствия вот уже больше полугода... И мы решились...

— Напрасно-с. Я знаю, в чем дело... Закон, так о чем тут толковать?! И меня, и себя беспокоите зря. Расстояние не соблюдено...

— Но дальше земля чужая, ваше высочество... Костел порушить нельзя... А другой земли у нас нет и мы смеем...

— Напрасно смеете. А я не смею... Если желаете, обращайтесь к его величеству, к нашему императору и королю... Я ничего не смею...

— Но если вы, ваше высочество, отказываете, то, конечно...

— Конечно-с, и там вам откажут. А вы как думали? Что мы зря поступаем? Против законов? Ошибаетесь. Больше ничего не имеете сказать? Честь имею!

И кивнув снова головой, он прошел дальше, оставя всех возмущенными, с затаенным в душе негодованием и обидой. Только красные, возбужденные лица и стиснутые кулаки говорили, как повлиял на избалованную, гордую шляхту такой прием.

А цесаревич обходил всех поочередно. Осматривал каждую вещь в снаряжении новобранцев, ласково расспрашивал о семье, о родине, внимательно выслушивал неловкие, спутанные ответы смущенных «молодяков» и казалось, совсем другой человек только что «отчитывал» уса-тых надменных панов с вельможным графом во главе.

— На площадь к разводу я сегодня не поеду! — кончив прием, сказал Куруте Константин. — Эту поблажку можно себе дать в кои веки. Распорядись. А я домой. Приезжай к обеду... Ничего, ничего, старина, не стесняйся... Ты свой человек... С Богом.

Уже почти при самом выходе цесаревича остановил его гоф-курьер Беляев, франтоватый белесый человек лет тридцати.

Он побывал с великим князем за границей, научился там немного болтать по-французски, любил читать все, что попадалось под руки, особенно газеты с политическим отделом.

Свобода мнений и обращения, принятая во Франции, очень понравилась недалекому, наивному человеку и он, видя, как меняют свои отношения даже лица до самого государя включительно, едва только попадают в чужие пределы, особенно во Францию, заключил, что все порядки этой страны верх совершенства.

Константин заметил увлечение своего слуги, глупость которого и наивная откровенность зачастую доставляла немало забавных минут и самому князю, и его окружающим.

Стоило завести с Беляевым речь о Франции, и комедия начиналась сама собою. Он хаял все русское, возводя французские обычаи, особенно республиканскую свободу и равноправие, в идеал общежития.

— Совсем по-евангельски жить хотят! — шепелявя немного, брызжа слюной и воодушевляясь, возглашал Беляев, помаргивая своими бесцветными, без бровей и ресниц, маленькими, но ясными глазками. — Нет ни старших, ни младших. Божьи дети, одно слово. Вот, кабы я родился французом: как бы превосходно. Сейчас: егалите, фрaternите и либерьте!.. И алоньз анфан!.. А тут на манер собаки служи вам, господам. А благодарности никакой...

— А какой же ты хотел бы благодарности? — спрашивал серьезно сначала Константин.

— Ну, какой? Известно, следующий чин... и орден... и крестьян немножко... Чтобы и я, как люди, мог жить...

— А они на тебя бы работали? Ловко. А как же «фратерните, либерьте»? А? Скажи, братец.

— А так бы и было... Потому я со всеми равный быть могу... как я свет видел... и понимать все могу, и соответствую... А если и они, крестьянишки мои, к разуму придут — тоже своего потребуют, меня по шапке, уж будьте покойны... Так всегда: кто в разуме первый пришел, тот другого, если есть над ним начальство, — сейчас по шапке, сам господин себе быть должен. Вот и егалите и прочее... Как бы вы думали? Я хорошо дело понимаю...

— Превосходно, что и говорить! — заливаясь смехом, отвечал Константин, а Беляев умолкал, обиженный, мрачный, насколько могла принимать мрачный и обиженный вид его бесцветная, невыразительная физиономия, похожая на что угодно, только не на лицо человеческое.

Сейчас он, усердно кланяясь, заявил:

— С приездом, ваше высочество! Поздравить честь имею со вступлением в законный брак...

— Ах, ты вернулся?.. Бумаги сдал? Хорошо... Это ты меня со своим приездом поздравляешь, Беляев? Благодарствуй... И в законный брак ты вступил? Когда же? Я и не слышал! Когда? Говори!

— Ну, разве я такой дурак, чтобы в мае свадьбу справлять? Я не женился, ваше высочество! Вас честь имею поздравить с законным...

— Ах, это прекрасно... Ты не так глуп? А почему же, скажи?

— Ну, кто этого не знает?! В мае жениться, весь век маяться! — серьезно ответил философ гоф-курьер.

— Ха-ха-ха, вот оно что! А я и забыл про это! Жаль, что ты мне раньше не сказал. Подождал бы уж недельку... Ни за что не женился бы в мае...

— Как, недельку? Сегодня только 13-е. Еще бы три недели подождать надо...

— Приятель, с панталыку сбился. У нас уже 25-е нынче...

— У вас... у вас! Я, чай, ваше высочество, из крещеного государства приехал, из матушки Рассеи, не из вашей польщизны анафемской, где все шиворот навыворот... И числам порядку нету. Почему здесь на две недели время

вперед? Какое такое правило? Ну, у французов свой закон. А поляки теперь под нами! Так и время у них наше должно быть. А они все крамолу подводят. Все матушку Рассею обмануть хотят. Вот и время передвинули. Идолы...

— Верно, правда твоя... Если здесь тебе умирать придется, гляди, ровно на двенадцать дней раньше срока померешь, ты это знаешь ли?

— Конечно, знаю. Нашли кого учить... Я давно знаю, — выражая хитрость на своем деревянном лице, подмигнул Беляев. — Как придет пора, сейчас отпуска просить стану и в Рассею, к себе, в Калуцкую губернию. Там, небось, в свою пору помру. Не подарю этих двенадцать деньков последних, нее-ет!..

— Ну, ладно, отпуск за мной! — смеясь, сказал Константин и вышел из зала.

— Еще спит моя птичка, — тихо прошептал Константин, входя в спальню жены около одиннадцати часов утра.

Он уже успел переодеться в свой любимый белый китель, днем заменяющий ему халат, был в туфлях и, вообще, совсем по-домашнему.

Только вечную сигару бросил в коридоре, перед дверью спальни, зная, что Жанета не выносит табачного дыму.

По привычке он двинулся было к камину, у которого всегда стоял спиной, даже летом, а уж осенью и зимой — так и проводил близ него, часами стоя, заложив назад руки, откинув ими фалды сюртука, чтобы огонь лучше мог обогреть его, зябкого от природы.

Но теперь он быстро изменил диверсию, на цыпочках подошел к кровати, нагнулся над изголовьем и стал всматриваться в лицо, в шею и грудь молодой женщины, которая, казалось, спала и не чуяла ничего.

Однако Жанета не спала. Чуткая дрема была прервана и шорохом шагов Константина, и легким вздохом раскрытой и закрытой двери, и холодком, который почуяла Жанета на себе, когда тень от широкой фигуры мужа упала ей на лицо, на грудь, заслоняя теплые, ласкающие лучи солнца...

Несожиданно две стройные руки сверкнули белыми молниями в воздухе, охватили шею Константина и голова его, прижатая к горячей груди, вдруг снова закружилась. Все заплясало кругом, он ничего не мог разглядеть, кроме сверкающих, потемнелых глаз, рдеющих губ, полуоткрытых в истоме, с двойным рядом мелких жемчужных зубов...

Когда они оба снова пришли в себя, часы били полдень.

— Что же, ты так нынче и не встанешь, плутовка? — спросил с притворной строгостью Константин. — Подумай, что скажут все? Первый день молодая хозяйка в доме и так... расхворалась, что не вышла даже к столу... Подумай!..

— Пусть думают и говорят, что хотят... Я, правда, больна... любовью к тебе, мой милый... Но успокойся: я сейчас встану... оденусь... Только, поди сюда... Я хочу тебе сказать... Вот, я лежала здесь так долго... Думала о себе, о тебе. О нашем счастье... И, знаешь, я не узнаю себя! Это ты виноват. Вчерашней Жанеты нет, Иисус Сладчайший мне свидетель! Я искала сегодня себя и не нашла... Другая какая-то, незнакомая еще мне самой, но безумно счастливая женщина, вот кто теперь твоя прежняя Жанета. И мы должны снова знакомиться, мой милый, как познакомились раньше эти долгие, томительные четыре года!..

— Да, четыре года. Такую марку не всякий способен выдержать... и не для всякой мог бы я так долго мучить себя... Только для моей Жанеты... Милая...

Расцеловав нежную стройную фигуру жены, ее юное, упругое тело, он все-таки взял себя в руки и поглядел на часы.

— Ну, а как же теперь, птичка? Еще лежим?..

— Нет, ступай, одевайся и позвони... Я тоже оденусь, мы выйдем вместе к столу... Иди!.. Помни: я теперь иная... Но вся твоя и навсегда... И ты мой, да, мой?..

— Пусть Господь слышит: твой!

Она еще раз прижалась губами к его губам, оттолкнула его и шепнула:

— Верю. Иди.

В это самое майское утро, пользуясь свободным от учения, праздничным днем, ученики коллегияльной гимназии с флагами, стройными рядами выступили на обычную ежегодную маевку, какая справлялась и другими коллегиями и гимназиями, до университетской молодежи включительно, только в различные дни.

Несколько наставников сопровождало молодежь, особенно для надзора за малышами первых трех классов.

В хвосте процессии следовала повозка, нагруженная всякой провизией.

Мелкие торговцы съестными припасами тоже издали следовали за колонной гимназистов, надеясь, что не потеряют труда и времени, особенно принимая во внимание долготу летнего дня и юные аппетиты экскурсантов.

Несколько папенок и маменек в экипажах и в наемных пролетках тоже двинулись заблаговременно к сборному месту, за Вислой, на опушке кудрявого густого перелеска, где, к тому же, холодный, прозрачный ключ, родник прекрасной воды пробивался из-под корней старой, мшистой ветлы.

От леса до самого берега реки гладким, шелковистым, зеленеющим скатом раскинулась ровная луговина, у края воды окаймленная как бы темно-зеленой рамой сочной, иглистой осоки, от которой в теплое, майское утро шел какой-то охмеляющий, пряный запах.

Прямо за перелеском, тоже отделенный от передовой рощи новой луговиной, темнел большой старый лес. А вдоль берега, где эта передовая роща раскинула последние купы кудрявых кустов и деревьев, опять горели под солнцем светлые пятна лугов, на которых в обе стороны раскинуты были купы деревьев, одинокие вязы, клены и липы, порою сбегающиеся в такие же веселые рощи, как и эта, ближняя, против города, куда переправились колонны учеников, где собрались телеги, экипажи и забелели в одно мгновение ока разбитые палатки.

Веселая песня, с которой шли ученики, оборвалась, как только колонновожатый подал знак и скомандовал:

— Привал! Вот мы и пришли, дети мои! Устраивайте игры, бегайте, гимнастируйте. А часа через два труба созовет вас к закуске!..

— Виват пан Игнациус! — крикнуло сотни две молодых голосов и, как ртуть по зеркальной глади, рассыпались дети по луговине, более усталые прилегли под тенью деревьев. Малыши столпились около своих проводников, ожидая, что те организуют забавы и игры, или пошли разыскивать, где их родители, обещавшие тоже поспеть к приходу колонны на знакомую поляну.

Самые нетерпеливые, плохо подкрепившиеся перед выступлением или просто обладающие более сильным аппетитом, уже окружили палатки продавцов, там высматривали, что можно купить на свой злотый, который сунули им в руки родные перед уходом. Две палатки, изображающие буфет для учеников, раскинутые седым Стасем и его помощником педелем Ганкой, тоже были осаждены любо-

пытными малышами, желавшими заранее знать: чем будут угощать их за тот круговой взнос, который сделал в гимназическую кружку каждый участник маевки.

Скоро весь луг покрылся группами молодежи. Играли в мяч, в бочки, прыгали в долгую лозу, которая в России называется «чехардой», вероятно, с татарского языка... Тут уже разметили и городок, и две партии вихрем перелетали в его пределах из конца в конец, звонко хохоча и подзадоривая друг друга, сшибаясь, падая на бегу и снова поднимаясь, чтобы бежать сломя голову к заветной черте...

Подальше от шума и гама — несколько мальчиков и юношей постарше, вооруженных сетками, ящиками для сбора трав, бабочек или жуков, мелькали на лугу, показывались и исчезали под купами дерев, гоняясь за бабочками, собирая полевые цветы, травы, добывая из-под коры старых вязов жуков и личинки или ловя мохнатых тяжелых шмелей и увертливых, легких пчел, которые так и носились по воздуху, нагруженные золотистой пылью.

Были и такие лакомки, которые, поймав пчелу, отрывали ей брюшко и выпивали, как вампиры, каплю сладкого сока, хранимую в себе мудреным созданием до тех пор, пока оно не сможет отдать свой запас в общую ячейку родного улья.

Ученики старших классов также принимали участие в общей резвости и веселье, но делали это с известным оттенком степенности, как и подобает лицам, которые в недалеком будущем войдут под сень университетских сводов, чтобы потом засиять в качестве судей, адвокатов, врачей, ученых и прочее, и прочее.

Незаметно, один за другим, отделились от общей массы человек двадцать учеников старших классов, от пятого до седьмого включительно, и стали разными путями скрываться за деревьями второго лесного массива, там пробирались напрямик, через кусты и валежник, очевидно, знакомыми тропочками, к довольно обширной поляне, окруженной высокими соснами и кленами.

Посреди этой поляны деревья были срублены и место очищено, очевидно, для пасеки или лесного хутора. Но еще никакой стройки не темнело нигде на зеленом ковре трав, между которыми еще росли перистые папоротники, раньше находившие тень и влагу у подножья срубленных сейчас стволов.

Белокурый стройный юноша с красивыми, но близорукими глазами, в очках, явился раньше других и сидел в

центре поляны, на пеньке, перелистывая небольшой томик в старинном кожаном переплете.

К нему понемногу подтянулись и остальные товарищи.

Это был гимназический союз «Друзей Эллады и Рима», как они называли себя открыто начальству и малознакомым людям. Сами же в своем кругу этому союзу давали совсем иное, более значительное имя: «Юной Польши».

Когда перестали с опушки подходить участники собрания, первый пришедший как бы сосчитал всех глазами, проверил, нет ли чужих, и, поднявшись на своем пеньке, как на кафедре, спросил:

— Начнем, товарищи? Кажется, все... Нет Стася и Самуила Чапского. Но они совсем не могли попасть сюда, как вы знаете...

— Да, да, начнем... А то затрубят в этот дурацкий рожок, придется примкнуть к остальным... Начнем...

— Кто нынче презусом?

— Да кому же, кроме тебя! Ты — презус... Лукасиньский!... Юзя прсзусом!..

Молчаливым наклоном головы принял избрание юноша, родной брат майора, которого мы встречали в первых главах нашей повести.

Здесь, в кругу восторженных патриотов-юнцов он играл роль такого же общепризнанного вожака, как старший офицер в своей, более зрелой, сознательной среде.

Сделав выбор, юные патриоты, раньше стоявшие кружком, заняли места, кто просто на траве, кто присев на пенек поровнее.

Юзя, как его звали товарищи, раскрыл книжку, которую держал в руке и громко прочел:

— Тацит. «Гибель Юлия Цезаря».

— Читай! Читай! Вот ловко! Как раз! Читай! — раздались с разных сторон юные, свежие голоса, как будто частый крупный дождь звонко ударил по медному куполу пустого здания.

Даже эхо слабо отдалось в лесу и две-три птички выпорхнули из больших кустов, где притаились, напуганные таким необычным, большим собранием неведомых лесу людей.

Юноша громко, внятно начал читать эту великолепную картину вдохновенного историка, который своим стилем, как резцом на бронзе, начертал образ диктатора в последние минуты жизни и его главнейших убийц, мстителей за угнетенную вольность, за свободу народную, похищенную

этим гениальным насильником так незаметно, легко, почти по воле самого народа...

Юзя Лукасиньский читал без особого, неискренного в большинстве случаев, подъема и пафоса, но с вдумчивым проникновением, очевидно, и сам переживая душой настроения героев повести. Он загорался глазами и лицом, читая о натиске Кассия, взмахивал судорожно рукой, как, верно, сделал это и сам Брут, наносящий почти не глядя удар своему личному благодетелю, но тирану отчизны и всего народа римского.

Даже фраза «И ты, Брут?!» прозвучала такой неподдельной тоскою, что было ясно: от ударов своего любимца, сына души своей, которому он готовил великое наследие, Цезарь защищаться не станет: он должен завернуться в тогу и молча, красиво, пронизанный десятками ран, опуститься, как жертва, к подножию статуи и умереть.

Когда умолк чтец, несколько времени тишина жуткой сетью охватила всех. Только легкий ветерок шелестел ветвями, кузнечики стрекотали в траве, жаворонки звенели высоко в небе и далекая кукушка куковала в лесу.

Но вдруг почти все заговорили.

— Это — люди! Вот это заговор... Цезарь тоже сильная штука! Знал и пошел на гибель... Не верил, каналья, что его посмеют устранить!.. Молодец старина Тацит! Как будто сам при том был... Я вижу эту катавасию... Ловко состряпали...

— И Юзя хорошо прочел, товарищи, — мягко, но внушительно проговорил незначительный юноша с худеньким, остроносым лицом, Петр Заливский, — надо отдать ему честь. Он понимает, что читает, а, как скажете? Каждому ясно становится: в чем тут бабушка сидит, а?.. Куда камушки сыпятся...

— Верно, правда. Молодец, Лукасиньский... Браво, Юзя! Теперь комментарий... толкование на классика... Начинай ты, Юзя! — снова предложили товарищи.

— Думаю, все и без толкования ясно. Но, если желаете, я скажу несколько слов, — согласился Лукасиньский. — А там кто желает, пусть возразит мне или дальше разовьет тему... Слушайте, товарищи: какая простая вещь! Людям стало нестерпимо даже такое рабство, которое несло им много выгод, делало господами над полумиром. Но они сказали: зачем нам быть угнетателями других и там властвовать, если у себя мы все рабы, извиваемся под пятой этого завоевателя, как последние чер-

ви?! Лучше пусть будет свободен мир с нами вместе!.. Сказали и сделали. Где? В старом Риме, где крепки так были грани сословий, где меч воина решал все вопросы... Где патриций имел право жизни и смерти над простолюдином и только платил пеню за убитого человека, как за украденную лошадь платит теперь штраф иной молодежь... Вольные сердцем, отважные духом люди захотели и сделали... Герой, повелитель, полубог, которого чтит, перед которым трепетал весь Рим, пал мертвым, как всякий зарезанный теленок. И никто даже не мстил... Живые люди всегда имеют свои, личные интересы и за счет чужой смерти охотно поправляют свои дела... Мелкие угнетатели не страшны уж потому, что боятся смерти. А Цезарь не боялся ее... и все-таки погиб, когда нашлись еще такие же смельчаки, презирающие смерть. Ему мстили за сосланных друзей, за обесчещенных дочерей, и жен, и сестер. А теперь разве любой из насильников до самого главного из них не бесчестит наших жен, сестер и возлюбленных, даже если берет их тело пред алтарем Божиим? Дети такого брака — не дети нашей святой церкви... Души этих жертв тоскуют в насильственном плену... Полька не может быть иною, только полькой... А их заставляют не любить отчизну! Позор...

— Позор! — напряженно откликнулись молодые голоса.

— У нас нет, как в Риме, правящего класса, который желал бы Цезаря, в каком бы... виде тот ни явился. Наши магнаты сами рабы у последнего из преторианцев этого русского диктатора с лысой, жирной головой, такой же, как и у его брата!

— И оба они лицемеры! — крикнул Заливский. — Говорят одно, а делают другое!.. Константин совсем двуликий Янус...

— Какой там Янус?! — отозвался чей-то голос. — У Януса — две головы... А у этого — разве две... поясницы... Безголовый Янус наш «старушек»!.. Двуспинный Янус...

— Ловко, ловко! Двуспинный Янус! — со смехом перекатилось по поляне.

— Пойдите, товарищи. Довольно шуток. Час наш еще не пришел. Мы еще молоды и не можем вмешаться в дело общее, в настоящую жизнь. Но надо готовиться... Вот брат мой, Валериан, говорил: готовятся русские идти на помощь австриякам тиранам, презренным барышникам против угнетенной Италии... Может быть, и наши польские войска, которые так муштрует некоронованный «круль» Констан-

тин, будут двинуты туда же, чтобы душить вольность великого народа! Можем ли мы терпеть это?..

— Нет, не можем!.. Не можем...

— Вот и нужно готовиться... Строить планы...

— Какие? Как? Говори, скорее...

— Я еще не знаю... Я не думал. Подумаю. Будем все работать... Подумаем... Бог просветит нас на благо отчизны... Да живет наша Польша!..

— Нех жие Польша!..

— Будем готовиться, чтобы каждый из нас, не дрогнув в решительную минуту, мог нанести смертельный удар тирану!..

— Pereat!

— А пока будем осторожны... В нас таится будущая судьба отчизны... Будем приветствовать цезаря, готова ему самому удар: ave, Caesar! Morituri te salutant!¹

— Ave!

— Споемте теперь нашу босвую песню!..

И свежим, хотя и несильным голосом он затянул:

Еще Польска не згинела!..

Хор подхватил подмывающий напев...

Вдруг из-за деревьев со стороны, где раскинулся лагерь и кипела веселая маевка, послышался резкий свист, другой. Все смолкли, насторожились.

— Ничего, товарищи: наши часовые извещают, что идет враг... Приближаются шпионы или чужие, случайные свидетели... Давайте, будем петь... Чтение классиков кончено... Начинай, Игнас, у тебя это хорошо выходит:

Там, гдез блоня пышно квеце!..

Полувоенная, полународная задорная песенка сразу понеслась в теплом воздухе, песня о молодце-гусаре, которому красotka, проходя мимо, не только отдала свою кошелку с грушами, но подарила и горячий, сладкий, слаще спелой груши, поцелуй...

В сопровождении двух воспитанников появился сам инспектор, которого озаботило исчезновение целой группы учеников, которых все знали за сорванцов и коноводов во всяких необычайных выходках.

Кто-то сказал, по какому направлению уходили некоторые из этих сорванцов и Лиса-Полизуха, как звали ин-

¹ Здравствуй, Цезарь! Идущие на смерть приветствуют тебя! (лат.).

спектора, разыскала таинственную луговину, а на ней и всех отсутствующих.

— Что такое? Песни глупые... И для этого так надо отбиваться от всех? — с недоверием оглядываясь и покачивая головой, заметил он.

— Вовсе мы не песни петь сюда собрались, а почитать Тацита и Тита Ливия среди природы! — скромно отозвался Заливский, принявший еще более невинный вид, чем это было раньше.

— Ливия? Тацита? Могу представить... На чистом воздухе? Вы и в классе от классиков бегаете... А тут, на тебе: на чистом воздухе! Мне не замутите глаз вашим чистым воздухом!.. Идемте-ка туда, где все...

— Идемте... идемте... Мы уже кончили... И сами собирались...

С говором двинулись юноши к сборной поляне через лесную поросль.

— Следующее чтение когда, я повешу вас, товарищи! — крикнул Лукасиньский и первый кинулся в гущу леса.

Когда все ушли, и поляна опустела, из густого кустарника совсем близко от места, где стоял и читал Лукасиньский, показалась темная фигура в сутане ксендза. Это был преподаватель Закона Божия в младших классах, патер Францишек.

— Вот какие игры у нашей молодежи завелись, — в раздумье покачивая головой, пробормотал он. — Интересно, что из них выйдет, из больших... А дух — хороший... Могут пригодиться в свое время эти молодяшки... Надо будет с графом Антоном и Адамом потолковать... Сказать им... «Еще Польша не згинела»... Ишь, как старики поют, так молодежь чирикает, недаром говорится... Еще не згинела... Поглядим, посмотрим...

К поре завтрака поляна приняла совсем вид жилого лагеря. Около буфетных палаток на траве были устроены мгновенно раскинутые «столовые», причем скатерть, разостланная на земле, заменяла стол и пирующие возлежали кругом по примеру древних.

Кроме ларьков со сладостями и игрушками: мячами серсо, воланами, — появились две шарманки на разных концах стана, то задорно, то печально прорезающие общий гул своими избитыми ариями и народными песнями. На

одной из шарманок стояли две маленькие клетки. Обитатели этих клеток клест и белая мышка вынимали желаящим «оракул» на счастье.

После завтрака скатерки-самобранки оказались также быстро собраны, как были и раскинуты. Сытая, краснощечная молодежь еще веселей разлилась по лугу, еще шумнее и звонче понесли ее голоса, споря с неумолчными криками иволги, с кукованьем кукушек и свистом малиновок, зябликов. А поверх всего — звенели разлетистые, легкие трели жаворонков над ближними лугами.

Когда к вечеру колонна молодежи, усталая, радостная, вернулась к сборному пункту на площади перед зданием ратуши, а оттуда группами все стали расходиться по домам, несколько человек из числа «Друзей Эллады и Рима» — самые неугомонные, в том числе Лукасиньский, Заливский и Высоцкий, — коноводы толпы, — не отправились домой, а с песнями дошли до Лазенковского парка, прошли мимо Бельведера, и их голоса долетели, как было это и утром, до спальни Жанеты, которая уже ушла к себе и делала ночной туалет в ожидании мужа.

— Как хорошо поют мальчики! — прислушиваясь к стройному напеву, подумала Жанета. Она не видела, не слышала, как певцы, подняв головы к окнам Бельведера, держа над головами правую руку, словно приветствуя кого-то, громко проговорили:

— Ave, Caesar, morituri te salutant.

Затем снова подхватили прерванную песню и пошли под деревьями, распевая и крепко держа за руки друг друга, словно боялись растеряться в ароматной полутьме цветущего парка, залитого светом полной луны...

Дня три спустя, как раз в первый день Троицы полкам гвардейской пехоты назначено было ученье на Саксонской площади.

Сначала удивлялись выбору такого дня, но потом сообразили, что именно большое скопление праздничной публики и было в этот день желательно для августейшего инструктора и главнокомандующего, в виду задуманного им дела.

Свои еще до начала ученья заметили, что экипаж из конюшни цесаревича, запряженный парой чудесных рысаков, стоит наготове, словно ожидая кого-то. Сам Константин никогда в таком экипаже не ездил. Он появился скоро в большой открытой коляске, запряженной четверкой коней в русской упряжи.

Рядом с ним сидела молодая княгиня, которую, таким образом, цесаревич сразу как бы решил представить и войскам, и всей Варшаве, собравшейся поглядеть на красивый «развод». А вместо развода ей показали «счастливых молодоженов».

Бронниц, услышав от кого-то остроу подобного рода, сейчас же передал о ней Константину:

— Пускай острят, а мы-таки счастливы, не правда ли, Жанеточка? — спокойно и просто ответил он, ставший со дня своего венчания необыкновенно терпеливым и ровным до неузнаваемости. Очевидно, страстная игра с будущей женой и на его нервы плохо влияла все эти четыре года.

Словно вспомнив что-то, он вдруг сказал вслед отходящему Бронницу:

— Да, мы собственно и забыли: развод был и раньше этого военного «развода». У меня с первой женой, которой я около двадцати лет в глаза не видал, слава Богу!

Довольным, радостным смехом покрыл он свои же слова.

Подали верховых лошадей ему и Жанете, которая приехала в амазонке с мужской шляпой на голове.

Молодцевато на своем крупном Буцефале делает объезд вдоль длинного, растянутого фронта цесаревич. Почти рядом с ним, стремя в стремя, на сухощавом, кровном английском скакуне стройная и гибкая, словно сошедшая с полотна Рейнольдса, галопировала и Жанета.

Для дополнения впечатления, новобрачная, напоминающая смелых владетельниц английских замков, воспользовалась остановкой Константина, приветствующего солдат, посылающих громовые отклики на здраванье «отца-командира», и заговорила прекрасным английским языком сначала с Овандером, потом с адъютантом цесаревича, молодым полковником Феншау, который всего лет семь тому назад, в чине поручика английской армии, вступил в русскую службу и почти все время был спутником Константина в боях. С графом Красинским, с Пушиным и капитаном Ивановым она любезно и весело болтала по-французски, придавая какую-то новую прелесть этому священнодействию, каким для цесаревича был каждый развод или парад. И все сразу почувствовали, как благотворно влияет присутствие этой красивой, совсем по обличью напоминающей чистую девушку, супруги «старушка» на ее неукротимого супруга.

— Никогда не было такого легкого, радостного дня у нас! — почти хором заявили Жанете окружившие преле-

стную амазонку офицеры. — Храни вас Бог надолго, наш «талисман»!..

Весело оглянувшись на мужа, который уже отъехал вперед, ничего не ответила Жанета, только ласково погрозила всем, кивнула головой и дальше помчалась, догоняя равномерно плывущего вдоль фронта, своего грузного «старушка»...

И не только офицерство — все линии темных, затянутых, подобранных солдатских рядов нынче выглядели как-то особо, даже более чем «празднично».

Ярко ли майское солнце так бодрило напряженных, красных, вспотевших людей, веселос ли лицо вечно сурового цесаревича или стройная фигура женщины с добрым лицом на сухощавом, легком скакуне, — только и на лицах всех солдат сквозь внешнее, напряженное внимание и готовность ярко сквозило внутреннее, рвущееся наружу ликующее настроение. Черты лица у всех были строги и напряжены, как и надо в строю, а глаза играли, смеялись. Порою даже, когда из тысячи грудей вырывалось ответное, дружное:

— Здра-вия жла-ем, ва-ше импера-торское вы-сочество!.. — в эти минуты прямо смеялись солдатские, от жары лоснящиеся лица.

Веселое это было утро. Больше такого не повторялось никогда.

Объезд по фронту кончен. Жанета ласково кивнула мужу, который любовно ответил ей воздушным поцелуем и проводил к экипажу, который, по данному знаку, катился навстречу обоим.

Жанета пересела в открытую коляску, рядом с которой очутился экипаж, где сидела графиня Бронниц с другими дочерьми.

Сбоку второй коляски гарцевал Дезидерий Хлаповский, бывший ординарец самого Наполеона, любивший щеголять в своем блестящем наряде кавалериста прежних лет, покрывая молодецкие темно-русые усы.

Константин знал Хлаповского и кивнул ему приветливо.

— А, вот кто сопровождает наших дам? Ну, значит, я могу быть за них спокоен. Враг им не опасен.

— Тем более, что вы, ваше высочество, не подпустите близко врагов к лицам, вам дорогим... Считаю честью числиться среди друзей нашего цесаревича! — любезностью на любезность ответил Хлаповский.

Жанета из коляски матери пригласила к себе младшую сестру Антуанету, и Хлаповский незаметно очутился

у дверц этого передового экипажа, обнаружив, которая из сестер Грудзинских привлекла его и сделала своим стражем.

Оба экипажа покатили к Бельведеру, а Константин, послав последний привет жене, вернулся продолжать это веселое, майское ученье...

Едва успела Жанета переодеться и собиралась уже пройти из уборной в гостиную, где ожидали ее сестры, мать и Хлаповский, которого она пригласила оставаться обедать, как за дверью послышался осторожный стук.

Зося, убирающая снятую амазонку, поспешно шмыгнула за дверь узнать, в чем дело, и сейчас же вернулась, сдерживая лукавую усмешку:

— Там пожаловала пани полковница, — доложила она на молчаливый вопрос Жанеты.

— Пани полковница? Какая там еще? Что ты мямлишь?

— Да Вейсова...

— Ах, вот кто! Ну, что же, проси в гостиную, в другую, скажи: прошу извинения, переселюсь, сейчас выйду... Ступай.

Зося вышла, приняв самый невозмутимый вид.

Жанета быстро подошла к большому трюмо-тройнику, стоящему между окнами, и особенно внимательно стала оглядывать себя.

Все хорошо. Переодеваться не надо. Это белое воздушное домашнее платье, роскошное и простое вместе с тем, ей очень идет. Прическа почти в порядке. Только два-три локона Жанста еще сильнее развила и будто случайно они окаймили красивой рамкой бледное с легким румянцем, молодое лицо.

Глаза горят, как бывает порою у Жанеты в хорошие минуты. А при виде «той», полковницы Вейс, конечно, загорятся еще сильнее.

Взяв небольшое легкое опахало из перьев марабу, Жанета прошла в ближнюю гостиную, где ее ожидали родные.

— Прошу извинить, мамцю. И вы, пане Хлаповский. Я должна на несколько минут еще оставить вас. Там очень неотложный визит... Полковница Вейс, — тихо прибавила она на ухо матери. — Надеюсь, как свои, вы не обидитесь?

Графиня сначала вспыхнула, но после сообразила что-то и вся расплылась в любезную улыбку:

— Ну, понятно же, что нет, иди, птичка моя. Мы тут поболтаем. Скоро и твой придет с ученья. Не станет же он и сегодня два-три часа муштровать свои бедные полки!.. Ты должна понемногу успокоить его рвение. Муж должен беречь себя и свои силы, когда у него такая молоденькая, милая женушка... Иди. Антося займет пана Дезидерия. Я потолкую с Жозефой... Беседуйте, дети мои... Я провожу немного Жанеточку...

Отойдя так, что их уже не слышали остальные, мать спросила:

— Ты что же, звала ее? Он этого хотел?

— Прямо нет. Но я видела, что ему будет приятно, если мы... если она...

— Понимаю, понимаю... Умно, маленькая моя Жануся. Я и не думала, что ты такая ловкая дипломатка. Впрочем, удивляться нечего: любовь всему научит. Знаешь, когда я была очень влюблена в твоего отца и нам нельзя еще было открыто иметь свидания...

— Мама, — довольно решительно перебила Жанета, знающая наизусть сентиментальные до приторности воспоминания своей многоопытной мамы, — если придется мне привести ее туда к вам, примите полюбезнее эту... полковницу... Теперь она неопасна, особенно, если ее не дразнить. А иначе...

— Ну, конечно: и таракан, рассердившись, может в ухо залезть... Я же разве не знаю света и людей... Когда за мною ухаживал герцог...

Но Жанета дальше не слушала; кивнув ласково и признательно графине, она прошла дальше и скрылась за анфиладой комнат, направляясь в дальнюю гостиную, где ожидала ее женщина, место которой во дворце Константина так властно и прочно заняла она сама.

— Как я рада вас видеть! — первая заговорила на пороге Жанета и с улыбкой приветя, с протянутой рукой пошла к Фифинс, которая быстро поднялась с кресла, в котором сидела, и впиалась глазами в счастливую соперницу.

И раньше случалось Фифине встречать Жанету; предчувствуя правду, француженка искала случая видеть девушку, но приходилось это делать урывками, осторожно, чтобы не вызвать гнева в Константине.

Теперь они стояли одна против другой на расстоянии протянутой руки.

Не опуская взора, с почтительным реверансом приняла руку княгини полковница Вейс и неуверенно проговорила:

— Я так счастлива, принцесса, что имею случай и возможность принести вам лично свои поздравления и пожелания всего лучшего в новой жизни!

Обе несколько мгновений, словно забывши свои роли, стояли и молча глядели одна на другую.

Жанета тоже впервые могла хорошенько взглядеться в задорный, но не совсем правильный облик, каким отличалась «пани полковница».

Конечно, и госпожа Вейс, собираясь сюда, постаралась привести себя в наилучший вид. Но, увы! Эти старания, пожалуй, только повредили бедной женщине.

Косметики, к которым слсгка прибегала француженка, теперь наложены были слишком сильными мазками, в надежде скрыть красноту заплаканных бессонными ночами глаз, сухость бледной, одряблевшей кожи, и румянец слишком ровно и молодо вырезался на искусственной и потому мертвенной белизне остального лица...

Если кос-что было замазано, скрыто, то сама гримировка заставляла предполагать, что за ней таится нечто, весьма непривлекательное...

И, несмотря на все это, Фифина не была смешна.

Слишком скорбно смотрели ее усталые, лихорадочно сверкающие глаза, две горькие черты прорезались по сторонам рта, губы которого порою словно против воли кривились не то улыбкой, не то спазмом от подавляемых, готовых хлынуть наружу рыданий.

Все это заметила и поняла чуткая Жанета и, против собственного ожидания, искренним, теплым рукопожатием ответила она на осторожное прикосновение руки Фифины.

— Садитесь, прошу вас. Там у меня свои... Но мы сперва поболтаем тут с вами. А потом уже присоединимся к ним. Прощу вас.

Гордо-испуганное, настороженное выражение глаз гостыи сразу изменилось, словно что-то дрогнуло в них и в душе женщины, откликаясь на искренний, задушевный прием той, другой, которая заняла место, но, очевидно, не думает лишить мать возможности видеть сына, не собирается запретить бывшей любовнице поддерживать хотя бы далекую связь с ее многолетним прсжним возлюбленным.

Направляясь на это свидание, Фифина полагала, что просто придется пережить мучительную формальность, выполнить известную холодную условность, без выполнения которой нельзя ей будет даже изредка являться во дворец, чтобы взглянуть на сына.

И вдруг такой милый, простой прием, этот теплый голос, ласковый без фальши и глумления взгляд, почти дружеское пожатие руки.

Чувствительная и добрая от природы, Фифина сразу была побеждена, растрогана.

Словно какая-то тяжесть, напряжение затаенной злобы и вражды, теснившее ее больное сердце, сразу отпали. отошли. С влажными глазами, принявшими свой обычный, ласковый и добрый взгляд, с полуулыбкой грусти на губах Фифина заговорила, опускаясь в стоящее рядом кресло:

— Вы, принцесса, может быть, подумаете, что мои пожелания только пустая, неискренняя фраза?.. Тем более, что... Но верьте, сейчас я от души говорю. Что же делать: судьба сильнее нас. Господь ведет бедные людские души через море слез и испытаний к своей обители. А я верю в Него, жду минуты, когда все земные радости и печали потонут в вечном сиянии Божьей обители... Вот почему и вы должны поверить, понять, как я искренне желаю вам счастья в новой жизни. Это даст счастья и другим, близким мне до сих пор людям... За них и за вас я буду возносить мои мольбы к Небу и ждать часа смерти.

— Но ради Бога... Вы меня приводите в отчаяние, сударыня! Повсрыте, я не ждала, не могла думать... Вы сами женщина... Вы же понимаете, почему я? Но, ради Бога, не глядите так грустно, не говорите этих печальных слов, иначе я буду думать, что ваше горе сожжет мою радость, мое счастье... А я еще так молода... Всю жизнь, все будущее, все ожидании и силы я вложила в мое счастье!.. И так боюсь за него...

— Не бойтесь! Я видела вас, говорила с вами, хотя немного, но достаточно... и вполне убедилась, что все вышло не по чьему-либо замыслу... А так... по воле судьбы. Вы так молоды, хороши... Вы любите его, я верю, знаю... Чувствую, наконец... Любите, будьте сами веселы и дайте ему радость и покой... Тогда я буду благословлять ваше имя... И еще... одно только...

— Я понимаю: Поль. О нем вы хотите говорить? Я уже полюбила его. И буду любить, конечно, не так, как вы, его родная мать... Но очень сильно. Стану беречь... ласкать, если вы позволите...

— О, да, да!..

Руки их снова встретились, на глазах были слезы.

Очень много искренности и настоящего переживания было в этой, слегка театральной сцене. Но француженки

постоянно склонны к театральным эффектам и переживаниям. А Жанета, воспитанная в Париже и при том полька, тоже умела даже самым искренним, глубоким чувствам и ощущениям придавать слегка патетический, показной, надуманный оттенок.

Обе были довольны друг другом и, быстро отерев слезинки, заговорили сразу:

— Если бы вы знали...

— Как я рада, что... продолжайте, мадам, я прошу вас...

— Нет, нет, говорите, принцесса. Умоляю вас...

— Сейчас — о чем же еще? Почти все сказано. А дальнейшие наши встречи покажут вам, как искренне я готова стать вам другом, если вы пожелаете этого.

— О, принцесса, не нахожу слов... Но что он?.. То есть, как себя чувствует Польша? Я дня два не видала его. Здоров ли мой мальчик?

— Вполне. Я сейчас позову его: хотите? Ну, конечно. Жанета позвонила.

— Попросите сюда Поля с паном Фавицким.

Гайдук, появившийся на звонок, скрылся.

— Хорошо ли вы устроились? — желая заполнить ожидание, спросила Жанета. Но этот естественный вопрос невольно вызвал целую бурю в душе Фифины.

Какое устройство могло показаться «хорошим» жене полковника Вейса после покоев Бельведерского и Брюллевского дворцов, после хором Стрельнинского жилища Константина, где Фифина находилась перед появлением в Варшаве?

Сейчас же хозяйка почувствовала, что произошла неловкость, но поправлять ее нельзя. Только сильнее подчеркнешь ошибку. И потому она с самым глубоким вниманием выслушала описание Фифины, посетовала вместе с нею на тесноту и неудобства наемных жилищ и, как бы обещая что-то, заметила:

— Пожалуй, полковнику хорошо бы купить свой дом в Варшаве. Если даже придется куда переехать по службе, чего я не думаю, это не помешает: дом даст доход и будет свой уголок всегда!

Едва это деловое замечание было сделано, вошли приглашенные: Польша и его второй воспитатель Фавицкий.

Уроженец Подолии, обруселый униат, он сперва учился в духовной академии, потом перешел в университет и, блестящим образом пройдя курс, попал к цесаревичу в каче-

стве второго воспитателя к Полю, преподавал ему русский язык и историю словесности.

Красивым нельзя было назвать этого человека. В его лице было что-то, напоминающее ксендза, который шулки ради отпустил себе растительность на лице. Небольшие бакены его слегка курчавились, как и волосы. Глаза, довольно большие, хорошо очерченные, горели огнем, какой замечается у фанатиков или экзальтированных мечтателей. И взгляд Фавицкого действовал особенным образом на женщин: они как будто теряли свою волю под упорным, чуть-чуть наглым, «голым», жадным сверканием его зрачков.

Зная, должно быть, особенность своего взгляда, Фавицкий почти никогда не глядел в лицо тем, с кем беседовал. Немного неуклюжие манеры и постоянно хмурый, сосредоточенный вид при голосе сильном, гибком, но довольно резком, — все это придавало Фавицкому вид грубоватого парня, задорного и умного.

К Жанете этот замкнутый в себе человек почувствовал какое-то исключительное расположение, которое и проявил особенной предупредительностью и вниманием, чего не удостоивался еще никто. Даже лицо его принимало при ее появлении особый вид: не то оно хотело сложиться в улыбку и не могло с непривычки, не то наивное удивление раздвигало губы, оттягивало мускулы лица и вздувало скулы этого бледного, сухого, но энергичного лица.

Сейчас он низко поклонился Жанете, отвесил сухой, совсем официальный, даже мало учтивый поклон Фифине и сел по приглашению хозяйки на стул, немного в стороне.

Фифина всегда не терпела этого «гордеца», а теперь его поведение positively показалось ей вызывающим. Она едва ответила на поклон и устремилась к сыну, который, поздоровавшись с мачехой очень почтительно и ловко, бросился к матери, насколько приличия и присутствие Фавицкого позволяли ему двигаться непринужденно и быстро.

— Мой Поль! Ну, посмотри на свою маму. Нет, ничего... Был занят, я знаю... Оттого и не заглянул эти дни к своей маме?... Ничего, ничего. Видишь: мама приехала к тебе. Здоров? Это самое главное. А как идут его занятия, мосье Фавицкий? Ничего? Недурно... Ну и слава Богу... Иди, играй или работай, мой мальчик. Я тебя увидела и

рада... Иди... Благодарю вас, мосье Фавицкий, что вы так неусыпно заботитесь о моем мальчике, так хорошо руководите занятиями Поля...

— Я исполняю лишь свою обязанность, свой долг, так сказать, сударыня, — не поднимая взора, ответил даже слегка угрюмо, словно недовольным тоном, Фавицкий, — да и не один тут я веду дело, так сказать... Почтенный граф Морриоль, так сказать...

— Да, да, конечно, — торопливо подхватила Фифина, не желая дать заметить теперешней хозяйке Бельведера, что не все были очарованы прежней госпожой этого замка, — конечно, вы и граф одинаково заслуживаете моей признательности... И верьте... Но, принцесса! — снова по-французски обратилась гостя к Жанете, — я не смею дольше задерживать ваше высочество... И потому...

— Нет, нет. Так скоро я вас не отпущу, раз уж вы были так милы и навестили меня. Поль, пане Фавицкий, вы идите себе, работайте, что там надо. До свиданья, за обедом...

Ласково отпустив мальчика, кивнув учителю дружески, Жанета опять обратилась к гостье:

— Вас я тоже не отпущу. Уверена, Константин будет доволен, если по возвращении увидит вас в нашем семейном кругу.

— О, ваше высочество... Помилуйте... Я никогда... я бы вас просила...

— Нет, нет и нет! Сказано — сделано. Я знаю, как Константин хорошо относится к вам... как он любит своего... Поля... И потому — никаких но! Пойдемте, я вас представлю... познакомлю с моей мамой и с сестрами. Там еще один, почти свой. Вы, конечно, его знаете — пан Дезидерий Хлаповский. Говорят, что он влюблен в Тонцю, думает просить ее руки. Партия была бы недурная. Но она — такое дитя. Это все забавляет ее. Я помню себя в ее годы и понимаю, как мой Тоньце странно, что за ней ухаживает красивый военный, прославленный воин и хочет жениться... А сй это совсем ни к чему... Пойдемте... И, пожалуйста, без всяких стеснений: мы в своем, семейном кругу... Константин не должен сегодня запоздать. Он поторопится, я предчувствую. Идемте!..

Обе дамы шли по высоким, светлым покоем и каждая исподтишка по пути поглядывала во все встречные зеркала, как бы желая еще больше убедиться, насколько интересна или непривлекательна она в эту важную минуту.

Мадам Вейс должна была остаться и к обеду в Бельведере.

Ради ее присутствия молодожены держали себя еще более сдержанно, чем это было бы без такой необычайной застольницы. Но все прошло прекрасно.

Когда, наконец, гости разошлись, Константин нежно-нежно привлек к себе Жанету и негромко, растроганным голосом заговорил:

— Каждый день ты поражаешь меня какой-нибудь новой неожиданностью... Такая кротость... такое чуткое, хорошее отношение к этой несчастной... Правда, она не совсем уж виновата в некоторых своих недостатках... А ты?! Ты?!.. Нет, я только целовать тебя могу. Слова у меня такие обыкновенные, неподходящие, словно я их прочел недавно или от кого-то слышал. А тут надо совсем по-особенному называть и говорить... Я лучше буду целовать тебя! Буду молиться на мою птичку. Сам я грубоват, ссудит, суров порою. Но, знаешь, если вижу или даже слышу, что кто-нибудь поступает милосердно, живет по-хорошему, выделяется среди людей своею добротою и великодушием, так у меня даже слезы являются, право. Такая уж, видно, природа у меня — слабая. А потом воспитался я, как солдат... Вот и вышло два человека во мнe... И тот, второй, спрятанный — любит тебя еще больше, чем этот... вот я... который способен и себя, и всех искалечить, только бы тебе было весело и хорошо... Да нет, все это басни... Иди, птичка... Я только стану целовать... целовать...

Внимательно слушала Жанста все, что говорил ей муж, и молчала.

Июль идет к концу. Лето в самом разгаре. А в этом году оно выдалось сухое, знойное.

Перед обедом, ожидая мужа, Жанста сидела в тенистой беседке, у пруда и любовалась на лебедей, которых очень любила, на густую зелень аллей и ароматные узоры клумб, раскинутых по откосу перед дворцом кверху от воды.

В воздухе было так душно, что даже легкий, сквозной домашний пеньюар, казалось, тяготил молодую женщину. Ночь она тоже плохо спала и теперь полулежала томная, бледная, на низенькой кушетке, поставленной здесь, и глядела вдаль, слушая рассеянно, что говорила ей сестра Жозефина, тоже хорошенькая, но более земная, подвижная,

краснощекая женщина с налитой грудью и пухлыми, упругими руками.

— Понимаешь, сестричка, мой Венця, как адъютант твоего мужа, попал теперь в самое неудобное положение. Напоминать о себе ближнему начальству он совсем не может, стесняется. Не дай Бог, подумают, что он желает пользоваться своим положением свояка. А он у меня — такой гордый! Ты не знаешь Венцеслава... Действовать через меня, хлопотать у тебя, чтобы ты, как жена, повлияла на нашего князя?.. Это бы ничего. Но мы знаем, как тебя задушили просьбами и делами. Одна мама со своим Бронником, говорят, столько уж нахватала при твоей помощи, что нам совестно и обращаться с чем-нибудь к нашей милой, любимой сестричке... Хотя бы даже к такому ангелу, какова ты есть! Право, помнишь, я всегда больше всех в семье любила тебя... И жили мы очень дружно, даже из-за поклонников не ссорились... Бедный Велижек, он ведь и мне очень нравился... И Лукасиньский прежде, пока не увидел тебя, приударял за мною. Появилась фея — и земные девы были забыты... Плутовка моя светлоглазая!.. Но все-таки, понимаешь, теперь Венцеславу от этого не легче... Совсем молчать — так известное дело: другие мимо носа станут прыгать, получать и чины, и награды, а мы ни с чем. Хорошо, пока нас двое. А появится молодой пан Гутаковский или панна такая, крошечная... Непременно в честь тети назову ее Жанетой, правда? И ты должна крестить... А как тогда мы обернемся с нашим жалованьем и доходом от поместья, который что ни год, то меньше... Эти хлопы притворяются, что совсем обнищали. А по-прежнему струнить их нельзя... Понимаешь, слухи пошли, будто совсем воля будет всем хлопам... И землю им даст наш круль-сваяк... Да, родня приличная, а прибыли нам мало! — со вздохом и с грустной улыбкой в то же время вырвалось у Жозефины Гутаковской. Она с немой просьбой устремила глаза на сестру, которая теперь задумалась, глядя на веер, тихо перебирая его тонкими пальцами опущенных на колени рук.

— Видишь ли, сестричка, — наконец заговорила Жанета, — ты напрасно стараешься так осторожно подойти к делу. Правда, мы жили с тобою неплохо, другим сестрам не в пример... Бывало и так, и этак... но я тебя люблю, и ты очень привязана ко мне, я знаю. Да и помимо того, если чужие ждут моей помощи и я хотела бы им оказать всякое содействие, то совесть и сердце не позволят отказать

в чем-либо своим, кровным... И я делаю, что могу... Но тут есть очень щекотливое обстоятельство... Ты его знаешь. Больше четырех лет за мной ухаживал мой муж. Почему? Я нравилась, правда. Но и вела себя совсем не так, как все остальные женщины и девушки, которых он удостаивал своим вниманием. Нет-нет, да, они выказывали, что им льстит не только его любовь, но что они видят в нем господина всей Польши, цесаревича русской империи, часть власти которого они могут получить при помощи просьб и хлопот. Это отнимало цену у них самих, у любви ихней, если только эта любовь существовала у ветренниц и кокеток. Как я вела себя, ты видела. Я знала мужчину, немолодого, но интересного, покрытого боевой славой, влюбленного в меня, — и больше ничего. О его положении, о его власти, о влиянии при помощи его не было и речи никогда. Я ни о ком, ни о чем не просила... И если что получала, то помимо воли... Я просила, совствовала ему... но только в тех делах, которые касались его лично, могли служить ему на пользу... Остерегала его от того, что могло принести ему вред. И больше ничего. Так было четыре года, когда я не надеялась даже стать законной хозяйкой в этом доме... Но вот нас повенчали. Я его жена. Неужели же я должна сразу измениться? Надоедать ему бесконечными просьбами, хотя бы и самыми справедливыми и законными? Это было бы и неумно. Явится невольно вопрос: не притворство ли было с моей стороны полное бескорыстие минувших лет?! А вот теперь, когда партия взята, — я и начала свои происки? Не забудь: они — победители, мы — побежденные! Самые дурные предположения допустимы с их стороны. Значит, уйдет любовь, которую я так бережно охраняла много лет и надеюсь сохранить еще надолго, зная Константина. Он любит все исключительное, в чем нет мелочности, житейских расчетов. Стоит следить за ним, ловить его настроения, подогревать хорошие, тушить дурные — и можно добиться многого так, что он будет уверен, будто это от него лично исходило. Так, сестричка, неужели ты думаешь, что я не вспомню о тебе и о твоём муже в удобную минуту? И верь еще, что это напоминание будет вам полезнее и важнее всяких, самых настойчивых, но так неприятных мужу просьб... Он особенный человек. Прямо иной раз понять его не могу. Как будто ангельскую душу злые духи взяли, раздробили на куски, исказили ее прекрасный образ, в светлую основу втиснули черные и красные зловещие пятна... и отошли, любуясь своей работой...

И поэтому я еще больше люблю и жалею моего Константина...

— Милая, бедная сестра! Я и не думала...

— Конечно, не думала! Чем выше человек, тем ему жить надо сложнее, тем труднее положение всех, кто близок к нему... Другим, конечно, я ничего подобного объяснить не могу. Улыбаюсь ласково, обещаю исполнить их просьбы, а за последствия, конечно, ответа на себя взять не могу. Я направляю их к другим, кого знаю, даю рекомендации... Словом, обычное колесо... Но тебе я должна сказать правду. Тем более, что плохого для вас тут нет. Я обещаю и думаю, что успею помочь вам в делах... Будь сама спокойна и успокой своего мужа.

— Да благословит тебя Святая Дева за твою доброту! Да пошлет тебе Сладчайший наш пан Иисус сил и мужества, маленькая наша Эсфирь... да, да, мы так называем тебя. А граф Адам — это Аман... Только, сдастся, он уже в опале? Да! И слава Богу! Ужасный, опасный человек... В Вильно, где он попечителем округа, такое, говорят, делается. Весь город в заговоре против России... И здесь есть немало кружков... Конечно, мы с тобой польки, но понимаем, как важно жить в мире с этой сильной, великодушной Россией. Кроме добра — мы ничего не видим от нее. Нельзя же злом платить за это. И Бог не вселел... А они?! Но Господь с ними. Не хочу и тебя тревожить. Вот ты даже побледнела. Ты не говори свосму об этих всцах. Я так, слегка слышала... А он встревожится, начнет слышаться, от этого еще больше выйдет раздора... Ты понимаешь, сестричка?

— Конечно, конечно. Если бы я знала даже что-нибудь верное, так постараюсь помешать козням, даже не впутывая мужа. Так трудно ему внушить, что именно в опасные минуты надо быть мягким, сдержанным, осторожным, даже ласковым на вид... а принимать самые строгие и решительные меры незаметно, не обижая никого. Нет, он сдержаться не может... А, сдастся, ты права: предстоит немало волнений и смуты... Жаль мне отчизну... И теперь боюсь я столько же за него, за мужа... Ах, сестричка, порою я даже задаю себе вопрос: неужели судьба хотела послать мне столько испытаний, когда свела мой путь с путями Константина?

Жанста умолкла в порыве раздумья и тоски.

Смолкла и сестра, чтобы не нарушить настроя.

— Тихий ангел пролетел, — прерывая молчание, снова заговорила Жанета. — Видно, я на тебя нагнала грусть,

моя говорливая сестричка. Ты, я знаю, неохотно молчишь. Говори что-нибудь. Ты так славно обо всем умсешь рассказать. Да, отчего не присхала Тонця с тобою? Она здорова? По-прежнему влюблена в своего гусара?

— Больше прежнего. Пан Дезидерий прекрасный человек... И с состоянием. Здесь имеет маентки (имение), да еще в воеводстве Познанском, которое теперь к пруссам отошло, — у него хороший кусок. И все, как ты сама знаешь, пошло уже на лад. Пан отчим готов был благословить... Мама тоже не упрямилась, как это часто бывает... А теперь вдруг перемена. Тонця так его полюбила, а сй говорят, что надо подождать чсго-то... Что она сама не знает своей доли... Что это детское, ребячское увлечение... Словом, в доме у нас целый поток слез... Тонця только не ршалась почему-то сказать тебе. Она думает, ты тоже будешь против. Теперь, когда у тебя такой муж... пожалуй, ты найдешь, что Хлаповский ей не пара. Мама тоже говорила, что ты с ней согласна... Правда ли это, сестричка? Неужели ты не поможешь счастьем нашей Тонци? Она же любит сго...

— Счастьем? Счастьем я готова помочь всей душой... Может, и правда: так будет лучше для нашей Тонци... Она красивая, умница... Но характером совсем дитя. У нее не стало бы силы так бороться, как... Ну, впрочем, о чем говорить? Он еще не делал предложения?

— Тонце уже давно. И она согласилась. А старшим не решастся, пока она сама не узнает, что не будет отказа... Он такой завзятый, этот пан! Наполсоновский вояка, одно слово!

— Хорошо, я потолкую ссегодня же с мамой. Попроси сс присхать. Скажи, я бы сама... Да мне нездоровится что-то. И муж не любит, если я выезжаю без него... А он так занят...

— Знаю, знаю. Мы и не в прстензии... Мама приедет... Ты представь себс, она такие вещи говорила... Не прямо, а намеками. Если, говорит, одной дочери Бог послал великого князя, неужели для другой не найдется чсго-нибудь подходящего! И на кого она думала? Не присдут же принцы сватать нашу Тонцю...

— А если бы и приехали, так в этом не будет ей счастья... Да и славы мало. Какая я великая княгиня? Все та же графиня Жанста, супруга цесаревича, вот и всс. Из любезности меня всличают: ваше высочество. Да права я на такой титул не имею...

— Боже мой, главное-то я и забыла! Для чего ехала к тебе, сестричка! Надо тебе сказать, дорогой я заглянула в канцелярию к мужу. И он мне по секрету сообщил, что получился именно указ... Кто ближе к делам, думают, что это касается тебя, именно твоего титула, как уже давно хлопочет цесаревич... И вдруг с завтрашнего утра станут во всех костелах и в русских храмах на службах возглашать: благовернейшей цесаревне, Иоанне Антоновне, многая...

— Вздор ты толкуешь, Жузя. Я ведь даже не оставила нашей веры, когда венчалась. Так разве можно, чтобы католичка?..

— Ах, правда, правда! — с сокрушением согласилась Жозефина. — А все-таки что-то есть. Увидишь. Помяни мое слово...

— Может быть. Я сама жду, хотя муж хлопотал потихоньку от меня. И я не просила, право...

— Знаю, верю... Только иначе быть не может. Графскую коронку придется сменить на княжескую, вот пари держу!.. А тогда мама и пан отчим совсем голову потсряют... И не видать Тонце ее гусара...

— Нет, успокойся. Я отчасти догадалась, о чем думала мама... Она знает, что пора женить великого князя Михаила. Этот мальчик... ему всего двадцатый год — очень милый, но страшно упрям и влюблен в Константина. Прямо подражает ему, как попугай, даже во всех недостатках. Мне досадно бывало порой. Мой видит такое обожание и полагает, что все делает хорошо... Вот и могло показаться... Можно было ожидать, что по примеру брата Михаил тоже обратит внимание на девушку из нашей семьи... и кто знает?.. Мой Константин даже песню сложил: «Спаси Боже от града, от мора, от немецкой принцессы и от наговора». Михаил точно также кричит, что скорей в монастырь уйдет, чем женится на какой-нибудь немецкой швабре... Словом... Но я теперь скажу маме... Нельзя портить жизнь девочки. Она любит... И видит Бог, я помогу ей... помогу им обоим!..

— Сестричка! — бросаясь и целуя Жанету, только и сказала Жозефина.

— Ах, милая... Я теперь и счастлива без конца... И так у меня смутно на душе, что я стала понимать многое, чего раньше не замечала совсем... Вам что? — обратилась она к лакею, который показался перед входом в беседку и ждал, пока на него обратят внимание.

— Яснейшая госпожа, доктор Пижель ждет приказаний. И гости там пожаловали.

— Гости? Так рано. Кто?

— Пани полковникова Вейсс. Они были у пана Павла. А теперь приказали доложить о себе наияснейшей госпоже.

— Да?.. Но вы знаете: я нездорова... Меня ждет врач, — вспыхнув не то от смущения, не то от досады, проговорила Жанета. — Идите, так и передайте. Извиняюсь.

Лакей почтительно поклонился и ушел.

— Какая наглая эта Фифишка! Право, Жанеточка, напрасно ты с первого раза не показала этой беспутной француженке настоящее место. А теперь она и повадилась сюда, как будто не понимает, что ей не следует и носа сюда показывать... Ну, бывает у своего Поля, — и довольно с нее. Да и то бы надо прекратить. Лучше посылать его к ней иногда. Право, как ты терпишь! — совсем раскипяться, быстро сыпала Гутаковская.

— О, не сомневайся, я сама все это понимаю... Но повторю прежние слова: жена Константина должна исполнять обещания, данные его невестой. А я вынуждена была дать немало таких обещаний... Вот и насчет этой... Фифины... Но сначала она держала себя хорошо... Муж был доволен, что мы так «дружны»... И Поль стал привыкать ко мне, относиться без затаенного опасения, как было прежде... Но с некоторых пор я даже не заметила, а как-то сердцем почуяла, что надежда явилась у этой старой француженки. Константин, правда, очень привязчив и если привыкнет к кому-нибудь, с трудом отвыкает... Чуть ли не построили план: снова поселить в этом доме былую пассивность... под предлогом, конечно, ее материнских чувств и слабого здоровья Поля. Мальчик, правда, весь золотушный... Уж от кого, не знаю... Тут я приняла свои меры... Но и другие обстоятельства есть против меня... Видишь ли: она — мать. Муж очень гордится, что у него есть сын! А я... пока не могу порадовать его... Даже больше... Кажется... боюсь поверить... Но мне не суждено быть матерью... Врачи, вот этот Пижель и другие говорят: у меня там что-то неправильно внутри... Надо долго лечиться, укрепить организм, поехать на воды... На полгода, может быть, и дольше!..

— Так о чем думать? Поезжай скорее! Дашь ребенка мужу и никакая больше мамзель не посмеет...

— Ах, молчи! Неужели я стала бы откладывать, если бы?..

— Если бы что? Я не понимаю!..

— Ты же сама замужем... любишь мужа. Молодая и он молод. Мой хотя уж и в летах, но... хуже молодого... такой пылкий у него, ненасытный темперамент. Он и недели не может прожить без женской ласки... А я уеду, оставлю его, чтобы любая дрянь... та же самая Фифина втерлась на старое место?! Никогда... Лучше... лучше лишиться радости, не быть матерью... Не ласкать своего малютки!.. Но потерять Константина?.. После стольких лет ожидания, после таких мук и борьбы?! Нет, я умру тогда... захирею в один год... если только сама не наложу на себя... О, Господи, спаси и помилуй меня, Кротчайший Иисусе!..

И она часто, быстро стала осенять себя крестом.

— Ты одна? Кто был у тебя нынче?! — нежно целуя Жанету, спросил Константин, когда, вернувшись домой, застал ее сидящей в той же беседке, где она была с сестрой, куда вернулась и после визита доктора. — Да что с вами, ваша светлость? Отчего вы так грустны? Сегодня именно не годится вешать носика, светлейшая княгиня Ловицкая и прочая, и прочая, и прочая... Ха-ха-ха!

Довольный, радостный, он бросил ей на колени большой пакет со знакомой уже Жанете личной печатью Александра, императора и короля.

— Что это значит? Что такое? Почему этот титул? И поминаешь город Лович? Объясни, Константин. Знаешь, я так волнуюсь от всяких пустяков... А ты...

— От радости не будет вреда. Раскрой и читай. Нарочно привез тебе нераспечатанным. Не угодно ли, ваша светлость, вскрыть высочайший указ! Я при нем получил особое письмо от брата Александра. В нем и для тебя несколько дружеских слов... Потому-то я знаю и содержание указа... Ну, читай вслух...

Усевшись у ног жены, он вытянул поудобнее свои ноги, прислонился головой к спинке кушетки, подложив под затылок руки, полузакрыв глаза и готовился слушать.

Чуткое ухо Жанеты уловило затасенную тревогу в громком, раскатистом говоре мужа, словно бы он не был уверен: как примет новость жена? А самому хотелось, чтобы указ произвел хорошее впечатление, доставил радость.

Раскрыв пакет, Жанета развернула плотный пергамент и прочла глазами обычный заголовок: «Мы, милостью Божией»... и т.д.

Потом стала читать текст, не громко, но отчетливо, чтобы мог хорошо разобрать Константин, вообще не любивший, если читали что-нибудь очень быстро.

— У меня тогда голова не поспевает за чужим языком, а это досадно! — говорил он.

— «Согласно существующему установлению об Императорской Фамилии, — читает Жанста, — объявляем, что... титул великого князя, цесаревича Константина Павловича ни в коем случае не может быть сообщен ни его супруге, Иоанне Грудзинской, ни детям, кои могут быть от сего брака»...

— Что? Что такое? Почему здесь это сказано?

— Ничего, успокойся, Константин, — удерживая поднявшегося князя, остановила Жанета, — это же только повторение манифеста, которым был разрешен твой развод и вторичный брак со мною... Должно быть, надо так по законам и здесь повторить объявленное решение, чтобы крепче было! — с совершенно неусловимой иронией проговорила она, и, усадив мужа, хотела продолжать чтение.

— Постой... Я сам дочитаю...

Он взял пергамент, заскользил по нему глазами и, наконец, громко прочел:

— «Сим объявляется, что Нами пожаловано было Великому Князю, цесаревичу Константину Павловичу в вечное владение имение княжества Лович. А так как цесаревич великий князь по сему имению намерен сделать такое распоряжение, чтобы супруга его, Иоанна, графиня Грудзинская, была допущена к соучастию по владению означенным имением, то положили Мы удостоить и сим удостоившем ныне супругу возлюбленного брата Нашего, великого князя Константина, Иоанну Грудзинскую, к восприятию и ношению титула княгини Ловицкой. Также изъясняем желание и повеление наше, дабы титулом этим, с именованьем во всей российской империи светлейшей княгиней, — сия Иоанна Грудзинская во всех публичных и частных актах именована была сама, равно как и дети, которые прижиты будут от настоящего брака. Дано в 8-й день июля, сего 1820 г. царствования Нашего в девятнадцатый год, в С.-Петербурге». Вот и подпись брата Александра. Рада? Довольна?

— Очень, милый!.. И признательна императору... Но зачем это? Дорогой мой, ты же знаешь, я...

— Знаю, знаю... Я это все говорил брату. Он также хорошо осведомлен о твоём честолюбии. Я как-то прямо

сказал: «Она хочет быть или просто моей женой, или царицей Зенобией, владычицей Востока». А брат ответил: «Византию, может быть, мы еще, с помощью судьбы, приготовим для вас обоих. А пока прошу принять небольшой титул. Твоей жене нельзя оставаться просто графиней Жанстой. Княгиня Лович для начала будет звучать недурно»... Слышишь, птичка: он сказал, для начала!..

— А ты будешь больше любить светлейшую княгиню, чем бедную графиню Жансту?

— Дорогая птичка! Ты же знаешь: с каждым часом, с каждой минутой люблю я тебя все сильнее помимо всяких титулов и указов... Мне казалось только... я думал...

— А я ничего не хочу думать. Ты доволен этой бумагой? И я ей рада, говорю тебе от чистого сердца! Только люби меня... Только... О, мой милый... как мне сказать...

И, закрыв глаза, она прильнула вся к его груди.

Спокойная, счастливая полоса, которую переживал цесаревич в начале этого года, как будто собиралась пройти — и навсегда.

Нельзя было указать ни точных причин, ни верных признаков подобной перемены, но она ощущалась не только самим Константином, но и всеми окружающими. Что-то носилось в воздухе, сквозило в отношениях польского общества, даже в рядах тех самых войск, своих и польских, которым отдавал все время и душу свою Константин.

Правда, главное дело было почти закончено, еще год-другой и формирование сорокатысячной польской армии, образцовой по выправке и снаряжению, завершится сполна. Но успешное выполнение этой крупной задачи влекло за собою немало новых забот для цесаревича.

В начале сентября по старому стилю назначено открытие второго сейма, а недели за две до этого дня снова прибудет в Варшаву Александр, по пути желающий посетить и вторую школу подпрапорщиков в Калише.

Значит, снова предстоит приятная, но утомительная работа парадировки, ученья, смотры, а потом — заседания сейма, где Константин тоже выступает порою, говоря свои депутатские речи на французском языке.

Не любит цесаревич этих дней сейма. Совсем выбивают они его из обычной колеси. А на этот раз, если верны донесения друзей из среды поляков и русских «разведчиков», сейм обещает быть крайне непокладистым. Все знают, что

Александр из Варшавы собирается на конгресс в Троппау, который должен открыть свои заседания в октябре. Что там будет решено, на этих заседаниях?

Неужели придется только что собранной и вымуштрованной армии двинуться в поход, получить боевое крещение? Значит, закопятся в пороховом дыму чистенькие мундиры... На кочковатых полях битв, под свист бомб и ядер, под напевы пуль — не стройно заторопятся, кой-как зашагают образцовые батальоны... Поредуют молодцеватые ряды... Мундиры окрасятся кровью и повиснут лохмотьями от удара сабель, штыков, от пуль и осколков бомб...

Не любит и не желает Константин войны, не хочет вести в бой молодое свое войско, хотя, по иным причинам, не хотят того сами поляки.

Те рады, рвутся в бой, только не за угнетателей-австрийцев, не против задавленных, покрытых былою славой сыновей прекрасной Италии... Они бы знали, куда направить штыки, где найти цель для пушек и ружей, если бы их близкие вожди сказали, что час пробил...

Но те молчат... Значит, надо смиряться и блестящим батальонам, молодецким полкам следует ожидать лозунга, терпеть до срока... Но все же чуют «друзья» москвичи, что неладное творится в душах у их послушных учеников.

И Константин, хотя и после всех, тоже сознает, что изменилось нечто вокруг него. Только еще не может точно определить: в чем дело?

27 августа нового стиля прибыл Александр в Варшаву и до 13 сентября, до дня открытия сейма все шло прежним порядком. Парады, балы и приемы заполнили время.

В последний вечер накануне открытия сейма Александр с цесаревичем, Новосильцев, Ланской, князь Островский, граф Комаровский и еще два-три человека из числа наиболее влиятельных и преданных Александру польских вельмож, обсуждали предстоящие события в связи с тронной речью императора-короля.

— Состав депутатов почти тот же, — проглядывая списки с разными отметками на нем, говорил Новосильцев, — да сами эти господа изменились круто, если верить сообщениям. Вот здесь отменено: на кого можно вполне положиться теперь из числа всех представителей народа. И двадцати человек не наберется из полутораста... Этого мало, ваше величество!..

— Гм... полагаю. А большинство? Чего оно желает? За кого, за что будет голосовать?

— Ни за кого и ни за что, а против всех проектов законов, предлагаемых нынче правительством вашего величества... Им желательно устроить, по примеру Европы, министерский кризис и взять власть в свои руки. Для чего? Они и сами хорошо не знают. Им важна перемена лиц, а не принципа... Этого коснуться пока они не смеют...

— Пока? А потом, значит, могут осмелиться? Чего же они собираются пожелать потом, когда найдут, что настало их время?

— Кто знает? Может быть, и сами они еще не разобрались в своих желаниях. Зараза идет с запада. А чем кончится дело? Это во власти Господа и вашего величества.

— Ну, что меня касается, — я постараюсь остеречь этих мечтателей... Мне сдается, они все люди искренние, честные, но взаправду отуманенные тем, что кипит теперь во всей Европе... Я их остерегу серьезно. А остальное, вы правы, господа: во власти Божией, как судьба всех царей и их народов. Что еще имсете сказать?

— Есть хорошес средство, — осторожно заговорил Новосильцев, — вот и граф Островский, и другие господа министры согласны и подтверждают это... Нам, как и вашему величеству, известны все главари, демагоги, вздорные вожаки, которые собираются и могут повести за собой господ депутатов нынешнего сейма... Все они — люди, имеют известные слабости... И если повлиять на кого денежной выгодой, на иных — общанием служебных и почстных наград... словом...

— Подкуп?! Знаю: это — обычная язва, почти неслучная с представительными учреждениями и на Западе, и всюду. Я на это не пойду! Как совесть велит, как Бог присудит, хочу я править своими народами и царствами... Не обижайтесь, господа: я понимаю, практическая мудрость подсказала вам этот совет... Желание прийти на помощь мне и королевству, которое может испытать вредные колебания, если кучка демагогов овладет общественным мнением. Но ведь сила слишком явно на моей стороне и потому — уверяю вас, я буду терпелив и осторожен. Вы убедитесь в этом и завтра... и потом, господа. До свиданья.

Отпустив всех, он оставил одного Константина.

— Ну, что ты теперь скажешь, Константин? Все молчал. И я не трогал тебя, понимая, в чем дело. Ты мне одному, конечно, легче открось твои душевные мысли и соображения. Говори.

— Я плохой советчик, ваше величество. В одном твердо уверен: уступать ни на пядь нельзя. Они такос в голову заберут, что сами себе шею сломают и нам наделают хлопот. И вот еще не знаю: как решение ваше насчет западных губерний? Об этом главная рсчь.

— Ты же хорошо знаешь: я решил их со временем слить со всей Польшей и...

— Умоляю, ваше величество, не делайте того. Со слезами готов просить! И высказать не смогу вам порядком, но чувствую: в этом гибель Польши и нам много зла грозит... Если я только хоть малость заслужил у вашего величества... если...

— Да перестань ты. Не волнуйся так, Бога ради. Если я говорю — решил, это не значит, что сейчас так все и свершится... Вот погляжу на этот второй сейм. Потолкуем на конгрессе... Ты, если будешь свободен, тоже загляни в Троппау. Мне будет приятно потолковать там с тобой...

— Хорошо, ваше величество... Я постараюсь... Но все же...

— Да успокойся. Еще ничего не происходит такого... Ну сядь здесь, слушай, что я тебе скажу... как брату, как многолетнему другу. Я, знаешь, редко пускаюсь в откровенности. Но хочу убедить тебя, что и я не слеп, не опрометчив в моих ршениях... Слушай...

Цесаревич, перед этим стоявший у стола, сел ближе к брату. Лицо его выражало напряженное вниманис.

— Боже мой, ты словно готовишься принять причастис... Или плохо слышишь и потому весь вытянулся?... Славный ты мой друг! — улыбаясь заметил Александр, но в то же время он слегка сморщил лоб, свел брови, словно размышляя: надо ли поддаться желанию поговорить с братом по душе или отыгаться и теперь какими-нибудь общими словами? Наконец решил и продолжал негромко, задушевным тоном:

— Помнишь, брат, каким глупцом считали меня после Тильзита? Как исподтишка уверяли, что Корсиканец и меня посадил к себе в карман? А потом, когда я выступил на борьбу с этим действительно гениальным захватчиком, меня прямо ославили чуть не безумцем... А затем? В печальные дни Бородина, в годину гибели Москвы — как горели мои щеки и уши от неслышных, но внятных мне укоров, проклятий и глумлений, которые неслись и сыпались дождем на голову мою со всех концов России и целого мира... А чем кончилось дело? Конечно, удача, случай... Господняя помощь, наконец! Но и я, верь, брат, кое-что предвидел, кое-чем помог в вели-

ком деле... Так будет и теперь. Вот ты знаешь: волнуется Европа, шевелится Греция и близкие нам народы на Балканах... Сдается, удобный случай потеснить турок и двинуться к Востоку... Мало того: революционеры, хитрые искатели всячески желают втравить меня в войну с Турцией... Но я еще погожу... Пусть они там грызутся, отнимают силы друг у друга. России надо отдохнуть. Теперь насчет Польши. Ты не забыл, как я повел дело с Корсиканцем? Я почти на все соглашался, но не доводил дела до решительного конца. Мы были союзники, но осталось немало важных, спорных вопросов, нерешенных между мною и императором Франции. И когда по-моему настала пора решить эти вопросы так, как я желаю, я поставил их на первую очередь... А все остальное — пришло само собой... Здесь, в Царстве Польском, тоже немало таких вопросов... Но решать их по-нашему, по-русски — не пришла еще пора... Поглядим, что даст будущее, может быть, даже близкое... Понял? Но мы должны быть прямодушны и терпеливы до конца. Может быть, образумятся мои новые подданные, поймут, что худой мир со мною и моей державой — лучше для них всякой доброй ссоры, поймут... Ну, да что нам заботиться об их разумении... Ты-то понял мои мысли?

— Сдается, понял, дорогой брат! Храни вас Господь на славу и величие родины... Я вижу, что мне остается слушать вас и следовать всему, что...

— Господь укажет мне и тебе, Константин, во благо людей, во славу наших царств. Николай тоже согласен со мною. Я уже предупреждал его о назначении, которое мы оба ему готовим, когда... Ну, и об этом до срока не стоит говорить, искушать судьбу. А ты все же приготовь надлежащее письмо с твоим отречением... Время терпит. Хоть перед отъездом моим отсюда дашь мне, обсудим вместе и пошлем его матушке... Согласен?

— На все, что прикажете и пожелаете, дорогой брат!..

— Вижу. Благодарю! А теперь — ступай, отдохни. Завтра предстоит босвой день. Я уж наперед чую... Доброй ночи, брат. Мой привет твоей княгине. Я с каждым разом все больше очарован ею. Ты не ревнуешь? Ну, конечно... Так передай ей... Доброй ночи!..

Вторично стоит под роскошным балдахином у древнего трона король-император Александр и обращается с речью к своим полякам, новым подданным, которые за шесть лет,

очевидно, еще не свыклись с новым своим укладом жизни политической и общественной.

Сейчас это видно даже без слов, по выражениям лица большинства депутатов, выбранных народом в обе палаты польского парламента.

Если не явно враждебны, то угрюмо-сосредоточенны лица у большинства. На лицах меньшинства видна тревога и какая-то растерянность. Словно они не уверены и в своем положении, и в исходе дела, для которого призваны сюда.

С ясным, спокойным лицом, но далеко не так приветливо, как первый раз глядит на всех «круль» Александр. Мягко, но более уверенно и властно, чем два года тому назад звучит его голос.

Конечно вступление... прозвучали обычные фразы о законносвободных учреждениях, о нерушимости царского слова, о твердости конституционных основ...

— Поляки! — неожиданно сильнесс и звонче, как предостерегающая труба, зазвучал голос царственного оратора. — Власть созидаящая и благорасположенная к народу вынуждена бывает иногда являться и сильной, карающей властью. Особливо при могущей встретиться необходимости прибегнуть к насильственным даже средствам, чтобы истребить зловредные для всех семена общественного расстройств, коль скоро они окажутся. Говорю это в предвидении возможных событий. Дух зла покушается водворить снова свое бедственное владычество над людьми, он уже парит над частью Европы, уже накапливает злодеяния и пагубные для истинной свободы буйственные события! Умы и души истинных избранных и слуг родного народа не должны поддаваться сему!

Дальше звучит в том же духе уверенная, предостерегающая, властная речь.

Впечатление сделано. Тревожно переглядываться стали депутаты: от сенатора до последнего мазура-землероба.

Правда, крестьяне не понимают точного смысла французской, безукоризненно щеголеватой речи. Но тон, выражение лица и глаз Александра уже хорошо знакомы этим людям... И они чувствуют, что уже насторожился лев, что он не гневается пока, но готов к этому...

Тогда, желая смягчить вынужденные угрозы, позолотить пилюлю, иным, прежним, ласковым тоном закончил речь:

— Поляки, я не обманул донныне ваших заветных ожиданий. Большая часть их осуществилась. Не надо же делать

остановку на полпути. Еще несколько шагов, руководимых мудрой умеренностью, отмеченных настоящим прямодушием и доверием, — и вы достигнете предела всех надежд и стремлений ваших, равно как и моих. Вдвойне я стану рукоплескать самому себе, видя наконец, что мирное пользование всеми благами свободы утвердило ваше народное бытие и для взаимного благополучия на вечные времена скрепило братский союз между нашими обеими отчизнами!..

Еще несколько заключительных фраз общего характера — и он умолк.

Молчанием отвечали на эту речь и сами депутаты, и дамы наверху, на хорах разряженные по-прежнему, — они уже не глядят гирляндой цветов, сверкающей под яркими лучами солнца. И на них, на их лицах — словно легла тень надвигающейся, пока отдаленной грозы...

В сопровождении большой блестящей свиты покинул зал Александр.

Молча, без прежних споров и толков разошлись депутаты, сановники, опустели хоры...

Несобычно, почти без прений проходит сессия.

Но предлагаемые на утверждение парламента законы отвергаются огромным большинством голосов один за другим.

Все мрачнсе и мрачнее делается Константин. И сдержанный Александр, хотя лучше владеет собой, но все же принял холодно-сдержанный вид, особенно по отношению к представителям оппозиции, то есть почти ко всем польским депутатам, кроме нескольких выборных от низших сословий и от самой Варшавы, которая желает сохранить добрые отношения с ее державным, редким гостем.

Быстро промчался урочный месяц.

30 сентября, накануне закрытия ссйма, король-император принял депутацию представителей всех сословий, чтобы выслушать обычный доклад относительно общего хода работ парламента в течение целой сессии.

Несложный и неутешительный отчет выслушал на этот раз Александр.

Два года работы и ожиданий народных сведены на нет. Все законопроекты, порой подсказанные самими жгучими запросами общей жизни, отвергнуты и снова целая страна должна ожидать два долгих года, не имея даже твердой

увренности, что третий сейм будет удачнее, плодотворнее второго...

Да и этого мало. По Варшаве разнесся тревожный слух, быстро перескнутый сотнями уст и в провинции, что сеймов больше никаких не будет! Круль так возмущен явной и дружной обструкцией обеих палат, что никакого сейма уже не созовет, просто уничтожит по праву силы те законы, которые могли дать силу новым учреждениям королевства...

Все знают о таких тревожных слухах, даже словно ожидали, предчувствовали, что так будет. Недаром дамы являлись теперь на хоры не в прежних, ярких туалетах, а в скромных, темного цвета, почти траурных... По кому? По тем, должно быть, последним проблескам прежней свободы, которые собиралась задуть мощная рука императора-круля, подталкиваемая своими же польскими интриганскими, политиканствующими и вызывающими на крайние меры панами и вожаками партий...

Тихо всюду, глухо всюду!
Плохо будет, видно, люду!

Так по углам толкуют редкие беспартийные патриоты.

Но Александр еще раз проявил всю силу своего великодушия, всю ясность ума. А, может быть, — как он говорил Константину, — еще не пришла пора воспользоваться роковыми ошибками плохих политиков, вождей польского народа и он исправит все одним приемом...

Но это было в последний день, при закрытии сейма.

А депутацию выслушал Александр с холодным, сдержанным видом и спокойно заговорил:

— Да, государи мои, два года потеряны совершенно. Но этого мало. Гораздо большую опасность вижу я в бесплодном, неожиданно огорчительном завершении минувшего сейма. Спрошу вас об одном: неужели вы и товарищи ваши полагаете, что я могу быть доволен, если одну из либеральнейших конституций в Европе, более свободную, чем таковая во Франции, дарованную мною народу польскому, если свободную подачу свободных голосов стараются обратить для стеснения моей верховной воли? Да при том еще безусловно направляемой исключительно на благо всему польскому народу, всей вашей отчизне? Не думаю того, господа. Конечно, мне понятны и поводы таких поступков. Не виню я всех подряд. Мне доподлинно известно, что не

какие-либо дурные намерения, а скорее слабость характера большинства голосующих явилась причиной того, что большая часть членов палаты поддалась влиянию некоторых господ, желающих только отличиться и получить рукописания с галереи, хотя бы ценою спокойствия и процветания своей родины. Да будет им стыдно. Не могу всех смешивать с этими людьми. Но все же не советую испытывать больше судьбы, которая так много тяжких ударов обрушила на бедное отечество отважного польского народа! Да и мое долготерпение имеет свой предел. А впрочем, я от своих давнишних и твердых намерений так легко не отступаюсь. До завтра, господи!

Настало это завтра.

В тоне вчерашнего урока, данного группе лидеров сейма, звучит и прощальная речь государя. Сдержанные упреки, осторожные угрозы перемешаны с самыми прямыми и полными значения обещаниями. Но общий припев пререзает всю речь:

— Получите то, что сами заслужите, пожнете все, что посеете!

Полна вопросов и запросов эта искусная речь. Ничего прямо не осуждает Александр. Он обращается к разуму и совести самих представителей.

Он напоминает им о тех рядовых массах, которые выслали своих лучших, передовых людей в парламент не для сведения счетов хотя бы с самим королем, а для необходимой, творческой работы на пользу всему народу.

— Тридцать долгих дней длились наши труды и споры господ депутатов о разных законопроектах. А где же плоды этих споров, работ и трудов? Что скажет общественное мнение страны, когда вы вернетесь и объявите: мы не сделали ничего! Одобрят ли оно такие действия своих избранных? Но сами дайте ответ по совести на эти вопросы. Я считал лишь своим долгом задать их вам и не жду ответов.

— Допросите ваше собственное сознание и оно вам скажет прямо: выполнены ли вами, в течение минувшей сессии, все обязанности по отношению к родной вам Польше, какие возложила она на вас, каких ждала от вашего благоразумия и мудрости? Или, наоборот, увлеченные общим теперь веянием времени и соблазнами, широко разлитыми кругом, — не задержали ли вы своими неслодами поступательное движение вашего края, тем самым порушив доверие, оказанное вам нацией, как избранныкам своим?

— Такая тяжкая ответственность должна лечь гнетом на ваши плечи.

— Вы несете ответ именно во имя той необходимой свободы, с какою могли подавать ваши решающие голоса на сейме, независимо ни от кого!.. Они вполне свободны, ваши голоса, но чистые мысли и намерения должны вечно подсказывать вам ваше да и нет. Мое решение вы знаете давно. За зло — вам уплачено было добром, Польша возведена на степень других независимых государств. Но как бы ни отозвалось общественное мнение насчет способа, посредством которого вы воспользовались своими правами, я в отношении к Польше никогда не изменю своих намерений, неоднократно высказанных перед всею нацией и закрепленных хартией дарованной вам конституции. Теперь я оставляю вас, но и вдали буду постоянно заботиться о вашем благоденствии, поляки. Единственным предметом моих желаний будет — видеть, что учреждения, данные мною вам, упрочены вашей умеренностью, оправданы вашим всенародным благополучием.

Таким примирительным аккордом закончил свои речи Александр и закрыл второй сейм.

Едва Александр скрылся за высокой резной дверью, целый водоворот закипел в обширном зале, где происходила церемония.

Десятки депутатов со всех сторон окружили тех явных и тайных главарей, влияние которых вызвало такой нежелательный исход всей сессии.

— Вы, вы виноваты, господа, во всем! — кричали отрезвленные внушением круля, недавно еще покорные панам, депутаты из простого народа. — Его величество яснейший круль недоволен порядками в палате. А вы уверяли, что он сам желает полной независимости в решениях!.. Знаете, что вчера было сказано крулем панам депутатам? Он всех нас винит по вашей милости, господа коноводы!..

— Надо было раньше явиться к его величеству и узнать его взгляды, — соображали после развязки другие. — Теперь, пожалуй, мы и не дождемся третьего сейма. Правда, круль общал. Но он может раздумать... вспомнит, что вышло из этой сессии, и не захочет больше такого парламента!.. Можно ли было огулом отвергать все?! Это же безумие!.. Вы виноваты, паны вожатые! Графы да магнаты. У вас, вон, счета с крулем, а вы нас, хлебоборов, да мелкую шляхту подводите!

Гордо стоит князь Адам Чарторыйский, словно его и не касается общий ропот. Встает вьюном князь Любецкий, умасливая и примиряя всех. Громко звучит октава графа Яблоновского... Пан профессор Лелсвель плавно, мягко, словно желая убаюкать группу обступивших его депутатов, успокаивает их, все объясняя и не объяснив ничего...

Времена старой Речи Посполитой, дни шумного «рокоша» напомнило это закрытие второго сейма королем-императором Александром.

Поспорив до хрипоты, ничего не решив, пропитанные всякими тревогами и опасениями, совсем поздно разошлись депутаты...

Александр, пробыв еще дня два в Варшаве, выехал в Силезию, в городок Троппау, где собрался очередной конгресс европейских монархов для обсуждения вопроса: как потушить пламя возмущения, снова запылавшее в разных концах Европы и готовое охватить ее всю от крайнего запада до самого востока?

Часть третья

ЧЕРНЫЕ ДНИ

Глава I

ДОЛГ И ЛЮБОВЬ

Ум смотрит тысячами глаз,
Любовь глядит одним.
Но нет любви, и гаснет жизнь,
И дни бегут, как дым!

Я.Полонский

Нет выше любви, ежели кто душу
свою положит за други свои!..

Напряжение духовных и нравственных сил, задержанная энергия, не получившая для себя исхода в дни сейма, как будто зарядила электричеством воздух не только в шумной, отзывчивой ко всему Варшаве, но и в целой стране, где большинство говорит польским языком по обе стороны Вислы, до Немана на западе, до Днестра на юго-востоке.

Люди самые невпечатлительные вынуждены были заметить это повышенное настроение. Правда, вся крестьянская масса, хлопы, мазуры и подоляне с литовскими хлеботоргами, с бледными, истощенными белорусами и пинчуками, красноглазыми обитателями безбрежных болотистых пространств, — эти мало откликались на волнения «господ», панов и полупанков из шляхты, из лавочного панства и патриотов-ученых, вкупе и влюбсе с отцами пробощами и ксендзами всех видов.

Но сильное, хотя глухое пока брожение сразу охватило более сознательные круги населения польского народа.

Особенно всколыхнулось духовенство, давно уже недовольное тем, что «москаль» сидит на католическом престоле, что «схизматик» носит на голове священную корону Пястов и Ягеллонов.

Как на беду, перед открытием столь неудачного сейма посетил в первый раз Варшаву граф Аракчеев, вызванный

сюда государем, чтобы решить вопрос о наборе текущего года в российской империи.

По какой-то странной случайности, а, может быть, и не без умысла, 1 (13) сентября 1820 г. в самый день открытия сейма государь подписал в стенах Варшавы указ о наборе четырех рекрутов с каждых пятисот человек, населяющих империю.

Немедленно пошли на этот счет слухи и предположения, способные взволновать и бойкого горожанина, не только темного обитателя глухих сел и деревень, грязных местечек и фольварков, куда медленно, но неустанно просачиваются малейшие вести из столицы польской...

Известность Аракчеева, печальная, но широкая, давно успела проникнуть в пределы Польши. Уже в 1817 году являлись в далекую Варшаву новгородские крестьяне-ходоки, подстерегали на площади Константина и, пав перед ним ниц, молили защитить от «антихриста»-графа, который весь люд крещеный задумал повернуть на новую статью, запретить в ограде «военных поселений», как узников, их, свободных, хотя и полуголодных людсей.

Какой-то непонятный ужас нагонял на поляков «преданный» граф, как он сам называл себя, граф-«предатель», как называли его другие, и деревянным выражением угловатого лица, и напряженным взором бесцветных, но сверлящих душу маленьких злобных, как у бульдога, глаз.

Даже любимый старый ожиревший мопс Константина заворчал, залаял было, а после забился в угол, когда увидел Аракчеева, приехавшего с визитом к цесаревичу, главному хозяину гостеприимной Варшавы. Злой взгляд гостя смутил пса.

В простом народе толки и рассказы доходили до крайних пределов нелести. Передавали на ухо, что «граф с лошадиным лицом» — сам демон, которому Александр, как новый пан Твардовский, продал свою душу, обеспечив себе этим постоянный успех и всемирную славу победителя и мудрого государя.

Люди, считающие полезным сильнее мутить воду, пустили и другие толки.

С разных сторон заговорили, что Аракчеев прислал неспроста. Набор, которого не было в России уже несколько лет, назначен именно для занятия всей Польши русскими войсками. Польские полки будут по приказу из Троппау двинуты против итальянцев, решивших умереть за свобо-

ду... А русские батальоны наводнят Привислинский край... Затем — все население польских сел и деревень будет во многих местах злополучной России под названием «военных поселений». Следующей мерой, которую применит ненавистный людям «антихрист»-граф, явится обращение в «схизму», в православие старых и малых, жен и детей, словом, — каждого, кто предпочтет этой ценой купить право провести остаток дней на своем пепелище, а не брести тысячи верст под конвоем в далекую холодную Сибирь...

Это и многое еще говорилось про ненавистного временщика.

Толковали, что он сам содержит в каждом своем имении целые гаремы из красивых женщин и девушек, даже детей лет восьми и моложе, без различия: девочек и мальчиков. И грубый изверг не только-де растлевал малюток, но, как истый демон зла, вампир или извращенный садист, проливал кровь малюток, тем доставляя себе минуты зверского наслаждения...

Говорили, что и для друзей своих постарше годами, он держит толпы девочек одиннадцати-двенадцати лет и которых негодай-фаворит при помощи особых манипуляций подготавливает, чтобы можно было растлить их без всякого напряжения и труда.

Словом, не было той клеветы, того ужаса, который и в России, и в Польше не сочетался свободно с именем графа Аракчеева.

О сотнях людей, забитых им шпицрутенами за малейшую вину, даже не считали нужным и говорить.

Только когда граф уехал, все вздохнули свободнее.

Но толки и слухи остались и росли. Брожение, вызванное ими в широких массах народа, особенно среди жителей больших городов Калиша, Лодзи, Вильны и других, подготавливало почву для политических проповедей, для тонких, но тем глубже западающих в души намеков и аллегорий, которые вводили в свои проповеди католические патеры и даже униатские священники, недовольные многим в настоящем порядке вещей.

Конечно, цесаревичу было известно многое из того, что происходило кругом.

Но за шесть лет жизни в краю Константин успел привыкнуть к постоянным волнениям, которые то сильнее, то слабее колебали польскую общественную и политическую жизнь.

Не обладая лично способностью тонко разбираться в окружающем его водовороте, не отличаясь особым чутьем и силой проникновения в души людские, в настроения общества, даже всего народа, Константин хотел одного: чтобы войско, так близкое его душе, любимое им совершенно бескорыстно, — чтобы оно осталось верным своему долгу. Тогда, конечно, можно спокойно смотреть на самые бурные проявления недовольства среди неустойчивого польского народа.

«Чего хотим, тому и верим!» — это старая истина. И цесаревич твердо верил в преданность польских войск, особенно с той поры, как в 1819 году был назначен главным командующим литовской армией, что на самом деле давало ему власть вице-короля всей Западной России.

Поляки по эту сторону Вислы, узнав о назначении, еще больше сжались; особенно военный элемент.

Кто из них не знал, что во всей литовской армии также тлеет огонь всеобщего недовольства, что там, по примеру «десятков», введенных майором Лукасиньским и его помощниками Кшижановским, Масвским, что на Литве, на Волыни давно поссесор Рукевич и его сотоварищи организуют «боевое» ядро, осторожно, постепенно, но неустанно вербуя все больше и больше единомышленников в рядах солдат и низшего начальства, как это делалось и в самой Польше.

Значит, надо было еще больше притаиться ввиду, быть может, близкого успеха и осуществления многолетних, заветных ожиданий и надежд...

И люди затаились, но работа пошла еще напряженнее и живее.

Конечно, как и при всяком заговоре, в среде преданных делу людей завелись свои предатели, а также введенные искусственно в кружки патриотов провокаторы-шпионы.

Были и такие, которые вели двойную игру: заговорщикам выдавали планы и ходы правительства, а последнему изредка кидали в жертву слишком зарвавшихся демагогов или чересчур неосторожных юных мечтателей-мятежников.

О заговоре в рядах войск осторожно давали знать Константину, особенно Новосильцев, который меньше других считался с положением и с личной вспыльчивостью цесаревича.

Но последний неизменно возражал.

— Мерзавцы везде есть! Среди двенадцати апостолов один оказался Иуда из Кариота... Может, и в моих полках

есть пара-другая сучьих сынов... А за польскую армию вообще головой ручаюсь. Уж не говоря о нашей, русской, о литовских батальонах. Что они, звери? Могут отплатить мне, и государю, и всей России изменой, гибелью за то, что мы им дали и собираемся еще дать? Пустое. Они по чувству разума, из прямого расчета должны остаться нам верны. Горшок котлу не товарищ! Стоит этой дряхлой, утлой Польше теперь стукнуться о наши железные бока — и капут. Думаете, ребенок польский не знает такой азбуки? Ошибаетесь... Ксендзы здешние, знаю, мутят. Уж такой народец, римская банда. Они вечно особняком. *Status in statu*¹ изображают. Вот и все.

Новосильцев поневоле вынужден был умолкнуть.

— Вот уж воистину! — говорил он. — Против глупости человеческой и сами боги не могут бороться!..

В холодное январское утро рано, как всегда, проснулся Константин.

Военных занятий нынче нет никаких, приема тоже. И он, погревшись у вечно пылающего камина, сел разбирать накопившуюся корреспонденцию, свежую и требующую ответа.

Прежде всего перечитал он письмо Александра, где государь извещал об успешном ходе занятий в Троппау. Но 8-го января нового стиля оттуда все участники конгресса переехали в Лайбах, чтобы находиться ближе к Италии, главным образом интересующей государей. Туда скорее доходят вести из возмущенного Неаполя, легче давать указания войскам.

Уже в Троппау союзники решили принять самые крайние меры против «революционного движения», охватившего Европу, даже наметили для этого ряд практических приемов.

Но какая-то усталость сквозит в строках письма Александра.

«Великой важности дело выполняем мы здесь, — пишет он, — но и трудности, сопряженные с данной работой, неисчислимы. Надо найти как можно скорее решительное средство для искоренения великого зла, которое быстро, тайными и неуловимыми путями, разливается по всему ми-

¹ Государство в государстве (лат.).

ру. Сам сатана со всею прозорливостью своею помогает усилению царящего зла, направляет его победоносное шествие. И средства борьбы, какие мы ищем, — увы! — не в наших человеческих, слабых руках, а во власти Высшего Зиждителя Мира! Единый Спаситель Наш Своим Святым Словом может дать оружие против сатаны.

Посему и остается призвать Его на помощь, ввериться Его воле и молить горячо, от всего сердца, да пошлет нам спасение. Да подаст нам силы идти Его святым путем, под сенью Духа Святого Всесозидающего!».

Дальше идет сообщение, что государь предполагает двинуть русские силы в Италию, на усмирение карбонариев и других бунтовщиков. Ермолову будет дано знать, чтобы он раньше приехал в Лайбах для подробных совещаний.

«Понемногу, оплот за оплотом бунта — должны смириться перед силой союзных государей, — пишет Александр. — Только тогда могу я быть спокоен и за свою империю, не говоря о царстве польском, так близком вашему сердцу, милый Константин...»

Цесаревич задумался.

Мистический язык, которым с некоторых пор заговорил брат, совершенно чужд уму и сердцу Константина. Но, конечно, это неважно. А вот опасения насчет Польши? Конечно, государю тоже многое донесли, да еще в преувеличенном виде. А Константин за последнее время как-то болезненно чуток стал во всяком вопросе, который касается вверенного ему народа и края.

Тут и самолюбие играет роль, и привязаться успел цесаревич не только к своему детищу, к великолепной польской армии, сейчас окончательно сформированной и вымуштрованной самым блестящим образом... Он полюбил и эту Варшаву, и польский шумный, легко возбуждающийся, отзывчивый народ, в котором так сильна любовь к возвышенным порывам, ко всему, что красиво и смело.

Он любит и самый климат, природу этой страны. И потому не хотелось бы, чтобы наносили на поляков лишние наговоры.

Писать брату об этом не надо. Александр по натуре очень недоверчив, даже слишком упрям в своих правильных, неверных ли выводах — все равно. Влиять на него надо осторожно, через людей, которые со стороны, мимоходом умеют направить мысли государя в ту или иную сторону...

Подумав так, Константин взял перо и стал писать... Аракчееву.

Конечно, наравне с другими, Константин относился с затаенным презрением, даже с отвращением к фавориту, которого сам Александр в минуты особой откровенности называет «необразованным, грубоватым и ограниченным» человеком... Но этот капрал обладает секретом влиять на своего умного, просвещенного повелителя, внушать ему доверие к каждому слову, какое срывается с неуклюжих губ преданного, раболепного графа.

Значит, и насчет Польши он может замолвить словечко в хорошую пору. А что Аракчеев захочет оказать услугу ему, Константину, — цесаревич в этом не сомневается. Он убедился, что нет человека с большим, хотя в глубоко затаенным самолюбием, чем Аракчеев. Стоит врагу даже прийти и смириться, попросить об одолжении «графа», — граф все сделает, чтобы доказать свою власть. Цесаревич же Аракчееву не враг, граф знает это. Да и неизвестно еще: кто примет власть после Александра? Сам государь еще не решил того.

Значит, и Аракчеев постарается заручиться расположением лица, которое, может быть, несколько лет спустя, займет место, какое теперь в уме и в расчетах временщика занимает Александр. Он, Аракчеев, один из немногих, которые, подобно Константину и лейб-медику Вилье, знают, как ненадежно, в сущности, кажущееся здоровье богатыря Александра...

Быстро сообразил все это цесаревич, и перо его заскользило по плотному, глянецвитому листку.

Кончено обычное, общего характера вступление, написаны любезные фразы, вопросы о здоровье, которым кокетничает постоянно хитрый услужник, чтобы дороже ценились его услуги и труды.

Задумался на минуту Константин, и вот дальше выводит своим мелким, рвущимся, скорее женским, чем мужским почерком, строку за строкой:

«Что же касается местных дел, у нас здесь, слава Всевышнему, все спокойно и благополучно. Усердие в войске и старание угодить государю всеобщее.

Что же касается до политических мыслей большого света...»

Константин остановился.

Он охотно бы смягчил и эту сторону вопроса, чтобы успокоить совершенно Аракчеева и через него брата-госу-

даря. Да никак нельзя... Слишком недавно был здесь сам граф и, как истая ищейка, всюду нюхал, всех выспрашивал, выглядывал сам, что где было возможно...

Снова скользит перо, но уже медленнее прежнего:

«...об этом я умалчиваю; ваше сиятельство, прожив здесь с нами, видели сами его. Дай Боже мне обмануться, но меры нужны самые деятельные, чтобы прекратить это в самом начале его и корне...»

— Так, хорошо! Ловко сказано, — похвалил себя простодушный автор, — если дело в начале, значит и опасность невелика. И бояться нечего, но все же меры будут приняты... Конечно, не без совета со мною... А теперь и поправочку дадим, чтобы не думалось, будто здесь только такие глупцы и злодеи живут: а, мол, по примеру «всех Европ» и мы душим, понятно...

Решительно закончил период Константин, начертав:

«Впрочем, мне сдается, что сие заражение умов есть генеральное, всеобщее и замечено не только здесь, но и повсюду...

Семеновцев ваших не забывайте, братец и граф любезный! — думает с некоторым удовольствием Константин. — В сердце самом, в столице, в близкой гвардии и бунтом полки ближайшие, по три тысячи человек с ума сходят! Что же дивного, если и в моих польских батальонах сорванцы безумные найдутся, баламуты, смутители? Все обойдется. Бог даст...»

Еще несколько любезных фраз и письмо закончено. Обычным, замысловатым росчерком подписался Константин и сам запечатал письмо.

Долго еще работал Константин, перечитывая донесения, письма, отвечая на них, просматривая доклады и рапорты, сложенные тут же большой грудой.

Вдруг один конверт, совсем не делового вида, надписанный знакомым почерком, заставил его нахмуриться.

Это было письмо от полковницы Вейс.

Пробежав листок, он смял его в досаде и кинул в корзину у стола, потом, подумав, позвонил.

Вошел дежурный камердинер, поляк Коханский.

— Узнай, пожалуйста, поднялась княгиня? И нет ли у нее кого? Я должен ее видеть.

— Ее светлость ожидает ясного князя, — через несколько минут доложил Коханский.

Жанета встретила мужа тоже с каким-то письмом в руках.

За последнее время княгиня Лович стала прихварывать и довольно часто, но быстро оправлялась, как будто силой воли отгоняла досадные приступы болезни, зная, что муж не любил видеть ее бледной, исхудалой, с темными кругами вокруг глаз.

Зато, если она была весела, если щеки ее покрывались обычным нежным, пленительным румянцем и глаза загорались, — Константин мог молча часами сидеть, любуясь на свою «голубку».

— От папá письмо, — подставляя губы и лоб для поцелуя, радостно объявила ему княгиня.

— От Бронница? Что еще за новости? Какая переписка? — невольно хмуря брови, спросил Константин, удивленный, почему граф шлет послания из замка, а не является лично, если нужно что-нибудь от падчерицы.

— Да нет, не от Бронница. От моего отца, от милого старика из Познани. Я уж несколько дней ждала...

— А! Ну, что пишет старик? Здоров? Как поживает вся семья? Есть там дети от этой, второй его жены?

— Дети есть, небольшие. Он возится с ними постоянно. А теперь хотел бы меня... нас всех видеть. Такая радость. Две дочки чуть не разом вышли замуж. Он Тонци и не видал почти со дня ее рождения. Тогда они и разошлись с мамой... А теперь мы обе дамы...

— Да, выскочила твоя сестричка за этого франта... Он умный хороший человек, что и толковать. Даже наши все его уважают. Но почему не подождала твоя сестренка? Могла бы теперь подыскать хорошую партию... Куда показистей!.. И почему непременно пошла за поляка? Почему за поляка? Не любит она «москалсй»? Да еще за ординарца этого захватчика, за полковника наполеоновских войск! О нем и брат Александр хорошо знает, даже спросил меня: «Тот ли это Хлаповский, который теперь породнился с нашей семьей?» Ты понимаешь? Для меня, положим, — все равно. Я не делаю отличия между «москалями» и поляками. Но люди замечают каждую малость. Брат так тревожится от малейшего пустяка... Непонятная девушка. Своего счастья не могла дождаться!..

— Она счастлива, милый Константин... Почти так же, как и я...

— Так, да не так!.. Но, уж если это случилось, хорошо бы, если они поедут в свои прусские поместья... Это было бы очень догадливо с их стороны...

— Я поговорю с ними! — печально проговорила Жанета. — Хотя и скучно станет без Тонци... Я так привыкла к ней.

— Ну, матушка, и ей не до тебя. Муж, потом дети пойдут... И у тебя свои дела. Не та пора, чтобы целые дни по родне разъезжать... Да еще по вашим панам, которые мне и брату одного зла желают... Да, да! Я больше ваш простой народ люблю, чем гордых панов, вельможных интриганов. Но, но, не плачь только... Ради Бога! Не выношу я, знаешь, женских слез, а твоих особенно... Ты мне не сказала, что пишет отец. Он у тебя — славный старик, судя по твоим рассказам...

— Что говорить, милый? Если ты так смотришь на моих, на всю родню!..

— И не на твоих, и не на родню!.. Я умею людей разбирать. Отчего сама ты отчима не жалуешь? И с мамашей своей не очень дружна? Видишь, и ты своим да родне не потатчица... Так что же нам манерничать друг с другом? Жить вместе, так уж тут, как мы ни любим друг друга, а ломаться не надо!.. Ну, брось слезы, говори что в письме? Мне хочется знать. Здоров старик?

— Здоров. Но он пишет, что перед смертью...

— Ну, новые новости! Теперь о смерти. Не люблю я о ней поминать... Ты сказала, повидать вас желает старик? Пусть приезжает. Чем скорее, тем лучше. Найдется местечко и в доме, и за столом...

— Как? Значит, можно его сюда, к нам? — просияв, переспросила княгиня.

— А как же иначе? Не в Лондонской же гостинице ему стоять, если дочь с зятем, как все приличные люди, своим домком живут. Сюда и зови...

— Милый!..

— Голубка моя! Вот так лучше, чем хныкать. И носик краснеет сейчас, и глазки гаснут, как уголек догоревший... И... Впрочем, стой! Я пришел еще о деле поговорить с тобой... Или, вернее, как бы сказать?.. О семейных делах... Вот писала мне... ну, понимаешь, мать Павла...

— Ах, пани полковникова!.. Мадам Жозефина?.. Теперь понимаю, почему ты такой... такой вот... любезный, ласково настроенный явился ко мне!.. Сестру разбрал. И на меня напустился... Если эта госпожа не бывает здесь сама... если таким образом не может отравлять мне покоя и жизни... не может портить моего счастья — так она пишет... Она... она...

— «Она, она»... А что она? И сама не знаешь... Бросьте, княгиня. Дело настоящее и я прошу выслушать меня. Слышишь, голубка... почему ты перестала ее принимать? Что случилось?

— Ах, ты спрашиваешь? «Голубка»? Отчего не скажешь: змея-разлучница?! Ведь я разлучила тебя с этой «бедной женщиной»... с этой, которая чуть ли не на моих глазах кокетничает с тобой бессовестно, безбожно, не говоря уж о том, что, как мать, учит своего сына — ненавидеть меня!.. О, Боже! За что так испытуешь меня?! Матерь Божия, возьми мою душу, чтобы я не мешала никому на свете и не видела, как глумятся надо мною... всякие...

— Ну, перестань, слышишь! Это же вздор ты говоришь! — совсем серьезно, видимо, сдерживаясь, чтобы не дать воли своему гневу, заговорил внушительно Константин. — Я не питаю больше ни капли чувства к этой, действительно, несчастной женщине... Но уважать ее я обязан. Она мать моего сына и ведет себя совсем прилично... Ты это тоже знаешь... И, помни, сама говорила, обещала мне... А теперь?.. Нехорошо, Жанста. Ты мне дороже всего в мире. Так не играй же моей душой...

Совсем непривычным, мягким, но решительным тоном сказаны эти слова. И смысл их, простой и ясный, произвел сильное впечатление на княгиню.

Она умолкла, задумалась. И чувствует, что муж не сводит с нее глаз, ожидая решения.

— Хорошо, — слабым, едва внятным голосом заговорила наконец Жанста, — я вижу, сознаю: была несправедлива и к ней... и по отношению к тебе... Прости... Я готова извиниться и перед ней. Пусть приходит, когда ей угодно. Я постараюсь подавить свои тревоги, и муки, и опасения, терзающие грудь... Я все-таки была счастлива, как никто!.. Ты хотя немного, но любил меня, мой Константин... А теперь? Пусть будет, как Бог велит... Его Святая воля... Я готова!.. Я буду терпеть. Напиши ей, пусть является хоть каждый день... ищет бесед с тобою... Делает, что хочет... Моя любовь к мужу даст мне силы все перенести... Прости, что я не удержалась, как простая любящая жена, сказала своему князю-супругу то, что давило мне сердце... Теперь я стану улыбаться... я...

Не досказав, княгиня смертельно побледнела от настоящей муки и упала на кушетку в полуобмороке.

— Эй, Зося! — испуганный, стал громко звать Константин. — Кто-нибудь, сюда... Скорее!..

Поддерживая жену, он даже не мог дотянуться до сонетки, позвонить...

Но Зося была недалеко и прибежала на первый зов.

— Княгине дурно... Дай флакон... Где соль? Лавандовой воды... Спирту... Что-нибудь, скорее...

— Несу, бегу! — не ожидая приказаний, засуетилась смышлснная преданная девушка.

Появились разные флаконы, пузырьки. Пенъюар на груди был расстегнут, чтобы легче дышала грудь... Через пять минут Жанста стала приходить в себя.

Прсжде всего она сделала слабый знак Зосе:

— Уйди!..

Девушки мгновенно не стало в покое.

— Милый, прости... Ты не сердишься? Я испугала, тревожила... Я такая слабая... Так люблю моего князя... Так...

Тихие слезы катились теперь из потемневших глаз женщины. Взяв руку мужа, она прижала ее к губам.

— Да что ты? С ума сошла, голубка моя? Могу ли я сердиться за что? Вижу, ты рсвнуешь. Конечно, по-пустому. Она стара, некрасива... А ты... Но я понимаю... Ты нс в силах. Ну, бросим... прсстань... Не зови ее. Не надо... Обойдемся и без этих затей. Павел может бывать у нее... Она пусть является на его половину... И довольно. Согласна так, милая?

— Нст, я в самом деле виновата и перед нсй, и перед тобой... перед моим чистым, благородным рыцарем... Завтра же зову ее к обеду. Можно? Нет? Ну, так к вечернему чаю, запросто. И увидишь, как я буду с ней... как сестра... Ты увидишь... уви...

Горячий поцелуй мужа не дал ей закончить.

Жанста ответила рядом жгучих поцелуев.

Миновали холода. Апрель в половине. Близко начало лета.

Некоторого рода оживание замечается в однообразной, довольно скучной повседневной жизни Бельведерского дворца.

В начале еще этого месяца цесаревич, ничего не говоря княгине, выезжал по калишской дороге и на первой станции от Варшавы встретил старика с длинными седыми усами, в старомодном камзоле — графа Грудзинского, который, согласно письму августейшего зятя, ему одному дал знать о своем приезде.

Сразу после первого знакомства зять и тесть понравились друг другу. Константин почтительно ввел в гостиную к Жанете, ничего не ожидающей, дорогого гостя.

— Видишь, кого я тебе привез, птичка?! — весело, громко спросил он.

Слезы радости, поцелуи, первые речи после долгой разлуки хлынули без конца; явились обе другие дочери, потом и сама мамаша со своим вторым мужем; но эти выполнили только долг приличия и оставались недолго...

Старик внес свежую струю в размеренный ход жизни Бельведера.

Обеды проходили не так чинно и тихо, как раньше. Грудзинский, сидя между зятем и дочерью, вспоминал молодость, свои походы, любовные похождения и вояжи по Европе в доброе старое время. С Павлом он тоже подружился, пленив его рассказами из времен польского рыцарского житья...

Особенно любил старый граф разбираться в родословной фамилии Грудзинских. Скоро все в Бельведере, до гайдуков, служащих за столом, изучили родословное дерево рода Жанеты.

Также узнали окружающие, где, какое поместье находится в распоряжении графа в прусской Познани и в самой Польше.

Обычно старик после завтрака или обеда обращался к Жанете и заявлял:

— Разрешите, ваша светлость, доченька моя, темному отцу своему, графу Грудзинскому наполнить еще стаканчик ароматной, чистой, упоительной влаги из венгерских старых лоз... Славное вино. А, знаешь, Жанеточка? Верите, зятек, ваше высочество, ясновельможный ксенже: в моем родовом Попове, что близ Венгжовец в воеводстве Познанском, в глубоких подвалах найдется бочонок-другой не похуже этого... И такого же возраста, право: 1763, если не просто 1750-го... Еще граф Ян-Болеслав-Казимир Грудзинский, сторонник, друг короля Станислава Лещинского, положил эти барилочки на покой... А есть у нас и старый мед, который помнит даже прадеда, папá Андрея, кастеляна Накельского, что еще при круле Яне-Казимире с казаками да со шведами воевал... А его дядя родной, Сигизмунд Грудзинский, тоже не дурак выпить был и уже 200 лет тому назад воеводой числился Равским. Но и до того Грудзинские не без славы служили своим крулям. Блаженной памяти пан Хризостом Грудзинский, староста На-

кельский, еще в 1576 годочке послом от Речи Посполитой и от своего круля на Москву ездил... За красивыми боярынями приударял. Вот аж когда, а то и раньше того Грудзинские свой честный род повели, зятек мой любезный, ваше высочество. Нельзя сказать, чтобы безродную девицу взять за себя изволили...

И, заливаясь довольным, добродушным стариковским смехом, граф снова наполнял свой бокал любимым венгерским и потягивал его, приглаживая длинные седые усы. Но вино не кружило головы старому вояке, который в свое время до последнего раздела еще служил в рядах войск герцогства Варшавского.

От лишнего бокала только розовело сильнее его здоровое лицо и легче сходили с языка воспоминания и рассказы из славных былых времен.

И второй гость в это же время появился на горизонте Бельведера.

Вызванный с Кавказа, покоритель и герой этих грозных твердынь генерал от артиллерии Алексей Петрович Ермолов по призыву государя спешил в Лайбах, где Александр лично хотел ему вручить армию, назначенную против восставшего итальянского народа.

В Варшаве Ермолов задержался на несколько дней по усиленной просьбе Константина, питавшего особую дружбу и уважение к этому храбрецу, вместе с которым он участвовал еще в славных походах самого Суворова.

«Любезнейший, почтеннейший, храбрейший друг и товарищ» — так постоянно начинал свои письма к Ермолову приятель, но скупой на хвалу, Константин.

Теперь, когда Ермолов покрыл себя новой боевой славой, цесаревич устроил желанному гостю совсем блестящий прием, отнесся к нему, как к самому близкому другу, брату.

Но стоило взглянуть на них, стоящих рядом, и невольно являлся вопрос: что общего могло быть когда либо между этими двумя так несходными между собою людьми?

Правда, Ермолов в прежние годы, в тяжелые дни Бородинской битвы и потом не раз хорошо отзывался об отважном и разумном поведении цесаревича в иные решительные и важные минуты. Но это был просто долг справедливости.

Сам Ермолов никогда не питал особенного расположения к «мягкотелому», как он называл про себя, несуразному на вид, странному даже по наружности Константину.

Эти брови-щетки на пухлом, безвольном лице, открытый, словно умышленно для всех ветров, нос, толстые чувственные губы и голубые добрые, но маленькие, близоруко глядящие глаза, — все это так несходно было с выразительным обликом Ермолова.

Генерал был лет на шесть, на семь старше цесаревича. Большая круглая, глубоко ушедшая в плечи голова поражала каждого при первом взгляде.

Лицо было освещено темными сверкающими глазами, глядящими по-орлиному из под ровных красивых бровей. Орлиный, хорошо обрисованный нос, не высокий, но широкий лоб, прорезанный несколькими складками, выдающими упорную силу мысли, способность к умственной работе, волнистые густые волосы, которые непокорно ложились и на лоб, кудрявые бакенбарды, придающие суровость умному лицу. Наконец нежно очерченные, как у ребенка или молодой женщины, красивые губы небольшого доброго рта скрашивали все выразительное лицо, на котором округленный выдающийся подбородок еще одной лишней чертой отмечал силу воли этого «железного» человека, как звали часто Ермолова друзья и враги.

И давно не видавший Ермолова цесаревич сразу почувствовал, что прежних приятельских отношений между ними воскресить нельзя.

Служба на Кавказе, постоянные стычки с горцами, жизнь среди войска, осужденного почти бесповоротно на убыль, совсем переродила прежнего отважного, но светского в то же время офицера, полупридворного, полувояку. Теперь все показное, наносное щегольство и франтовство строевое стало дико и чуждо кавказскому бойцу. Он узнал цену настоящей смерти и настоящей жизни, понял ужас войны, ее значение и бессцельность, понял лучшую сторону русского солдата. Стал врагом всякого излишнего формализма как в делах, так и в одежде военной. Поэтому ему показались даже забавными и излишними все парады, какими пожелал щегольнуть перед старым товарищем инструктор-цесаревич.

Выправка польских войск и литовских батальонов казалась Ермолову мертвой работой; их снаряжение, пригнанное, но стеснительное и неудобное даже для мирного времени, не только для войны, боевой генерал почел за маскарадную забаву, да притом еще неразумного свойства...

Конечно, умный и воспитанный человек, он ничего подобного не сказал прямо любезному хозяину, который, очевидно, ждал не критики, а похвал.

Ермолов хвалил ровный шаг, стройность движений, внимательность рядовых и вдумчивое отношение к делу офицеров. Словом, отметил все, что можно было найти положительного в этой военной забаве, в плац-парадной игре, практикуемой так широко и усердно.

Но, говоря одно, он думал совсем иное и ждал минуты, когда возможно будет выказать настоящий свой взгляд на всю эту мишуру, на бесполезную плац-парадную муштру и пунктуальность.

Накануне одного из разводов Константин в своем кругу, за чайным столом рассказал гостям случай из прошлого, рисующий, до чего бывает сильна дисциплина в тех частях, которые берет в свою выучку сам Константин.

— Солдат должен быть совсем как живая машина! — решительно заявил цесаревич. — Тогда он годится в дело. Вот, скажу я вам, какой случай был у меня еще в памятные всем тильзитские дни... Зашел у нас разговор с герцогом Моденским относительно дисциплины в русских войсках. Не пускаясь в долгие разговоры, я подозвал стоящего недалеко солдатику в полной походной амуниции, из нашего конвоя. Было это как раз на берегу. «Налево кругом! — скомандовал я. — Шагом марш, вперед, вперед!» И, не размышляя нисколько, не задержавшись и на миг, солдатик — бух с берега... в воду!.. Кинулись за ним. Пока вытащили, пока что... он успел захлебнуться... Со всем плавать не умел бедняга.

— Ну, и что же вы, ваше высочество? — едва заметно поведя бровями, словно ему что-то причинило легкую боль, спросил Ермолов.

— Ничего, генерал! Доказал хвастуну-французу, что никогда ни одна армия не сравнится с нашей, русской, пока есть в ней такие солдаты... Пусть свет знает. Что же еще могло быть, ваше превосходительство? Не понимаю...

— Да, конечно: больше ничего там и быть не могло, — как-то загадочно согласился Ермолов.

Разговор перешел на иные темы.

На другое утро парад прошел превосходно. Едва он окончился, Ермолов обратил внимание на новую, с иголочки, обмундировку молодцов-гренадеров, затянутых ремнями своей сложной амуниции и тесным мундиром.

Довольный вниманием гостя, Константин дал знак. Из рядов вышел один гренадер и встал перед глазами начальства.

Константин начал объяснять все подробности новой обмундировки.

— Должно быть, он хорошо должен чувствовать себя в таком щегольском и пригнанном наряде, особенно в бою! — как будто восхищаясь, заметил Ермолов. — Если таких же молодцов видел герцог Моденский, он, наверно, остался доволен.

И вдруг перчатка выпала из рук генерала.

— Подыми-ка мне ее, братец! — спокойно обратился генерал к гренадеру.

Тот сгорая, не рассчитав, сделал быстрое движение, хотел нагнуться и едва устоял на ногах.

Стянутый своими ремнями, в узком мундире солдат не мог сразу наклониться, как бы это следовало. Осторожно, кое-как боком изогнулся рослый гренадер и, вызывая невольные замаскированные усмешки в окружающих, захватил с земли и подал злему, находчивому критику его перчатку.

— Спасибо, братец, — ласково поблагодарил Ермолов.

Константин ничего не сказал, только сразу весь потемнел. Он понял урок. Конечно, только для парадной маршировки и годится эта пригнанная амуниция, эти пряничные солдаты. На войне, где нужно и укрываться за прикрытиями, и сгибаться, и прыгать порой, — нельзя показаться в таком виде!..

Но Константин почувствовал глубокую обиду от коварного присма бывшего «друга и товарища». При всех тонко высмеять его многолетние труды! Когда можно было просто, по-приятельски указать на недостатки в деле...

Молча досхали с площади до Бельведера оба, хозяин и гость.

Еще более решительная и резкая размолвка произошла между бывшими друзьями на следующий день.

Сам Ермолов навестил только Новосильцева и Ланского и официально откланялся наместнику Зайончеку.

Когда же граф Грабовский, статс-секретарь польской короны и министры Соболевский, Мостовский и другие посетили Ермолова, он не принял никого, велел сказать, что его нет дома.

Обиженные такой неучтивостью министры даже высказали Константину свои жалобы.

Гостеприимство, обязанности любезного хозяина помешали цесаревичу прямо высказать что-либо Ермолову. Но

тот не унялся, очевидно, недовольный всем, что видел вокруг.

А особенно претило русскому генералу слишком предупредительное отношение к полякам, даже в ущерб «своим». Это предпочтение оказывалось не только во время наездов сюда государя, но и постоянно, всеми, начиная с самого цесаревича.

— Черт знает что! — бормотал кавказский рубака. — Мы здесь победили, а держим себя, как последние холопы... Стыд России... Зачем? Для чего?

И это раздражение нашло подходящий исход.

В сопровождении большой свиты, среди которой было много высших офицеров-поляков, Константин показывал город Ермолу, обращая внимание на то, как он возрос за короткое время, сколько красивых зданий возведено, как много больших заводов и фабрик дымят своими высокими трубами по окраинам.

Казармы, арсенал, дворцы и Крулевский замок — все было осмотрено.

Вдруг взгляд Ермолова упал на красивый вид: все предместье Праги было перед ними, залитое лучами весеннего солнца. Как муравейник, кипели улицы и переулки предместья шумной толпой.

— Вот это место я хорошо помню! — громко заговорил генерал. — Давно это было, поболее, чем четверть века тому назад... Как мы с покойным орлом Александром Васильевичем брали штурмом эту самую Прагу. Офицериком молодым был я еще тогда... А помню хорошо.

И, словно не замечая волнения Константина, его знаков, он продолжал:

— Жаркое было дело! Отплатили мы злодеям за пасхальную резню! Дрались они сначала лихо, что говорить!.. Взяли мы шанцы, редуты, миновали стены, так чуть не каждую улицу, каждый дом пришлось еще штурмовать... Кровь ручьями лилась... И дрогнули, бросили оружие, наутек пошли господа поляки, словно зайцы, либо на коленях пощады запросили... Но — пощады не было... ни им, ни женам, ни детям... Чтобы помнили, как за вероломство умеет платить русский народ!

Кончил, оглянулся. Все смущены, молчат. Кто побледнел, кто покраснел, словно удар собирается хватить самых горячих. Но ни звука никто. Будь это не Ермолов — ему и сам Константин, и окружающие, поляки и русские даже, не дали бы кончить тяжелого рассказа...

А тут пришлось все прослушать и молчать.

С легкой любезной улыбкой умолк и язвительный гость-говорун. Дальше идет как ни в чем не бывало.

Кончен обход. Свита отпущена. Константин остался с гостем в своем небольшом кругу: Колзаков, Феншау, граф Гутаковский, еще двое-трое таких же близких людей с Куртой во главе.

— Как это вышло нынче, генерал, — не выдержав, с искренним огорчением в голосе заговорил Константин, — эти воспоминания, столь печальные и позорные даже...

— Для кого, ваше высочество? Полагаю, только не для нас... Их же польская поговорка имется: «Вет за вет, дарма — ниц», как аукнется, так и откликнется... Им и позор... Съели, не поморщились, как видели сами, ваше высочество!

— Но, право, не следовало говорить того. Вы же знаете, Алксей Петрович, государь желает слить Польшу с Россией. Но вы, пользуясь столь огромной репутацией в нашей армии, выказывали явное пренебрежение к полякам... Вот вы даже не хотели принимать явившихся к вам польских министров.

— И на то у них поговорка есть: «С москалем знайся, а камень за пазухой прячь». Оттого мне и противно с поляками дружить, либо знакомство вести. Так и сдается: вижу их камснь за пазухой. Не сношу притворства и маски ни у друзей, ни у врагов.

— Но позволю спросить, генерал, насколько учтив такой ваш образ действия?

— Скажу вашему высочеству, что меня в грубом обращении с подчиненными, а тем менее — с поляками — никто не может упрекнуть... Мне, хвала Господу, полсотни годков скоро стукнет... Подобными качествами может щеголять лишь молодой и заносчивый корнет уланского вашего высочества полка... Так-с!.. А теперь — имею честь откланяться вашему высочеству. Мне в путь пора...

— Добрый путь, генерал! — отрывисто, хмуро бросил Константин в ответ.

Так навсегда, если не врагами, то совершенно чужими людьми расстались эти два бывших приятеля.

— Завидует вам генерал, ваше высочество! — шепнул Константину угодливый Гутаковский на правах дальнего свойственника по жене.

Ничего не сказал цесаревич и только в раздумье отрицательно покачал головой.

Кончился Лайбахский или, как его называли в Варшаве, «лайдакский» (бездельнический) конгресс. Накануне его завершения получено было известие, приятное для всей коронованной компании, заседающей в Лайбахе: 23 апреля в замке Лонгвуд, на скалистом острове Св. Елены от рака желудка умер Наполеон, призрак которого до этого самого дня пугал владык Европы.

Проезжая в июне через Варшаву домой, Александр поделился добрыми вестями с Константином: Священная Лига окрепла совершенно и устойчивость европейского мира обеспечена надолго. А смерть корсиканца еще больше помогла ходу дел.

— Давно ты не был в Петербурге, Константин. Больше двух лет. Когда соберешься? Матушка уже хотела писать, звать тебя, — вдруг заметил, словно мимоходом, Александр.

И взгляд его, как бы избегая встречи со взорами брата, скользнул в сторону.

Ничего не заметив, Константин только обрадовался новому вниманию со стороны матери и брата:

— Приеду непременно, государь. На праздники, пожалуй, соберусь, когда дела меньше и у меня, и у других...

— Очнь уж ты сам входишь во всякие мелочи, как я вижу. Нужно ли так брать?

— Не иначе, государь. Все еще здесь налаживается ново, ваше величество. Вот, как устроится, тогда и я отдохну всласть...

— Дай Бог, дай Бог... Значит, ждем. Матушка все равно напишет тебе... Она говорила. Увидишь.

Александр знал, что говорил брату.

В декабре, получив письмо, в котором вдовствующая императрица звала сына, ни слова не говоря о молодой невестке, Константин стал быстро собираться в путь.

— Я доволен, дорогая, что тебя не зовут пока! — ласково обратился он к жене, когда письмо было прочтено. — В такой холод мчаться тебе за тысячи верст... И при твоём слабом здоровье...

— И я довольна, — опуская глаза, подтвердила спокойно на вид княгиня.

— Не скучай без меня. Вот теперь эти занятия твои русским языком помогут убить время. Я долго там не пробуду... Потороплюсь домой... Без тебя там мало мне радости. Повидаю матушку, братьев... А вот тебя я хотел бы просить.

Он остановился.

— Не говори, я знаю. Ты не любишь, если и при тебе я бываю у кого-нибудь... А уж в твое отсутствие, верь: только в костеле и у матушки иногда увидят меня люди...

— Ну, вот, ну, спасибо, моя умная, добрая птичка! Ты читаешь у меня в мыслях, в душе... И никогда нет ни в чем отказу...

— Я все по-прежнему люблю тебя, — тихо проговорила Жанета. — Помни и скорей возвращайся, мой милый... Береги себя...

Константин не напрасно остерегал княгиню от посещений в его отсутствие кого-либо из знакомых, даже родных.

Вести о большом воснном заговоре все настойчивее и настойчивее стали доходить не только до цесаревича, но перслстели в Петербург. И оттуда друзья великого князя — Опочинин, Сипягин и другие — давали знать, что следует предупредить запросы из столицы, надо самому поглядеть хорошенько кругом, найти нити заговора, добраться до корней и вырвать, выбросить их вон, уничтожить сразу и навсегда.

Константин искал. Кое-что успел узнать... Не знал он лишь одного, что заговорщики имели сильных защитников и единомышленников там, в столице, на берегу холодной широкой Невы. Даже тот самый курьер, который теперь прискакал с посланием императрицы-матери, привез еще одно письмо, осторожно разыскал майора Лукасиньского, которому и вручил наедине пакет, запечатанный странной печатью: шестиугольная звезда и лопатка для каменных работ была оттиснута на ней четко и глубоко.

Не говоря почти ни слова, простились посланец и получатель письма, только странный знак руками сделали на прощанье и обнялись братски, хотя раньше не знали друг друга и вряд ли могли снова повстречаться когда-нибудь, разве там, перед Всевышним Судьей...

Прочитав внимательно несколько раз большой лист, исписанный кругом убористым, мелким почерком, Лукасиньский достал записную книжку, из корешка которой осторожно извлек небольшой, полуисписанный непонятными знаками и цифрами, тонкий, вчетверо сложенный листок.

Развернув его, он такими же условными знаками вписал что-то сюда из письма, полученного сейчас, спрятал

листок в незаметную щель корешка, подошел к печке, которая топилась, озаряя красноватыми бликами стены и пол комнаты в полутьме набсгающих быстро декабрьских сумерек.

Еще раз перечитав письмо, майор разорвал его на несколько кусков и бросил все в огонь.

Бумага сразу пожелтела, почернела, вспыхнула, сворачиваясь. Некоторые слова, целые фразы проступили на тлеющих кусках. Вот четко виднеется на мгновение вся подпись: «Брат... невидимый Ариель»... Еще минута и остатки пепла улетели с легкими языками пламени туда, вверх, навсегда.

Сложив руки на груди, майор глубоко задумался.

Скрип двери заставил его очнуться.

— Можно к тебе? — спросил молодой звонкий голос.

— Юзя, ты? Иди, иди! Как странно: я думал именно о тебе... Сам хотел.

— Ты думал, а Юзя вот он я. Добрые вести, Валерцю... У нас в школе, оказывается, такие молодцы... Я чуть заикнулся одному приятелю, а он мне рассказал, что там почти все подпрапорщики в союзе и что...

— Постой, погоди... Я знаю. Послушай, что тебе раньше скажу... Сядь, милый!

Юноша, который за это время успел переменить гимназический наряд на военную форму школы подпрапорщиков, удивленно посмотрел на брата, умолк и сел. Он знал, что Валериан слишком внимательно относится ко всем делам младшего брата, особенно таким... «политическим», как он сам называл.

Значит, есть что-то слишком важное, если не дал высказаться...

Выражение лица брата, какое-то торжественное, словно в храме у святого причастия, тоже поразило веселого, впечатлительного, но чуткого Юзю.

Он тоже слегка побледнел от ожидания и принял самый скромный, внимательный вид.

— Я должен сказать тебе, Юзя, — ровно, негромко, но как-то особенно значительно заговорил Лукасинский, — просить хочу... Нет, вернее, объяснить надо: тебе, Юзя, придется бросить все такие дела. Понимаешь? И только учиться. Кончать как можно лучше, вступить на службу и помогать нашей маме, сестре Алисе. Вот о чем надо тебе подумать пока...

— Да что случилось, Валерцю? Уж не умирать же ты собираешься, помилуй Боже?! У тебя дуэль? — вдруг осе-

ненный догадкой, громко спросил юноша. — Так ведь еще неизвестно... На дуэли больше остаются живыми... Что такое? Скажи, не мучь!

— Ты сам себя мучишь, мой мальчик. Будь умником, помолчи, выслушай, что я скажу, тогда поймешь. От тебя я не скрывал: вот уж несколько лет, как многие из нас, офицеров, и даже высшего ранга, вступили в тайный, патриотический союз. Князь Яблоновский, один из вожakov наших, вошел в сношения с такими же тайными кружками, военными и гражданскими, в России, где немало союзов, не говоря уже о целом ряде лож великого масонского ордена. Эти ложи далеко не все идут к одной и той же цели. Но члены их братья между собою...

— Знаю, знаю...

— Ты слышал, кажется, еще летом: сюда дошли вести, что Васильчиков, министр и личный друг государя, получил донос относительно своих, русских, и наших военных союзов и масонских кружков. И Александр тогда же сказал...

— «Не мне судить людей, заблуждения которых я не только некогда сам делил, но даже поощрял открыто!..» Кажется так, Валерцю?

— Да, почти так. Но теперь все изменилось, особенно после этого конгресса.

— «Лайдацкого», как мы его зовем, где прохвосты-бездельники решили помешать честным труженикам отвоевать свою свободу...

— Да, да, все это очень горячо и мило сказано. Но дело не изменяется от самых громких протестов и слов...

— Тогда от слова надо перейти к делу...

— Это именно мы и решили, по крайней мере, здесь, в Польше. Братья наши по духу в России говорят, что там еще не пора.

— Тем лучше. И я только не понимаю, почему младший брат не может...

— Юзя, право, минута слишком значительная, чтобы потерпеть немного. Дай мне!..

— Молчу, молчу... Зашил себе рот.

— Значит, пора к делу. Это тем более необходимо, что обстоятельства могут помочь нашей отчизне. Здесь гостил Ермолов, заливший русской и черкесской кровью скаты кавказских гор... Он назначен главнокомандующим армии в 113 тысяч штыков, которая идет на помощь австрийским угнетателям против итальянцев...

— Бедные!

— Ты будущий офицер, артиллерист. Тебе не мешает ознакомиться подробнее со всеми этими делами. Пойдет корпус Рудзевича из второй армии... Кавалерия генерал-адъютанта Бороздина, знаешь, 4-й резервный корпус. Затем 3-й пехотный корпус и... весь литовский.

— Литовский, весь? Но он тоже «настроен» хорошо...

— Вот, вот... Вместо врагов итальянские освободители найдут в нем немало друзей. Да и здесь нам станет легче! Если завяжется настоящая война, у России руки окажутся полны дела... А тогда...

— О, тогда!.. И я...

— Только не ты. Погоди. Дай же кончить! Пока еще все это будет, грозит и нам немалая беда. Ты же слышал: нас предали... Мы все почти открыты.

— Но это давно. И вас не преследовали совсем.

— Тем хуже. Многие неосторожные люди подумали, что могут работать почти не таясь. Показали почти все карты. Наконец теперь надо повсюду выступать открыто... Видишь, как все переплелось в мучительный узел. И меня, как многих других, колесо теперь может захватить и измять! Понял? Не хмурься. Гляди прямо мне в глаза. Я знаю, ты не трус. Тоже готов на жертву. Но мы не одни, напоминаю тебе. Старуха мама... девочка Алиса... Если мне суждено... Ну, понимаешь?.. Некоторое время вы продержитесь тем, что у нас есть про черный день. А потом придет твой черед взять на себя всю ту заботу, которую я нес до сих пор. Что это, у тебя слезы?

— Нет, это так. Тебе показалось. Пустяки. Продолжай, Валериан.

— Я почти все сказал. Пишут, что и в России готовится большое гонение на всякие тайные союзы... И здесь. Там разные попы, ханжи и квакеры-лицемеры овладели умом изворотливого, но слабовольного царя. Здесь его обманывают кажущимся благополучием, в то же время пугая, что Польша готовится отпасть... Есть у него даже среди близких лиц порядочные, неглупые, честные, нежадные люди... Много «братьев» насчитывается даже между такими вождями, как этот Ермолов. На Кавказе он неумолимый завоеватель. Но он бережет своих солдат, любит свой народ, хотя и грубо, по-своему... Потом Киселев, Михаил Орлов, Дмитрий Столыпин, Раевский — все эти генералы, адъютанты царя, в то же время «братья каменщики», члены нашего ордена. Правда, теперь, как мне сообщили, гото-

вится указ. Все должны оставить свои тайные союзы, иначе тяжелые кары последуют... Но это только больше озлобит многих и мало напугают кого...

— Конечно...

— Это тоже мы тут учтем. Значит, в России и внутри заваривается каша... Словом, и враги наши, и наше сознание нам говорит: «Пора выступать! Нападение лучше, чем защита», по крайней мере, в данном случае.

— Конечно, давно пора...

— Дитя. Это в тебе говорит юное нетерпение. Ты крикнул фразу... А я скажу тебе и еще кое-что. Наш заговор, такой широкий, такой серьезный, как ты знаешь, потому еще опасен больше для нас, чем для русских, что он слишком правильно рос и развивался. Удивляешься? А это так. Академичность вредна широким народным волнениям, если затеяется вылазка против врагов свобод и блага народного.

— Это уж странно даже для меня...

— Подумай — и ты поймешь. Пока медленно, широко и прочно ширился заговор, усиливается мощь победителей... Средняя публика привыкает к гнету и меньше симпатий уделяет освободительному движению... А без них дело потеряно. Победители умеют использовать данную им передышку. Они бросают направо и налево куски одним, запугивают других, льстят массам и дают мелкие льготы... Глядишь, когда силы заговора созрели, перед ним встают такие стены, которых не пробить даже ценою жизни и крови... А зато бывает и так: подошла минута... Скипелись в душе у рабов и мнимых «свободных» граждан затасанные проклятия, невысказанные жалобы, боль за себя и за близких... Толпа отважных людей уловила эту минуту, кинулась к оружию... Рванулась на притеснителей, которые не ждали ничего, упоенные своей силой и наглостью... И враг бежит... Свобода отвоєвана надолго, если не навсегда...

— Да, да... в истории, я знаю, бывали примеры...

— Вот, вот... Я и говорю об этих примерах... Посмотрим, что ждет нас. Что ждет бедную отчизну. Во всяком случае, если мы и погибнем, — это принесет пользу... Даже если погибнем пока бесплодно...

— Валерий, что ты говоришь? Почему гибель?

— Не знаю. Глупо, конечно. Но что-то не выходит у меня печальная дума из головы... Все-таки мы устроим угнетателей. Мы покажем, что есть еще истые поляки в

нашей земле, которые предпочитают умереть, как свободные люди, чем жить холопами безумца Константина и всей своры прихвостней его... из числа нашей знати наполовину... О, стыд и горе родине!

Помолчав, он спокойнее, тише заговорил:

— Теперь ты понял? Обещаешь мне совсем вести себя осторожно... чтобы никто не мог придраться к тебе, к юноше, если я буду схвачен, осужден, даже — казнен? Да, обещаешь?

— Постой, погоди, брат... Я так сразу не могу... Почему ты трсбуешь? Не гляди так. Я, конечно, понимаю: мама, сестра... Но право, не следует так мрачно смотреть... Постой! Я понимаю, ты не говоришь, что будет плохо, а как рассудительный человек, берешь самое худшее. Я же понимаю, Валерий... Но я... я не могу так спокойно рассуждать... Конечно, я не могу сделать того, что ты... Не гожусь в вожди. Но если бы только можно было мне вместо тебя... понимаешь, не вести дело... а стать жертвой в ту минуту, когда придет пора?.. Ну, ну, знаю, что говорю пустяки. Но я же не хочу оставаться здесь... зубрить книги, ходить в классы, на службу, когда ты, мой брат... мой друг... мое все... ты будешь гибнуть... будешь осужден... казнен! Эти москали. Они не задумываются, я знаю... Как же я? Молчать? Терпеть?!

— И отомстить, когда придет пора!

— Когда придет пора... Какая мука! Где взять столько сил?

— У Бога, сыночек! В молитве, мой Юзек! — раздался голос старухи Лукасиньской, которая уже несколько минут, незамеченная сыновьями, стояла за порогом и слышала все. — Он, мой Валерий, не спросил у своей матери совета. Ничего и не сказал мне даже раньше. Я, правда, сама чуяла и молчала... Не знаю, может, и сама бы отпустила его. Но теперь — поздно об этом. Я слышала, поняла, хотя и простая старая женщина. Но я тоже люблю нашу бедную, разоренную отчизну. Вот мы с тобой, мой маленький сын, мой Юзя и с Алей будем молиться Пресветлому Иисусу и Страдающей Матери Его. Пусть дадут нам сил и терпения... А тебе, мой первенец, и товарищам твоим — удачу... Мой Валериан, иди, я благословлю тебя!

Две головы — молодая и постарше, сходные между собою, прижались к иссохшей старческой груди. Дрожащие худые руки крепко прижали обе эти головы, а полные слез глаза поднялись к небу, когда старуха тихо стала шептать слова горячей материнской мольбы.

Звонок задребезжал у входных дверей, донесся сюда, и звук этот нарушил торжественное, молитвенное настроение матери и сыновей.

— Кто еще там так поздно? — встревожился Валериан.

Мать, не говоря ни слова, быстро вышла в переднюю.

— Ступай к себе, Юзя, — бросил ему на ходу Валериан и тоже вышел в соседнюю освещенную комнату.

В прихожей слышался мужской незнакомый голос:

— Если пан майор дома, прошу передать, что его желает видеть Фавицкий из Бельведера, воспитатель юноши Павла. Он уже знает, конечно. Извиняюсь, что поздновато. Дело не терпит. Если я могу?..

— Входите, прошу вас, пане Фавицкий! — раскрывая дверь в полуосвещенную переднюю, пригласил Лукасиньский и отступил, давая дорогу неожиданному, необычному гостю.

Сбросив теплый плащ, Фавицкий вошел, потирая озябшие руки, щуря от света глаза, когда упали на них лучи большой масляной лампы, зажженной тут недавно старухой Лукасиньской.

— Прошу садиться. Рад знакомству. Чем могу служить? — довольно сдержанно принял хозяин гостя. Он явился из Бельведера. А хорошего оттуда ничего не мог ожидать майор.

— И я весьма рад. Много наслышан о пане майоре и от военных, и даже от статского сословия людей. Вот ныне довелось лично иметь честь.

Говоря это, гость оглянулся не то чтобы убедиться, одни ли они, не то желая разглядеть обстановку небольшого зальца, очень скромную, но опрятную, содержимую в строгом порядке.

Давая гостю время осмотреться и объяснить цель прихода, майор предложил:

— Пуншику стаканчик позволит пан Фавицкий, чтобы согреться? Или трубочку? Все есть наготове. Я хотя и холост, но живу в семье... Прикажете, пане... Почтенное имя пана?..

— Николай Теодор, к услугам пана майора... Пан Валериан, если не ошибаюсь? Благодарю пана Валериана. Спиртных напитков не вкушаю... и табаку — избегаю тоже от юных лет...

— О, богатым будете, пане Николай, если на другие какие нужды тысячи не уйдут у пана... Так я слушаю. К услугам пана Николая.

— Я, видите ли, даже, собственно, надо сказать пану майору и не от себя... А как бы послан... И, пожалуй, вам покажется довольно странно... Собственно надо сказать...

— Вот как? От кого же послан пан Николай, смею спросить? Его мосце князя я видал нынче... Он мне ничего не говорил...

— Да я, собственно, надо сказать, не от князя... Я — от княгини светлейшей, от Лович, собственно, надо сказать, — наконец доложил гость и еще раз оглянулся.

— Ага... вот оно... Нас никто не слышит, можете быть спокойны, — заметя тревогу Фавицкого, успокоил он. — Хотя секретов нет... и, сдается, быть между мною и светлейшей княгиней не может... Но говорите открыто. Мы одни.

— Да, собственно надо сказать, вещь простая... Ее светлость желала бы... если это можно, собственно, надо сказать... сама бы поговорить с вами по небольшому делу благотворительности... Вы, пане Валерий, состоите презумом общества помощи сиротам военных... Так вот... Так мне говорила ее светлость...

— Да, да! Если ей угодно, пусть приказывает... когда пожелает. Служу ее светлости всей душой. Прошу вас передать, что каждую минуту... сейчас, завтра... Когда пожелает.

— Вот, вот, завтра, послезавтра... Назначьте сами час после обеда, когда вам удобней от службы... Его высочество уезжает завтра утром, как вы знаете, конечно... И с завтрашнего вечера... Но гм... гм... Собственно, надо сказать, ее высочество все свои благотворительные дела творит тайно... И посему это ваше посещение ей хотелось бы...

— Укрыть от огласки? Понимаю. Как же мне сделать?

— О, это легко, собственно, надо сказать. Вам, пане Валериане, стоит приехать и спросить меня. Вас проводят. Люди будут предупреждены. А уж я тогда сам...

— Прекрасно, понимаю... Так завтра же, если угодно... Скажите, в котором часу?

— Если к четырем? Можно, пане? Прекрасно. Так и будет, почтенный мой пан. А теперь прошу прощения у пана майора, если обеспокоил. Не буду дольше отнимать дорогого времени... Кланяюсь пану... И почтенной пани матушке пана майора, пани Лукасиньской... Если не ошибаюсь, се я имел честь тут видеть?..

— Да, да. Благодарю вас. Я передам. Не откажите засвидетельствовать мое уважение перед светлейшей княгиней нашей! Рад был видеть... ваш слуга!

С любезными поклонами и взаимным рукопожатием расстались они.

Когда из передней майор вернулся в зал, там уже стояли в ожидании старуха и юноша.

— Ну, что? Какое дело? — прозвучали сразу два вопроса. — Что это значит такой визит?

— Это — первый дальний раскат грома набегающей грозы, дорогие мои, — задумчиво, словно себе самому проговорил Валериан.

— Дальние проводы — лишние слезы! — решительно объявил Константин, крепко расцеловал в постели жену, даже не позволив ей выйти из спальни, и помчался в путь-дорогу, на север, в столицу империи, где не был уже больше двух лет.

Все утро проскучала, проплакала грустная княгиня. Потом взяла себя в руки и довольно спокойная на вид вышла к обеду, к семейному общему столу.

— Заниматься сегодня мы будем, Фавицкий, — обратилась она к наставнику, когда кончился обед. — Приходите, как всегда. А ты, мой мальчик, нынче к маме собираешься? Поезжай, поезжай с графом... Граф, вы уж проводите его, — обратилась она к Мориолу. — А мне не хочется пропустить урок. Мне очень нравятся эти занятия русского языка. И такие есть авторы... совсем вроде наших, польских. Мы читаем с паном Фавицким и переводим... разбираем. Совсем как следует учиться ваша маленькая княгиня... До свиданья. Вернетесь, скажите мне, как себя чувствует пани Вейс. Лучше ли у ней грудь... и все там, что было. Прошу передать ей мой привет. Жду ее, когда начнет выезжать. Непременно. До свиданья, граф. Иди, Поль, я поцелую тебя, мой мальчик. Скучно без отца, правда. Он так балует моего маленького Поля... Ничего, я постараюсь это сделать за него, пока он не вернется... С Богом. Так я жду вас, Фавицкий...

Обласкав всех, она ушла на свою половину.

Пробило три, когда княгиня в простом темном туалете сидела у себя в будуаре за небольшим письменным столом, разбирая две-три книги и несколько тетрадок, приготовленных для урока.

Раздался знакомый стук в дверь и, получив разрешение войти, появился Фавицкий, как свой человек, без особого доклада.

— Пожалуйте, я готова! — любезно встретила его княгиня, окидывая быстрым, слегка даже как будто насмешливым взглядом фигуру молодого наставника, который по годам был почти ее сверстник, разве чуть старше, года на два, на три.

Немного нескладный, с угловатыми манерами юноши, незнакомого со светским воспитанием, Фавицкий все-таки держал себя довольно независимо везде и всегда. Однако вблизи княгини он становился совсем робким, до смешного застенчивым и нерешительным. Только глаза его, упорные, сверкающие порой, как у хищника в темную ночь, впились в княгиню так пристально, неуклонно, как только можно было это сделать, не слишком нарушая приличия и обычай светской жизни.

Даже стоя спиной к Фавицкому, Жанета порою чувствовала на себе тяжелый, пристальный, словно вымогающий что-то взгляд.

Иногда он раздражал ее, но чаще ей было приятно чувствовать этот собачий, преданный взгляд, говорящий очень много, но так почтительно и скромно, что сердиться совсем не было основания.

И сейчас, сидя близко к своей «ученице», наставник, словно не имея сил удержаться, исподлобья глядел на княгиню, чуть жмурясь, как глядят на яркий огонь люди с сильным зрением.

Делая вид, что ничего не замечает, княгиня раскрыла книгу на месте, где она была заложена накануне, придвинула, взяла карандаш:

— Итак, что нам предстоит сегодня? Дочитаем главу или...

И вдруг, как будто вспомнив внезапно, остановилась, спросила совсем иначе, мимоходом:

— Кстати: что мое дело с обществом помощи сиротам военных? Видели пана презуса ихнего? Кажется, Лукасиньский, так его? Майор или капитан?

— Валериан Лукасиньский, майор, ваша светлость...

— Ох, без величанья ж, я просила... Свои мы люди...

— Простите, княгиня... Майор Валериан. Он хотел прийти около этого времени. Я уж там распорядился. И если ваша... вы, княгиня, пожелаете?

— Ну, еще бы, конечно... Я уж приготовила даже пакет... Только вы сказали: секрет большой и для всех! Только вам, мой друг, я могу... Вы понимаете меня, я вижу...

— Княгиня, — почти задохнувшись от волнения при такой ласковой фразе, пробормотал Фавицкий. Он хотел еще выразить шаблонными словами свою преданность и все прочее, но в дверь постучали.

Вошла Зося.

— Ваша светлость, там дежурный. Пане Фавицкий приказали сюда им доложить, если придет майор Лукасиньский...

— Ах, к вам гость? Или по делу?.. Жаль, что теперь, когда мы работаем. И неловко заставить его ждать... Знаете что, Фавицкий? У вас не очень большой разговор?

— Десять слов, ваша светлость, маленькое дело, только спешное, простите...

— Ну, так примите его здесь, на моей половине... В синей гостиной. Зося, скажи, пусть туда проводят этого капитана... или майора? Кто там такой... Пан Фавицкий там его примет и поговорит... Иди...

В гостиной, куда ввели майора, он нашел Фавицкого.

— Вы очень аккуратны, пан майор, — любезно встретил его наставник. — Прошу, вас ждут. Все прямо. Четвертый покой отсюда. А я буду ожидать вас здесь...

Косые красные лучи холодного зимнего солнца, сходящего к закату, освещали всю комнату и, облитая ими, вырезалась у стола фигура Жанеты, такая воздушная, стройная, совсем неземная сейчас на вид. Волосы, слегка взбитые на голове, были пронизаны светом. Лицо, одетое собственной тенью, белело, как будто изнутри озаренное другим, нездешним огнем.

Лукасиньский, которому солнце глядело прямо в лицо, слегка зажмурил глаза и залюбовался Жанетой, которую давно уже не видел так близко и наедине.

От легкого волнения порозовело все лицо княгини, слегка дрожали руки и голос, когда она заговорила первая:

— День добрый, пане Валериан.

— Почтительный привет мой светлейшей княгине Лович!..

— Боже мой, как пышно! Бедная «княгиня Лович»... Графиня Жанета слыхала более сердечные приветы.

— Графиня не пожелала больше их слышать... Да и нет ее больше, наияснейшая княгиня!

— Нет?! Вы правы: нет ее! — с глубоким вздохом согласилась Лович, опускаясь в кресло и указывая место майору недалеко от себя.

Настало небольшое молчание.

— Я весь к услугам яснейшей княгини. Что прикажет ее светлость?

— Ничего. Мне только хочется знать: за что не любит Польша Константина? Чего она желает еще? Зачем усиленно готовит гибель ему... и себе?

— Гибель ему? Себе?.. Кто может знать это, княгиня? — бледнея, насторожась, задал встречный вопрос майор. — И почему я, маленький винтик машины, простой, незначительный офицер — должен дать ответ на эти вопросы от имени всей нашей отчизны?

— Каждый обязан дать ответ. А вы больше других. Если я вызвала пана Валерия, если так говорю с вами, — не признавать хочу тайну... Это же можно мне поверить, что я знаю, о чем говорю! — твердо возразила Лович. — Не гибсли, а блага общего ищу я... Обережь хочу и отчизну... и мужа, как умею. Но без предательства, верь, пан Валериан.

— Я бы стер с лица земли того, кто заподозрит в предательстве... графиню Жансту... светлейшую княгиню Лович. Даже самого себя! Пусть так. Я отвечу. Но раньше еще один вопрос: неужели княгиня полагает, что спасение отчизны или хотя бы... ее мужа находится вот в этих слабых руках?

Майор вытянул свои напряженные, холодные сейчас руки.

— Нет. Оно — в руках судьбы, в воле Неба. Но мы обсудим, обдумаем, поищем и здесь, на земле. Мы же дети Господа Нашего... Он не оставит нас, если мы будем искать...

— С чистым сердцем и в полной правде?..

— Только так!

— Поищем. Хорошо! И — последний вопрос: если даже найдем, уверена ль графиня Жанета, светлейшая княгиня Лович, что тот, кто здесь главное лицо, не говоря уж о самом императорс-круле, что этот примет лекарство, спасительное и для отчизны, и для него?

— Я постараюсь, чтобы он исполнил... Я давно стараюсь, насколько умела понять своим женским умом, своим сердцем... Но об этом после... Итак?

— Итак: я говорю сейчас от лица отчизны. От лица целой нации. Вы — полька, княгиня. И поймете, что я не заблуждаюсь и не ввожу в заблуждение вас. Нет ни одного честного, истого поляка, который бы в этот миг не думал, не чувствовал всего, что выскажу я... Не желал бы того

же, не стремился бы к тому, что меня влечет... Отказался бы от жертвы, на какую готов я и мои товарищи...

— Вы правы, я знаю... И вас — немало. Это тоже мне известно...

— И сму? Цесаревичу тоже известно?

— Ему говорят. Но он плохо верил до сих пор...

— Ну, так теперь в Петербурге его уверят... Но все равно... Итак, я говорю.

— Говорите смело. Я — жена Константина. Я люблю его. Но — я полька и честная женщина. Видит Бог.

— Вижу и я. И вижу я также свою отчизну. Много славы извела она в прошлом, может быть, еще больше — горя! Но никогда столько позора и стыда не знала она, как сейчас! Как грязная старуха, она вымаливает и покупает ласки победителей. Как у распутной девчонки у нее берут за подачки все самое святое, обглоданными костями кормят и подкупают ее, когда-то славных и знатных магнатов-сыновей... И кто? Сам государь народа, победившего нас, открыто признал, что наш народ просвещенный его собственного, что мы имеем больше права на свободу, на политическую самостоятельность... А уж потом, когда он просветит своих, он даст им ту хартию, какую имеем мы. И что же? Все это на словах. А на деле — мы илоты. Как в старом королевском замке — Ланской хозяйничает с Новосильцевым, прикрываясь тенью безногого Зайончека, так в каждой мирной хате польского хлебороба может распоряжаться опьяневший москаль, а в доме шляхтича панует московский чиновник, держа под мышкой книгу законов и статуты нашей «законно-свободной» конституции!.. Ряды нашего офицерства наводнены иностранцами и русскими. Это называется слиянием народностей. Наши школы — под чужим надзором. Даже наши храмы не свободны от него. Ксендзы должны петь «алиллуя» по московскому камертону и образцу. Наш святейший митрополит Сестренцевич — ставленник России, и его заместителя ищет теперь не собор нашего духовенства, а... муж графини Жанеты, российский цесаревич, — по указке и советам своих адъютантов-друзей... Или это не так, светлейшая княгиня? Вы молчите? Пойду дальше. Все бы это можно снести. Победа дает права, даже если победитель и уступает во многом тем, кого воля Рока покорила под грубые ноги новых вандалов. Но мера должна быть во всем. Можно убить человека, и ему будет легче, чем жизнь под вечным глумлением,

в непрерывном позоре. А он висит над нами, над целой страной. Посмотрите на окружающих вас, не говоря уж о самом вашем супруге, княгиня Лович! Одно презрение к Польше и полякам, порою — затаенное, а чаще — явное, наглое, искреннее, вот как у Ермолова, сквозит в каждом взгляде, в каждом движении. За что? Наше несчастье не изменило нашей души. Наше поражение не лишило нас всего, что хранят в уме и сердце лучшие люди народа... Сокровища ума и искусства, дарованные миру польским народом, не вытерты со счета ударом московского штыка. За что же так презирать?! Этого именно и не можем больше мы выносить. Вы видели: один за другим без звука наносили себе удары мои товарищи еще так недавно, чтобы только крикнуть без слов миру, написать кровью на страницах человеческой хартии: «Поляки не выносят презрения и стыда!» И это помогло лишь на короткое время. Выросла свежая трава на могилах Велижека и четырех его товарищей-мучеников... И снова началось почти то же, что было раньше. Ваш муж — неукротим и груб. Его приспешники подстрекают ради личных выгод своего начальника и патрона... И сами, где можно, глумятся над нашим же родным народом... выбора больше нет. И мы решились, княгиня Лович. И возврата тоже нет!

— Но вы погибнете прежде всех... Вы преданы почти до конца... и будете все открыты, а потом...

— Осуждены? Конечно, княгиня. Пилат умыл руки, когда осудил. Теперешние пилаты еще более чистоплотны. Они моют руки в братской крови. Шпионы? Предатели? В каждом заговоре их имеется точно определенный процент. Такова статистика. Вопрос в том, кто быстрее работает — они или честные люди? И если последних много, если они сделают сразу натиск...

— И все-таки не будет ничего... то есть прочного, ради него стоило бы жертвовать жизнью таких хороших, честных людей... тысячами, десятками тысяч жизней жертвовать понапрасну... Да! Вы ли не знаете? Россия — гигант... а Польша...

— Пигмей, Давид! Если захочет Рок, Голиафа не станет... Рухнет колосс на глиняных ногах, как идол, виденный во сне древним царем-завоевателем.

— Пустое, пан Валерий... Россия слишком живуча! Миллион солдат с новым Цезарем, с гениальным полководцем во главе вошел в пределы этой страны. И что вышло?

— Их гнали вилами русские бабы, вы правы. А польки ласково принимают победителей. Даже чересчур лас... Простите! Видит Бог, я не хотел обидеть никого.

— Ничего, обижайте! Может, вы и правы... Обижайте. Только берегите себя... Берегите отчизну!.. Она погибнет... погибнете вы! Неужели это — желанный исход?

— Пожалуй. Я не осуждаю на гибель отчизны. Спаси Господь ее и мой народ. Но... вы полька... Вы должны же согласиться и понять: лучше погибнуть свободными людьми в неравном бою, чем томиться в позорной неволе, покрытыми презрением победителей, презрением целого мира! Лучше Суворов и Прага, чем жить во власти... прихвостней Бельведера!..

Оба смолкли, стоя друг против друга со сжатыми, заломленными руками, с опущенной головой.

— Так что же делать? — с тоской вырвалось наконец у Жанеты.

— Терпеть, молиться и ждать, как вчера сказала моя мать-старуха...

— Молиться... ждать?.. — беззвучно шептали бледные губы Лович. Она казалась сейчас мертвой, такой синевато-серый оттенок приняло ее лицо.

Майору стало тяжело глядеть на страдающую женщину.

— Могу еще чем служить княгине? Нет? Глубокое почтение свидетельствую дочери моего народа, графине Жанете.

Цесаревич сдержал обещание, не зажился в Петербурге и уже в начале февраля по новому стилю был у себя, в Варшаве, «дома», как он говорил.

Вообще разговорчивый в своем кругу, он привез теперь новостей без конца. Но отрадных мало.

— Брат — сплином одержим, прямо скажу! Матушка — совсем расклеилась. Михаил злится, что его «замуж выдать хотят против воли», за немку, конечно. Он у нас скоро будет... Один брат Николай счастлив, а тоже благодаря жене, как и я! Еще теперь, когда сынишка у них... Племянник Саша. У-у, какой. Вот нам бы. Голубка ты моя. Видишь, что может хорошая женщина сотворить! Как и дурная — зла настряпает немало... если в руки нас заберет. Вот как эта юродивая старушка — Криденерша, которая одно время и брата затуманила, пока он не встряхнулся. Или теперь — графиня Анна Алексеевна Орлова-

Чесменская!.. Монахами даже вертит, самыми главными у нас теперь в столице. Фотий у нее первый дружок... Знаешь, какой-то бойкий мальчишка-стихотворец про нее ловкий стишок состряпал: «Благочестивая жена! Душою — Богу предана, а грешной плотию — архимандриту Фотию»... Ха-ха-ха... Здорово!.. Попы да монахи, да дамы, наполовину свихнувшиеся, теперь у нас в особой чести!.. — не то улыбаясь, не то с затаенным сожалением проговорил он. — А тут что нового? Писала ты мне. А все же...

— Ничего особенного. Говори ты. Мы все тебе передавали... От тебя мало вестей приходило.

— Не люблю я бумагу изводить, в чернилах пачкаться. Оттого верно, что в детстве меня уж очень мучили, заставляли читать, писать, а я не хотел. Лучше бежал в солдаты играть... Вот и до сих пор так. Каков в колыбельку... Ха-ха-ха... А ты поправилась без меня, женка моя милая. Ухаживал кто-нибудь за тобой тут? Ваши полячки не промах. Чуть муж из дому, глядишь, сейчас чужой петух летит на крышу и... Ну, ну, не хмурься. Ты и шуток не любишь этих. Знаю.

— Нет, ничего... А скажи, про какое важное письмо ты поминал, что написал в Петербурге государю и хотел мне лично все сказать? Почему вдруг, там живя, к брату письма писать пришлось? Я даже встревожилась. Что такое?

Вопрос, видимо, смутил Константина.

— Да, да... Надо тебе рассказать... И показать даже. Нельзя, ты у меня первый министр мой и советник. Да еще в таком деле. Бесповоротно теперь решено. Я не буду носить российской короны... никогда!

— Отречение? Ты подписал отречение?

— Вроде того... Вот, взгляни. Письмо, знаешь, такое... формальное... Я список с него привез... Вот...

Он достал из кармана шлафрока письмо, очевидно, нарочно захваченное сюда, в опочивальню жены, чтобы наедине прочесть и обсудить можно было такой важный документ.

Быстрым движением оперлась княгиня локтем на подушку, придвинула ближе свечи, стоящие на ночном столике у кровати, и стала читать.

— «14 января, 1822 года». Три недели тому назад... Всего три недели!.. «Приношу сию всенижайшую просьбу». Почему такой для тебя обидный, унижительный тон, Константин? Разве нельзя было без этого?

— Как ты не понимаешь? Правда, он всего на полтора года старше, но — мой государь. Глава нашей семьи. Мой благодетель. Тебя я тоже, счастье мое, получил из его рук, по его слову и ходатайству перед матушкой... И с детства уж так. Ты читай, что пустяки смотреть? Так следует. Я лишь первый слуга моего государя, наравне со всеми русскими.

— О, если бы наши поляки так умели думать и поступать! — с невольным вздохом вдруг сорвалось у Лович.

— Ваши поляки? Да, строптивы, неуживчивы... Да с чего это вы вдруг? Так, к слову сказалось? Ну, читай. Видно тебе хорошо?

— Видно, видно...

Глаза скользят по ровным, связным строкам. Плохо разбирает Лович руку мужа. Но тут сама значительность минуты придала ей соображения.

Вдруг рука с листком дрогнула.

«Не чувствуя в себе ни тех дарований, ни тех сил, ни того духа, чтобы быть когда бы то ни было возведена на то достоинство, к которому, по рождению моему могу иметь право, осмеливаюсь просить вашего императорского величества передать сие право тому, кому оно принадлежит после меня».

— Как ты мог про себя так написать? Неужели и это унижение, самобичевание такое тоже необходимо? Скажи, милый!

— Пожалуй, необходимости особенной не было. Мы просто с братом говорили: почему бы лучше царствовать Николаю, а не мне? И я высказал... Брат согласился, что мои недостатки, как государя, слишком значительны. И посоветовал их перечислить в этом письме... Сам продиктовал мне...

— Про...диктовал?

— То есть напоминал мне мои же слова... подсказывал... Я и написал... Ну, потом уж не вычеркивать... Дочитывай скорее... Сразу потолкуем... Так ты и плохо поймешь даже иное место. Читай спокойно.

— Я спокойна, как видишь.

— Да, по видимости спокойна, кто говорит. А в глазах — зеленые искорки запрыгали. Знаю я это твоё спокойствие. Лучше бы злилась. Читай... Надо уж сразу!

«Сим могу я прибавить еще новый залог и новую силу тому обязательству, которое дал непринужденно и торжественно при случае развода моего с первою моею женою», — быстро читает Лович.

— Ах, вот что! И развод, то есть брак наш помянули... Понимаю...

— Читай... Доканчивай...

«Я же потшусь всегда, поступая в партикулярную жизнь, — дочитывает княгиня, — быть примером ваших верноподданных и верным сыном любезнейшего государства нашего. Константин».

Рука с листком упала на подушку.

Оба не решались заговорить, чтобы под напором сильных ощущений от наплыва мыслей не высказать чего-нибудь неподходящего к такой минуте; наконец он спросил:

— Ну, что скажешь, мой первый советник? Только не придирайся, пожалуйста, к выражениям и словам...

— О, нет, сохрани Боже. Одного не пойму, как это так? Не предупредили тебя, не сообщили сюда. Чтобы ты мог тут обдумать, обсудить... Как это так?

— Не удивляйся... И брат, и матушка не думали... Вышло случайно.

— Ты полагаешь? Они не думали раньше, когда звали тебя?

— Уверен даже...

— Ну, если ты уверен, тогда конечно, — с какой-то затаенной горечью согласилась она. — Но все-таки вырвать у человека такую бумагу там, где он не имел возможности хорошо взвесить, спросить друзей.

— Никого и спросить нельзя было бы. Кроме тебя, матушки и нас с братом — никто не знает и не должен знать пока...

— Вот еще как? Ну, тогда другое дело. Но как же все вышло, скажи? Они убеждали тебя, советовали?

— Не совсем. Брат жаловался на тяжесть власти. Я, конечно, знаешь мои мысли, поддержал его хорошо. Говорю: ни за что не хочу быть императором. Мое слово было подхвачено как-то ненароком. Матушка больше, потом и Александр. Она сильнее любит Николая, особенно, когда внук у ней явился... Ну, не отступать же мне от своих постоянных намерений и слов. Я написал... Вот и готово!

— Готово, да. Значит, российская корона Николаю. А польская?

— Об этом речи не было. Я не думал... Да если бы и подумал... Не для меня, скажем, для наших детей, если Бог пошлет... Так в эту минуту говорить, как будто торговаться об уступке... Я этого не мог, знаешь меня!..

— Знаю, знаю!.. Кто тебя не знает, мой рыцарь бескорыстный!..

— Не торговать же мне своею честью и собой!.. Да, дело не ушло. Что-то мне сдается, что так и будет. Недавно короноваться в Варшаве откладывал брат... Легче, значит, передать польскую корону, кому захочет... И потом все он меня уговаривал ладить с вашими, заслужить здесь общую любовь. Как будто я и так не стараюсь, всех сил, всей души не кладу. Сказал ему, а он так осторожно — знаешь его привычку: «Ты прав, брат. Но люди злы и вечно недовольны. Будь воздержаннее, если можешь!..» Право, как будто я злой Огре-людоед тут у вас... Скажи, ты полька, ты должна знать, стою я доверия и расположения вашего народа? Конечно, если серьезно на дело взглянуть, обойдя мой нрав суровый?.. Скажи?..

— Стоишь, стоишь, милый, успокойся! — прильнув к мужу с неожиданным порывом ласки шепнула она. — Бедный ты мой... Милый!..

Когда после порыва бурной ласки Константин лежал, успокоенный, усталый, блаженствующий, княгиня не погрузилась в дрему, как всегда, а снова приподнялась на подушке и заговорила, зная, что в эти минуты муж особенно покорен ее ласковым внушениям и просьбам.

— Знаешь, что я думаю, муженск? — тихо спросила она.

— Что спать тебе пора, женушка, да? Хочешь, я огонь задую...

— Нет, нет, постой. Я не хочу спать. Все думаю о письме... о Польше. О короне, о твоём характере... О многом думаю. И кажется мне... Не сердись, я не упрекать желаю. Ты очень изменился против прежнего...

— Ради тебя, птичка...

— Пусть так. Но кое-что осталось...

— Ах, вот ты к чему? Говори прямо, жури, брани. Я люблю слушать твои ласковые, нежные упреки. Так мамка Елена, гречанка бранила и — целовала меня, когда я орал без конца или вел себя плохо... И ты так... Ну, жури... я закрою глаза, но не усну... Жури!

— Не журить, просить хочу. Ради любви твоей и моей к тебе... Сдерживай себя еще больше, если можешь. Ты не знаешь, какое горе могут принести неосторожные слова. Порой сильнее, чем злой, обидный поступок. Если б ты помнил...

— Все помню и все знаю. Ты же не можешь сказать, что я совсем не изменился, такой же несдержанный, как был раньше? Ведь я много терпеливее и мягче теперь. Осторожнее в поступках и словах. Часто, когда гнев начинает овладевать мною, я слышу твой милый голос: «Константин, прежде подумай, а потом говори!..» И я думаю, сдерживаю себя, насколько могу.

— Правда, правда, милый. Я это заметила. Особенно после нашего брака. И благодарю Бога, если хоть этим могу быть полезной тебе и всей моей стране. Но теперь остается идти дальше. Всегда сдерживаться, обсуждать каждый поступок! Ты, такой умный, такой добрый, великодушный! Никто тебя не знает, как я... Отчего же люди не могут видеть тебя постоянно таким? Чтобы не боялись своего князя, а боготворили его, как я, бедная маленькая женщина! Постарайся, милый мой! Я тогда буду совсем счастлива и за тебя... и за себя... и за отчизну, за мой народ. Ведь я поляка. Я не хочу быть равнодушной к тому, что вижу, что слышу кругом... И я боюсь. А что всего тяжелей — боюсь тебя, твоего характера. Иногда словно злой дух овладевает моим добрым, кротким мужем... И вдруг случится...

— Что случится, Жанета? Что ты видишь и слышишь вокруг? Ты что-то не досказываешь, таишь от меня? От меня, Жанета?! Когда я ничего не скрываю, как Богу, исповедуюсь тебе...

— Ой, нет, вздор, пустое. То же, что и сам ты мне порою говорил: есть недовольные в Варшаве и во всей стране. Особенно среди панов, не среди войска. Нет, этого я не думаю. Оно ворчит на строгость. Ему обидны твои суровые меры и слова порой. Но оно любит своего «учителя», я знаю...

— Дай Бог. Если бы еще и тут я встретил обман?.. Не знаю, стоит ли и жить тогда?! Если боевые товарищи совсем не поймут, пойдут против меня?..

— Нет, нет, успокойся. Они никогда не пойдут. Даже наши поляки. А о ваших русских и думать, конечно, нечего. Но... надо их беречь, щадить. Не надо испытывать человеческое терпение слишком сильно... Не правда ли, милый?..

— Да, да! — охваченный тяжелым раздумьем, безотчетно как-то отозвался он.

— Ну, вот. И помни это... всегда помни. А тем злым, враждебным людям не надо давать повода клеветать на

себя... Они готовы подхватить каждую твою ошибку, раздуть ее, пустить по свету сотни небылиц из-за одной маленькой неосторожности, совершенной тобою на самом деле. Так с этими, с недругами, надо быть еще сдержанней, еще мягче и любезней, хотя бы на вид. Ты согласен, милый?

— Да, да...

— Тогда понемногу раздражение утихнет. Старое забудется. Новых причин для вражды, для заговоров не явится. Понемногу сами же наши поляки станут лучшими защитниками твоими перед братом-государем, перед целым светом. Правды ни дурной, ни хорошей не утаишь, если она касается целого народа... И мой Константин станет господином Польши не только по указу брата короля. Он сам будет признан первым другом и защитником, первым лицом в стране. Без короны — будет крулем мой милый супруг. Ведь хорошо бы это, да?..

— Да, да...

— Так, обещаешь? Попробуешь? Возьмешь себя совсем в руки, милый? Правда?..

— Да, пра... Постой... Я должен тебе сказать... Только подожди...

Медленным, тяжелым движением, как во сне, он потушил свечи у кровати. Комната сразу погрузилась во тьму. Одна лампада озаряла иконы в углу и этот слабый свет нарушал темноту.

— Вот так, теперь мне легче будет сказать, — глухо, словно с трудом заговорил Константин, — ты первая узнаешь. Никому, даже врачам я не говорил. Боюсь, они мне ничего не откроют, но я угадаю по их лицу... Слушай... Я сам все понимаю, что делаю хорошо или дурно. Но порою бывает, что, понимая очень ясно неправоту, жестокость, глупость свою, — удержаться не могу! Да. Это так страшно. Словно другой кто входит в меня и говорит моим языком, двигает моим телом. А я сам хочу удержать безумные порой поступки этого, чужого, и не могу! Страшно и вспомнить!..

— Милый, ты думаешь?.. — вдруг прижавшись к мужу, прошептала Жанета. — Думаешь, рассудок уходит от тебя порой? И ты это испытал?

— Нет. Рассудок не теряется. Я все понимаю, говорю тебе. Воля чужая, воля не моя. Нет моей воли надо мной самим. И в такие минуты, я заметил вот здесь. Дай руку. Чувствуешь?

Он взял ее похолодевшую руку и коснулся затылка почти у самой зажирелой своей шеи. Пальцы Жанеты слегка погрузились в жирные покровы головы, слабо прощупывая череп.

— Что же тут? — спросила она в нарастающем безотчетном ужасе.

— Ничего нет там, снаружи? Не ощущаешь? А я в эти минуты своего... раздвоения, что ли, здесь чувствую такую боль, как будто оторваться что-нибудь хочет от черепа или давит на самый мозг... И это еще больше раздражает, доводит до последнего, до слепой ярости порой... Вот тогда я становлюсь опасен... всем на свете!

— И себе больше всех! — словно успокоенная, проговорила Жанета. — Значит, просто ты перестаешь владеть собой? Не то чтобы безумие... Чувствовать безумие гораздо страшнее... Но скажи, что вызывает такие приступы? Нельзя ли придумать, как бороться с этим гневом?

— Пробовал. Не могу. Еще ребенком, когда Ла-Гарп порою дразнил меня или, по-моему, бывал несправедлив, наказывал напрасно, я выходил из себя. Кусал ему руки. А однажды даже повесился на шнурке от гардины... тут же, на шпингалете окна... Он заметил вовремя, едва отходили меня. Вот до чего я был необуздан еще тогда, ребенком.

— А тебя не старались смягчить, только дразнили... Бедный... Но теперь? Ты вырос. Ты столько видел, жил. Все знаешь...

— Вот, вот. Ты тронула нечаянно самое важное. Эти припадки случаются совсем неожиданно у меня. Если я вперед знаю, что должно случиться. Пускай даже самое неприятное, страшное, дурное, я уговорю себя заранее, найду утешение, выдержу столкновение спокойно, как кремень. Но когда самый пустячный неприятный случай неожиданно выведет меня из равновесия, я понемногу теряю волю... Или сразу в глазах засверкают красные искры... Заломит там, в затылке... И... вспоминать даже тяжело. Знаешь, что раз было? Ты видела, я очень люблю лошадей. Всегда у меня есть один-два любимца. Я езжу на них, кормлю хлебом, даю сахар... Мы друзья. Вот на смотрю воспитанников-кадетов я сидел на таком любимце... Объезжаю фронт. Так все хорошо. Я доволен, горд. Солнце ласково греет, по-моему!.. Юные голосишки так звонко печатают у меня с правого фронта: «Здравия желаем, ваше... высо...» Вдруг мой конь делает лансаду. Испугался чего-то

или остуился на ходу. Я дернул повод, шпору. Он пуще... Горячится, дыбится. Я натянул трензель, мундштучу... Он на дыбы совсем... Скачок и понес! Не помню, что стало со мною. Все видят, что я... я — не могу справиться с конем!..

И тут же вторая мысль: что если внезапное бешенство овладело конем? Помчит, уронит, растопчет под ногами или голову разможжит мне о попутные деревья, о придорожные камни... Так ярко увидел я это. Сердце упало. Совсем помутилось в голове. Умереть из-за бешеного животного, так, по-пустому! Умереть до поры? Страх оледенел меня. Мгновенно я выхватил палаш и...

— Убил коня?

— Изрубил до полусмерти. Он, покрытый кровью, дрожа, остановился. Я соскочил. Конь упал. Я опомнился. И долго-долго жалел его... И стыдно мне так было. Все от неожиданности. Знай я, что он может козырнуть, я бы справился с ним легко. Но я так верил в его покойный, ровный ход, в его покорность. И вдруг?! Так бывает и с людьми. И потом, сказать не могу, Жанета, как мне бывает тяжело и стыдно порой, когда приду в себя... Ты только первая знаешь...

— Милый, бедный мой!.. Как изломали твою душу, всего тебя... Но все же это поправимо... Это же не безумие, успокойся. Поговори, на самом деле, с врачом, с хорошим... Только я теперь могу тебя успокоить: это не безумие! То — гораздо страшнее.

— Ты думаешь? Как уверенно ты сказала. Почему ты знаешь, мой милый министр? Или ты можешь быть и врачом для своего глупого мужа?

— Нет. Я тебе должна тоже сознаться... У меня одно время было нечто... Я долго, целый год боялась, что сойду с ума, как это случилось с отцом от ревности к моей маме... Только я не ревновала, нет. Просто лет шестнадцати, когда из ребенка стала совсем женщиной, — понимаешь? — у меня что-то было. Видения наяву. Я теряла сознание, хотя продолжала ходить и говорить. Но потом не помнила, что было со мной в эти дни и часы... Много страшного было тогда. Особенно, когда лечили меня... Забудем лучше... Не надо и вспоминать! — содрогаясь, оборвала Жанета.

— Не будем вспоминать, правда. Пусть Господь поможет тебе и мне. Бедная, так и ты?.. Бедная... бедная!..

И он, шепча тихие ласки, нежно гладил жену по мягким волнистым волосам, по лицу, мокрому от слез.

И его странное, едва различимое в полутьме лицо все было облитое слезами.

Так с тихими слезами и заснули «хозяин» Польши и жена его княгиня Лович.

... Дней пять спустя Жанета сидела за уроком с Фавицким, когда неожиданно вошел Константин с каким-то пакетом в руке.

Фавицкий вскочил, поклонился неловко и очень смутился, как будто у него явилась мысль: не вызван ли неожиданный приход какими-либо сплетнями? Или сам супруг подследил, несмотря на свою близорукость, какими глазами порою наставник глядит на ученицу?

Константин ласково кивнул ему.

— Я помешал? Не надолго. Сейчас вас позовем, Фавицкий.

Когда он вышел, цесаревич подал княгине листок, исписанный знакомым ей почерком Александра, испытывавшим постепенные изменения, особенно за последние десять лет, но сохраняющим основной характер: смесь старинных по начертанию букв, твердых линий и кверху стремящихся росчерков с тонкими соединениями, с легкими, нового типа, знаками, причем в одном и том же слове две-три буквы стояли совершенно особняком, как будто отбившиеся от стаи одинокие птицы, а конец из нескольких букв слитно и сжато стоял как отекающий решительным нажимом пера.

Княгиня стала читать вслух; хотя и медленно, с запинками, но довольно верно, не особенно коверкая ударения, не накладывая польского произношения на твердые согласные русской речи:

«Любезнейший брат! С должным вниманием читал я письмо ваше. Умею всегда ценить возвышенные чувства вашей доброй души, сие письмо меня не удивило. Оно дало мне новое доказательство искренней любви вашей к государству и попечения о непоколебимом спокойствии оною.

По вашему желанию предъявил я письмо сие любезнейшей родительнице нашей. Она его читала с тем же, как и я, чувством признательности к почтенным побуждениям, вас руководствовавшим.

Нам обоим остается, уважив причины, вами изъясненные, дать полную свободу вам следовать непоколебимому

решению вашему, прося всемогущего Бога, дабы Он благословил последствия столь чистейших намерений.

Пребываю навек душевно вас любящий брат
Александр».

После молчаливого раздумья княгиня вернула письмо мужу. Он сложил тщательно лист и спрятал снова в конверт, затем, словно не ожидая даже отрыва со стороны жены, взял ее руку для прощального поцелуя. Крепко прижав к груди его голову и горячо целуя ее, она тихо проговорила:

— Герой... святой мой! Любимый!

Он слабо, даже смущенно как-то усмехнулся и вышел, ни слова не говоря в ответ.

Глава II

ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ

Прошла зима. Март уже на исходе.

Генерал Шембек, совсем ополчившийся немец, сухощавый, щеголеватый и словно затянутый всегда в мужской корсет, старательный служака и фронтовик, прямой на словах, лукавый, извилистый в душе, уже стоял в шинели на подъезде, ожидая, пока подадут со двора сани, когда к дверям подошел майор Лукасиньский.

— День добрый, день добрый, пан! — приветствовал его генерал, подымая также руку к голове, как отковырял ему майор. — Вы нынче не на службе? Да, да... Пожалуйста, я знаю: дамы вас ждут. Дела какие-то по благотворительной части? И как вы успеваете, майор? А я и со службой не справлюсь, как бы хотел... Вот сейчас на присм к нашему «старушку»... там канцелярия, туда, сюда!.. Не видишь, как короткий день пролетел... Что-то мой Волчек на дворе заупрямился? Объезжает его кучер, весна близко. И кони это чувят, не только мы, люди. Хе-хе!.. Пожалуйста...

Майор скрылся за дверьми, но почему-то мысли его все возвращались к этому необычно радушному и шумному приему со стороны генерала.

Стояли в памяти его водянистые, холодные, смышленные глаза расчетливого карьериста-немца, которые нынче никак не могли посмотреть прямо в лицо гостю: все мимо скользил взором Шембек.

— Ну, да шут с ним, с немцем! — мысленно решил майор и, скинув шинель денщику, вошел в гостиную, со

вкусом и довольно шикарно обставленную старанием генеральши, урожденной Галензовской.

Самой хозяйки здесь не было. Его приняла сестра ее, молодая пикантная девушка с чувственным, полным энергии лицом. Темной тенью лежащие на верхней губе, едва заметные усики подчеркивали сочность и свежий пурпур небольшого красивого рта.

Близкая подруга графини Антонины Гутаковской, она в тоже время готовилась стать женою капитана Лаговского, одного из ближайших участников «народного общества польских вольных каменщиков», во главе с Кшижановским, Маевским и Лукасиньским, широко раскинувшего сеть заговора по всей Польше.

Таким образом, стоя между двумя лагерями, Франциска Галензовская оказывала патриотам большие услуги, частью сама узнавая немало важных вещей, отчасти служа передаточной станцией между людьми, приближенными к Константину и в то же время втайне стоящими на стороне заговорщиков.

Сейчас девушка казалась очень взволнованной и без предварительных разговоров задала вопрос:

— Вы ничего еще не слышали? Не знаете ничего?

— То есть, в каком смысле? Из нашего лагеря? Или с того берега? От москалей? Оттуда особенного ничего.

— Вас скоро арестуют. И Маевского, и полковника Кшижановского, и Жица... и других.

— Ах, это мы знаем. Я полагал еще что-нибудь, поновее, посерьезнее...

— Серьезнее? Но вы погибли. Собрали такие улики... Особенно против вас... Иуда Засс сумел войти в доверие к Живультовой. Уговорили эту дуру, эту змею, что заговор погубит Польшу. Теперь де столько сыплется благ нам от москалей, а впереди еще больше будет. Что лучше пожертвовать несколькими вожаками и спасти тысячи, десятки тысяч людей, которые иначе погибнут в борьбе!.. Что восстание несет только кровь и горе для отчизны... Словом, эта змея, эта дура поддалась, выдала документы... погубила вас... и всех главных вождей... Вы же знаете, говорите? Так надо бежать.

— Зачем? Куда бежать? Не для того начато дело, чтобы бежать перед победой.

— Перед победой! Что вы говорите? Перед смертью, перед заточением, перед гибелью.

— Этим христиане победили язычников.

— Да тут же не вопрос о вере. Вера хранится в душе. Вырвут душу из тела и вера вырывается на волю, заражает новые сотни и тысячи душ... и побеждает гонителей! А вы делаете земное дело. Освобождение родины требует живых людей, а не замученных подвижников...

— Нет, и это не мешает...

— Значит, вы решили бесповоротно? Это ужасно... Слушайте, мне говорила Тоня, что и сестра ее... и княгиня Лович просит вас скрыться, хотя на время... Потом... когда первая горячка сойдет...

— Явиться с повинной, как напроказивший гимназист младшего класса? Благодарен княгине за ее заботу обо мне. Так и передайте ее светлости, прошу вас...

Девушка стояла, молча ломая руки.

— И скажите еще ей, панна Франциска, что я встречаю опасность спокойно, меня радует в эту великую минуту убеждение, что есть настоящие патриоты в измученной отчизне... Что не все ее дочери могут оставаться изменницами родному делу, предательницами до конца. Что даже у самых далеких от народа, стоящих почти на высоте трона, порою начинает созвучно со всеми польскими сердцами трепетать горячее сердце в груди... Что еще скажете, милая панна?

— Да что же? Я хотела спасти, остеречь вас... А вы?..

— Вы сделали большее: доставили отрадную минуту человеку, который вот уже более шести лет жил, как пытаемый на медленном огне. Скажите и это княгине Лович. Она поймет меня. Пока — прощайте. Вы правы: могут явиться с обыском каждую минуту. Надо уничтожить многое, чтобы не выдать друзей, которые могут быть спасены, должны остаться для святого дела... Дело не умрет с нами. Верьте и не бойтесь, милая панна.

— Верю и не боюсь. Жаль мне... мучительно жаль...

— Жалейте родину — и эта жалость даст святые плоды. Позвольте вашу руку. Прощайте.

Освеженный продолжительной прогулкой, с порозовевшим, хотя и серьезным лицом вошел цесаревич в свой кабинет вместе с Курутой и генералом Кривцовым, начальником военной канцелярии, на другой день после описанной выше сцены.

— Ну, видишь, старая губка, — обратился он к Куруте, — вернулся я домой цел и невредим. Был на плацу, муш-

тровал народ, как всегда. Ездил по аллее и по Новому Свету и жив покуда: не подстрелили, не ткнули меня ножом под ребро, как ты опасался. Можно ли верить безымянным доносам и угрозам, баба ты этакая греческая, а не Мильтиад...

— Харасо, харасо... Насе высочество известни мудрец и храбрец. На адна раза прасло благополуцна... Ну, и слава Богу. Надо сказать так, а не смеяться над старый слуга... Да...

— Ну, пусть твой верх, старая посуда! Вижу, есть хочешь. Ступай. А я тут с генералом займусь. Что у тебя нового, Кривцов?.. Как дела?

Курута ушел. Кривцов опустился по приглашению князя на стул у большого рабочего стола и положил на край объемистый портфель, который привез с собою.

— Все исполнено по приказанию вашего высочества. Заговорщики по списку арестованы ночью, без шума и посажены отдельно.

— В Брюллевском дворце?

— Так точно, ваше высочество. Прошло это спокойно, никто не шумел, как будто ожидали даже некоторые нашего визита.

— Ожидали? Думаешь, были предупреждены? Кто же мог? Кто предатель? Приказ такой секретный. Знали весьма немногие... А ты говоришь! Кто же выдал?

— Сохрани Боже, ваше высочество. Я и не думаю. Кому выдать? Такое впечатление было. Упреди их кто-либо, до лесу стрекнули бы зайцы, уж что и толковать. А просто знала кошка, чье сало съела. Гот и не удивились, когда Варвару на расправу потянули.

— Тебе бы с райком ходить, Кривцов. Сколько ты поговорок прибираешь всегда к делу и не к делу. Больше меня... Ну, дальше.

— Вот бумаги важнейшие, взятые ночью, и прежние, для обличения. Куда прикажете их, ваше высочество?

— Оставь здесь, под рукой. Дай список. Ого, 35 человек... Не ожидал... И на всех улики нашлись? Печально. Что думает государь?! Ну, все равно: бутылка откупорена, надо пить до дна! Так французы говорят по-своему... Благодарю за службу и за старанье — особо! Я напишу брату. А пока... вот этих троих вели привезти сюда в карете, — указав первые имена на списке, сказал Константин. — Я хотел бы поговорить с ними... Знаешь, вот и написано тут черным по белому. А все не верится... Да и узнать желательно подробнее кое-что... Иди, благодарю.

Почтительно пожав поданную ему руку, Кривцов ушел.

Цесаревич погрузился в чтение бумаг, порою потирая лоб, как будто он не сразу, туго соображал прочитанное.

Веселое весеннее солнце заливало лучами обширный кабинет Константина, отражалось от паркетного пола, на-тертого, как зеркало, озаряло сиянием полусводчатый, расписанный в помпейском вкусе потолок. Против больших, высоких окон белела печь-камин с простым экраном впереди. На этой же продольной стене висели разные картины, портреты и сцены батального рода. В самом углу у камина стояли ружья разных образцов, в козлах...

Две двери по бокам вели во внутренние покои, в спальню цесаревича и в другую половину небольшого, но уютного дворца.

Почти примыкая к экрану, у камина стоял длинный стол, обставленный удобными креслами с гладкой спинкой, обтянутыми в тон стенам, покрытым тисненными обоями. Против самых окон стоял еще стол с книгами и папками. Второй простенок тоже был занят столом; другой — стол перед диваном, так ловко приютившимся в глубоком углу, у внутренней двери. Тут же стояло трюмо с канделябрами по бокам, для княгини. Против этого уголка, у самого окна, в другом углу — стоял еще стол и любимое мягкое кресло цесаревича, в котором он порою отдыхал, любясь видом, который открывался за окном.

Стены над диванами, по сторонам трюмо и напротив были заняты прекрасными гравюрами, изображающими кавалеристов русской и польской армии разных полков и оружия.

Рабочий стол был до половины заставлен портретами семейными и дружескими, снимками с медалей, кипами бумаг, книгами, журналами и даже разного рода инструментами, вроде ватерпаса и других, которые порой нужны были Константину.

Цесаревич любил входить сам в мельчайшие подробности военного и своего, домашнего хозяйства и потому самые разнообразные предметы порой надолго попадали, залеживались на этом обширном столе.

Стальные люстры *Empire*¹ спускались с потолка. Канделябры под зеленым абажуром служили для работы по вечерам.

¹ Ампи́р (фр.) — художественный стиль в архитектуре и декоративном искусстве.

Перенеся портфель, оставленный Кривцовым, на угловой стол у самого окна, Константин уселся в свое кресло, поправил вышитую подушку, которая была брошена и здесь, как на других креслах и диванах пестрели подушки и подушечки разного вида, — и углубился в чтение и разбор бумаг, служащих уликой для офицеров, обвиняемых в заговоре.

Кресло стояло у самой двери, ведущей в покои князя, даже заслоняя одну ее половину, прикрытую опущенной портьерой. Легкий стук послышался за дверью.

Так стучать и явиться отсюда могла только Жанета.

— Войди, голубка! — не отрывая взора от бумаг, громко сказал он, выждал, пока раскрылась дверь, протянул левую руку и обнял за талию жену, привлек ее к себе:

— В чем дело? Зачем пришла? Если нет важного, потолкуем потом. Ты знаешь: арестованы главные заговорщики. Дело серьезнее, чем я думал. Придется показать пример, дать острастку безумцам. Они погубят и мою работу многих лет, и свою Польшу, эти фантазеры... эти...

Он сдержался, почувствовав, как дрогнула под его рукой талия жены.

— Ну, говори.

— Именно об этом деле я и пришла поговорить с тобой.

— А ты знаешь что-нибудь о ней? Откуда? Что? Говори скорее. Я должен все слышать. Как до тебя дошло?.. Ну, я жду...

— Ничего нет такого. Я знаю то же, что и вся Варшава, что знают мои сестры, моя мать и отчим... О чем говорят слуги во дворце, прохожие на улицах. Только одно имя мне знакомо более других. И я хочу спросить... Желая узнать, если возможно: как велика вина и участие этого знакомого... Ты его тоже знал...

— Ты думаешь о Лукасинском? — вдруг поднимая на жену загоревшийся, упорный взгляд, сказал Константин. — Я тебе скажу. Конечно, ты вправе интересоваться. Бывший поклонник... чуть ли не жених... ты мо...

— Константин!

Только это и сказала княгиня Лович. Вся выпрямилась, как струна, и взор ее обычно добрых голубых глаз сверкнул таким негодованием, что Константин сразу опустил свои глаза.

Мягче, проще зазвучал его голос:

— Прости. Виноват, сознаю. Глупость подумал и позволил ей сорваться с языка. Он, майор, один из главных

коноводов. Выдала его женщина. Должно быть, какая-нибудь романтическая история. Улики тяжкие. Вот статут, писанный его рукой. Его письма, записки разным лицам. Писано ловко, осторожно, но теперь — ключ найден. Вот — план заговора, списки «десятков», раскинутых широкой сетью в целой армии, даже в австрийских и прусских владениях, смежных с нами... Словом, ему не сдобровать при самом снисходительном суде... А суд будет строгий, за это я ручаюсь. Зачинщикам — высшая кара, смутьянам, коноводам петля или... Да что с тобой? Какая ты слабая стала...

— Нет, ничего. Ты сказал: коноводам, смутьянам... Ты прав. Но в Варшаве говорят, что коноводы не эти. Называют иных, познатнее, посильнее: Адама Чарторыского, Яблоновского, Антона Замойского, Мокроновского, генерала Домбровского, Хлопицкого, Лелеваля педанта... Многих называют. Они тоже будут судимы строго? Их накажут, если они будут уличены? Что же ты молчишь?

— Гм, вот ты куда метнула, Жанеточка. То, правда, главные коноводы. Но их пока трогать нельзя. Есть разница между политической партией и военным заговором. Враги политические, как эти магнаты, ведут интригу, задумывают удары. А меньшего калибра люди, заговорщики выполняют задачу, наносят удар. И пока надо лишь остановить руку, занесенную над нами. Авось, если ее отсечем вовремя, и голова спохватится, присмирееет. И все пойдет хорошо. Поняла?

— Как не понять: кто сильнее, тот и прав. А в ответе — мелкая рыба. Справедливо, мой князь, могу сказать.

— Жанета!

— Ты сам знаешь, что я права. Зачем же делать такое суровое лицо, возвышать голос на женщину, на свою жену, которую ты так любишь, если верить твоим словам!

— Ну, хорошо. Ты права. Что же дальше? Простить, отпустить эту мелкую рыбу нельзя теперь, когда она слишком запутана в верше. Что же делать?

— Всю выпускать я и не прошу. Вот хоть этого... майора. Он честный человек. Его предупреждали об аресте, он не пожелал бежать. Я это знаю от его матери-старухи, которая на коленях молила меня спасти сына... И его сестра была тут же. Есть и мальчик брат, которого он воспитывал много лет... Словом, дело милости свершить прошу тебя, не справедливости. Я сказала, Константин. Решай сам.

— Ну, хорошо. Пускай. Не могу тебе отказать. Я попробую, поговорю с ним. Если он даст слово успокоиться... Посмотрим... Слышишь: я сказал. Мое слово твердо. Довольна?

— Почти. Я боюсь вашего разговора. Это такой... особенный человек. Ну, да поможет вам Бог... Постой, ты говорил: есть тяжкие улики? Как же быть? Если судьи...

— О, это вздор... Женщина его выдала. Не хочу пользоваться такими уликами. Вот видишь: здесь все...

Отобрав несколько листков, две-три тетрадки, он подошел и бросил это в горящий камин.

— Через пять минут останется пепел вместо вины твоего приятеля.

Не говоря ни слова, Жанета взяла руку мужа и прижала к губам.

— Ну, глупенькая, что ты, за что?.. Одним больше, одним меньше, не все ли равно? Мне нужен пример... А будет ли это Иван или Петр, все единственно для черни и... для тех вельможных поджигателей, которых и я знаю не хуже твоего... Теперь иди. Постой, ты знаешь: полковница Вейс уехала нынче в Карлсбад. Говорят, опасно больна? Ты была у нее перед отъездом, кажется. Как по-твоему?

— Вчера я видела ее. Больна очень, это правда. Но врачи надеются... Будут бороться.

— Сама виновата. Не берегла себя. И характер у дамочки, сохрани Бог. Вот ты у меня совсем другая. И я зато стал почти иным... Ведь правда? Вижу, ты то же думаешь, что и я! Ну, до свиданья. Там, кажется, кто-то есть... Иди.

Когда Лукасиньского ввели в сопровождении часового с обнаженным оружием, цесаревич стоял у того же стола, спиной к окну, оставаясь в тени собственной фигуры, и весь свет падал на лицо бледного безоружного майора.

По данному знаку часовой вышел. Спокойно глядя прямо в лицо хозяину, стоял невольный гость.

— Здравствуй. Подойди. И поздороваться не хочешь со мной? Или совесть мучит? Ничего, потолкуем. Подойди.

— Здравия желаю, ваше высочество! — серьезно, словно на смотре проговорил майор.

— Так. А говорят: ты убить меня собирался. Какое уж тут здравие, помилуй. Верно мне донесли?

— Нет. Я убивать не собирался никого.

— Твердо говоришь, смотришь прямо. Можно поверить. А для чего же заговор составляли?

— Если составляли, должно быть, для освобождения родины.

— Вот как. И резню для этого? Да?

— Должно быть, ваше высочество говорит об открытом бое, о войне?

— По-нашему — это бунт, резня зовется. Не знаю, как по-вашему. И ты тоже готовился в «открытый бой»? А?

— Могу спросить ваше высочество: кому я должен отвечать? Своему судье, назначенному законным порядком, лицу, которое должно расследовать дело, или это идет частная беседа?

Константин вспыхнул. В тоне и взгляде майора было еще больше вызова и непреклонности, чем в простых на вид словах. Константин ожидал совсем иного. Думал, что Лукасинский воспользуется дружелюбным по тону началом допроса и легче будет оказать милость человеку, проявившему хотя бы легкое раскаяние. Едва сдержавшись, Константин уже более сухим тоном проговорил:

— Тебя спрашивает твой главный начальник, командующий армией польской и литовской, брат твоего государя, которому ты давал присягу на верность — и вероломно нарушил таковую. Вот кто говорит с тобой, пан майор... если ты сам раньше не вспомнил и не понял такой простой речи, как моя...

— О, нет, понял хорошо, так же как укор в вероломстве, в нарушении торжественной присяги, данной перед Богом и людьми. Но если не в оправдание, так в пояснение могу сказать, ваше высочество, что к этому подали мне пример иные, весьма знатные особы...

— Знаю, слышал. Толковали уж мне об этом нынче. Ваши князья и магнаты. Но дурного примера не надо брать ни от кого.

— Я не про них, ваше высочество... Я метил выше. Меня учил наш ясный круль Александр...

— Что?! Что?! Молчи, дерзкий...

— Молчать? А вы же хотели, чтобы я говорил...

— Ты клеветешь на священную особу своего короля.

— Я говорю правду. И вы, если ищете правды, дадите мне договорить... Или допросы одна комедия и приговоры нам подписаны до суда? Это тоже бывает даже в просве-

щенной Европе, в Австрии, в Италии, во Франции, принявшей наново старых тиранов Бурбонов. Что же говорить о Польше, ставшей сатрапией полудиких московских владык! Я умолкну.

— Поговорить захотелось пану майору? — сжав зубы, процедил Константин. — Что же, послушаем. Поговори. В чем ты винишь своего круля, бунтовщик и предатель, чтобы обелить себя?

— Об этом забочусь я меньше всего. У меня еще теплится какая-то детская, глупая надежда, что на слова истины и живые камни, какими сотворены сердца иных властителей, и они скажут «аминь» на слово истины!

— А! Новый проповедник Беда? Ну, начинай. Камни развесили уши... Терпения нынче у меня довольно. Говори.

— Слов надо немного. Дела сами скажут за себя... Начну с России.

— И о ней забота? Благодарствую. Что же с ней?

— То, что и с нами: обманута, задавлена она... Там наши истинные братья.

— Карбонарии, мартинисты, масоны...

— Удостоенные чести иметь ваше высочество в своих рядах...

— Я ушел давно...

— И вовремя, ваше высочество... Но наши братья там стонут, как и мы... И было им обещано всенародно, два года назад: дать права и малую волю, дать закономерную жизнь. Что же вместо того? Военные поселения, гнет в храмах науки, обман в Божьих храмах, шпионы, доносы... Налоги и молебны вместо ученья и свободы. «Уставная грамота», готовая давно, спрятана Аракчеевым в железный сундук, брошена на дно моря... Фотий ведет к славе Россию, а государь целует грязные руки этого лицемера, полубезумного монаха... Вы молчите, ваше высочество. Благодарю вас за это молчание. Теперь я буду говорить спокойнее и без злобы. Скажу о моей отчизне... о моем народе.

— Говорите... продолжайте... Я слушаю.

— Не задержусь на мелочах. Два года тому назад чудные речи звучали здесь, с высоты древнего трона. А им откликались стоны российских рабов. Но мы поверили. И что же: на конгрессах в Троппау, Лайбахе, всюду говорилось совсем иное и делалось по тем иным речам, угнеталась свобода. Невольно пришло на мысль, что и нас морочат словами. Теперь это подтверждается делом. Два года ми-

нуло. Пора сзывать по закону третий сейм. А о нем и слухом не слышать... Наши свободы и гарантии? Вот их подтверждение: ночные аресты, сотни шпионов, суд и позор... За что? За любовь к родине. За опасения, которыми сжаты наши сердца! Видимо дело, час пробил и Польша, как связанная рабыня, пойдет за триумфатором реакции, за государем, который победил Наполеона и пал жертвой австрийских душителей мысли и свободы, стал слугой Меттерниха и прочих продажных лизоблюдов, слуг произвола, реакции и тьмы!.. Священные обещания, данные всенародно, те же клятвы, та же присяга, они позабыты... Вот почему я нарушил свою клятву и стал в ряды борцов за призрак свободы, еще реющий в глубокой тьме, которая окутала и всю Европу, и мой родимый край...

— Громко сказано...

— Я тихо, без жалобы готов умереть... готов на пытку...

— Стать мучеником, заразить своим безумием сотни других? Это вам не удастся. Улик особых нет против майора. Ручаюсь, майор будет оправдан. Комедией кончится дело, а не трагедией, как бы вы того желали, я понимаю вас...

— Вот это чудо. Действительно, камни вопиют... Животные из Валаама получают дар слова... Ваше высочество до того стал все понимать, что готов оказать пощаду заговорщикам... Жаль, мало свидетелей этого чуда.

— Майор, не испытывайте мое терпение...

— Смею ли я! Я не красивая панянка, у подола которой можно липнуть годами, взять ее измором... Я жалкий майор, которому можно подарить жизнь и свободу, бросить эту подачку, как швыряете вы тысячи народных денег на грязные прихоти. Но я таких подачек не хочу. Я виноват. Судите, казните... убейте без суда... Только милости не приму от вас... От необузданного насильника, от оскорбителя нашей чести... Растлителя девушек, зло...

— Ты смеешь! — хватая судорожным движением тяжелое пресс-папье из малахита, крикнул Константин, но тут же остановился. Слабый стон послышался ему за дверью, куда ушла княгиня.

Неожиданно для Лукасиньского, который стоял не дрогнув, хриплый смех вырвался у Константина. Он глухо заговорил:

— Я понял вас, майор Лукасиньский. Вам захотелось славы мученика... и одним ударом кровь клеветника, мя-

тежника запятнала бы навсегда мое имя?!.. Нет, этого не будет. Смерть теперь для тебя забава, избавление. Я все понял, ревнивый майор. Ты останешься жить... И долго будешь помнить эту беседу.

Пройдя мимо майора, который продолжал стоять, как изваяние, Константин позвал часового.

— Уведи этого. Жица и Добройгоиского ко мне!..

Начала работать следственная комиссия. Медленно тянется следствие. Растет список привлеченных к делу, обвиняемых, свидетелей, доносчиков... Целые томы исписаны. А конца еще далеко не видно.

В середине августа посетил брата Александр, направляясь через Вену на большой веронский конгресс, куда ждут императора Франца, прусского короля, и всех итальянских государей. Там будут решаться вопросы об участии Греции, посмевшей восстать против своего владыки, султана Турции, повелителя правоверных мусульман. Православный русский император во имя «порядка» намерен твердо поддержать верховные права Ислама против христиан-греков, собратьев по вере и вековых друзей.

Много других славных дел задумано «Священным Союзом Монархов» с Александром во главе, который, по словам Меттерниха, «окончательно бросил якорь в пристани законности и порядка», как разумеет ее этот лукавый, продажный дипломат!..

Но интересуют немного короля польского и дела его новых владений.

Выслушав подробно доклад брата о деле «военного заговора», узнав состав судей и ход их работы, государь одобрительно покачал головой.

— Да, это хорошо. Здесь пример строгости не мешает. Я столько им дал, что они не должны быть неблагодарны. Неблагодарность — великий грех... Хула на Духа Святого... Пусть так все идет, своим путем...

Речь перешла на другие вопросы. О сейме очередном — ни слова. Молчит и Константин.

Недели две прожил в Варшаве Александр. Ежедневно обедал у княгини и брата. Потом, пользуясь чудными, ясными днями, все выходили в сад. Константин с сыном, с ближайшей свитой шел немного позади, а впереди под руку с княгиней Лович мерно шагает государь, ежедневно привыкший для здоровья совершать большие прогулки.

Три, четыре часа гуляют они. Изредка присядут на скамью. Потом снова меряют прямые аллеи и извилистые дорожки красивого парка. И все беседует оживленно передовая красивая пара.

Собственно, говорит больше княгиня, а спутник любезно поддакивает, дает короткие реплики, вставляет свои замечания кстати. О чем тут только не поднимается речь: и о божестве, и о страстях человеческих, и о текущих событиях с высшей, моральной и мистической точки зрения.

Порой у княгини как бы иссякает запас мыслей и слов. Тогда спутник, помолчав, заводит в сотый раз рассказы о вступлении своем с войсками в побежденный Париж, о созданной в минуту высшего просветления Лиге, о «Священном Союзе Монархов», так несходном с Лигой, которую еще бабушка его Великая Екатерина пыталась упрочить силой своего гения...

Вспоминает без конца великолепный смотр в городке Франции, Вертю, где 200 тысяч русского войска ослепили своим блеском и силой глаза Европы...

Потом снова начинает рассказы княгиня. Плохо слышащий Александр часто кивает головой, хотя совсем не может порою уловить слабого голоса прелестной собеседницы, которую, в сущности, очень любит.

Однажды наблюдательный Константин, готовый надсмешаться и над самим собою, если представится случай, шепнул графу Мориолу, кивая на передовую пару:

— Видите, часами они ведут беседу. И знаете, как? Один — почти не слышит ничего, а другая — наполовину не понимает сама то, что ему говорит...

Шепнул — и с самым серьезным видом следует со свитой цесаревич за дорогим гостем и женой, стараясь не помешать их душевным, нескончаемым речам...

Мориоль, старый французский куртизан, неопределенно пожал в ответ плечами и важно шествует со всеми, не спуская глаз со своего воспитанника Поля.

Миновали Святки, прошла еще зима. Настал 1823 год.

Тихо он был встречен и медленной серой лентой уплывает в вечность.

Только большие маневры в Бресте Литовском, в присутствии государя явились ярким пятном на этом сером фоне.

На этих маневрах в первый раз видел Константин своего сына на коне, настоящим офицером, хотя юноше всего 16 лет. Здесь получил первое повышение от своего крестного отца Александра счастливый юноша.

В этом же году Александр решился на один важный для будущего шаг: он написал манифест, которым назначался наследник Николай и оглашалось отречение Константина, сделанное еще в прошлом году, и вместе с собственноручной записью цесаревича сдал в пакете на хранение в Государственный Совет и Сенат, а копии, как бы для большей верности, положил в алтаре московского Успенского собора и в святейшем синоде.

Узнав об этих копиях, очень был огорчен Константин. Это имело вид недоверия к нему, к его слову и решению. Но он не обнаружил ничем своей обиды.

Наступил 1824 год.

Очевидно, черными знаками отметила его Судьба для цесаревича и всех, кто ему близок, кого он любит и любил.

Тихая радость затевалась в царской семье. Михаила удалось уговорить и со дня на день ожидалось бракосочетание его с кузиной, в православии получившей имя Елены Павловны, с очаровательной племянницей вюртембергского короля, с дочерью брата Марии Федоровны.

Вдруг на самом Крещенском параде государь почувствовал недомогание. 12 января он совсем расхворался, был перевезен из Царского села в Зимний дворец и пролежал там в горячке, с опасным рожистым воспалением ноги до 1 февраля русского стиля.

Шесть дней спустя прискакал из Варшавы цесаревич, мчавшийся сломя голову по отчаянным дорогам Литвы и, особенно, России.

Постоянный врач Александра Тарасов только что окончил перевязку больной ноги и уложил ее поспокойнее на кровати, когда в комнату быстро вошел Константин, кинулся к дивану, в полной парадной форме упал на колени, заливаясь слезами, целовал брата в губы, в глаза, в грудь, склонился, наконец, к больной ноге и осторожно поцеловал ее поцелуями.

Врач, чувствуя, что слезы выступают и у него на глазах, незаметно вышел.

— Брат, милый! Я уж не чаял и видеть вас! — повторял цесаревич.

— Нет, ничего, поправляюсь, как видишь. Поживем еще, будем править нашу тяжелую службу, если пожелал того Господь! — ласково сказал государь, поцелуем отвечая на поцелуи брата.

На другой день, 8 (20) февраля, рядом с кабинетом больного государя, состоялось венчание в статс-секретарской комнате, обращенной ради этого случая во временную часовню.

Успокоясь за брата, Константин не зажился в Петербурге, после невеселой такой свадьбы скоро собрался домой.

— А в будущем году, полагаю, можно будет созвать третий сейм? Как думаешь? Успокоилось там у тебя все? — спросил Александр на прощанье у брата, желая порадовать цесаревича.

— Почти, государь. Военный процесс заканчивается. Остальные притихли... Если вы решите, ваше величество, будет хорошо. Дух поднимется у моих поляков. Приуныли и друзья наши заведомые: боятся, что кончена их свобода...

— Ну, разуверь их... Сейм будет... Летом мы созовем. Осенью — хуже. И мне тяжелей. Я тебе напишу.

Братья нежно, сердечно простились и расстались.

Дома траурная весть пришла к цесаревичу: в Ницце после долгих страданий угасла мать его единственного сына, бедная Фифин.

Юноша Поль опечалился невольно. Задумался Константин. Даже княгиня Лович чего-то как будто испугалась в душе. Как будто угрызения совести стали тревожить ее сон, портить минуты редких радостей, выпадающих наяву...

Закончилось дело о военных заговорщиках.

К вечному заточению присуждены несколько главарей. Остальные — разжалованы также и сосланы по крепостям или в Сибирь... Все — на большие сроки.

Узнав о таком суровом исходе процесса, княгиня была потрясена. Какие-то тени, призраки населили ее больное воображение, преследуя не только по ночам, но и днем.

Тогда с жалобным, невнятным стоном носилась несчастная у себя по покоям, призывая людей и Бога на помощь, ища повсюду защиты и не находя ее.

Около полугода продолжалось это тяжелое состояние. Наконец врачам удалось овладеть, справиться с острыми страданиями больной души, которые губительно влияли и на

телесные силы. Княгиня успокоилась понемногу, призраки отошли. Но осталась тихая, ни на миг не отходящая печаль, стремление куда-то в неведомый, иной мир.

Выпросив разрешение у мужа, она устроила в подвальном сыром этаже, в темном закоулке, небольшую часовенку, католическую каплицу и там проводила долгие часы в молитве, распластавшись крестом на холодном влажном полу перед беломраморным Распятием чудной работы, привезенным из Италии.

Порою она меняла положение, становилась на колени, без конца ударяла себя в грудь исхудалой, почти прозрачной ручкой и беззвучно шептала часами:

— *Mea culpa! Mea culpa! Mea maxima culpa!*¹

Злился, из себя выходил Константин, но сделать ничего не мог. И с возмущением в душе видел, как ежедневно, словно черная ночная птица, проскользал вкрадчивый патер Тадеуш к княгине и подолгу оставался с нею или в ее верхних покоях, или в сырой каплице, внизу...

Порою, оставаясь одна, бледная печальная женщина сидела тихо, глядя прямо перед собой, словно желая проникнуть взором сквозь стены и узнать, что теперь с теми, с ее собратьями, заключенными, несчастными, поруганными... В то самое время, когда она, Жанета, живет в тепле и холе, окруженная почетом и лаской.

Но стены были крепки, ничего не видела женщина перед собой, кроме узора обоев, блеска зеркал или шероховатой поверхности подвальной каплицы со следами сырости и пятнами паутины по углам...

А между тем недалеко от дворца были заточены те, о ком думала Жанета.

На задворках гвардейских казарм, на пустыре, обнесеном высокой стеною, была построена крепкая изба с маленькими, высоко прорезанными окнами, да еще забитыми до половины и забранными железными решетками.

В небольшом покое, окованные по рукам и ногам сидели три друга: Лукасиньский, Жиц и Дзвонковский, ожидая последней участи.

В Сибирь приговорили послать Доброгойского и Добрицкого. Остальных — оставили здесь, навечно томиться в цепях, в полутемной, душной норе. Циховского посадили

¹ Моя вина! Моя вина! Моя большая вина! (лат.) Формула раскаяния в грехах.

отдельно. Он осужден на пожизненное одиночное заключение.

Дзвонковский однажды ночью тихо, бесшумно перерезал себе горло осколком стакана. Остался Лукасиньский и Жиц.

Оба сидят на тяжелых пнях, заменяющих мебель. Спать надо тоже полусидя. Пищу трудно подносить ко рту руками, заключенными в тяжелые оковы...

В одну ночь Жиц негромко позвал друга:

— Прощай, Валериан!

— Как, разве ты?..

— Да. Сейчас я ухожу. Сил не хватает больше... Видишь? Иду за товарищем вслед!

Он показал узкую, крепкую полосу, оторванную от рубахи, которая была на нем.

— Это трусость, товарищ. Брат, потерпи... Мы дождемся возмездия... Увидим свободным народ наш и отчизну.

— Нет, Валериан. Ты жди. Я не могу!.. Лучше, мне кажется, если последуешь моему примеру, чем медленно умирать здесь, в этой могиле для живых мертвецов... А, впрочем, как знаешь... Прости! Если дождешься, всем передай мой привет. Благословляю всех... кроме врагов отчизны...

С трудом, медленно обмотал себе шею несчастный... откинул голову... захрапел, даже и в этот страшный миг стараясь сдерживать свой последний хрип... Чтобы не явились сторожа, не спасли... Несколько трепетных, бурных движений... и он затих.

Глядит Лукасиньский. Глаза широко раскрыты, словно выскочить хотят из орбит, вон, как у товарища-мертвеца. Но он глядит. Шепчет...

— Нет, не хочу так. Вытерплю... дождусь. Есть же справедливость в мире. Есть возмездие на земле... есть правда там, над землей... А если нет? Тогда все равно: жить или умереть... Я подожду...

И остался ждать Лукасиньский. Обрастает бородой исхудавшее, бледное лицо. Западают глаза. Но он старается бодрить свой дух, поддерживает, как может, отягченное цепями, прикованное к одному месту тело...

Ничего этого не видит Жанета. Но душа ее чувствует что-то такое. Оттого и мечется, тоскует княгиня, изнуряет постом и молитвой свое слабое тело, доходя до экстаза в этой молитве, в этом посте.

А Константин становится все мрачнее и мрачнее. Даже не наполняет покоя бельведерского дворца своим громким голосом и часто шепчет про себя:

— Какой черный, тяжелый год!..

Глава III

ПЕРЕВОРОТ

Что день грядущий мне готовит?

А.С.Пушкин

Прошел этот тяжелый, черный год.

Настал 1825, еще черней, еще печальней!

Едва стал Петербург принимать обычный вид после небывалого наводнения, которое в ноябре прошлого года опустошило треть столицы, встревожив всю Россию и Польшу, как предвестие тяжких бед, новые тревожные слухи дошли до Варшавы, как новогодний дар злого рока: здоровье императора стало внушать опасение близким к нему людям и всей семье.

Известие это тщательно скрывалось, но нет такой тайны, известной десяти лицам, которая бы через месяц-полтора не стала достоянием широкой молвы; и вся публика на разные лады обсуждала тревожную новость.

Вторая, уже открыто разглашенная печальная весть разнеслась вслед затем по империи и по королевству польскому: опасно больна императрица Елизавета Алексеевна, с которой за последнее время снова сблизился Александр после многолетнего отчуждения, почти разрыва.

К этим народным, всероссийским и семейным заботам и печалям у Константина еще присоединилось местное расстройство в управляемом им краю.

Как бы желая рассеять слухи о своем опасном положении, Александр после долгого периода глубокой грусти и полной апатии начал проявлять обычную деятельность, велел готовиться к большому путешествию по России.

Апатия эта длилась больше полугода, вызванная преимущественно смертью очаровательной княжны Софьи Нарышкиной, побочной дочери государя от Марьи Антоновны Нарышкиной, урожденной княжны Четвертинской.

Княжна Софья уже была невестой молодого графа Шувалова, но схватила скоротечную чахотку и быстро сгорела от этого недуга.

Оправясь от потрясения, Александр прежде всего списался с цесаревичем, назначил открытие третьего сейма на 1 (13) мая текущего года, но предварительно был оглашен 15 февраля нового стиля особый акт в дополнение конституционной хартии польского королевства.

По этому акту, в силу державных прав своих, король Александр отменял публичность рядовых заседаний сейма; они делались закрытыми для посторонней публики. Только первое и последнее заседания, равно как иные некоторые заседания, имеющие торжественный, а не деловой характер, могли происходить отныне публично.

— У польских демагогов не будет больше «галереи», которая поджигает и электризует их сотнями прекрасных женских глаз, шпорит аплодисментами дюжих, бездельных рук! — заметил по поводу этого акта Александр.

Не говоря о том ударе самолюбию, какой нанесен был польскому обществу таким «дополнительным актом», не говоря о возмущении полек, лишенных возможности слушать речи своих возлюбленных и мужей-депутатов, новый «указ» был принят и политическими кругами, и целым народом как первый признак крутого поворота в сторону прежнего бесправия и тьмы, из которой на короткое время вырвала Польшу пора «либеральных затей» вечно грустящего и мечтательного императора и короля Александра.

Недовольство, давно бродившее в стране, смягчаемое надеждами на лучшую политическую будущность, сгустилось, усилилось сразу и росло, росло, питаемое вестями, идущими из России, где тоже почти открыто толковали о том, что пора изменить весь существующий порядок и аракчеевщину, допускаемую безвольным властелином, необходимо сменить правовой жизнью.

Только по свойству народного характера и считаясь с местными условиями, поляки, не желая дразнить Константина, стараясь усыпить внимание русской власти, со своим негодованием и порывом к перевороту ушли в подполье, спрятали в душе ненависть, гримасу злобы прикрыли любезной улыбкой. И тем сильнее росло, тем опаснее становилось сдавленное чувство народного возмущения и недовольства.

Конечно, польское духовенство, давно в тишине ведущее подземную работу во славу святой католической цер-

кви, сумело почуять и использовать такой благоприятный момент.

Но снаружи все было тихо, гладко и благодатно, как никогда.

Громкими радостными кликами, как и в прошлые разы, встретили ликующие толпы народа своего короля, когда 15 (27) апреля Александр прибыл в Варшаву, обычным, торжественным порядком, с лакеями в польской придворной ливрее, с орденом Белого Орла на польском генеральском мундире, окруженный магнатами, панами, всею знатью края.

Так же обычно, в парадах и смотрах миновали две недели отдыха перед открытием сейма.

Особые меры принял на этот раз цесаревич для охраны брата. Уже с самой весны ему стали доносить, что в Варшаве появляются из-за границы, больше из Франции и Италии, какие-то подозрительные люди, молодые, не имеющие связей в торговом или деловом мире, которые под видом туристов или странствующих приказчиков живут подолгу, заводят знакомства в кружках молодежи, а иные прямо входят в известные кружки, как бы имея рекомендацию для этого.

Константин сам стал визировать паспорта таких вояжеров, а порою даже и приглашал их для личных опросов. Хозяева гостиниц, кофейных и заезжих домов, содержатели веселых притонов, игорных и других, обязаны были доносить о каждом подозрительном приезде, если многочисленные агенты тайной и явной полиции не успевали сами этого сделать вовремя.

Среди обывателей завелось немало добровольцев-сыщиков и шпионов, когда даже вздорные сведения стали оплачиваться хорошей ценой, а за что-либо важное обещаны были крупные суммы, как плата за труды.

Из Петербурга тоже стали приходить запросы о лицах, проживающих в самой Варшаве или в пределах Царства Польского, имена и адреса которых находили при арестах и обысках, производимых сейчас понемногу в России, вопреки даже воле Александра, который приказал только закрыть тайные общества, не подвергая особым преследованиям и карам всех членов этих организаций.

С огорчением узнал Константин, что среди лозунгов, которыми выразили свои намерения тайные союзники, особенно среди военных русской армии, его имя, имя «цесаревича» часто встречалось в бумагах, поминалось при допросах.

Очевидно, в надежде на податливость и любовь Константина к армии, военные хотели его сделать и знаменем, удобным для бунта, и куклой-царем в случае удачи.

— Я им покажу, канальям, пусть попробуют! — ворчал Константин, получая такие вести. — И за что они не любят Николая, не пойму? Такой тихий, славный.

Но тут же почему-то у него мелькнула забавная, неожиданная мысль:

— Вот, спроси я моего Кривцова, он бы и ляпнул: «В тихом омуте — черти сидят». Наверное...

Как бы там ни было, хоть и пылало пламя, раздуваемое ветром политической бури под государственным котлом, хоть и бурлило глухое кипение под крышкой котла, наружу только слабо пробивались первые струйки пара, и все еще было прилично, спокойно.

Знакомая картина развернулась перед зрителями 1 (13) мая в стенах залы, где уже дважды справлялось это народное торжество.

Легкий говор и шум, обычный признак каждого большого собрания, умолк и мертвая тишина воцарилась кругом, едва показался на пороге палаты Александр, сопровождаемый цесаревичем и ближней свитой.

Величие, которым и в частной жизни была отмечена фигура и движения императора-короля, сейчас особенно проступало наружу, как будто самым появлением своим государь желал создать надлежащее настроение и в среде депутатов, и во всем польском обществе, знатнейшие представители которого, дамы и мужчины, наполняли хоры, толпились позади трона.

Вот он остановился, небрежно и властно касаясь рукой самого трона.

Справа от него, чуть отступя назад, темнеет грузная фигура цесаревича, который на этот раз не играет роли «свободно избранного представителя» среди остальных депутатов города Варшавы.

Тут же, пониже немного, сидит прямо на ступени наместник Зайончек.

Совсем болен старик, но велел принести себя и усадить для присутствия на таком торжестве.

Еще ниже, на последней ступени, выделяется стройная фигура графа Грабовского, статс-секретаря королевства с изящным портфелем в руке.

Он должен прочесть внятно польский перевод французской тронной речи, когда произнесет ее Александр.

Как всегда, почти на память, изредка справляясь с листом, который белеет в руке Александра, произносит он свою третью — и последнюю речь в Варшаве.

Содержание речи еще дня три тому назад стало известно большинству здесь стоящих. Но некоторые места в выразительной, красивой передаче державного оратора производят неожиданное, особенно сильное впечатление.

Коснувшись «дополнительного акта», изданного перед самым сеймом и как бы сузившего права парламента польского акта, порывающего живую связь между депутатами и общественным мнением страны, Александр дал такое объяснение:

— Благодарение Богу, дело государственного строительства в Польше довольно налажено и опасностей пока ему никаких не грозит. Дабы упрочить мое творение, оградить существование его и обеспечить вам самим спокойное пользование будущими плодами наших совместных трудов, я прибавил одну статью к основному закону королевства, к его конституционной хартии. Мера эта, устраняющая возможность и необходимость влияния на ваши выборы и на ваши совещания, только доказывает, насколько я сочувствую упрочению нашей конституции. Это — единственная моя цель, которую я имел в виду, когда принимал помянутую выше меру. И я твердо убежден, что поляки сумеют оценить как мою цель, так и средство, которое я применил для достижения последней.

— Представители Царства Польского! Теперь вы можете совещаться спокойно, без помех, независимо от всякого постороннего влияния. Будущность вашей отчизны — у вас в руках. Имейте в виду только ее благо, истинные ее пользы. Окажите ей все те услуги, каких она ждет от своих лучших сыновей, и содействуйте мне в исполнении тех добрых желаний, которые я никогда не переставал питать в отношении в вашему отечеству!

Очень немногих, искренних патриотов, умеренных и осторожных ради блага самой Польши, успокоили и удовлетворили эти искренние слова, хотя самый прием, примененный Александром, несомненно был непарламентарен.

Все другие депутаты и широкая публика почти единогласно окрестили это объяснение довольно резко, именем «официальной лжи», говорили, что чем гуще позолочена пилюля, тем сомнительнее ее внутренний состав...

Но это говорилось очень тихо, в своих, польских кругах.

Внешне сейм прошел самым желательным образом. Почти без прений, единодушно и единогласно принимались все законопроекты царского правительства, накопившиеся за целых четыре года, словно работало не сто пятьдесят человек разных оттенков и характеров, а какая-то рабочая, законодательная машина.

— Как они притихли. Слово даю, они затеяли что-то скверное, — однажды в интимной беседе с Александром вырвалось у Новосильцева.

— Или — они сломлены, — возразил государь. — Думаю, последнее вернее.

С этим убеждением он и остался, так писал в Грузино своему другу и единственному теперь всевластному министру, необъявленному «наместнику» русской империи, Аракчееву, говоря: «Здесь, благодаря Всевышнему, идет все по желанию моему и я отменно доволен общим расположением умов...»

В самой Варшаве не раз цесаревичу, его жене в присутствии русской и польской свиты Александр прямо объявлял:

— Я не обманулся в моих поляках. Если дело пойдет так же и вперед, я смогу скоро осуществить свое неизменное намерение: солью с царством все западные губернии, когда-то подвластные этой короне.

В течение месяца, пока длился этот «молчаливый парламент», Александр совершил обычную поездку по царству до Калиша, откуда вернулся в Варшаву, и 1 (13) июня также торжественно состоялось закрытие сессии.

В последний раз повторил свои обещания перед лицом Польши этот король-император, не зная, что ему уж не суждено исполнять никаких обещаний, ничего не придется осуществить больше на земле.

Он говорил:

— Поляки, я доволен ходом и плодами ваших тридцатидневных усиленных трудов, проявлениями вашей любви к Родине и верности нашему престолу.

Верьте, я сумею отдать справедливость тому доверию ко мне, которым ознаменовалось ваше теперешнее собрание. Доверие это не останется втуне. Я сохраняю о нем живую память, соединенную с неизменным желанием убедить вас на деле, как искренна моя привязанность к вашему народу и к вам, какое благое влияние окажет поведение ваше на будущность вашей отчизны.

Ласковое, хотя и повелительное выражение лица, широкий живой жест — все это красиво дополнило такие многозначительные слова.

Но словам этим не суждено было претвориться в плоть и кровь.

Закрылся сейм.

Отъезд из Варшавы Александра был назначен на другой же день.

Константин должен был провожать его по Ковенскому тракту до Пултусска.

В последний раз за обедом в Брюллевском дворце собрались обычные застольники: государь, цесаревич, княгиня Лович, семнадцатилетний Павел в новеньком поручичьем мундире гвардейского кирасира и пятым принц Оранский, приехавший в Варшаву уже под конец сейма.

Разговор, конечно, больше всего касался только что законченного сейма. Александр намечал уже время открытия следующей сессии в 1827 году.

— Как раз исполнится четверть века моей службы государственной, — заметил он. — А военной и полные 35 годков истекли. Мы ведь раньше, брат, начинали с тобою, чсм нынешняя молодежь! — с ласковой улыбкой кивая на Павла, пошутил он.

— Что касается сего юноши, государь, — вступился отец, — он давно уж рвался на службу вашего величества. Да я придерживал, признаюсь. Хоть и длинный мальчуган, да жидковат, как сами видите, государь. Здоровье у него нсважное. А усердия не мало у крестника вашего сего. Не как отец, как начальник и строгий начальник говорю. Одним похвалиться смею, воспитан в страхе Божьем, в повиновении воле старших. Будет верный слуга царю и отечеству. Ручаюсь!

— И я так думаю. Хотя похвалы достойно, что сумел ты, брат, оберсчъ юношу от заразы вссообщей...

— Оберсчъ? Да если бы я заметил что-либо, приметы какие духа вольного и распушенности безбожной... Люблю сго, но, видит Бог, вот этими руками в Вислу бы его сам кинул, чсм знать, что вырастил нсгодая и карбонария преступного!

Павел краснел, бледнел, но ему было приятно, что внимание обращено в сго сторону.

Заговорила княгиня:

— И я скажу, славный юноша. Пусть так останется, как есть теперь, и благословит его Наш Спаситель... И какос доброе сердце. Вот я была сильно больна в прошлом году. Так в Эмсе и в пути он был моим самым внимательным пажем, сиделкой... Славный мой Поль.

Прием помог, разговор сразу перешел на состояние здоровья княгини.

— Теперь куда же вы собираетесь, княгиня? — спросил Александр. — Снова в Эмс?

— Нет, там мне стало еще хуже. Врач саксонского короля, известный Крейссиг, едва не погубил меня своим виноградом, который я должна была принимать чуть не пудами ежедневно... О, эти врачи...

Беседа долго вращалась около недугов княгини, которая действительно выглядела теперь довольно плохо, хотя ее грация и живой, остроумный разговор еще пленяли Александра, как и раньше.

После обеда мужчины, кроме Павла, ушедшего к себе, с сигарами в руках уселись поболтать на террасе, всдушной в сад при дворце.

День был чудный. Легкие облака умеряли зной. Зелень горела под лучами июньского солнца. Вблизи журчали каскады воды и от цветочных клумб шел смешанный аромат млесющих от жара цветов.

В расстегнутых мундирах, запросто вели беседу оба родных брата со своим симпатичным beaux freres¹, принцем.

Разговор коснулся Петербурга.

— Знаешь, Константин, я каждый раз все с большим удовольствием покидаю его, — сказал Александр. — И сам по себе он мрачен. Так там мало солнца, светлых дней... И столько темных воспоминаний охватывает меня и в нем, и в пригородных всех местах... Только в пути, особенно на юге, отдыхаю я душевно и телесно. Эти люди, не дающие покоя... Вечный надзор за каждым моим шагом и словом... Особенно со стороны некоторых иностранных агентов. Смешно даже порой. А больше досадно. Как будет хорошо в минуту, когда я сниму навсегда с себя это бремя власти...

— Что за охота, ваше величество, в такой чудный день, после хорошего обеда, с душистой сигарой в зубах думать о неприятных вещах, вроде смерти? Я заметил у русских...

— Да я и не говорю о смерти, — прервал принца Александр. — Раньше этого неизбежного конца думаю я опустить занавес моей царственной трагикомедии. Вот он знает. Я решил оставить власть добровольно, при жизни. Николай займет мое место и трон. А мы с ним удалимся

¹ Благородным братом (фр.).

в частную жизнь, подобно двум Цинцинатам. Я займусь сельским хозяйством. Буду пахать и сеять.

— А я у брата буду кафешенком и вторым камерди-
нером. Место уже за мной.

— Только без жалованья. Чай, тут приберег кое-что на черный день. Седьмой год сидишь на воеводстве, на теплом месте.

Оба брата расхохотались.

— Угадали, ваше величество. Есть малая толика. Не для себя, для Павла. Мне только прокорм дадите с женой. Больше не надо... Мы старики бездетные с нею...

Принц смотрел и слушал, не понимая, как отнестись к разговору. Наконец заговорил:

— Шутка остроумная, достойная Карла Пятого и вас, сир. Но бросим ее. Я хотел было, пользуясь случаем, изложить...

— Какая шутка, милый принц? Мы говорим серьезно. Его отречение от трона готово второй год, хранится до востребования моего в надежном месте... Николай извещен. Он привыкает к работе. И успешно, могу сказать... Значит, остается выждать удобный момент, когда настанет длительное затишье, чтобы молодой новый государь мог освоиться с делами без особых помех... Я ничуть не шучу, принц.

Константин, привыкший вздремнуть после обеда, ради брата лишавший себя этого удовольствия, теперь, размо-
ренный теплотой дня, полудремал в кресле, вытянув ноги, изредка попыхивая своей сигарой, на конце которой на-
тлело много седого, бархатистого пепла.

Принц, видя, что государь говорит серьезно, поднялся даже с места от волнения.

— Я знаю, я слышал об отречении бофрера Констан-
тина. Конечно, не мне судить. Но вы, сир, столько раз доказали свою государственную прозорливость и мудрость, что остается верить вам, и князю так лучше, как решили вы вдвоем. Но уйти вам при жизни? Вы еще так молоды, сир, годами и такой мудрый государь... Ваша постоянная удача, наконец, которая приносит столько благ целой им-
перии...

— И которая мне начала за последнее время изме-
нять... Вот в этом и вопрос. Вы знаете, я не только глубоко верую в Провидение. Я фаталист. И вместо красных кам-
ней — черные стали выпадать теперь на мою долю из урны
Рока. Пора уйти с честью, чтобы не пришлось раскаиваться

потом. Вот мысль моя. Когда недавно близкий друг стал говорить: отчего я таю акт отречения брата от света, который догадывается, но не знает всей истины? Я возразил: «Зачем торопиться?» Но он объяснил мне, что при моих постоянных и долгих отлучках из столицы... если случится что касающееся моей жизни и вдруг откроют акт наследования, никому ранее неизвестный, это даст смутьянам предлог завести раздор, может быть, дойти до братоубийств. Сперва я был поражен правотой его слов. Но другие мысли тут же овладели душой... Ага, и ты раскрыл шире свои щелки, Константин. Слушай. Это и тебя касается. Положим, я бы обнародовал акт. Наследником будет признан Николай, уже теперь, при моей, при твоей жизни... Удобно ли это? Ты старший брат, будешь простым сюжетом младшего...

— О-о, государь, это самая малость. Раз ваша воля... и воля Божия, кому хотите подчинюсь! Вы ли не знаете того? Да я...

— Знаю, знаю. Но ты сказал «воля Божия». Вот и не уверен я, так ли это? Я жду Его указаний, жду, чтобы осенил мою душу Своим светом. Так и ответил я другу: «Положился в этом, как и в иных делах немаловажных, на Бога! Он устроит все лучше нас, слабых смертных»...

— Аминь, государь! — быстро откликнулся Константин.

— А я не скажу того, сир, — снова возразил принц. — Первый шаг уже сделан вами, вашей волей. Верю, что Рок правил ею, как и раньше вашими путями управляла Добрая Сила. Но теперь положение опасно, с одной стороны, согласен с тем другом, о котором говорите вы, сир. А с другой стороны — намерение уйти от власти вам, такому испытанному, мудрому кормчему? Теперь, когда и русская империя и это царство висят на краю уст ваших, так сказать... Когда столько задумано доброго, полезного в том и другом царстве, когда...

— Вот уж много лет ничего почти не выходит из самых лучших замыслов... Да, да. Я не ослеплен на этот счет. Я не влюблен в себя. Кое-что в отношении европейских дел совершено. Пал тиран. Законность окрепла. Но у себя в России, я не имел времени сделать ничего в пору кипения и мощных сил. Совершу ли теперь? Когда силы ушли... Когда я... смертельно так устал?

Эти слова он произнес полушепотом, но внятно, как будто опасался, что кроме двух этих близких людей —

деревья и цветы подслушают, ветер подхватит печальную весть: он властитель четверти земного шара, вершитель судьбы многих царств, так устал, что сознается в своем бессилии сделать что-либо для родного народа.

Но не сказать истины он не мог. Ложь придворной жизни порою тяготила Александра до физического отвращения, до боли и он искал, куда бы уйти, убежать от нее. При жизни сестры Екатерины, перед этой редкой женщиной изливалась больная душа загадочного монарха-мечтателя. В данную минуту два близких человека стали свидетелями покаяния Александра.

Различно приняли это оба слушателя.

Оранский пожал плечами, как европеец, не понимая такого настроения, свойственного славянам, детям далского Востока, куда недаром влечет и тянет вечно души русских людей.

Константин с болью слушал брата и осуждал себя, что он не так высоко поднимается над землей, что его еще влечет земное дело, что в ней не угасла еще жажда к напряженной работе, к твердой власти, ко всему, чем доныне казалась красна жизнь этому порывистому, но душевному, цельному человеку.

— Вот почему я не решаюсь огласить сейчас манифеста, — после раздумья объявил Александр. — Смерть еще далеко. Я чувствую себя довольно бодрым. А тоска порою бывает невыносима. Вот и будет лучше, если сразу два акта будут обнародованы перед миром, акт о наследстве и отречение мое в пользу Николая. Пока молчим об этом, друзья. Вы видите, минута душевной тревоги овладела мною. Говоря вам о будущем, я как бы проверял себя. Старался поглядеть, что будет со мною, как дрогнет душа, когда я начну обсуждать великий, последний шаг... И, признаюсь, я не готов еще... Что-то мешает... Может быть, вечная моя мнительность? Может быть, воля Божия... Но я не готов.

— И слава Богу! — вырвалось у принца.

— Слава Господу, — в тот же миг подтвердил Константин.

— Слава Ему всегда и за все! — отозвался Александр. — Поручаю себя на Его святую волю...

Этот вещий разговор невольно пришел на память Константину, когда ночью 18 (30) ноября прискакал из Та-

ганрога смертельно измученный курьер и вручил ему измятый пакет, в котором лежала короткая записка от Дибича с известием, что государь занемог еще неделю тому назад, а теперь, 11 (23) ноября, болезнь приняла тяжелый оборот, хотя смертельной опасностью пока не угрожает.

Никому не показал цесаревич этого известия, как и других писем, которые ежедневно привозили скачущие фельдъегеря.

Гостящий в Варшаве Михаил не утерпел наконец.

— Скажите, ваше высочество, — обратился он к Константину, — что за вести такие важные мчатся к нам из Таганрога? Здоров ли государь? Или императрица, помилуй Бог?!

— Ничего подобного, — стараясь казаться спокойным, отвстил со своей обычной, немного угрюмой манерой цесаревич. — Что у вас за мысли печальные и не совсем кстати, ваше высочество! Или накликать желаете? Просто наградные разные списки послал я к государю к новому году и за прошлый сейм. Так, поневоле приходится по два-три курьера в день загонять иной раз...

— А с вами что такое приключилось? Печаль и мрачность какая-то в движениях и в лице? Вчера и к столу не выходили совсем. Нынче тоже на себя не похожи? Неужто нездоровье?

— А что же может быть иное? Не старик же уж я такой, чтоб без хвори хворать... Варшавская лихоманка треклятая привязалась. Не отступает.

— Почему ж вы с докторами не советуетесь, ваше высочество? Пижеля я спрашивал на днях. Он говорит, что и сам не знает, какая причина вашего расстройства?

— А вы не спрашивали, какая причина, что вы так обо мне, словно о ребенке малом, хлопчете? — с напускной досадой отозвался старший брат, которому тяжело было притворяться перед Михаилом, слишком расположенным к нему, как это давно знал цесаревич. Но сказать правду он находил преждевременным, чтобы юноша не проболтался или печальным видом не дал посторонним угадать истины.

Сконфуженный, но успокоенный в главном, Михаил прекратил расспросы.

Не так легко было отделаться от княгини, которая тоже замстила резкую перемену в муже. Недавно возвратясь с ним из Карлсбада, она выглядела сама поздоровевшей, поспежела и пополнила. Крайняя набожность, как и нервное

расстройство теперь оставили Жанету, и она по-старому стала проявлять интерес ко всему окружающему, к делам и занятиям Константина, что он очень любил.

Но и ей на все вопросы он твердил одно:

— Особенного нет ничего, голубка. Открыты в Петербурге тайные союзы, которые и здесь имеют соучастников. Потом, признаюсь: слабость здоровья брата не дает мне спокойного сна.

— Ах, дорогой Константин, — волнуясь перебила княгиня, — я сама его недавно видела очень плохо во сне. Будто я в саду. Он идет ко мне с улыбкой, тянет руки и весь в трауре. И голова у него стала пухнуть, темнеть... И вдруг из глаз, которых не стало, вылетел целый рой пчел. Это — очень дурной сон. Мне даже мама говорила... Что с тобой? Ты бледнешь?

— Так, озноб. Какис тебе все нелепые сны видятся...

— Не всегда, мой друг. Только если к беде большой или к радости. Хотя к радости — реже. Ее так мало у нас.

— Ну, что Бога гневить? Чего еще нам надо? Или короны, в самом деле, как тебе тоже снилось когда-то? Так ты же знаешь: если, спаси Бог, и не стало бы моего дорогого брата, нашего ангела-благодетеля, — Николай будет императором.

— И королем польским?

— Как же иначе? — помсдлив немного, вопросом на вопрос вместо прямого ответа отделался Константин.

— Что же, даже так и лучше. За эти годы я вижу, как трудно править от чужого имени целой землей. Каково же быть ответственным перед Богом и людьми государем? Хорошо, что королем и императором станет князь Николай. Он — моложе, гибче. Выносить может больше, чем ты, милый. А мы с тобой будем жить, любя друг друга, не так ли? И в частной доле будем счастливы. И друзья, и враги нас скоро забудут. Один Бог не оставит своих верных детей...

Сочувственно кивает Константин на слова жены, принимая их за наличную монету, не чувствуя, сколько тонкой желчи и яду влито в эти слова утешения.

А вести каждый день летят из Таганрога одна чернее другой, как стая тяжелых, зимних воронов, медленно, но упрямо скользящих в холодном небе, покрытом снежными тучами.

Прилетел, наконец, самый мрачный, страшный ворон и каркнул глухо:

— Кончено все!

Вихрем в шесть дней от Таганрога до Варшавы при-
мчался фельдъегерем поручик Петровский, который вече-
ром 25 ноября старого стиля или 6-го декабря по местному
календарю вручил цесаревичу пакет с необычайной над-
писью:

«Его Императорскому Величеству
Государю Императору Константину 1-му
В собственные руки».

Эти большие сильные руки вдруг ослабели и опустились
на стол вместе с объемистым пакетом и словно стали па-
рализованы, едва глаза скользнули по коротким, но таким
многозначительным строчкам адреса.

Не желая обнаружить своей слабости перед посланным,
Константин сделал ему знак головой и тот вышел, поша-
тываясь от усталости.

А цесаревич продолжал сидеть без движения, вперив
расширенные от ужаса глаза на плотный гляцевитый па-
кет, измятый слегка за шесть дней дороги, когда он в осо-
бой сумке лежал на груди фельдъегеря.

Обостренное в этот миг обоняние, казалось, различало
легкий запах новой кожи и человеческого пота, который
впитала в себя бумага. До обмана ясно видел Константин
каким-то внутренним взором листки, лежащие в запеча-
танном плотном конверте, читал зловещие строки, начер-
танные на этих листках. Он сделал было движение сломать
печати, чтобы этим отогнать очарование, избавиться от му-
чительной галлюцинации. Но руки отказались повиновать-
ся и лежали по-прежнему, как свинцовые, касаясь краев
пакета, опущенного на стол.

Константин был у себя, проводив на покой княгиню,
которой врачи приказали раньше лечиться, когда камер-
динер доложил о приходе Кривцова с курьером. Кривцов
ждал в секретарской. Цесаревич сидел один в слабо осве-
щенном покое, в халате. Камин ярко горел. Но сильный
озноб вдруг пробежал по телу и сменился сейчас же волною
огня, которая особенно обожгла темя и затылок.

Он долго сидел, глядя на пакет. Вдруг припомнилось
ему, как удивляло и в детстве, и потом не раз его одно
место в Евангелии, где сказано об искушении Христа.

— Почему Он не принял целого мира во власть Свою?
Не важно то, из чьих рук взята власть мира. Он Спаси-
тель — мог бы сразу дать новую жизнь целому человече-
ству, отданному Ему во власть даже самым духом зла. Да

и без воли Высшего Повелителя — что мог сделать дух зла и даже Сам Христос?

И так до последней минуты продолжал Константин не понимать это место.

Но сейчас новая мысль явилась у него:

— Поднявший меч — от меча погибнет!

Так сказал Испытатель. А власть неизбежно связана со взмахами меча.

Вот, значит, одна причина. А вторая, должно быть, заключалась в том, что Сын в минуту искушения не получил распоряжения от Отца принять дар... Или, вернее, слышал повелительный голос Отца:

— Отринь — и получишь. Возьмешь от злых рук — и потрешь больше, чем возьмешь.

Да, такой именно голос должен был слышать Искушаемый... И потому сказал испытателю:

— Иди за мною, сатана!..

И отверг всю славу мира и власть... И стал выше мира; неземную власть и силу получил над душами и телами людсь. Вот что прескрасно! Об этом и говорит загадочное место...

Едва последнее соображение мелькнуло в голове, как он насторожился.

— Ты же не Спаситель! — говорил внутренний голос внятно, как боевая труба, но так неслышно, что тиканье часов на столе, треск нагоревшей свечи, шорох мышей за обоями слышны напряженному уху.

— Ты же не Спаситель! — говорит голос. — И не дар примешь от судьбы, а свое возьмешь по праву. И можешь не обнажать меча. Можешь много добра сделать десяткам миллионов людсь. Узнаешь истинную славу мира, высоту величия земного. А потом, когда захочешь, можешь передать бремя власти, если не сдержишь его.

— Значит, придется туда, в знакомую столицу... Там жить, работать... Трепетать каждый час. Да, трепетать!..

Это почти вслух проговорил Константин и словно раздвинулись перед ними стены покоя. Он видит храм. В нем — на роскошном, траурном возвышении — труп императора-отца. Шляпа надвинута низко, чтобы не было видно изуродованного страшными ударами лица. Оно все подкрашено, набелено. Но скрыть проклятые следы насилия руки услужливых гримировщиков совсем не могли и они режут глаз, душу давят, как последний стон удушенного человека...

Не успела эта страшная картина мелькнуть в напряженном мозгу, как из полутьмы выглянула другая знакомая голова, ласковая, грустная.

Это он, любимый брат, товарищ детских игр, благодетель, помогавший ему во всех затруднениях жизни...

И он молча, глазами задает вопрос:

— Помнишь ли обещание свое? Уйти, уступить другому власть и трон. Не забудь.

— Я не забыл! — вдруг громко выговорил цесаревич.

В ту же минуту силы вернулись к нему. Пальцы коснулись большой печати, которая, словно застывший сгусток свежей крови тускло блестела под сиянием свечей.

В эту минуту он почувствовал, что тупая боль в затылке стала острой, нестерпимой. Ему захотелось рвать, бить, уничтожать что-нибудь.

Судорожным движением стал он срывать обложку пакета.

Когда прошло непонятное оцепенение, Константин ни сейчас, ни потом, никогда не мог вспомнить и сообразить: сколько времени продолжалось оно? Сколько длились мучительные сомнения и думы: час, два или одно мгновение? Но, казалось, целая пропасть, века протянулись между минутой, когда он взял в руки тяжелый пакет с роковым адресом, и тою, когда печать была взломана и несколько листов выпали из обложки.

Он узнал их: это были присяжные листы на верность императору Константину I.

Все еще не решался развернуть их Константин.

За время болезни брата он часто представлял себе самый печальный исход. Но, что касается короны, постоянно думал, что Александр перед смертью успеет сделать распоряжение. Николай будет объявлен государем и от него, из Петербурга придет надлежащее извещение о событии, приказ: приступить к присяге. А тут вышло совсем иначе. Очевидно, завещание Александра об изменении порядка престолонаследия осталось официальной тайной для самых близких людей, окружавших умирающего царя. Или еще хуже: они пожелали скрыть эту волю и почему-либо предпочли видеть своим государем его, Константина, а не брата Николая, которого многие боятся и не любят почему-то...

Нет! Последнего не должно и не может быть!

Надо скорее узнать точно: в чем дело?

Вот особый конверт, рука Дибича.

Быстро пробежал глазами цесаревич его письмо.

Так и есть. Александр до последней минуты ни слова не сказал о завещании, умер молчаливым и загадочным, как и жил.

Вот в чем разгадка этой неожиданной надписи на пакете!

В меньшем, внутреннем пакете тоже лежало несколько отдельных листов большого и почтового формата.

Первым кинулся в глаза короткий официальный документ.

Он гласил:

«Его императорскому величеству

Начальника главного штаба

Рапорт:

С сердечным прискорбием имею долг донести вашему императорскому величеству, что Всевышнему угодно было прекратить дни всеавгустейшего нашего государя императора Александра Павловича сего ноября, 19-го дня, в 10 часов и 50 минут по полуночи здесь, в городе Таганроге.

Имею счастье представить при сем акт за подписанием находившихся при сем бедственном случае генерал-адъютантов и лейб-медиков.

Генерал-адъютант Дибич.
Таганрог, Ноября, 19 дня
1825 г. № 1».

Тут же находился «Акт о кончине императора Александра» на русском языке и перевод его на французский, где день за днем описывался ход смертельного недуга и момент кончины. Документ скрепляли подписи следующих лиц: двух членов государственного совета, генерала от инфантерии, генерал-адъютанта, князя Петра Волконского и барона Ивана Дибича, третьего генерал-адъютанта Александра Чернышева, лейб-медиков: баронета Виллье, тайного советника, и Конрада Стоффрегена, действительного статского советника.

Два особых письма на французском языке за №№ 2 и 3 находились при этих официальных актах.

В первом стояло:

«Государь!

Долг мой повелевает мне сообщить вашему и. величеству самую раздирающую душу весть.

Недуг его величества, нашего августейшего государя, об ужасном ходе и усилении которого ваше величество могли знать по моим письмам к генералу Куруте, — похитил у вашего императорского величества столь же нежного, как

и любимого брата, а у нас — обожаемого повелителя, который дарил счастье и славу.

После письма моего, отправленного вчера генералу Куруте, и без того безнадежное положение августейшего больного стало ужасно тяжким, особенно после полуночи, и в 10 часов 50 минут утра Всемогуший призвал его к иной, лучшей жизни, где он вкусит награду за счастье, дарованное миллионам людей!

Ее величество императрица Елизавета имела некоторое утешение в том, что с трогательной преданностью всю себя отдала неусыпной заботе о ее августейшем супруге, и вознаграждена была за это нежнейшей признательностью, проявлять которую государь не переставал и в последние предсмертные часы, когда уже лишился слова и только изредка мог раскрывать глаза.

Здоровье ее величества устояло против всех таких жестоких испытаний и ныне императрица уже выстояла две заупокойные службы при усопшем.

В память обожаемого повелителя, неизменного благодетеля моего, коему я обязан всем, что я представляю из себя, — приношу клятву на верность вашему императорскому величеству. Смею надеяться, что мои личные чувства известны вашему величеству так же, как моя преданность и признательность, и хотел бы ныне, когда новый священный долг возложен на меня, — иметь возможность доказать вам, государь, всю мою верность и полное повиновение, с коими имею счастье пребывать, государь,

вашего императорского величества
нижайший и верноподданнейший
Ив. барон Дибич».

Второе письмо, тоже французское, более пространное, делового рода, касалось порядка печальных церемоний у трупа. Затем Дибич сообщал, что послал генерала Потапова с печальной вестью в Петербург, к императрице-матери.

Писал о бумагах, находящихся при покойном, которые опечатаны до дальнейших распоряжений и прочее.

Ни о каком завещании или предсмертном распоряжении Александра относительно трона ни звука, ни строки.

Пока Константин жадно пробегал глазами по строкам этих писем и актов, боль в затылке росла и стала нестерпимой. Он дочитал последнюю строку, положил листок и сделал движение, чтобы пойти облить голову холодной во-

дой, что иногда помогало, но сразу вспомнил, что не сделал самого главного: не сотворил молитвы за душу усопшего горячо любимого брата...

Едва эта мысль пронизала мозг, жгучая скорбь сразу залила его, слезы потоком хлынули, пока дрожащие губы шептали:

— Упокой, Господи, душу раба Твоего Александра во царствии Твоем...

И так, закрыв лицо руками, суровый на вид, но чувствительный и склонный к слезам, цесаревич долго стоял и рыдал беззвучно, весь колыхаясь от сдавленных рыданий, как большое, лишенное листвы дерево вздрагивает под напором порывистого зимнего ветра.

В этих слезах получила исход неосознанная до сих пор тревога и мука души, так же как и физическая боль, от которой затылок и темя, казалось, готовы были дать трещину.

Теперь боль значительно ослабела и, не прибегая к душе, Константин вернулся к столу и позвонил.

— Куруту и Кривцова ко мне!.. Но раньше скажите брату, что я прошу сейчас же пожаловать ко мне... по важному делу.

Камердинер, вошедший на звонок, растерянно поклонился, как будто догадался, какое это дело, и ушел.

Константин снова опустился в кресло у стола, хотел вторично проглядеть бумаги, письма, но слезы сначала затуманили взгляд, а потом снова хлынули потоком.

— Что такое? Что случилось? Неужели?..

Михаил, почти вбежавший к брату, не досказал своего вопроса.

Молча протянул ему Константин рапорт Дибича и другие листы и письма.

Только успел прочесть первую фразу Михаил, как выронил лист на стол, у которого стоял, и залился слезами, повторяя:

— Умер... умер! Что же теперь будет?.. Умер...

Он протянул безотчетно руку старшему брату, как бы ища в нем помощи и поддержки. Тот принял руку, они упали на грудь друг другу и несколько мгновений стояли так, в тесном объятии, обливаясь слезами.

Константин первый овладел собой.

— Ты видишь, дорогой брат, здесь происходит тяжелое недоразумение, очень даже опасное по возможным последствиям своим. Государь умер так далеко от столицы. Я

здесь и должен оставаться на своем посту. Матушка и Николай по счастью в Петербурге, но они должны принять меры, поступить согласно твердой воле покойного незабвенного императора, которую я принял охотно и дважды подтвердил. Империя — наследие не мое, а Николая.

— Знаю, знаю. И то я удивился, милый брат...

— Я полагаю, не больше моего... Но говорить и охать, и ахать не время. Иди, усни, завтра пораньше соберись и в путь. Ты сам повезешь мои письма матушке и брату Николаю.

— Готов, хоть сейчас, милый Константин.

— Нет, раньше надо написать, подумать... И даже не с кем посоветоваться в столь важном, необычайном деле. Но Бог вразумит меня... Иди...

Еще раз поцеловались братья и Михаил ушел.

Внезапная мысль оснела Константина и он, словно бы даже позабыв, что пригласил Куруту и Кривцова, вышел маленькою дверью в коридор, направился на половину жены, захватив и роковой пакет.

Княгиня Лович еще не спала. Она только что кончила свою ежевечернюю долгую молитву и в ночном туалете сидела, отдав свою голову в распоряжение Зоси, приводившей в порядок на ночь волосы княгини, распустившиеся во время совершения бесчисленных поклонов и лжания ниц перед Распятием Христа.

— Не пугайся, пожалуйста. Опасного мне и тебе нет ничего, — еще с порога предупредил жену цесаревич, встретив ее удивленный, встревоженный взор, едва она увидела мужа, входящего без предупреждения в такой необычный час.

— Плохие вести от императора? — заметя белые листки в его руках, спросила Лович, знаком отсылая Зосю.

— Да. Сон твой в руку, его не стало... ангела нашего! Читай...

И, пока княгиня, сразу залившись слезами, отирая их постоянно, стала проглядывать бумаги, Константин подошел к пылающему камину, стал к нему спиной, раскрыл полы халата и грелся, чтобы отогнать неприятный, нервный озноб, снова охвативший его крупное, тучное тело.

— Значит, ты завтра едешь, Константин? Тут, очевидно, большое недоразумение. Надо выяснить скорее... Может быть, твое отречение и его манифест о Николае государь уничтожил перед смертью? Может быть?! Скорей надо ехать!

— Куда, матушка? Хорошая ты женщина, только порою плохо соображаешь. Такая важная, великая минута. Я и сам плохо разбираюсь, как быть, а ты еще больше меня сбить стараешься. Ну, если недоразумение, в чем ты права, так и надо ждать, пока брат Николай и матушка выяснят его. А скакать куда-то? Не в Питер ли? Теперь, когда там, котлом все закипит?! Душу мутить мне станут всякие интриги да происки... Может быть, и преступления пойдут в ход. Мерзавцев там много. Они и брата Александра последнее время сбивали, заставляли его делать ошибки, мир праху этого мученика!.. А я уж... меня совсем запутают... и хуже может случиться. В столицу я не поеду.

— А туда, к покойному государю?

— Что я там помогу? Он сам был бы недоволен, если бы видел, что я бросаю свой пост, вверенный им, покидаю в тревожную минуту центр нового царства, где я один знаю людей и дела, как следует. Где я только могу разобраться, дать совет и помощь в опасную минуту... Это невозможно. Насколько я теперь лишний в столице, где должен действовать брат... Как мало помогу у смертного одра моего ангела, где нужны священники и почетная стража, насколько здесь мое место... И я останусь здесь!..

— А знаешь, — помолчав, одобрительно кивая головой, ласково сказала Лович, — пожалуй, ты прав. Иногда чутье тебе подсказывает хорошие решения... Останемся... если ты твердо решил отказаться от императорской короны...

— «Если?...» А ты еще в этом не уверена, Жанета? Ты?..

— Нет, я была уверена... вот до той минуты, как ты показал мне этот пакет, как я прочла эту надпись... Прости: я, может быть, не хорошо думаю, дурно говорю...

— Нет, нет, продолжай. Я хочу послушать... Это интересно...

— Это будет искренне. Считаю меня легкомысленной, дурной женщиной. Но что-то блеснуло мне в глаза и я ничего больше не вижу, кроме драгоценной, блестящей короны... Двух, трех корон, которыми владеть ты можешь, если все, что происходит, не искушение... Не обманчивый сон, после которого придется проснуться с горьким вкусом на губах... с болью в душе...

— Говори, говори...

— Ты еще не понимаешь? Отчего от Николая нет известий?

— Очень просто: он, наравне со мною, только сегодня получил печальную весть. Завтра пошлет мне курьера. Через пять-шесть дней я получу письмо от него, а он от меня. Завтра и я посылаю письмо ему... и императрице-матушке.

— Что ты будешь им писать?

— То, что велит мой долг.

— И разум?.. И достоинство? И желание добра миллионам людей, которых ты, мне кажется, умел бы сделать счастливыми?..

— Те-бе ка-жет-ся? — каким-то особенным тоном раздельно переспросил он.

— Нет, нет, — испуганно отозвалась Лович, — прости, я так, оговорила. Не думай, что честолюбие толкает меня давать тебе плохие советы... Конечно, исполняй долг, только молю: подумай и подумай прежде хорошенько, а потом — решай! Пиши, соглашайся, отказывайся... Делай, что Бог тебе велит, мой муж. И люби меня. Больше ничего я не хочу...

— Вот это прежний голос и слова моей прежней дорогой голубки. А я было даже испугался... Ты и Бог знаете мою душу. Видишь давно, голубка, как я бегу даже мыслей о короне... которая залита кровью... моего отца! Брат Александр задыхался под тяжестью этого проклятого наследства. А он насколько был способнее, выше меня... Я умею хорошо повиноваться. А вот теперь, когда пришлось самому решать важные вопросы я теряюсь, должен сознаться перед тобой... Так смею ли брать на себя бремя великой власти? Брату Александру не было выбора, Николай грудным был, когда свершился ужас в Михайловском дворце... Кровь не будет на нем гореть и вязать ему руки. А я... Что бы мне?.. Ни за что! Видишь, при одной мысли я теряюсь и дрожу, как ребенок в лихорадке...

— Вижу, вижу. Перестань, не думай, мой милый...

— Не могу не думать. Так все вышло... Я предвижу многое. Больших бед жду от этой таинственности, которою окутал покойный государь дело наследия... Если бы еще он умер там, в столице... Но он убегал из нее. Как и я, он не выносил там оставаться. Прошлые, злые воспоминания... даже укоры совести не дают спокойно дышать, спать, жить нам обоим в стенах города, где темнеют стены печального дворца... Где каждое место полно тяжелыми воспоминаниями... Где так мало было радостей даже в детстве... и так много ужаса в пору, когда едва созревала

душа и просила светлых, приятных дней, отрадных снов... Ах, Жанета, как это тяжело!..

Он умолк. Молчала и Лович.

Она видела, что сейчас все ее слова, все тонкие софизмы и незаметные внушения бессильны над внутренним могучим переживанием в душе мужа. И она решила переждать, выбрать более удобную минуту, чтобы снова повести атаку.

«Что отложено, то не потеряно!» — подумала Лович. И молча стала проглядывать донесения Дибича, отирая редкие, холодные слезинки с длинных густых ресниц.

Сейчас она была очень хороша, совсем святая Цецилия с белым свитком в руке из Францисканского монастыря, писанная, как говорили, самим Рафаэлем...

Константин подошел, осторожно прижал к себе головку жены, стал поцелуями осушать ее слезы... Чаше, дольше касались губы опечаленных глаз. Вот и се уста ответили лаской на ласку... И взаимную печаль они слили со взаимным трепетом любви, который от примеси грусти был еще острее и приятнее...

— Однако, я забыл: меня там ждут еще люди... — овладевая наконец своим порывом, вспомнил Константин. — Спи, моя голубка. Завтра я покажу тебе письма, которые пошлю в Петербург. Будь покойна... Спи...

— Имею честь явиться по приказанию вашего императорского вели... — начал было Кривцов, когда камердинер Фризе распахнул перед ним и Курутой дверь кабинета, куда вернулся Константин из спальни жены. Но кончить фразы генералу не удалось, он чуть не прикусил язык от гневного взгляда цесаревича и почти грозного окрика:

— Какое еще там величество? Объявляю вам и прошу передать всем, кто не хочет огорчить меня и вызвать моего гнева: у нас у всех один государь император — брат мой Николай Павлович, согласно воле покойного государя, подтвержденной с моей стороны торжественными актами... И завтра же будет принята мною и всеми соответствующая присяга для отсылки в Петербург. Для этого я вас и звал: сделайте распоряжения собрать гвардию и всех военных, равно как и гражданских магистратов на тот же самый случай. А теперь иди! Я займусь письмами... Доброй ночи! Я вижу ты опечален. Будем мо-

литься за нашего незабвенного, бессмертного усопшего государя!.. Прости.

Пожав руку Кривцову, который поклонился еще раз и вышел. Константин обратился к Куруте, стоящему у окна, как будто старик хотел увидеть что-то в темноте, а сам вытирал слезы, часто-часто выплывавшие из-под припухших красноватых век на такие же пухлые, налитые кровью, щеки.

— Ты что там делаешь, старик? — мягко спросил Константин. — Никак?..

— Плацу... видишь, плацу... Больси дслать нечего теперь...

Глубокий вздох заключил этот наивный ответ.

— Поди ко мне... Поди... Ты помнишь?.. — начал было Константин, не dokonчил, обнял крепко друга своего детства и громко, бурно зарыдал, в первый раз давая полную волю своей скорби, которой долго не давали исхода жгучие вопросы и дела, ставшие на первую очередь в эту печальную минуту.

— Однако, слезами горю не поможешь, — еще вздрагивая всей грудью от не затихших рыданий, проговорил Константин. — Я поработаю сейчас, сколько смогу. Ты пораньше завтра приходи. Утро вечера мудренее, как говорит мой молодец Кривцов. Тебя я хотел просто увидеть. Толку мало от твоей хитрой головы. Тут дело не простое. Но ты сго любил... Любишь меня. Я хотел тебя видеть...

— Кого же и любить старому Куруте! — покачивая облысевшей головой, подтвердил растроганный грек. — Я тебя маленьким, без станицек знал. Привичка. Ко всему привичка бывает у человека. Ну, доброй ночи... Как сс светлость? Не оцень потревожилась зсна твоя, а?

— Нет, ничего. Благодарствуй за внимание. Калисперасис, кир Деметриос!

— Кала нюкта, Константинос! — также по-гречески ответил Курута и пошел к дверям.

— Да, скажи-ка: есть там кто-нибудь еще? — спросил Константин.

— Ести, ести: граф Мориоль. Утром он из Франций вернулся, тебе докладывали. Забилъ за этими делами цёрными, нехоросими... Сам приказал ему всциром явиться. Он давно здеть...

— Мориоль?! Вот кстати... Правда, я и забыл. Попроси подождать. Я позову...

Мориоль в приемной вел оживленную беседу с дежурным адъютантом цесаревича Феншо, когда Курута появился и направился к ним.

— Ну, я пойду отдохнуть минозка... А ви, граф, поздите. Вас позовут... Там надо письма вазнейсие писать...

— О, я понимаю! — своим обычным, несколько театральным, приподнятым тоном отозвался Мориоль. — Теперь такое бремя упало сразу по воле Рока на плечи его величества, императора и короля... И я...

— Сто? Сто? Сто такое? Величество? Императори? Куроли?.. Ну, если зилаете опять уехать без отдыха в васу прекрасную Францию — попробуйте, назовите его «императори, куроли... величества»... Он это не приказали... Просто надо гаврить: вислочество... или никак не говорити. Мальцати и слусати... Вот самую лущее. Я так всегда делаю... Ну, спакойнии ноци!

Молча, в недоумении своим обычным жестом пожал плечами Мориоль и повел с Феншо прерванный Куротой разговор.

Долго сидел Константин, набрасывая четыре письма, перечел их чуть ли не в десятый раз, потом позвал Кривцова, передал ему для переписки все черновики и усталый, но успокоенный, прошел к себе в спальню, убедившись, что Жанета давно и крепко спит, измученная всеми событиями печального дня.

Протянувшись в своей простой походной постели, он приказал камердинеру впустить графа Мориоля.

После сейма, когда Константин с женой и Павлом собрался в Карлсбад, Мориоль получил отпуск и уехал во Францию... Закон о вознаграждении бывших эмигрантов, изданный восстановленными Бурбонами, требовал личного присутствия графа в Париже. Там он пробыл до ноября и только сегодня вернулся в Бельведер, где застал чрезвычайный переполох, вызванный вестями из Таганрога.

Войдя к цесаревичу, Мориоль поклонился по обыкновению, очень почтительно, хотя и не без достоинства.

— Принц, примите мой привет!

— Вечер добрый, Мориоль. Простите, что принимаю вас так, дорогой граф... Мы с вами люди свои...

— О, я так польщен, мой принц!..

— Вы, конечно, уже слыхали о том горе, которое постигло меня и всю империю?

— Всю Европу... целый мир, мой принц! По пути в Варшаву от смотрителя одной из ближних станций я уже

узнал о несчастьи... Но здесь, в самом городе, наверное, еще никто ничего не знает. Так я заметил. И только генерал Кривцов подтвердил мне страшную новость. Но я дал ему слово молчать пока обо всем...

— Да, чтобы не вызвать смуты, придется несколько дней подождать, пока получим вести от брата Николая... от императрицы... Но, простите... Я не спросил еще о вас. Как чувствуете себя? Как устроились дела?

— О, благодарю за высокое внимание, мой принц! Дела кос-как уладились, хотя и не совсем. Но я рад, что вижу ваше величье...

— Тсс!.. — подняв совершенно серьезно палец, перебил Константин. — Тут никакого величества нет, должны вы знать. Помните, сколько раз я толковал, что нет ярма, хуже власти... И теперь, когда приходится слова провести на деле, неужели вы полагаете, я дам себя обморочить, ослепить парой блестящих реликвий или звуком императорского титула?! Да еще в то время, когда воля покойного императора, многобожасмого вяжет меня по рукам и ногам! Да за кого же вы принимаете меня, граф? Я позвал вас. Мы столько лет знаем друг друга... В эту тяжелую и, прямо скажу, страшную для меня минуту невольно хочется поделиться мыслями с кем-нибудь близким. А вы вдруг даете мне титул, не принадлежащий и не желанный для меня, как хорошо это знаете.

— Простите, принц. Сорвалось с языка... Конечно, я знал постоянные намерения ваши. Но теперь, когда все так сразу изменилось?

— Ничего не изменилось! Правда, положение мое очень щекотливо. Скорбь о дорогом, усопшем брате, беспокойство и страх за будущее делают меня почти больным. Но я царствовать не буду! Со всех сторон, со всех концов империи теперь идут и будут являться верноподданические донесения вроде тех, что получены сегодня... Я, не распечатывая, стану пересылать все в Петербург. Это первым делом. Я сам хочу и останусь первым верноподданным моего брата и желаю, чтобы весь мир об этом знал! Чего еще можно требовать от меня, скажите, Мориоль?

— Ничего, принц. Я никогда не сомневался, что принятые на себя обязательства будут выполнены и останутся для вас священными навсегда... Но, сир, должен сознаться: я был очень удивлен, видя вас здесь. Думается мне, присутствие ваше в Петербурге необходимо, что бы там ни случилось...

— Нет, нет и нет!.. Я не покину Бельведера! Этот пост вручен мне покойным императором. Я должен пребывать на нем до конца. Вы помните, не только моя родина, вся Европа будет следить за событиями, которые теперь мы переживаем здесь, в России. И если я останусь в Варшаве, ни у кого не будет оснований ложно истолковать мои шаги... Поведение мое теперь должно быть особенно открытым, ясным...

— Это так, принц... Но есть и другие обстоятельства... Я слышал, существует большой, серьезный заговор. Что если захотят воспользоваться вашим именем?.. Если там, в Петербурге иначе истолкуют ваше отсутствие?.. Все бывает... Эти толки повредят и вам, и нарушат общий ход дела.

— Никогда. Вы ошибаетесь, Мориоль: плохо знаете мой народ! Дело пойдет своим чередом. Брат получит мою присягу, мое официальное письмо... Издаст манифест, в котором будет все сказано открыто и ясно... И народ, войска принесут ему присягу, как это делают теперь для меня... Вот и все. Стойте, я вам прочту письмо, которое завтра Михаил повезет брату вместе с письмом матушке с двумя рескриптами: Лопухину, как председателю государственного совета, и Лобанову-Ростовскому, министру юстиции. Я нынче получил известия, что обер-прокурор сената собирается с сенаторами явиться сюда, просить меня занять трон. Это надо предупредить. Вот, слушайте. Как вам покажется это письмо? Скажите прямо ваше мнение, граф. Вы опытный, умный человек...

— О, принц... Можете не сомневаться...

— Слушайте!

Придвинув свечу, слабо освещающую весь покой, Константин оперся на локоть и стал читать письмо, которое захватил с собой из кабинета, словно приготовил его для чего-то заранее; глаза цесаревича горели от волнения, голос звучал сдержанно, но сильно и весь он словно слегка трепетал под легким одеялом от сдержанного волнения.

Он читал это частное французское письмо от брата к брату:

«Дорогой Николай! Вы поймете по себе то глубокое горе, которое я должен испытывать вследствие ужасной потери, какую понесли все мы, сколько нас ни есть, а особенно я, утратив благодетеля и обожаемого повелителя, любимого друга с самого раннего детства. Вы слишком хорошо знаете: было ли счастьем для меня служить ему и

исполнять его державную волю в важных или в самых ничтожных делах. Его намерения и его воля были и будут, несмотря на то, что его не существует более, неизменно священными для меня и я буду повиноваться им до конца дней моих! Перехожу к делу и уведомляю вас, что, во исполнение воли нашего покойного государя, я уже давно послал моей матушке письмо, содержащее мое непреклонное решение, заранее одобренное как моим покойным императором, так и моей матушкой. Не сомневаюсь, что вы, будучи душою и сердцем привязаны к покойному императору, в точности исполните его волю и то, что было сделано с этого согласия. Я приглашаю вас, дорогой брат, добросовестно сообразоваться с этим, не сомневаюсь, что вы все исполните и почитите память брата, который любил вас, которому страна обязана славой и степенью возвышения, косго она достигла! Сохраните мне вашу дружбу и ваше доверие, дорогой брат, и ни на мгновение не сомневайтесь в моей верности и преданности. Из моего официального письма вы узнаете об остальном. Это письмо вам везет брат Михаил и сообщит вам все подробности, какие вы пожелаете узнать. Не забывайте меня, дорогой брат, и рассчитывайте на усердие и преданность вернейшего из братьев и друга...»

— Великолепно! Какой благородный тон и прекрасный стиль! — отвечая на вопросительный взгляд цесаревича, приподнятым тоном ответил Мориоль. — Лучше ничего придумать нельзя... А официальное письмо ваше, принц?

— Оно просто извещает о том, что многим известно: о воле покойного государя, согласно которой его наследник — Николай. Что и должно быть опубликовано известным порядком. Там же моя присяга брату. Лопухину в рескрипте я даже слегка подчеркнул нелепость их распоряжений... Они должны были немедленно вскрыть завещание и провозгласить императором брата...

— Так, так...

— Что значит ваше «так, так»? Говорите прямо, еще раз прошу вас... Теперь не до экивоков мне... Видите, дело большое, важное...

— Очень важное, принц... и, сдается, меры надо бы принять несколько иные... Не волнуйтесь, сейчас скажу! — заметив порывистый, нетерпеливый жест Константина, заторопился методичный, словоохотливый француз. — Мне сдается, теперь же вам надлежит собрать всех и огласить

ваше отречение, принц. Акт об этом будет лучшим свидетельством вашей чистоты и послужит...

— Ни к чему!.. Только затяжка времени... Лишняя проволочка. При чем тут я, если все решено покойным государем...

— Но не оглашено своевременно...

— Вот, вот... И только благодаря этому вышла путаница и мне присягают, и я — временный император...

— Но вы — император, что ни говорить! Тут есть еще другой исход...

— Ну?!

— Почему бы вашему высочеству не поспешить в столицу? Там все кончится сразу. Закон, изданный покойным императором Павлом, требует, чтобы старший в роде принял корону. Примите ее... И тут же — возложите по своей воле на главу брата. Присяга, данная вам, уничтожится, потеряет силу и мирно вступит на трон император Николай!.. Этим торжественным актом вы покажете своему народу, целому миру, что отреклись добровольно, уже облеченный властью, а не по силе посторонних интриг или собственной слабости, может быть, боязни... В один миг исчезнет всякая неопределенность положения, рухнут подозрения, происки. И вы докажете всю силу вашей благородной жертвы...

— Никогда! Что за вздор вы мне толкуете, Мориоль! Терпеть не могу театральщины, всех этих поз... Ни за что!

Граф, потирая руки, молчал.

— Ну вот, теперь вы совсем закрыли уста. Неужели нечего вам больше сказать?

— Есть многое, мой принц. Но боюсь, что и это не понравится вам. Поэтому лучше молчать...

— Нет, нет, вздор... Продолжайте, — гораздо мягче возразил Константин, — я знаю: вы привязаны ко мне... Говорите, я наконец приказываю вам...

— Повинуюсь, ваше высочество! Нахожу, что «театрального» ничего в моем предложении нет. Положение необычайное, еще не занесенное даже историей донныс на ее страницы... И меры нужны особые. Шаг, о котором я говорил, наиболее уместен. И он сразу выяснит вопрос. Наконец: приличествует ли цесаревичу российскому, хотя бы и на время бывшему императором, оставаться здесь, в Варшаве, начальником польских войск или хотя бы наместником этого маленького крулевства? Так мне думается, принц.

— Неправильно, граф. Это ваши принцы лодырничают весь век. От самого рождения их возятся с ними, как с земными богами... И эти молодчики ни военной, ни гражданской службы не несут и не знают... В Испании — еще лучше: если кто коснется руками тонущей особы королевского дома, тому грозит жестокая кара... У нас не так. Наше первое дело — служить государю, отцу или брату, по чести и совести во всех чинах, на всяком деле. Унижения в том нет, если я буду здесь и останусь, чем был. Мне здесь хорошо... Тихо, уютно живется в семье... Есть любимое, знакомое дело... Чего мне еще? Да если бы брат не захотел меня оставить здесь на моем посту, я все-таки в Питер не поеду. Поселюсь в Лазенках и заживу, как любой варшавский обыватель, с моей милой, кроткой княгиней... Знаете это, Мориоль... Что еще мне скажете?

— Что удивляюсь величию духа вашего, мой дорогой принц. Больше ничего.

— Ну, если так, доброй ночи. Уже светает... Надо часок отдохнуть... Идите. Благодарю за искреннее желание дать мне добрый совет, мой старый друг.

Утром 26 ноября, или 8 декабря по новому стилю, прощаясь с Михаилом, которому вручил все пакеты на имя Николая, Марии Федоровны, Лопухина и Лобанова-Ростовского, Константин сказал брату:

— Ну, счастливый путь, мой друг! Да хранит вас Господь! Ты видишь: я исполняю свой обет, свой долг! Неизгладимой останется во мне печаль о потере брата и благодетеля. Но я, по крайней мере чист перед его священной памятью, перед своей совестью. Эти письма говорят о том. Ты понимаешь, никакая сила в мире не может поколебать моей решимости, если бы даже почему-нибудь Николай тоже задумал не принять трона!.. Чтобы еще больше уверить в этом и матушку, и брата, я с этими решительными письмами посылаю тебя... Счастливый путь!

Простясь с Михаилом, Константин остался один и погрузился в думы.

С необычайной яркостью зареял перед его взорами целый ряд каких-то небывалых картин.

Он словно видел все уголки России, которые узнал во время своих поездок. Везде сейчас храмы раскрыты, в них толпы народа... Звучат слова присяги на верность ему, императору Константину I... Его имя возглашают громкими

голосами в торжественных молениях «о здравии государя-императора Константина Павловича»!.. Сотни полков склоняют головы, знамена, поминая его имя... Над всей необъятной Русью — звучит оно!.. Все сердца, надежды — полны им. Чего-то ждут... Благословляют или боятся... А он сам?

С неясным трепетом, подавленный, грустный — сидит он здесь, один...

И тоже ждет... Чего?.. Покоя и отдыха после стольких тревог... Или, может быть, он сам обманывает, лицемерит перед самим собой? И будет рад, если помимо его стараний чьи-нибудь усилия принудят взять в руки власть?

Может быть, втайне — душа желает, чтобы не изгладилось так быстро имя Константина Первого из памяти многомиллионной толпы людей, из души целого родного народа?..

Опустив голову на руки, задумчивый, сидит цесаревич, словно спит наяву и сам не может понять: чего он ждет, чего боится, чего желает?..

Стук в дверь пробудил его. Появился Фризе:

— Ваше высочество, простите... там...

— Ах, да, ждут... Знаю... Сейчас выйду. Все собрались? Свои и поляки? Хорошо.

В большой зал Брюллевского дворца созвал свою свиту и польских высших сановников Константин, чтобы официально объявить печальную весть, уже облетевшую весь город.

— С глубоким прискорбием должен объявить вам, господа, что государя-императора нашего, Александра Павловича, всеми обожаемого монарха, — не стало! — громким, но дрожащим голосом, со слезами на глазах объявил Константин и смолк, как бы не имея сил продолжать речь.

Мгновенно наступившую тяжелую тишину нарушали только отдельные сдержанные вздохи, невнятный шепот кратких молитв, которые вырывались у русских и у поляков:

— Помяни и упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего, Александра...

А Константин, стоя с опухшими, заплаканными глазами, продолжал отирать частые слезы, текущие одна за другой и снова неожиданно, как будто против воли, запричитал:

— Наш ангел отлетел... Я потерял в нем друга и благодетеля, а Россия — отца своего. Кто нас поведет теперь

к победам?! Где наш вождь? Осиротела Россия! Россия пропала, родина бедная... про-па-ла...

Легкие всхлипывания не дали дальше говорить... Закрыв платком лицо, он смолк. Снова на миг настало молчание.

Нерешительно заговорил среди тишины большой друг Константина вице-адмирал Колзаков:

— Ваше императорское величество... Россия не пропала, а приветствует ваше...

Вспыхнув, сильно схватив обеими руками за грудь, за борты мундира Колзакова, Константин вдруг гневно прервал любимца:

— Да замолчите ли вы? Как вы осмелились выговорить подобные слова? Кто вам дал право предрешать дела, до вас не касающиеся? Знаете ли, чему вы подвергаетесь? Знаете ли, что за это в Сибирь... в кандалы сажают?! Извольте идти сейчас под арест. Отдайте вашу шпагу.

Пораженный, онемевший, исполнил приказание Колзаков.

Застыв на местах, стояли все кругом, когда к ним обратился Константин:

— Да будет всем известно: государем по воле покойного императора — брат Николай. От него я жду распоряжений и потому пока все останется по-прежнему. Прошу принять к сведению, господа. Это все, что теперь я хотел сказать вам!

На поклон Константина все откланялись, и он вышел из покоя.

Волнуется Варшава. В домах, в костелах, на улицах, в кофейнях и на рынках только и речей, что о печальной новости. Никто толком не знает: кто же теперь «царем и императором»? Знакомый всем «старушек» Константин или чужой, далекий, такой суровый и холодный на вид Николай, каким помнят его варшавяне во время кратких посещений Варшавы?

А генерал Рожницкий вечером в клубе толкует со своими приятелями и говорит:

— Дело совсем спутано... Черт ногу сломит. Новосильцева он нынче оборвал два раза за то, что смел его величать: ваше императорское величество... Колзакова — прямо отрешил от адъютантства за это же самое... А я как-то нечаянно при докладе обратился к нему: «мол, ваше королевское величество»... И он ничего, бровью даже не

повел... Словно ждал этого титула... Может, у них с братом условлено: тому — Россия, а этому — наше крулевство?.. Хотели же мы просить Михаила в короли? Может, теперь и выйдет по старой нашей просьбе... Только с Константием придется ладить? Как думаете, панове?

— А что тут думать? Ничего не придумашь! — отозвался спокойный, рассудительный Хлопицкий. — Видно, и сами там, в Петербурге, и здесь еще не разобрались в новых картах... Подождем. Что было, то видели. Что будет, то увидим, как говорил друг наш пан Богдан Хмельницкий...

— И то правда, — поглаживая бакенбарды, отозвались собеседники, и разговор перешел на другие дела.

День и ночь несутся курьеры со всех концов России в Варшаву и отсюда в Петербург и Таганрог.

Выбились из сил все, окружающие цесаревича, его канцелярия, слуги... А сам он осунулся, побледнел, исхудал, словно после тяжелой болезни. Только глаза сверкают по-старому и голос звучит глухо, но мощно.

Целый день он принимает курьеров, отправляет пакеты, пишет, подписывает и только за обеденным столом видится с княгиней и Павлом. Больше никого, вопреки обыкновению, не зовут теперь к столу.

Особо важная весть пришла вечером 2 (14) декабря. Примчался первый гонец из Петербурга штабс-капитан Лазарев, адъютант Николая, с большим пакетом, который лично, наедине вручил цесаревичу, еле стоя на ногах от усталости.

— 27 числа ноября месяца, — рапортует он, — имел честь принять сей пакет для вручения вашему императорскому величеству от его высочества, великого князя Николая Павловича и счастлив...

— Как раз наоборот все величанье надо было бы сказать, милейший Лазарев. Но тебе сейчас не до того, я вижу. Ступай, отдохни. Как тебя ни жаль, а нынче ж придется скакать обратно... Иди!

Ушел посланный. Константин вскрыл пакет.

— Так и знал! Экая канитель! — с досадой подумал он, развернув лист присяги «императору Константину» с подписью брата Николая.

В письме, приложенном здесь же, Николай извещал, что войска и столица присягнули Константину. Потом описал, как в самую минуту молебствования о здравии Александра примчался генерал Потапов с печальной вестью.

Сейчас же служба была прервана. Зазвучали панихиды... Свершилась присяга. Но пришлось распечатать и пакет с завещанием покойного императора.

Николай знает об отречении Константина. Верит ему. Но теперь, когда Константин всеми признан императором, ждет: как решит сам Константин? Подтвердит ли прежнее свое намерение или возьмет власть и корону, принадлежащие ему по праву старшинства?..

Во всяком случае, Николай просит брата скорее принять правление, верить в его преданность и немедленно явиться в столицу, чтобы не дать возможности злым влияниям поднять смуту в войсках, чего можно опасаться.

— Смотрите, и он сомневается в моем решении... И он зовет на трон! — чуть не вслух подумал Константин. — Нет, этому надо положить конец!

Быстро, твердо набросал он несколько французских строк на листке и перечел:

«2 (14) декабря, 1825 г. Ваш адъютант, любезный Николай, по прибытии сюда вручил мне немедленно ваше письмо. Мое решение непоколебимо и освящено моим покойным благодетелем, императором и повелителем. Приглашение ваше приехать скорее не может быть принято мною и я объявляю вам, что удалюсь еще дальше, если все не устроится согласно воле покойного нашего императора. Ваш по жизни верный и искренний друг и брат, Константин. Варшава».

В ту же ночь помчался обратно с этим письмом бедный, измученный Лазарев, за которым Курута следил до отъезда, как тень, по распоряжению Константина.

Прошло еще три коротких, зимних дня, которые для Константина и всех окружающих его были бесконечными днями напряжения и хлопот.

Без особого доклада пускали экстренных гонцов и курьеров из обеих столиц к цесаревичу, который работал почти круглые сутки, меняя своих секретарей, адъютантов, начальников частей, но сам оставаясь бессменно на посту. И, несмотря на усталость, на душевные волнения, он находил время и возможность отпускать еще свои излюбленные шутки и крупно посоланные остроты.

Встречая столоначальника Никитина, посланного из Сената с бумагами для подписи, Константин вспомнил, что столоначальник — ярый картежник и, не принимая пакета, на котором стояло: «Его Императорскому Величеству,

Константину Павловичу», с ядовитой любезностью спросил посланного:

— Господин Никитин, вам чего угодно от меня? Я уж давно не играю ни в «кребс», ни в какие иные игры.

Взял за плечи опешившего чиновника и легонько повернул по направлению к дверям.

В тот же день покрытый пылью явился к нему адъютант московского генерал-губернатора, ротмистр Демидов со всеподданнейшим донсением по первопрестольной столице; пакет адресован был «государю императору Константину».

— Передайте князю, что не его дело вербовать в российские цари! — сухо отрезал цесаревич и приказал, не медля ни часу, скакать посланному обратно в Москву.

— Благодарите князя за моцион, который он вам написал, — заметил при этом раздраженный цесаревич.

Он видел, что каша с каждым днем, с каждым часом заваривается все гуще, путаница все усложняется... Чувал печальный исход из всей этой сумятицы и становился нервнее день ото дня.

Утром 6 (18) декабря в обычную пору проснулся цесаревич, с зарей. Но такая тяжесть владела им, все тело так ныло, что подняться было трудно.

А левая рука, за последние дни порою словно немеющая по утрам, сейчас казалась совсем налитой свинцом и нельзя было пошевелить ею или двинуть онсмевающими бледными пальцами.

— Этого не хватало: свалиться!.. Параличом захворать! — подумал Константин.

На зов пришел камердинер, с тревогой поглядел на изменившееся лицо цесаревича и, едва дослушав приказание, кинулся за Кучковским, штаб-доктором, который постоянно лечил и Константина.

Осмотрев внимательно цесаревича, доктор соорудил довольное, вссское лицо:

— Ну, конечно, сущие пустяки! Нервная усталость. Сердце не так правильно гонит кровь по телу. За ночь руки и отекают. Видите, ваше высочество, стоило доктору ее взять в руки и рука ваша отошла... Ха-ха-ха!.. Пустое. Беречь бы себя немного надо... Не так утомляться... и... Молчу, молчу. Вижу, извольте на меня хмуриться... Понимаю: время такое, что не пора отдыхать... Хе-хе-хе. Обойдемся пока и микстурочками... Вот, я там приготовлю и пришлю вашему высочеству. Только уж извольте аккуратно пить... А не то, — сразу вполне серьезно заговорил умный врач, знающий своего

больного, — глядите, ваше высочество, и совсем не сможем дальше волюнки тянуть... Так уж послушайте немного своего старого «коновала», как изволите звать мня... Хе-хе-хе... Знасм-с... знаем-с... И не обижаюсь нимало... Конь — созданис прекрасное... Поглупей человека, да и тоже не всякого! А по строению чудное создание... Да еще массажец нужен... Я буду по вечерам и утром присылать одного человечка. Мастер он у меня. И ванны почаще надо... Я уж поговорю с камердинерами, ваше высочество... Вот и все... А то — пустое... Хвори нет никакой особенной... Усталость одна...

Так, успокоив Константина, но в то же время внушив, что лечиться необходимо, старик-врач вышел.

Едва только он очутился за дверьми, спокойное, почти веселое выражение лица сразу изменилось на тревожное, даже испуганное. Он отвел в сторону камердинера Фризе, преданного цесаревичу старого слугу, дежурившего сейчас при князе, и негромко стал ему что-то говорить.

Фризе тоже нахмурился и утвердительно закивал головой:

— Будьте покойны, ваше превосходительство... Все будет исполнено. А если желаете, чтобы дело вернѣс еще было, остороженько потолковать бы надо с ес светлостью, княгиней...

— Со светлейшей нашей? Мне не поверит она. Не любит мня за что-то княгиня светлейшая. Уж ты сам как-нибудь тут постарайся... У тебя ссть ходы, я знаю... Ты — умная голова.

— Уж постараюсь, ваше превосходительство... Поберегу нашего князя-голубчика. Извелся он и то совсем...

Это было утром, а в обѣде Константин, особенно оживленный, разговорчивый, сидел за столом не вдвоем с княгиней, как всегда; красивый, представительный светский генерал Опочинин, бывший раньше адъютантом самого Константина, потом любимец Александра, сумевший и у Николая заручиться доверием и дружбой, — сидел за третьим прибором, рассыпаясь в рассказах о Петербурге, из которого он выехал всего 7 дней тому назад, 29 ноября, и, не хуже фельдъегеря, на восьмой день достиг Варшавы.

Любезный, с округленными манерами, с бархатным голосом, умный и веселый, генерал умел легко овладевать людьми.

Сейчас он в серьезном тоне сообщал о событиях довольно печальных, но жизнь и какая-то ликующая сила одевали приятным отблеском грустные его рассказы:

— Представьте себе, ваша светлость... Ваше высочество... Торжественное служение. Молебен о здравии... И вдруг генерал Потапов, вы знаете его, ваше высочество. Покрытый грязью, пылью... Мы сразу догадались... Пришлось доложить его высоче... Его величеству... Молебен остановили. Заупокойные службы... Императрица-мать в обмороке... Его высочество обращается тогда к супруге: «Позаботьтесь о матушке... А я иду исполнить свой долг!» Исторические слова. И никто не мог себе представить, что в тот момент, когда граф Милорадович объявил ему тяжелую весть, с ним самим случился обморок. И доктор Рюль, бывший здесь по счастью, быстро привел в чувство нашего государя... Затем, понятно, присяга дворцового караула, гвардии, войск... Собрание сената, государственных чинов... Ну и прочее... И вдруг этот пакет. Завещание... Поскакал к вам Лазарев... Я теперь лишь узнал, что вы ответили, ваше высочество... Но, думается, это не успокоит там никого. Николай Павлович высказал прямо: «Отречение дано было цесаревичем. Оно недействительно для императора Константина. Если бы он только и теперь пожелал подтвердить прежнее решение, тогда, конечно, воля его будет для меня священна. Не иначе!» Так говорил Николай Павлович, ваше величе... pardon, ваше высочество!.. Со всем я сбился теперь с этими переменами...

Говорит генерал, а сам зорко, хотя и осторожно вглядывается в хозяина, словно в душу желает ему заглянуть и вызвать самые сокровенные мысли.

Но Константин, хотя и хмуро, однако прямо глядит и говорит:

— Не мудрено спутаться. Очень уж вы там осторожны и умны в Петербурге. Смотрите, как бы не перемудрить. Я не царь и царем не буду. Вот и она вам подтвердит... Княгиня скажет, как твердо мое решение... Вас я не отпущу, Опочинин. Но если нужно, сорок раз готов подтвердить уже сказанное мною: пусть там огласят манифест и завещание покойного государя, и дело с концом...

— Да, это, полагаю, будет лучше всего, — быстро подтвердил Опочинин. — А здесь ваше высочество уже огласили свою волю? — осторожно, будто мимоходом спросил он.

Константин ответил не сразу. Не то смутился, не то задумался. Потом, не глядя на Опочинина, заговорил:

— Я не хотел здесь начинать без приказа из Петербурга... Но если вы полагаете... Да, вы правы. Надо здесь огласить, и тогда крышка. Всему конец. Завтра дело будет сделано...

Ничего не говорит, только поощрительно кивает головой любезный генерал.

И тут же обращается к княгине:

— Как здоровье вашей светлости? Должно быть, волнения последних дней не прошли бесследно?..

— Ах, не говорите, мой генерал! — довольная, что и она может принять участие в беседе, отозвалась Лович. — Я так страдаю. И за себя, и за него... Один Бог дает нам силы... Страдать и терпеть — участь людей не земле...

Выйдя от цесаревича, Опочинин весь остаток дня мелькал то здесь, то там, словно старался узнать общее настроение, выпросить все, что касается самого Константина, его окружающих и важнейших представителей польского общества.

На другой день он в числе первых явился на большой плац, где Константин собрал гвардию, все войска, куда сошлись десятки тысяч обывателей Варшавы, чтобы поглядеть на небывалое зрелище.

Наследник российского и польского престола, император и король Константин Первый, как его уже поминали во всех храмах империи, — бедный, но важный и серьезный, — объявил о смерти императора Александра, о его таинственном завещании, согласно которому престол переходит к младшему брату Николаю, прочел свое отречение, полное таких самобичующих выражений, обидных для благородного принца...

Опочинин в разговоре успел ему сказать, что императрица-мать была тронута подвигом самоотвержения Николая, не желающего принять корону иначе, как из рук старшего брата. И Константин оценил этот подвиг, ответил на него, по своему обыкновению, громко и прямо.

Кончилась присяга Николаю, разошлись войска и народ.

Вторично присягу подписал Константин и велел приготовить к отсылке с курьером. А сам, бледный, усталый, вернулся во дворец.

— Теперь, надеюсь, все кончено! Оставят меня в покое, — с горькой улыбкой заметил он Опочинину, который один сопровождает его в коляске. Но покоя не узнал еще цесаревич.

Последний курьер из Петербурга, офицер Белоусов приехал 8 (20) декабря.

Он выехал из столицы 3 (15) числа, посланный немедленно после того, как Николай прочел письмо от 26 ноября ст. стиля, привезенное братом Михаилом.

Снова подтвердил Николай Павлович Константину, что вся Россия присягнула, что и сам Николай готов быть верным слугой признанному императору. Если же тот решил снять с себя венец, пусть даст прямое приказание.

Константин вышел из себя:

— Десять, двадцать, сто раз готов повторить: я отрекаюсь. Я отрекся... Я не царь! Он пусть управляет. Но так тянуть нельзя! Начнется смута! Пусть немедленно объявит, что царство за ним!..

Такого же содержания письмо повез Белоусов обратно в Петербург, куда примчался уже на пятый день, 12 (24) декабря. Он же передал Николаю вторичную присягу Константина и секретное письмо от Опочинина.

Преданный генерал прислал подробный отчет обо всем, что видел и слышал в Варшаве, особенно, что касалось цесаревича, и ручался, что последний говорит и поступает искренне, не таит в себе каких-либо скрытых, опасных для нового государя, мыслей и планов...

— Дело кончено! — сказал Милорадовичу Николай. — Послезавтра я буду мертв или царем. Но если даже на один час придется мне быть императором, я докажу, что был того достоин!..

Манифест о замене Константина на троне императором Николаем был подписан и 14 (26) декабря оглашен перед войсками...

Разыгралась грозная буря, произошло столкновение братьев с братьями. К вечеру восстание, подготовленное уже давно, угасло, затопленное в крови бунтовщиков.

Шесть дней спустя Константин получил от нового государя извещение о восшествии на престол. Оно гласило:

«Дорогой, дорогой Константин, ваша воля исполнена, я император, но какою ценою! Боже мой! Ценою крови моих подданных!..»

Горько плакал цесаревич, прочитав эти короткие, страшные строки.

В тот же вечер, 20 декабря, большое собрание было у князя Адама Чарторыского. О чем говорили там? Никто не узнал из «чужих», особенно из «москалей». Но было решено, что еще не пришла пора выполнить давно задуманное дело, осуществить святой план освобождения отчизны от чужого гнета. И еще в разных местах Варшавы

собирались люди, толковали, спорили и расходились угрюмые, печальные, повторяя:

— Нет, видно, еще не пробил час... Еще не сжалился Пресветлый Иисус над бедной отчизной... Надо потерпеть... надо еще подождать... Но когда настанет желанная пора?..

Никто не договаривал... Все знали, чего они ждут, что будет, что должно быть и скоро-скоро... Если только милосердный Бог и Пресвятая Матерь Его не совсем отступили от поработщенной Польши, от ее покоренного народа.

Вдвоем с княгиней Лович сидел цесаревич в своем Бельведере.

Свечи ярко горели. За окнами выла метель. Он молчал. Она тихо шептала молитвы и повторяла:

— Боже мой! Сколько крови и жертв всегда требует власть... Сколько жизней и крови обагрят все венцы мира... Нет, хорошо, что мы с тобой не носим этих залитых кровью венцов...

— Да, хорошо, хорошо это, моя голубка!.. Но те, убитые, они не оживут... И еще сколько будет казнено... Зачем же это, Господи? — с тоской кинул он вопрос, словно обращаясь к темному, холодному небу.

Но он не получил ответа.

За окнами выла метель. По темным городским улицам расходились по домам какие-то угрюмые люди, весь вечер горячо обсуждавшие дела далекой России, печаль и язвы родного края и не решившие ничего.

Они тоже глядели на небо, словно пытались узнать: скоро ли блеснет заря освобождения?

Но темно было там, наверху, клубились густые тучи и молчала немая высота...

Глава IV

НОВОЕ ПО-СТАРОМУ

Пролетит зима, ненастье,
Мир весенний улыбнется...
Не вернется только счастье,
Только юность не вернется!..

Короткий январский день давно погас.

Холодный и хмурый, он не порадовал никого. Тяжелые тучи висели над городом, над окрестными лесами, над занесенной снегом Вислой. А к вечеру совсем стих ветер,

колыхавший обнаженные ветви деревьев в садах и лесах. Медленно, беззвучно полетели крупные хлопья снега с темного неба, устилающая холодную темную землю... Такой снег падает только под конец зимы, ласковый, словно прощальный. Теплее стало в воздухе, на площадях и в узких улочках Старого Мясца и на широких улицах и аллеях новой Варшавы.

Сверкают в темноте огоньки домов и палацов, мерцают фонари, длинной огнистой ниткой окаймляющие затихшие улицы города.

Рыхлые белые хлопья красиво нависают, собираются шапкой на верхушках этих фонарей и свисают фестонами, пронизанными красноватым светом керосиновых и масляных ламп, зажженных фонащиками в обычный час.

Легкое зарево, словно отблеск дальнего пожара или сверкающий ореол, одело темные островерхие крыши и шпили Варшавы. Если глядеть издали, например из аллей Уяздовских, на фоне темного неба и черной ночи протянулось далеко, вдоль Вислы, светлое пятно над землей, которой не видно, но которую можно угадать, потому что ночное небо, затянутое тучами, воздух, наполненный миллионами падающих белых хлопьев снега, все же не так мрачны и непроглядно черны, как спящая зимняя даль полей и лесов.

Темно и мрачно в Лазенковском парке и в саду, окружающем Бельведерский дворец. Очертания последнего почти сливаются с окружающей тьмой, хотя и сверкает кое-где свет в его окнах и освещен его двор. Даже в парке и в саду кое-где блещут фонари. Но эти отдельные светящиеся точки, эти трепетные огоньки, напоминая сверкающие зрачки ночных зверей, не разгоняют густой тьмы, тонут в ней, словно придавая ей еще больше силы, делая ее еще непроглядней и мрачнее.

В ночной глубине человеческий глаз скорее угадывает, чем различает какие-то призрачные очертания, обступившие маленький дворец Бельведер. Это высокие деревья с оголенными ветвями, сейчас опушенными снегом, стоят вокруг.

Порою они словно всколыхнутся, оживут от какого-то неожиданного дуновения ночи... А потом снова замрут, обступая рядами призраков затерянный в парке сиротливый Бельведер.

Полная тишина во всем дворце. Даже в пристройках и помещениях, отведенных для прислуги, почти не заметно движения и жизни.

Уснул после обеда обычным крепким сном цесаревич на своей любимой софе в кабинете, и стихло все во дворце. Хотя из дальних комнат, где живут и шевелятся остальные обитатели, ни звука не проникает сквозь крепкие двери отдаленного кабинета, но все невольно ступают осторожнее и говорят вполголоса:

— Он лег почивать...

На половине княгини Лович и вообще не бывает слишкомлюдно и шумно. А в эти часы и здесь жизнь как бы притихает.

Давно спит Константин. Дежурный камердинер Коханский уже наготове, сидит в соседней комнатке, вернее, в коридоре, озаренном стенною лампой. Во дворе тмнеет несколько карет и легкис сани. Кони вздрагивают порою, не стоят на месте. Кучера, осыпанные снегом, с козел переговариваются между собою и покрикивают на коней.

В дежурной комнате целая группа людей ожидает пробуждения всликого князя. Кроме адъютанта Данилова здесь стоит у камина и греет руки генерал Жандр, фигурой и лысой головой сильно смахивающий на самого Константина, начальник военной полиции. Его помощник Закс тоже тут, худой, костлявый, неприятный на вид. Генерал Рожницкий, выхоленный, щеголсватый усач, начальник польского корпуса жандармов; красавец-гусар Лунин, подполковник лсйб-гвардии гродненского полка, и президент Варшавы пан Любовицкий, верный слуга русских вообще, а Константина в особенности, дополняют компанию. Четверо представителей полицейской и охранной власти в краю уже были утром с докладами. Но время теперь тревожное и по вечерам приходится еще являться сюда, в далекий от города дворец, зябнуть в карете, скучать в приемной, пока их позовут к великому князю.

А Лунин получил особое приглашение явиться нынче вечером экстренно. Он видимо волнуется, хотя и старается не выдать этого, особенно той теплой компании, в которой очутился совершенно нсожиданно.

Он поддерживает общую светскую беседу, бросая редкие негромкис фразы, как негромко стараются говорить и все остальные собеседники.

Но тревога не унимается, а все больше растет в его душе.

Жандр словно понимает, что делается с Луниным, блестящие, темные глаза которого сейчас особенно сверкают и горят от затаенной тревоги.

Не злой по природе генерал хотел бы успокоить молодого гвардейца. Но осторожность и присутствие других мешают.

Вяло тянется разговор. Потрескивают порою дрова в камине, мягко шуршат хлопья снега, скользя по стеклам больших окон дворца, за которыми чернеет непроглядная зимняя ночь.

Один протяжный удар мелодично пробил на больших часах в соседней комнате и певучий звук не успел еще растаять в воздухе, когда Константин раскрыл полусонные глаза, огляделся, стал слушать.

Кругом полная тишина, только слышно тиканье часов на подзеркальном столе, пылают и трещат дрова в камине, очевидно, подброшенные заботливой рукой камердинера. Он же зажег лампу и приспустил в ней свет, и без того смягчаемый цветным шелковым абажуром. Полутьма окутывает комнату. Сны еще реют перед глазами Константина. Но сквозь дымку этих грез и полутьмы Константин различает все предметы, хорошо знакомые ему, наполняющие покой. Он сразу вернулся к действительности от сладкого, крепчайшего сна, каким засыпает всегда после обеда, и ночью, иногда и днем, словом, в каждую минуту, когда голова его касается подушки.

— Половина восьмого, — сразу сообразил он. — Наверное, все уже там ждут.

На звонок появился камердинер, прибавил свету в лампе, зажег свечи на рабочем столе.

— Кто там ждет? Лунин есть? — по-польски спросил Константин.

— Есть, наивельможный князь. И генерал Жандр, и генерал Рожницкий, и пан президент, и пан полковник. Все ждут. А светлейшая княгиня сейчас изволят выйти в гостиную... Я справлялся только что.

— Ну, хорошо... Дай умыться. Потом позовешь Лунина...

Минут через десять, освеженный, с влажными слегка волосами и покрасневшим от растиранья лицом, Константин вернулся из уборной в кабинет в том же белом холстинном халате, который был на нем и раньше.

Когда Лунин вошел, высокий экран у пылающего камина был сдвинут в сторону и соседний стол весь озарялся, кроме сияния свечей, еще отблесками веселого сильного пламени.

Константин, стоя спиной к огню, ласково ответил на поклон, протянул руку и, после сильного пожатия, указал на стул почти рядом с тем, на которое опустился сам.

— Садитесь-ка, Михаил Сергеич, потолкуем. Ноги изменять мне стали что-то. Видно, стар становлюсь... Да, да, старею, видимо, так... Ну, вот... Как вы живете?

— Благодарю, ваше высочество. Помаленьку, слава Богу, — овладевая своей безответной тревогой, ответил Лунин. Но глаза его невольно устремились на лицо цесаревича, как бы желая прочесть там что-то важное, тайное.

Хотя лицо Константина находилось в тени, но краска, вызванная умываньем и прикосновеньем мохнатой ткани полотенца, успела сойти. Какая-то усталость проглядывала в каждой черте, дряблость и желтизна кожи говорили о затаенном пока, но глубоком недуге телесном, помимо духовной подавленности.

И не только это подметил внимательный взор Лунина. Ему казалось, что цесаревич не менее своего невольного гостя подчиненного чем-то сейчас озабочен и смущен таким, что имеет прямое отношение к самому Лунину. Мысли, и без того поспешной, беспорядочной чередой проносящиеся в голове подполковника, закружились еще быстрее. Он много бы дал, чтобы цесаревич говорил, упрекал, бранился, даже грозил, только бы не молчал. Хотя Лунин знал, что прием запросто, в халате считается самым добрым знаком для всех, кого вызывают по каким-либо делам в Бельведер, хотя приветствие и первые слова хозяина звучали дружелюбно, но Лунин как будто еще больше насторожился, заволновался от этого мирного начала.

Конечно, не без причины его вызвали так неожиданно, в эти тревожные дни. И если тут что-нибудь подозревают, о чем-нибудь хотят допытаться, то надо держаться особенно осторожно, потому что Лунин знал немало такого в своей жизни, что было опасно и для его многочисленных друзей в Варшаве, и там, в родном краю, особенно в далеком Петербурге, так недавно пережившем целую кровавую бурю в печальные декабрьские дни.

Но почему так сдержанно-скорбно лицо Константина? Не гневно, не строго, а именно скорбно? И отчего он молчит?

Как будто нужно сказать нечто важное, неизбежное... И боится этот суровый на вид, такой некрасивый, быстро

за последнее время состарившийся человек, сказать то, что может задеть самолюбие или душу Лунина... Он очень порою бывает деликатен и чуток, этот ожиревший, тяжелый крикун...

— Зачем его вызвали?

Этот мучительный вопрос сейчас доводил Лунина до полуисступления и лишь долгий навывк дисциплины, глубоко заложенные привычки светского человека удерживали его от прямого, хотя бы и бестактного вопроса, который, к тому же, мог быть принят за признак боязни, с которой нет сил справиться... Ведь легче знать, какая беда стоит перед тобою, чем ожидать удара в неизвестности, в темноте.

А Константин, действительно, не знал, с чего начать.

Пока он думал, как бы лучше приступить к делу, чтобы не сделать больно Лунину, которого очень любил по многим основаниям, последний стал снова перебирать в уме особенно важные моменты своей жизни за последнее время, которые могли бы вызвать вмешательство начальства в лице самого цесаревича.

Невольно один случай припомнился ему и не выходил сейчас из ума.

Как только в Варшаве месяца полтора тому назад вышние военные круги узнали о смерти Александра, разведали, хотя и смутно, что Константин почему-то намерен уступить престол младшему брату, Николаю, все всполошились.

Почти не сговариваясь, высшее военное начальство собралось на квартире больного генерала Альбрехта. Кроме польских и русских генералов, начальников отдельных частей и командиров полков, — было тут несколько младших начальников, особенно уважаемых за их развитие и личные качества. Попал сюда и Лунин вместе с Пушиными и еще двумя-тремя товарищами из передовой, блестящей гвардейской «молодежи».

Вопрос был поставлен прямо. Толковали о том, кого лучше видеть на троне преемником Александра?

Приехавшие недавно из Петербурга участники совещания открыто заявили, что Николая там не любят за излишнюю придирчивость, за крайнюю строгость, не говоря о том, что юный великий князь всецело в руках «отсталой» партии староверов и все реформы Александра, до конституции включительно, хотя бы и в далеком будущем, никогда не будут осуществлены при Николае.

— Да ведь и наш «старушек» не очень мягко стелет! — заметил кто-то.

— А все же не так жестко будет его ложе, чем приготовленное меньшим братцем! — возразили со всех сторон. — Не говоря уже о том, что мы, здесь, совсем отойдем на последний план, если окружающие Николая люди, как и надо ожидать, займут все места при новом царе, вокруг его трона.

Последнее напоминание оказалось особенно понятно и убедительно для компании.

— Позвольте! О чем тут еще спорить?! — заговорил сочным, звучным голосом, со своей широкой, подкупающей манерой генерал Шембек. — Не видели мы разве Константина столько лет подряд? Не знаем его взглядов, его скромности, этого беспримерного обожания, какое питает наш князь к покойному брату?! Все, что намечено почившим, было бы точно выполнено Константином, если он будет государем; в этом сомнения быть не может! Россия получит законосвободные учреждения. Рабство крестьян там будет уничтожено весьма скоро. Строгое, но справедливое отношение к военным кругам, его отеческая любовь к последнему солдату, не говоря о нас, ближайших сотрудниках его... Кто о нем не знает! Это не взбалмошная строгость заносчивого, придиричьего мальчика, получившего слишком рано власть. Он не станет наполнять гауптвахты арестованными офицерами... Он не одержим воинственным задором, ради которого сотни и тысячи жизней напрасно гибнут в боях на полях битв. Знаете его поговорку: «На войне гибнет дисциплина, рвется аммуниция и портится солдат». Наш князь знает, что армия создана для охраны государства, а не для опасных авантур, хотя бы и самых заманчивых... А дома и война не трудна и не так губительна, как походы в чужие страны... Это — главное для всех. И России, и Польше надо пока поотдохнуть после драки... Молодой царь, того и гляди, чтобы прославить свое имя, впутается в какую-нибудь драку... Теперь мы, поляки? Можно ли сомневаться, что заветное желание покойного благодетеля и государя нашего дать новые права отчизне, слить с Польшей и старые ее провинции: Литву, Волынь, что все это будет выполнено Константином, как будто он сам, а не покойный Александр обещал это так торжественно и не один раз... Разве можно сомневаться, что...

— Ну, конечно, верно... Чего тут еще расписывать! — прервали со всех сторон Шембека, который любил поораторствовать. — Конечно, Константину надо быть на троне

российском и польском, и больше никому... Если почему-либо он колеблется... если от него взяты какие-либо обещания... конечно, сгоряча... там, из-за позволения венчаться вторично... взять польку-жену... Так и толковать об этом нечего! Завтра же созовем наши полки, заставим их присягнуть новому государю... и конец! Да здравствует император-круль Константин Первый!..

Крик был подхвачен всеми решительно, радостно, дружно.

Молчал один Лунин и не кричал со всеми. Когда утихли голоса, он заговорил:

— Я просил бы выслушать и меня. Всего несколько слов. Конечно, и речи не может быть о том, что мы думаем о себе, ищем личных выгод в такую важную минуту, когда судьба нескольких народов стоит на карте...

Не получая и не ожидая ответа на этот щекотливый, кстати брошенный полувопрос, Лунин продолжал:

— Вот об этих народах и надо помнить. Судьба царств не вверена нашим рукам. Но все же думать и говорить мы можем. Так подумаем... Таков ли уж цесаревич, чтобы мы решили даже насильно, против его воли, открыто выраженной, посадить его на трон? Я не берусь и не смею судить никого, тем более столь высокую особу. Только укажу на вещи, всем известные, о которых не может быть разных мнений. Все мы знаем золотое сердце нашего князя. Но всегда ли в лад с ним идет его голова? Порою он сам сознает, что у него нет воли владеть собой в очень важные минуты жизни. А тут придется владеть жизнью и счастьем десятков миллионов людей... и нашими в том числе...

— Довольно об этом... Кто знает, каков холодный и невозмутимый младшей брат? Он без криков, говорят, по примеру отца, целые батальоны может сослать в Сибирь...

— Хорошо, пусть так... Но если мы здесь и решим, как будет принято это в Петербурге? Во всей России? Благоразумие велит выждать, узнать...

— Известия о присяге Константину приходят со всех сторон, — заявил Кривцов, — и только здесь... Вот Дмитрий Дмитриевич отослал обратно листы не подписанными... по приказанию цесаревича... то есть государя нашего!..

— Вот именно, о чем я и хотел сказать, главным образом, — подхватил Лунин, усиливая голос, — сдер-

жаться порою наш цесаревич не может. Все мы знаем. Но кто не знает, что и высказанное решение он доводит до конца, особенно, если это касается важных дел. А мы хотим «распорядиться без хозяина», как он любит выражаться порою. Я думаю, что знаю его высочество. И какое бы решение мы ни приняли, что бы ни сделали по собственной воле, он не уступит нам... И только новый соблазн, новая смута будет внесена и в пределы Польши, где мы сейчас, и туда, в пределы нашей родной России. Хотим ли мы того? Имейте в виду: положение очень тревожное, опасное. Я знаю: в самом Петербурге могут вспыхнуть волнения... Кто из нас не ожидает этого?.. Чем они кончатся? Бог весть... Так не делайте почина здесь, где сам цесаревич налицо, где ему следует сказать первое и последнее слово... Как бы он ни решил, хорошо либо худо, так и будет, верьте мне!.. Иногда и на него нисходит Дух Разума и Света...

— Позвольте, однако, вы снова пускаетесь в такую критику... — заговорил граф Красинский, или «Крысинский», как его звали за глаза, из-за его манеры втереться везде и всюду. В военной среде царила уверенность, что он наущничает Константину, и особенно не любили его за это. Лунин в эту минуту тоже поморщился, услыша голос мягкого по манере, но сухого и неприятного на вид поляка.

— Ни в какую критику я не пускаюсь. А что сказал, сказал! — отрезал он графу.

Разговор снова стал общим и было решено поступить, как толковали перед этим; на другой же день привести к присяге литовские и польские войска и таким образом вынудить Константина принять власть.

К общему удивлению, цесаревич, не говоря никому в чем дело, — сам приказал созвать все войска и, объявив о своем отречении, принял присягу Николаю и привел к ней армию, солдат и начальство. Весь «заговор» рухнул. Никто не знал, что Красинский подробно передал Константину о решении генералов и тем вынудил его на такой шаг.

Сейчас, сидя перед цесаревичем, Лунин почему-то переживал в памяти все подробности полузабытой сцены. Он, конечно, не был уверен, но подозревал, что граф Красинский передал цесаревичу речи Лунина, да еще приукрасив их. И эта догадка была справедлива. Но то, что услышал наконец Лунин от Константина, поразило окончательно подполковника. Словно читая в мыслях гостя, он спросил:

— Скажите, Лунин, помните вы собрание у генерала Альбрехта?

— По... помню... кажется... то есть, о каком собрании изволите вы говорить, ваше высочество? — вспыхнув, в свою очередь задал вопрос Лунин, желая выгадать время и собраться с мыслями.

Что-то роковое, даже мистическое почуялось впечатлительному Лунину в том, что вопрос как бы вызван был его собственными думами и воспоминаниями; да и сами эти воспоминания как-то против воли вошли в голову, хотя ничто, казалось, не принуждало к тому.

«Или на самом деле, — подумал Лунин, — есть сила предчувствия в человеческой душе? И души могут говорить между собою, даже когда разум не сознает того?»

В связи с последним вопросом, Лунин особенно напряженно ждал: что скажет дальше цесаревич?

Как бывает это иногда в жизни, Лунину сейчас казалось, что не в первый раз сидит он так перед камином, у стола, почти рядом с Константином. Когда-то уже сидели они так оба, глядели пытливо друг на друга, задавали осторожные, нерешительные вопросы, давали странные, неясные ответы. Словно знал заранее Лунин, что скажет ему цесаревич, что сам он будет делать и говорить... Только так это все неясно, полусознательно, как бывает во сне, если спишь, видишь что-либо особенное, страшное, интересное, приятное, но знаешь, что это сон... и ждешь: когда проснешься?

Цесаревич не переживал такого раздвоения. Но его собственная тревога, как бы удвоенная волнами, исходящими из напряженной, полной трепетаний души собеседника, быстро усиливалась и росла.

Еще раньше, решая позвать Лунина, Константин наметил себе план действий, начертал схему разговора с этим своим любимцем, которому грозила большая опасность. И хотелось доброму по природе князю отвратить от Лунина удар, но он в то же время считал необходимым вывести кое-что. Если бы не это решение, сейчас, под огненным взглядом, цесаревич все выложил бы прямо. Но пришлось сдержаться. И согласно первому решению, он с добродушным укором заговорил:

— Не помните? Ой-ли! Не надо со мною лукавить. Не хорошо. Разве ж не видите? Я говорю с вами, как с товарищем. Не первый день живем вместе. И ссорились, и мирились. Знаете же, что не только люблю я вас, Лунин,

а больше... уважаю, да. Уважаю. Этого редко кто добьется от меня...

— Ваше высочество, я понимаю... Верьте...

— Стойте, стойте. Дайте досказать. Стойте! Я говорю о собрании, на котором господа мои генералы взялись было не за свое дело: вербовать в цари польские и российские императоры людей, совсем не желающих того, как вы резонно и заметили им, Лунин... Вспомнили? Еще вы так лестно аттестовать изволили мое сердце... не одоблив головы!.. Не стесняйтесь. За глаза и царя бранят... И на Господа мы нарекаем порою... что тут толковать... Вспомнили?

— Вспомнил, ваше высочество!.. Я только потому не сказал, что слишком много событий пронеслось за эти пять-шесть недель... Не знаешь, о чем и думать... За всю жизнь того не переиспытал, сдастся, что за эти дни...

— Да, да, вы правы... Много пришлось пережить, пережить!.. Переслышать — и того более.

Созвучной, глубокой грустью отдаются речи обоих собеседников взаимно в их сердцах. Словно породнились они в этот миг. Стеснение отпало.

— Теперь финти-фанты, прелюдии всякие кончены... И слава Богу. К делу! — громко, оживленно заговорил Константин. — Только еще скажу, вы доказали в тот день, что любите родину, чтите волю своих начальников... И малость знаете меня. Мне все точно доложили тогда. Кто? Вам, конечно, безразлично... Но доложили правду. Я проверил. И тогда же подумал: «Плут, якобинец — этот Лунин, «красный» и опасный человечек до конца волос... но — честный и умный малый». Так я подумал. И полагаю, что тоже не ошибся в вас, как и вы во мне, а?

— Не знаю, что о себе можно сказать, ваше высочество?.. Со стороны виднее всегда.

— Да, да, конечно... И желаю теперь я доказать вам свое расположение не на словах, на деле... Уважение мое... Например, если бы мне грозило что, вы бы, конечно, поспешили помочь, а?

— Ваше высочество, до последней капли крови...

— Верю, знаю... Молодец!.. Руку... так. Ну, значит, поймете, что и я хотел бы... Словом, не в обиду вам... Не думаю, чтобы вы сами искали избежать опасности... Но так! Знаете, как все замутилось?.. В Петербурге каша заварилась страшная. Дурак там на дураке... Толком ничего сделать не сумели. Напутали, настряпали... Стравили своих

со своими... брат на брата... Дурачье!.. Ну, да что. Не поправить!.. И вот думается мне, что у вас могут возникнуть неприятности...

— Пожалуй, вы правы, ваше высочество, — словно против воли отозвался протяжно Лунин. Он наконец понял, к чему клонится дело, и теперь соображал: как дальше вести себя?

— Ну, вот. А вы знаете нашу русскую пословицу: «Дальше от кузницы — меньше копоты». Что, если бы вы теперь прокатились за границу? Помню: вы как-то собирались сами... Паспорт я дам и... с Богом... А там, поспокойнее станет — и вер...

— Простите, ваше высочество, если я перебыю. Смее спросить прямо: меня обвиняют в чем-либо? Я заподозрен?.. Или...

— Прямого ответа дать вам не могу: служебная тайна. Но скажу: ваши друзья-заговорщики не все оказались молчаливы и скромны. Иные оговорили не только виноватых, но и правых. Но вхожу в рассмотрение, куда вас отнести. Я — не судья для вас в сей миг... Но — вы названы... И потому...

— Что же, прикажите арестовать меня, ваше высочество. Я отпираться не стану и не желаю. Если те, там — виновны... виновен и я... я разделял их убеждения, хотел видеть на троне прямого наследника, не зная, что назначен покойным государем иной... Я хотел видеть отечество более свободным, по примеру других, более счастливых и просвещенных западных народов... Конечно, вышло все это слишком печально... Того я не хотел, что случилось. Но — поздно об этом. Я разделял мнения моих товарищей... теперь хочу разделить их наказание, их печальную участь. Вот моя шпага, ваше высо...

— Стойте! Что за самовольство! Кто у вас спрашивал вашу шпагу, господин подполковник? Ждите приказаний начальства... Что это, в самом де... Да будет. Идите сюда. Я обниму вас, прежде всего... Я не ошибся... Я так и думал... Ну, вот... вот... вот...

Трижды, истово, по-русски, как он это делал обычно, обнял и поцеловал Константин Лунина, усадил снова и заговорил совсем иным, дружеским тоном:

— Слушайте, Михаил Сергеич, я понимаю вас... и люблю... и ценю. Так не надо же самому на себя наговаривать. Не принимали же вы участия во всей этой каше! Чего же петушиться? погоди! Поговорим толком. погодите... Они там — сами по себе. Мы тут — сами по себе... Так?..

— Не совсем так, ваше высочество. Это случайность, что я не был там. А будь иначе, и...

— И что же? Приняли бы участие во всей этой гадости, а? Приняли бы?

— Пришлось бы, ваше вы...

— Ну, вот, это прямой ответ. «Пришлось бы»... Я тоже знаю кое-что. Отчего вы не поспешили в Петербург, как иные, хотя и знали о предстоящих событиях? Да это ли одно? Я наверно знаю, что уж много времени вы отстали почти совершенно от всей компании... Что, нет?

— Вы знаете, ваше высочество?

— А как же иначе? Я должен обо всем знать... Или скажете: нет? Не отстали?

— Признаюсь, направление, которое в последнее время приняли руководители... вожаки наши... Да и некоторые иные обстоятельства отшатнули меня немного.

— Знаю, знаю... Я так и...

Он оборвал речь, как будто оговорился, и, меняя тон, сказал:

— Могут, конечно, спросить: «Ежели Лунин сам отошел, видя прямую измену, почему он...»

— Не донес?!! Ваше высочество!..

— Ну да, ну да... понимаю... Я-то понимаю. Но... другие могут спросить... Так они же видят, сколько у вас там родни в этой куче: и двоюродные, и троюродные... и всякие... Как на своих донести?!

— Вы хорошо защищаете меня, ваше высочество... Благодарен очень. Хотелось бы только знать: кто обвиняет?..

— Ну, много будешь знать, скоро состаришься. Кто имеет право, тот и обвиняет. Понял?

— Почти, ваше высочество... Да что я мог бы и сказать? Так, разговоры, предположения. Решив отойти, я и не вглядывался в дело...

— Вот, вот, разумный, прямой ответ! — довольным голосом подхватил Константин. — «И доносить было нечего!..» Самое святое дело... А о речах там, о безрассудных, о критике всякой... Кто этим не грешен? Гляди, и мы с братом Николаем, хотя бы нам вовсе не шло, многое порицали, о многом судили вкривь и вкось в былые дни, когда не сами хозяйством правили... Да, да. Хорошо сказано: не бежать же с докладом о каждой беседе! И в дни прабабушки моей, государыни Анны Ивановны либо Елизаветушки-матушки судили за «слово и дело», а не за одни слова... Слово — птица вольная... Вот если дело нехоро-

шее... А в деле ты не замешан. По своей ли воле, по воле ли случая, а не замешан, да и все! И теперь прямо скажу: в один голос отзываются о тебе — смиренхонько живешь. Так и продолжай, друг мой. А я за тебя заступлюсь. Не дам в обиду... Теперь, как поняли мы друг друга... Спелись. Не дам в обиду. Я прямо напишу... Ну, да там увидим. Арестовать тебя пока еще не велено. И не будет того. Государь мне поверит. Я нынче ж напишу. Не будет! Ступай с Богом. Прости!..

— Простите, ваше высочество! Благодарю вас, больше ничего не могу сказать.

— И не надо. Ну дай, обниму еще... Еще... Так... С Богом...

Лунин быстро двинулся к дверям, но какая-то внезапная мысль остановила его шаги, он обернулся и встретил вопросительный взгляд Константина, который сделал было движение, как бы провожая гостя.

— Что еще? Или вспомнил? Говори...

— Ваше высочество, я не знаю... Вы нынче так добры... И мне пришло на ум...

— Какой «Наум»? — играя созвучием, переспросил Константин, склонный к шутке, особенно в хорошие минуты. — Почему не Марья?.. Что такое, говори...

— Вот вы так чутко, душевно отнеслись ко мне... Но вы, полагаю, вообще стоите за истину... и даже за милосердие... Вот и думается: если бы какой-либо несчастный... Хотя бы один из тех заблудших... которые сейчас томятся в цепях в казематах Петропавловки и Шлиссельбурга... Если бы они просили вашей милости, заступничества... пощады?..

— Никому, ни за что! — сразу меняясь, принимая суровый, почти свирепый вид, громко отчеканил Константин. — Им! Этим бунтовщикам?! Нарушившим долг, клятву!.. Поднявшим оружие против государя!.. Им, братоубийцам и бунтовщикам?! Им нет пощады!..

— Но если они заблуждались... и раскаялись?.. Оружие они подняли только в защиту собственной жизни, когда их атаковали... Многие думали, что ваше высочество имеет больше прав на трон...

— И потому кричали: «Да здравствует конституция!» А?.. Ну, меня там не было! Я бы им показал!.. Рано еще нам... И тут не все ладно с этой конституцией... с этими сеймами да сеймиками проклятыми. Ну, да заведено, что поделаешь. Так хотел покойный государь. А он лучше нас

знал, что делал. А в Россию?.. Нет, дудки... Рано еще... Бунтовщики... рракальи...

— Но... ваше высочество, если бы один такой припал к вашим ногам... просил пощады... сказал, что он еле ушел от смерти... Если бы он притащился сюда... и молил вас?.. Что бы вы?..

— В кандалы... фельдъегеря... и туда, в Петербург!.. Пусть там расправляются с голубчиком. Нет, дудки! У меня не найдут пристанища бунтовщики. Дудки! Никогда спуску никому я не да... Да постой, что тебе за странная мысль такая в голову взошла? Или...

— Нет, нет, ваше высочество, — торопливо заговорил Лунин. — Это я просто так, без всякого повода. Хотелось знать: насколько ваше расположение ко мне связано с вашим доверием... Только и всего... Честь имею откланяться...

— Прощай. К обеду приходи... Прощай.

Ступив за порог, Лунин сильно передохнул, как будто бы воздух сперся у него в груди.

— Вот некстати! — прошептал он. — И с чего это мне подумалось?.. Чуть и бедняка не всадил... Да и сам бы сел в лабет... Сентиментальность глупая. Надо всегда помнить, с кем дело имеешь. Ведь это не человек, а вихрь... Да еще какой: деспотический вихрь! А я вздумал... Экая наивность!

И, несмотря на отрадное чувство миновавшей большой опасности, грустный, задумчивый возвращался к себе из Бельведера Лунин...

Едва скрылся за дверью Лунин, Константин взял листок и начал набрасывать, под впечатлением своего настроения, письмо к Опочинину, который служил во всех щекотливых, сомнительных случаях посредником между цесаревичем и Николаем со времени воцарения последнего, как и раньше было при жизни Александра. Быстро скользило перо. За последние годы изменился даже почерк Константина, не только его некоторые взгляды. Раньше он писал причудливыми знаками, почерком, сходным с каракулями покойного Павла, его отца. Теперь же ровные, мелко вычерченные строки напоминали руку императора Александра, но только буквы были выведены тверже, казались грубее. Не было в общем той стройности и связи, как у Александра.

Проглядев написанное, цесаревич с довольным видом покивал головой и приказал впустить поочередно ожидающих приема.

Общий голос «охранителей» был таков, что тревога в Варшаве заметна, но серьезного ожидать ничего нельзя. Вообще, все обстоит благополучно...

— Князек убрался из Варшавы? — спросил цесаревич у Жандра, когда тот кончил доклад.

— Отставной полковник лейб-гвардии уланского имени вашего высочества полка князь Голицын вчера вечером выехал через Мокотовскую заставу...

— И ко всем к чертям, скатертью ему дорожка! Слава Те, Господи, избавились от занозы... Масонишка, якобинец проклятый... злоязычник, лгунишка, распутная душа! Всем, гляди, недоволен, все хулит... А сам, как еж, боится в деле нос высунуть... Кабы не защитники ему особливые, я бы ему за все его пакости и не так еще!.. И смеет касаться особ, до которых этому пьянице, картежнику, как до неба, далеко... Да нет его и черт с ним!.. Дальше?

— Больше ничего особенного, ваше высочество, против рапорта... Там, дебош небольшой офицерский... Форму многие не соблюдают, выходя на улицу, и при том...

— Шинели нараспашку, кивера на затылке?.. Слышал, знаю. Десятки, сотни тысяч рублей летят. А о своих делах, о варшавских я из Петербурга узнаю... Государь сам пишет либо вот, как позавчера, — присылает копии с допроса, сделанного князю Яблоновскому, его показания, где целых сорок главных бунтарей польских прописаны. А мы и не знали про них! А денежки тянут все... не ленятся. А мне доклады о дебошах да непорядках среди офицерства? Хоршее дело!

Жандр молчал. Раз было, в ответ на такую отповедь он заметил, что готов подать в отставку, если не годится на службу. Но и теперь не любит вспоминать генерал, какая буря разыгралась после этих слов...

— Молчите? Отмолчаться думаете, ваше превосходительство? Прекрасно-с. Отмалчивайтесь... Времени у меня нет сейчас... Я бы вам помолчал...

— Ваше высочество, списки с полутора тысячью имен давно в наших руках находятся. Среди них и те, о ком князь Яблоновский поминал, стоят... По мере сил...

— Довольно, знаю. Полторы тысячи заговорщиков! На смех, батюшка, подымут тебя, ежели скажешь, что в заговоре 1500 человек... На базаре такие заговоры каждый день собираются! Вот и лови их! Из Питера сорок имен прислали, а в них вся соль. Нам бы этих «избранных» раньше знать надо было... А мы... Эх, что и говорить...

— Ваше высочество, по положению князя Яблоновского и других лиц, в деле замешанных, никакая полиция не могла бы, не смела бы...

— Полиция все должна смочь, а главное, уметь все должна... Довольно. Ступайте. Кто там следующий?..

— Слушаю... Виноват, ваше высочество, должен только еще доложить...

— Что там еще? Скорее, пожалуйста...

— О Згерском-Каша. Удалось доподлинно узнать: это не только двойной предатель, но просто негодяй и против нас... Даже осмеливается против вашего высочества... Вот удалось перехватить его письма... И копии донесений, которые он через свое начальство шлет даже в Петербург...

— Гм... вот как!.. Теперь любопытно будет посмотреть, как станет заступаться за мерзавца его «начальство», лиса Новосильцев... Хорошо, я погляжу. Идите.

Последним явился Любовицкий. Ему пришлось выслушать почти все то же, что и Жандру, только еще в более энергичной, резкой форме.

— Бунтовать задумали ваши полячишки. А их покрывают, вместо того чтобы все вывести на чистую воду! Так ваш же князь Яблоновский вам свинью подложил. Всех назвал, самых опасных заговорщиков, только лишь узнал, что Пестель и Бестужев открыли государю свои сношения с ним и со всем польским центральным комитетом... Так, кажется, ваш Тайный Ржонд называется теперь?.. Князек, спасая свою шкуру, других и выдал. Вот ваши магнаты-вожаки... Прохвосты... Видел списочек: каштеляны, ксендзы, в первую голову стоят... И богач пан Малаховский и... Впрочем, о Малаховском мне княгиня говорила... Она думает: это по злобе наговорили на него... Я еще раз узнаю... И вы постарайтесь тут повернее разведать. Понимаешь?

— Понимаю. Да, сдается, и сейчас можно сказать, что графа Густава князь Яблоновский просто по злобе обнес. Вражда между ними давно. С чего бы вдруг вместе стали заговоры заводить? Ваше высочество сами видите: нет крупных имен в списке, данном Яболовским князем... Я все знаю, что в нашей шляхте делается. Порою сам прикинешься недовольным, осуждать начнешь русских. И никто из тех, что познатнее, не поддержит. Мелкота — волнуется. Им выгодны всякие перемены. А нашим магнатам и теперь не хуже, чем раньше жилось. Им нечего бунтовать... Вот народ, челядь, чернь... За ними надо глаз

да глаз... Спят и видят: передел устроить и в Варшаве, и в царстве...

— Руки коротки! Последние пальцы отрублю!.. Тут им не Париж... не Франция, не Италия карбонарская... якобинская!.. Так, думаешь, паны не собираются делать революции, а? Как думаешь?

— Борони Боже, ваше высочество!..

— Гм... а мне иное говорят. Черт вас разберет... Хоть бы скорей Зайончек поправился. Мне бы не так со всем этим возиться приходилось... Как он, не знаешь ли?

— Сам нынче видел яснейшего пана наместника, ваше высочество... Плохо его сиятельство себя чувствует... И доктора говорят... Года такие... раны старые... И духом, говорят, упал последнее время вельможный пан наместник...

— Упадешь тут духом, хоть и не хочешь... Такая каша зава... Да, о Згерском, об этой «каше» скверной не слышали ли нового чего?

— Нет, ничего! — глядя в глаза цесаревичу, ответил Любовицкий. Но что-то дрогнуло у него в лице, в глазах при таком, прямом с виду, ответе.

— Ничего? Хорошо... Следить особенно надо за приездами теперь. Вот, пишут мне из России, что некоторые из бунтовщиков после декабрьской бучи могли сюда кинуться, чтобы тут укрыться... Зорко следи... Да, хорошо, что вспомнил! Об этом, о пропащем... о Кюхельбекере читаны ли объявления по городу? Расклеены, где надо? Я у себя по войскам всюду дал знать. А у тебя, в городе?

— Исполнено, ваше высочество... Все знают, могу сказать...

— Да никто не выдаст, хотя бы и встретил беглеца? Знаю я вас, полячишек... Награду бы следовало обещать, что ли? Да неловко... И приказания на то не было. Я в войсках частно дал знать: за поимку — получит каждый... А по городу пустить, так иностранные агенты сейчас подхватят... Ну, да мы потом...

Стук в дверь прервал беседу.

Вошел камердинер и доложил о приезде Новосильцева.

— Новосильцев?! Наконец-то... Проси сюда... А ты ступай пока... Завтра уж.

И Константин, отпустив Любовицкого, двинулся навстречу позднему, нежданному, но, очевидно, желанному посетителю.

— Ваше высочество!..

— Ваше высокопревосходительство... Рад, рад видеть... Давно поджидал... Сюда, прошу.

Экран перед камином был уже поставлен на место. Новосильцев уселся в удобное кресло. Он постарел немного за последнее время. Седина засеребрилась в неизменно темных бакенбардах. Но казался все таким же живым, щеголеватым, как всегда, вошел своей легкой, бодрой походкой и свободно опустился на место, щуря слегка свои умные, хитрые глазки, потирая порой гладко пробритый подбородок выхоленной маленькой рукой.

— Уж не взыщите, ваше высокопревосходительство, что принимаю так, по-домашнему. Не хотелось, чтобы вы ожидали... А я тут работал с моими «архангелами» штатского и военного образца... Вот институтки, а не полицейские начальники. Ничего-то они не знают, как в первый день творения... Болваны!.. Нездоровится мне все что-то... Вот я по «вольности дворянства» так и посиживаю. Уж не взыщите: давно мы с вами знаем друг друга, ваше высокопревосходительство...

— Да, немало лет, ваше высочество, имею счастье быть удостоенным вашей дружбой... Что же тут за счеты?... Рад видеть в добром здравьи ваше высочество.

— Какое, к черту, доброе здоровье? Совсем раскис... Э-эх, прошло мое время. Совсем дошли года... То ли раньше было?! Знаете, как Ермолов поговорочку с Кавказа со своего привез...

И, подражая восточному говору, Константин со вздохом совсем искренним проговорил:

— «Малада била — яничар била. Стара стала — дерма стала!..» Хе-хе-хе... На покой бы уж пора, — своим голосом закончил он, уснащая русскими выражениями французскую речь, — комендантом в какую-нибудь Цуруканскую крепость... Так-то, ваше высокопревосходительство!..

С самого появления Новосильцева какая-то перемена сразу стала замечаться и в речах, и в обращении Константина. Не только исчез всякий оттенок начальственности, совершенно неуместный в беседе с первым гражданским сановником, статс-секретарем царства Польского, но даже в своем измятом холщевом шлафроке император принял более светский, бонтонный вид. Как будто по впечатлительности натуры он невольно заражался от каждого собеседника той преобладающей чертою души, которая отличала последнего. И, конечно, лощенный,

всегда сдержанный, элегантный Новосильцев даже этого князя, прозванного «деспотическим вихрем», мог заражать только особой светскостью и сдержанностью. Это происходило как бы помимо воли Константина, он словно был даже недоволен известным рода стеснением, какое испытывал при Новосильцеве. Тем более, что цесаревич в душе его опасался скорее, чем уважал. Но теперь даже самые интонации голоса Константина звучали в унисон с мягкой речью вкрадчивого, умного царедворца-сановника. Даже клятвы и брань, вылетающая все-таки порою из уст Константина, не звучат обычной своей яркой сочностью и размахом.

— Да, да, миновали наши годочки! — любя повторения в речи снова вздохнул цесаревич. — В инвалиды пора, на покой...

— Рано еще, ваше высочество. А как чувствует себя светлость, княгиня Лович? Все ли в добром здравьи?

— Благодарствуйте. Надеюсь, не откажете пройти к ней выпить чашку чаю после окончания наших дел? Вот и отлично. Ну-с, чем порадуете, ваше высокопревосходительство? С чем приехали? Намечен состав комиссии? Столковались?

— Как же, как же. Все исполнено, согласно желанию вашего высочества.

— Моему желанию? — с легким изумлением переспросил Константин. — Да, насколько я помню, вы, Николай Николаевич, ознакомясь с допросом князя Яблоновского, с его ответами, присланными мне государем, узнав, что здесь по воле моего брата Николая надо хорошенько расследовать дело, сейчас же посоветовали учредить следственную комиссию, вроде той, какая работает в Петербурге по делу о декабрьском бунте... С той разницей, что ее работы должны носить гласный характер... И состав этой комиссии, по-вашему, наполовину из наших, наполовину из поляков, должен давать гарантию местному обществу, всей Польше и иностранным державам в полном беспристрастии следствия... Не так ли?

— Совершенно верно, ваше высочество. И вы изволили немедленно согласиться со мною, пожелали, чтобы я выполнил то, о чем было сказано... и вот...

— Ну, в таком случае вы правы, как всегда, ваше высокопревосходительство... Мог ли я не пожелать этого, когда вы так ярко подчеркнули мое затруднительное положение в настоящем деле... Тут вы были особенно пра-

вы. Назначь я, согласно совету из Петербурга, негласное расследование, поднялась бы целая буря нареканий против меня и здесь, и за границей... Мое положение, действительно, теперь особенно щекотливо. Целых десять лет, выполняя волю покойного государя, мы здесь действовали на строгих законных основаниях, соблюдали вольности, данные с высоты престола... на сколько то было возможно... И вдруг сразу и так круто повернуть назад? Скажут, что я один виной. Здесь знали до сих пор меня как друга и защитника. Как же мне нарушать все, что насаждалось столько лет?.. Вы прекрасно это поняли и дали мне хороший совет, за который я признателен, поверьте, ваше высокопревосходительство, от души... и не будем спорить о словах: я желал, так я желал... Что у вас за списки?

— Состав комиссии. Прикажете прочесть, ваше высочество?

— Дайте, я сам просмотрю... Презусом граф Стась Замайский? Что же, палатин, президент сената, истый джентльмен... Хорошо. Члены... оба Грабовские... сенатор и министр? Прекрасно. Свои люди... и граф Соболевский как министр юстиции, понятно. Военный министр, генерал Гауке... Да, да, надо и его. Шестым Раутенштраух... Разве надо их шесть? Ах, да как секретарь, понимаю... Ну-с, теперь свои. Мой Курута. Так, это прежде всего... Вы, конечно. Это было мое первое условие, если помните... барон Морснгайм. Он деловой. У него связи везде. Так. Кривцов. На него можно положиться. И Колзаков. Он экзекутором? Хорошо. Дело пойдет. Такой комиссии, ее работе все должны поверить... Я так и напишу брату Николаю... Вот одно еще. Скажут, что нет людей со стороны, от польской неслужилой шляхты. Что все министры!.. Как вы об этом полагаете, Николай Николаевич?

— Полагаю, об этом и вопроса не будет. Хотя тут собраны все министры его императорского и королевского величества, но это люди, известные целой Польше... люди разных воззрений, оттенков в политических своих взглядах, в своих партийных наклонностях. Такой состав удовлетворить должен всех... конечно, настоящих патриотов, а не зазорных демагогов, ищущих везде и всюду предлога для смуты и вражды...

— Вы правы, Николай Николаич, снова должен сознаться... Все так и напишу государю... Он утвердит нашу комиссию, и сомневаться нечего. Нам тут виднее, как нуж-

но действовать во благо местного народа и для успокоения нашей родной России... Конечно, он утвердит... Деньков через десять, с Божьей помощью, примемся и за работу... А пока надо собрать всех молодчиков, на которых указал Яблоновский... Не разбежались бы зайчики раньше времени... Я принял меры, что касается военных. А вот статских... особенно патеров, ксендзов этих, иезуитов...

— «Отцы» эти от нас тоже не уйдут, не успеют, ваше высочество... будьте покойны. Знаете, как я люблю эту братию...

— Да, в этом мы сходимся с вами вполне... Каштелян почтенный, Солтак... Я его давно заметил... и ксендз Дембек... Попались, голубчики... Не упустить бы их.

— Не упустим, ваше высочество... Они не подозревают пока... Распоряжения сделаны... И когда настанет момент...

— Мы их и цапнем! Ну, в добрый час... Не все им нас дурачить... Просто, порою из себя выходишь. Давно я чувал, что дело нечисто тут... А никого и поймать не удавалось важного... Списки такие мне подают «подозрительных», как вы сами знаете, что ужас!.. Тысячи имен. А арестуешь кого и все зря. Концов не сыщешь. Хоть на волю сейчас же выпускай опять. Чист, мерзавец, улик никаких. А вместе с тем чувствуется: есть что-то!.. Да подковырнуть нельзя мерзавца!.. А то думается: не морочат ли меня всеми этими списками? Право...

— Не думаю, ваше высочество... Дело проще много... Если позволите, я скажу свое мнение...

— Пожалуйста, прошу вас...

— Я тоже одно время был в затруднении. Мсрял здешние дела по нашей, русской привычке, общей меркою. Заговор, значит собрания тайные, переписка, клятвы, проповеди... Словом, весь ритуал масонско-карбонарских содружеств.

— Ну да, ну, разумеется... А вы думаете, здесь?..

— Убедился, что здесь дело несколько иначе... Конечно, есть и заговоры... и тайные содружества, да больше среди зеленой молодежи... А главный заговор проще и неуловимей... потому что он затеян всем народом польским без всяких заклятий и предварительных совещаний... И мы, русские, сами создали этот заговор! Да, да... Я сейчас поясню свои слова, ваше высочество... Мы ли не знали и теперь не знаем, о чем мечтают все поляки от мала до велика, умные и дураки, старые и молодые?.. А именно...

— О восстановлении Великой Польши в пределах 1772-го года.

— Вот, вот, вы изволили сами сказать, ваше высочество... «Нераздельная Польша» да еще с округлениями изрядными в виде Литвы и Волыни... Что не раз было почти клятвенно им обещано... И ясно, что без всякого заговора, стоит нескольким полякам: трем... трем стам, трем тысячам заговорить об этом, они сразу споятся... Весь народ желает и ждет обещанного... Только сплоченности нет пока у них... Нет вождей... А лозунг и пароль готов... Знамя давно развевается...

— Вы правы... вы правы...

— Остальное понятно само собой. И «заговор»... и нет его!.. Говорят об одном и том же все, повсюду... Но в «шайки» не собираются. Нужды нет. И надо арестовать каждого заподозренного... И не стоит этого делать, всех нужно арестовать, если быть последовательным... Или всем дать то, что обещано... чего они ждут, как евреи своего Мессию...

— Не дождутся, дудки!..

— Да, и я так думаю... особенно теперь... А недовольство от этого только должно возрасти... И вам, ваше высочество, в первую голову придется столкнуться с неприятными проявлениями общего недовольства...

— Черт возьми... Вы снова правы. Приятная картинка, нечего сказать. Что же делать? Как тут поступить?

— Пока еще ничего нельзя сказать. Посмотрим, что будет в ближайшее время. Надо лишь действовать и поступать в одно и то же время — твердо, но и очень оглячиво, осторожно... Чтобы не было причин к излишним крикам, к назойливым жалобам и вытью. Поляки любят поднять крик на весь мир хотя бы по самому пустому поводу.

— Правда, правда... Вот если бы мой брат Николай имел все это в виду... Он же сам обещал в манифесте полякам: во всем следовать по стопам покойного императора. Это так порадовало всех. Я напому, напишу государю.

— А я уже даже докладывал в том же смысле... Жду ответа на мой доклад...

— Подождем... Но вы говорите: быть строже? Как же еще? Хватаем, кого попало. Знаете хорошо: все тюрьмы почти переполнены... Дворец в городе тоже пригодился: камеры секретные Брюллевские. Куда же еще? Не всех же, правда, полторы тысячи по списку, засадить... или...

— Нет, конечно, не надо. И то ропот идет. Я так, вообще сказал... Осторожность ни в чем не мешает! — глубокомысленно закончил свою уклончивую речь ловкий дипломат, видя, что он овладел в данную минуту доверием и мыслями Константина. К этому собственно, и вел дело Новосильцев.

Когда он умолк, цесаревич задумался, как бы снова размышляя обо всем слышанном от гостя. И вдруг спросил:

— Кстати, ваше высокопревосходительство, не хотите ли взглянуть на некоторые бумажонки, которые я получил по поводу этого господина, не безызвестного вам... Згерского-Каша... Вот-с. Интересно ознакомиться...

И он протянул бумаги, полученные от Любевницкого, Новосильцеву, который невольно с изумлением поднял свои ровные брови, но сейчас же снова придал лицу спокойный вид.

Сам Константин не ожидал за минуту, что задаст подобный вопрос, заведомо неприятный для гостя, покажет ему полученные бумаги. И по стихийности своей выпалил именно то, о чем думал раньше, но потом решил обойти.

Новосильцев тоже понимал, что цесаревич непроизвольно задал свой вопрос. Згерский-Каша находился под его личным покровительством, а Новосильцев именно сейчас особенно был нужен Константину.

Понимая все это, Новосильцев сделал вид, что совсем не придает важности ни вопросу, ни поданным бумагам, слегка взглянул на них и с любезным видом заметил, покачивая головой:

— Неприятнейший человек, ваше высочество... но он не будет больше портить никому расположения духа. Я согласился на его просьбу и он переведен на службу в Петербург... скоро едет туда...

— В Петербург?.. Он, этот?.. — краснея и сразу повышая голос, начал было Константин. Но сейчас же сдержался, тяжело передохнул и буркнул:

— Ну, черт с ним... Не до шпионишки этого теперь... пусть едет...

— Кстати, о шпионах, — как будто ничего не заметив, подхватил гость. — Нынче был у меня Макрот... Помните его, ваше высочество?.. Он еще вам понравился. Такой расторопный плут...

— Да, да, помню. Он много дельного показал. Что же?

— Говорит: напал на след какой-то авантюры, и важной, как он полагает. В связи с бунтом петербургским...

Какой-то эmissар тут появился... Он напал было на след, да после потерял снова. Обещает найти...

— На след? Из Петербурга? Эmissар? Что такое?..

Неожиданно почему-то Константину сейчас припомнились последние слова Лунина. Он уже готов был сказать о них Новосильцеву. Но тут же решил воздержаться и только заметил:

— Обещал, так сыщет. Нюх есть у подлеца... Пришлите его ко мне. Пусть сам расскажет... Интересно.

— Непременно, ваше высочество... Завтра позволите? Он явится с письмом от меня, как будто с просьбой...

— Ну, конечно. Что ж, кажется, все теперь? Слава Богу! Прошу ваше высокопревосходительство пожаловать к княгине. Я предупредил ее... А мне позвольте тут немного принять более подходящий вид... Я сейчас... Вот, — указывая на вошедшего по звонку Коханского, — он уж докладывал... и проводит ваше высокопревосходительство... Прошу!.. Я скоро, следом за вами... Прошу...

Новосильцев скрылся за дверью, а Константин еще долго оставался неподвижен, глядя куда-то перед собой. После всех разговоров этого вечера словно туман стоял у него в голове.

Прошло недели две после вышеописанной сцены.

Февральские метели злились, завывали, кружась и пролетая над затихшей Варшавой.

Какое-то унынье овладело городом, как предчувствие близкой, неотвратимой беды. Словно отголоски декабрьской драмы в Петербурге донеслись и сюда, испортили всем настроение, затуманили веселые дни Рождества, отравили веселье карнавальнoй, масляничной недели. Слухи, вести, одна тревожней другой, разносились повсюду, как крупные, легкие хлопья февральской метели кружатся, носимые взад и вперед порывами ветра...

Яростно бьется и слепо мечется метель в узких переулках и улочках Старого города, где высокие дома чернеют в полумгле ночной, как неприступные башни, как молчаливые твердыни заколдованной крепости. Вдоль широких просветов Нового Света, Иерусалимской, Уяздовской и Бельведерской аллей проносятся легко и властно порывы ветра, засыпая снегом дома и мостовую, запуская свои белеющие пушистые щупальца во все боковые улочки, углы и закоулки. Но особенно мощными порывами налетает

снежная буря со стороны Вислы, заполняя там все пространство от земли до неба живой стеною пляшущих снежинок, обдавая мрачные, закоптевшие твердыни города свежим дыханием ближних полей и лесов.

В субботу 6 (18) февраля весь день злилась вьюга, а к ночи стала еще сильнее. Снегом залепило освещенные окна домов; как шапкой накрыло уличные фонари, лишая последнего света узкие белые ущелья, в какие теперь обратились улицы Варшавы, исключая несколько широких прямых аллей и Нового Света.

На Сольце, тихой, пустынной сейчас, приречной улице, которая тянется вдоль Вислы от Тамки до Черняковской, стоит почти особняком дом-усадебка пана Ксаверия Мошинского, зажиточного торговца привозными коврами и другими тяжелыми тканями.

Есть у него лавка в рядах Старого Мяста, отпускает он ковры, портьеры, драпировки в палаты первейших магнатов. Даже цесаревичу, благодаря протекции Миттона и содействию Бронница, немало каждый год поставляет пан Мошинский. А сам со всей семьей, довольно многочисленной, с челядью и прислугой живет здесь, на Сольце, в родовом, просторном, хотя и скромном на вид, одноэтажном доме с мезонином, за которым раскинут большой двор и старинный сад, выходящий задами на самый берег Вислы.

Здесь же, в глубине двора, кроме людских, конюшен и сараев темнеют длинные, крытые черепицей, амбары-склады, где сложены горами запасы товару не на одну тысячу рублей.

Дом Мошинского угловой и окнами с одной стороны глядит в переулочек, почти всегда пустынный, идущий до самой реки. Высокий забор сада Мошинских служит продолжением дома, тоже спускаясь вниз, к воде.

Скромная улица Солец не тянется к небу многоэтажными домами. Только старинный костел во имя Св. Троицы возвышается здесь, темнея над рядами домов, как могучий дед-великан среди пигмеев-внуков.

Ровно сто лет тому назад сооружен этот костел и даже прославился своей чудотворной статуей Спасителя, стоящей в алтаре. Но теперь оскудела вера в народе и не стекаются сюда богомольцы, как раньше, густою толпой.

В этот субботний вечер обычная предпраздничная суeta наполняет дом и двор пана Ксаверия. Даже в глубине сада, занесенного снегом, в темноте движутся какие-то тени, колыхается, блестит блуждающий огонек ручного фонаря.

Здесь, ближе к воде, стоит просторная баня. После господ — и челядь, мужчины, потом женская половина, мылась здесь накануне праздника, как заведено в доме по старине.

Постепенно затихла жизнь кругом. Потухли оконца бани, красными очами глядевшие в темноту сада; потемнел весь дом, людские избы. Сон одел крылами этот уголок. Только сквозь щели ставень одной просторной горницы, спальни самого пана Мошинского пробивается наружу тонкими полосками свет, прорезая мглу ночной метели.

За большими торговыми книгами сидит крупный, плотный старик с густыми сивыми усами, скорее похожий на отставного вояку, чем на купца, и сводит счета, записывает, вычисляет что-то порой.

Полночь звонко отсчитали потемневшие английские часы в футляре, стоящие в углу, когда старик захлопнул свои книги, отложил перо.

Потянувшись и густо крикнув, он поднялся и перешел к шкафчику, приютившемуся у стены, достал флягу с какой-то настойкой, налил чарку, выпил, крикнул снова, теперь уже с удовольствием. Через минуту, накинув на плечи легкую шубку, он прошел на крыльцо, выходящее во двор.

Большой, коренастый пес с широкими челюстями, помесь бульдога с местной какой-то породой, узнал хозяина и с легким визгом кинулся ему навстречу.

— Ну, пойдем, пойдем, Мазур. Пора в обход. На челядь — плохая надежда, — лаская пса, сказал Мошинский.

Оба они неторопливо, спокойно двинулись в путь.

Недвижная фигура сторожа в теплом овчинном тулупе темнеет у ворот.

Не то задумался, не то совсем спит человек. Но при появлении хозяина сторож зашевелился, рука потянулась к шапке.

— Не спишь, Михась? Ладно, хлопче. Сторожи... Днем выписься. Все тихо? Все спокойно?

— Все, паночку, хвала Пану Богу! Только с вечера опять они тут шатались неведомо чего.

— Кто это?

— Да Юстысин кавалер... и другой, который бывает с ним...

— Ну, что же тут такого? Девку выглядывали. Поди, и ты бродишь порою под чужими воротами, если дома крали не подобралось?

— Нет, пане. Не краля у них на уме. Я сижу... а они и со мной заговаривали. Я словно дурковатым и прикинулся. А они все выпрашивали: что да как к дому ведется? Где амбары? Да не спит ли кто в них, да то, да иное... Да нет ли чужих в доме? Да кто бывает? Да много ли ходят?.. Часто бывает чужой?.. Я им сказал... Такое, что они плюнули и прочь пошли. «Дурень! — говорят. — Ничего толком не поймет и сам не скажет»... А я тут и приметил, что они за люди...

— Кто ж такие, по-твоему, хлопче? — сдержанно улыбаясь, спросил старик. Сначала он было нахмурился, но речи сторожа рассмешили его.

— Кто? Известно, кто... Либо злодеи, воры... Либо и того хуже: «иуды», шпики, от москалей подосланные... Вот кто! Ничего, что они поляки. Теперь свои своих продают.

— Может, ты и прав, Михась. Да нам с тобой бояться нечего. Ты парень смышленный. И я себя в обиду не дам. Спасибо за охрану... Ну, сторожи... А я пойду, огляжу все... Бог на помощь!

— Припадаю к ногам вашим, паночку!..

Дальше двинулся старик, сопровождаемый псом. Тихо, темно кругом. Не светится нигде позабытого огонька, могущего породить пожар; спят люди. Кони тихо пофыркивают изредка в стойлах своих, петухи перекликаться стали к полуночи или почуяв перемену погоды на завтрашний день.

Мошинский миновал двор и остановился у небольшой двери одного из сараев, совсем близкого к первым деревьям сада. Большим ключом отпер он прочную дверь и слегка приоткрыл ее, прошел нагнувшись, чтобы не задеть головой о верхнюю перекладину. Слабая полоса света вырвалась из двери в ночную темноту и сейчас же погасла, словно сломилась, как только закрыл за собою старик темную дверь.

Вдоль голых стен склада стояли большие ящики с нераспакованными товарами. В дальнем углу темнела груда ковров, на ней лежал человек, который при входе хозяина, стал сбрасывать с себя большую волчью шубу с высоким воротником, служащую ему вместо покрывала, и поднялся на ноги.

Мазур стоя еще за дверьми сарая, почуял там чужого и угрожающе зарычал. Но старик погрозил ему, цыкнул:

— Цыц, Мазур... Свои!..

Фонарь с зажженной свечой стоял на ящике у ложа, устроенного из ковров, и озарял помещение. Озаренные снизу, оба человека и собака кидали огромные странные тени по стенам до самого потолка кладовой. Когда оба человека протянули и пожали друг другу руки, тени почти слились.

— Пану Виллиму мой привет! — по-польски заговорил Мошинский. — Жив еще пан? Не замерз?

— Нет. Дзинькую вас, — с трудом, плохим польским говором ответил тот. — Шуба бардзо тепла... и ковры. Да и там, на дворе не холодно, должно быть? А?

— Нет, подует... Будем лучше по-немецки, пане... Я немного умею, господин Вильгельм. Научился, когда жил в Пруссах, — медленно, но довольно правильно повел по-немецки разговор Мошинский. — А вы что, читали? От скуки?

Он указал на томик Вольтера, лежащий у фонаря на ящике, заменяющем остальную мебель в этом неуютном жилище.

— Да, читал... спал... Ел. Видите: почти все уничтожено.

Движением руки он указал на блюдо и миску, белеющие там же на ящике рядом с фонарем.

Странный обитатель холодного амбара был на вид человек лет тридцати, сухощавый, высокого роста, но держался сутуло и это сильно скрадывало его рост.

Кроме того он слегка кривил стан на одну сторону, особенно на ходу, как человек привычный работать за письменным столом, склоняясь всегда в правую сторону. Его глаза навывкате, очевидно, были близоруки и привыкли к очкам. Но сейчас очков не было и приходилось глядеть, сильно щуря глаза. Голые щеки покрыты были свежим загаром от ветра и стужи, краснели сильнее обычного. Узкая, редковатая бородка и усы были чуть светлее его довольно длинных каштановых волос.

Коневые сапоги, простой, но чистый наряд русского крестьянина дворового дополнялся нагольным тулупом, опоясанным домотканым поясом. Сверху накинут был полушубок, крытый темной китайкой. На голове — грешневик и рукавицы за поясом довершали этот костюм, в котором, несмотря на его полную выдержанность, замечалось что-то маскарадное. Особенно выдавали руки, нервные пальцы которых, без следа рабочих мозолей, не были скрыты сейчас рукавицами и предательски белели из-под набегающих рукавов полушубка.

Это был не кто иной, как Вильгельм Карлович Кюхельбекер, выдающийся участник событий 14 декабря. Он успел уйти от ареста, покинув площадь Зимнего дворца, и теперь его разыскивали по всей России, в Польше и особенно здесь, в Варшаве, где он очутился и нашел приют в доме пана Мошинского.

— Пойдемте-ка отсюда на вашу прежнюю квартиру, господин Вильгельм, в баню. Там потеплее будет. Особенно нынче: весь день топили. Да и сами можете жечь топливо понемногу, пока темно, не видно дыму из трубы... Обогреетесь. А то совсем посинели вы тут...

— О, нет, ничего... не беда! — возразил своим протяжным, глухим говором Кюхельбекер, но стал поспешно собираться, спрятал в карман книжку, надел рукавицы, поправил шапку на голове.

— Шубу я возьму. В бане она вам не нужна будет, только стеснит... Идемте.

Потушив фонарь на ящике и захватив его с собой, первым вышел и огляделся Мошинский. Сделал знак, пропустил в дверь гостя и запер ее на тяжелый, висячий замок.

— Идите прямо! — шепнул он. — Я пойду следом, замету дорогу...

Так и двинулись они, гуськом, причем Мошинский краями шубы заравнивал свои и чужие следы, глубоко вдавленные в рыхлом снегу.

Метель тут же закидывала тропу, сыпала, запорашивала ее свежим снегом и помогала людям.

— Вот вы здесь снова можете просидеть спокойно до субботы. Никто не заглядывает сюда без дела, — зажигая фонарь, заговорил Мошинский, когда они переступили порог бани в сад. — Ставни снаружи заперты. Эти шторки мы тоже спустим. Хотя... из осторожности лучше не делать этого, особенно с вечера, когда челядь еще не спит...

— Ну, конечно... Можете быть спокойны, господин Мошинский. А что новенького делается, не скажете ли мне?

— Что лично вас касается, — завтра воскресенье. Вицек, сыночек мой, который вас привел, из школы явится. Он и скажет, что узнал по вашим указаниям. Что на свете творится? Вот, сами почитайте. Я для вас целую читальню припас. И газеты, и журналы тут. Все почти, какие в Варшаве найти можно было...

Он достал из глубокого кармана шубки своей большую пачку сероватых, синеватых, различного оттенка, газетных

листочков и положил на скамью, на которой оба они уселись в предбаннике.

Кюхельбекер быстрым, почти алчным движением перехватил пачку на лету и стал проглядывать один листок за другим, в то же время прислушиваясь к отрывистой, гудящей речи Мошинского.

— Видно литератора! — усмехнулся последний. — Как за святое причастие, ухватился за «листки». Ну, а что делается в вашей, русской столице теперь, — сами можете догадаться. Есть и тут слухи, да спутанные, темные. Тайно ведут там судебное дело... Тут, у нас иначе...

— Как, и тут?..

— А вы еще и не знаете? Как же... Я думал, сын вам сказал. Или не успел? Князь Яблоновский, после оговоров Пестеля и Бестужева, когда выяснилось, что Южная организация и с нашими масонами переговоры вела, — князь и выдал почти весь наш Центральный Комитет!.. Не скажу — целиком... а — почти...

Аресты усилились... из военных много взято: капитан Маевский, Кшижановский, подполковник... Это — важная птица... Дембека ксендза, Плихту да каштеляна Солтыка забрали. Пан Гжимало, Лаговский и Заблоцкий — попали им в лапы... Ну, там, еще помельче кое-кто... Комиссию назначили следственную: все министры наши, продажные души!.. Остальные — из ваших генералов. Послезавтра, после обеда первый допрос будет. Я во дворце узнал, от приятелей... Да что говорить! Какое это следствие? Какой суд! Поди, приговоры уже из Петербурга присланы вместе с приказами об арестах!.. Не дети мы...

Старик умолк, словно сам удивляясь своей необычной словоохотливости. Не говоря о том, что ему нечего было опасаться человека, которого он укрывал от тюрьмы и петли, — лицо, манера, голос Кюхельбекера располагали к общительности, вызвали на душевный обмен мыслями, от которого давно отвык вольнолюбивый, но осторожный старик-патриот.

Кюхельбекер печально покачал головой, но не задавал больше вопросов, как бы чуя их неуместность, ожидая, чтобы сам развернулся старик.

Но пан Ксаверий медленно, однако решительно поднялся со скамьи.

— Надо идти. Грейтесь, отдыхайте... Читайте... Спите... что вам захочется. А вот я и провианту немного захватил...

Из тех же глубоких карманов шубки и своего кафтана он добыл и поставил на скамью бутылку вина, две запечатанные фляги с какой-то наливкой и стакан толстого стекла. Из-под шубки явился на свет небольшой сверток в салфетке, который старик все время придерживал там локтем.

Развернув сверток на ближнем табурете, старик сказал, указывая на другие, меньшие свертки в бумаге, покрытой пятнами жира, лежащие на салфетке.

— Колбаска тут жареная, две куры, ветчины кусок и хлеб. Хватит пока. А сын вам еще подбавит, как придет... Сыру, вот, я захватил. С вином хорошо... Запритесь, господин Вильгельм, изнутри. А я вас снаружи еще замкну для безопасности... Доброй ночи. Не сучайте. Бог даст, избежете беду!..

Эти последние слова особенно ласково и странно прозвучали в слабо освещенном, низковатом пространстве, где еще пахло баней, влагой, распаренным листом березовых веников, неубранных и темнеющих кой-где на полу.

Легкая гримаса мелькнула на лице Кюхельбекера, словно он хотел удержаться от слез, против воли подступивших к горлу. Порывисто пожал он большую, сильную руку Мошинского своей нервной, слабой рукой.

— Я так вам благодарен... Только и могу сказать одно: благодарю!

— Ну, ну, не стоит... Сочтемся на том свете, угольками... Кураж! Не стоит духу терять. Будет время, я вам расскажу когда-нибудь, что мне перенести пришлось в молодые годы. Тоже под виселицей стоял. А теперь, видите: считаюсь не последним в Варшаве. Сам цесаревич знает и жалуется... Да, да. Что поделаешь? С волками жить, знаете... Ну, до завтра, господин Вильгельм... Я и то загостился у вас... Вон, вторые петухи поют...

— Ну, что новенького поведаешь мне, Юстуся?

С этими словами ксендз Дембинский отступил глубже в комнату от порога двери, ведущей в кухню, где стояла красивая краснощекая девушка, служанка Мошинского, которая на другое утро, в воскресенье, прослушав раннюю мессу в парафиальном костеле Св. Троицы, заявила к святому отцу под каким-то незначительным предлогом, как делала это и раньше не раз.

От стройной, крепко сложенной, полногрудой девушки, еще недавно пришедшей в город из деревни, пышет здо-

ровьем. Красные щеки, пунцовые губы, живые, плутоватые глаза, косы цвета спелой соломы — все привлекательно в ней, если и не поражает изяществом и совершенством, законченностью линий и форм.

Но невольно, при первом взгляде хочется крепко стиснуть в объятиях молодое, свежее существо и ласкать без конца.

Ксендз Дембинский, приземистый, плотный, краснощекий, с умными глазами и белыми выхоленными руками, был совсем под пару этой деревенской красавице и казался крестьянином-здоровяком, переодетым в сутану, скорее чем духовным лицом.

Когда девушка переступила порог, ксендз запев дверь и, указывая на вторую комнату, сказал:

— Пройди туда. Здесь моя старая ворчунья Христина любит подслушать порою, что в покоях говорят.

Вторая дверь закрылась за девушкой, лицо которой, и без того пылающее, теперь разгорелось еще больше.

— Ну, что нового? — повторил свой первый вопрос Дембинский. В то же время его упорный, тяжелый взгляд медленно обтекал, словно обыскивал, ощупывал всю девушку. Так опытный, знающий цыган-коновал, барышник осматривает по статьям новую, приведенную к нему молодую лошадку.

Смущенная этим упорным, знакомым ей взглядом, девушка негромко произнесла:

— С праздником, пане ксенже!

Неловко взяла протянутую ей белую, мягкую руку и приложила к ней горячими губами. При этом нежно, легко, словно нечаянно или мимоходом пальцы выхоленной руки скользнули по ее атласистому подбородку, по шее, по упругой груди.

— Ну, с праздником, уточка. Для того и пришла, поздравить? Благодарю. Ты — славная, благочестивая девушка. Бог тебе счастья пошлет за это... и жениха хорошего. Да, кажется, уже и есть у тебя жених?.. Ну, как не быть у такой уточки... Что же молчишь? Если дело есть, говори. Узнала что? Или тебе нужно? Я слушаю.

Ксендз опустил на кресло у стола, за которым темнел диван, принял более степенный вид, полагая, что тогда девушка перестанет смущаться.

Он угадал. Видя перед собой обычное лицо ксендза-наставника, а не ослабленную физиономию мужчины, как за минуту перед тем, Юстуса заговорила решительнее прежнего:

— Я думала... хотела спросить у пана ксендза. Дело такое, секретное. Правда, у меня есть жених, как я говорила вашей милости... Он мне недавно сказал, что служит у нашего тайного польского Ржонда... И клятву с меня взял, чтобы я не говорила никому... Но вам я же могу сказать, пане ксенже...

— Ну, конечно. Я — твой отец духовный... Кому же тебе и сказать все, как не мне? Мне интересно становится. Продолжай, девушка. Продолжай.

— Вот, значит, недавно мне показалось, что наш старый пан спрятал у нас на дворе какого-то москаля...

— Старый пан? Этот безбожник? Который годами и в дом Божий не заглядывает? Этот прихвостень и друг Бельведерских москалей?.. Говори, говори. Кого еще он там прячет? Где? Как?..

— Привел паныч, подхорунжий пан Вицек хлопа одного, будто по делу. Я прислуживала в покоях и слышала. А потом послали меня на кухню за чем-то. А хлоп исчез из покоев. И со двора не выходил... Я спрашивала сторожа. Потому мне Стась... жених приказывал поглядывать за всем, что у нас делается... А раз поздно вечером я в сад вышла... так, пройтись... Вижу, из бани, из трубы — дым идет... А баня заперта снаружи, пустая. Думала: домовой. А Стась засмеялся, как я сказала. Велел подглядеть. И правда: позавчера я подглядела. В субботу у нас баню топят... А в пятницу вечером паныч старший Казя переводил мужика из бани в амбар, в тот, что близко к саду...

— Вот что... Москаля прячет... Мало у нас их развелось в Варшаве... Ну, ну, что дальше?

— А теперь, нынче мой Стась придет ввечеру. Я и должна ему все сказать... Да и подумала: девушка я глупая. Теперь столько беды по Варшаве. Говорят, москали хотят наших вырезать, себе Варшаву забрать... А наши хотят выгнать москалей... И ходят, ищут одни других, подглядывают и потом в котлах варят бедных католиков в подвале дворца, что у Сасского сада... И... ужаси, чего не говорят. Я и не знаю: говорить ли мне моему Стасю, что я узнала? Или ничего ему не сказать? Или пану нашему сказать, что Стась велел за домом подглядывать? Я год всего тут... И не знаю, на каком я свете... Я Бога боюсь... Вот и пришла... Научите, панночку! Ксенже мой ласковый...

— Ах, ты моя птичка ласковая, какое у тебя сердечко доброе. Ты боишься зло причинить своим? Понимаю. Ну, подожди, я подумаю... Присядь...

— Я постою, пане ксенже...

— Ну, как хочешь. Да, постой. Ты уверена, что это москаль там прячется, а не католик, быть может? А?

— Какой католик, панночку! Я слышала, как он пришел и со старым паном по-польски заговорил, будто купить что-то хотел. Смех да и только. Разве же я католика от москаля не отличу? И зачем бы стал наш католик московскую одежду надевать?

— Ну, ну, хорошо. Помолчи. Я соображу.

Ксендз погрузился в раздумье. Девушка стояла у стены взволнованная, тяжело дыша. Но она была рада, что надумала прийти сюда. По крайней мере, на душе не будет греха: как скажет ксендз, так она и сделает.

И вдруг вздрогнула, заслышав мягкий, сдобный голос Дембинского:

— Ну, вот что, девушка: ты права. Католика не спрятал бы так твой пан. И для чего? Католику все пути из Варшавы открыты. Видно, русского шпиона до поры укрывает этот старый предатель нашей святой веры и отчизны. Какие-нибудь шашни с Бельведером и с Брюлевским палацом тут... Черт с ними. Можешь все сказать своему проходе Стасю. Кому он ни служит: нашим или вашим, а видно, напакостить желает пану Ксаверию. Пускай. И я его не очень люблю... И Бог ему не заступник, неверующему апостату... Если бы свой это был, конечно, молчать надо. А москаля можно выдать. Бог простит... Заранее отпускаю тебе грех твой, девушка.

— Ну, вот и слава Богу... Так я вечером Стасю скажу...

— Вечером?.. Молодец твой Стась... Каких он уток по вечерам стреляет. Ну, я тебе сказал... Только ты, вижу, очень взволновалась... устала. Домой еще далеко, в самый конец Сольца идти. Присядь сюда, отдохни.

Подойдя неожиданно вплотную, ксендз мягко, но властно взял за руку девушку и почти силой стал усаживать ее на диван, усадил, сам близко-близко наклонился над обессиленной от неожиданности и страха девушкой, шепчет порывисто, властно:

— Не бойся... сиди смирно... Не шевелись. Я не обижу тебя... Не возьму у твоего Стася ничего, что жениху получить следует... Не бойся... Смирно будь... Ничего не будет... Тс... смирно...

Темнеет в глазах у девушки. Нет сил голос подать, шевельнуть рукой.

Дыханье перехватило, сохнут губы не то от страха, не то от какого-то еще более сильного, жгучего переживания, которым охвачено и трепещет все ее существо.

В тот же день вечером Юстуся, более бледная, чем всегда, с усталыми глазами, но разряженная, как обычно по воскресеньям, вышла к воротам и поглядывала по сторонам улицы, сейчас оживленной и людной. Метель стихла и у каждого ворот показались группы челяди, парочки и целые компании гуляли по мосткам, проложенным по обеим сторонам улицы.

— К кавалеру своему, к Стасю поспешаете? — криво улыбаясь, спросил сторож Михасек.

— А хоть бы и к нему, да только не к вам. Вам зась! — отрезала девушка. — Зась и масла грудку!

И кинув презрительный взгляд на парня, который всегда ей не нравился за его грубый вид и насмешки, вышла за ворота.

Скоро к ней подошел невзрачный, рыжеватый, с плоским, невыразительным лицом человек, по виду — мелкий приказчик или канцелярский служащий. Усики, остро закрученные, топорщились и придавали лицу его нахально-глуповатый вид. И только глаза, острые, бегающие, были словно не на своем месте на этом незначительном лице. Пронзительный, вечно ищущий чего-то, упорный взгляд этих глаз, особая печать Каина во взоре могли более внимательному человеку сразу выдать ремесло этого предателя.

Расшаркавшись с лакейской грацией, Макрот, шпион-любимец Новосильцева, входящий теперь в милость и у самого «старушка», — подошел к Юстусе, которой при первом знакомстве выдал себя за писаря, служащего в магистрате.

— Добрый вечер, сердце Юстуся... Я уж давно тебя поджидаю, рыбка моя... Ну, что? Узнала что-нибудь? Чем порадуешь своего Стасика? — прямо к делу приступил опытный филер, заметив, в каком необычном настроении девушка, и полагая, что только важное открытие могло так повлиять на простодушную провинциалку.

— Узнала... скажу Стасю. Только побожись мне раньше...

— Все, что хочешь, моя рыбонька! Крест целую. Вон там, на углу Людной и вашей улицы стоит костел св. Бар-

бары. Перед нею побожусь... Хочешь, в костел пойдем и там я... — заторопился Макрот, убедясь, что попалась какая-то рыба и, наверное, крупная, если ее так берегут.

— Верю, верю. Слушай, я не хочу, чтобы наши узнали... Что я выдала... Если это случится, я от стыда в Вислу кинусь!..

— Сохрани Боже. Не подведу же я тебя! Да и глупо будет. Ты мне еще пригодишься у пана Мошинского. Он — хитрый старик... Да мы хитрее его. Мы так сделаем... Если правда, что прячет он кого... И если это тот, о ком я думаю... Долго он держать гостя взаперти не станет. Выпустит и в другое место гость пойдет или вовсе из Варшавы уехать соберется... Вот тут мы его и сцапаем. Да так, что никому и в лоб не влетит, что следили давно за птенчиком. Вот, скажем, идет он... А мы следим... Двое из наших подальше отсюда затеют драку на его пути, ему влепят, втянут в бучу... Тут полиция... Выйдет, что и не думали его поймать, а он сам попался... Поняла? Или нет? Ну, верь, тебя не выдам... Крест целую. Как Бога люблю, как Матерь Бога почитаю... Говори же: есть? Где прячется? Какой из себя?

Не успела девушка описать Макроту «москаля», как тот не выдержал:

— Да ведь это он самый...

— Кто? Кто?

— Дурной человек... враг нашей отчизны... за которого мне пару тысяч золотых в награду дадут. Тогда мы сразу и свадебку нашу справим, понимаешь ли, сердце Юстуса!

И в порыве, под кровом ночной темноты он горячо стал целовать ее.

Прошло еще четыре дня.

Крепко спал в своей бане Кюхельбекер, когда на заре был разбужен шумом поспешно раскрываемой двери.

Вошел младший сын Мошинского Вицек, стройный, высокий юноша, ученик пехотного отдела местной школы подхорунжих.

— Что случилось? Беда какая-нибудь? — спросил, бледнея добровольный заточник. — Вы за мною?

— За вами, да. Но беды пока нет никакой. Я, правда, видел кое-кого. Надежды на заступничество цесаревича нет и ожидать нельзя!.. Но вы уж это знаете. Тут есть другое.

Мы думали, чтобы до отъезда из Варшавы побыть вам здесь. Теперь обстоятельства меняются. Еще вчера мы узнали, что за вами следит... вас выдали...

— Боже мой... кто? Как?

— Не волнуйтесь. Все поправимо. Уже два дня я и отец узнали. Но пока не тревожили вас. Надо было приготовить вам другое убежище. На Праге есть у нас друг... надежный человек... Мы сейчас направимся к нему... Пусть станет светлос... Ночью покажется подозрительным наше путешествие... А как вас выследили?.. Сейчас скажу. Преданный отцу парень, Михась, давно подозревал одну горничную... Вечером она стояла со своим другом, сыщиком, как мы узнали, у забора нашего сада, на улице. Михась из сада подобрался осторожно и слышал их разговор. Словом, вам надо уйти отсюда. И немедленно. Я вам скажу, где мы встретимся на Праге, чтобы пойти не вместе... Есть костел старинный близ большого рынка. Подождете меня там. На рынке никто не обратит внимания на вас... Светает. Пора. Идемте.

Спустившись к самому берегу реки, юноша вынул доску из забора, перешел со своим спутником в чужой, соседний сад, потом в третий... Потом оба очутились на берегу Вислы и пошли вниз по течению, пока не дошли до улицы Тамки.

— Город начинает просыпаться! — останавливаясь, сказал юноша. — Берег пока безлюден. Идите вдоль реки до самого моста. А я возьму влево... С Богом...

И, проводив взором медленно удаляющуюся, сутулую фигуру Кюхельбекера, который с трудом шагал по дороге, занесенной снегом, юноша вздохнул и быстро скрылся в извилистых улочках этой части города.

Странная суета поразила Юстусю, когда она случайно выглянула с крыльца на двор во время обычной утренней уборки покоев.

Все двери обоих амбаров, служащих складами, были раскрыты настежь.

Пан Мошинский переходил из помещения в помещение, распоряжался, люди переносили тюки... Раскрыт был и тот склад, где, как знала девушка, одно время прятали таинственного «москаля».

«В бане он, значит!» — подумала она. Но, словно отвечая на ее мысль, старший паныч окликнул ее:

— Юстуся, я на охоте вчера прозяб, прознобился, должно быть. Попробую в бане помыться потеплее... Вот ключ, дай Фросе: пусть протопит ее скорее...

Схватив ключ, Юстуся даже не отдала его Фросе, а сама кинулась в сад.

Заскрипела дверь, распахнулась... Пусто в бане, никого. И следа нет, чтобы сидел тут кто-нибудь. Все как всегда... И старые веники на полу... Глазам не верит девушка.

Неужто ушел? Когда? Как? Вчера еще видела она свет тут сквозь щелочку в ставне... Не побоялась девушка поздно, когда спали все, сюда проскользнуть. Только Мазур помешал: тут лежал и рычать на нее начал... Словно ему сторожить было приказано баню эту... И вдруг пусто! Не может быть!..

Передав Фросе приказание паныча, весь двор обошла Юстуся: нет больше похоронок, чтобы человека спрятать. Как нарочно, все на виду, все двери раскрываются перед нею... Будто ее и ждут...

Мрачная вернулась в дом девушка. Едва вечера дождалась. А когда вечером выбежала к поджидающему ее Макроту и поведала все, когда он убедился, что птица улетела, — так только плюнул, свистнул и выругался со злобой:

— Дура! Устеречь не могла! И я, столб подорожный... Второй раз зайца упускаю... Эх!

Не прощаясь, повернулся и ушел.

С тех пор не видала его больше обманутая девушка.

Еще неделя минула. Третье марта настало по новому стилю.

Вешний считается месяц март. И правда, по-вешнему светить стало солнце. Капель к полудню капает с крыш, сосульки свисают и тают, острые, стройные, прозрачные, как хрустальная бахрома, окаймляющая потемневшие, влажные края островерхих крыш...

В полдень, в самый пригрев, когда золотой диск солнца выбился из толпы утренних облаков и висел, ослепительно яркий, в прозрачно-голубом небе, — у рогаток Гроховского въезда, ведущего от пригородной деревни Грохово в предместье Прагу, среди повозок и возов, в кучке мазуров, селян и обывателей самой Праги, возвращавшихся домой из-за заставы, темнела сутулая фигура Кюхельбекера в его гречневике и тулупе, крытом китайкой.

Здесь, как и у всех въездов в Варшаву, стоял военный караул, опрашивал каждого, кто выезжал или въезжал, минув рогатки. Городские сборщики, дежурящие тут же, взи-мали пошлину со всего, что ввозилось на продажу, а караул вообще проверял, кто идет и едет, в виду тревож-ного времени, переживаемого теперь.

— Что есть за человек? — задал обычный вопрос ка-раульный, поляк с погонами 4-го линейного полка, когда пришла очередь Кюхельбекеру миновать рогатку.

— Иван Алексеев, крепостной барона Морнегейма, пан-ночку служба! — наполовину по-русски, наполовину по-польски ответил Кюхельбекер, снимая шапку и отвешивая поклон. Крепостной я барона, пана нашего... Моренгейма...

— Слышал... знаю... За городом был зачем?

— Вот разве ж пане служба сам не знает? Знакомый у меня корчмар тут, близенько... А горелка за городом дешевле ж, чем в месте...¹ Мы с кумом и побывали в корчму... и заночевали. Кум еще спит, а я поспешаю, не то...

— Ну, разболтался... проходи, «кум»...

Поклонился Кюхельбекер и быстро двинулся вперед...

Действительно, в загородной корчме был он. Но, ко-нечно, без кума и не потому, что там водка дешевле. Надо было столковать с евреем, хозяином корчмы, как уехать отсюда и добраться безопасно до границы. До австрийской, конечно, не до прусской. Пруссия, вон, недавно, выдала даже генерала Умянского, на которого указал князь Яблон-овский, как на участника заговора...

«Если бы еще знать по-польски! — думает он. — И сам бы добрался, куда надо. А без языка сразу влетишь...»

Но теперь последняя забора спала. Нынче вечером он должен вернуться в корчму. Подвода будет готова, провод-ник есть и за недорогую цену. Остается только повидаться с людьми, приютившими его по просьбе Мошинских. Там он получит и деньги на дорогу... и в путь, подальше от этой опасной Варшавы, где о нем читали оглашения, где уже охота началась за ним, как по зверю...

Пригретый солнцем, думает, идет и разморился он со-всем.

«Значит, туда, на Запад! Навсегда прочь от родины... Что делать? Так тяжело, печально живется в родном краю людям с душой».

¹ Место или място — город.

Он вздрогнул: вдруг пронеслись перед ним страшные картины печального дня на Зимней площади... Возбужденные лица, хриплые голоса... Густые толпы народа. Ряды войск, одни против других... Братья против братьев... Рукопашные схватки... Неотточенные сабли нападающих не секут, а дробят тело и кости. Стеной темнеют каре бунтующих отрядов и удары их штыков пронизывают родные груди... Потом залпы орудий... дым, грохот... визг снарядов... рвется картечь, выхватывает людей из рядов... Пятна и лужи крови на снегу... Бледные, искаженные лица, посиневшие, багровые... И все бегут, как слепое стадо, обезумленное бурей. А сзади новые залпы картечи... еще сотни жертв падают в корчах и остаются на алеющем кровью снегу...

Заранее зная, что все обречены на гибель, шли его товарищи, братья! И — погибли...

Нет, лучше не вспоминать, не думать! Прочь, ужасные картины... Лучше скорее прочь от родины, где возможно все это... На волю, навсегда...

И больше, пожалуй, никогда не придется увидеть семьи? Бедная матушка — старушка... Живая, веселая сестричка Юлия... Старшая сестра, грустная, ласковая вдова, которая его так любит... Брат, который сейчас, быть может, на допросе... его изводят, мучают, быть может... А он здесь, на свободе... Что же? Явиться туда, увеличить собою число бесполезных жертв? Доставить лишнее торжество этим ненавистным людям, которые злорадствуют и ликуют, потешаясь над побежденными, незащитными собратьями? Умно будет, нечего сказать... Немецкая сентиментальность сказалась, конечно... Вышло бы совсем и «кюхельбекерно и тошно!» вдруг припомнилась ему строка из эпиграммы этого незабвенного товарища, Саши Пушкина...

«Сверчка», как его называли в ихнем кружке... Милый «Сверчок». Не придется больше слышать его пламенных речей, вдохновенных стихов и колких куплетов-эпиграмм, не придется видеть сверкающих очей, когда он говорит о родине, о свободе, о мщении тиранам!.. Впрочем, кто знает? Там, за рубежом еще они могут встретиться... Какое счастье, что его не было с ними в эти страшные минуты... Судьба спасла своего избранника! Не для кровавой жертвы назначен этот необычайно одаренный человек... Правда, и Кюхельбекер сам вдохновляется нередко... Но разве можно сравнить его писанье с чудными строфами этого «Сверчка»? Хорошо, что он уцелел. Друзья не подведут его. Они до-

рожат этим гением... сберегут для родины поэта... А он, Кюхельбекер, он тоже постарается недаром прожить на свете... Будет и за рубежом работать для благо родного народа... Он еще молод... Если судьба до сих пор берегла его среди стольких испытаний, его одного из сотен других товарищей и друзей, соратников этого страшного боя, — значит что-то ждет еще хорошее впереди...

От этих мыслей близорукие глаза засверкали живее, стан выпрямился и бодрее зашагал Кюхельбекер. Уже со звучаия стали слагаться в его восторженной голове: не то гимн свободе, не то песнь весны...

— Слепой ты, что ли, человек, что на людей лезешь! — раздался окрик прохожего, на которого в этот миг натолкнулся мечтатель.

Сняв шапку, он стал бормотать извинения, едва удержав привычное «pardon» — готовое слететь с языка. Но прохожий уже удалялся, очевидно, торопясь куда-то и не слушая ничего.

Кюхельбекер огляделся: совсем незнакомая улица и дома окружали его.

Невдалеке желтела караулка и тянулись казарменного вида здания. Там мелькали знакомые ему воротники лейб-гвардии волынского полка. Перед ним раскинулась небольшая площадь с лавочками, лотками, навесами.

Очевидно, замечтавшись на ходу, он повернул не в свою улицу и теперь надо идти обратно.

Чтобы сообразить, куда теперь двинуться, Кюхельбекер, стоя на углу, оглядывался во все стороны. Спросить кого-нибудь о дороге он не хотел, чтобы ему, в свою очередь, не стали задавать опасных вопросов, на которые не сумеет он даже и ответить, как совершенно чужой в городе человек.

Заметив, что главным образом люди идут в одну сторону, должно быть, по направлению к Варшаве, Кюхельбекер решил двинуться за всеми. От моста он легко найдет дорогу и к тому дому, где приютили.

Он не ошибся: очень скоро перед ним открылась широкая прямая улица, ведущая к реке, к мосту, соединяющему предместье с городом. Постояв, поглядев Кюхельбекер повернул обратно и двинулся по настоящему пути, но чуть не столкнулся с коренастым молодцеватым унтер-офицером волынцем, шедшим ему навстречу в сопровождении солдата, у которого была большая корзина в руках.

Этот унтер-офицер еще на площади перед казармами заметил Кюхельбекера, стоящего на углу и растерянно кидającego во все стороны близорукие взгляды.

Странная фигура земляка, который по одежде сразу выделялся из окружающей его толпы обывателей варшавян, сначала просто заинтересовала волынца. Но вдруг маленькие, колкие глазки на калмычком, скуластом, но смышленном лице загорелись. По чертам промелькнуло такое выражение, как будто волынец увидал доброго приятеля.

Когда Кюхельбекер двинулся вперед, волынец пошел за ним, весь как-то подобрившись, насторожась, как это делает хорошая легавая ищейка, близко почуявшая дичь.

— Винов... Не взыщи, служба! — давая дорогу волынцу и торопясь пройти мимо, проговорил Кюхельбекер.

— Ничего, ничего, землячок... Нам по дороге! — вдруг тоже повернув, ответил бравый волынец, словно сверля взорами лицо «земляку». — Ты, видно, с пути сбился? Я видел, давеча, огляделся кругом? Куда идешь, земляк? За каким делом? Чей ты будешь сам?

Быстрота и настойчивость вопросов, непрошенное сотоварищество в пути, а, главное, эти колючие взоры braveго волынца кинули в холод Кюхельбекера. Но он постарался подавить непрошенное ощущение робости и заученным тоном отвечал:

— Крепостной я человек барона Моренгеймова... Иваном звать меня, Алексеевым. А ты кто будешь, земляк?

— Лейб-гвардии волынского полка унтер-офицер Никита Григорьев. Да за каким же делом ты послан? Куды идешь, что сам не ведаешь дороги?

Пока говорил Григорьев, Кюхельбекер сообразил, что ему дальше отвечать. Он знал, что командир волынцев генерал Есаков имеет брата в офицерах в конно-артиллерийском полку. Если назвать эту фамилию, конечно, хорошо знакомую назойливому унтеру, тот удовольствуется ответом и отстанет. И протяжно, кривя слегка по привычке рот, Кюхельбекер проговорил:

— Да послан я, вишь, к офицеру... к Есакову... Где живет он тут, не знаешь ли, земляк?

— Фьюю! Куды ты попал!.. Не здесь он живет... Да ты сам давно ли в Варшаве?

— С год будет... только выходил мало куды со двора... Вот и не знаю: куды идти?.. Сказывали: на Праге...

— Ну, нет, земляк... Генерал Есаков, наш командер, живет здесь, верно... А офицер? Нет... Брат его тут не

живет... Да вот што, земляк, пойдем, я провожу тебя к самому к генералу нашему. Там тебе и скажут: где евонный брат живет... Идем, провожу...

По знаку Григорьева солдатик, шедший за ними немного позади, тоже пошел рядом с Кюхельбекером, с другой его стороны, совсем как под конвоем сопровождая растерянного человека.

— Помилуй... нужды нет... Не утраждай себя, служба... Я и денег не имею при себе... И поблагодарить-то тебя не смогу... за труды, за проводы твои... Ты скажи, как путь держать? Я и сам дойду... Не трудись! — бормотал Кюхельбекер, чувствуя, что холодеет от близости какой-то большой неизбежной беды. Потом ему стало нестерпимо жарко и он, сдернув рукавицу с руки, стал нервно отирать свой влажный лоб, позабыв о всякой осторожности, но вдруг опомнился, быстро сунул руку в рукавицу.

Однако было поздно.

По-звериному настороженный взор Григорьева приметил и белизну кожи на руке, и не народный совсем жест, когда «земляк» нервно, в несколько приемов ладонью осушил испарину вместо того чтобы широко, тыльной частью руки, а то и концом рукава провести по вспотевшему лбу.

— Чего благодарить? — словно с какой-то затаенной усмешкой заговорил Григорьев совсем твердо, уверенно теперь. — Идем, провожу. Без платы дело обойдется. Как «земляку» не помочь на чужой стороне? Да коли еще брата нашего генеральского розыскать тебе велено... Не туда, не туда поворачиваешь, землячок... Сюды вот, к караулке... Вот она, видишь, близехонько... Прямо, прямо... Не отнекивайся. Сейчас дело с концом будет... Господа твои и бранить не станут, что долго блукал-де по городу... Вот, сюда!..

«Да, всему конец! — гулким, похоронным эхом отдалось в душе Кюхельбекера. — Попался... теперь, когда спасенье... когда свобода...» — оборвав мысли, молча шагая между двумя «земляками», переступил он дверь караулки.

— Пожди здесь малость, дядя Иван... Так, сдается, тебя зовут? Баронов Мариньеймов ты? Я здоложу... сейчас и узнаем... Пожди маненько...

Когда Григорьев скрылся, искра надежды загорелась в душе изловленного беглеца.

Овладев собой, стараясь собрать мысли, которые носились в мозгу, как стаи напуганных птиц, он переждал ми-

нутку и с самым спокойным видом двинулся к раскрытой двери, которая вела из сеней караулки на людную площадь. Стоит очутиться за порогом... Смешаться с толпой, скользнуть в ближайший переулок... И все спасено... Ведь он еще не арестован. Часовой не остановит его. А этот солдатик, спутник Григорьева, стоит со скучающим видом и глядит в ту же дверь, на людную площадь...

Медленно двинулся пленник, оглядываясь, словно ища для нужды укромного уголка... Переступил порог... спустился по избитым ступеням караулки... Только бы за угол за ближний завернуть... Всего 5—6 шагов... Тихо идет он. Сердце бьется так сильно, что дух перехватывает... Вот, еще шаг... Боится оглянуться... Один только шаг...

— Да ты куды, земляк? — вдруг раздался голос солдата, в первый раз нарушившего свое молчание. — Не уходи далеко... Унтер не приказывал... Он вернется, гляди, забранит... Ну, поворачивай, землячок... Закоченел, что ли? Так тепло нынче...

Не заметил пленник, что, уходя, шепнул что-то солдатику Григорьев.

Едва передвигая ногами, вернулся в караулку Кюхельбекер.

А Григорьев в это время, стоя перед караульным офицером, прапорщиком Суровцевым 2-м, вытянутый в струнку, грудь колесом, докладывал с торжествующим, но почтительным видом:

— Изловил, вашескородие... Тот самый, бунтовщик, что в роте читано с приметами... при награде обещании... Рот кривит, как при разговоре... руки господские, не мужичьи вовсе... И так, вот ровно с него списано, что читали в роте... Он, вашескородие, не извольте сумлеваться... Мне, значит, награда, вашескородие... я изловил... Он, никому другому, враг царю-отечеству. Он самый!..

Скучно тянулось утро в карауле у прапорщика. Когда явился Григорьев со своим необычайным докладом, Суровцев не поверил и резко обругал унтера за нелепую старательность и подозрительность. Еще узнает барон, близкий самому цесаревичу, что его слуг по караулкам держат, шум поднимет, неприятностей не оберешься.

Но Григорьев, не моргнув глазом, проглотил брань, выслушал окрик начальника и все свое твердит.

Смутился, задумался прапорщик.

А вдруг правда? Тогда еще хуже. Значит, на его долю выпала печальная обязанность: арестовать несчастного бег-

леца, потом — заточение, суд... Петля, конечно, как и всем участникам той кровавой затеи. И он, прапорщик Суровцев, должен передать палачу своего собрата...

— Убирайся к черту, Григорьев. Все ты врешь! Отпусти мужика и не путайся не в свои дела! — вдруг решительно, грубо крикнул он прямо в калмыцкое лицо унтеру.

Но тот и не пошевелился:

— Никак нет, вашескородие!.. По приказу начальства бунтовщика поймал... Как от его императорского высочества приказание строгое: ловить и доказать... Извольте принять, вашескородие? Либо прикажете в роту отвести? Там, по начальству, значит?..

Унтер уже готовился сделать полуоборот к дверям.

Но прапорщик поспешно остановил его.

Отпустить его и беглеца? Этим не спасешь несчастного. Только себе неприятностей больших наживешь! Надо еще попробовать, посмотреть: не удастся ли как-нибудь иначе спасти бедняка? Молодое сердце и душа прапорщика не мирились с необходимостью передать человека на суд, на казнь...

Но Григорьев смотрел слишком зорко своими колючими глазками... Арестованный совсем плохо играл роль и сбивался при каждом, самом пустом, вопросе, хотя доброжелательное отношение Суровцева сквозило в тоне голоса, в каждом движении юного прапорщика.

— Вот что, Григорьев, — наконец объявил приведенный в отчаяние прапорщик. — Я сейчас сдам его караульному, пусть сведут молодца во двор к барону. Это лучше всего. Не признают его там, тогда к коменданту. Пусть сам допытается: кто этот молодчик? Ступай себе.

— Так точно, вашескородие. А я, значит, как изловил бунтовщика его императорского величества, Кукельбякина, про которого в роте объявка была... Так тоже сопровождение должен иметь при конвое... Слушаю, вашескородие.

Сжав кулаки, выругался глухо сквозь зубы Суровцев.

— Ну, черт с тобой, упрямое животное. Ступай, сопровождай, делай, что хочешь!

— Слушаю, вашескородие. Пойдем, господин Кукельбякин, либо Иван Лексеев, как вы там объявляли про себя? К барону вас доведу. Все одно...

— Не стоит... Не ведаю, куда вести не надо!.. Я знаю, господин прапорщик. Я Кухельбекер... Он верно говорит!.. Догадался, его счастье, — в порыве холодного отчаяния, но с наружным спокойствием, своим глухим,

протяжным голосом заявил беглец. — Ведите меня, куда следует...

— А вас... благодарю, господин прапорщик, — обратился он уже с порога к смущенному Суровцеву.

Не прошло и двух часов, как Кюхельбекер, опрошенный наскоро комендантом Левицким, которому подтвердил свое признание, очутился в одном из покоев Брюллевского дворца, часть которого была отведена под канцелярию цесаревича.

Лысый, своими слезящимися глазами, лицом и оскалом челюстей напоминающий кролика, аудитор Иовец приготовил очиненных перьев, резанной четвертушками бумаги и готовится записывать показания.

Генерал-майор Кривцов по распоряжению цесаревича явился делать допрос.

Хмурится Кривцов, но и этому привычному служаке жаль бегльца. Он подробно, но не резко допрашивает его. Иногда заглядывает в бумажку, полученную от цесаревича перед допросом.

После волнений сегодняшнего утра силы оставили бегльца. Наступил общий упадок. Все словно стало безразлично для него. Об одном думает: не обмолвиться бы в показаниях, не повредить бы чем своим друзьям в Петербурге и особенно тем, кто здесь укрывал и помогал ему.

Медленно, усталым голосом дает ответы, вдумываясь в каждый вопрос, чтобы не попасть в ловушку.

Быстро, со скрипом скользит гусиное перо по сероватым четвертушкам бумаги. Как ни медленно говорит беглец, но речь у него сжатая, связная. Ни одного слова нельзя пропустить. И едва поспекает аудитор за допросом. Листки исписанной бумаги ложатся один на другой...

Когда допрос уже подходил к концу, в соседнюю комнату, куда дверь осталась приоткрытой, кто-то вошел.

Кюхельбекер не обратил внимания на это, но Кривцов невольно подтянулся. Он знал, что сам Константин пришел послушать: как идет дело?

Подойдя к полуоткрытой двери, Константин тихо опустился в соседнее кресло и стал слушать.

— Ну, вот и все пока! — наконец объявил Кривцов и обратился к аудитору. — А у вас как? Готово?

— Готово, ваше превосходительство! — дописывая почти на весу, на лету последнюю строку, отозвался Иовец, который тоже слышал и догадался, кто пришел за дверью,

и вовсе не желает ударить лицом в грязь перед такой высокой особой.

— Желаете прочесть свои показания, перед тем как скрепить их? — обратился Кривцов к Кюхельбекеру.

— Я хотел бы... но без очков не могу... Нельзя ли прослушать? Может быть, они?..

— Конечно, можно. Читайте, господин аудитор. Внятно, медленно...

Усевшись поудобнее, он стал и сам прислушиваться к чтению. Интересно, как вышел допрос? Ведь бумага идет прямо к государю.

Слушает и беглец. Волнение снова овладело им, лицо покраснело. От напряженного внимания жилы обозначились на лбу, на висках. Что, если как-нибудь он проговорился о том, чего не хотел сказать? Сейчас усталая память даже не сохранила в себе всех подробностей только что оконченного допроса. А вот назойливо лезет в ум песенка, которую они с Пушкиным распевали в дортуаре Царскосельского лицея... Мотив звучит... И еще вспомнился до обмана ярко запах духов: «её» духов, той, в которую он был влюблен в первый раз в жизни... которую...

«Что за вздор?! Прочь все это... Надо слушать свои показания. Это сейчас важнее всего».

И он вслушивается в монотонное, четкое чтение аудитора. И против воли, неуместная дремота вдруг начинает овладевать им...

«Слушать, слушать надо...»

Слушает чтение и невидимый свидетель этого допроса, Константин.

Четко звучит голос аудитора:

«...опознанный унтер-офицером л.-гв. вол. полка Никитой Григорьевым, при допросе показал: «Я зовусь Вильгельм Карлов сын Кюхельбекер, двадцати девяти лет, лютеранин, коллежский ассесор, отставной из дворян. Отец в чине статского советника, скончался, есть мать — старуха, живущая при старшей сестре. Брат, в гвардейском экипаже, лейтенант и ротный командир, и две сестры. Старшая, вдова профессора дерптского университета, Глинки, живет с матерью в своей деревне Закупе, в Смоленской губернии. Вторая, Юлия — девушка. В 1817 г. окончил курс наук в Царскосельском лицее. Служил в коллегии иностранных дел, имея и частную службу в качестве преподавателя языков в учеб-

ных заведений столицы. В отставку вышел в 1820 году. Тогда же в качестве секретаря князя Нарышкина ездил с ним в Марсель, проездом был и в Варшаве, но мало с кем тогда встречался. Перешел на службу в Грузию при генерале Ермолове, в качестве чиновника по особым поручениям. В 1822 г. поселился у сестры в деревне Закупе. В 1824 и 5-м годах проживал в Москве, издавал там журнал «Мнемозина». В начале минувшего, 1825 г., переехал в С.-Петербург, на жительство, работая в разных изданиях.

В бытность на Кавказе имел знакомство с Вельяминовым и Якубовичем. Случалось встречаться с различными литераторами: Пушкиным, Гнедичем, Жуковским, Булгариным, Вяземским, Рылеевым, Одоевским и другими. А также с Пестелем, Бестужевым, Волконским, Николаем Трубецким, Муравьевым-Апостолом и Каховским. Но в близкие сношения не входил. Был ли вице-губернатор Горский в числе бунтующих на площади, точно не знаю, но помнится, что видел человека под пудрой, в шляпе с плюмажем, похожего на него. Что касается дня 14 декабря, показал...»

Константин, слушавший сначала чтение из пятого в десятое, теперь насторожил внимание.

«...Увидя меня, брат подошел и стал просить: «Уйди! Сохрани хотя одного сына для старухи матери! Мы должны погибнуть! Сбереги себя!» Я ответил, что родина теперь более имеет на меня прав...»

Слушает Константин рассказ о том, как началась братоубийственная борьба на озаренной зимним солнцем, знакомой ему площади, где так часто он проезжал перед фронтом блестящих гвардейских полков... А теперь там застыли пятна крови... валялись изуродованные люди, свои, убитые родною рукой...

Закрывает, открывает глаза цесаревич, а картина не идет из головы.

Внятно читает аудитор.

«Приблизился митрополит с крестом. Стал уговаривать взволнованные ряды, напоминая о каре Божией, о святости царского сана.

— Ура, Константин! — громким ответом служили крики из тысячи грудей.

— Подайте его нам налицо, тогда разойдемся!»

Цесаревич за дверью даже вздрогнул, когда аудитор невольно повысил голос, читая это место.

С его именем шли на смерть несчастные... И этот, которого там допрашивают сейчас!.. Такой привлекательный, простой и болезненный на вид... Чахоточный, должно быть? Он не выдержит казематов Шлиссельбурга, даже если избежать петли, которой не минуют другие главари... Бедняга!..

Бегут мысли цесаревича, а напряженным слухом он ловит каждое слово показания.

«Среди всех сошедшихся сюда, сложилось убеждение, как и у меня лично, что цесаревича, законного наследника после покойного брата, насильно задерживают в Варшаве. Я, как и другие, не знал о воле покойного государя, о завещании, хранимом в тайне».

— Вот, вот оно, самое ужасное! — думает Константин. — Сколько погибло от этой тайны!.. Сколько невинных погибнет еще!..

А бесстрастный голос Иовца звучит и звучит:

«...Шум стих понемногу. Солдаты пожелали прислушаться к словам митрополита. Офицеры стали один за другим подходить к кресту. Подойдя в свой черед, лейтенант Кюхельбекер, брат мой, тихо сказал митрополиту: «Пришлите к нам великого князя Михаила. Если он скажет, ему поверят...» Скоро подъехал Михаил в сопровождении Воейкова. Но время уже было упущено. Великий князь отъехал. Там, где был со своей свитой государь, выстроилась артиллерия. Раздался залп. Картечь уложила сотни людей. Всю кинулись бежать. На Неве собрались. Новые залпы разогнали людей. Во дворе дома, соседнего с манежем, собрались люди гвардейского экипажа. «Что же вы оробели? Не стойте за своего государя Константина Павловича? В штыки, ребята!» — призывал я с братом людей. «Куда тут, в штыки? Ведь в нас жарят картечью. Поди, выдержи тут!» — отвечали люди. Брат вторично подошел ко мне. «Наше дело потеряно! — сказал он. — Пожалей мать! Уходи домой!» — «А ты?» — «Я привел людей и должен оставаться с ними. Уходи, прошу тебя!» Я оглянулся, вижу, последние отряды сдаются, бросают оружие. Пошел домой. Как штатский, прошел незаметно. Надел свой тулуп да нагольную шубу и платье своего человека. В кармане у меня лежал билет на имя крестьянина моей сестры Ивана Алексеева, выданный еще в 1823 г. Я переделал 3 на 5 и пустился в путь. В 7 часов вечера вышел из Петербурга между выездами Нарвским и Московским, минуя караулы. Где шел, где ехал, если

мог за дешевую цену. Паспорта нигде не спрашивали у меня. Ночевал больше по деревням. Сегодня утром пошел к Варшаве. Сюда явился, чтобы просить защиты и заступничества у его высочества, цесаревича Константина...»

Наклонил голову цесаревич. Чувствует, что жаром залило ему глаза... В горле что-то щекочет. Вот и слезы частые, крупные, одна на сукне мундира.

К нему за помощью и защитой пришел этот несчастный, погибший из-за своей глупости, конечно; но все-таки во имя его цесаревич вынужден теперь...

Лучше не думать, лучше слушать, что там читает этот кролик-аудитор.

«... Думал просить Константина через генерала Александра Ивановича Альбрехта, двоюродного брата моей матери, урожденной Альбрехт... Спрошенный на Гроховском въезде: «Что за человек?» — назвал себя крепостным барона Моренгейма и был впущен. Имел ли оружие с собою 14 декабря? Имел пистолет в кармане шинели. Заряженный, но на пути извозчик торопился, сани опрокинулись, упал и я сам в снег, пистолет тоже выпал, был забит снегом и стрелять не мог, чему и свидетели многие есть...»

— Так ли все записано?

— Верно... так! — безучастно отвечает совершенно теперь обессиленный Кюхельбекер. Подписывает листки...

Конечно, слова его записаны верно. А мук его нельзя отметить на этих исчерченных, сероватых листках. Подписывает их Кюхельбекер... Потом его уводят.

Цесаревич ничего не слышит. Опустив голову, глубоко задумался он. Текут по лицу частые слезы.

Вдруг дверь распахнулась шире. Показался Кривцов, за ним Иовец с целым ворохом бумаг в руке.

Вскочил цесаревич, старается сразу придать лицу самый свирепый, строгий вид, думает.

— Разглядели эти чужие люди, что с ним сейчас было? Отчего красны его глаза? Или не заместили ничего? Эту «бабью слабость»!.. Нервы подлые!

Кривцов хотя и уловил кое-что, но делает холодное, официальное лицо. Так четко докладывает:

— Допрос окончен и подписан, ваше высочество. Какие будут дальнейшие распоряжения вашего высочества?

— Немедленно две копии снять для меня. И одну, разумеется, для архива... Я пойду, письмо приготовлю го-

сударю. И фельдъегеря немедленно, двух казаков... И завтра же в Петербург его... этого. Там со всеми заодно и о нем разберут! Бунтовщикам нет притона у меня. Пусть знают!

Выкрикнул, пошел из комнаты, остановился, с насупленными бровями поглядел на Кривцова:

— А этому, Григорьеву... благодарность в приказе... за сметку и расторопность... что изловил бунтовщика... И... тысячу рублей в награду... Пусть это в награду ему... Тысячу рублей. Григорьеву.

— Слушаю, ваше высочество...

Быстро вышел цесаревич, сердито хмуря брови...

А на пути домой, в Бельведер снова погрузился в какие-то скорбные думы и весь день не покидали они его...

Вечером того же 19 февраля, или 3 марта по новому стилю, пан Мошинский сидел в задней комнатке своей лавки, где два приказчика с помощью рабочего убирали товары, потревоженные за день, готовясь к закрытию.

Стук в дверь оторвал Мошинского от газеты, которую он проглядывал на досуге.

— Можно. Кто там?

— Я, пане Ксаверий! — скрипучим голосом ответил человек лет 50, сухой, с темным цветом лица и плешивой головой с зализанными височками, которые вонзались острыми кончиками в чиновничьи котлетки-бакенбарды австрийского образца. С осторожно-учтивым, очень почтительным, поклоном как-то по-сорочьи, бочком проскользнул гость в небольшую комнатку-кабинет пана Ксаверия, почти не сжимая пальцев, коснулся ладонью руки Мошинского и сел на стул против хозяина.

— Вечер добрый. Закрывается собираетесь? Пора. Я на минуточку. Не задержу.

Умолк, огляделся на запертую дверь с таинственным видом, поглядел сбоку и исподлобья на старика, молча достал цветной платок и звучно высморкался.

Мошинский, видимо, не особенно порадованный неожиданным и поздним посещением, не ожидая, пока гость прервет молчание, нетерпеливо заговорил:

— Пане Згерский... Не ждал, не ждал пана... Что случилось? Или от генерала? Так нового ничего же нет... Скажите пану Николаю...

— Нет, я сейчас не от генерала!.. Хотя, конечно, ему интересно будет знать, что толкуют люди, что будут толковать, когда узнают, что поймали в Варшаве такого важного бунтаря, который в Петербурге на площади Дворцовой целил из пистолета в самого князя Михаила Павловича...

— Кюхельбекера поймали? Где? Когда? — вырвалось сразу у Мошинского. Но он тут же сдержался и, подозрительно глядя на Згерского-Кашу, проговорил. — Писали из Петербурга, что этот самый Кюхельбекер целил в князя Михаила.

— Ах, писали даже? Я не читал что-то... Гм... Где же это писали? Поищу... Вот этого-то, Кю-бель-бе-ке-ра и поймали, да... Мы изловили... наши люди... Передадим «старушку». А тот в Петербург пошлет бунтаря, на виселицу... Все порядком. Да... А знаете ли вы, что показал нам этот... бунтарь? — вдруг тихо, глядя в упор на старика, проговорил гость. — Будто он несколько уже дней живет в Варшаве... и скрывался... в вашем доме, пане Ксаверий.

Мошинский уже раньше почуял что-то и был наготове.

— Неправда, не может быть. Он не мог этого сказать! Не мог!

— Конечно, не следовало. Люди его приютили, а он и выдал. Так подвел. Положим, он и того не знает, что пан Ксаверий — сам состоит в нашей охране... Числится сотрудником крулевских властей... Выходит, что пану Ксаверию вдвое неудобно и опасно было прятать у себя такого бунтаря... Да эти москали... Разве есть Бог у них?.. Взял да и рассказал...

— Быть того не может, говорю я... — сквозь зубы, упавшим хриплым голосом упорно повторял Мошинский. — Выдумки все...

— И я так полагал сначала... Да он подробно описал двор и дом панский... и ту баньку, где хоронился... и чуланчик во дворе... А тут, как на зло из вашей челяди некоторые люди еще раньше нам доносили кое-что... И человек из наших тоже соследил было... Так, одно к одному подошло. Не отговориться вам, пане Ксаверий... Не дай Господи теперь, что будет, когда «старушек» узнает, что пан прикидывался... знаете, чем? А сами... Генерал тоже обозлится... Его высокопревосходительство тоже не любит, чтобы его обманывали... А придется нынче же по

начальству протокол допроса представить... Беда пану!.. Если только...

Згерский-Каша словно запнулся, потирая кончик краснеющего, острого носа.

— Сколько? — угрюмо потупясь, хрипло спросил Мошинский.

— Гм... «сколько»?.. В эту сторону, пане Ксаверий, думаете дельце обернуть? Для вас, пане, конечно, можно ли не постараться?! Я, разумеется, и грошика себе не возьму... Но тут три еще человечка в деле... Протоколист, что писал... И два чина постарше... Надо листочки, где вы помянуты, из допроса вынуть, все переписать, подогнать под листок, под последний, где подпись сделана... перенумеровать, скрепить наново. Работа, словом... И второй вопрос: если узнается все-таки со стороны, что у вас он сидел — как извернуться тогда? А?

— Ну, лишь бы вы деньги взяли... извернетесь! — презрительно отозвался старик.

— Правда ваша, пане Ксаверий. Как не объяснить. Вы могли его нарочно держать, чтобы вызнать все связи бунтовщика со здешними злодеями, а потом — и подать всех, как на блюде. Правда?

Мошинский даже вздрогнул от внутреннего возмущения, но смолчал.

— Да и еще можно прибрать выверты. А проще всего: листки про вас — из протокола долой. Ему шепнем, чтобы и не поминал нигде вас... И крышка! Десять тысяч злотых, — словно мимоходом, случайно проронил цифру Згерский и смолк.

Опять дрогнули губы и веки старика. Но ничего не говоря, он достал старинный бумажник, опорожнил его на стол, сосчитал:

— Восемь тысяч семьсот... Остальные — завтра пришло...

— Хорошо, хорошо... не беспокойтесь... Да вы что? Не записочку ли писать хотите на остаток? Вот глупости... Я вам верю... Право, это им столько... Жадный народец. Одно слово: полиция! А я бы... Пан знает: я бедный, но честный человек... Тем более, что скоро и покидаю я Варшаву... Да, да! На службу мой генерал в Петербург меня перевести решил. Для пользы делу!.. Тут — враги у меня... Ну, будьте спокойны!..

Он поднялся, хотел было протянуть руку на прощанье хозяину, но почему-то удержался от этого движения.

Слишком уж выразительно было суровое лицо Мошинского.

Пачка денег, лежащая на столе перед тем, куда-то исчезла. Но когда и как убрал ее гость, нельзя было уследить.

— Доброй ночи... Поклон вашим. Супруга моя просила кланяться. Будете с четверговым докладом у генерала Новосильцева? Ну, конечно!.. Прощайте.

Боком, по-сорочьи вышел гость из комнатки, в своей длинной, темной бекеше напоминая большую черную птицу.

Бледный, с загоревшимся взором, выпрямился во весь рост Мошинский, сжимая кулаки, до крови закусив губы. Одна рука поднялась, замоталась в воздухе. Угрожая кому-то, по-видимому, он глухо пробормотал:

— У... проклятые!..

Столько ненависти, презрения, злобы было в этом выкрике, что сам сразу обессилел старик после порыва. Провел рукой по лицу, овладел собой и вышел в лавку.

Приказчик и рабочий в дальнем углу болтали негромко о чем-то.

— Убрались? — обычным, спокойным голосом обратился он к ним. — Ну, запирайте, тушите огонь. Домой пора!

Вернулся в кабинетик, раскрыл дневную запись и внес в графу расхода:

«Выдано для «бездомных — нищих» Варшавы... десять тысяч золотых».

Криво улыбнулся, перечитывая запись, погасил старинную масляную лампу на высокой металлической ножке, освещавшую этот уголок, и вернулся к приказчикам, которые ожидали его у дверей лавки.

Всякими предосторожностями, глубокой таинственностью сопровождалось отправление «опасного злодея» из Варшавы.

С самым рассветом следующего дня фельдъегерская тройка вынеслась из ворот Брюллевского дворца. В крытой кибитке рядом с фельдъегерем сидел осунувшийся сразу, угрюмо-печальный пленник в своем прежнем наряде, но с кандалами на руках и на ногах.

Два казака дополняли компанию. Обнаженные шашки их поставлены были между колен и торчали, как свечи,

тускло поблескивая своею сталью, когда на быстром бегу ветер слегка распахивал боковые полы кибитки и полосы света проясняли полумглу, царящую в печальном возке.

По глубоким выбоинам и косым раскатам Крулевского съезда нырнула кибитка в реке, копыта тройки дружно, торопко протоптали, простучали по звонкому настилу моста. Мелькнула Прага, знакомый Гроховский въезд... Последняя застава и за нею битый, широкий путь туда, на родину, на муку, на смерть, быть может.

Скрылась тройка, скрылся из виду пойманный беглец.

Но вся Варшава еще накануне как-то узнала о поимке русского важного бунтовщика, который, один из всех его товарищей, успел в течение двух месяцев скрываться от правительства, несмотря на самые упорные розыски. Толкам и пересудам не было конца, особенно, когда стало к полудню следующего дня известно, что беглеца увезли на север после подробного допроса, на котором он сказал очень много важного.

Каким образом так быстро и приблизительно верно осведомлялись обыватели почти обо всем, что творилось в самых затаенных уголках, за толстыми стенами Брюллевского дворца, для варшавян теперь ставшего чем-то в роде палат св. Германдады, или «Тайной канцелярии» старых русских времен? Кто и кому первый шептал про все, что говорилось и даже замышлялось не только окружающими цесаревича, но даже им самим? Угадывались ли самые мысли, не только поступки правящих лиц? Сказать этого никто не сумел бы при полном желании. Но только было так, что особенно тайные события скорее всего разносились по городу и обсуждались сильнее всяких других, очередных, насущных явлений жизни и повседневных дел.

Конечно, чем секретнее был случай, тем больше прикрас и кривотолков налипало на него. Порою обыкновенный случай вырастал в загадочную, даже красивую легенду. Но зерно такой сказки всегда дано было настоящим происшествием, действительным событием, которое можно было восстановить человеку пытливому, рассудительному, откинув только налет чудес и вольной или невольной лжи.

Не говоря о шляхетных панах, о военных, о магистратских и иных чиновниках, даже «господыни» на рынках, с корзинами в руках, с темными платками на плечах, шушукались о «необычайных делах», о жестоких

допросах и пытках в «подземельях» Брюлля, о покушениях и побеггах...

Словом, обо всем, что вовсе их не касалось и не могло иметь ни малейшего влияния ни на цену провизии, дорожающей с каждым днем, ни на условиях их личной жизни и службы.

Такова уж натура людей: особенно интересоваться тем, что желают почему-либо утаить от общего внимания.

Как круги по воде от брошенного камня, быстро из центра докатывались слухи и вести на самые дальние окраины шумного города, туда, где на тихих улицах, обсаженных почерневшими сейчас рядами деревьев, стоят тихие, задумчивые дома.

Докатилась весть, занимающая сейчас целую Варшаву, и до одного из таких домов на Новом Мясте, в котором жил на покое бывший дивизионный генерал и любимец Наполеона, затем генерал польских крулевских войск при Александре, кавалер разных орденов, Юзеф Хлопицкий, будущий диктатор Варшавы и всех польских сил.

Это был незаурядный, странный от природы человек, но еще больше чудачивший умышленно. И на жилище его лежал особый отпечаток чего-то странного.

Хлопицкий происходил из Галиции, родился в небогатой семье, никогда не порывал связи с народом и потому не заразился чванством, высокомерием и другими недостатками великопольского шляхетства. Но как человек, создавший сам себя, сумевший стать выше многих других, очень ценил себя, отличался болезненным самолюбием и честолюбием безграничным.

Одаренный силой логики и способностью разобраться в самых запутанных положениях, он в то же время был от природы вспыльчив, необузданно горяч. Эта смесь качеств и недостатков порою мешала Хлопицкому на жизненном пути, тормозила выполнение затеянных им начинаний и планов; а порою и помогала, толкая на решительные, отважные поступки тогда, когда окружающие только судили, ряздили, робко раздумывая: как тут быть?

Солдат по природе, с ног до головы, уже двадцатилетним юношей Хлопицкий под знаменами Косцюшки сражался за свободу отчизны. Погибло родное дело. Хлопицкий стал в ряды легионеров генерала Домбровского и пошел за орлами Наполеоновских войск искать славы и

счастья на полях Нови и Треббии, среди скал дикой Калабрии. Там он получил свой первый батальон. В 1807 году, когда один всего польский, так называемый Привислянский, легион остался в армии Наполеона, Хлопицкий получил в нем чин полковника.

Тортоза, Мурведро, Лерида, Валенсия и Сарагосса, наконец, узнали слепую отвагу этого польского бойца. Сражаясь под командой маршалов Ланна и Сюше, он получил звание бригадного генерала, а когда в грозном 1812 году Великая армия Великого Корсиканца вступила в пределы России, Хлопицкий вел туда весь Привислянский легион, принятый императором французов в ряды его «молодой», славной гвардии.

После битвы под Можайском, в лихой стычке с арьергардом графа Милорадовича, на который наскочили легионеры Хлопицкого, он сам был тяжело ранен, долго лечился и только в 1814 году мог снова явиться к своему славному полководцу, желая продолжать службу.

Но звезда Наполеона быстро шла к закату... Слишком много важных забот мешало ему вспомнить и по заслугам наградить отважного соратника. А, может быть, и Хлопицкий ждал большего, чем то, что полагалось ему по праву... Только он не удовлетворился сделанным ему производством, нашел, что его «обошли чином» и вышел в отставку. Наполеон назначил Хлопицкому, как дивизионному генералу, приличную пожизненную ренту в виде пенсии.

Скоро после этого в Париж вступили русские войска с другим императором, Александром, во главе. Не желая оставаться в бездействии, Хлопицкий завязал сношения с победителями. Александр принял его очень любезно, очаровал, и бывший французский генерал, любимец Наполеона, вступил в Варшаву в рядах Королевско-польских легионов, как начальник I-й пехотной дивизии, дивизионный генерал его королевского и императорского величества Александра I, российского царя, царя Польского и великого князя Финляндского.

Такое превращение, хотя и быстро совершившееся, не принесло большой пользы и удовольствия генералу. Не на полях битв пришлось нести тяжелую, но зато полную славы и восторгов службу. Разводы и смотры на плац-парадах и военных полях Варшавы, муштровка Константина, маршировка, выправка без конца, без цели и всякого смысла доводили до бешенства старого рубаку. Он недолго тянул

игру и уже в 1821 году, под предлогом нездоровья, вышел в отставку с приличной его чину пенсией. Напрасно его убеждали все, сам Константин и Александр, не бросать службы. Чтобы от него скорее отстали, он объявил себя совсем больным, никуда почти не выходил из дому, только летом ездил на воды. Сам редко где бывал, но зато у себя держал всегда широко открытыми двери и нередко заря заставляла утром хозяина и гостей за теми же карточными столиками, за которыми видело их вчерашнее заходящее солнце.

Карты, казалось, заменили теперь все этому бойцу на покое. Он мог проводить несколько дней подряд за игрой, садился играть с кем угодно, без разбору, тогда как вообще был очень щепетилен на знакомства.

Проигрывая и русскую пенсию, и ренту Франции, Хлопицкий особенно близко сошелся ради карт с русскими генералами и офицерами, которые тоже отличались склонностью к азартным играм.

Польские товарищи генерала косились на такое увлечение прославленного солдата, сами по недостатку средств и природной расчетливости редко вели азартную игру. Только магнаты, владельцы несметных богатств, проживающие сотни тысяч в год, играли с генералом, таким же отважным на зеленом поле, как и на полях битв.

В личной жизни Хлопицкий был очень нетребователен, скромен и только любил вкусный стол. Знал толк и в тонких винах, но не напивался никогда. Раньше слыл большим уловителем женских сердец. И даже теперь, в пятьдесят пять лет, несмотря на лишения, труды и раны походной жизни, выглядел совсем молодым со своими волнистыми густыми, чуть седеющими волосами, с отважным взглядом больших светлых глаз, с полными свежими губами, за которыми открывался двойной ряд крепких блестящих зубов.

Орлиный, немножко утолщенный, крупный нос, квадратный, резко очерченный подбородок и плотно сжатые губы говорили о привычке повелевать, об энергичном характере, о силе воли этого человека. Невысокий, но выпуклый и широкий к вискам лоб был почти закрыт причудливой прядью волос, ниспадающей вниз, как это бывало у Великого Корсиканца.

Вообще, умышленно или невольно, Хлопицкий во многом подражал своему бывшему вождю, его позам, манере держать руки скрещенными на груди, гордо заки-

дывать голову перед войсками и, вообще, на людях, даже в отрывистой манере говорить. Своим лицом и постройкой Хлопицкий напоминал бронзовую литую фигуру, высокую, грузную, которая, ожив, сошла с пьедестала и двигалась между людьми. Только его длинные узенькие бакенбарды «фаворитки», живую, темную рамкой окаймляющие его продолговатое смуглое лицо, эти бакены являлись единственной современной чертой, которой была отмечена классическая во всех отношениях голова Хлопицкого.

Просторные, пустынные немного, довольно скудно и просто обставленные покои Хлопицкого отличались порядком и чистотой, не свойственными обычно жилищу холостяков военных. Об этом заботилась пожилая дева, дальняя родственница генерала, панна Алевтина, живущая в доме на правах хозяйки.

И только кабинет генерала, служащий в то же время спальней, стоял как бы за пределами досягаемости для этой вечно суетливой, подслеповатой, тучной и чувствительной особы, которая и сама с утра до вечера шныряла с тряпкой и метелкой по всем углам, и прислугу понукала блюсти чистоту в горницах.

Кабинет мало чем оправдывал свое название. Он скорее напоминал курительную комнату, лавку оружейника, уголок музея какого-нибудь путешественника, все, что угодно, только не кабинет дивизионного генерала. Ни одного письменного стола, ни самого маленького шкапа с тяжелыми томами в красивых переплетах, поставленного в углу, хотя бы ради соблюдения приличий.

Ни военных мемуаров, книг или журналов на столах... Ни капли чернил, ни одного пера... Только старинный, пузатый, с опускной крышкой секретер мог бы служить для «кабинетной» работы. Но все его ящики были набиты разными безделушками, сувенирами, заменяли даже комод для белья и вещей генерала, а пространство под опускной крышкой, предназначенное для писанья, было заполнено тоже воротничками, галстуками и другими мелкими принадлежностями военного туалета, перчатками, эполетами и прочим.

С одной стороны у камина тянулась низкая большая оттоманка с ковром по стене, увешанным всяким оружием: мавританским, старинным испанским, польским и турецким, современным французским и испанским, пистолетами, саблями, ятаганами, мушкетами... Оружие

покрупнее: ружья, арабские мушкетоны стояли по углам. Даже медная маленькая пушка имелась налицо.

Другой диван темный, кожаный, с высокой спинкой карнизом, с курительным прибором и всякими принадлежностями для куренья, с кальянами и наргиле, с горкой трубок на подставке стоял, против оттоманки. Между тремя окнами против входных дверей стояли два стола. Над одним висел хорошо написанный портрет Наполеона. А на столе, под стеклом лежали пожелтевшие перчатки, реликвия, сохраненная Хлопицким в память славного вождя.

Над другим столом висел также хорошей работы портрет императора Александра. На столе, стоящем под портретом, по какой-то случайности темнело несколько книг, вся библиотека Хлопицкого. Тут были два-три тома французских фривольных романов, томик Вольтера, Плутарх на французском языке, Тацит, Тит Ливий в оригинале и гениальные реляции Ю. Цезаря о его «Галльских походах». Видно было, что книги эти часто перечитывались и носили многочисленные пометки, приписки, целые длинные записи на полях.

Свободное пространство на стенах было заполнено старинными гравюрами, статуэтками, восточными идольчиками на консолях. А между всем этим свисали причудливые бунчуки от турецких военных значков, темнели рога оленей, антилоп, диких коз, увешанные в свою очередь колчанами и луками, оружием дикарей, флягами, кубышками туарегов Африки, томагавками сиуксов и апачей Америки.

Ломберный стол раскрытым стоял в стороне, сукно его, исчерченное записями, было закапано воском свечей, протерто щетками. Две-три колоды карт лежали тут же. Круглый небольшой стол у оттоманки был накрыт. На нем стоял кофейный прибор, сухарница.

Сам Хлопицкий, с ногами сидя на оттоманке, в чамарке тонкого сукна, недавно вставший, медленно прихлебывал горячий ароматный кофе. Несмотря на бессонную ночь, проведенную за игрой, генерал выглядел свежим, бодрым и даже крупный проигрыш минувшей ночи не портил ему расположения духа.

— Янек, трубку! — крикнул он, допивая чашку. — И кофе еще налей. Вкусные булочки вышли нынче у нашей панны Алевтины. На редкость...

Огромного роста, костлявый седоусый Янек, отставной легионер, живущий при «своем генерале» уже много лет,

молча появился на зов, зажег в камине длинный «фиди-бус», свернутый из обрывка газеты, подал длинную трубку с огромной пеньковой головою и янтарным мундштуком, помог раскурить ее, взял чашку с подносиком, удалился и молча же вернулся со свежей чашкой кофе. Затем скрылся бесшумно, как пришел.

Только первое кольцо синеватого дыму полетело у Хлопицкого к потолку, когда за окнами послышался стук колес, кто-то подъехал к крыльцу, очевидно, в карете, так как сани и зимние возки на полозьях, без стука мелькали за окнами, скользя на рыхлом снегу.

— Кто бы это так рано? — подумал Хлопицкий. Сейчас же услышав в прихожей звучный знакомый голос, воскликнул:

— Ба, сам князь Адам... Вот чудо! — и двинулся на встречу редкому, почетному гостю, князю Чарторыскому.

— День добрый, пане генерале! А я к вам не один... Целой компанией. Мы ехали с паном профессором... Видим: и пан судья идет. Остановились, разговорились, к вам он... Вот втроем и нагрянули. Уж не взыщите, если очень рано...

— Милости прошу... рад, рад душой... Прошу... сюда! — пожимая руки князю, Лелевелю, Немцевичу и указывая им места на диване, на креслах в гостиной, любезно принял неожиданных гостей генерал. — Какое же рано? Это я так плохо веду себя: поздно встаю. Человек больной. Мне Бог простит. А добрые люди скоро и к обеду собираться станут... Кофе, трубку? Позвольте предложить? Янек...

Скоро все сидели с трубками и перекидывались незначительными, отрывистыми фразами, очевидно, не решаясь сразу приступить к тому главному, ради чего явились сюда.

Все три посетителя резко отличались друг от друга и наружностью, и складом мыслей, манерами, всем.

Судья Немцевич, седовласый старец, давний народолобец, друг свободы, сподвижник Косцюшки и Вашингтона, теперь, с годами — остыл, устал, но все же считался и был на деле хранителем лучших заветов старой польской вольности.

Только осторожность и рассудительность заменили прежние пылкие порывы народного трибуна и бойца за свободу. Он по старине носил длинные волосы, белоснежные завитки которых придавали ему вид немецкого уче-

ного. Свежий цвет полного лица и ясные глаза говорили, что духовные силы и сила ума сохранились в этом старом, но еще бодром теле.

Сухощавый, нервный, стройный, несмотря на свои пятьдесят с лишним лет, князь Адам все-таки выглядит старше того же Хлопицкого. Седина явно проступает в широких, ала Меттерних, бакенах и в волосах, которые сильно поредели и даже просвечивают плешью на маковке черепа... Со лба — тоже сильно полысел князь.

Глубокие морщины пролегли по сторонам рта, под глазами, еще красивыми, но уже усталыми, словно затуманенными затаенной тоской.

Честолюбец высшего порядка, желанный гость некогда при блестящем дворе Великой Екатерины, друг короля Станислава-Августа, сам чуть ли не претендент на вакантную польскую корону, князь Адам «Пулавский», как звали его порой, — с грустью видел, что жизнь подходит к концу... и почти ничего не сделано из старых заветных начертаний и дум...

Лелевель — моложе здесь всех и самый подвижный, самый юркий, кипучий, но больше наружно, чем душой. Холодный ум и рассчетливое соображение кроется за внешней кипучестью, как ледяная влага в искристом, пеннистом бокале замороженного шампанского. Редкая борода и усы выделяют его среди бритых лиц остальных собеседников.

Он первый, не вынося проволочек и промедлений, завел беседу:

— Как, почтеннейший мой пан генерал, чувствуете вы себя нынче? Вид у вас превосходный, по правде сказать. Поверить бы нельзя всем вашим недугам, ежели бы вы сами, пане генерале, о них не говорили...

— Ох, пан профессор, что значит «наружный вид»? Вы человек ученый, должны хорошо знать, как часто этот наружный вид бывает обманчив.

Отразив тонкой колкостью легкий намек Лелевеля на свои притворные недуги, Хлопицкий продолжал, обращаясь больше к князю и Немцевичу:

— А я отчасти и доволен своими недугами, хотя бы потому, что их ради не забывают почтенные, высокие друзья старого инвалида-солдата... Рубаку, сданного за штат.

— Отчасти вы правы, пан генерал, — отозвался Чарторыйский. — Главным образом мы все явились проводить

нашего недужного героя... Но и так мы помним всегда об этом «инвалиде», как вы говорите... *Car cet invalid est plus valable, que beaucoup des personnes se tout a fait bien portans* — по-французски, любезным каламбуром закончил князь.

— Очень тронут, князь, вашей лаской. Когда-нибудь постараюсь быть в пригоде князю Адаму, чтобы хотя отчасти оправдать столь высокое о себе мнение первого мужа в совете нашем. О здоровье не спрашиваю вас, панове. Вы бодры и свежи. Что новенького в Варшаве, не скажете ли? — решил прийти на помощь гостям Хлопицкий, сразу понявший, что не забота о его здоровье привела сюда вместе всех троих в один день и час.

— А вы ничего и не слышали особенного, генерал? — снова переходя по примеру хозяина на польскую речь, задал со своей стороны вопрос князь. — У вас бывает всегда так много народу, особенно российских генералов, близких и к цесаревичу... Мы полагали.

— Особенного ничего не слышал, — с легким жестом уронил осторожный, не лишенный хитрости, галичанин. — Толкуют много: об этом немце — русском бунтовщике, которого дня два тому назад отправили в Россию, на суд... Слышал о заседаниях нашего суда или «комиссии следственной» только пока?.. Хотя сказывают, уже и приговоры все готовы были еще до назначения господ комиссаров? Много говорят, панове. Вы, князь, член Рады. Можете мне скорее всех сказать: что правда, что ложь в таких слухах?

— О, вы знаете, генерал, я не член Комиссии... и очень рад, признаюсь. Конечно, готовых приговоров, нет. Но, думается, что оправдания не ждут ни для кого из арестованных... Положим, некоторые из них, как пан Плихта, Кшижановский, пан Гжимало только чудом ушли от первого суда, при деле Лукасинького... И теперь против них улики очень тяжкие... Но привлечено немало людей, против которых улики очень слабые... почти никаких!..

— Нет улик? Или — они не виноваты, князь?

— За вину недоказанную может судить один Бог, а земной суд — только уличает, генерал... Но не в этом дело. Общее настроение почему-то сразу повысилось в городе. И среди простого народа... и в нашем кругу. Даже, говорят, среди лиц, окружающих цесаревича, заметно что-то особенное?..

— Те, кого я знаю, кто бывает у меня, пьют по-старому изрядно, играют ночи напролет, толкуют о повышении своих и наградах, о чужих успехах по службе... Все, как и прежде, панове... Мне не заметно ничего... А разве?..

Он не закончил. Обвел пытливым взглядом гостей. Те молчали, очевидно, не решаясь еще приступить к делу.

Наставшая минута невольного молчания была вдруг нарушена шумом колес новой кареты, остановившейся у крыльца. Гости переглянулись, хозяин поднял голову и повернул ее к дверям, ожидая доклада.

Когда Янек доложил о князе Любецком, министре финансов, сменившем бездарного Матушевича, Хлопицкий даже не удивился особенно и двинулся навстречу редкому гостю.

— Здравствуйте, мой дорогой генерал. Хорошо ли себя чувствуете? — по-французски обратился к хозяину князь, не признающий другого языка между людьми «своего круга». — Ба, какое приятное общество застаю я у вас!

И он дружески стал здороваться со всеми.

Князь, человек лет пятидесяти, с склонностью к полноте, но очень изящный, одетый в платье парижского покроя, как будто только что явился с придворного раута. Тонкие, правильные черты его еще красивого, хотя и холодного лица, чуть-чуть с хищным выражением, в общем были привлекательны. Особая манера отличала князя, манера прирожденного царедворца, полная предупредительности, уклончивости и непреклонности в то же самое время. Постоянное мягкое, ласковое, ровное отношение ко всем, за которым, однако, скрывалась глубоко затаенная насмешливость и презрительная брезгливость по отношению ко всему «человеческому стаду», свойственная преимущественно пожилым магнатам-циникам, слишком избалованным судьбою.

Он словно сам всегда первый делал притворно-торопливое движение навстречу каждому, чтобы не позволить никому поближе подойти к себе, заглянуть неожиданно в эту душу, полную затаенной желчи, противоречий и сатанинской гордости.

Усевшись и выслушав предложение насчет «трубки», князь с самой любезной улыбкой отрицательно покачал головой:

— С вашего позволения, мой генерал, должен отказаться. Разрешите закурить свою обычную сигару. Глупая,

единственная привычка, с которой не могу справиться уж много лет. Может быть, и вы пожелаете? Нет? Князь, господин судья? Хотите, господин профессор? Пожалуйста, берите, берите. Сигара довольно сносная... И уж настоящая гаванна, за это ручаюсь.

Он прежде дал закурить Лелевелю и потом сам задымил дорогой «регалия Упманин», ароматный дым которой заглушил запах остальных трех трубок скоро и легко.

— Я, кажется, своим прибытием оборвал дружескую беседу, — тут же продолжал князь. — Но вы меня извините, генерал. Хотелось узнать лично, как вы себя чувствуете. Вас не видно почти нигде... Так уж я сам собрался.

Совершенно неуволимо дрогнули густые брови Хлопицкого, но и такого движения, легкого полупадежа не пропустил князь и понял, в чем дело. С легкой извиняющейся улыбкой он продолжал:

— Конечно, конечно, не это одно, — так же как и всех присутствующих, — сегодня приводит меня к вам. Много нового, много интересного, значительного... Не знаю, о чем шла тут раньше речь... Начну опоражнивать собственный короб и, вопреки пословице, намерен опустошить его до дна!..

— Слушаем вас, дорогой князь, — таким же чистейшим парижским говором, как и у Любецкого, отозвался хозяин, — и вполне верим вашему обещанию.

— Для вас, как для военного, начну с военных новостей. Знаете ли вы о предстоящих очень важных реформах во всем литовском корпусе? Нет? Так слушайте.

Таинственно наклонившись, значительным шепотом он проговорил:

— Вместо прежних польских, малиновых — ему будут даны новые красные, русского образца, воротники и погоны. А, что скажете? Вы улыбаетесь? Напрасно. Я еще не все договорил. Положим, мы видели, что большинство северных государей, особенно — российские, начинают при вступлении на престол с самого важного, — с изменения формы в войсках. Это у них особого рода «тик»... Но, соединив на своей голове русскую и польскую корону, покойный Александр, как все, должно быть, слышали, говорил вашему, не в меру порою усердному цесаревичу: «Помни, дорогой брат: я не дал полякам русских красных воротников... Наоборот: собираюсь дать русским воротники желтые... конституционные то есть...» Ага! Вы стали

серьезней, мои друзья. Но сейчас вы станете совсем похожи на сенаторов древнего Рима, которых на форуме дергали за бороду вошедшие в Капитолий варвары: хотели знать, не статуи ли это?

— Слушаем... ждем, князь. Поражайте.

— Пополняться кадры этого корпуса будут не уроженцами Волыни и Литвы, а... новобранцами из российских губерний... Видите, какая иногда тесная связь бывает между шеей и воротником: иголки польской не просунешь между ними: все будет чисто русское...

— Неужели это придумал наш «старушек»? — спросил Хлопицкий.

— О, нет. Ваше удивление вполне законно: не он придумал этот ход. Сам молодой император-король Николай извещает о своих планах старшего брата, как «главного инструктора и вождя польской армии и литовских войск»...

— Что же: цель ясна и успех обеспечен заранее! — в раздумье проронил Хлопицкий.

— Да, но куда это приведет нас, всю Польшу? Что будет с нашей конституцией, которая и теперь уже высунула язык, хотя войска соседней Литвы и наши еще не надели москальской ливреи? — запальчиво спросил Лелевель, обращаясь ко всем и нервно пощипывая свою бородку, прихватывая зубами кончики свисающих вниз усов.

— Что было, то видели, что будет, то увидим, — с наружным спокойствием и горькой усмешкой ответил князь. — Позвольте кончить. Первым делом, конечно, его высочество вскипятился. Не потому, что это плохо, по его мнению, а в досаде, что не от него исходит, а между тем касается войск, им созданных, им руководимых... хотя бы на плац-парадах покуда... Но за большим он и не гонится, как мы знаем. Особенно с тех пор, как стал счастливым супругом очаровательной княгини Лович.

— Сознаться надо, что она очаровательна, князь...

— Дорогой князь, вы известный рыцарь, борец во славу и в честь дам. Но сейчас меня интересуют две дамы: Польша и ее Казна... Обе в очень плохом состоянии без каламбуров: именно, несмотря на то, что я имею честь быть у этих дам министром финансов. Seriously говоря, кто, как не я успел собрать с ваших добрых хлопов и иных податных сословий недоимку со времен блаженной памяти круля Августа... чуть не за пятьдесят лет... И для чего это? Чтобы деньги уходили на новые воротники? Да еще для орловских или курских кацапов? Вовсе нет...

— Понимаем, князь!.. Это все ваши новости?

— Почти, генерал. Остались пустяки. Кроме генерала Уминского — арестованы: полковник Прондзиньский и капитан Моравский. Вызывали к допросу в комиссию князя Казимира Паца, да он, оказалось, в своих австрийских поместьях... Было много обысков, но ничего не нашли... Нескольких арестованных пришлось отпустить, как ни старались господа российские генералы найти за ними вину. Зато арестован ряд новых «подозреваемых»... военных и штатских... Шляхта негодует. Многие уже выехали из Варшавы, кто в Кременец, кто и за границу... Собираются и остальные уехать... Остаемся только мы, члены министерства и Рады, по долгу службы... На полицию увеличивается кредит... Мало тех четырехсот тысяч рублей, которые расходуются теперь... Мало четырех тысяч агентов охраны... Его высочество уже по собственной инициативе желает усилить штаты, находя, что в Варшаве начинается «легкое брожение»... Для того наши крестьяне несли жалкие гроши, чтобы на полки предателей расходовать свыше двух миллионов польских злотых в год! Подумайте, господа: свыше двух миллионов! Возмутительно!..

— Ваше финансовое сердце, князь, не переваривает этого? Понимаю. Но, кажется, от сейма зависело утвердить смету или не утвердить... И если сейм...

— Ах, генерал, сейчас видно, что вы совсем стоите в стороне от дел. Какой это был сейм? Все были в страхе. Ждали чего-то ужасного... Вы же помните, дошло до того, что цесаревич приказал арестовать почтенного пана Викентия Немоевского, не пустить его в Варшаву, чтобы не было лидера у калишан-конституционалистов!.. Что мог сделать сейм?..

— Да, князь, вот великую истину вы изрекли, — горячо заговорил Лелевель, давно уже порывавшийся вставить слово. — Что мог сделать сейм под угрозой московских штыков? Значит, вам придется раскошеляться и платить лишним сотням шпионов, продающих наших братьев поляков... Будете платить им цену польской крови — польскими же денежками... Ничего не поделаешь... Такова сила силы!.. Такова логика вещей. У наших теперешних господ существуют две правды: одна для себя, для победителей, другая для нас, для побежденных... За примерами ходить недалеко. Вот вы упомянули Прондзиньского, Моравского... Говорите об арестах,

о доносах... о бегстве шляхты из Варшавы! Как же не бежать? наших хватают зря... А заведомые заговорщики Лунин, Львов спокойно проживают в Варшаве под крылышком попечительного высокого начальника своего... Интересное сопоставление пришло мне на ум, когда князь с отчаянием называл свои фатальные цифры: четыреста тысяч!.. Четыре тысячи!.. Известно ли вам, заодно, господа, что теперь в Варшаве издается всего до сорока различных органов печатного слова... Итого будет... Четыреста четыре тысячи сорок! — чертя пальцем в воздухе какие-то знаки, вдруг воскликнул он с коротким, едким смешком. — Ха-ха, хорошая статистика!..

— Что такое, профессор? Вы уже кабаллистикой стали заниматься?

— Нет, князь! Это — новое «мене, факел, верес»!.. Или, верите, новое число «звериное» для Польши, не шестьсот шестьдесят шесть, как в Апокалипсисе, а четыреста четыре тысячи сорок!.. На сорок изданий — четыре тысячи шпионов и четыреста тысяч русских рублей из нашей казны на охрану... русской колонии в Варшаве... на тайную полицию... По сто шпиков на редакцию, по одному охраннику почти на каждый десяток мирных обывателей! Хорошая статистика, могу сказать!..

— Но что же тут поделать, господа? — в раздумье, спокойно спросил Хлопицкий. Ответа не получил. Очевидно, вопрос был задан еще преждевременно.

Не все успели высказать гости, для чего явились к нему.

Заговорил Чарторыйский.

— Да, итоги фатальные. Мы превзошли в этом отношении даже успехи Бурбонов во Франции, в многолюдном Париже... И если бы еще хоть эти затраты были оправданы полезными результатами даже для самого... ну, для тех, кто заводит всю эту шваль?.. И того нет... Дело охраны поставлено у них отвратительно. И не мудрено. Это — целая многоглавая гидра... Охрана, созданная нашим «приятелем» Новосильцевым. Жандармы Рожницкого. Добровольцы за плату, вербуемые «патриотом» Любовицким и Заксом. Банда генерала Жандра. Сброд пройдох, негодяев, только желающих жить без труда... обманывает и своих, и чужих... А господа начальники — интригуют друг против друга, готовы утопить один другого в стакане вина. И мы знаем, видим, что выходит из этой охраны: одни мерзости, гадости, шантаж... никакого дела... Суют нос туда, куда

не следует. Моих... моих слуг подкупили шпионить за мной... За Чарторыским!..

— И за мной! — эхом откликнулся князь.

— И за мной...

— Конечно, и за мною, но ихний же агент предупредил меня, — с кривой улыбкой сообщил Лелевель.

— За мною, полагаю — нет, — спокойно по-прежнему заметил Хлопицкий, — у меня только Янек, кухарка Мильдя и кузина Алевтина... Оттого, должно быть...

— Да мало этого, — подхватил Лелевель, — некоторые господа, чтобы показать свое усердие, выдумывают заговоры, создают их всякими способами... Не говоря о ложных доносах, от которых так трудно потом очиститься. Особенно, когда в дело вмешивается наш справедливый и рассудительный «старушек».

— Да, да... А вот, что сейчас вся молодежь в брожении? Что и средние круги начинают волноваться... Народ негодует на новые порядки, ожидает каких-то перемен. Этого и не замечают гончие псы.

— Ну, здесь, князь, во имя справедливости, позвольте мне заступиться хотя бы и за шпионов. Они — гнусы, хотят жить легко, готовы предать отдельных людей за несколько рублей... Но не предадут всей родины. Все же они — поляки! Может быть... наверное даже: они сами все видят и слышат... Но предпочитают втирать очки, кому следует.

— Не знаю, и у шпионов должна быть своя этика. Они должны служить тому, кто им платит.

— А если платят с двух сторон, князь?

— Бросим это... Я в таких делах профан. Одно меня беспокоит: что ждет всех нас? Что будет с родиной? Скрывать нечего, — продолжал Любецкий, — положение опасное. Страна пришла к брожению. Юный царь Николай не одними воротниками думает заниматься... Я еще не все досказал. Делаются большие военные приготовления. Удар намечается не только к Персии, а как будто к юго-востоку, на Турцию. Но и на Западе не спят. Там не будут спокойно смотреть на усиление России. Оттуда загремят пушки... Польша может очутиться между четырех огней. И вместо какого бы то ни было возрождения, — погибнет до конца.

— Вы опасаетесь, что Польша должна будет воевать за Россию с Турцией или с Запада ей грозит нападение как передовому посту державы Николая? Ошибаетесь, князь. Не послали поляков драться во Францию, не пошлют и на

турок. И к нам не придут враги, хотя бы и напали они на Россию. Польша для нее — вроде парадной, «чистой» горницы. Здесь — она принимает гостей, любезно болтает с ними. А ссориться, тем более драться в таких гостиных — не принято. Для этого остаются огромные, дикие пустыни и леса Московии. Пусть бы началась война... Нам это только на руку, — потирая руки, закончил Левелель.

— Пусть так! Но я о другом толкую: грозит внутреннее разложение. Может возникнуть неурядица в самой стране. Молодежь и так взвинчена и — не одна молодежь!.. А те, кто поставлен на страже высших интересов крулевства, помогают вольно и невольно развалу и разладу. Нужно напрячь силы, сохранить порядок, сплотить все классы, примирить между собою высшее шляхетство, обезопасить от насилия, от произвола горожан, купцов... смирить низшие сословия, где развиваются опасные течения, заносимые с запада. Нужен мудрый правитель с твердой волей, мужественным сердцем, ясной головой и могучей рукой, а у нас...

— Все дела, всю судьбу крулевства вершит его высокочество цесаревич Константин. Этим — все сказано! — отрезал Лелевель в тон Любецкому.

Настало легкое молчание.

— Что же нам делать? — уже с оттенком нетерпения и тоски, но еще сдержанно снова прозвучал вопрос Хлопицкого.

Ответа и теперь прямого не последовало.

Заговорил Любецкий, протяжно, словно вдумываясь в каждое слово:

— Конечно, положение Николая, получившего трон из рук брата, сейчас очень щекотливо. Быть может, он бы и готов был, хотел бы даже понимая положение, убрать от нас слишком ретивого брата. Но как это сделать? Под каким предлогом? И право... Я — решительный сторонник мирных действий и мер. Но думается, какая-нибудь вспышка, которая помогла бы уходу некоторых лиц из края... Она была бы приветствуема мною... в строгих рамках и границах законности, конечно, протекающая...

— Конституционный протест, например, князей? — язвительно спросил Лелевель.

На этот раз он не получил ответа.

Немцевич, наконец, нарушил свое молчание.

— Позвольте, друзья, и мне сказать свое слово. Конечно, я уж стар, отошел и от века, и от новых течений и дел. Сил у меня осталось мало. Но я люблю нашу несча-

стную, угнетенную отчизну своим холодеющим сердцем так же сильно, как и в кипучие годы своей юности... как любите вы ее, друзья, и все, кто за вами. Пока — я не вижу, в чем можете вы не сойтись один с другим. Разве только в частностях. А для каждого ясно, что Польша переживает свои черные дни. Может быть, такие черные, каких еще и не знала доньше... В двух словах так можно это выразить: анархия, распад внутри и невыносимый гнет извне. Язвы народной бедности, общего разлада, братоубийственной розни гложут грудь отчизны, а нога победителя, попирающая закон и право, лежащая на горле, не дает свободно вздохнуть!

— Да, да, — неожиданно врезался в чужую речь Лелевель, — даже поговорка есть у них такая: «Матушка-Россия берет добровольно, наступая на горло». Сам цесаревич, господин судья... Я увлекся... Продолжайте.

— Я еще только несколько слов... Что же ожидает нас и отчизну? Вывод прост и ясен: полное ослабление, постепенный захват остатков вольности и культуры польской со стороны сильного соседа... Потеря последних миражей, последнего самообмана с данной нам конституцией, которую фактически мы потеряли... сольемся с нашей покорительницей не как союзная, ленная держава, а как вассальная губерния... Слабеет Польша и скоро захиреет совсем... Дай Бог только мне не дожить до последнего черного дня... *Finis Polonial!* — видно это одно остается повторить и мне, старику!

— Простите, никак не могу согласиться с таким ужасным выводом, господин судья! — снова горячо подхватил Лелевель, все время порывающийся остановить речи Немцевича, которые, как ему казалось, не идут к цели. — Пока мы живы — жива еще и наша отчизна! Так смею я объявить... Думаю, найдутся мне и сочувственные люди, мой слабый голос поддержат другие, более мощные и многочисленные голоса. Вот тут поминалась молодежь. Она еще жива и горит жаждой — дать счастье, свободу родине или в крайнем случае — пасть в бою... Да может, и не придется доходить до крайних мер. Правда, Польша слабая сейчас. Она — в положении побежденной, хотя... Прошу это особенно заметить: не оружием побеждена она, а людской хитростью, предательством... Насилием, еще более жестоким, коварным и несправедливым, чем законы насильственной войны! На конгрессах хищные вороны разорвали нашу отчизну на клочки... Роздали ее, кому попало... И можно еще думать, что в открытом бою есть

надежда помериться с захватчиками, кто бы они ни были. Вы удивляетесь? Сейчас поясню свои слова... Только наперед говорю: я — мирный служитель науки, никого не зову поднять меч. Просто хочу обсудить факты и события прошлого, угадать будущее. Польша слаба. Но тут есть и другой вопрос: насколько сильна ее победительница, такая огромная и могучая на вид? Особенно — сейчас. Россия — лежит перед нами. Ее авангарды — живут среди нас, управляют нашей страной. И — как управляют? Мы сейчас слышали это. Слеп, темен весь русский народ. Слепо ведут и нашу родину его господа. А слепота — хуже слабости! Они — повелители наши — страдают роковой слепотою, какою поражены все прошлые и настоящие тираны мира, какою будут поражены и будущие до тех пор, пока не станет тиранов и рабов, а в мире дружно заживут народы-братья! Так трудно ли сбросить с плеч иго, наложенное рукою слепца? Тем более, что против России теперь тоже поднимается большая туча и с запада, как сама она темной тучей думает двинуться в пределы Турции. Пускай!.. Мы тем легче сбросим поржавевшие цепи... Рок скорее, чем над Польшей, изречет свой приговор над покровительницей нашей родины. Вы все знаете, что делает рок с обреченными им. *Quem perdere dementit!*¹ А какого больше надо безумия, чем эта резня в Петербурге? Есть ли правитель в мире безрассуднее того, который дан нам от России?.. Нет... Правда, он упорен, жесток, непреклонен не меньше самого герцога Альбы, как потихоньку величают его наша романтическая молодежь, но это Альба «навыворот»: у которого там ноги, где должна быть голова и — наоборот! Словом, будущее Польши мне не представляется уж таким мрачным, как рисовал это перед нами почтенный пан судья... Именно теперь, когда сама Россия так потрясена... Когда целая Европа с опасением и затаенной угрозой глядит на этого колосса на глиняных ногах... Теперь может и должен наш отважный народ, вся Польша потряхнуть крыльями и вознестись над обидчицей, как...

— Птаха на гмаху², — неожиданно вставил польское слово Хлоповицкий, давно уже нетерпеливо встряхивающий своей львиной головой.

¹ Точнее: «*Quem deus perdere vult, dementat prius*» — «Кого бог хочет погубить, того он делает безумным» (Софокл; лат.).

² «Птаха на гмаху» — побасенка, равнозначная с Крыловской басней «Лягушка и вол».

Не ожидавший ничего подобного, профессор готов уже был ответить обидно, резко, но вспомнил, что не для ссоры явился сюда, удержался и процедил только сквозь зубы, переходя, как и Хлопицкий, на польскую речь:

— А, пане генерале побасенки детские вспомнил? Так я тоже помню одну: о Комаре-герое, который победил даже Льва! Если уж пан генерал так мало ценит силы своего родного народа!

— Совсем не так понял меня пан профессор! — твердо, спокойно отозвался Хлопицкий. — Я ценю и люблю свой народ. Но смею думать, если басни порою и походят на то, что бывает в жизни, сама жизнь не подходит под басни и побасенки. Она идет своей железной ногой по голому, кремнистому пути вечности и дробит, растирает все, что попадаете ей на дороге... Я слушал вас, панове. Но и сам думал кое-что при том. Человек я простой, малоученый. Только ясным взглядом одарила меня природа. Я всегда хорошо вижу реальное соотношение сил. Это соотношение передо мною и сейчас: вот две страны, Россия и Польша. Наш народ — и тот народ... И что может выйти, если эти две величины вступят в борьбу между собою?! Вот и все, панове!

— Пан генерал одно упускает из виду: нас угнетает не сам русский народ, а его правительство, кучка людей, чужих по большей части и самому русскому народу, только действующая от имени этой темной, слепой массы... Тот спит себе, как великан-циклоп, у которого хитрый Полифем выколол последний глаз... И во сне идет туда, куда желает маленький, хитрый поводырь, забравшийся на шею к великану... И этот поводырь, конечно, забирает все лакомые куски, как видит поблизости. Надо сказать жадному поводырю: «Руки прочь!» Вот только и всего!

— Беру ваше сравнение, пан профессор. Только согласитесь и вы: даже во сне, как послушный лунатик, слепой великан бредет туда, куда направляет его маленький, хитрый поводырь. Подбирая лучшие кусочки, этот вожатый умеет натравить гиганта на своих недругов, если не на врагов самой России... И плохо им тогда! Чего же вы хотите? Видеть вторую бойню в Праге?! Вспомнить Суворовский штурм?! Скажите!

— О, можете быть спокойны, этого не повторится! Стыдно признаться, генерал, но этот ужас случился не зря! Набат «варшавской заутрени», пасхальной резни вызвал, как эхо, гул канонады, которая сравнила с землею Прагу,

оросила землю польскую кровью 30 000 ее сыновей, жен, стариков и детей. Если только мы будем умнее, ничего не повторится подобного, уверяю вас!.. Можете не опасаться, пане генерале!

— Позвольте, позвольте, — мягко, убедительно заговорил Любецкой, видя, что у Хлопицкого загорелись глаза и на лбу вздулись жилы от возбуждения. — Тут ни о каких личных опасениях и речи нет. Мы обсуждаем положение вещей, как добрые друзья и патриоты, не так ли? Ну, видит генерал, господин профессор подтверждает это. А в то же время, господин судья что-то хочет сказать. Послушаем, что скажет господин судья!

— О, еще несколько слов... Меня радует, что мы еще можем горячо обсуждать положение нашей отчизны, каково бы оно ни было. И уверен, сойдемся все, тут сидящие, на одном: положение тяжелое. Невыносимое, скажу даже. Что бы там ни ждало впереди, гадать не могу и не стану... Одно вижу даже своими старыми глазами: и в силу внутренних причин, и по стечению внешних обстоятельств вспышки, волнения впереди! Переворот? Да, даже, может быть, целый переворот в жизни нашего народа!.. Он неизбежен! Конечно, никто из нас не решится вызвать первый «духа земли», которого потом, пожалуй, не удастся и смирить никакими заклинаниями. Никто не хочет создать катастрофу. Но надо предвидеть все. Надо принять меры, если уж несчастье неотвратимо... Надо сплотиться лучшим людям страны, подсчитать силы... погасить партийные и личные раздоры. Следует, если не сейчас уже выбрать, то хотя бы наметить гражданских и военных вождей... Надо быть наготове, словом. И, когда блеснет грозная молния, не стоять под бурей с непокрытой головою, внимая раскатам. Надо приготовить надежный громоотвод! И есть люди, на которых с надеждой устремлены общие взоры. Есть бойцы и вожди, способные выполнить свой долг перед родиной, перед историей! Но они все же люди со слабостями и недостатками людскими. Иные не видят того, что слепым стало видно, не слышат того, что и глухим потрясает мозг. Иные не надеются на себя... Иные... Уж и не поймешь, что с ними... Только отошли они от общего потока жизни, как будто это чужая жизнь кипит и плещет кругом, чужая льется кровь... Чужую душу насилуют недруги, а не родную, польскую несчастную родину душит и терзает чужая рука... Вот что печально, друзья мои!

Снова наступило молчание. Все глядели на Хлопицкого, сидящего с опущенной головой, в тяжелом раздумье.

Лелевель первый поднял голос:

— Что же вы на это скажете, пан генерал? Может, и теперь снова спросите: «Что же нам делать?»

— Нет, пан профессор, — очевидно, задетый язвительным тоном вопроса, сразу повышая свой звучный, сильный голос, отозвался Хлопицкий, — больше такого вопроса я не задам! Только все дело мне представляется несколько иначе, чем вам, мои панове! Пан профессор Лелевель, к примеру, все зло видит в том, что у нас мало воли, что погибли старые права шляхты, всего народа... А я полагаю, что гибнет Польша от недостатка сильной власти над нами, от собственной расшатанности, растерянности и самовольства, безрассудного порой. Спорить не будем пока... Возьмем главное. Да, больна наша отчизна... Скована тяжким недугом... лежит без сил. Кто знает, может быть, даже на смертном одре своем! Но пришли чужие люди, пытаются, как умеют, помочь ей. Хотят облегчить тяжкие страдания... Правда, тяжелыми мерами, горьким лекарством. Но что можем мы, дети нашей отчизны, дать ей? Теперь ничего! И остается нам одно в сознании своего прошлого и настоящего бессилия не мешать покуда чужим стараниям... Пусть, хоть с корыстной целью, но оживят больную Польшу чужие руки... дадут ей новые силы... А если даже смерть грозит ей?! Что же, дадим ей хотя умереть спокойно, если не умели охранить от смертельных ран. Вот мое мнение, панове!

Лелевель, неугомонный и порывистый, уже готов был снова поднять перчатку, войти в спор, но Любецкий его предупредил.

Поднимаясь с места, он обратился к хозяину:

— Хорошо, смело сказано, мой генерал! На такое признание надо немало мужества, признаюсь. И я особенно доволен своим посещением и нашей сегодняшней беседой. Много мне стало ясно теперь. Насчет многого я успокоился. Правду скажу: не ожидал, не думал слышать того, что пришлось. В моем сочувствии и уважении, генерал, вы, конечно, уверены. Скажу только: если вам понадобится какое-либо содействие с моей стороны — всегда к вашим услугам! Если бы побольше благородных поляков с таким же благоразумием разбиралось в делах родины, даже при самом причудливом их личном образе жизни... О, тогда бы наша отчизна, наверное, очень скоро воспрянула бы от

своего оцепенения... Польский орел, покуда укрытый под сенью двуглавого соседа и сородича, скорей бы оправился, успел бы отрастить крылья, измятые, изломанные непогодой в неравных боях, надерганные врагами исподтишка... А затем по-старому взмахнул бы ими, уходя от явных врагов, от тяжелой, непрошенной опеки... И зажил бы вольно, по-старому. Может быть! Но не стоит толковать о том, чего нет покуда... Что может быть... А может и не быть!.. Господин судья, господин профессор! Честь имею... Все-таки кое-что утешительное буду иметь для сообщения моим друзьям.

— Прежде всего, другу своему, его королевскому величеству Николаю! — негромко кинул Лелевель Чарторьскому, пока хозяин провожал до двери князя Любецкого. И сейчас же обратился к подходящему Хлопицкому:

— Очень жалею, что князь лишил меня возможности сделать легкое возражение на вашу речь, почтенный пан генерал. Но разрешите вернуться к ней теперь?

— Пожалуйста. Прошу вас.

— Буду немногословен... Тем более, что содержание вопроса почти исчерпано! Буду даже говорить не от себя. Припомнилось мне, как почтенный презус последнего сейма нашего, так же оберегая родину, как это делают сейчас многие, напоминал панам депутатам о русских штыках за стенами сеймской палаты. Просил, увещевал их: «Сдержите, паны, даже справедливую критику, негодование, укоры ради отчизны!» И ему ответил младший Немоевский, успевший-таки проникнуть в палату высоких господ. Он сказал: «И я тоже знаю, паны депутаты: от Капитолия до Тарпейской скалы — один шаг! Надо указать чужие права, если хочешь сберечь свои права, свою свободу. Но — что осталось нам беречь, поляки? У нас нет свободы печати. Нарушена неприкосновенность личности и жилища... Собираются отнять конституционные гарантии. Что же остается беречь? Ради чего сдерживать свое законное негодование? Неужели из рабского страха? Нет. Чем гибнуть молча, лучше пасть с протестом на устах!» Так говорил этот благородный человек... И я готов всегда повторить за ним его клич, если бы даже не было никакой надежды... Но — она есть!

— А по-моему, — нет никакой! — выпрямляясь во весь рост, громко отрезал Хлопицкий, которого стала уже утомлять направленная беседа. Его простой, здоровый ум

не требовал такой тщательной подготовки каждого вопроса. Стоило просто изложить факты, потребовать от него ответа, и он дал бы его неуклонно. Но собеседники, особенно Лелевель, казуист и дипломат по духу, привыкли, чтобы каждый факт тонул и выплывал из целого моря соображений и силлогизмов. И в то же время, по присущей им двойственности польской натуры, — после долгих обсуждений — поступали сами совершенно опрометчиво, наперекор собственным выводам. Хлопицкий от французов заимствовал как раз противоположную черту: упорную последовательность в поступках и словах. И теперь он решил кончить спор открытым выступлением. — Нет, — повторил он. — Я больше не верю ни во что хорошее для родины! Пока сияла звезда Наполеона, озаряя надеждами польское небо, — я верил и шел за ним. Когда засверкал ореол «Освободителя» народов над головою Александра, пока не одели эту светлую голову тучи уныния и реакции, — я верил ему, шел за ним, искал путей счастья для родной страны и для себя лично. Но вот все изменилось... Одиннадцатый год Польша лежит смиренно у порога Бельведерского дворца, имея господином своим Константина-цесаревича. И лучшие люди наши примирились с «фактом». О народе — и говорить нечего. Он пойдет всюду, куда поведет его шляхта и наши ксендзы. Без них, конечно, дело никогда и нигде обойтись не может. Чего же ждать? Представление кончено. Надо опускать старый истрепанный занавес над крулевством Ягеллонов, а потом — начинать новую пьесу современного, прусско-русского образца! Вот мое мнение, пан профессор. И я его не изменю никогда!

— Вот как! Ну, теперь я готов сказать: *Finis Polonial!* — если пан генерал Хлопицкий, лучший вождь нации, так говорит... Я не думаю заодно с вами. Но если бы такое безнадежное отчаяние проникло в мою польскую душу... Рука у меня не дрогнула бы... пустить себе пулю в лоб, пане генерале!.. Верьте мне, хотя я и штатский человек, а не воин, не герой.

Немцевич, Чарторынский всколыхнулись, ожидая взрыва. Но Хлопицкий даже бровью не повел. Спокойно, ровно звучит его голос:

— О самоубийстве пан профессор заговорил? Гм... пулю в лоб себе... или другому... Знаете ли, уважаемый профессор, для людей привычных к оружию, — это самая легкая гимнастика. Если бы вы бывали когда-нибудь в боях, вы

бы поверили мне и не стали советовать никому искать выход в самоубийстве...

— Я не советовал вовсе... Борони Боже!.. — бормотал опомнившийся теперь Лелевель. — Я только так выразился... Вы не поняли хорошо моих слов, генерал...

— Я все понял. И то, что вы говорили... Особенно — почтенный пан судья... И еще больше то, чего не высказали мне! Что думали про себя все время... Живет человек с доброй славой в прошлом. Кругом — мука. Люди из себя выходят. Умно или нет, но они живут душой, они служат своей родине... А этот человек — прожигает бесцельно остатки жизни, целые годы подряд... Карты, безделье, лень, кутежи... Не отрекайтесь. Это так! И, конечно, лучше сразу такому человеку покончить с собой, чем тянуть столько лет ничтожную жизнь... прозябать... Вы правы, профессор: вложить ему пистолет в ничтожную, никому не нужную руку — настоящее благодеяние. Легкий звук, удар, дымок... и конец... Но, пане профессор, есть штука позамысловатей, без шума, без дыма, без выстрела... Есть «тихое самоубийство»... Медленное отравление этой самой жизнью, которая полна ужасов без конца... Умирать заживо... жить — трупом. Без надежд, без отчаяния... без ожиданий... Это — пострашнее пистолетной пули, пан профессор... И есть люди, которые сознательно избрали себе эту долгую муку небытия среди кипучей жизни, окружающей их!

Умолк Хлопицкий, глядит перед собой, действительно напоминая живого мертвеца. Бесстрастный, окаменевший.

Молчат все. Даже Лелевель не находит, что сказать.

Поднялся Чарторыский, за ним — Немцевич, Лелевель.

— Ну, посидели, поговорили... Пора и по домам. Живите... Оставайтесь здоровы, пан генерал! Больше не будем вас беспокоить. Только думаю, и вы сами сознаете: близится что-то большое. Девятый вал растет... Ни мы, шляхта, ни церковь, ни народ не могут ждать, верить обещаниям, которых не исполняют никогда. Знаете поговорку: «Обицянки — цянки, дурневи — радость!» А мы все не такие уж дурни... Что же будет, если ударит час?.. Если...

— Теперь вы спрашиваете об этом, граф? Я отвечу прямо: если случится беда... Если мой народ позовет — я пойду, отдам ему последнюю каплю крови, как делал то всю жизнь!.. Простым солдатом стану служить моей отчиз-

не! А говорить, гадать о будущем?.. Простите, на это я не мастер!

— Видим... Слышим слова, достойные генерала Хлопицкого. Будьте счастливы, насколько это можно поляку теперь!

Молча пожал ему руку Немцевич. Низко, вежливо раскланялся профессор...

— Не знаю солдата, воспитанного хуже, чем генерал Хлопицкий! — сказал Лелевелю Чарторынский, сев в карету. — А все же надо сознаться: славный малый... И здоровая у него голова на плечах!..

Когда Хлопицкий, проводив гостей, вернулся в свой кабинет, ему навстречу с оттоманки, раскрыв объятия, поднялся Дезидерий Хлаповский.

— Здоров ли, Юзефе?

— Дезидерий! Какими судьбами? Здорово! Вот рад... Садись... Святой Иосиф Тудельский, как же ты раздобыл там у себя, в познанском поместье, с молодой женой... Давно у меня? Отчего не вошел туда, не принял участия в нашей беседе? Надолго ли? Говори, отвечай, не молчи же, как статуя Яна Непомука на Нижнем базаре...

— Замолчи ты, тогда я голос подам. Вдвоем мы не споемся. Вон у тебя голосок, труба боевая, по-старому... Шикарно выглядишь, старче! Варшавский фацет, одно слово. Ну, вот мой рапорт: приехал нынче без жены, на короткое время. Зачем? Скажу. Даже совет попрошу. Не зашел в гостиную, потому что я не люблю очень умных разговоров, особенно, посыпанных ученостью Лелевеля. Там, с высоты ваших пяти черепов, — «на меня глядело около трех столетий»... Ха-ха!.. Вот я предпочел сидеть здесь, курить, пить вкусный кофе панны Алевтины и ждать тебя. Жена — кланяется и один маленький Хлаповский, именем — Юзеф, в твою честь. А старшая сестренка его, панна Хлаповская, приказала: «Поцелуй дядю, Юзя, которого ты так любишь!» Надо слушать начальства, генерал. Поцелуемся...

— Ах, ты балагур, по-старому... Ну, какое дело? Сразу выкладывай. Правда, запорошил меня этот Лелевель и его компания... Твои речи освежат мою голову.

— Ну, навряд. Я тоже со скучными вестями и вещами... А скажи, о чем вы толковали? Что-то вид озабоченный, скучный у тебя, друже Юзефе?

Несмотря на разницу лет, эти соратники по войскам Наполеона и потом по русско-польской службе были очень

дружны. Только старший с некоторым оттенком отцовской нежности и гордости относился к младшему.

— Спрашиваешь, о чем была речь? О революции, бра-тику, о революции. Толкуют, что переворот на носу. Думаю, они же и затеят его... и станут греть руки на всенародном пожаре... Вот банда...

— Да ведь я с такими же вестями приехал... Еще и с худшими... Там в Познани у нас уже говорили, что здесь все готово... Варшава — накануне взрыва.

Составлен большой заговор: захватить Константина... А если удастся, во время коронации здесь Николая, — покончить и с ним самим и со всей его семьей. Ужасы там толкуют... И так уверенно. Называют людей, назначают сроки, числа... моя Тонця испугалась за сестру, за княгиню Жанету. Послала меня предупредить, спасти... словом, я прискакал... А что делать — сам не знаю...

— Мудреная штука. Но нет дыму без огня... Остеречь надо! Конечно не прямо. Тебе неловко. Мы найдем людей... И эти тоже говорили много... Конечно, и вздору немало. По-ихнему, все виноваты, кроме их самих. Гм!.. Подумаешь! Они называют россиян слепыми, безумными... А сами? Что они творят? Ты знаешь, друг. Они, никто иной, сгубили родину! Чем занимаются, что делают они? Мне посылают упреки в бездействии, в нравственном падении. А сами?.. Только свару заводят, интригуют друг против друга: Радзивиллы, Потоцкие, Браницкие, Пацы, Яблоновские, Сулковские, невенчаные короли в своих поместьях враждуют между собою без конца и края, политиканствуют, а не занимаются политикой... Общее дело втискивают в семейные рамки мелких честолюбцев... Хотят спасти народ помимо его собственной воли, насилием или хитростью... И сами попадают в собственные силки. Вот уж про них можно воистину сказать: «quem perdere vult — dementit»... Если только при рождении отпускает им судьба искру светлого разума? Умнее других этот Адам Чарторыйский. Но он самый надменный и черствый из всех! А эта старая кокетка, Любецкий, желающий нравиться всем на свете, готовый свести кого угодно с кем угодно, чтобы доказать только силу своих медиаторских склонностей... А этот?.. Ну, да черт с ними. Меня в свою кашу они не затянут, дудки!.. Старую республику, с крулем во главе, нашу древнюю Речь Посполитую они погубили... Олигархия во вкусе князя Адама и других, ему подобных, кончилась «законным браком» Польши с

ее «старушком», и брак этот длится уже одиннадцать лет. И еще продлится пока... Ну, довольно на сегодняшний день политики и всякой мерзости. Идем завтракать. Свежие форели достала где-то моя Алевтина... А вечером заложим банчок. А завтра... Ну, там что завтра будет — увидим!..

Часть четвертая

ПУТИ ГИБЕЛИ

Глава I

НИКОЛАЙ I, ЦАРЬ ПОЛЬСКИЙ

Несть власти, аще не от Бога.
Кесарево — Кесарю!..

Евангелие от Луки XX.21

Вот дракон с семью головами и на
них семь диадем!

Откровение св.Ионна. XII.3.

6 (18) июня 1826 года умер князь Зайончек, первый и последний наместник Польши, после вековой борьбы отданной во власть более счастливой сестре своей. Не стало безногой, жалкой куклы, которая и при жизни значила на весах государственной жизни почти так же мало, как и теперь, когда лежала она на катафалке, в тяжелом гробу, покрытая дорогим парчовым покровом, когда творили последние обряды над горстью холодного праха, готовясь опустить его торжественно в землю, чтобы сейчас же забыть, словно и не было на свете этого тихого, доброго старика, любившего свой народ, свою землю, как только могло и умело его кроткое, простое сердце.

Не стало последней ширмы, того фигового листка, который в виде пояса стыдливости у дикарей прикрывал от наивных глаз полное самовластие Константина в делах Царства Польского. Все гражданские начальники, раньше хотя бы для виду обращавшиеся к Зайончеку, — должны были теперь являться к цесаревичу и принимать прямо от него указания, ему давать отчет.

Однако на самом деле произошло нечто неуловимое, благодаря чему диктаторская власть «генерал-инспектора всей канцелярии», как скромно подписывался цесаревич, не усилилась, а стала таять, уходить из рук его все больше и больше с каждым днем.

И трудно было понять: его ли собственная усталость, даже острая слабость, охватывающая душу и тело порой, служила причиной того, что «вожжи» слабели в могучих раньше руках? Или, наоборот, шероховатости в делах управления и в личной жизни Константина, особенно в его отношениях к брату-государю, влияли на впечатлительно-го, стареющего быстро цесаревича?

Как бы там ни было, мрачнее и мрачнее становился он с каждым днем, дряхлел до срока почти на глазах у окружающих его, вызывая особенную тревогу по этому поводу в душе молодой жены своей княгини Лович.

По-старому, молодецкато сидя на коне в своей шинели с пелериной, производил смотры, делал разводы цесаревич, дома принимал доклады военных и гражданских властей, входил во все подробности войскового хозяйства, чуть ли не во все мелочи городского и краевого управления. Интересовался ходом следствия в особой Комиссии, деятельно переписывался с братом Николаем, с Опочининым, со многими другими своими корреспондентами в России и за границей, как, например, с бывшим наставником своим, Ла-Гарпом и другими. Вставал очень рано: весь день до обеда был в делах, в хлопотах, после обеда спал, потом отправлялся в театр, если был интересный спектакль; но ездил туда по большей части без княгини, очень болезненной и слабой за последнее время.

Потом крепкий сон до утра, и снова начинало вертеться и поскрипывать однообразное колесо жизни.

Только все, что раньше проделывал цесаревич с необычайным рвением и охотой, вкладывая душу в каждую мелочь, — теперь делалось как-то машинально. И не только смерть любимого брата-государя повлияла на очень впечатлительного Константина. Физические силы стали как-то гаснуть, незаметно, но постепенно и неустанно. Чаше болит голова, ноют ноги, юношеские застарелые, запущенные недуги, плохо излеченные в свое время, должно быть, дают себя знать, расшатывая богатырскую раньше мощь и здоровье цесаревича.

А тут еще из Петербурга повеяло каким-то холодком... Еще неощутимо, неясно. Даже холодом еще не веет, а нет того почтения и тепла, к которому Константин был приучен даже славным старшим братом-императором и которого, казалось, вправе был ждать от младшего, теперь ставшего по своему положению — главою царства и всей царской семьи.

Ничего нет определенного, конечно, на что можно было бы указать, как на признак изменений между Петербургом и Варшавой... Но нет и прежних живых пересылок чуть не ежедневно, курьерами, гонцами, письмами и деловыми бумагами. Чаше и чаще приходят из Петербурга сюрпризом сообщения о принятых мерах, о проведенных реформах разного рода, задевающих и область Волыни, Литвы, царства Польского, то есть те края, где раньше Константин был единственным и полным господином, хозяином, где ничего не начинали и не затевали в Петербурге, не посоветовавшись раньше с Варшавой, не узнав мнения, не выслушав решающего голоса цесаревича...

И еще одру черту отметила обостренная наблюдательность Константина.

Раньше копии донесений иностранных агентов России, консулов и посольств, не говоря о важных нотах, договорах или трактатах, неуклонно и немедленно отсылались в Варшаву, конечно, под великим секретом.

И цесаревич хранил эти донесения в особом портфеле, вчитывался в них, сообщал свои соображения, давал советы, хотя всегда очень осторожно и оглядливо, чтобы не задеть чем-либо самолюбия самого Александра и его ближайших советников.

Не сразу прекратился этот обычай министерства иностранных дел и теперь, при новом государе, при других людях, вершащих внешнюю политику России, а заодно и Польши, конечно, тем более, что она, Польша, является как бы форпостом империи на западной, самой опасной границе.

Но уже не так срочно приходят донесения. Не в таком количестве... Многое и совсем не попадает в Варшаву и только стороной узнает Константин об изменениях русского курса в западной политике, в ее отношениях к восточным соседям... И, очевидно, близко время, когда Константин будет знать об этих иностранных делах не больше, а, пожалуй, и меньше, чем любой из придворных куртизанов, которые густою толпой уже окружили молодого, доверчивого к близким людям повелителя.

— У-ух, эти прихвостни! — ворчит порою Константин...

И все чаще срываются у него в разговоре с окружающими колкие выходки против ничтожных людей, «которые слишком усердно гоняются за расположением высоких особ».

— Ну, сто зе, васе висоцество, — обычно замечает при этих филиппиках благодушный, житейский мудрец Курута, — казди целовек хочит кусить свой кусочек хлеба с маслом...

— А тебе при этом и сыру надо, да еще самого старого, вонючего! Жвачное ты, а не человек с нервами и кровью... Корова, вот и все...

— Корова? Хорошо — пускай я корова! — спокойно решает Курута. Но цель его достигнута: мрачное раньше лицо Константина озаряется сдержанной, неохотной полуулыбкой. Разговор переходит на местные, текущие дела, где меньше поводов к досаде.

Но и «своими» делами уж не так лихорадочно занят цесаревич, не так напряженно идет работа, как раньше, а скачет настроение Константина словно температура у тифозного больного.

Дни апатии сменяются периодами усиленной работы, возни с запущенными делами, разборки скопившихся бумаг и писем...

Особенно много времени приходится уделять донесениям явной и тайной полиции, набегаящим со всего царства.

Что-то неприятное творится тут. Раньше и сотой доли не приходилось держать в руках того количества рапортов, доносов, анонимных писем и вырезок из журналов и газет, какое скопляется теперь на столе чуть ли не ежедневно. И даже мерки нельзя найти: как отнестись ко всему этому?

Давно ли было время, когда цесаревич желал и находил возможность разбираться в самых незначительных проявлениях краевой жизни, почему-либо привлекающей его внимание или указанной ему со стороны представителями власти? Еще прошлой весной, например, он занялся делом популярного в Вильне адвоката Пуциловского, который, защищая в суде своего доверителя, позволил себе слишком резко отзываться о противной стороне. Рассудил это дело Константин совершенно своеобразно: для острастки другим подобным адвокатам-болтунам приказал выдержать несчастного юриста три месяца на военной гауптвахте без суда и следствия, лишил звания присяжного стряпчего и наконец запретил ему всякое хождение по чужим делам. Словом, разорил человека, разбил ему жизнь и при этом сослался на конституционные постановления сеймов 1764 и 1766 годов, будто бы

узаконяющих подобное вопиющее проявление произвола со стороны административной власти.

Проделав все это, он оставался совершенно спокоен, несмотря на громкий шум вокруг дела, поднятый в целом краю. Внутренне убежденный в правоте поступка Константин уже не считался больше ни с чем.

Теперь совсем не то.

Прямо словно колдовство творится кругом! Кругом все открыто толкуют, что готовится нечто серьезное во всей стране, а в Варшаве особенно. Называют имена, подают списки, назначают дни бунта, переворота, резни и смуты.

А с другой стороны, люди почтенные, достойные уважения, доверия ручаются за общее спокойствие, толкуют, что слухи умышленно, для зондирования почвы, для смущения твердой власти распускаются отдельными политиками, шулерами политической жизни или мелкими кружками, имеющими порою не столько политические, сколько личные цели и выгоды: очернить кого-нибудь, даже весь польский народ и в глазах цесаревича, и перед императором-крулем Николаем. Может быть, даже ввиду слухов о предстоящей коронации Николая в Варшаве хотят создать тревожное настроение, чтобы отдалить этот момент, неприятный для иных, если уж нельзя вовсе помешать ему?!

Конечно, молодежь, как во всех краях и провинциях, и столичная, варшавская, настроена в повышенном духе, полна «новых» идей... Но целое царство стоит и держится не этой глупой молодежью: поддержки ей не найдется в более солидных кругах и опасаться совершенно нечего!.. «Польша безначальем крепка!» — вспоминают старый лозунг Речи Посполитой и ядовито усмеваются благоразумные люди.

Растерялся Константин. Он пробовал быть усиленно строгим, аресты производились сотнями... Но, словно назло, все попадались лица, которых нельзя было уличить почти ни в чем важном. Смелое слово, громкая речь... Вечеринка с горячими «тостами», песнями патриотического характера... Вот и все.

Особенно неуловимы были «святые отцы», на которых тоже немало поступало указаний и доносов. Эти стоят, словно стальной стеною обведены; каждый арест ксендза служил как бы для вящего его обеления и прославления, создавая чуть ли не мученической ореол вокруг этой го-

ловы, осененной тонзурой, с елейным, кротким выражением на бритом лице.

Константин порою выходил из себя. Но от этого дело не ладилось, а только получились лишние промахи, в которых приходилось самому сознаваться и раскаиваться потом.

Иногда словно просветление находило на Константина. Ему чуялось, что именно против него направлен какой-то тонкий, умно рассчитанный, упорно проводимый комплот, заговор. Ему сдавалось, что есть тайный сговор: раздражать его ежеминутно, доводить до белого каления, наталкивать на ряд ошибок и поступков, обидных для всех, вредных ему самому... Он подозревал, что целый ряд людей сознательно морочит его ложными доносами, зная, что меры, принятые Константином, посеют недовольство, постепенно подгонят почву для настоящего взрыва, которого иначе и ожидать было бы нельзя. Для чего это делается? Чтобы его самого выжить из края или действительно пытаются оторвать снова Польшу от России и дать ей самостоятельное существование? Этого не мог решить Константин и не особенно останавливался над таким вопросом. Но что-то есть! Это он видит, чувствует... словно бык на арене, задержанный, исколотый крючками бандерильеров, стоит потупя голову, расставя ноги, глядит исподлобья, не зная: куда кинуться? Так порою и Константин останавливался в глухом, сдержанном раздражении, не зная, за что приняться, что начать.

Теперь реже проявляются у него прежние выходки ярости, гнева, недопустимые в культурном кругу людей. Но тем тяжелее самому Константину. И эта сдержанность еще хуже влияет на дух и на тело цесаревича, ускоряя работу годов, которая в свою очередь совершается неотразимо...

Лето минуло. Осень настала. Вот уж и август близко.

Совсем мрачен, как осенняя ночь, ходит цесаревич и даже шутки Куруты, нелепости домашнего шута Беляева не вызывают ни малейшей улыбки на бледном, обрюзглом лице цесаревича.

За последние дни особенная какая-то осторожная, непонятная, но слишком тяжелая для цесаревича игра происходила между Петербургом и Варшавой.

В середине августа в Москве должно состояться всенародное торжество — коронование нового государя. Знает об этом Константин, извещен самим Николаем, а подроб-

ности сообщены ему его петербургскими друзьями. Но, вопреки обычному порядку, — не приходит официального приглашения или прямого призыва со стороны государя: явиться на коронацию в Москву.

Конечно, истолковать в дурную сторону это молчание Константин не желает и не может. Наверное, самые лучшие побуждения руководят братом.

Там думают, что самому Константину неприятно, тяжело будет явиться на втором месте при торжестве младшего брата, хотя бы он и сам добровольно отказался от первенствующего положения в империи... Может быть, еще что-нибудь?.. Но как не поймет Николай, что хуже, обиднее такая постановка дела. Его могли, должны были пригласить!.. А он, конечно, сам может рассудить и решить: надо ему явиться туда или нет. Самолюбие не будет страдать у цесаревича, сознающего, какой шаг он совершил, добровольно отклонив корону, уже сидевшую на главе его; он сам отдал власть, хотя общая присяга с Николаем во главе закрепила ее за Константином!.. Так почему же вдруг подобные сомнения, колебания теперь? Остается дать всему идти обычным ходом — и будет хорошо.

А так... при недомолвках, замалчивании... При какой-то странной боязливости со стороны Петербурга — гораздо хуже чувствует себя Константин.

Понимает и княгиня Лович, что делается с мужем. Ее тоже задело подобное отношение. Но она совсем иначе толкует его, чем добродушный, прямой ее супруг.

Повторяется почти целиком то, что разыгралось при свадьбе великого князя Михаила.

Пригласили быть на ней только цесаревича, а не его жену. Как супруга старшего великого князя, Лович пошла бы при церемонии впереди других великих княгинь и княжен, принцесса чистой крови, она, полька, из незначительного шляхетского рода.

Такого нарушения всех традиций не могла допустить гордая немецкая принцесса, вдовствующая императрица — мать... Не допустила тогда — тем более, конечно, не допустит и теперь, в стенах Москвы, в Успенском соборе, на глазах сотен тысяч народа, да еще московского, исконного православного люда, который всего четырнадцать лет назад видел польских коней стоящими в тех самых храмах древнего Кремля, где теперь будут возноситься молитвы при короновании нового царя...

Это — первое.

И второе еще чуется княгине: если бы даже обошли ее, супругу цесаревича, если бы призвали его одного, покажется ли приятно самому Николаю видеть на великом торжестве рядом с собою человека, к которому, — сомневаться нельзя, — будут обращены все взоры, на стороне которого симпатий и поклонения окажется больше, чем на стороне его, младшего, возвеличенного не по праву рождения брата? Что, если цесаревича станут встречать более восторженными кликами, окружать более дружной, тесной, ликующей толпой?..

А ведь это возможно...

Вот во избежание такой возможности и пущено в ход уклончивое молчание, которое, конечно, можно истолковать и в лучшую сторону.

Так и старается это сделать княгиня, чтобы рассеять мрачное настроение мужа.

— Ну, о чем ты думаешь, милый Константин? — повторяет она при каждом удобном случае. — Будь ты на их месте — и поступил бы точно так же. Подумай сам: что бы там ни было, хотя ты великодушно и отрекся от своего священного сана, но все же остаешься старшим из мужчин в семье. Как они тебя станут приглашать? Может, это тебе не угодно? И, наконец, они считают, что ты сам, если пожелаешь, — явишься, окажешь им эту честь. А не пожелаешь, но получишь оповещение, тогда тебе уж придется против воли ехать... Так, конечно, рассуждают они... Вовсе не думая, не решаясь думать о том, чтобы обойти главу дома, старшего брата, цесаревича моего — приглашением на священное торжество... Ну, право, милый, так есть. И быть иначе не может...

— Да, да, ты права! — отвечает Константин обычно на все ее уговоры. Даже лицо у него словно просветлеет, морщины разгладятся.

Но проходит время — и снова темнеет цесаревич, тускло глядят его опечаленные глаза, хмурятся торчащие кустиками брови...

Трудно овладевает каждая новая мысль Константином, но, овладев, крепко сидит в уме, в душе... И много раз задает себе сам вопрос тоскующий человек:

— Как же мне быть? Ехать?.. Не ехать?.. Одному? Или с женой?

О том, чтобы ехать с княгиней — недолго думал цесаревич и совершенно оставил это предположение. Наконец остановился на следующем решении:

— Поеду... увижу брата, поговорю с ним... и тогда решу, оставаться ли на коронации... Или опять сесть в экипаж и домой... в свой тихий Бельведер...

— Поезжай, конечно! — только и сказала княгиня, когда он поделился с ней своим последним решением. — Надо на что-нибудь решиться. А то ты изведешь себя совсем этими сомнениями и думами.

В сопровождении одного адъютанта Данилова, камердинера и двух гоф-курьеров выехал цесаревич из Варшавы 9 (21) августа и после головоломной езды 14 (26) августа уже был в Москве, не зная даже наверное, поспеет ли к торжественному дню или нет. По всему пути и подъезжая к Москве, на остановках он задавал встречным, едущим из Первопрестольной столицы, один вопрос:

— Была уж коронация?

Но ото всех слышал отрицательный ответ.

Вот наконец и Москва. Покинув своих спутников у самой заставы, цесаревич один помчался в Кремлевский дворец, где помещался государь.

Николай сидел, читая какие-то важные бумаги и весь углубился в работу, когда раздался стук в дверь, вошел дежурный камер-лакей и отчеканил:

— Его высочество явились и ожидают в дежурной комнате.

Государь думать не мог, что это цесаревич прискакал за тысячи верст без всякого предупреждения, полагая, что брат Михаил пришел с обычным докладом, только сказал:

— Попроси его высочество немного обождать...

Когда Константину были переданы слова брата, судорога пробежала по его бледному лицу. Он едва удержался от сильного восклицания и в то же время почувствовал, что глаза ему начинает жечь, будто слезы обиды и горечи непрощенные, унижительные готовы брызнуть здесь, в этой неуютной комнате, при лакеях, при дежурном караульном...

Сжав до боли зубы, он подавил в себе неудержимое стремление: сделать полуоборот к дверям, сесть в свой запыленный экипаж и мчаться назад, в Варшаву, еще быстрее, чем он летел сюда, где его встретили так не по-братски, так холодно...

Отойдя в глубь комнаты, он опустил в кресло и стал ждать.

Вошел личный камердинер Николая, увидал цесаревича, кинулся к нему:

— Ваше императорское высочество! Когда изволили приехать? Давно ли у нас? Да почему не изволили приказать доложить о себе его величеству? Вот уж будет радость...

— Доклад был... Его величество просил... обождать!

— Обо... Быть того не может, не понял слуга! Кто докладывал-то? Что-то не так. Я сейчас, ваше высочество...

Постучал, вошел.

— Его императорское высочество цесаревич Константин Павлович изволили прибыть из Варшавы и ожидают в соседней комнате.

Не успел камердинер кончить, как Николай был уже на ногах.

— Цесаре... Там? Давно? Боже мой, так это о нем...

Не договорив, быстро двинулся Николай к дверям, которые широко распахнул догадливый камердинер.

— Ваше высочество! Простите... Вы! Я не понял... Этот... болван... он так доложил!.. Сюда, сюда прошу!

Обнял брата... расцеловались трижды, как тот любит... Ведет в кабинет.

Слезы на глазах цесаревича, легкие, радостные... И он не прячет их.

Все это — было недоразумение! Дело выяснилось сейчас же!

— Я полагал, это Михаил. Разве мог бы я заставить ваше высочество ждать хотя бы одну секунду... Какие бы дела там ни были!.. Вас, дорогой, дорогой Константин!

Николай тоже взволнован. Но его ясные, холодные глаза, сейчас выражающие неподдельную радость, в то же время очень внимательно, почти пытливо вглядываются в лицо старшего брата: в каком настроении он явился? С какою именно целью?

Очевидно, лицо цесаревича, на котором можно легко читать его самые затаенные думы, успокоило брата. И совсем уж ласково, тепло он говорит с неожиданным, но желанным, дорогим гостем... Справляется о здоровье его собственном, о княгине Лович... Так жаль, что недуги мешают ей приехать... разделить семейное торжество... Хорошо ли было в дороге? Кто сопровождал?..

— Да что же это мы тут сидим? Едемте скорее к матушке, дорогой, дорогой брат! Она остановилась у графа Разумовского... Там поуютнее... Это недалеко... — предложил после первых вопросов Николай. — Она так будет рада!.. И все наши. Мы так ждали!..

Искренне звучит ясный, металлический голос младшего брата. Сияет некрасивое постаревшее лицо цесаревича, и даже привлекательным, помолодевшим кажется он теперь.

«Значит, напрасны были мои подозрения... Не обманул-ся я в брате... Все сводится к простому недоразумению... Как это хорошо! — думает цесаревич. — Нынче же напишу, успокою жену!..»

И в широкую улыбку расплывается широкое лицо Константина, лучистыми по-прежнему становятся его еще красивые глаза, перед тем затемненные тяжелыми думами, горечью затаенных обид...

Во всей истории династий, когда-либо правивших людьми, не было примера тому, что произошло в Москве во время коронации императора Николая.

Старший брат, имевший в руках власть, охотно, добровольно уступил ее младшему и теперь лично явился на торжество, как бы желая своим присутствием усилить блеск, окружающий Николая. А сам в то же время цесаревич умышлено держался в тени. Узнав, что по церемониалу он назначается возложить корону на брата, чтобы этим как бы подчеркнуть, из чьих рук получает ее младший брат, Константин заволновался, призвал митрополита:

— Правда ли это, ваше высокопреосвященство, что я слышал? Вовсе я не желаю выступать в столь высокой роли, мне не подобающей... Предупреждаю вас!

— Прошу успокоиться, ваше величество... Раз вы не желаете, конечно, церемониал будет изменен... Я сам, по старинным обычаям, могу совершить сие таинство. Нынче же будет все доложено его величеству.

Но Николай не согласился с предложением Филарета.

— Если брат почему-либо находит для себя неудобным, что же... Пусть так. Но и другого не надо. Я сам сумею возложить на себя корону моих предков, дарованную мне по милости Божией, волею моих старших братьев и государей.

Так и свершилось.

Странное чувство испытывал цесаревич во время самой коронации.

Он ждал с нетерпением только этого дня, чтобы сейчас же ехать потом домой. Но императрица-мать была

нездоровая и торжество поэтому откладывали с одного числа на другое. Цесаревичу досадны были неожиданные проволочки.

Он хмурился, нервничал... Наконец все уладилось.

Константина тянуло видеть: что будет в стенах собора, в Кремле, везде, где пройдет торжественное шествие? Но и боялся он этих минут, сам не зная почему.

Может быть, он опасался, что дрогнет сердце, засосет его какое-нибудь дурное, злое чувство, за которое будет стыдно самому Константину.

Зависть?.. Раскаяние в поступке, подсказанном чувством долга, чувством разума?.. Кто знает? И так это все необычайно!.. Младший брат, бледный, как мраморное изваяние, стоит в царском облачении, в короне, во всей славе на виду толпы, от которой чернеет внутренность обширного Успенского собора, от дыхания которой тускнеют мерцающие тяжелые свечи у икон...

А он, прирожденный государь, лишенный своего природного права, сам добровольно отрекшийся, как Исаа, стоит в толпе остальных членов царской семьи. Не для него звучат священные напевы, раскатывается могучая октава протодьякона, восклицаящего громоподобное ликующее: аксиос!.. Или, вернее, и для него есть нечто во всем этом блеске и торжестве, в широких, громких напевах клира.

Только скрытое для других, незримое и непреложное, основное, в то же время... Славу, «осанну» поют другому!.. А ему, Константину, совершают отходную... Да, теперь всему конец... И он испытывает смешанное, печальное и острое чувство, сходное, должно быть, с тем, какое переживал Карл Пятый, когда пожелал при жизни слышать полную похоронную мессу над собою, неподвижно возлежащим в тяжелом королевском гробу...

Медленно выходит процессия на паперть Успенского собора. Государь в полном императорском облачении двинулся в большой обход, к Архангельскому, к Благовещенскому соборам.

Чернеют площади кремлевские народом, как и там, во храме... Воздух дрожит от приветственных кликов, заглушающих перезвон всех кремлевских колоколов...

С правой руки, отступая немного, медленно движется Константин за младшим братом государем. Увидел друга своего Опочинина, который приблизился к нему, и, кивая на все кругом, спокойно, хотя и с оттенком грусти, говорит:

— Ну, теперь я ответ, мой друг!..

Медленно движется вперед блестящее шествие, озаренное яркими лучами солнца, которое сегодня совсем еще по-летнему горит в высоких синих небесах.

Странно все это. Странно и еще одно. Народ московский ликует, приветствует своего юного государя. Но после него все взоры со всех сторон, словно по команде, переносятся на грузную, темную в своем генеральском мундире фигуру цесаревича... И сколько любви в этих взорах! Кажется, если бы не такая минута, клики в честь него, приносящего так охотно великую жертву, были бы громче, восторженнее, чем приветы, посылаемые новому владыке земли.

Чувствует это цесаревич, сам не знает, почему... И особенно ласково кивает головой во все стороны многотысячной толпе, в ответ на безмолвный, сдержанный, но горячий привет устремленных на него взоров...

24 августа в ночь выехал цесаревич к себе в Варшаву и уже 29 августа или по новому стилю 10 сентября вечером сидел у себя, вдвоем с княгиней, делился с ней впечатлениями от своей поездки.

— Знаешь, я так рад, что поехал, — говорит он. — Ты и представить себе не можешь! Вот тебе подарки от матушки... От сестер...

Чудный фермуар, жемчужный с бриллиантами чистейшей воды, браслет, головной убор, коронка, горящая и переливающаяся всеми цветами радуги под лучами большой лампы, сверкают в глаза восхищенной княгини.

— Вот письма тебе от брата, от матушки. Видишь, они все любят, ценят тебя... А я даже не ожидал такого приема... Конечно, скучно было долго ждать самой коронации. И стесняло меня общее внимание... На вечерах, на балах я старался уйти раньше брата, чтобы потом не быть центром общего внимания... При нем все-таки меньше приходилось быть на виду... Но зато... если бы ты знала...

Голос цесаревича дрогнул.

— Как встретил меня народ!.. И в этот самый день... Если бы ты видела их взгляды... Умру — не забуду. Мой добрый русский народ! И не только толпа. Все... все... Вот, смотри, сколько мне подносили даже стихотворных приветствий... И печатались разные стихи. Я захватил показать

тебе... Вот... Видишь... Хотя я остался, чем был... Но меня любят... чтут... Смешно даже, какие громкие похвалы... Вот слушай...

Он громко прочел отрывок из стихотворения, красиво, четко написанного на листке английской бумаги:

Что Петр и что Екатерина?
Что их великие дела
Перед делами Константина?
Они — пределы измеряли,
Обширность царства своего,
Они — престолы доставали...
Он — отказался от него!..

— Лыстец какой этот сочинитель... Впрочем, нет... Чего ему лстить мне, простому человеку, когда он мог бы петь хвалы... более сильным людям... Верю, верю, что я оценен... Слушай дальше... Тут еще лучше. Мне очень нравится конец... Теплый такой, знаешь... искренний, как я люблю... Слушай:

Тебе — усердье, вместо трона.
Сердца людей — тебе чертог.
Любовь народная — корона.
Тебе титул — наш полубог!..

— Ишь, куда метнул, поэтишка! Нет, это уж слишком... А все вообще остальное — хорошо. Как тебе нравится, Жанета? А, скажи, мое дитя?

— Очень хорошо. Я по-русски не особенно могу оценить... Но я велю перевести Фавицкому по-польски... Он даже стихами может... Пусть и наши в Варшаве... и везде знают, как ценят моего великодушного, чудного Константина!..

— Женщица, ты иногда говоришь очень умные вещи. Велим перевести... Пусть читают и учатся от русских, как ладо любить своих...

Он хотел было сказать: государей, но вдруг нахмурился и медленнее прежнего закончил:

— Ну, тех, кто любит их... Кто поставлен над ними... Помнить должны: «Несть власти, аще не от Бога»... Да... А они тут... Мне и про это говорил брат Николай... Он даже от прусского двора, от тестя получил очень серьезные предостережения... Будто затевается что-то опасное в нашей Варшаве... И даже в скором времени... Ты не слыхала ли чего?

— Что я могу слыхать? Знаешь, Константин, — и при тебе я редко вижу кого, сама почти нигде не бываю.

А уж без тебя — и говорить нечего. Но одно могу сказать: я все-таки знаю общее настроение... знаю свой народ. Никогда не нарушали мы клятвы, данной нашим государям, все равно, вольно или против воли пришлось ее давать... Уж про высший круг, про шляхетство — и говорить нечего. А если внизу там... чернь или кто?.. молодежи шальные кучки и бродяг?.. Это же принято уже в Польше... И без участия высших лиц, без руководителей, без вождей?.. Что сделают, на что решатся эти... лайдаки!..

— Хорошо, если так. А брат Николай даже свое коронование в Варшаве решил отложить ради недобрых слухов... Я узнаю... напишу, успокою его, если правда... А ты скучала без меня... Ну, вот и я приехал... Будет веселее!..

— Конечно, конечно, милый...

Улыбается княгиня. Но как-то бледна ее улыбка, не слишком убедителен звук ее ответов.

Если слишком тоскливо бывает в Бельведере, когда уезжает сам хозяин его, наполняющий все-таки покои своим звучным голосом, мелькающий там и тут своей грузной фигурой, бранящий или громко смеющийся порой, то и при нем довольно скучно, однообразно тянутся дни в маленьком тихом дворце.

С первого же дня приезда цесаревича жизнь пошла здесь обычной колеей.

Усталый вернулся из Брюллевского дворца Константин. Больше полусотни одних личных просьб принял он. Да пришлось начать проверку билетов, выдаваемых нижним чинам, уходящим со службы. Даже такую скучную, незначительную работу любит лично проделать Константин. Доклады, приказы, прием ординарцев... Совсем разбитый, он лег перед обедом вздремнуть на часок.

Чинно прошел обед, к которому позваны были кроме Поля, и оба его наставника: граф Мориоль, Фавицкий, дежурный адъютант и пан Грудзинский, гостящий у дочери.

Говорил один Константин, делясь московскими впечатлениями. После обеда он снова ушел отдыхать, а остальные разошлись по своим углам. Только старик Грудзинский прошел к дочери и там сидит, раскладывает пасьянс, порою вздыхая и поглядывая, как изменилась его дочка-княгиня: похудела, побледнела, совсем походит на тень...

— А, знаешь, у Тонечки еще ожидается прибавление к семейству! — замечает он, словно вспомнив.

— Да? Да поможет ей Матерь Божия Остробрамская... чтобы легко, благополучно...

— О, это для нее, что супу тарелку съесть! — торжествующим голосом заявляет довольный отец.

Грустно, глубоко вздыхает княгиня: ей не дано счастье быть матерью. А она так бы хотела...

Темнеет совсем. Вносятся лампы. Пора сойти в гостиную, где по вечерам подают чай...

Эта гостиная — обширный, продолговатый покой; с одной стороны его посередине стена образует довольно глубокую полукруглую нишу, в которой раньше когда-нибудь стояла статуя.

Теперь в этой нише помещен полукруглый большой диван, перед которым круглый чайный стол. Тяжелая красивая лампа висит над ним, а по краям стоят четыре бронзовых подсвечника с зажженными свечами. Стол ярко озарен. Но потолок и углы комнаты тонут в полумраке. Только с правой стороны от дивана весело потрескивающий, ярко пылающий камин бросает свои красноватые блики на пол, на стены в этой части покоя. Печь слева от дивана жарко истоплена и поднимает температуру комнаты до высоты, какую любит цесаревич.

В ожидании его княгиня раскрыла свою корзиночку с рукодельем, работает и изредка перебрасывается короткими фразами с отцом.

Потягиваясь, позевывая, еще не совсем оправясь от сна, вошел Константин, ласково кивнул старику-тестю, сел с правой стороны рядом с княгиней в кресло, ближе к камину.

— Как хорошо. Там, в Москве не было этого удовольствия... А что же это нет никого?

Он позвонил. Появился высокий гайдук-лакей из бывших кирасир, уже много лет перешедший на службу к цесаревичу.

Выслушав приказание, сделал по-военному оборот, ушел. Первым появился Польш.

Теперь — это уже высокий, стройный, хотя и бледноватый юноша девятнадцати лет.

В своей форме гвардейских кирасиров он очень красив.

Целую кипу польских газет и журналов несет юноша и кладет их на стол перед отцом. Это — его обязанность. Здесь почти все, что издается в Варшаве.

Сейчас же Константин стал разбирать газеты, выискивая те, какие ему интереснее других.

Снова раскрылась дверь. Элегантный, как всегда, в своем старомодном костюме, явился граф Мориоль, отвесил грациозно почтительные поклоны княгине, князю, Грудзинскому.

Фавицкий вошел следом, тоже кланяется.

Молча откозырял им по-военному цесаревич, как будто на нем была его шляпа.

— *Veillez — vous vous lacher par eu bas!* — по-французски пригласил он обоих таким образом занять места.

Один за другим опустились они у стола напротив князя, с левой руки у княгини. Послышался звук шпор. Явился дежурный адъютант, звякнул шпорами князю, княгине, всем остальным.

Снова откозырял Константин, отрывисто приглашает по-французски:

— *Veillez — vous accroupir*².

Адъютант понимает приглашение и садится против княгини, рядом с Полем.

Княгиня, уже привыкшая к жаргону мужа, ласково кивает входящим.

— Ну-с, узнаем, что нового делается на свете, в Варшаве и в иных частях земли!

С этими словами Константин развернул газетный лист.

— Вот, вот... Даже про нас писано... Вот...

Он с умышленным пафосом, протягивая гласные, коверкая ударения и выдавая особенно резко шипящие и свистящие неблагозвучные сочетания согласных, которыми отличается польский язык, стал читать:

«Са-кхрамент коро-нацийный в Мос-кве цеес-сажа́ и круля на-ше-го́ Ми-ко-ла́я пер-ше-го́!» Почитаем, почитаем...

Так же коверкая язык, на котором он превосходно говорил, прочел цесаревич всю статью, снабжая ее порой колкими и даже очень резкими замечаниями по адресу автора и поляков вообще.

— Верхом сидя на лошади и с бунчуком в руке, должно быть, писал пан эту статью. Не могут просто передать чего-нибудь друзья-поляки. Всегда на ходули взбираются, Господа Бога за полы с неба тянут, не дают Ему покоя, Старику!..

¹ Не угодно ли приткнуться задом к месту!

² Раскорячьтесь где-нибудь.

Делает легкую гримасу княгиня, берется за виски. Но супруг не замечает ничего, читает дальше.

— Вести из Познани! Милый папа, — обращается он к старику Грудзинскому, — это не вы прислали статейку о своих местах? Нет? Ну, почитаем... А говорят, пруссаки вас жмут, куды похуже, чем мы тут, медведи-москальи. Только вы там смирнее живете, не поднимаете шума на весь свет, как здешние у нас неженки — паны почтенные! Ну, почитаем...

Снова началось представление, от которого слезы огорчения проступают на глазах у Лович; а старик Грудзинский только снисходительно улыбается и успокоительно кивает дочери своей седой головой.

Наконец, успокоясь немного, княгиня отложила работу, взяла томик Ламартина, который лежал тут же, и обратилась к Мориолу, очевидно, желая завязать разговор, за которым легче будет перенести неприятное чтение супруга, потешающего, конечно, только себя своим школьничеством да Поля, который даже громко смеется порой при особенно забавных местах комического чтения отцовского.

— Я сейчас перечитываю «L'Harmonie», граф. Вы, конечно, хорошо знаете это возвышенное произведение. Сколько в нем красоты и глубоких, трогательных мыслей, увлекательных образов, способных усладить ум и сердце.

— О, да, княгиня! — отвечает Мориоль очень любезно, но невольно понижая свой и без того слащавый, мягкий голос, чтобы не покрыть цесаревича, невозмутимо продолжающего свое чтение.

Все-таки тот из-за газеты кидает быстрый взгляд на говорящих и продолжает с пафосом французского актера старой школы декламировать статьи очередной газеты...

Граф поёжился, кашлянул учтиво, слегка. Но княгиня словно не заметила ничего, не унимается, снова обращается к Мориолу:

— Вот хорошо бы Полю дать прочесть. Такие вдохновенные строки... Они должны благотворно влиять на воспитание юных душ. Не правда ли?

— Да, принцесса! — словно вздох золотой арфы проносится ответ педагога, который начинает уже не на шутку смущаться, предвидя, что может произойти.

— Значит, — оживляясь все больше, продолжает княгиня, — вы согласны со мною? Хотите, я вам дам этот

томик для Поля... Поль, — обращается она к юноше, — вот и граф согласен, что эта прекрасная книга...

— Да помолчи ты, пожалуйста! — добродушно еще, вдруг обращается к ней Константин. — Он наставник, ему и книги в руки, а ты мне газеты прочесть не даешь, милая!..

Княгиня поднимает кверху обе свои маленькие белые ручки с умоляющим жестом, умолкает на время. Только густой глуховатый голос княгини наполняет затихший покой.

Но через несколько времени княгиня, уже вполголоса, снова обращается, на этот раз к Фавицкому.

— А вы читали Ламартина? Да? Как приятно. Наверное, есть что-нибудь и в русском переводе. Найдите, пожалуйста, для наших занятий... Мне будет так приятно. Этот писатель особенно подходит к настроениям моей души. Он вечно стремится к Высшей красоте и благодати. Чувствуется дыхание вещей крыл, когда перелистываешь страницы его поэм... А иногда даже кажется, что сам сливаешься... и делается с тобою что-то... ну, вы понимаете: такое делается... особенно... этакое... Вы поняли?

— Конечно... понял-с, ваше сиятельство, — осторожно гудит своим баском Фавицкий, тоже невольно оглядываясь на читающего князя.

— Когда я первый раз читала его поэму, знаете ли, мне было тогда семнадцать лет. Да, да, всего семнадцать лет! Но я до сих пор помню, — одушевляясь, начала было возвышать свой слабый голос княгиня.

Но князь не любил, чтобы нарушали при нем порядок дня.

— Слушай же меня, молчи! Вот несносная женщина! — с комическим выражением лица и притворной суровостью кричит он.

Княгиня беспомощно склоняет голову на бок и умолкает.

— Вот, так-то лучше. Дай хоть пару строк спокойно прочитать!

Снова продолжается чтение.

Отодвинув подальше томик, княгиня опять принимается за свое вышивание, потом, взглянув на часы, звонит.

— Чай подавать пора!

Вошедший на звонок лакей скрывается и скоро возвращается, с важным видом вносит чайный прибор на подносе.

Юркий черномазый гречонок Анастас несет за ним печенье, несколько вазочек с вареньем.

Драгун, поставив поднос перед княгиней, маршируя, как на параде, скрывается снова, за ним Анастас.

Первая чашка налита, поставлена князю. Поблагодарив кивком головы, он протягивает руку, отпивает, ставит чашку и продолжает чтение.

— Тебе налить, Поль?

— Прошу, ваша светлость... Благодарю...

— Вам, граф? Угодно...

— Пожалуйста...

Всех опрашивает княгиня. Получает ответы. Ложечки осторожно побрякивают, размешивая сахар. Но и такой легкий шум и говор мешают чтению.

— Что за звон такой? Какой завтра праздник? — комично сдвигая брови, громко вопрошает он. — Поль, пономарь ты, что ли? Что за колокольня? Господи, хоть в кофейню из дома надо идти, чтобы газеты спокойно проглядеть. Если сами не интересуетесь, другим не мешайте, друзья мои!

«Друзья» совсем притихают. Только мимически отвечают на вопросы и предложения гостеприимной хозяйки, глотая почти не размешанный чай.

Чай выпит. Откладывая последнюю газету, Константин заявил:

— Ну, вот и конец... Теперь можно побеседовать немного... Прежде всего, Поль, как твои занятия шли тут без меня? Наставники припасли, поди, немало жалоб на тебя? Как скажете, граф? Нет? Удивительно... А у вас? — обратился он к Фавицкому.

— Не могу пожаловаться, ваше высочество. Все шло помаленьку, ваше высочество. Как всегда.

— Ну, и то хорошо. Ты уж не маленький, чтобы подгонять тебя. Брат Николай оказал честь, изволил спрашивать о тебе, о твоих занятиях. Помни это... Но скажу вам: не узнал я Москвы в этот раз. Положительно не узнал. Давно ли видел пожарище черное... И вдруг... Да и до пожара такая ли была Москва, как теперь? Удивительно. Не правда разве, Данилов? Как скажешь? — обратился он к адъютанту.

— Нет, именно так. Из пепла возродилась, как Феникс, можно сказать, ваше высочество.

— Вот, вот! Это ты хорошо придумал: как Феникс!.. И лучше еще станет, погоди. Вы, граф, не видели Москвы?

— К сожалению, нет...

— Всем надо повидать. Непременно надо. И Парижу теперь не уступит наша Белокаменная... Про Варшаву и говорить нечего... Не обижайся, женушка. Правду надо сказать...

— Я нисколько не обижаюсь...

— Знаю я тебя. Заядлая полька. «Слово гонору»!.. Да, да, превращение полное... Помню я, приезжаю туда формировать полк в двенадцатом году...

Легкий вздох вырвался у княгини. Она знает: раз супруг начал с 1812-го года, конца не будет его воспоминаниям и рассказам.

Остальные приняли внимательный вид. Поль, пользуясь особой привилегией, разглядывает иллюстрации в принсенных журналах. Он почти наизусть знает эти бесконечные рассказы отца и предпочитает не слушать старых историй и анекдотов, слышанных десятки раз.

Но сам Константин увлекается своим рассказом. Как живые, встают перед ним знакомые образы, мелькают разные сцены. И он не замечает, что лица слушателей становятся все напряженнее, словно вытягиваются. Тягучим тоном, с повторениями говорит без умолку князь, навевая сон на окружающих. Не только княгиня, и другие смотрят порою на стрелку часов, стоящих в углу.

Вот она дошла. Бьет десять.

— Ну, какая досада: уже расходиться пора!.. На отдых вам надо, княгиня... Другой раз доскажу! — объявляет Константин.

— Да, да, другой раз... Доброй ночи, мой друг!

Нежно целует жену цесаревич, дает Полю поцеловать руку, привлекает его к себе и целует в лоб.

— Смотри, пожалуй, совсем мужчина! Скоро меня перегонишь ростом... Расти, расти, будь молодцом!.. Доброй ночи, господа...

Откланялись, разошлись все.

Погасли огни, затих весь дворец...

Быстро засыпает цесаревич, едва коснется подушки головой.

Помолившись, долго не спит еще княгиня.

Сидя в кресле у камина, отдала она голову в распоряжение камеристки, причесывающей ее на ночь, а сама думает.

— Давно ли, кажется, впервые она проснулась в этой комнате... и так была счастлива... Она счастлива. Муж

любит ее. Конечно, по-своему, но любит. А это главное. Не то рисовалось Жанете Грудзинской, когда она стала супругой Константина... Столько испытаний... Столько ударов Судьбы, уколов самолюбия... И, кроме всего этого, так однообразно, бесцветно тянется жизнь... Утром еще бывает кто-нибудь из родных... Сестра заглянет, Жозефа, кто-нибудь еще. Сама княгиня в костел поедет, навестит мать, заглянет в госпиталь сестер Визитандинок или прокатится по аллеям парка... Потом обед... Уроки русского языка, чтение... Кос-как проходит долгий день.

А потом настает вечер. Все идет, как было нынче... Без перемен, без всяких изменений. И будет так идти до конца... Что же, так, видно, надо...

Кротко поднимает к Распятию тоскующий взор княгиня, шепчет тихую молитву, ложится и, засыпая уже, думает.

— Пошли терпения, Чистейший Иисусе... Матерь Пречистая Дева, дай мне только сил... и сохрани мне его!..

Засыпает. И ей снятся скучные, долгие дни, серые тоскливые вечера...

Усталая, бледная просыпается утром княгиня, словно совсем не освеженная сном и первой мыслью ее является:

— Боже мой! Опять начинается долгий, скучный день... А за ним потянется тоскливый, долгий вечер...

И не хочется ей вставать... не хочется даже жить. Так скучно, бесцветно все кругом и в душе у женщины, хотя еще она молода и хороша собой, несмотря на недуги и страдания физические, овладевающие порою этим хрупким телом, несмотря на постоянную скуку и томления души...

Граф Мориоль и Данилов вместе вернулись из Бельведера в Брюллевский дворец, где им отведены удобные квартиры, как и некоторым другим лицам из близкой свиты цесаревича.

Едва Мориоль снял парадный кафтан, переоделся в домашний шлафрок и подсел к камину погреться, отдохнуть после вечера, проведенного в напряженном состоянии в гостиной Бельведера, вошел слуга и доложил о приходе доктора Пюжеля.

— Проси, проси... Рад видеть вас, дорогой друг! — идя навстречу гостю с протянутыми руками, принял граф вошедшего врача.

— Не поздно? Простите, если не вовремя. Завтра, думаю, и вы, и я заняты будем целый день... А мне интересно узнать, что новенького слышали вы нынче в Бельведере?

— Слышал, слышал... Я даже поджидал вас... Сюда к камельку... Видел и слышал немало... Когда Польша ушел с Фавицким, его высочество успел сообщить мне лично, как государь заботливо осведомлялся о моем юном питомце. Удостоил вспомнить и обо мне. Да как же... Вы помните, я имел честь быть представленным его величеству, когда он еще проезжал через Варшаву с его августейшей супругой... Да, да. Вот и вспомнил. Удивительная память.

— О, это не удивительно, граф... Ваши заслуги...

— Ну, что там, заслуги... Я здесь, в Варшаве... далеко от двора... Нет, удивительная память. Это будет замечательный государь, предсказываю вам... Была большая беседа о Поле... Его величество предложил наградить титулом юношу, дать ему крестьян, земли... Словом, приличное состояние... Но наш оригинал-цесаревич, представьте себе, — все отклонил!.. Да, да!.. По его мнению, Польша должен оставаться так, как есть, идти вперед по своим заслугам, а не особыми милостями... «Так лучше будет для него самого! — заявил мне князь. — Воспитать мальчика я постараюсь получше, чем воспитали меня... Кое-что я откладываю для него из своих средств. Хватит прожить ему и семье... Будущее, если не блестящее, то безбедное я обеспечу сам моему Полю... И не хочу ничего просить или брать от брата Николая... Если Польша сам не наделает глупостей, он кое-что успеет сделать в жизни»... Конечно, я спорить с его высочеством не стал... Поездкой своей он очень доволен, хотя... Знаете, во всяком деле есть свое «но»... Хе-хе-хе...

— А здесь их даже несколько, не так ли, граф?

— Совершенно верно: несколько «но»... И, между нами говоря, старый друг, мне сдается, мы делаем веселую мину, чтобы не показать настоящего лица... Да, да! Конечно, все было торжественно, внешнего почтения нам выказали много... Но... нет уже той силы, какая была за нами при покойном государе. Увы!.. Конечно, и тогда умели делать так, как казалось удобным Петербургу... Хотя бы эта история с отречением... Вы помните?

— Еще бы... Хорошо помню... Мы столько говорили с вами...

— Вот, вот. Покойный был удивительный тонкий дипломат. Это разрешение на вторичный брак... Первый отказ цесаревича от наследования трона... Второе полное отречение... Как все ловко. И тени не видно, чтобы чужая рука дергала за струну... Все сам проделал наш доверчивый князь... А между тем...

— Да, да, граф. Мы-то с вами знаем, как он был обойден...

— Вот и теперь... Только уже гораздо прямее. У младшего брата нет той выдержки, тонкости... Например, почти решено вести войну с Персией... А его высочество узнал о таком важном событии почти последним... Вы понимаете...

— О, еще бы... Какой удар самолюбию...

— И не это одно... Словом, приходится смеяться, чтобы не заплакать... А тут еще дома много неутешительного...

— Княгиня? Неужели?!

— О, Боже сохрани... Я не позволю себе сказать чего-нибудь такого... Вот вдруг пустили гнусную выдумку, что он не застал даже в своих покоях ее светлость, когда вернулся ночью из Москвы... Очень просто: княгиня, пользуясь случаем, снова стала посещать изредка свою эту капличку... которую так не любит князь... Там — сырость... холод... А княгиня и без того слаба... А тут уж болтают ужасные вещи... Конечно, бывает, что и сама княгиня дает легкий повод. Ей скучно. Эти уроки с выскочкой Фавицким... Долгие занятия наедине... Мой Поль даже позволил себе как-то сделать замечание по этому поводу... Но я дал ему понять, как это нехорошо... Он воздерживается теперь... А чужие люди... конечно, им еще больше удовольствия доставляет посудачить... И все рты зажать нельзя...

— Невозможно, граф, что и говорить... Бедный князь... Сколько огорчений ему со всех сторон... Столкновения с Петербургом... волнения здесь... Неурядица в семье...

Долго еще сидели два приятеля и судачили обо всем, что знали и чего не знали даже, потягивая старое бургонское из погреба цесаревича, полученное графом в подарок из Бельведера.

Для приятеля граф раскрыл заветную бутылку, и все живее лилась его речь, по мере того как пустела она, запыленная, старая, покрытая паутиной и плесенью снаружи, налитая густой ароматной влагой внутри.

Наступивший 1827 год внес некоторое оживление в однообразное течение бельведерской жизни...

Из своих богатейших волынских поместий явился в Варшаву тот самый граф Ильинский, который тринадцать лет тому назад в качестве предводителя дворян в Житомире встречал победителя — миротворца Европы, императора Александра, говорил ему витиеватую речь и привлек внимание государя.

Графа, благодаря пышной, расточительной жизни, устроенной по образцу маленьких, но необычайно чванных немецких дворов, знали не только в Литве, на Волыни и во всей Польше, но даже в Петербурге и Москве, чуть ли не во всех главных городах Малороссии: в Харькове, Полтаве и Киеве.

Всюду являлся он с огромным штатом прислуги, с поварями, тафельдекерами, мундшенками, со своим мажордомом, с целой охотой и собственной конюшней. За столом несколько бедных шляхтичей, так называемые «горничные» или «тарелочные», прислуживали тщеславному графу. Приживальщики, шуты и даже артисты собственной итальянской и немецкой труппы, а особенно хорошенькие артистки также были неразлучны с этим «ярмарочным» царьком, как многие величали графа. Он чуть ли не возил с собою особое кресло, вроде трона, на котором восседал, принимая посетителей по вечерам, а по утрам творя суд и расправу над своими «подданными» или слушая декламацию и пение своих артистов, музыку своего оркестра, довольно многочисленного и хорошо сыгравшегося за несколько лет.

Конечно, для поддержания такого, хотя бы и опереточного, «двора» и блеска требовались огромные расходы. Хотя челядь и артисты получали гроши, питались довольно скудно, дома носили лохмотья, музыканты трубили и пиликали с подтянутыми желудками порой, но устраивая пиры и балы для гостей, граф выписывал фрукты и цветы из Италии, дорогие вина лились рекой. Костюмы на артистах и певицах, выступающих в главных ролях, шили из шелка, из бархата, зашивались серебром и золотом...

Сам граф не отличался никакими дарованиями и трудно было решить, что преобладало в этом человеке: тщеславие или глупость? Рабски подражая особам королевской крови в своем обиходе, во всем полушутковском этикете, заведенном у себя, граф имел также и нечто вроде гарема, а сверх того два раза был женат, успел, с помощью больших денег, дважды получить развод и,

наконец, в Петербурге женился в третий раз на бывшей хозяйке модной лавки, мадам Крак, этим дав пищу для целого ряда острот и каламбуров относительно «госпожи Крак, ставшей женой господина Крах»!

Действительно, если не разорение в полном смысле слова, то жестокое оскудение постигло, наконец, дутого «ярмарочного» царька.

Поневоле пришлось бы ему отказаться и от прежней мишурной роскоши и от беспутства, от бешеных кутежей, но тут кстати пришло на помощь новое обстоятельство.

Ксендзы вообще, а отцы иезуиты, в особенности, нашли, что стоит заняться чудачком-графом или, вернее, остатками его состояния и быстро обратили его в ханжу, изувера, который теперь щеголял своим суровым благочестием и аскетизмом, как раньше кутежами, развратом и пышностью самозванного царька.

Целыми днями теперь проводил граф по костелам, приचाщался ежедневно и исповедывался в настоящих, прошлых и даже, кажется, в будущих грехах.

Имел своего капеллана и переносную каплицу... Словом, и здесь, в сфере набожности, доходил до чудачества и крайностей, как везде и во всем.

Явившись в Варшаву, граф, конечно, сделал визит цесаревичу, который знал этого убежденного шута очень давно и счел нужным пригласить к себе.

Княгиня Лович, заинтересованная рассказами мужа и знакомых о графе, пожелала видеть нового аскета-подвижника.

Постоянно мистически настроенная княгиня и сбитый с толку иезуитами, начинающий впадать в слабоумие граф с первой встречи почувствовали особенное расположение друг к другу.

При всей театральности приемов и изломанности своей, вопреки слишком приподнятому, восторженному тону речей, закатыванию к небу глаз и биению кулаком в грудь, словом, всему тому, что напоминало вечернее чтение польских газет цесаревичем, — в графе Ильинском была одна яркая черта, ненужная и незаметная для окружающих, но желанная, ценная для княгини.

Полушут, полукомедиант, изувер и фат в одно и то же время граф искренне искал Бога, ждал чуда, трепетал от предвкушения чего-то особого, таинственного, нездешнего, что открывается, однако, и на земле иным людям, избранным, отмеченным рукою самого Рока. И себя граф совер-

шенно искренне почитал таким избранником. Это болезненное убеждение было очень сильно и особенно могло влиять на слабую, впечатлительную душу Лович, вечно стоящую на грани двух миров: этого, земного, со всеми соблазнами и прелестями его, и другого, высшего, где царит Некто, Неведомый...

До сих пор, даже оставаясь правоверной католичкой, Лович чтит Высший Разум, как основу мира... Поговорив с графом, поклонником князя Гоэнлое, Сведенборга и других «боговидцев», Лович почуяла новую прелесть в открывшейся ей возможности, подсказанной новым учением: здесь, на земле, удостоиться слияния с Божеством. Экстазы, уже знакомые ей, не вызываемые идейными подъемами, если верить графу, можно усилить; можно довести до полной материализации сияющие образы Христа, святых, Богородицы, серафимов и херувимов, доступно слышать, видеть их, сливаться с ними в настоящем, не мистическом лобзании, сладком, как блаженство, и чистом, как они сами...

Чего же могла лучшего желать княгиня, полная неясных порывов, вечной неудовлетворенности желаний и чувств? Муж, тот, кто мог дать ей земное наслаждение, он оказался слишком груб для утонченной натуры княгини. Одно дело: встречаться в продолжении трех-четырех лет с поклонником, проводить с ним хотя бы и ежедневно по несколько часов, — но в обстановке гостиницы, почти на глазах у людей... И совсем получилось иное впечатление, когда пришлось того же человека увидеть рядом с собой, на правах мужа, в пределах замкнутого, тихого Бельведера, где самое положение князя и Лович оставляло их в «великолепном одиночестве» даже тогда, когда они были окружены своей свитой, знакомыми, родней...

Глубоко скрывая, таясь от себя самой, постепенно княгиня пережила то, что рано или поздно должна была неизбежно пережить.

Нежная, самоотверженная жена, кроткая женщина, любящая и терпеливая без конца для всех, для мужа, даже она наконец сама должна была сознаться, что все это, если и не маска, то и не есть вольный, искренний порыв и позыв души... Как подвиг, как неизменный святой долг выполняла Лович обязанности супруги, безупречной оставалась не только в глазах людей, но и перед своей совестью и смело шла на исповедь к своему духовнику...

Но в глубине души, в тех тайниках, куда сам человек заглядывает не совсем охотно, княгиня должна была сознаться, что она несчастна и не только от влияния внешних обстоятельств, а просто как женщина, желающая любить, способная гореть пламенем ярким, сверкающим и лишенная возможности проявить эту любовь, дать выход огню, сжигающему порою всю душу, иссушающему и это нежное, прекрасное, хрупкое тело...

И ему, как влага молодым росткам, нужна была только любовь.

Все, что ни делала Лович: ее благотворительность, занятия литературой, домашние хлопоты и заботы, ее набожность и деятельный интерес, проявляемый порою к разным делам, — все это было чем-то внешним.

Так человек, сжигаемый неутолимой жаждой, бредет среди красивого, но безводного пейзажа, умышленно порою старается отвлечь свои мысли от мучительного ощущения, вдыхает аромат цветов, ускоряет и замедляет шаг, ложится и встает, гоняется за мимо летящими птицами или пробегающими зверями... А сам, чутко насторожив слух, трепещет в ожидании: не зазвонит ли где в чаще каскад? Вглядывается напряженными очами: не блеснет ли впереди стальной изгиб реки, не загорится ли под лучами солнца гладь озера, подернутого у краев легкой набегающей рябью прибрежной волны?

Как верующая католичка и верная жена, любить кого-нибудь, кроме мужа, княгиня не смела. Мужа любить так, как ей было вродено, она не могла... Оставалось перенести весь пыл души и сердца, направить весь свой огонь на что-нибудь другое. Вне земных пределов, там, в области сверхчувственных переживаний, может быть, найдется настоящий отклик на ее призыв скрыть исход ее томлениям?

Молитва и подъемы религиозно-философской мысли доставляли княгине большое наслаждение... Но это было не все...

И появился граф Ильинский, может быть и мономан, но охваченный большой красивой идеей, совмещающей в себе высшие откровения христианства с таинственными мистериями Астарты-Всех приемлющей и Обсеменяющего Озириса.

Чувственность и религия вдруг слились в один тесный узел, в одну сеть, которая опутала надолго княгиню.

Сначала цесаревич, привыкший к неровностям и причудам ее, терпеливо относился к новой полосе, к новой складке в жизни жены.

На Ильинского, уже не молодого, изможденного теперь постами и молитвой, он, конечно, не мог смотреть иначе, чем на полупомешанного полушута. Потешался над ним, но не устаивал даже намеком на ревность...

Однако мало-помалу цесаревич почувствовал, что этот полуидиот слишком много места занимает и в собственном доме его, и в жизни, в мыслях княгини. Появляясь почти с раннего утра, граф сидел с Лович, читал туманные трактаты «учителей» своего толка, беседовал с нею о всех ведомых миру и неведомых вещах... К обеду он появлялся с нею и занимал место у нее с левой руки... И тут, — как бы продолжая прерванные речи, они перекидывались отрывистыми, непонятными порою фразами или просто обменивались значительными взглядами, как два сообщника, ведающие какую-то великую тайну, недоступную для понимания простых смертных...

Кончался обед — Константин уходил «всхрапнуть» чашик-другой, а граф снова появлялся на половине Лович, которая ради него закинула даже уроки русского языка, очень всегда, казалось, приятные для нее и ставшие положительно насущной потребностью для учителя Фавицкого, который давно уже, подобно оруженосцам прошлых веков, пылал любовью тайной, но могучей к своей благородной госпоже.

Только вечером, когда все сходились к вечернему чаю, граф покидал дворец, но и то не всегда.

Скоро цесаревич убедился, что даже отсутствующий, граф стоит между ним и его женой.

Ежедневные, утомительные по своему захвату беседы с графом, длящиеся по несколько часов, исповедь, причастие, тоже чуть ли не каждый день, чтение таинственных фолиантов — отнимали все время княгини, истощали ее до того, что она худела у всех на глазах и стала прозрачна, как тень...

— Какая уж ты у меня жена стала? — ворчал князь. — Одно недоразумение!

Но еще худший сюрприз ждал князя.

Нервная, склонная к истерии еще в детстве, потом даже страдавшая временно серьезным душевным расстройством, теперь княгиня под влиянием Ильинского предалась «созерцаниям», призывала Вечного Жениха, наподобие св. Екатерины, порою впадала в особое, возбужденное состояние, переживала восторженные видения, чувствовала прикосновения неземных рук, даже уст, потрясающие ее

сильнее, чем самые бурные ласки мужа даже в пору их первой любви.

Зато днем, при столкновениях с мужем, она все чаще поддавалась порывам неодолимого раздражения, которые, конечно, были ей самой неприятны, чуть проходил припадок гнева, и она только оправдывала эти вспышки плохим состоянием своего здоровья.

— Твоя болезнь — это граф «варьят»¹, — не выдержав, заявил наконец однажды цесаревич жене. — Ты не гляди так страшно на меня... Конечно, я и не думаю сказать чего-нибудь такого... понимаешь, обидного для тебя. Ты — совершенство из всех женщин, а из полек — в особенности. Вот уж могу спать спокойно, если бы даже не такая обезьяна в рединготе до пят, а самый первый Лознгрин или Мальбург сидел сиднем в твоей спальне... Я говорю о его вредных выдумках и затеях. Ксендз — не ксендз, а хуже попа! Чего ни придумает... И ты за ним идешь, как овца беспастушная за козлом за старым!.. Опомнись, матушка! Видит Бог, выведет он меня из терпения, я его прямо в окно выброшу, не говоря худого слова... Я его...

— Ничего ты ему не сделаешь, Константин, я уверена. Но грешно и говорить так о святом человеке...

— О шуте об этом... о придурковатом тунеядце, о грязном маньяке?

— Ты забыл, что и у вас, у схизматиков, мой друг, всегда чтит юродивых Христа ради, которые принимали на себя смиренный вид, переносили поругания, носили иго жизни вместо железных цепей и вериг... Так и этот святой...

— Из отставных распутников?! Хорош гусь, нечего сказать, почему он обратился к Богу, этот раскаивающийся дьявол? Когда мусульманин становится евнухом, он поступает в гарем, сторожит чужих жен... Понимаешь?.. Ну, да не в том дело. Я тебя предупредил. Скажи своему «варьяту», чтобы он сократился... Я не шучу, женщина. Верь!.. Ну, теперь поцелуемся — и конец!

Однако Константин скоро убедился, что предупреждения плохо помогают.

Конечно, княгиня и граф стали осторожнее, сдержаннее, но в главном — изменения не было.

¹ Варьят — безумец.

Княгиня совсем впала в чувственно-мистический транс и подчинялась влиянию Ильинского так же всецело, как он находился во власти своих наставников, отцов-иезуитов, не получивших пока доступа в пределы Бельведера.

Окружающие, особенно Фавицкий и Мориоль, особенно следящие за всеми подробностями семейной трагикомедии, осторожно старались, со своей стороны, поставить на вид цесаревичу всю опасность такой близости между маньяком-глупцом, графом и болезненно впечатлительной, слабой духом и телом княгиней.

Пижель, как друг Мориоля, помогал последнему и служил передаточным пунктом между князем и добровольными соглядатаями, конечно, не выдавая последних, а высказывая общие опасения, которые тут же находили для цесаревича полное подтверждение в недугах, все сильнее овладевающих княгиней.

Вечерняя тишина воцарилась в стенах Бельведера.

Ранние, зимние сумерки быстро надвинулись и одели тайной и мраком застывший парк, покрытое ледяной и снежной одеждой озеро, поляны и луга, теперь омертвевшие, одетые саваном снегов.

Граф Мориоль, каждый вечер приезжающий в Бельведер к вечернему заседанию в семейном кругу, в чайной гостиной, ранее обыкновенного появился во дворце, прошел к своему питомцу, потолковал с ним немного, затем отправился в комнату Фавицкого, имеющего помещение в верхнем этаже дворца.

Фавицкому были отведены две комнаты, одна побольше вроде гостиной и вторая, служащая кабинетом и спальней.

Не получив ответа на стук, граф на правах старшего наставника и многолетнего сотрудника раскрыл первую дверь и вошел, догадавшись, что Фавицкий сидит в кабинете и потому не слышит стука.

Обе комнаты соединялись узкою аркой с портьерами вместо дверей.

Не постучав даже на этот раз, Мориоль пошире раздвинул полы портьеры и, кинув быстрый взгляд кругом, заметил Фавицкого за столом с головой, опущенной на руки, как рисуют обычно пустынников, созерцающих божество.

Перед ним под светом лампы стоял портрет-миниатюра в красивой рамке. Мориоль узнал черты лица княгини Лович, прекрасные и тонкие, хорошо переданные художником.

Заметив, что ему было надо, Мориоль отступил и сделал вид, что только приближается к арке.

Легкий кашель графа заставил Фавицкого очнуться от своего блаженного созерцания.

Быстрым движением положил он портрет на стол и прикрыл его толстым фолиантом, лежащим тут же, словно наготове.

— Можно войти? — раздался между тем мягкий голос Мориоля.

— Прошу, прошу, входите, граф... Рад вас видеть!

Здороваясь с гостем, Фавицкий подозрительно взгляды-вался в его лицо, желая узнать, не видел ли этот хитрец чего-нибудь.

Но тот, покашливая, добродушно улыбаясь и показывая свои еще хорошо сохранившиеся зубы, ровно, спокойно, заговорил:

— А я думал, что не застану вас... Свободный часок: как не пойти погулять или навестить кого-нибудь в городе? Молодой человек, как вы, а живете таким отшельником!.. Читали, работали? Ну, конечно... Оттого и не слышали моего стука за дверьми... Сяду, с вашего позволения... Охо-охо... Старость одолевает. Как вы поживаете? Хорошо? Слава Богу! А Поль дома? Как идут теперь ваши занятия с нашим милым юношей?

— Да что уж? Какие занятия! После этих брестских маневров, когда он подышал лагерным воздухом... увидел себя перед своим взводом... Ошалел мальчишка. И так был из рук вон... А теперь — хоть плачь с ним. Право, давно бы оставить это место... Только даром деньги приходится брать... Но его высочество находит, что менять наставников...

— Ну, само собою разумеется, это было бы нерационально. Тем более, что и трудно было бы найти такого знающего, а главное, преданного делу и всей высочайшей семье человека, каким являетесь вы, мой юный друг... Потерпите. Уже недолго осталось. Скоро исполнится 21 год нашему воспитаннику. И, конечно, не станут продолжать учение после совершеннолетия Поля. Его высочество даже говорил мне кое-что в этом направлении... Но и помимо того... Вы так хорошо здесь приняты. Княгиня так вас ценит. Не меньше, чем сам цесаревич, как кажется?..

— Вы думаете? — в невольном порыве радости спросил Фавицкий. — Скажите, граф, вы человек такой умный,

наблюдательный... И вам кажется, что ее светлость благо-
склонно относится ко мне? Да? Это очень приятно... Ее
светлость — это такой... ангел, одно можно сказать...

— Вот, вот, — ангел. Я то же самое всегда говорю...
Неземное существо... Какая доброта...

— И какой дивный характер!

— Какой ум!..

— А сердце?! Вы заметили, ваше сиятельство, как она
старается пролить радость, отереть слезы всюду, где только
может... И не напоказ, как иные дамы-покровительницы...
А все тайком от света!..

— И не говорите!.. Святая, совсем святая...

Фавицкий не выдержал, в порыве схватил и горячо по-
жал руку графу-хитрецу.

— Что с вами, мой юный друг? Ах, впрочем, понимаю:
это так приятно, если кто-нибудь другой разделяет ваши
взгляды и... и чувства? Не так ли?.. А... я вполне понимаю
вас, сочувствую вам от души... Это такая женщина!..

— Ангел, ангел!

— Вот, вот... Другого слова не найти, не подыскать. И
тем больнее видеть, что люди дурные или полоумные, вер-
нее сказать, употребляют во зло эту ангельскую доброту...
Губят даже ее здоровье!..

— Вот, вот! — с отчаянием подхватил Фавицкий. —
Этот граф, этот негодяй...

— Простите... не понимаю — граф... негодяй?.. Про ко-
го вы это?

— Ах, Боже мой! Про кого же, как не про комедианта,
ханжу, идиота Ильинского... Что он делает с нашей бедной
княгиней!..

— Ах, да, да! Вы правы.

— Ай-ай-ай! Боже мой, что он с нею делает! Княгиня
рискует потерять не только здоровье, но и самую жизнь
от вечных бдений, экстазов, ясновидений и всякой другой
чепухи, в которую ее вовлекает этот шарлатан... или су-
масшедший? Уж и не разберешь, право...

— Ах, граф, если бы вы только знали, как я тут ви-
жу, до чего доводит ее светлость своими бреднями этот
граф! Она потихоньку ото всех проводит ночи на молит-
ве, полуодетая лежит, распластавшись в своей каплице...
Мне ее камеристка говорила, — почему-то краснея, то-
ропливо объяснил Фавицкий, уловив вопросительный
взгляд Мориоля. — Вы слышали, этот ужасный, сухой
кашель, он снова появился у ее светлости... А ведь после

поездки на воды его не было долгое время... О, этот граф!..

Фавицкий даже кулаки сжал в порыве жгучего негодования.

— Как его с лестницы не спустит давно его высочество? Он не видит ничего... Верить не хочет, когда ему говорят... А я бы...

Побледнев, сжав зубы, он не договорил.

Мориоль, только поглядывающий на взбешенного Фавицкого и в душе потешавшийся над простаком, вдруг совершенно спокойно поднес ему свою табакерку.

— Не желаете ли?

Сначала не совсем понимая, в чем дело, возбужденный Фавицкий с недоумением поглядел, понял наконец, что ему говорят, сразу принял более спокойный вид.

— Благодарю. Я не нюхаю...

— Ах, да, я и забыл... Ох-охо!.. Нехорошо, плохо... Сплетни всякие идут теперь по Варшаве...

— О княгине и графе?!

— Ну, конечно. Не о вас же!.. Вы такой рассудительный человек, что будь даже кое-какие основания, все-таки не станете компрометировать безрассудными выходками столь высокую особу...

— Чистую, стоящую вне всяких подозрений, — горячо, как бы желая убедить самого себя, воскликнул Фавицкий, но сейчас же с ревнивым огоньком в глазах спросил тревожно. — Вы, конечно, граф, тоже уверены в полной чистоте этой высокой души?! Женщины, конечно, загадка... Даже такие черви, как этот старый граф, могут дразнить их любопытство... Но ее светлость...

— О, ее светлость, конечно, выше всяких подозрений... Это — женщина не от мира сего...

— Вы думаете, ваше сиятельство?

— Полагаю... А вы... тоже хорошо знаете женщин, как я вижу, мой юный друг... И давно имеете случай наблюдать за княгиней. Как ваше мнение?

— Ну, разумеется! — поспешно ответил Фавицкий. Но как-то мало твердой уверенности звучало в тоне его слов.

— Ну, однако, мы уклонились от главной цели моего прихода. Значит, вы не совсем довольны успехами Поля за эту неделю? Конечно, отцу нельзя прямо говорить. Он так привязан... выше меры к своему единственному сынку... Как-нибудь мы дадим ему понять... обиняками, не

так ли? Что делать: высокие особы даже истину не любят видеть в очень откровенном виде... не слишком голой, так сказать... Хе-хе-хе! Только земных женщин они предпочитают в этом упрощенном костюме... А мифологических — в тюле... в тюле... Хе-хе-хе... Ну, пока — позвольте откланяться... Тем более, что к вам стучат...

Уходя, Мориоль разминутся с камеристкой Лович, которая пришла звать Фавицкого на урок.

С улыбкой довольного сатира видел Мориоль, как Фавицкий, поправляя на ходу свою прическу, обогнал его, направляясь на половину Лович.

— Хе-хе-хе... Ее светлость, как видимо, и святых с неба зовет на беседу и не оставляет все-таки своих занятий... русским языком!

Довольный грязным каламбуром, вслух рассмеялся старый циник-педагог.

Граф Ильинский только что вышел от княгини.

Среди полной тишины, царящей в уютном будуаре, как и во всем Бельведере, сидели они вдвоем у камина и вели свою нескончаемую, полузагадочную беседу, волнующую всегда обоих.

Уйдя глубоко в кресло, княгиня казалась в нем еще меньше и воздушнее, чем была на самом деле. Щеки рдеют нежным румянцем, глаза горят...

То, о чем негромко говорит ей собеседник, так возвышенно, так далеко от земных чувств и страстей!.. Он говорит о Неземном Женихе, который порою является во плоти особенно верующим, преданным своим земным невестам...

Говорит, как Его благодать наполняет их, начиная от тмени — и до последнего мизинчика на ноге... Так осторожно, но пластически описывает он это мистическое, духовное слияние, так тонко и с глубоким знанием вопроса касается особых, неземных блаженных переживаний, выпадающих в такие минуты на долю «избранниц», что у Лович почему-то дух захватывает в груди; рисуются иные, очень земные картины, пламенем обдающие ее трепетное, хрупкое тело.

Должно быть, Ильинский тоже чувствует, что делается с его слушательницей. Он сам сидит неподвижно, только легкий темный румянец выступил и на его исхудавших, обвислых, когда-то очень тучных щеках. Голос его становится все выразительнее, вкрадчивее, проникновеннее, так сказать... И такова сила этих слов этого проникающего,

наполняющего всю княгиню голоса, что она чувствует как бы щекотанье от волнующих звуков... Еще больше вспыхивает, томится в какой-то невыразимой истоме, где сливается щемящая неудовлетворенность и близкий к самозабвению восторг...

Когда оба дошли до полуобморока в таких беседах, — бледный, отирая лоб, поднялся гость.

— Час пробил, княгиня... Иду свершать свою обычную молитву... Ксендз Маврикий ждет, наверное, своего блудного духовного сына... Простите, дорогая сестра во Христе! Не осудите меня, грешного. Молитесь за меня, окаянного... Даю вам свое духовное, небесное целование!..

Он шевельнул в воздухе своими еще полными чувственными губами, словно целуя воздух.

— Примите и мой священный поцелуй, брат мой!..

Такое же движение розовыми губами... Ласковый кивок головкой, которая потом склонилась к плечу, как увядший цветок на переломленном стебельке...

И «духовный брат» медленными, неслышными шагами вышел из будуара.

Еще тише стало здесь...

Княгиня сидела, погруженная не то в дрему, не то в раздумье. Лицо бледное теперь, как у мертвой. Темные круги под глазами. И только тонкие ноздри изредка слегка вздрагивают не то от боли, не то от какого-то сдержанного, затаенного, но сильного волнения.

Зимняя непогода шумит, пролетая над кровлей Бельведера. Близкая Варшава бурлит жизнью. Рождественские дни теперь. Веселится город... Слезы и веселье широкими потоками разлились и склубились в домах и на улицах большого города, в его палацах, тюрьмах, кофейнях, костелах, театрах и клубах, в непотребных домах и тихих семейных уголках...

А здесь, в Бельведере, — тишина. Словно зачарованный остров среди кипящего водоворота волн стоит этот маленький дворец... И словно отрезаны от всего остального мира люди, живущие в нем своими личными интересами, желаниями, радостями и страстями, не связаны с тем огромным клубком, в который поневоле сплетаются все другие обитатели соседнего шумного, ликующего или тоскующего города...

Когда, дав знать о себе легким стуком, Фавицкий вошел в будуар, княгиня только полураскрыла глаза и сильнее дрогнули ее ноздри.

С обычным снисходительно холодным видом кивнула она в ответ на почтительный поклон педагога.

— Ваша светлость, имею честь приветствовать вас!.. Как чувствует себя ваша светлость нынче? Дал Бог, хорошо, надеюсь?

— Благодарю... Ничего. Как вы поживаете? Хорошо. Очень рада. Садитесь. Почитайте мне немного. Я сама не расположена нынче читать или писать. Но хочу послушать... Баллады Жуковского... Вот возьмите.

Фавицкий взял томик, лежащий на ближнем столе, сел на стул, ближе к высокой лампе под кружевным абажуром.

— Что прикажете прочесть, светлейшая княгиня?

— Сами найдите что-нибудь, Фавицкий... Что хотите... Что вам нравится...

Краснея, волнуясь, он торопливо раскрыл томик, как будто наугад.

Но слишком хорошо была знакома ему книга. Много раз перечитывал он звучные строки, находя в них как бы отклики собственных переживаний и чувств.

Теперь сразу открыл он ту самую страницу, которую искал.

Слегка откашлялся и прочел заглавие: «Рыцарь Тогенбург».

— Ах, вы это хотите?

Взгляд княгини не то с ласковой насмешливостью, не то участием скользнул по его лицу.

Многолетнее обожание педагога давно уже не было тайной для княгини.

Сначала она даже чувствовала себя как будто оскорбленной такою дерзостью незначительного человечка, наемного учителя. Но он держал себя безупречно, всегда оставался в границах. И постепенно княгиня привыкла к этой немой, почтительной страсти, которая проявлялась лишь в сверкающем взгляде, в трепете голоса, в дрожании руки, когда он подавал книгу своей ученице или принимал ее руку для благоговейного поцелуя, обычного при встречах и прощаньях в польском обществе.

Сначала скука и особое чувство, врожденное самой чистой женщине, вызвали в душе княгини по отношению к влюбленному человеку больший интерес, некоторую теплоту в отношениях, какими не пользовались другие лица, окружающие замкнутую, гордую княгиню, общительную по манерам, но стоящую поодаль от людей.

Почти ежедневные занятия, долгие разговоры на отвлеченно философские темы, в которых начитанный Фавицкий оказался довольно силен, содействовали дальнейшему сближению. Наконец еще одно обстоятельство сыграло решающую роль в переплете новых, довольно спутанных отношений между плебеем-учителем и его полукоронованной ученицей.

Молодой, с огненным темпераментом обожатель при всей своей сдержанности и почтительной скромности как-то незримо, но сильно влиял на княгиню.

Болезненная, усталая от жизни, тоскующая и глубоко разочарованная, несмотря на молодые годы, княгиня стала замечать, что в присутствии Фавицкого она как будто согревается и духом, и телом. Ей становится легче, мрачные думы невольно уступают место иным, более житейским, порою даже соблазнительным предположениям, мечтам, даже — полущущениям, приятным, как воспоминание о чьей-то жгучей долгой ласке...

Греха в этом не видела набожная княгиня. Думы и настроения были вполне беспредметными. Сам Фавицкий не играл в этих игривых порою мечтах никакой роли... Очевидно, он был только чем-то вроде источника раздражения, вроде зарядника с электрической или иной силой. Напряжение его чувства, даже его сдержанная, но тем более напряженная чувственность, передавалась незримо тонким нитям всего существа княгини и там будили ряд ощущений, почти забытых ею, дремлющих в глубине души.

Конечно, так ясно княгиня не отдавала себе отчета во всем, что происходит с нею в присутствии Фавицкого. Но это присутствие было приятно, ничем не тревожило ее совести, не шокировало ее аристократического чутья. И все чаще, все дольше просиживал он с нею... Усиливалась и росла его страсть... Ощущенья, приятные женщине, становились, конечно, еще сильнее, напряженнее... Она постепенно стала находить все больше достоинств духовных, умственных, даже физических в своем наставнике. Не раз, проверяя себя и свои отношения к Фавицкому, она убеждала себя, что они не только безгрешны, но даже благородны для этого «бедного палладина», как мысленно она называла педагога.

«Вот Жан-Жак Руссо... Он теперь считается гением, наставником человечества... А разве аббат Малерб и моя милая мисс не говорили мне о том, что женщина первая

открывала в нем проблески высшей души. И это была его госпожа, знатная дама де Варенн, у которой он был сперва — простым лакеем, даже не учителем, как этот милый Фавицкий... Потом — он стал... возлюбленным своей госпожи... Кто знает, может быть, именно любовь, желание стать наравне с благородной своей покровительницей, подругой сердца — и дала главный толчок этому великому человеку... Конечно, помилуй Боже! Никогда я не унижусь до того, чтобы... Но надо ли мешать обожанию Фавицкого? Его любви, этой чистой страсти, которая так сильна... и так порою красит его... Пусть.»

В этом «пусть» выразилась вся суть отношений между знатной дамой и обожающим ее бедняком-учителем.

Иногда, не совладев с собою, он дольше и сильнее обычного прижимал нежную ручку к своим пересыхающим губам... Глядел открыто на прелестное лицо глазами, затуманенными восторгом и даже страстью... Садился ближе, чем бы надо было по неписаному этикету, существующему в этом дворце... Наклонялся смелее к своей ученице, словно хотел поймать дыхание ее уст своими жадными устами.

«Пусть!» — думала княгиня, замечающая все это...

Он молчал, он ни звуком, ни движением не выдавал ясно того, что бурно трепетало и рвалось из переполненной души... Можно ли осуждать молодого мужчину за увлечение женщиной... да еще такой, как она, Жанета Лович?

Княгиня знала себе цену и это одно сознание уже служило извинением для дерзкого влюбленного, помимо всяких иных оснований и причин...

Так мало-помалу сеть, сначала покрывшая его, охватила незримо и ее.

Конечно, будь на месте княгини всякая другая женщина, роман давно бы получил обычную развязку.

Сначала оправдались бы все грязные слухи и сплетни, какие давно стали ходить насчет княгини и ее «наставника», как с желанием покаламбурить называли Фавицкого Мориоль, Пижель и некоторые другие его «друзья». Затем исход мог быть двоякий. Муж, которому и теперь, без всякого повода, готовы были услужить окружающие его, узнав о романе, или убил бы, или выгнал бы хам-наглеца... Разошелся бы с женою... Словом, трагедия могла бы закончить игривую пастораль Бельведерского дворца. Или — взаимное увлечение после первых момен-

тов полного разрешения, после нескольких страстных взрывов стало бы остывать... На место Фавицкого, по закону преемственности, избран был бы кто-нибудь иной из наиболее подходящих в свите лиц... Отставной влюбленный — был бы отставлен и от должности учителя... Словом, обычная в жизни и наиболее частая комедийная развязка.

Но Лович не хотела ни того, ни другого. Ей именно и нравился налет чувственного романтизма в ее отношениях с Фавицким, как мистическое, сверхземное настроение и трепетание души и тела влекло к беседам с новообращенным аскетом, развратником Ильинским.

Чувствовал это и Фавицкий. Не очень далекий умом, с посредственной душой, он давно бы уж покончил со своими бесцельными, вредными даже для него мечтами. Но он улавливал настроения княгини, как ни глубоко прятала она их. Не выдавая своих наблюдений, он пользовался этими смутными, благоприятными переживаниями своей богини. Надеялся, что может настать миг, когда мрамор оживет... Но так таил эту надежду, что даже чуткая Лович не уловила его дерзкой надежды... И потому на целые годы затянулась опасная игра, все больше и больше связующая обоих участников, хотя ни звука еще не было сказано, ни одного смелого движения не сделано до сих пор.

Своим молодым голосом, особенно звучным и выразительным от напряжения страсти, неизменно охватывающего Фавицкого в присутствии княгини, читает он звучные строфы, по его мнению — так близко выражающие драму самого чтеца...

Читает он почти на память, глядя больше исподлобья на слушательницу, чем на ровные, темнеющие перед глазами строки поэмы:

Сладко мне твоей сестрою,
Милый рыцарь, быть.
Но — любовьию иною
Не могу любить!
При разлуке, при свиданьи
Сердце в тишине...
И любви твоей страданье
Непонятно мне!

«Сестрою? — думает Лович. — В самом деле, как было бы хорошо, будь у меня такой брат: умный, преданный, скромный и пылкий. Я бы сказала ему все, что тревожит,

тяготит меня, что не дает узнать счастья. Сказала бы то, что не могу высказать на исповеди... Чего не знают мои сестры, подруги... Потому что они не поймут!.. Мой жребий — не такой, как у всех других девушек и жен моей отчизны... И только мужская дружба, братская преданность и любовь могла бы пополнить мою жизнь».

Дальше читает. Дрожит полный скорби голос.

Она слышит звуки этого голоса, но знакомые слова поэмы, смысл их — проносится мимо... Думает все о первых строках княгиня.

«И ошибается этот бедный Фавицкий... Его любовные страдания... они мне понятны... Да разве я сама не люблю так же горячо... и безнадежно? Кого? Не знаю. Того ли, чей образ видела в муже, пока...»

Обрывает нить мыслей княгиня... Потом снова думает.

«Или, в самом деле, душа моя обречена. Ему, Спасителю, Жениху Вечному? И я, как другие женщины в иные века, жду и сгораю от этой великой любви? Не пойму... И я сгораю... сгораю!»

А Фавицкий уже оканчивает красивую поэму...

В ожидании, в муке страстной
Он один сидел.
И душе его унылой —
Счастье там одно:
Дождаться, чтоб у милой
Стукнуло окно,
Что б прекрасная явилась...

«Да, да... Это похоже на него... и на меня! — думает княгиня. — Поэт угадал, что такая любовь может жить в чистой мужской душе...»

Читает взволнованный Фавицкий, все сильнее одушевляясь:

Время — годы уводило
Для него ж — одно:
Ждать, как ждал он, чтоб у милой
Стукнуло окно...
...Раз — туманно утро было —
Мертв он там сидел,
Бледен ликом и — уныло
На окно глядел...

Трогательно завершаются печальные строфы.

Слезы в голосе чтеца. Лицо его бледно и мрачно...

— Благодарю вас. Красиво очень. И язык сам по себе — мне все более и более нравится... Русский язык... Не ус-

тали? Прочтите вот, где закладка... Мне понравилась эта песенка. Простая, но такая задушевная, близкая для меня... особенно теперь...

Быстро нашел, читает Фавицкий:

Отымает наши радости
Без замены хладный свет;
Вдохновенье пылкой младости
Гаснет с чувством — жертвой лет!..

Читает он скорбную песенку, полную разочарования и душевной усталости, и все темнее становится его лицо.

...Без надежды, без желания,
В нас душа заглушена
И навек очарования
Слов отрадных — лишена!..
Оживите сердце вялое,
Дайте быть по старине.
Иль — оплакивать бывалое
Слез бывалых дайте мне!..

Совсем мрачный оканчивает он чтение. Что значит этот выбор стихотворения? Ответ на его немые страдания? Ему хотят сказать, что нет для него ни малейшей надежды? Но это уж слишком жестоко... Для этого, для отвратительного ломаки — Ильинского княгиня нашла в своей душе и теплоту, и близость... А кто знает, может быть, и сердце ее, это «усталое, охладелое» к иным, тоже откликается старому графу?

Ревнивая боль, теснившая грудь, с которой Фавицкий явился к княгине и занял место у того же камина, за столиком, где только что сидел тот... другой — это жгучее чувство снова овладело Фавицким.

Дочитав «Песню», он отодвинул книгу и застыл, мрачный, бледный. Явное страдание «палладина» тронуло женщину.

— Вы не устали? Вы побледнели отчего-то. Мне это кажется? Может быть... Ну, прочтите еще что-нибудь по вашему выбору... Потом — побеседуем... как всегда... Правда, я за последние дни была очень занята... и не совсем здорова. Уроки наши пришлось откладывать и пропускать порою... Но я сама жалела об этом... Так прочтете? — особенно ласково, обогревая его лучистым взглядом, переспросила Лович.

— Я готов... я рад, светлейшая княгиня! — взяв и поспешно перелистывая томик, ответил Фавицкий.

Отыскал желаемое, прочел заглавие «Привидение» — и стал протяжно таинственным голосом читать стих за стихом о той, кто

Как первое любви очарованье,
Как прелесть первых юных дней,

явилась перед поэтом «в одежде белой, как туман»,

Воздушною, лазурной пеленою
Был окружен воздушный стан...

Она помнила поэта — и скрылась навсегда, без возврата...

Лишь грустию по милом привиденьи
Душа осталась полна.

По странной случайности, поверх белого, воздушного, простого туалета княгини, на плечах у нее накинута была прозрачная голубая ткань и в этом виде фигурка Лович всегда прекрасная, казалась совсем неземной.

Смешанное выражение восторга и ревности отразилось на лице Фавицкого, скорбном и похорошевшем в эту минуту, словно одухотворенном сильнее обыкновенного.

— Да что это с вами, друг мой? — совсем непривычным ей тоном, участливо заговорила княгиня. И даже протянула руку, положила ее на бессильную руку поклонника, которая вместе с книгой упала на край столика, отделяющего их друг от друга.

Пылающая рука его вздрогнула, он сам весь затрепетал. Вдруг — слезы брызнули из глаз, которые остро, безумно глядели на княгиню, словно скользя по ее плечам, стану, дальше, до самого кончика узкой, стройной, породистой ноги, которая была безукоризненна у этой благородной дамы, хотя пальки и вообще отличаются красотой и миниатюрностью своих ножек.

Пожирая жадным взором женщину, Фавицкий вдруг взял ее руку, прижался к ней губами, припав к самому столу головой и забормотал, смешивая поцелуи, слезы и слова:

— Богиня... светлейшая... Простите! Велите... сам брошусь в воду... Только не гоните... не могу... Другие... вы других зовете... Простите... а я... я не вижу вас... и так страдаю. Умереть... умереть... только видеть, целовать руки... следы ног... ноги целовать... ноги...

Он вдруг, словно в беспамятстве, тяжело рухнул к ее ногам, стал целовать их, нечаянно даже сорвав легкую туфельку с одной ноги целовал ее колени, выше, все безум-

нее, и порывисто, словно задыхаясь от восторга и муки, шептал, закрыв глаза:

— Следы... ноги ласкать... край платья... край... складки одежды... целовать.

— Мой милый, — замирающим, слабым голосом, совсем без возмущения и гнева попыталась было княгиня остановить безумца. — Довольно. Будет! Прийдите в себя. Я не сержусь. Мне жаль вас, поверьте. Я вижу, понимаю. Все понимаю. Да перестаньте же... Вам самому вредно... Боже мой! Неужели нельзя сдержаться себя? Мне же больно, наконец. Не безумствуйте! Ну, послушай... ну, ну... довольно? Ах, довольно целовать... Оставь! Мне больно... Ну, успокойтесь же, наконец... несчастный... безрассудный человек!.. Дитя! У меня останутся следы от этих поцелуев, глупый! Ну, успокойтесь! Придите в себя... Подите, выпейте воды... Сядьте... Смирно... Ничего не слышит... Ну успокойтесь...

И она смолкла, уронив руки, упав, откинувшись в кресло всем телом, которое было потрясено, как грозой.

Фавицкий, совершенно обессиленный целым рядом страстных потрясений, затих, лежа у ее ног, прислонясь пылающей головой к ее коленям.

Одной рукой, нежно, слабо гладила княгиня его волосы и тихо проговорила:

— Успокойтесь, наконец! Слава Богу. Какой вы, однако... Ай-ай...

И он только теперь решился раскрыть и робко поднять на нее глаза.

— Так... вы не сердитесь на меня, княгиня? — чуть внятно прошептал он.

— За что, мой друг? Ведь вы не позволили себе ничего такого, за что я могла бы рассердиться!.. Конечно, вы мне чужой... не муж. И даже поцелуи такие допускать — грешно...

— Разве любовь — грех перед Богом? Он не карает за любовь!

— Ого, какой отец-проповедник нашелся. А если спросить моего мужа, что он скажет об этом? Согласится ли с вами? А?

— Спросите... скажите сейчас. Пусть убьет за мою дерзость. Я буду счастлив, умирая теперь... когда...

— Ну, нет, — торопливо перебила его княгиня, — зачем говорить о смерти, о страданиях и с таким печальным лицом... Живите, друг мой... Встаньте... Так. Слушайте

меня. Конечно, любить вас я не могу... не люблю... Видите, до того жаль, что я позволила вам даже... безумствовать... Но — старайтесь сдерживаться. Не огорчайте меня, не мучьте себя... Любовь тогда особенно хороша, когда она... совершенно чиста.

— О, моя любовь чиста, мое божество! Моя Мадонна!.. Нет места у вас, которое не было бы чисто и священо для меня... Вы — вся одна чистота... Так позвольте хоть изредка, забыв расстояние... забыв все на свете...

— Оставим этот разговор, право, лучше, Фавицкий. Помните одно: никогда не нужно спрашивать позволений... Конечно, я должна отказать, не позволить никаких безумий... Глупый вы ребенок...

— Хорошо. Я не буду спрашивать! — совсем по-детски покорно согласился Фавицкий, а сам, как загипнотизированный, снова потянулся, взял бледную ручку Лович, лежащую на коленях, и нежно, тепло поцеловал, словно желая этим безмолвным, долгим поцелуем выразить почтительную признательность и нежность, наполняющую сейчас всю грудь.

Тихо отняла руку княгиня, склонилась, скользнула мимолетным поцелуем по бледному лбу Фавицкого и громко, спокойно заговорила:

— Ну, урок кончен. Скоро мне пора сойти к чаю. Идите к себе. Увидимся за чаем... До свидания...

Мориоль выходил с Полем из комнаты последнего, когда они заметили Фавицкого, выходящего от княгини.

Погруженный в свои думы, переживая все, только что испытанное им, Фавицкий прошел мимо, даже не подняв головы, не взглянув на них, скользнув, как во сне, по другой стороне покоя и скрылся.

— Ого! Вот ловко-то!.. — подмигнув Мориолу, делая комический жест, заметил Поль. — Уроки идут преисправно... Что вы скажете, граф? По-моему, так это уж даже чересчур. Какая прилежная моя названная мамаша, светлейшая княгиня! Всегда занята. Чуть папа ложится отдохнуть, она или со своим ханжой Ильинским... или с этим... моим почтенным наставником... Право, в городе черт знает что только говорят...

— А вам не следует не только говорить, но даже и слушать разные... басни! Вы должны помнить, мой друг: сын не судья родителей своих... И опасно даже вмешивать-

ся в такие дела. Ну, идите к себе. Не провожайте меня больше. Я еще зайду к нашему милому Дмитрию Дмитриевичу...

— К «старой корове»? Теперь у нас иначе и не зовут доброго грека... Честь имею кланяться. До завтра, граф, до свиданья!

После первого обмена приветствиями и общими фразами о здоровье, о погоде, о городских и бельведерских текущих новостях Мориоль прямо приступил к вопросу, ради которого заглянул к Куруте.

— А знаете, генерал, я позволю себе, как долголетний слуга его высочества... почти друг, смею так сказать... снова решаюсь коснуться вопроса... весьма щекотливого, надо сознаться... Но к этому вынуждает меня именно любовь моя и преданность к его высочеству, так же как и природная прямота характера. Пусть это мне самому во вред, но больше молчать не могу. Вы, конечно, догадываетесь, о чем я снова хотел бы побеседовать с вами, уважаемый генерал?

— О, да, да... Должно быть... Да, конечно! — торопливо отозвался Курута своим невозможным французским языком, вместо «ж» произнося «з», как и по-русски, и напоминая говор марсельцев или тартаренцев южан. — Я понял, догадался. А что, собственно, хотели вы сказать граф? Пожалуйста, не стесняйтесь!

— И хотел бы, да нельзя! Обстоятельства не позволяют. А тем более сейчас эта встреча. Я нынче не могу оставаться весь вечер в Бельведере. Собрался домой. Поль меня пошел проводить. И вдруг видим, выходит от ее светлости Фавицкий, проходит мимо нас, ничего не видя, не замечая, как... как... Уж и придумать не могу подходящего, более безобидного и... приличного сравнения... Как помещанный или очень счастливый человек...

— Счастливый?! Это же очень хорошо... Это так редко случается, если счастливый на свете человек!..

— Ну, знаете, генерал, мы хоть одно должны помнить в наши с вами годы: счастье одного всегда основано на несчастье другого...

— Счастье, несчастье... одного... другого?.. Это верно, к несчастью... Но я не понимаю, — пожалуйста...

— Сейчас поймете, пожалуйста, — окончательно теряя свой сдержанный вид и тон, раздражительно загово-

рил Мориоль. — Даже наивный юноша, даже Поль возмутился за отца... Мне стоило большого труда убедить юношу, что он ошибается... А если бы даже и не совсем ошибался, то ему не подобает осуждать старших... столь близких к нему людей, заменяющих ему родную мать... То есть, не все люди, а одна особа заменяет... Понимаете? Одна.

— А, одна? Теперь уж понимаю... Теперь каждый поймет.

— Надеюсь!.. Но неприятно, утомительно и... скучно, наконец, мне заступаться, защищать, так сказать, репутацию дамы, когда сам не уверен... Скажу больше: когда убежден в противном тому, что приходится говорить! Вы поняли меня?

— Вы говорите противное? О, да, конечно...

— Не я говорю противное, а мне противно... И если я пришел к вам, то причина ясна. Один вы можете открыть глаза его высочеству... Рассеять его ослепление...

— Нет, пока слава Богу, еще ничего: князь хорошо глядит глазами... Я не замечал.

— Так слушайте: сами вы неужели не видите?.. Этот Фавицкий...

— Фавицкий стал слепой? Это я не думал...

— Не слепой, а наглый... Конечно, княгиня во многом содействовала этой неслыханной дерзости. Она явно оказывает ему предпочтение перед всеми... Даже передо мною!.. Она так покровительствует ему... охраняет от заслуженного порою гнева его высочества. Он и возомнил... ну, дальше уж и пошло... Ее утешения, отличия, заботы дали повод негодяю думать, что и там разделяют его чувства... Глупец своим неосторожным поведением выдает себя... и ее... А это хуже всего... Окружающие не слепы. Иные, конечно, даже стали заискивать у наглого, бесстыдного фаворита. Но большинство возмущается... негодует...

Курута, разобравший, наконец, к чему клонятся речи графа, принял вдруг самый смущенный, жалкий вид и только молча кивал головой.

— Что же вы молчите, генерал? Или не согласны со мною, что надо, наконец, открыть все его высочеству... чтобы он принял меры... прогнал наглеца... и... Ну, как уж он сам пожелает... А?..

— Да, да... как сам пожелает, конечно... Я скажу... Как он сам пожелает...

— Благодарение Богу! Наконец-то мы столковались... Подумаешь, счастлив наглец и полагает: лучше него людей на свете нет!.. Посмотрим! Так помните, генерал. Надо не терять времени... Пока свидетельствую свое почтение... Счастливчик, подумаешь... Вы его хорошенько изобразите его высочеству... Должен откланяться. Мне пора... Счастливчик! Нахал!

Граф вышел.

Курута, печально покачивая головой, глядел ему вслед, с огорчением вздохнул и прошептал:

— Какой странный человек этот граф?! Один счастлив... другой счастливый... И она счастливая... А он хочет, чтобы три были несчастные... Какой удивительный человек!

И долго бормотал добряк, укоризненно покачивая своей лысой головой.

В следующем, 1828 году Полю исполнился двадцать один год. Тут графа Мориоля ждал новый удар. Учителя и наставники юноши были отпущены с приличным награждением, обеспечены пенсией.

Щедрее всех был награжден Мориоль, как самый старший, титулованный наставник, успевший, кроме того, за время тринадцатилетней близости к цесаревичу войти к нему в расположение и доверие. Графу назначено было всего до 30 000 ежегодной пенсии, считая полное содержание и даже конюшню, которая пополнялась и велась за счет Бельведера.

Но одно испортило графу все эти милости, отравило ему жизнь. Фавицкий помимо награждения остался в свите, в качестве русского секретаря.

Долго брюзжал граф, касаясь этого «скандала», как он говорил.

Два офицера-инструктора также были оставлены при самом Поле для дальнейших его занятий военным делом. Но прежние стеснения были отменены, он даже получил повышение в капитана гвардии.

Юноша мог один покидать дворец, конечно, не очень поздно, ездил и ходил, куда вздумается... не зная лишь одного: от цесаревича последовало секретное распоряжение и несколько агентов, специально для этого поставленных, следили повсюду за Полем, доносили по начальству о каждом его знакомстве, о каждом шаге. Эти

рапорты через камердинеров ежедневно передавались заботливому отцу.

Сначала шло все хорошо.

Конечно, начались кутежи с участием женщин, бессонные ночи, широкие траты. Но это было в порядке вещей и для всякого юнца из зажиточной обывательской семьи, выпущенного из клетки на свободу, а тем более для единственного сына и наследника такого отца, каким являлся Константин.

Но очень скоро Константин стал хмуриться все больше и больше, выслушивая отчеты агентов о поведении Поля.

В одном из небольших казино Варшавы появилась новая шансонетная звездочка, la belle Aline¹, как гласили крикливые афиши, действительно хорошенькая, свеженькая француженка-парижанка, и самое главное очень бойкая, неглупая девица, немедленно обратившая на себя внимание всей золотой военной молодежи с Полем во главе.

И положение, и избыток средств, и личная привлекательность помогли пылкому юноше одержать скорую и полную победу над опереточной добродетелью, при которой находилась и старушка мать, как бы для охраны того, что искало случая быть похищенным...

Легкая связь, которую Польш сначала думал так же быстро прикончить, как удалось быстро ее завязать, незаметно затянулась. Он, нарушив все прежние свои привычки, перестал волокаться за другими женщинами, забыв весь страх, какой питал к отцу, совсем отбился от дома, целые дни почти проводил у своей «курочки», для которой обставил небольшое, но прелестное гнездышко. Сам отозвал ее в театрик, где выступала Алина, просиживал до конца спектакля, дружил с «директором заведения», с режиссером труппы, с подругами и сослуживцами Алины, отвозил ее домой и сплошь и рядом ночевал в ее «гнездышке», хотя знал, как не любит отец, если Польш ночует вне дома или неаккуратно является к обеду, вечернему чаю и прочим семейным собраниям во дворце Бельведера.

Отец заметно стал холоднее и суровей относиться к сыну и даже по службе иногда проскакивали у него придирки к капитану «Александрову», как то было в обычае у цесаревича: свое недовольство проявлять при каждом удобном и неудобном случае.

¹ Прекрасная Алина (фр.).

Поль чувствовал, что предстоит гроза. Но сил не было оторваться от маленькой, дразнящей ум и кровь, парижанки, которая так хорошо умела ласкать, целовать, больно кусать в то же время своими острыми блестящими зубками.

Любовь пересилила самый страх надвигающейся грозы. Наконец первые раскаты загремели...

Желая выказать свое усердие, наемные ищейки сообщали слишком преувеличенные известия о кутежах Поля с его подругой и ее товарищами, о мнимых оргиях, где вино, деньги лились рекой и тратилось здоровье в слишком бурном разгуле, доходящем до извращения страстей. Не постеснились даже намекнуть, что подруга Поля больна и может привить неизлечимый недуг юноше.

Это особенно испугало отца.

Однажды вечером призванный к отцу Поль застал его в кабинете одного, гневного, раздраженного, широко шагающего из угла в угол.

Почти не ответив на привет сына, он заговорил громко, отрывисто, порою задерживая шаг перед самым юношей и сверкающими взорами как бы подчеркивая свою сильную, властную, решительную речь:

— Послушайте, господин капитан... Да! Ты не думай, что стал совершеннолетним болваном, так нет над тобой ни Бога, ни отца! Да!.. Я тебе покажу совершенно обратное, мальчишка. Видит Бог... Да!.. Ты как осмелился... Ну, понимаешь? Так себя вести! Как посмел? Что молчишь? Отвечай, когда тебя спрашивают. Как ты посмел?.. Молчать, когда я с тобой говорю... Без оправданий. Слушай, что я тебе скажу... И понимай без дальнейших экивоков... Да!.. Понимай!.. Ну, кой черт ты спутался там с этой... Милиной... Малиной... черт ее знает, как там зовут эту... эту... Понимай сам... Ты знаешь меня! Так помни... Деньги идут черт знает куда... Беречь надо деньги... И здоровье, особенно... Понял? Понимаешь? Да... А если не слушаешь меня... так помни... Выпорю, как щенка, который напрокудит и не знает, что ему делать... Видит Бог... Да! И кой черт связался с этой... ну, понимаешь? Ты парень смазливый... Столько есть порядочных замужних бабенок... хороших... Они не наградят тебя ничем... Понимаешь... Польки — честные женщины... только иногда слабы... на этот счет. Замужние, порядочные, а не такая шваль, которая со всяким готова... Ну, надеюсь, ты понял меня? Больше мне неудобно тебе пояснять... Ступай и помни... Чтобы этой Алиной и не пахло около тебя... Прощай!..

Прослушав эту внушительную, хотя и не совсем связную и салонную речь, юноша вышел от отца бледный, испуганный, со слезами на глазах, убежденный только в одном, что связи с Алиной не потерпит Константин.

Дня два-три не появлялся он в заветном казино, ни в гнездышке своей курочки, которая не на шутку стала сучать по своему «петушке» и даже нашла возможность написать ему трогательное письмо.

Оно подействовало сразу. Поль, украдкой переодевшись у товарища по службе в штатское платье, снова появился у Алины. Радость свидания, как вино, кинулась ему в голову. Дня через два всякие почти предосторожности были оставлены... Роман принял прежний оттенок, полный пыла и нежности...

Конечно, Константину немедленно донесли обо всем...

Поль, желая смягчить раздражение отца, теперь являлся аккуратно, как в прежнее время, и к столу, и к вечернему чаю. Но Константин не менял своего сурового вида. Наоборот, по мере новых донесений усердных шпионов, приставленных к сыну, становился все мрачнее.

И вторично поднялась буря.

— Поль, ступай за мною! — отрывисто приказал он сыну в один из ближайших вечеров, когда княгиня удалась к себе на покой после обычного, скучного вечера, проведенного у чайного стола в неудобной гостиной с нишей посередине.

Гулко шагнул грузный Константин по полуосвещенным покоем дворца, торопливо поспевал за ним Поль, сердце которого билось особенно трепетно и сильно, предчувствуя что-то ужасное.

Ожидания не обманули юношу.

— Ну-с, господин капитан, теперь мы с вами хорошенько поговорим! — закрывая двери кабинета, буркнул Константин.

Взгляд его почему-то обратился к письменному столу у камина.

Посмотрел туда машинально и Поль, но не увидел ничего особенного.

Только большой охотничий хлыст, с которым цесаревич часто ездил верхом, темнел там среди небубренных докладов и бумаг.

Грозным, но в то же время каким-то особенно торжественным показалось Полю лицо отца. Так же торжественно и внятно заговорил он.

— Мера терпения моего на сей раз истощилась! Да, истощилась, я говорю. Тебе, негодный мальчишка, сделано было отеческое, ласковое внушение... Предостережение, могу сказать, с любовью и терпением... Но ты пренебрег им... Пренебрег, да! И за то понесешь достойную кару... Ты кинулся в омут разврата... Ты не берешь примера со стороны отца, семьянина, уважающего добродетель, берегущего свое здоровье, чистоту тела и души... Ты следуешь по стопам людей, которые недостойны имени человека... Ты преступаешь заповедь Господню, повелевающую чтить слова родителей и начальников и повиноваться им... И я решил, пока не поздно, обуздать в тебе это злонравие... Пусть лучше пострадает тело, чем погибнет душа... здоровье... жизнь самая... Ты думал, что я напрасно грозил тебе, молокосос?.. Что ты совершеннолетний, так и конец? Врешь, щенок... Вот я тебе сейчас, где надо, пропишу мои наставления так, что не сядешь дней десять. Будешь помнить тогда... Не станешь волочиться за... Негодяй... Слышал, раздевайся!

— Ваше высочество! — негромко, но с отчаянной мольбой вырвалось у окончательно испуганного юноши.

Он всегда трепетал перед отцом. Но сейчас, бледный, гневный, говорящий удушенным голосом, тот был страшен.

— Я сказал, мальчишка... Ну! Или людей позвать, чтобы раздели, держали тебя, как кантониста... как... Ну, слышал?..

— Папа! — воплем вырвалось вторично у Поля...

— Я последний раз повторяю! — делая движение к звонку, крикнул отец.

Низко опустив голову, трясаясь, как в лихорадке, начал юноша приводить в исполнение приказание отца, который, как новый Авраам готовый принести в жертву сына Исаака, взял хлыст и стоял в ожидании.

Вот все готово... Рука отца поднялась. Поль обеими руками закрыл лицо, искаженное ужасом ожидания, закусил до крови губы, чтобы против воли не вскрикнуть при ударе... Миг... другой... Удара не последовало...

Отбросив далеко хлыст, Константин заговорил более мягким, дружелюбным тоном.

— Счастье твое, мальчишка, что ты так повел себя... Был покорен без рассуждений! А не то бы... Но, я вижу, ты еще не совсем испортился с этой волей... Оправься... И слушай меня, что я скажу тебе в последний раз...

Пока Поль приводил в порядок свой туалет, Константин шагал по кабинету, потом сел у стола и, строго еще глядя на сына, хмуря брови, заговорил.

— Я, как ты знаешь, по законам божеским и человеческим, отвечаю за тебя, за душу твою... за твое здоровье, за все. Верно. Но и ты поэтому обязан беспрекословно исполнять мою волю. Она служит к твоему же благу. И если бы оказалось необходимо, я не остановлюсь ни перед чем... предок наш Петр Великий не пощадил законного сына, наследника трона... Он принес тяжкую жертву, которая укоротила дни отца... Но он принес... Ты мой характер тоже знаешь. Так помни: эту дрянь оставь. Свет не клином сошелся на вертушке. Ее я скоро вытурю из Варшавы... Но и пока — не смей носу к ней показать... Не то!.. Ну, слышал?

— Слышал, ваше высочество... Я не пойду.

— Ну, вот, хорошо. Верю, что исполнишь обещание. Мужчина же ты, наконец! Умеешь держать данное слово? Да? Ну, хорошо... Подойди поближе... Слушай... Я хочу сказать тебе еще пару слов... Ты, конечно, не думаешь, что я хочу сделать монаха из кирасирского капитана... Но... слушай меня... Как бы тебе это объяснить?.. Ты еще очень молод. Все это, бабки, лапки... Эти финтифлюшки... Это тебе в новинку. Я понимаю... Ты и накинулся... Недаром говорится: перебеситься должен каждый. Но не надо совсем с ума сходить... Ты и того не знаешь, что тебя могут легко опутать... Не оглянешься, как попадешь под башмак. Сердце у тебя доброе, привязчивое. Я знаю... И какая-нибудь побегушка-француженка пришьет тебя на много лет к своей юбке... И не отвяжешься... Понимаешь?.. Любить уже перестанешь, противна она тебе станет, как женщина... А все будет тут... сбоку, на шее, как ярмо... Ссоры пойдут... Она тебе рога будет ставить... А прогнать жаль... Понимаешь? Бывают такие дураки... И ты можешь стать таким... А я не хочу, жалею тебя. Понял?

— Понял, ваше высочество... я благодарен.

Пока Константин с особенным жаром описывал картину порабощения, которая грозит Полю, он видел перед собою долгие последние годы собственного сожительства с Фифиной, но не мог, конечно, указать сыну на его собственную мать, как на остерегающий пример...

У Поля тоже в душе смутно мелькнули какие-то воспоминания.

Хотя он и не был свидетелем всех затаенных переживаний и разладов между Константином и матерью, но все-таки многое знал... И сейчас что-то знакомое послышалось Полю в словах отца.

Совсем низко опустил он голову. Слезы закапали на цветное сукно мундира.

Константин вдруг вспыхнул почему-то.

— Что это? Нюнить стал. Вел себя прилично все время... И вдруг?... Вон, убирайтесь к себе... под арест, на целую неделю... на хлеб и на воду... И с завтрашнего дня снова начнутся все прежние занятия... За делом — позабудешь о своих Малинах и прочей гадости... С жиру не станешь беситься... Слышали, господин ка-пи-тан?.. Я вам покажу... Я тебя проучу... Шагом марш!..

Стоящий в полуобороте к отцу, лицом к дверям, Поль, не говоря ни слова, выпрямился, как на плацу, и зашагал из кабинета в свои покои.

— Нет, женщина! Ты бы видела эту картину! — через полчаса говорил Константин жене, описывая всю трагикомическую сцену. — Мой бравый Поль... и... понимаешь?!

Он вдруг раскатился громким, веселым хохотом, как в былые годы, как уж не хохотал давно.

Улыбнулась и княгиня, но сейчас же участливо заговорила:

— Я понимаю, ты опасаясь серьезного увлечения и... ну, там всего прочего...

— Конечно. Как слышно, это совсем пропащая девка... Не морщи, пожалуйста, своего носика. Если девка, как же ее назвать? Я еще позову докторов: пусть осмотрят хорошенько мальчика... Уж очень опасаясь я... И так у нас в семье есть склонность к этой... золотухе... А тут... Черт подери... Ну, ну, молчу...

— Нет, говори, милый... Только не бранись... Будем надеяться, твоя острстка повлияла на бедного мальчика... Что-то с ним теперь? Я позову, утешу его.

— Ни-ни! И думать не смей! Он под арестом... Хлеб и вода на целую неделю... А потом — опять за науку... Обезьяна этакая...

— Ах, Константин, что ты выдумал, милый... Это слишком... Как тебе не жаль? Он такой милый... Прости его... Прощу тебя...

— Нет... нет... надо проучить... Надо...

— Неужели ты так жесток? Право, довольно и того, что он перенес. Он так боится... и любит тебя... я знаю...

— Любит?.. Да, это правда — он любит. Я сегодня убедился... Ну, посмотрим!..

Мориоль и Курута, призванные на совет цесаревичем, так же горячо стали просить за Поля...

На другой же день вместо хлеба и воды был узнику послан «по распоряжению княгини», как сообщили Полю, хороший обед...

А на третий день двадцатилетний кирасирский капитан с сияющим своим еще безусым лицом объявил Мориолю, когда наставник явился усладить заточение питомца:

— Сегодня мы будем обедать с папой, который мне все простил... И даже сегодня вечером я отправляюсь в театр...

Мориоль, молча с растроганным видом подошел, обнял и поцеловал своего «капитана».

...Конец марта 1829 года.

Шумно, дымно, накурено в небольшой квартирке пана Петра Высоцкого, подпоручика гренадерского полка, занимающего должность инструктора в пехотной школе подхорунжих.

Хозяин квартиры Высоцкий, темноволосый, с живыми глазами человек лет двадцати шести, худощавый, стройный, стоял в глубине обширной комнаты, служащей столовой, и гостиной, и залой. Тут же на диване, в качестве почетных гостей, поместились двое: каштелян Наквасский и ксендз Дембен, один из участников долголетнего процесса «сорока», только что вернувшийся на родину из Петербурга, из казематов Петропавловки. Бледный, с горящими глазами, нервный и порывистый, огненный весь какой-то, он составлял совершенную противоположность со своим соседом каштеляном, розовым, упитанным и благодушным на вид. Только холодный, упорный блеск зеленоватых, колючих каких-то глаз, сжатые крепко полные, но резко очерченные губы, словно топором обрубленный, четырехугольный подбородок заставляли не верить благодушному выражению этого розового, полного, холеного лица. Стоило сильнее затронуть этого всегда ласково улыбчивого чиновника, разозлить его чем-нибудь — и должен был проснуться сильный боец-захватчик, вместо старинных лат окутанный черными складками старомодного сюртука с высокой узкой талией.

В потертом простом кресле рядом с диваном сидел еще один гость, отличаемый, видимо, от других, советник Пла-

тер. Горячий патриот, умный и ловкий, успевающий, несмотря на свой искренний «патриотизм», ладить и с русскими хозяевами края, — Платер особенно славился своею честностью, искренностью характера и настоящей добротой души. Друг Хлопицкого, он был сходен с ним осторожно-стью и благоразумием.

Его типичное польское лицо с крупным носом и светлыми глазами как-то не мирилось с австрийскими бакенбардами, обычными в чиновной и военной русской и польской среде. Над бритыми губами так и хотелось видеть длинные усы и булаву в сильной руке вместо чубука трубки, которую советник не выпускал почти никогда.

По другую сторону дивана, тоже в кресле, развалился подпоручик пехоты пан Юзеф Залинский.

Товарищ Высоцкого, он был моложе его года на два. Плюгавый, незначительный на вид, с понурой головой и тусклым взглядом узеньких невыразительных глаз, прыщавый и склизкий весь какой-то, он с первого взгляда производил на всех неприятное впечатление. Оно еще усиливалось хлыщеватой развязностью подпоручика, его претензиями, мелкими кудерками, в какие были завиты искусственно его редкие рыжеватые волосы, его белесыми усиками, нафабренными и закрученными в ниточку, как это делают «ферты» — полковые писари. Дурным тоном веяло от каждого движения этого человека. Но он был нагд до цинизма, не останавливался ни перед чем, не то по глупости, не то по какой-то непонятной, слепой отваге, которой никак нельзя было подозревать в этом «слизне», как его дразнили порой.

Сам загораясь, он умел и других заразить своей смелостью, как бы вселяя в них уверенность: «Если Залинский впереди, значит опасности нет никакой...»

Эта черта, подмеченная другими, делала его не раз как бы вождем, представителем и главарем всяких собраний, сборищ и заговоров, какими в то время кипела Варшава...

Кроме двух-трех военных и нескольких учеников школы подхорунжих, у Высоцкого собралось немало штатских людей: учеников академии или студентов, два-три магистральных чиновника из молодых, в общем — человек двадцать пять.

Стаканы и кружки с пивом или пустые стояли на столах, на подоконниках. Лица, не нашедшие себе места в главной комнате, стояли в дверях соседних трех небольших

покоев, составляющих квартиру, и слушали, что говорил Дембек.

Сильным, металлическим голосом, которого нельзя было и ожидать из этой узкой, впалой груди, с приемами привычного оратора, сообразуя силу звука с размерами покоя и с числом слушателей, и с тем, что надо выразить, говорит этот недавний узник Петропавловки, «российский пленник», выпущенный наконец на свободу, исхудавший, бледный ксендз.

— Хотите знать, дети мои, что испытать нам всем пришлось и здесь во время незаконного следствия и долгого суда?.. Что испытали мы потом? Тяжело даже вспоминать, дети мои! Мучений — без конца. А начнешь говорить, так и слов не находишь. Да и повторять пришлось бы только одно: невыносимая пытка душевная, телесные лишения и изнурение без конца! Дети мои, не на ваших ли глазах все происходило?.. И так недавно. Всего три года тому назад... почти день в день... Первый раз позвали нас всех напросы, на допросы... Живых не щадили... Мертвых — тревожили в могиле... Полумертвых узников, как наш славный мученик, наш майор Лукасиньский, — в тяжелых оковах водили на очные ставки с «новыми преступниками», как называли всех, кто только попадал на допрос пред очи высокой комиссии. Нужды нет, что хватали сотни людей, допрашивали, отпускали и только сорок нас отданы были судейскому синедриону, по повелению Пилата польского... Именем преступников заранее клеймили всех!..

Горестно поник головой Дембек, давая этим время слушателям пережить тяжелое впечатление, вызванное его словами, проникнуться им. Потом заговорил живее прежнего.

— Кончилось следствие, пытка допросов и угроз, комедия закономерности, пародия на нее. Нас объяла тревога. Говорили, что повезут всех прямо в Петербург, там предадут военному суду. Но Бог судил иначе. Вы знаете, дети мои, Пилат внял последним голосам благоразумия... Сам просил судить всех здесь... назначить гласный суд. Князь Любецкой, Чарторыский и другие поддержали его голос. В Петербурге послушали — и дело поступило в наш высший, сеймовый суд, на решение господ сенаторов, высоких отцов отчизны, защитников последней искры нашей свободы и чести, закона и правды... Они судили... правда, почти с острием казацкой сабли у горла... Су-

дили, когда презусом был старый, бессильный граф Белинский, когда среди польских магнатов, отцов-сенаторов — сидело много предателей, подобных презренному, Богом отринутому графу Красинскому... Правда, он один только... один из всех — открыто подал голос за предание казни всех нас...

— Проклятый... Предатель!.. — сдержанным, но грозным вздохом-рокотом пронеслось по всем комнатам затихшей квартиры Высоцкого.

Дембек снова сделал легкую передышку и заговорил:

— Вы негодуете, дети мои, против этого Каина... Но он лишь громко сказал то, с чем малодушно готовы были согласиться многие... Имена их да покроет позор и забвение!.. Но все-таки есть Бог на свете... Совесть преодолела мелкий людской страх... Вы знаете приговор сеймового суда... Мы знали его, когда еще он не был произнесен... Как только явился перед судом Лукасиньский, из его кельи призванный «обличить» товарищей, подтвердить прежние свои сознания о большом заговоре против русской власти, затеянном в Польше и на Литве... Когда он с трудом своими больными руками снял с себя одежду, рубаху и показал следы ран и рубцов от старой пытки, не изглаженные в течение стольких дней.

— Проклятье! — сильнее пророкотало кругом.

— Когда он тихо, но твердо спросил... — словно не слыша ничего, продолжал Дембек. — Спросил судей: «Паны сенаторы, к вам обращаюсь. Скажите можно ли придавать веру тому, что говорил я, вынося такую муку?» Спросил — и умолк. И молчали все кругом... Только низко опустили голову паны сенаторы... Тогда мы уже знали нашу участь и перестали бояться за нашу жизнь!..

Громкий вздох облегчения, как из одной груди вырвался у всех...

— Вот так вздохнули и мы, дети мои: все сорок; отцы семейств, у которых оставались беззащитные дети, жены, старики, страдающие на воле не менее, чем мы, узники, и юные люди, сгорающие мукой в разлуке с их прекрасными, любимыми подругами, и мы, духовные отцы, оторванные от нашей паствы, заменяющей нам, по слову Христова, и семью, и жену, и детей... Мы все вздохнули свободно. Когда же прозвучал приговор. Вы помните его? Как сейчас звучит он в моих ушах... Помню июньский ясный день за окном... Сабли конвоя... Судьи за столом. И чтение приговора: «Все уличены и виновны... но не в

государственной измене, а в принадлежности к тайному сообществу, запрещенному законом. А так как предварительное заключение в тюрьме более двух лет превысило законную меру наказания для всех виновных, они должны быть отпущены на свободу... немедленно!» Только мне, пану Плихте и Гжимало — еще сидеть три месяца. Военному капитану Маевскому — полгода. А полковнику Кшижановскому, как главному бунтовщику-солдату, вошедшему в сношение с русскими заговорщиками, — ему еще три года тюрьмы. Вы возмущаетесь?.. Сжимаете кулаки, дети мои!? А мы — обнимались от радости, плакали, благословляли имя Божее, что невредимыми вышли из почвы огненной... Братья наши, признанные безвинно виновными, но искупившими вину, — уже ждали, что цепи спадут, что их пустят на волю к людям, к семье из мрака темницы смрадной и затхлой, как душа тирани!.. Но увы!..

— Не выпустили никого! Вас снова заточили!.. Знаем... знаем!

— Да, вы знаете! Посмеялись даже над тем призраком земного правосудия, ради которого собрали за судейским столом столько седых, почтенных людей, глаза которых не видели Распятия на стене, зеркала на столе, а были ослеплены блеском острой сабли... Но и над этим «судом» посмеялось насилие!.. Горе, горе!.. К мукам стыда, к тоске заключения — прилит еще был яд сомнения в благодати Божией, скорбь за попорченную последнюю искру правды на земле!.. Время шло. Приговор сенаторов пересмотрели в российском суде... И что же? Велик Бог наш, Бог истерзанной нашей отчизны! Сами россияне не могли пойти совсем наперекор совести, поправить правду святую... Они подтвердили справедливость приговора... Кое-кто был отпущен. Но семеро: Плихта, Гжимало, Лаговский, Маевский, Кшижановский, Заблоцкий и я, мы попали еще на целый год в казематы Петропавловки... Снова тянулся «Шемакин» суд... И последней жертвой его пал один из всех: герой Кшижановский, лучший сын отчизны... Он послан навеки в тундры Сибири, в Березов, где девять месяцев зима леденит землю и солнце не восходит в небесах... Там, в мерзлой яме, в оковах будут держать мученика!.. Честь ему!

Поднялся Дембек, все встали, подняли руки кверху, пророкотали:

— Слава герою! Гибель врагам!..

Безмолвно помолясь, сел снова Дембек; тише, словно обессиленный порывом, говорит:

— Мы вернулись, полумертвецы... чтобы остаток жизни отдать умирающей, поруганной родине!..

Смолк Дембек. Молчание, тяжелое, жуткое молчание воцарилось кругом. Лица бледны. Сжимаются руки. Слезы дрожат у многих, глаза горят у всех...

Видя общее настроение, медленно поднял опущенную голову каштелян Наквасский, грузно, значительно так заговорил, словно хотел врубить каждое слово в память, в душу слушателей:

— Не все договорил здесь почтенный ксендз Дембек. А, может, и сам не знает тех околичностей, ради которых — одной лишь жертвой удовольствовал свою жесткость новый Молох. Напомню вам сперва о торжестве, к которому готовится Варшава. Через месяц явится сюда наш яснейший круль Божией милостью, для того, чтобы своими руками возложить на свою голову венец Пястов и Ягеллонов. Покойный круль Александр получил корону из рук бога войны. Теперь ее надо одеть под звон колоколов, при пении всего святого клира нашей апостольской церкви... Амины! Что же вы не откликаетесь, дети мои? Ну, иду дальше. Вы, может быть, не знаете, что наш круль так чтит свободу... чужих народов, что даже из-за угнетенной Греции — скоро загорится война у России с Оттоманами. Но, кроме того, во Франции — очень стало беспокойно... В Бельгии тлеет пламя восстания против голландцев-торгашей... Кругом загораются костры, грозящие европейским пожаром... И сами вы поняли теперь, друзья мои, как полезно для нашего круля — выказать себя милостивым и справедливым перед народом польским, который тут, на грани между Россией и Европой, может склонить малейшим усилием своим стрелки мировых весов в ту, либо в иную сторону... «Даю, дабы взять», — говорили римляне. И россияне порою — вспоминают эту мудрость. Они — хотят иметь ваши умы, ваши сердца, ваши голоса — для приветственных криков на площади Крулевского замка, вашу кровь и силу — для борьбы с наступающим врагом!.. Так воскликнемте: «Да живет наш круль, милостью Божией...» Виват! Вы все молчите? Какой вы... спокойный, холодный народ. Ничем вас и расшевелить невозможно!..

Невольная улыбка пробежала у многих по лицам. Но сейчас же сурово, скорбно нахмурились брови, сжались губы.

— Ну, о чем еще говорить? — громко, визгливым голосом подхватил вдруг Заливский. — Не до слов теперь, когда пора перейти к делу. Нас нечего еще поджигать. Мы давно готовы... Рука наша не дрогнет... Пусть явится... мы...

— Что, пане Юзеф? Один опрокинете ряды российских полков и выхватите из самой гущи ихнего священного вождя? Или чудом изгоните врага из пределов отчизны? Или?..

— Позвольте, святой отец... Я понимаю. Их много, нас мало... Но не в силе Бог, а в правде... Ударим на угнетателей и они рассеются перед нами... Я один, веруя в Господа, готов кинуться на целый полк...

— Все в руках Божиих, ваша правда, пан подпоручик. Вот и в Писании мы видим, что избранник Божий — Самсон — поразил целые толпы филистимские одной ослиной челюстью! — глядя прямо в лицо назойливому Заливскому, едко проронил Наквасский.

Несмотря на всю серьезность минуты — кое-кто рассмехался, улыбались почти все, поняв намек ксендза.

Но сам Заливский понял цитату буквально, счел себя уподобленным Самсону, а не челюсти и, надувшись, с приговорной скромностью проговорил:

— Ну, разве ж я могу равняться сильнейшему во Израиле?.. Бог, конечно, Один Наша защита... А я — Его слуга... Больше ничего...

Прежнее настроение разрешилось вмешательством самонадеянного подпоручика и перешло на дальнейшее деловое обсуждение вопроса, намечалась тактика ближайших дней... Разбились на группы... И только на рассвете стали расходиться члены этого недавно основанного Высоцким «патриотического кружка», который постепенно разрастался и сыграл в скором времени решающую роль в дальнейших, ярких событиях польской общественной жизни.

Последним мажорным аккордом в стенах Варшавы, последним ликующим, громким созвучьем отдались над глубокою Вислой клики народа, заполнившего улицы, «урра» и «виват» польских и русских войск, окаймляющих двойною шпалерой пути, перезвон всех колоколов города в торжественные майские дни, когда король Николай 1 короновался в древней столице польской на королевство.

2 (14) мая, в самый день рождения княгини Лович, Константин с Михаилом, накануне только приехавшим в Варшаву, выехал после обеда навстречу брату-государю, который с женою и наследником уже подъезжал к Блоне. Здесь произошла встреча. Высокие гости остались ночевать в Блоне. Цесаревич вернулся в свой Бельведер.

На другой день, в воскресенье, спозаранку войска шпалерами развернулись, вытянулись ровными рядами от Крулевского замка до самой Модлинской заставы, где кроме того сверкали на солнце киверами лейб-кирасиры, конные егеря и польская гвардия. Золотые придворные кареты через Новый Мост и Прагу отвезли к месту встречи министра Новосильцева. От города, от магистрата — тоже собрались там депутаты: с хлебом-солью, с цеховыми значками и штандартами. Второй живой стеною за линией войск кипели толпы народа вдоль всего пути.

У Модлинской заставы государь принял рапорт у цесаревича, проехал по фронту блестящей кавалерии; затем после завтрака в небольшом подгородном домике — взвилась ракета. Императрица с наследником села в парадную карету; Николай, Константин, Михаил верхами, окруженные свитой, медленно двинулись к Крулевскому замку. Громкое «урра», перезвон со всех колоколен Варшавы, орудийный салют, звуки военной музыки — слились в один хорал, доносящийся, казалось, до самого синего далекого неба, в котором скользили, таяли, тонули легкие майские облака...

После молебна в замке официальный день кончился. Николай явился к Лович, приветствовал ее. Обедали всей семьей в замке: три брата, государыня и Лович. Тут же находился и Польш, которого приласкала вся царская семья. Вечером государыня посетила Лович в Брюллевском дворце, куда переехал теперь цесаревич из своего тихого Бельведера, чтобы находиться ближе к замку, к семье брата, к самому государю и охранять его, как прежде оберегал Александра.

Красный город убран был коврами, флагами, цельные куски тканей разноцветными полосами свешивались с балконов и реяли по воздуху... Вечером, чуть стемнело, — сады, улицы, площади засверкали огнями блестящей иллюминации. Фронтоны и окна домов горели лампами, вензелями царя и царицы. Костры и смоляные бочки багровыми языками пламени врезались в темень майской но-

чи. Особенно богато и красиво убран был сад Красинских, Саксонский плац и еще несколько других площадей и зданий города, как-то: Ратуша, замок, Брюлевский дворец, палацы первых польских вельмож — Замойских, Потоцких, Браницких.

Густые толпы гуляющих громкими кликами провожали царскую семью, когда она возвращалась из Брюлевского дворца в Королевский замок.

Начиная с 4 (14) и до 12 (24) мая почти ежедневно на Саксонской площади происходили разводы, парады по утрам, потом — приемы в замке, представления лиц разных рангов, мужчин и дам. 8 мая состоялся торжественный прием польских аристократок-дам и целование руки у государыни.

Лович как раз в этот день слегла больной и таким образом избежала этой церемонии, для нее — не совсем приятной.

Большой смотр состоялся 9 мая. А в полдень — перед замком, на площади появился генерал Викентий Красинский с герольдами, одетыми по старине.

Был прочитан указ о коронации, назначенной на 12 мая, затем списки его были разбрасываемы кругом и толпа на лету ловила красиво разрисованные листки, порою даже вступая в борьбу из-за них, разрывая плотные, глянцева-тые свитки...

По всему городу ездили герольды, объявляя торжественную весть.

Лович еще хворала и государыня вместе с государем навестили ее вечером, как делали это почти ежедневно.

Балы у цесаревича, у коменданта Варшавы Левицкого, в Ратуше, где собралось больше тысячи гостей, бал в Бирже, у графа Замойского — все это чередовалось одно за другим.

Жаркий ясный выдался день 12 мая, во вторник, на который было назначено самое торжество.

Толпы зрителей, почти с рассветом собравшиеся на Замковой площади и дальше, до кафедрального костела св. Яна, увидели, что от ворот замка до самой паперти ведет особый помост, покрытый малиновым сукном.

В блестящих облачениях весь клир духовный с примасом во главе двинулся по этой сверкающей на солнце малиновой тропе. На парчовых подушках несли древнюю корону польскую и остальные королевские регалии.

После торжественной мессы состоялось благословение священных знаков королевской власти и тем же порядком они перенесены были в замок. В тронном зале уже собрались все, кто мог и должен был по сану здесь находиться.

Появился государь с государыней и оба заняли места на возвышении, у трона. Торжественно поднялся на первые ступени примас, громко прочел обычные молитвы, закончив ее возгласом:

— *Salve Nicolaus Primus, imperator et Poloniae Rex!*

Громко был подхвачен этот клич и цветные старинные залы задрожали от звуков. Грянули пушечные выстрелы, на площади войска и народ подхватили и далеко прокатились эти слова:

— Живет Николай Первый, император и король польский!..

А священнодействие шло своим чередом.

Вот, при помощи первых чинов двора примас подал и возложил порфиру на плечи государя... С молитвами поднесена корона. Николай принял ее, осенив себя крестом, поцеловал корону и возложил себе на голову.

Порфира и скипетр были также с молитвой переданы ему примасом.

Николай дал знак — и оба его брата подвели царицу, которая смиренно склонилась перед супругом — повелителем.

Небольшую корону и цепь ордена Белого Орла возложил он на нее, поднял и дал ей место рядом с собою.

Затем Николай сам опустился на колени и своим внятным, сейчас особенно звонящим голосом прочел молитву на французском языке, затем присягнул остаться верным конституции царства Польского.

Когда он встал, все, даже государыня, опустились на колени.

Примас проговорил последнюю молитву. Распахнулись двери зала.

Шествие выступило из стен замка...

В полном облачении тихо двигался император-круль. Цесаревич и Михаил шли за государем.

За ними — шестнадцать полковников несли балдахин, а шестнадцать генералов — держали кисти.

Царица двигалась, как живое божество, в мантии, залитая камнями, под этим балдахином. Наследник Александр и княгиня Лович — следовали позади. Потом — шел весь двор.

Вдоль всего пути, от замка до костела стояли войска, теснился народ.

Галереи, устроенные у стен замка, были переполнены дамами знатнейших и богатейших фамилий Варшавы и всей Польши.

В старинном, величавом соборном костеле Св. Яна Николай со всеми окружающими выслушал только мощное «Те Деум!», исполненное чудным хором под звуки органа, лучшего в королевстве... Оттуда шествие вернулось во дворец под звон колокольный, при грохоте орудий, при кликах войск и народа...

Бледный, торжественный, но спокойный шел Николай и туда, и обратно, нигде не ускоряя свой медленный шаг.

Но было два момента, когда все заметили резкую перемену в государе.

Проходя туда и обратно мимо рядов школы подхорунжих, которые находились в числе почетного караула, Николай явно изменился в лице. Один раз он даже словно хотел что-то сказать Константину, взглянул на него, слегка повернув голову, отягченную короной.

Но цесаревич предупредил движение брата, сам как-то незаметно очутился совсем близко, словно своим телом готов был защитить, прикрыть его от какой-то опасности. В то же время глаза Константина, казалось, хотели без слов успокоить брата...

И только когда во второй раз Николай с женою, сыном и братьями миновал ряды подхорунжих, краска, проступившая было у него на лице, сбежала.

Бледный, спокойный, несокрушимый dokonчил он обряд и тихим шагом вошел под кровлю замка.

Не напрасна была эта тревога, хотя и утаенная от людей, но понятная многим.

Еще четыре дня тому назад, 8 (20) мая, когда Николай на Саксонской площади после развода делал смотр школе пеших подпрапорщиков, он знал, что среди них составлен заговор против него, царицы, наследника и всей семьи с обоими братьями включительно.

Константин, которому донесли о заговоре, и верил, и не верил. Но меры были приняты. И даже государыня в этот день не явилась с сыном на площадь, а смотрела на ученье из окна квартиры Куруты, выходящей на Саксонский учебный плац.

Однако нельзя было постоянно прятаться самому и укрывать семью, как это понимал Николай. Произвести аре-

сты на основании одного доноса, нарушить блеск и радость этих дней, вызвать, может быть, взрыв протеста в войсках? Этого тоже нельзя было сделать теперь.

В кольчуге, правда, шел Николай... Охрана, незаметная для чужих глаз, приготовлена была особенно там, где стояли ряды подхорунжих с оружием на голове для губительного удара...

И когда медленно проходил мимо них Николай, когда двигался затем пышный, украшенный кистями балдахин, бледные, напряженные не менее, чем тот, на кого замыслили они, стояли подхорунжие — заговорщики.

Они ждали только знака своих вождей, чтобы выполнить ужасное дело.

Но одумались ли эти вожди или поняли, что остальные войска не дадут торжествовать победы, даже если удастся заговор, что будут тут же изрублены все заговорщики, хотя бы и свершили задуманное?.. Или — нашли эти вожди, что вообще не время для переворота? Наконец, может быть, к ним нашел путь осел с золотом из подвалов русской казны!.. Кто знает?

Только знак подан не был... И благополучно закончился, как и начался, день 8 (20) мая.

— Жаркий был нынче день, — с многозначительным взглядом во время парадного обеда, сказал Константину Николай.

— Но он прошел, ваше величество... этот жаркий день! — так же многозначительно ответил цесаревич. — Пью здоровье вашего величества... и всей вашей августейшей семьи!

— Да слышит вас Господь, мой дорогой брат! — поднимая бокал, ответил государь.

Кто заметил их тост, не мог понять: чем вызван этот братский звон бокала о бокал, не предусмотренный в придворном церемониале текущего дня.

«Иды мая — пришли... и прошли!» — мог бы сказать Николай, вспомнив Цезаря.

Длятся парады, приемы, банкеты и пиры!..

Три дня не показывался нигде государь. По официальному сообщению, он слегка простудился. Только немногие допускали, что волнения, пережитые в день коронавания, повлияли даже на богатырское здоровье Николая. Да и побережь себя советовали ему и цесаревич, и те два-три человека, которые знали о замыслах безрассудной молодежи...

Но 16 (28) числа Николай уже снова появился на народном празднестве, данном в аллеях Уяздовского парка, где было приготовлено угощение на 10 000 человек, где собралось их больше 60 000, где били фонтаны вином, стояли целые жареные быки и было, словом, все, что полагается в таких случаях, до ужасной давки включительно.

19 (31) мая явился под конец торжеств новый дорогой гость в Варшаву — принц Вильгельм прусский. Через день он уехал обратно в Берлин, увозя с собой сестру — государыню.

Наконец 22 мая (3 июня нового стиля) Николай простился с Варшавой и выехал в Калиш, где должен был встретить еще более высокого гостя: родича своего, короля прусского...

Кончилось главное ликование и торжество.

Но еще отголоски его: балы и вечера, пиры и пирушки долго необычным вихрем волновали гладь и затишье, к которому за последнее время стали привыкать обыватели веселой, шумной некогда Варшавы.

Особенно радовались те из польской знати и начальства, как военного, так и штатского, которым, наравне со всей свитой самого Николая, были пожалованы повышения и награды орденами, чинами, пенсиями.

Только ни одной награды не выпало на долю лиц из свиты и генералов, окружающих цесаревича. И Константин огорчился таким «обходом, забвением» со стороны государя, а уж о самих обойденных говорить нечего. Упорно ломали они себе голову: чем вызвана подобная немилость? Хотя бы из деликатности к старшему брату — следовало выказать внимание и к лицам, наиболее близким ему, к его свите.

Один Польш, не в пример прочим, получил флигель-адъютантские аксельбанты, которыми ужасно гордился, выставляя их всюду напоказ.

Обойденные не знали одного, что тот же граф Красинский и Николаю сообщил о собрании у генерала Альбрехта, о решении генералов Константина — хотя бы силой, но посадить на трон «своего цесаревича»...

— Пускай же и награды получают от него! — было ответом на эти сообщения.

Так и совершилось.

Стихли, наконец, последние отзвуки ликований... Пылью покрывались лампионы и вензеля отгоревших ил-

люминаций... Слиняли, истрепались флаги и драпировки, расцветившие шумные улицы Варшавы, смятыми валялись они в кладовых. Ковры, украшающие балконы и окна, снова легли на паркет полов, повисли на стенах темных покоев старинных магнатских жилищ...

Оживленные толки о балах и праздниках, о пышных торжествах — сменились всюду речами о том, что уезжающий круль, еще день-два тому назад клятвенно подтвердивший законосвободные учреждения страны, ее конституцию, — назначил ряд новых сенаторов с полным нарушением закона, и даже, уезжая, не огласил дня, когда должен, по букве тех же основных законов, собраться очередной сейм...

— Два законных срока прошло! — говорили самые умеренные обыватели, — а о сейме и не слышно ничего...

Понемногу — снова забурился котел, надавленный тяжелой крышкой, в которой дни коронации с их внешними проявлениями тех или иных народных чувств — словно открыли на время щель для выпуска избыточной силы, опасной для целого государственного механизма.

Сходки и сборища в кофейнях, в «клубах», даже в разных увеселительных местах, возникающие словно непроизвольно, почти на глазах у полиции, у властей, множились и становились все напряженней по своему характеру, по тону речей, по огненным напевам, какие раздавались на них.

Аресты усилились. Но шпионы уже выбивались из сил. Не хватало рук, чтобы хватать, арестовывать заподозренных. Даже личные адъютанты Константина, несмотря на отвращение военных от выполнения полицейских, а тем более, жандармских работ, даже они, по приказанию цесаревича, производили аресты, выемки, обыски...

Сам чиня допросы почти каждому арестованному, Константин призывал порою себе на помощь даже графа Мориоля, полагая, что психология опытного педагога может пригодиться и при политическом сыске...

— Свинство! Экое свинство творится кругом! — повторял только «старушек», видя общий развал. Но он еще не придавал настоящего значения кипению, которое замечалось и среди горожан, молодежи Варшавы, и даже среди войск.

Последнему верить не желал, видеть не хотел цесаревич.

— Мои войска, мое детище! Они не могут изменить мне... брату Николаю...

Так писал он и государю... Но у самого в душе уже проползали холодные змеи сомнения. И потерял свой прежний спокойный сон цесаревич, осунулся еще сильнее, чем это было перед торжественными минувшими днями, ради которых подтянулся было, словно помолодел совсем Константин...

Какая-то растерянность постепенно сильнее и сильнее овладевала цесаревичем, заражая всех окружающих его. Он принимал ряд полумер, хватал ничтожных людей «для острастки тем, кто посильнее!» — как сам говорил... Но это создавало только новые кадры недовольных, подавало повод поднимать протесты, крики, находящие отзвук и в заграничных газетах... А главных, сильных «бунтовщиков» магнатов, самых опасных смутьянов-подхорунжих и молодых офицеров польской армии трогать опасались, чтобы не вызвать взрыва, тем самым давая уверенность заговорщикам, что их боятся, значит, и дело их может достичь желанной цели.

Газеты свободолобивого лагеря, без различия оттенков, подняли голову, усилили голос.

С 1 (13) декабря того же 1829 года стала выходить новая, народническая, свободолобивая газета «Курьер Польский», издаваемая небольшой группой вожakov народной партии Бронниковским, Циховским и Маврикием Мохнацким.

Последний особенно пользовался широкой любовью молодежи и народа как горячий патриот, блестящий оратор и прирожденный вождь толпы, демагог.

Проглядывая в тот же вечер «новую тряпицу крикунов-хвастунов», как звал их Константин, он начал с обычными приемами, с шутовским пафосом и искажениями языка читать статью за статьей... Но постепенно становился серьезнее, бросил кривлянье, некоторое время продолжал чтение про себя, наконец, скомкав лист, швырнул его прямо в камин с ворчаньем:

— Свинство! Какое свинство... Да что же это? Чего еще ждать? Да это... это...

Он не нашел слов для выражения, умолк, погрузясь в глубокое раздумье, обеспокоившее и Лович, и всех окружающих.

Его поразил тон статей новой «тряпки». Сдержанный, корректный, привычный во всех отношениях. Ни выпадов

против произвола правительства, ни других общих мест... Но там говорилось простым и ясным языком о вещах, как будто позабытых людьми: о правах человека, об истинах, возведенных еще 1800 лет тому назад Плотником из Назарета... Выводов не было сделано. Они должны были явиться сами собою у каждого, кто прочтет статьи... Шляхту, правда, магнатов, «рабов лукавых и ленивых», громили статьи. За это — нельзя придрататься властям. Но эти-то вылазки и показались самыми странными для многолетнего, внимательного чтеца польской прессы.

Значит, новая сила появилась в стране, если газетный листок решился ополчиться на «шляхту-народ», как называют себя паны в гордом самомнении? Значит, и влияние, и деньги можно получать из других источников, помимо казны и сундуков магнатских? Вот и о холопах — так трогательно и так властно пишет новая «сплетница-газета». Правду пишет... Но эту правду знали давно, однако молчали о ней, не смели говорить, да и выгоды не находил в том никто. Кому они были нужны, эти смерды, чернь, холопы, мелкие торгаши, скучные глупые жалкие люди?! А тут вдруг?! Неужели зараза Запада так глубоко проникла и в сердце польского «народа-шляхты» или холопы так просветились в своих грязных хатах, что выставляют уже защитников и передовых борцов в ряды общего европейского движения?!

Это движение сильно, оно растет. Константин давно знает его лозунг, такой наивный, хотя и священный.

— Свобода, равенство... и братство!..

Значит, долой власть! Все делить поровну... Нет бедных и богатых... Нет благородных и черни?! Да, как же жить тогда? Кого слушать? Кому служить?

Измятая, задавленная многолетними оковами, привычная к дисциплине, к подчинению, с одной стороны, к произволу и власти с другой, — натура цесаревича ни понять, ни примириться не могла с тем, что спокойно, мирно, с достоинством оглашала новая газета на своих страницах.

Оттого скомканный лист полетел в пламя и задумчивый, угрюмый, молча сидит Константин, опустив тяжелую голову свою на волосатые руки с проступающими вздутыми жилами на них...

Но что бы сказал Константин, если бы услышал речи, произносимые на сходках? Самые горячие головы, юные смельчаки прямо возглашали, что рабство широких народ-

ных масс — ведет к уничтожению государства. И если Польша желает возродиться, а не только сохранить свое призрачное существование, она должна дать свободу «холопам», задавленным и бесправным теперь, в «казарменно-константиновской», а не конституционной Польше, как были поработаны они и триста лет тому назад.

Ничего этого, конечно, не слышал Константин. Но дух предвиденья охватил этого нечуткого, сбитого с толку человека в настоящий миг...

И глубоко он задумался... Тоска охватила его стареющее, усталое сердце.

Продолжая искать выхода в полумерах, Константин заодно с князем Любецким, которого опасался и не любил всей душой, стал уговаривать Николая назначить день сейма, нисколько не подозревая, что этим только ускорит, а не отсрочит взрыв; сгустит, а не рассеет плывущую грозную тучу...

Тройным ситом, при помощи всех средств, готовых к услугам «сильной власти», отсеяли депутатов, которым был, наконец, открыт доступ в этот первый — и последний при Николае «сейм польский»...

— Словечка пикнуть поперек — никто себе не позволит! И оппозиции вовсе никакой не будет, ни из самого пекла! — так уверяли цесаревича Любовицкий, Чарторыйский. Жандарм, даже Новосильцев, полагающий, что он знает хорошо «свою Польшу», где управляет так много лет... Князь Любецкий, правда, намекнул Николаю, когда тот явился в Варшаву, что можно совершенно обессилить оппозицию, пустив в ход «золотые аргументы». Но Николай и слышать об этом не хотел, он прямо объявил:

— Вот потому-то я и не сторонник «парламентов», что при них возможны всякие «сделки» с главарями партий. По-моему, мыслимы только два рода управления: республиканский и самодержавный. Республики я не введу в своих владениях. А насчет второго? Еще посмотрим. Сейм все-таки надо открыть, как мы обещали.

Так и случилось. Сейм не только открылся в мае 1830 года, но сам Николай, по примеру покойного императора, открыл заседание торжественной речью.

По старым образцам сложена речь, но так же не походит на прежние, зажигающие, против воли, декларации Александра, как этот высокий ростом, красивый, но холодный какой-то, безжизненный оратор мало напоминает обязательного, несмотря на года, старшего брата своего.

И нет захвата в зале. Холодом взаимным веет туда от трона и к трону из толпы этих серьезных, неподвижных людей, чутко внимающих словам первой тронной речи своего нового повелителя, императора и короля, который обещает «свято хранить заветы покойного императора Александра I».

Довольно спокойно, правда, с внешней стороны, проходят заседания сейма.

Но иначе и быть не может. За несколько лет, пока его не было, слишком много накопилось деловых насущных вопросов, которые надо решить, чтобы не тормозилась правовая и общественная жизнь страны: ее торговля, промышленность...

Принципиальных разногласий почти и быть не может по поводу сотни небольших, но необходимых мер и законов, стоящих на очереди... Что поострее — умышленно приберегается к концу. А пока — «законодательная лапша» стряпается быстро, без обсуждений почти, не только без оппозиционных вылазок...

Машина работает гладко, бесшумно. Но отчего хмурится порою ясное, бесстрастное всегда почти лицо Николая? Отчего так озабочен Константин?

Уже на открытии сейма дошли до них такие слухи, вести, которые заставили опасаться, что, начав за здравие, придется кончить за упокой...

Чуть ли не ловушка была поставлена власти с этим молчаливым, деловым сеймом... Ведя мирную работу, под конец кое-что берегут заговорщики-депутаты. Будет брошен вызов. Конечно, отступить власть не захочет. Возникнет борьба. Придется принять крайние меры. И страна из стен своего парламента услышит жалобу о насилии, призыв к возмездии...

Но и этого мало.

Покорные в стенах сейма, депутаты завалили своего «повелителя» жалобами и петициями. Чего тут нет! И опорожнение порядка выборов в сейм, и обличения представителей своей и русской власти, до самого цесаревича включительно.

Есть подписанное всеми депутатами ходатайство об «отмене добавочной статьи» конституционной хартии, которая лишила заседания сейма их прежнего открытого характера, преградила доступ публике на рядовые заседания, просьба об отмене воеводства в Калише, об освобождении от гнета цензуры...

Словом, если выполнить хотя бы третью долю просимого, придется отказаться от всех завоеваний, которые за последние годы сделаны «сильной властью» в этом краю. Есть, наконец, и петиция о слиянии с царством ранее завоеванных провинций, как это не раз обещано было покойным императором-королем Александром. Но эту бумагу только с досадой откинула державшая ее рука...

Одним из последних обсуждался проект закона о брачных союзах.

Гражданский брак, благодаря кодексу Наполеона, давно стал обычным явлением в Польше и обыватели были очень им довольны. Но не того желали ксендзы, сумели найти поддержку в Петербурге, обещая за эту помощь оказать добрые услуги по усмирению взволнованных душ своих католиков прихожан.

Прямым требованием звучал законопроект правительства об изменении брачного закона, о подчинении таинства брака исключительно духовным властям. И на этом разыгралась решительная стычка. Сейм осторожно, но твердо настоял на своем. Проект провалился. Брак остался учреждением гражданским столько же, как и церковным. Развод не был уничтожен или хотя бы очень затруднен, как того желал и сам Николай, который совершенно расхотелся по данному вопросу со старшим братом Константином.

Самая неудача законопроекта, а еще больше неожиданный, хотя осторожный, но твердый, решительный отпор, данный в этом случае державной власти со стороны сейма, его единодушие и полная сплоченность, без различия партий и сословий, — все это оскорбило, раздражило юного повелителя, напуганного событиями декабрьских дней, а с другой стороны — особенно уткого на малейшее проявление «непокорности», которое он немедленно приравнивал к бунту, к проявлению дерзостного неуважения верховной власти...

Этим недовольством, негодованием звучали слова речи, с которой закрыл Николай последний сейм. Даже явные, суровые угрозы нашли себе в ней место, и потом газеты Запада долго обсуждали эту речь, похожую скорее на откровенные изречения сурового Бренна, чем на декларацию конституционного государя.

Все-таки он закончил свою речь призывом к примирению. Только обещал, если еще раз повторится подобное явление, — лишить Польшу дарованных ей прав...

Последнее было сделано очень скоро — и самой судьбой.

Николай уехал. И на прощанье сказал брату:

— Ну, недолго будут петушиться у меня эти господа! Я церемониться с ними не стану!

Проводил его, как всегда, цесаревич и смутный, подавленный, вернулся в свой Бельведер, где замкнулся еще угрюмее, чем раньше, в свое одиночество, в свои думы...

Конечно, он поневоле принимал прежнее участие в управлении краем. Но делал это почти безучастно. Именно теперь, когда надо было напрячь все силы...

— В отставку, на покой мне пора! — чаще и чаще твердил он, теперь уже совсем серьезно.

И только многолетняя привычка мешала от слова перейти к делу.

А события надвигались с быстротой бури.

Глава II

ДНИ ЛИСТОПАДА

Последние листья разносит бурей хладной,
Дыханьем осени, угрюмо-беспощадной!
Jak to było — powiem wam.
Co to było? — nie wiem sam!

Большой театр Варшавский полон сверху до низу. Дают «Фенеллу» с примадонной панной Пальчевской и певцом Полковским в главных ролях.

Эти общие любимцы и роскошная обстановка оперы, декорации Стеккети, красивая музыка — все вместе естественно должно привлекать публику в один из самых лучших театров польской столицы. Но есть что-то еще, почему полный сбор обеспечен кассе, если на афише появляется именно эта старинная опера.

Стройно идет спектакль. Вызовами, аплодисментами сопровождается каждый лучший отрывок, боевые арии, звучные ансамбли, жгучие танцы, неаполитанские пляски; словом — непрерывный восторг вызывает спектакль у тысячной толпы, сошедшейся в стенах театра.

Самая толпа эта стала за последнее время какая-то особенная, именно — на представлениях «Фенеллы»; как буд-

то в вечера, когда идет эта опера, театр служит местом сборища для целой толпы людей, обычно редко посещающих оперу, охотнее проводящих время в комедии, в драме, а то и просто в какой-нибудь кофейне или театрикешантане средней руки.

Особенно в дешевых местах является необычная публика: молодые военные, чиновники, «академисты»¹, даже лица, руки которых носят следы грубой работы, манеры — напоминают прилавок или мастерскую.

Восторженно принимает эта публика и артистов, и оперу... Требуется повторений без конца. Но настоящая буря поднялась в описанный спектакль после взрыва народного восстания, изображенного там, внизу, за рампой так живо и мастерски не только Мазаниелло-Полковским и другими артистами, но каждым хористом, последним статистом, изображающим атомы того грозного моря, которое зовется восставшим народом, хотя бы и на сценических подмостках, при блеске театральных огней.

Особые статисты появились в театре: молодежь, учащиеся... Они словно пришли за кулисы, чтобы прорепетировать в оперной сцене что-то предстоящее им большое, настоящее; какой-то другой спектакль на арене жизни...

Горят их очи, красивы и смелы движения, искренне и мощно, заразительно звонко проносятся голоса, когда поют эти люди.

— Да здравствует свобода! Долой тиранов! Месть им! Да здравствует отчизна!..

И вдруг что-то небывалое произошло в театре.

Среди бури вызовов и аплодисментов — изданный внизу боевой клич словно перекинулся туда, за рампу, в эту темную зрительную залу, в которой только горят глаза зрителей, рдеют их пылающие щеки, трепещут потрясенные груди. Тот же клич, только что смолкший на сцене, — возродился там, на верхах... Растет, крепнет, разливается все шире, как огонь лесного пожара, сверху — вниз, снизу — снова перекачивается вверх:

— Да здравствует отчизна! Привет свободе! Гибель насильникам! Месть за произвол... Живет Польша! Отчизна — да живет!..

Русские зрители, больше военные, смущены, даже напуганы, быстро покидают места... Но их немного.

¹ Академисты — студенты.

Полиция растеряна, жметя в тени, не смея ничего начать, что ей предписывает долг службы...

Новосильцев дольше всех остается в своей ложе. Но вот и он встал бледный, угрюмый, окинул последним взглядом бушующий, ликующий, громами и кликами наполненный зал — и тоже скрылся.

А в этот миг к общему гулу и рокоту тысячи людских голосов, усиленных, отраженных стенами зрительного зала, как дополнительный аккорд, как оттеняющий картину фон или необходимый для голоса отклик музыкального инструмента, — весь оркестр оперы, повинаясь чьему-то внушению, неожиданному приказу, громко грянул старинную «Мазурку Домбровского», песнь дружин Косцюшки... И затем перешел на еще более священный каждому поляку величавый гимн:

«Boże, coś Polske».

И тысячи восторженных голосов подхватили мелодию, несут, несут ее туда, к Небесному престолу; и вниз, по всей польской земле разлететься должны эти звуки...

Смолк хорал. Получило исход напряжение, от которого долго и напрасно разрывалась грудь участников этой сцены. Общий гул и шум стихает понемногу. Более шикарная публика кресел и лож опомнилась раньше всей остальной залы. Разошлись зрители. Но верхи еще полны, там гудят, как потревоженные пчелы, толпы людей, звучат молодые голоса.

Кучки молодых и старых слушателей — женщин и мужчин, окружают ораторов, которые в разных местах говорят к толпе, стоя на столах, на буфетах, на постаментах статуй, которые как бы осеняют своей белизной темные фигуры в скромных кафтанах, сюртуках, чамарках.

Кого только нет в этой толпе и среди всех импровизированных ораторов! Как будто сговорились сойтись здесь представители всей мыслящей, особенно либеральной Варшавы: и профессор Ширма, и офицер Лаговский, советник Платтер, ученый пан Андрей Кухарский, целый ряд журналистов: Ян-Непомуцен-Лещинский, Михаил Луцевский, редактор «Меркурия» Войцинский, Д. Эдвин Гордашевский, издатели: Галензовский, Вроблевский, поэты, певцы свободы и родины: Стефан Витвицкий, Бруно Кицинский, Казимир Бродзинский, Тимовский, Франциск Моравский, почтенный Вицентий Немоёвский, вдохновенный Казимир Войницкий, Курпинский, жена которого, артистка комической оперы, зажигает слушате-

лей острыми политическими куплетами, написанными и положенными на музыку этим даровитым человеком.

Все они тут. Их знают окружающие ораторов серые группы рядовых обывателей Варшавы. В одном все они сходны: теснит им грудь, потребность высказать жгучий протест, рвется из души слово скорби, давит сердце любовь и жалость к угнетенной родине.

Жадно ловят окружающие каждое слово ораторов, хотя заранее знают, что могут услышать здесь, теперь!

Речи звучат... Лица пламенеют... Горят глаза...

Но — время идет. Усталость берет свое.

А тут явились и другие, более благоразумные вожак.

— Поздно! — говорят они. — Пора разойтись... Да и рано еще так смело запевать эти пламенные песни... Вон, говорят, начальство театральное вызывает военные патрули, чтобы очистить театр... Произойдет стычка... Что хорошего? Разойдемся до поры... Поздно уже...

— Для речей — уже *поздно*? А за дело взяться — *рано*? — шутит весельчак Курпинский. — Умных людей надо слушать, пойдем по домам — ужин кушать!..

— Браво... браво! — раздаются голоса. Смех ломает прежнее настроение.

Да и напоминание о патруле... невольно охладило пыл многих сердец, не особенно отважных, хотя и горячих...

Расходится постепенно толпа... Пустеет зал...

Появляются слуги, до сих пор таившиеся Бог ведает где... Тушат последние огни... Спектакль 6 (18) ноября кончен...

Разыгран и первый акт величавой пьесы, которую в 1830 году решила поставить на польской «всемирной», государственной сцене — сама Судьба!

— Свинство! Свинство! — угрюмо повторял Константин, когда ему на другой же день, выполняя неприятную обязанность, Любовицкий и другие власти доложили «о скандале на «Фенелле».

— Не давать больше этой глупой оперы в Варшаве, пока я тут... и никогда больше... Дирекция там глупая в театре... Должны помнить, чей хлеб едят... А не то! Пораспустили и артистов, и музыкантов, и публику... черт знает до чего!.. И мер не умеют принять! Плевать мне на их музыку. Порядок должен быть в хорошем театре — прежде всего!.. Не то... всех вон! У меня есть ротмистр

Турковский... он, кстати, и на фортепианах немного бречать умеет. Вот его и поставлю директором: посмотрим, как там музыка пойдет тогда?! Так и передайте! Я не шучу...

Конечно, ротмистр Турковский попал бы в хранители Муз и Талий... Но времени не хватило для этого у «хозяина» Варшавы.

В тот же вечер, когда громким концом увенчался финал «Фенеллы», многие из участников народной сцены прямо из театра отправились в одно из кафе на улице Наполеона, в так называемую «Гоноратку».

Там почти ежедневно по вечерам собиралась своя публика, больше молодежь.

Сначала мирно пили кофе, пунш, пиво, словом все, что можно было найти в похоронках и подвалах заведения. Затем группы, сидящие за отдельными столами, сближались, почти сливались в одну тесную, многоголовую толпу, пелись хорошие песни патриотического характера, говорили речи, произносились горячие тосты...

Когда толпа новых лиц прямо из театра ввалилась в «Гоноратку», там было уже людно и душно. Дым ходил клубами по всем комнатам, выносился из одной двери, которую раскрыли в холодный коридор, чтобы освежить и очистить воздух.

Вошедших встретили криками, приветствиями. Задвигались стулья, стали сдвигать столы, давая место пришедшим.

— Откуда? Что нового? — неслись обычные вопросы со всех сторон. — Брали Бельведер, Бастилию или Королевский банк приступом? Вид у вас такой...

— «Фенеллу» взяли с бою! Это почище Бастилии...

— Как? Вы покусились на панну Пальчевску? Честь храбрым. Это действительно труднее Бельведера, но дороже может стоять, чем банк. Говорите, в чем дело!

Как только окружающие прослушали рассказ о сцене в театре, всеми овладело словно исступление.

— Вот это славно! Виват, товарищи... Вы хорошо подали голос народу! Пусть дрожит тиран. Виват, отчизна! Да здравствует свобода!

Стаканы и кружки звенели, наполнялись и опустошались с ужасной быстротой. Кельнерши не успевали разносить заказанное по столам и появились добровольцы-разносчики, особенно в помощь тем девушкам, которые были покрасивей...

В это время на стол поднялся невысокий, худощавый юноша с тонким профилем, напоминающим Мефистофеля в более юную пору его существования, если только это допустимо себе представить.

Каким-то надтреснутым, металлическим, но за душу хватающим голосом, слегка нараспев и грустно он заговорил:

— «Фенелла»?.. Немая из Портиччи? Что она нам и что мы ей? Но все может пригодиться в этом мире. А знаете почему? Я вам скажу, почему. Слыхали вы об ослице Валаама? Нет? Конечно, слыхали! Ведь вы же все, здесь сидящие, добрые поляки, правоверные католики, чтите святую церковь и еще более святых служителей ее, ксендзов-наставников?

— К черту ксендзов, святош и всех, кто говорит о них, о старых сказках поповских! — из дальнего угла выкрикнул дюжий светловолосый парень и тяжелым кулаком стукнул по столу, расплескивая стаканы.

— Тише, Северин! Помолчи, Гощинский! — одернули крикуна сидящие с ним товарищи.

— Тише, вы там, столб придорожный! Дайте говорить Айгнеру, — послышалось с разных сторон. — Он уж отмочит что-нибудь, этот штукарь... Тише! Говори, Айгнер. Валяй, святой Илья не нашей веры...

Айгнер, не обращая внимания ни на порицания, ни на поддержку, спокойно заговорил дальше:

— Иногда, чтобы камни заговорили, достаточно, чтобы театральная «немая» запела чувствительную арию. Человека могут унижать, плевать ему в глаза, щипать по волоску бороду его отца, ругаться над его сестрой и женой... Он поднимает очи к небу и бледными от рабского страха губами лицемерно произнесет: «Господи, да свершится воля твоя!» У него отнимут последний кусок хлеба, последнюю искру свободы, заглушат правду... Его кинут в темную, смрадную тюрьму, вонючую, как... сигара друга моего, пана Гощинского, атеиста и глупца высшей марки... Но он философски вздохнет и скажет: «Все к лучшему в этом лучшем из миров!» Он... Словом, он может быть поляком, жить в Варшаве под гуманным управлением нашего «старушка» и кротко мечтать о своей ежедневной кружке пива в нашей досточтимой «Гоноратке»... Но стоит такому поляку... виноват, ослу Валаама, я обидеть не желаю... осла... Стоит ему попасть на «Фенеллу», послушать там фальшивое пение толстой прима-

донны, полюбоваться на взмахи картонных мечей, увлечься видом «бунтующих» статистов по два злота за выход... И он — готов!.. Осел Валаама не только говорит, он поет... поет грозные, величавые гимны... даже *horribile dictu*¹ — «Еще Польша не згинэла!» Он весь горит жаждой мщения, которую ничто не может погасить, ничто не утолить, кроме... первого кухля пива, поданного в «Гоноратке» ручками панны Люси... Да здоровствует оперный революционный осел Валаама и его дама — «Фенелла» из Портиччи! Люся, кухоль пива!..

— Браво, здорово, Айгнер! — послышались отовсюду одобрения этой саркастической выходке юного демагог-оратора. — Ну, а теперь с другой стороны освети вопрос, Айгнер! Валяй... Мы слушаем!..

— Вы все любите с другой стороны! Извращенные души! Мало вам влетает со всех сторон?! Извольте, черт с вами... Я расскажу вам басенку о «пиках и косах»... Хотите?

— Валяй, говори... Слушаем, Айгнер... Слушайте... слушайте.

— Да, да, развесьте длинные свои уши и слушайте... Даже в Великой Книге так сказано: «Имеющий уши...» А кто же, как не осел, может похвастаться этим преимуществом перед всеми остальными тварями из домашнего зверинца? И так, басня... Мирные, острые косы, одержимые болезнью, именуемой глупостью и трудолюбием, косили целыми днями, собирали жатву. Оселками точили им отупелые от труда жала, и они косили... косили... Было их много, как деревьев в большом лесу. И вдруг появился отряд пик, острых, как жало осы, на тонких древках... Пики нагло стали грозить косам. Те, смиренные, стали кланяться низко, величать «панами» пришельцев... Пики поддели своими остриями то, что заготовили было для себя работающие косы... Те смотрели, молчали... Пики стали шпынять и покалывать молчаливых дураков. Кое-кто из компании обиженных предложил: «Прогоним нахалов». Но остальные, более благоразумные и трусливые, отвечали: «Да мыслимое ли это дело? Они паны, мы — слуги. Они — привыкли воевать. Жала у них, как иглы... Живо нас проткнут... Куда нам?» Но смельчаки ответили: «Дурачье! Ну, проткнут! Крови у вас

¹ Страшно сказать (лат.).

все равно нет в жилах. Деревянная рукоять и с дырой — все будет служить... А вы — чик своим лезвием пику по самой шейке... головка — бух на землю!.. И не опасна она тогда никому... А древко — и на дрова не пригодится крестьянской бабе... Ну-ка, начнем!» Начали... И...

— И?.. И?.. Что же замолчал?.. Договаривай!.. Что вышло?..

— А вот когда и сам увижу, что вышло, тогда и вам доскажу...

— Отлыниваешь?.. Трус!.. Боишься... Досказывай!..

— Я?! Трус!! — Айгнер так и застыл на столе в позе негодования и вызова: но вдруг соскочил, взял с буфета перо, лист бумаги, написал крупно:

— «Сей дворец — скоро будет отдаваться за ненадобностью в наймы».

— Видите? — показал он всем надпись.

— Видим... Что такое? Что это значит?

— А вот что: со страху я иду этот билетик приклсить сейчас на воротах Бельведерского дворца! Кто со мною, храбрецы? А? Не откликаетесь!

Трое из сидящих здесь поднялись, подошли и молча стали у стола, на котором возвышался еще Айгнер.

— Ага, отыскались! Очевидно, вы и здесь желаете сыграть роль безмолвных статистов... по два злота вечер? Идет.

Он соскочил со стола, сложил бумагу, крикнул проходящей Люсе:

— Панна Люся! Дайте коснуться до вашей русой пышной косы на счастье, чтобы никакая пика не тронула меня... Друзья, до свиданья! Здесь или... в подвалах Брюлля, в казематах «старушка». Гайда, статисты-товарищи!

Все четверо вышли из «Гоноратки», скрылись в ночной темноте.

Новый оратор очутился на столе, упитанный, хорошо одетый «академик», студент из богатой семьи.

— Товарищи! — начал он громким, прочувствованным, нетрезвым голосом. — Я тоже хочу вам сказать... Мой отец делает кресты железные и решетки... и ограды... тьфу, то есть ограды дворцов и тюрем!.. А потому я хочу сказать, что я сам... совсем не то!.. Мой дед — он ковал тоже косы и плуги. А я... хочу словами... Вы понимаете или нет? И потому... Того... Понимаете... Дда!..

— Вон, долой со стола. Вон его, теленка поеного!.. Вон Бельведерского Аполлона!

Последняя обида показалась нестерпимой неудачному оратору. Он даже словно протрезвился немного и связнее заговорил:

— Позвольте, товарищи! Речь товарища Айгнера взволновала меня... Воля!.. Он ведь говорил о воле, этот плут Айгнер... Востроносая бестия! И я расчувствовался. Оттого и сплоховал в речах... Но если я плохо говорю, зато хорошо думаю. Пусть живет отчизна! И воля польская!.. Надо бы салютом пушечным отметить мой тост... Сто один выстрел... как было в Крулевском замке... Но — пушек пока мы не отобрали от... того, кто их имеет. Ставлю сто один стакан пунша! Плачу за весь салют. Берите, товарищи, чокайтесь и салютуйте отчизну хоть таким путем! *Dixi!*¹

— Браво, Гемба! Поправился хорошо! Давай твой салют! — слышалось отовсюду.

Пунш был подан и с громкими кликами в честь отчизны — стаканы осушались до дна...

Немало таких сцен разыгралось в Варшаве, начиная с лета, когда долетели сюда слухи об успехе июльского восстания в Париже, когда разнеслась весть, что Бельгия успела свергнуть с себя иго голландцев, и до самого дня 17 (29) ноября, когда давно ожидаемый взрыв здесь тоже разразился наконец с такой силой и успехом, о котором не мечтали самые доверчиво настроенные люди.

Еще задолго перед этим донесли Константину, что на 7 (20) ноября назначено, наконец, приступить к осуществлению давнишнего заговора.

Во время развода на Саксонской площади он будет схвачен и объявлен пленником или убит, смотря по обстоятельствам.

Если он сдастся добровольно и захочет помогать делу возрождения Польши, заговорщики решили хлопотать о создании особой «Восточной империи» с Константином во главе. А Польша, считая с Саксонией, свободная и независимая, но навеки связанная союзом с Россией, будет охранять славянство на Западе, как Константин и Николай — с их державами — на юге и на востоке.

— Хлебопашцем мне теперь быть, а не императором! — угрюмо отозвался цесаревич. — А этим негодяям я покажу!

¹ Я сказал! (лат.)

Однако все его меры ограничились тем, что он в роковой день не явился на развод и этим «сорвал» заговор.

Тогда глава заговора Высоцкий, убедясь, что в партии есть предатели среди самых близких лиц, стал действовать иначе. Он сначала назначил день восстания на 10 декабря нового стиля, назначив главным руководителем дела поручика Урбанского. День спустя Урбанский был взят под арест. Тогда совершенно неожиданно в пятницу Высоцкий повестил главарей «союза подхорунжих», чтобы они готовились на предстоящее воскресенье.

В воскресенье 16 (28) ноября были приняты особые меры русскими властями: усиленные караулы русских войск стояли всюду. Люди в казармах были начеку. Сам Константин провел ночь не раздеваясь.

Но Высоцкий успел срочно изменить распоряжения... День прошел спокойно — и цесаревич долго ворчал на «слишком» опасливых людей, которые поднимают только напрасную тревогу из-за всякого пустяка. Известное дело: у страха — глаза велики...

И он на следующий день не принял никаких особых мер охраны ни в городе, ни в крепости с Арсеналом, ни в своем маленьком дворце.

Только патрули от конногвардейских егерей были назначены, как всегда.

Ночью, зачастую сам в открытой коляске, объезжал цесаревич сторожевые посты, рискуя быть убитым из-за каждого угла, затем возвращался поздно ночью домой, не раздеваясь, порою не снимая сапог, спал тревожным сном до обычного часа, вставал, работал и только днем отсыпался за все время вынужденного ночного бдения.

Так было и в понедельник 17 (29) ноября 1830 года.

Ясный зимний день с небольшим морозом к полудню испортился. Подул ветер, нагнал тучи, вдруг потеплело и стало таять.

Развод, назначенный на утро, был отменен. Приняв ординарцев в Брюллевском дворце, цесаревич поспешил к себе домой, пообедал втроем с княгиней и Мориолем, так как Поль в этот день дежурил на службе, в своем полку.

После обеда, сняв мундир, сапоги, надев свой любимый белый китель, сунув измученные, ноющие ноги в теплые туфли, цесаревич с огромным наслаждением протянулся на своей софе и сейчас же уснул мертвецким сном.

Как обычно, затих и весь дворец. Задремали два-три инвалида с ржавыми своими тесачами, единственная стража, оберегающая ворота Бельведера.

Догорел пасмурный, печальный день. Почерневшие ветви деревьев уныло раскачиваются в парке и на аллеях Уяздовских под налетами влажного, прелого ветра. Падают капли с ветвей на рыхлый снег, который тоже словно темнеть начинает под влиянием оттепели.

Тихо всегда в эту пору и в Лазенках, и в парке, окружающем уютный Бельведер. Ни души не видно на всем просторе лужаек, одетых снегом, и среди темных загадочных аллей.

Но сегодня — какое-то движение заметно в этом углу у небольшого, трехарочного моста, украшенного целой величавой скульптурной группой в честь славного витязя и круля Яна Собиесского.

Сюда от соседнего Лазенковского дворца и из города, по аллеям Уяздовским уже часам к пяти дня стали собираться по одному, по два человека — какие-то странные люди в плащах, из-под которых порой под налетами ветра, развевающего полы, видны были мундиры подхорунжих и штатские костюмы или польские старинные чамарки, которые недавно стали входить в моду среди молодежи.

У всех у них оружие: пистолеты за поясом, сабли; иные несли ружья с примкнутыми штыками, даже по два ружья, из которых одно они передавали тем из подходящих, у кого были только сабли и пистолеты.

Первыми явились двое подхорунжих: Гошинский и Тшасковский, за ними третьим — Набеляк; им поручил Высоцкий, от имени Лелевеля и Главного Революционного Комитета напасть на Бельведер, покончить с Константином.

Они же должны были взять под начальство тех 32 человек «академистов», или, иначе говоря, студентов, которые дали клятву выполнить поручение Комитета.

К пяти часам у памятника собралось всего 19 человек. Очевидно, остальные побоялись явиться к сборному пункту.

— Чего же мы ждем еще? — спросил у Набеляка Тшасковский. — Стемнело! Можно и в путь.

— Еще не время. Надо выждать сигнала. Пока обсудим, товарищи, как нам лучше выполнить нашу задачу. Всех нас девятнадцать человек. Двенадцать из вас, по желанию или по жребию, под начальством товарища Тшасковского

ворвутся во дворец через главные ворота. Расположение комнат товарищ знает. Цесаревич в это время всегда спит... одним ударом можно покончить с угнетателем... А мы с Гоцинским и остальными товарищами будем сторожить у задних выходов, чтобы никто не ушел от нашего возмездия. Скоро должен вспыхнуть большой пожар на Сольцах. Товарищ подхорунжий Тильский подожжет броварню Луцкого. Тогда наши отряды, раскинутые по разным местам города, все части войск, обещавшие поддержку святому делу освобождения родины, по этому сигналу выступят в бой... Недолго ждать, товарищи! Ждали целые годы... потерпим еще минуты... Хотя они покажутся длиннее долгих, прежних лет!.. Излишней торопливостью можно напортить, повредить великому делу. Подождем...

Ждут заговорщики... Летят минуты... Вот и шесть так гулко пробило на ближней башне. Темнота кругом... Шумят деревья.

— Да мы, пожалуй, и не увидим здесь зарева? — говорит нетерпеливый Тшасковский. — Право, пора. Чего ждать?

Не успел он кончить, как от уланских казарм, расположенных вблизи парка, послышались слабые, редкие удары, как бы отголосок ружейной перестрелки, заглушаемый порывами ветра, гудящего в оголенных вершинах деревьев.

— Вот, вот! — заволовался Тшасковский. — Там уже началось. А мы стоим, ждем... Вперед, товарищи!..

— Да, да, время настало... Зарева, должно быть, нам и не увидеть, — согласились остальные.

И быстро, но стараясь держаться в тени аллеи, двинулись все к воротам Бельведера, досадуя на полную луну, которая стала все чаще и чаще показывать сверкающий диск среди быстро бегущих туч.

Не успели очнуться от своей дремоты сторожа-инвалиды, как были схвачены, связаны...

Лакей, хотевший остановить этих страшных, неожиданных гостей со зловещими, черными масками на лице, — упал, проткнутый штыком. За ним — второй. Дежурный офицер, поручик Дерфельден, выскочил на шум, но раненный в грудь, лишился сознания. Бегут по лестнице все нападающие.

Бьются у них сердца так, что идти не хватает силы.

Но никто не хочет выказать своей слабости... Только шумней и шумней становится их толпа... словно этими криками они хотят влить бодрость в свои сердца и груди.

— Смерть тирану!.. Да здравствует свобода!.. Гибель врагам отчизны!..

Люстра, сверкающая хрустальными огоньками, висит над головой. И в порыве ожесточения, словно желая взвинтить себя, ударяет по ней один из заговорщиков... За ним второй... Летят хрустальные огоньки, рухнула вниз разбитая, исковерканная люстра... Шумом полны покои Бельведера, всегда такие тихие в этот час...

Жандр и Любовидкий, ожидающие пробуждения цесаревича в приемной комнате, услышали шум, крики и сразу не поняли даже, что происходит.

— Пожар, должно быть?.. Загорелось во дворце! — вскочив на ноги, говорит Любовицкий и кинулся на шум.

Жандр, боязливый от природы, затрясся, посинел.

— Бежать надо, сказать его высочеству!.. — а сам ни с места.

Но и Любовицкий вдруг остановился на полпути.

Бледный, облитый кровью показался в покое лакей.

— Спасайте его высочество... Убийцы пришли...

Сказал и грохнулся на пол.

Жандра сразу не стало в покое. Он вспомнил, что есть отсюда выход к внутренним комнатам, и бросился туда, чтобы уйти через сад из этого места, такого тихого, вдруг ставшего ареной убийств и гибели...

Любовицкий не растерялся, как его сотоварищ.

В соседней комнате уже слышен был топот десятка ног... неслись угрожающие крики... Но Любовицкий захлопнул дверь, щелкнул замком и кинулся по длинному коридору прямо туда, к кабинету, где спит Константин.

Вот он миновал коридор. Бледный стоит у двери в кабинет камердинер Фризе, не знает, что делать...

— Что такое?.. Что там?.. Будить надо князя?!

— Да, да, скорее! — задыхаясь от бега и волнения, говорит Любовицкий. — Надо бежать... надо!

Вдруг распахнулась тяжелая дубовая дверь кабинета, на пороге появился Константин, заспанный, еще не пришедший в себя. Шум нарушил даже тот глубокий, «сладчайший» сон, каким обычно спал в эту пору цесаревич.

И в момент появления князя, с другой стороны показались в конце коридора первые из толпы заговорщиков, которые преследовали по пятам Любовицкого.

— Что такое? Что случилось? — не видя еще тех, чужих, с лицами закрытыми черным, — спросил Любовицкого Константин.

— Плохо дело, вельможный князь, — только успел крикнуть тот. — Бегите!

Камердинер, между тем, не говоря ни слова, толкнул обратно в кабинет цесаревича, сам скользнул за ним, запер на две задвижки тяжелую дверь и дальше ведет испуганного, дрожащего, безвольного и обессиленного Константина.

А там за дверью слышны крики, проклятья.

— Бей предателя!.. Смерть Иуде!..

Стон вырвался у Любовецкого, когда первое острие штыка вошло в его тело... Еще, еще стон... крик, мольба... Брань убийц...

Двенадцать стонов-воплей испустил Любовецкий, уже лежа на полу, двенадцать ран нанесли ему острые жала штыков...

Он замолк. Отшатнулись убийцы, словно страшно им стало этого молчания... А их товарищи уже громят прикладами тяжелую дубовую дверь, за которой укрылась главная их жертва...

Рухнули наконец двери... Но уже нет никого ни здесь, ни во всех соседних покоях, в целом дворце, который сверху донизу обшарили заговорщики...

— Ушел... спасся! — говорит Тшасковский. — Не похвалят нас за такую оплошность, товарищи...

Говорит и сам чувствует, что пол шатается под его ногами, словно вот-вот он провалится в бездну.

И все испытывают подобное же чувство... Цесаревич ушел. Значит, сейчас соберет верные ему войска, вернется сюда, переловит и на месте уничтожит заговорщиков, кинется в город, подавит восстание... И все рухнуло, все погибло из-за их оплошности!..

Избегая взглянуть друг на друга, перебегают из комнаты в комнату заговорщики... Вдруг все остановились на пороге одного покоя.

Лович, бледная, страшная, на коленях перед распятием, молится громко, прося о спасении... Несколько женщин в слезах, в отчаянии стоят тут же, словно хотят защитить собою княгиню от обиды, от ужаса.

Смущенные, смолкнув, быстро отступили заговорщики, прикрыли дверь, кинулись в другие покои...

Нет нигде цесаревича... А время идет... Может быть, он уже скачет к Бельведеру во главе своих эскадронов?.. Окружит, войдет!..

— Нет, видно, не сыщем мы его, — заявляет кто-то негромко. — Пора уходить!..

— Да, да, идем! — разом подхватили все: там, наверное, идет бой... Туда пойдем... в город, к Арсеналу...

И кинулись, как гонимые ужасом, к той же лестнице, по которой пришли. Вдруг стук оружия, голоса раздались из парка, все ближе... Входят на ступени главного крыльца.

Похолодели от ужаса заговорщики. Они в западне. Они погибли.

— Идите, идите, — вдруг доносится знакомый голос снизу. — Все кончено! Мы поймали его, не дали бежать... Он убит!.. Идите, смотрите...

Разом издали вздох облегчения все четырнадцать человек, стоящих наверху, побежали вниз, кричат.

— Убит?.. Где?.. Наверное убит?!

Бегут, глядят: на куче щебня лежит грузное, большое что-то...

Знакомый, жирный затылок, безвольная голова... Взглянуть бы в лицо убитому... Нет, духу не хватает!.. Да и не стоит: это, конечно, Константин. Кому быть другому?..

— Конечно. Нет больше тирана! — кричат возбужденные голоса. — В город теперь, на помощь нашим братьям...

И снова кинулись к сборному пункту, к мосту Собиеского заговорщики.

Один только остался.

Несмотря на верные признаки, сомнение почему-то овладело им: не Константин лежит тут, залитый кровью, на груде щебня в полутьме парка. Не его свалил удар штыка, когда он бежал из задней двери, надеясь спастись через парк... Что-то не совсем сходен убитый с цесаревичем... Да и мундир надет на нем. А тот — показался на пороге в чем-то белом...

Неужели успел уже переодеться и так выбежать из дворца?.. Нет.

Пересилив отвращение и невольный страх, осторожно приподнимает Гоцинский голову трупа, лежащего ничком — и злобное, досадливое восклицание срывается из уст: это не Константин, это генерал Жандр, который думал спастись и попал под смертельный удар штыка!..

Быстро удаляется Гоцинский, соображая на бегу.

— Не надо сейчас им говорить... Пусть думают, что убит цесаревич... Это придаст бодрости нашим... А врагов на время поразит ужасом и скорбью...

Так молча и соединился Гоцинский со всеми у памятника на мосту Собиевского... Вот еще подбегают группы:

все молодежь, подхорунжие, возбужденные, в задымленной, покрытой грязью, одежде.

Появился и сам Высоцкий. Голос охрип у него от громкого командования... Быстро обмениваются подходящие новостями с теми, кто уже ждет их у подножья статуи героя-вождя...

— Убит! — объявляют недавние грозные гости Бельведера.

— Славно! — откликаются подхорунжие Высоцкого. — А нам не так повезло... Подобрались мы к казармам уланским, хотели поджечь сразу с разных концов, да нас заметили... Мы тогда сразу открыли огонь... Темно... Нас меньше двухсот подошло... Сорок товарищей-россиян пришлось запереть в казармах: не понадеялись мы на них... Но все-таки страху нагнали на целый полк... Трубы, тревога... Кони бесятся... Люди падают от наших выстрелов... Наши пули летят со всех сторон... Настоящий ад! А все же пришлось отступить в конце концов. Опомнились уланы, собирались уж в атаку в ответную на нас идти. Мы в темноте и скрылись так же незаметно, как подошли... Теперь в город, к Арсеналу! Там, согласно диспозиции, главный сборный для всех отрядов пункт...

Построились в ряды подхорунжие... Никто не убит, не ранен. 165 человек налицо. Высоцкий, Набеляк, Гощинский, Тшасковский впереди...

Двинулись в путь...

Проносится ветер над старыми высокими деревьями парка у Уяздовских аллей. Дальше летит, опережая отряд, мирно, гулко идущий к Варшаве... Врывается в темные улицы, которые полны какого-то необычайного движения, говора, лязга...

Чем ближе к городу отряд, тем слышнее с той стороны треск ружейной перестрелки, даже одиночные выстрелы легких орудий.

Вот навстречу подхорунжим показался из города какой-то скачущий всадник... За ним — казак-вестовой. Значит — русский офицер...

— Целься... пли! — раздается команда Высоцкого передовому взводу...

Треск ружейного залпа... огоньки... Пули, свистя, срезая ветки, ломая сучья на пути, несутся во след всаднику... Но в него не попала ни одна... Конь тоже не задет. Быстрым, ровным галопом мчится он вперед, как летел перед тем, скачет туда, к Бельведеру...

— Ну, черт с ним! Пусть скачет! — ворчат неудачные стрелки и дальше военным шагом поспешают в город...

А всадник, контр-адмирал Колзаков, он уже у ворот Бельведера.

Но приходится остановить коня. Черной массой, живой лавиной мчится второй эскадрон кирассирского полка. В тесных воротах на всем скаку всадники сталкиваются, чуть не опрокидывают друг друга, спешат ко дворцу.

Перед дворцом у самого крыльца уже выстроился первый эскадрон с Полем во главе, прискакавший при первых выстрелах, которые прозвучали здесь среди ночного мрака и тишины.

Впереди всех, темнея, как бронзовое изваяние, закутанный в плащ с перелиной, виден тучный всадник, неподвижный, четкий. Крупный силуэт его отчетливо вырезается на фоне слабого света, кидаемого двумя-тремя фонарями, мерцающими тут среди непроглядной тьмы.

Колзаков вздохнул с облегчением, узнав Константина.

— Ваше высочество, я так рад... Вы невредимы!.. Эти злодеи...

Говорит и радостно кивает всем, кто, сидя на конях, окружает цесаревича: Куруте, Кноррингу, Штрэндману, Даннебергу, Маркову, уланскому полковнику...

Словно выходя из оцепенения, шевельнулся Константин, вглядывается в прискакавшего друга.

— Ты? Где ты был, Колзаков? Я давно тебя жду...

— Верьте, ваше высочество, сам душой летел... Да раньше не мог... Во всю улицу шли отряды мятежного четвертого полка...

— Мои верные «чвартаки»? Быть не может... Ты ошибся, Колзаков!

Столько скорби и муки в голове у Константина, что слышать больно!

— Хотел бы ошибиться, ваше высочество, да нельзя... Прошли они — я и поскакал сюда. Смотрю, на Саксонской площади отряд конных егерей и подполковник Зеленко, дивизионный с ними... Я спрашиваю: «Куда поведете своих?» А он так лукаво в ответ: «Пойдем, куда долг велит идти солдату!» Проскакал я мимо. Только до Александровской площади, а там — змеею темнеет колонна пехоты и какой-то мятежник, офицер раздает им боевые патроны... Я стороной миновал площадь!.. Вот и мрачные аллеи Уяздовские... какие-то толпы негодяев... бегут мне навстречу... Кричат: «Цесаревич

убит!» Потом сверкнули выстрелы... Засвистали пули... Но Бог спас... и я здесь, ваше высочество. Располагайте мною...

— Да, да... ступай скорее. Отыщи княгиню на ее половине. Успокой ее. Фризе меня увел наверх в башенку... знаешь?.. Там я оделся и ждал, пока ушли негодяи. Тут прискакал мой Поль... и другие эскадроны... Собрались, вот они! Успокой жену, скажи: все идет хорошо... Пусть одевается... Я тебе поручаю ее. Вези, куда хочешь... но чтобы она была в безопасности...

— Слушаю, ваше высочество!.. Все исполню...

Скрылся Колзаков в дверях дворца, где темно и тихо, как в опустевшем храме.

А за воротами — затемнели кони, люди... Легкой рысью подходят зеленые с белым эскадроны щеголеватых конных егерей... За ними ползут, как гигантские черепахи во тьме, роты пехотных егерей, весь полк... Занимают глубину обширного двора перед дворцом... Часть остается там, под деревьями парка...

Генерал Курнатовский подъезжает, рапортует, что явился со своими молодцами, с егерями и ждет приказаний.

— А этих, — указывая на пехоту, прибавляет генерал, — я на Александровской площади захватил. Не понравилась мне там компания, в которой я увидел полк... Скомандовал: «Пехота, стройсь!» и повел сюда за собою. Так спокойнее...

Молча жмет ему руку цесаревич.

— Ваше высочество! — негромко говорит Курнатовский. — Позвольте сказать, что я думаю?.. Я был там... Еще не поздно!..

— Ну, и что же?..

— Пустите меня пройти с моими егерями, с вашими кирасирами да с уланами генерала Маркова... Как раз и он здесь. Сабли наголо! Прогуляемся по улицам Варшавы... И голову даю наотрез — все скоро успокоится... Ваше высочество?!

Молчит, думает Константин. И глухо заговорил:

— Нет!.. Они затеяли... Поляки против своих же идут... Власть — у поляков в руках... Это ихняя, домашняя «клутня»... Пусть сами между собою и тушат свою свару... Мне сейчас донесли: по городу бегают мерзавцы и кричат, что «москали режут поляков!» Если мы начнем действовать, значит — оправдаем клевету... Не надо... Подождем...

Авось? Знаете поговорочку: «Бог не выдаст... поляк не съест!»

— Тогда... ваше высочество, я не знаю, могу ли я?..

— Что такое, говорите...

— Тут мы сгрудились одною кучей... Если, в самом деле, войска польские, хотя бы частью — на стороне мятежа?.. Надо оберегать себя...

— Да, да, вы правы... Это можно... Поручаю это вам...

— Слушаю, ваше высочество...

Подозвал адъютанта Курнатовский, отдал приказание...

Выступают молодцеватые егеря... пешие, конные... Развертываются широким строем за воротами дворца, движутся по темным аллеям уяздовским...

Вот и огни городских домов... Конные патрули егерей заняли оборонительную линию, подвигаются вперед.

— Стой, кто идет? — раздается оклик пикета, уже выставленного начальниками бунтующих отрядов по всей линии от Польского банка до Крулевского замка.

— Конный егерский патруль... А вы кто?

— Пикет четвертого полка. Стой! Будем стрелять...

Остановились братья-враги... Стоят пикеты повстанцев против высланных цесаревичем патрулей... Не трогают друг друга, только зорко следят одни за другими... Так — до самого утра...

А там, на дворе Бельведера — все собираются войска...

Бивуаком стали отряды в парке, у ворот, везде...

Колзаков вернулся от княгини, из темного дворца. Печальный, расстроенный...

Бледная, с дрожащими губами, с воспаленными глазами сидела Лович в полуосвещенной зале. Фрейлина Малаховская, еще две дамы были с нею, молчали, плакали тихо порою и снова затихали.

— Я не оставляю Константина, — твердо ответила княгиня, выслушав Колзакова.

Напрасно упрашивал, умолял он ее, говорил, что такова воля самого князя.

— Господняя воля — выше! А Бог не велит мне покидать мужа в такую минуту... Я, увь, — полька... Мне опасность не грозит нигде... Но я — не оставляю мужа, так и скажите ему...

Выслушал ответ жены цесаревич и в первый раз сегодня дрогнуло что-то в его застывшем, окаменевшем лице. Слезы сверкали в усталых, покрасневших от ночной непогоды глазах.

— Пусть остается... и — Господь да сохранит ее!..

— Ваше высочество, но я полагаю, что ни вам, ни ее светлости, никому здесь оставаться не следует... Особенно — теперь. Немало войска уже набралось. Подойдут и остальные полки... Надо ли ждать нападения мятежников среди этого парка, где вашей лихой кавалерии и развернуться нельзя?.. Деревья, рвы, буераки... Лучше — двинуться к Мокотову. Там можно найти приют на эту ночь у тестя моего, вашего верного друга и слуги...

— У Миттона? Ты прав... ты прав!.. Мокотово — это хорошо!.. Как думаете, господа? — обратился он к генералам, которые слышали весь разговор.

— Так точно, ваше высочество!.. В Вержбне — там хоть есть, где разойтись. И на Мокотовском поле. Туда лучше всего двинуть войска... Особенно — кавалерию... А пехота — может остаться, прикрывать наш тыл, на всякий случай.

— Да, да, вы правы. Это хорошо. Генерал Даннеберг, вы господа, велите кавалерии выступать... Колзаков, а как мы повезем княгиню?

— Я распорядился на всякий случай, ваше высочество. Карета готова... Кое-что собрано... Завтра днем вернемся сюда... или пришьем за остальным...

— Спасибо. Ты обо всем подумал... позаботился обо всем... Спасибо!.. Ну, зови бедную княгиню... Поедем...

Выступают отряды. Уланские кивера и пики — впереди. Потом — карета Лович, кроме которой сидят еще там три спутницы княгини. За каретой — верхом Константин и его генералы. Тут же и Колзаков.

Кирасиры, тяжелые, как влитые на своих темных конях, — позади.

Ради Лович — медленно движется отряд за отрядом по ночной скользкой, обледенелой дороге.

Молчит цесаревич. Тихо беседуют между собою генералы, делятся печальными переживаниями этой страшной ночи.

— Понимаете, — говорит Марков, лихой еще улан, несмотря на свои года, — словно чуял наш Жандр нынче что-то недоброе?! Собрались все к обеду у меня нынче: вот, Димитрий Димитриевич... Энгельман, Есаков старший, Кривцов... Бутурлин, полковник Нащекин, брат мой. Наконец — ввалился и Жандр. А за ним — двенадцать чехов-братушек, целый оркестр. Мы сели за стол. Они за дудки свои взялись... И такое печальное все тянут, просто

душу вымотали. А Жандра — узнать нельзя. Куда веселье его девалось, шуточки, прибауточки?.. Как на похоронах сидит. А потом и говорит мне: «Ну их к черту! И без того — тоска. А они душу надрывают. Вышли им, Марков, рублей пятнадцать и отправь домой!» Пообедали мы. В карты хотели, как всегда, засесть. Да нет карт под рукою. Разошлись гости... И он... Грустный-грустный... А затем прискакал я в казармы, когда перестрелка началась... Вижу — мой полк в седле. Человек тридцать при нападении внезапно убито либо ранено... Лошади покалечены... И напала-то горсточка негодяев, как я соображаю. Да ночью, так нагло нахрапом, неожиданно-негаданно!.. и растерялись мои люди... Привел всех сюда... Слышу, Жандр убит!.. Печально...

— Да, жалко, — отозвался Колзаков. — Как меня Бог сохранил. От тебя, Марков, я в Брюллевский, к Данилову попал... Энгельман, Есаков со мною. Ну, за карты взялись... как всегда... Вдруг вызывают меня: «Вестовой спрашивает... Из дому послан»... Выхожу, мой болван Иван. Глупая рожа. И напуганная. Что такое? «В Аршаве ле-воруции, барыня вам приказали сказать». Не поверил сразу... Все-таки побежал домой. Рядом это с Брюллевским. Энгельман, Есаков — в одну коляску сели, к своим полкам помчались, на Прагу. Да говорят, их взяли в плен мятежники... А я переждал, пока мимо нашего дома «чвартаки» — мерзавцы, бунтари прошли. Собрался с духом, оставил жену в слезах, детей в испуге — и сюда... Что здесь Бог даст?..

— Посмотрим...

— Может быть, обойдется... Сами поляки многие возмущаются этим бунтом. За голову хватаются. Так и вопят: «Бедная наша Польша. Сколько невинных жертв!.. Сколько крови прольется теперь задаром опять?»

— Да, да!.. — со вздохом отозвались голоса. — И как будто знали, злодеи! Захватили нас врасплох. Кто — в театре, кто — в гостях... Солдаты одни — растерялись...

Медленно движется отряд за отрядом. От Бельведера до Мокотовской заставы — с полверсты. Да до Вержбны около трех верст.

Темнеет широкое шоссе, оттаявшее сначала, обледенелое теперь...

Налево — несколько жалких домишек. Справа — узкая дорога к усадьбе Миттонов. Но туда далеко. Константин отдал приказ войскам стать бивуаком на соседнем Моко-

товском поле, а сам — остановил карету у шоссе, где на распутье двух дорог белеют низенькие строения небольшой фермы, тоже принадлежащей Миттону. Только живет здесь с семьей и рабочими француз-сыровар мосье Шанель.

Услыша стук, раздраженный, с ворчаньем поднимается старик.

— Черт подери!.. Кто там ломится в полночь?

Не чувствует он, какие гости стоят у дверей, после того как в зимнюю ненастную ночь, под ледяным дождем брели они из опустелого дворца... Брели, томимые тоской и страхом, испытывая отчаяние, жгучие уколы самолюбия, боязнь за близких, которые остались там, в этом городе, полном мятежа...

С ворчаньем раскрыл дверь Шанель — и онемел от страха, узнав, кто поздние его гости!..

Сразу обе комнатки, все жилище сыровара, наполнилось жизнью, людьми. Живо согрелся самовар... Пылает камин. Горячес что-то в кастрюле, на сковородках дымится на столе. Две сальные свечи сиротливо озаряют покой.

Дрожит княгиня и от холода, и от нервного потрясения, даже на постели старухи Шанель. Константин сидит тут же, держит, греет ее руки.

— Прости, прости мне, что я полька! — вдруг с рыданием, скользнув на пол, припав к коленям мужа, шепчет Лович.

Он вскочил, смущенный, поднимает жену, ласкает, говорит:

— Успокойся, милая. Ты же не виновата!.. Да, знаешь, я думаю: это были подосланные из-за границы немцы, венгерцы, французы... Только не поляки. Поляки не могли бы искать моей смерти... Успокойся... усни...

Тесно в домике; свиту отослал Константин в большой дом Миттона, подальше. Там удобно, тепло... А сам остался поближе к полю, где горят костры, где раскинулись бивуаком уланы, кирасиры; лежат на шинелях, на земле или борются, чтобы согреть себя в эту ненастную печальную ночь...

И к усадьбе Миттона до утра подъезжают коляски, кареты, наемные экипажи: женщины, дети в слезах, спасаясь от ужасов революции; жены русских офицеров, чиновников с челядью своею заполнили все уголки дома, кухни, кладовые; даже в экипажах и каретах спят те, кому не хватило места под кровлей гостеприимной Вержбны...

До утра никто глаз не сомкнул в этом углу, где сразу сбежалось так много людей, скипелось столько горя человеческого.

А ветер равнодушно пролетает над кровлями Вержбны, летит дальше, в город, еще не успокоившийся, несмотря на поздний час ненастной зимней ночи... Все замечает ветер, что творится людьми в эту безумную ночь.

Отряд коноводов всему делу, подхорунжих под командой Высоцкого и Заливского, — еще по пути из Бельведера в город, в Уяздовских аллеях и на Новом Свете видел шедшие ему навстречу пешие и конные отряды, которые спешили, очевидно, на помощь цесаревичу.

Только взаимными окликаками обменивались они с этими «неприятельскими» отрядами, спеша скорее к Арсеналу.

Когда Курнатовский, ведя только своих егерей в Лазенки, увидел, что около двухсот подпрапорщиков быстро подвигается с той стороны с оружием в руках, он сразу понял, что это — бунтовщики.

— Стой!.. Назад!.. Клади оружие! — крикнул им издали генерал, — не то буду стрелять...

Вместо ответа — подхорунжие скинулись плотнее... Грянули выстрелы с их стороны и молча, со штыками наперевес, ринулись они вперед, не давая опомниться генералу и его конным егерям. А пешие, те сочувственно глядели на подхорунжих, прорвавшихся к Варшаве.

Уже миновали линию конных егерей смельчаки, когда генерал приказал было повернуть коней... Но сейчас же остановил движение.

— Горсть их небольшая. Пускай бегут!.. Найдем еще голубчиков в свое время...

И отряд, как уже описано выше, прибыл в Бельведер.

А подхорунжие, пользуясь прикрытием темноты, целы ушли от редких выстрелов, которые все-таки пустили им вслед раздосадованные конные егеря.

Дойдя до Александровской площади, подхорунжие встретили графа Станислава Потоцкого, который верхом спешил в Бельведер. Некогда — магистр масонской ложи «Польского Востока», старик, военный генерал, в то же время занимавший одно время пост министра народного просвещения и духовных дел, Потоцкий, как слишком «либеральный» человек, был отставлен и замещен крайним реакционером, графом Грабовским.

Высоцкий едва узнал графа, словно осененный какою-то счастливою мыслью, остановил свой отряд, преградив дорогу всаднику.

— Два слова, ваше сиятельство!..

— К вашим услугам, пан подхорунжий... как по фамилии?..

— Это вам все равно. Я один из главных вождей переворота, который отдал этой ночью Варшаву полякам и свободу — нашему народу!.. У нас довольно людей, припасов, всего... Но нет вождей, доблестных, с доблестными именами. Генерал, хотите вписать свое имя на лучших страницах истории родного народа?.. Ведите нас на врага... к победе!.. Мы просим, генерал. Товарищи, не так ли? Генерал, будьте вождем народных сил...

— Просим, генерал!..

Внимательным взглядом окинул старый магнат горсть молодых людей и с едва уловимой иронией ответил:

— Благодарен за высокую честь!.. Но принять не могу!.. Извините, спешу по своим делам...

Пришпорил английского скакуна и скрылся в темноте...

— Ишь ты, «франтик»! — слышались возгласы в рядах. — Посмеешься потом ужю... Позднее!..

Дальше идет отряд. Коляска выезжает, кони несутся... Русские мундиры на двух генералах, которые там сидят.

— Стой... Кто едет...

— Генерал Есаков...

— Генерал Энгельман... дорогу... проходите, мы спешим!

— Вас-то нам и надо! Выходите из коляски, если не желаете, чтобы вынесли вас...

Сопротивление, конечно, невозможно. Сдаются оба генерала. Как пленники, под конвоем, молча идут с понуренною головой...

Перед костелом св. Креста — новая встреча: старый польский генерал Трембинский.

— Куда это вы, молодцы?.. Почему не в своих казармах, не на своем посту?

— Наш пост там, где можно отстоять славу и волю для отчизны. Генерал, мы вас просим почтительно и горячо: ведите нас дальше, будьте вождем нашим, защитником угнетенного родного народа...

— Дурачье! — вспыхнул, выбранился старик Трембинский. — Вот какой порядок в школе, которую мне вверил наш король-цесарь!.. Вы опозорили мои седые волосы... вы!.. Сложить оружие, мальчишки!.. Оборот налево!.. Арш по домам... к себе в классы, в карцер всех... негодяи!..

— Генерал, осторожней... Вы — наш начальник, но и мы уже не дети... знайте: цесаревича нет на свете... Варшава и вся Польша будет свободна. Так не тормозите дела... Лучше помогите ему...

— Вы еще смеете мне?!

— Да, видим, разговор напрасен!.. Позвольте вашу шпагу, генерал Трембинский: вы наш пленник...

Потянулась было старая рука к сабле не для того, чтобы отдать ее безусым ученикам той самой школы, где он — командир. Но его предупредили. Осторожно, быстро обезоружили. Рядом с двумя другими идет и третий пленник.

— Генералов у нас много, да все не наши! — шутят подхорунжие. Идут дальше.

Против дворца наместника, бывших палат Радзивилла, — военный министр, генерал Гауке, сопровождаемый полковником Филиппом Мецишевским, первый остановил отряд:

— Стой! Кто идет?.. Зачем вы здесь?! По какому праву ведете генералов как арестованных за собой?.. Ах, вы лайдаки, прохвосты!.. Бунтари!

Как бы желая усилить впечатление, полковник грозно окрикнул молодежь:

— Стой, смирно! Кладите оружие, бездельники! Кто первый двинется, голову прострелю!..

И расхраб्रившийся под влиянием трусости полковник уже навел свой пистолет на толпу.

— Что, что?! Нам он грозит, — порывисто делая движение к полковнику, грозно задал вопрос Высоцкий...

Мецишевский, испугавшись движения, дернул курок, загремел выстрел... Пробитая шляпа упала с головы одного подхорунжего.

Как голодные волки, кинулись на обоих десятки человек, размахивая штыками.

— Бей их!.. Коли предателей отчизны!..

Через миг оба, израненные штыками, лежали в снегу, а отряд повернул с площади на Козью улицу, ведущую от Краковского предместья к Сенаторской.

Окликнув проезжающую карету, узнав, что в ней российский чиновник Левицкий, они дали залп... Пролитая только что кровь словно опьянила этих людей.

От залпа пал не один Левицкий... Почтенный польский генерал, горячий патриот Юзеф Новицкий, шедший домой из театра, сражен был насмерть шальной пулей...

— Что вы делаете? Опомнитесь! — вдруг заговорил молчавший все время Трембицкий. — Звери вы или люди? Что вы делаете, изверги рода человеческого!.. Сколько жизней отняли вы, подлые убийцы, в несколько минут?.. И каких жизней!.. Никогда вам не сравниться с теми, кого так предательски вы убили!.. Вероломцы, вы нарушили присягу, данную королю своему... Вы нарушаете законы Господа Искупителя Нашего... Прокляты вы за это!..

— Молчите лучше, генерал, — глухо бросил ему Высоцкий, — я не ручаюсь за себя, за товарищей...

— Ты не ручаешься, Каин?.. Братоубийца... Вот моя старая грудь. Коли!.. А я плюю в твоё окаянное лицо!.. Проклинаю тебя и то, что вы затеяли, все!.. Проклинаю... плюю... плюю!.. — вне себя выкрикивал хрипло старик. — Вот, вот!.. Прок...

Удар штыка в открытую его же руками грудь не дал досказать проклятия... Еще, еще удары посыпались, должно быть, из жалости, чтобы скорее прикончить, чтобы не длить мучений прямого, отважного старика... Оба русских генерала только в ужасе закрыли руками лицо.

Вот и Арсенал.

Тут уже море народа, бурное, расхोлившееся море.

Несколько рот 4-го полка быстро явились сюда, едва около шести часов показалось пламя и дым от пожара, от зажженного в Новолицах Заливским небольшого деревянного домика...

Стражи, кроме обычных караулов, не было у Арсенала и через пять минут он оказался в руках восставших войск.

Боевые патроны были разобраны всеми солдатами... Заливский и его товарищи развозили их по улицам, раздавая отрядам польских войск, примкнувшим к восстанию...

Ружья, которых до 40 000 хранилось в арсенале, были розданы толпе молодежи, студентам, рабочим, мастеровым, каждому, кто заявил, что желает стать на защиту родины и свободы...

Генерал Игнатий Блюмсер, ополяченный немец, не мог перенести беспорядка, стал укорять солдат и был тут же убит.

Не успел Высоцкий со своим отрядом оглядеться и освоиться со всем, что происходит у Арсенала, как появился граф Потоцкий и генерал Сементовский. Оба начали они уговаривать солдат положить оружие. Кое-кто стал прислушиваться к голосу таких почтенных людей... Тогда не-

сколько подхорунжих, перешепнувшись между собою, подошли к обоим... и через минуту еще два трупа увеличили кровавый общий счет этой ужасной ночи...

В это же время толпа военных и городской молодежи, стоящая на Саксонской площади, слышала громкий крик:

— Братья! А их забыли? Выручайте мучеников скорее! Туда, идем туда, где томятся наши лучшие бойцы!

Мохнацкий, махая саблей, с растрепанными густыми волосами, со взъерошенной бородой — указывал на Брюллевский дворец, в подвалах которого сидело много политических узников. Через полчаса все они были на свободе. Затем — толпа кинулась к упраздненному францисканскому монастырю, тоже служившему теперь политической тюрьмой. Залпы сперва загревели так, на воздух, но когда стража не сдалась, пули начали пронизывать дубовые ворота, попадали в окна. Стекла дробились с жалобным звоном. Очень скоро эта «Варшавская Бастилия» была в руках у народа.

В других местах тоже гревели выстрелы, лилась кровь.

Патрули и целые отряды конных егерей, еще не отошедшие к Бельведеру, почти до рассвета вступали в перестрелку с войсками, поднявшими народное польское знамя: с саперами, с пехотинцами — «Чвартаками».

Видя шайки молодежи невоенной, обвешанной оружием с ног до головы, конные патрули требовали разоружения... Но явились руководители — подхорунжие, отряды вооруженной молодежи незаметно обошли, обступили конных егерей, началась перестрелка и егеря вынуждены были отступить к бельведерскому парку, сосдиниться со всеми другими отрядами, стоящими там.

К утру, часам к четырем — стихла перестрелка, стали расходиться толпы горожан. Только войска той и другой стороны бивуаками расположились на площадях... Пылали костры, фыркали кони... Занимался день 18 (30) ноября.

Пока вооружалась Варшава и на улицах ее братоубийственная, дикая резня грязнила камни человеческой кровью, — в два часа ночи собрался Административный Совет для обсуждения грозных событий, происходящих там, на улицах, на площадях...

Граф Адам Чарторыйский, министр внутренних дел, Мостовский, государственный секретарь, граф Соболянский и князь Любецкий, без Новосильцева, без Гауке, не дожи-

даясь министров юстиции и народного просвещения, которые не решились выйти из дома в эту ночь, — сошлись в обширном здании Польского банка, перед которым на площади стоял сильный отряд польских гренадеров под командой майора Живульта, служа порукой личной безопасности членов Совета.

Вести, одна печальней другой, приходили сюда: смертельно ранен из ружья граф Станислав Потоцкий, который пытался успокоить возмущенные толпы обывателей и бунтующих солдат. Старый воин, сподвижник Косцюшки и Понятовского, друг своего народа, пал от польской руки... Пали: Гауке, Мецищевский; генералы польские Мрозинский, Сементковский, Новицкий, Трембинский, Блюммер... Арестованы русские генералы Рихтер, Кривцов, Дьяков, Нессельроде, Есаков и Энгельман; адъютанты цесаревича, высланные им на разведки, Грессер, Турно, Гогель и Бутурлин... Убит Засс, ненавидимый, как начальник тайной полиции. Арестованы польские генералы Бонтан и Родель. Польские офицеры почти все примкнули к мятежу, сняли со шляп плюмажи, надели белые кокарды польские и мешаются с толпой. Арсенал — разграблен. Народ вооружается. Войска бунтуют все заодно...

— Что же это будет? — ломая в отчаянии руки, спросил слабовсврный Мостовский. — Настоящий мятеж!.. Если цесаревич не уступит?! Если круль не пойдет на уступки — вспышку так скоро мы не уйдем..:

— Вспышку? Как вы осторожно выражаетесь, граф. Пока народ не получит своего, он не утихнет! — замечает ему холодно князь Любецкий.

— Но круль никогда не даст полной конституции, не соединит с Польшй Волини и Литвы... Что же это будет?! Что будет?!

— Не трудно угадать... Пока, ввиду широкого народного восстания, русским придется покинуть Варшаву... Через месяц — Россия объявит нам войну... А конец — угадать не трудно... Гибель всех наших надежд, еще горшая неволя, чем та, которую выносили до этой ночи.

— Боже мой... Боже мой... Что же делать?.. Что нам делать?!

— Теперь — ждать... стараться сохранить спокойствие в царстве... Обсудим положение хорошенько и спокойно. А вот, кстати, и еще товарищи явились! — увидя Грабовского и Вавжецкого, сказал Любецкий.

Часа через два было составлено воззвание к жителям Варшавы и к войскам. Оно гласило, между прочим, так:

«Граждане Варшавы. Административный Совет его королевского и цесарского величества Николая I призывает к миру и порядку всех честных, верных долгу людей. Сожалея о случившихся беспорядках минувшей ночи, Совет увещевает народ польский успокоиться, тем более, что русский отряд весь отступил от Варшавы. Совет надеется, что зачинщики мятежа не захотят предать целую страну — ужасам междоусобной войны... и сами отступятся от своего несбыточного предприятия».

— Не слишком ли розовую надежду решил высказать Совет? — спокойно спросил молчащий все время Чарторыйский.

Только взглянули на него остальные члены совещания и не сказали ничего. Они все почти наверное знали, что революция — на добрую половину — дело рук графа и его партии. Но что можно было сказать?

Немедленно воззвание было отдано для тиснения в десятках тысяч экземпляров, а первая копия — была нарочным послана цесаревичу в Вержбну...

— Если его поскорей не успокоить, — заметил Любецкий, — он устроит неожиданно какую-нибудь штуку... К утру — тысяч двенадцать преданного ему войска соберется на Мокотовском поле... Что сделает Варшава, что мы можем противопоставить, если эта лавина кинется на город?!

— Он не кинет ее на нас, — снова спокойно заметил Чарторыйский. — Я тридцать лет знаю этого человека.

Он не ошибся, умный граф, хотя и не знал, что генерал Герштенцвейг, подоспевший из Гуры с артиллерией, предлагал Константину именно в ту самую минуту, когда печаталось воззвание Совета. Герштенцвейг сказал:

— Ваше высочество, дайте приказ!.. Я с моей батареей, с полком конницы, без пехоты даже пройду по улицам — и через четыре часа усмирю всю эту сволочь. Успокою Варшаву. Вы вернетесь к себе без всяких помех... Ваше высочество!

— И слышать не хочу, — был резкий ответ. — Это ихняя, польская «клутня», сами пусть и усмиряют бунтарей. И не смеют говорить, что москали «режут» поляков... Не смеют!.. Свиньи!

Доставленное ему воззвание Совета очень порадовало и значительно успокоило цесаревича.

— Видите, там есть еще честные, умные люди!.. Все образуется... Увидите!.. — сказал он своим генералам.

Между тем на Мокотовском поле стали бивуаком два полка: Волинский и Литовский, которые, избегая стычек с повстанцами, явились из своих далеких казарм на Праге обходом, вокруг всей Варшавы... Подошла артиллерия, стоящая в Блоне, войска из Скерневиц и до 7000 человек составляли теперь армию цесаревича. Но он и не думал принимать решительных шагов...

— Нерешительный сурок, каким был всегда! — в гневе на такую медлительность отозвался о Константине Феншо...

Особенно обрадовался цесаревич, когда появился в Вержбе его бывший адъютант князь Владислав Замойский.

Угрюмое, мертвенно-бледное от усталости и душевной муки лицо Константина оживилось.

Несмотря на все волнения и бессонную ночь, Замойский был элегантен, свеж, надушен, как всегда. Новости посыпались у словоохотливого князя, как из мешка.

— Я знаю, ваше высочество, вы посылали ночью и теперь, утром, столько людей, чтобы узнать кос-что об этой... гадости... И вот по старой службе, из преданности мой к вам рискнул... прискакал... Что там делается — уму непостижимо! Люди потеряли свой последний рассудок. Почти все польские войска приняли сторону мятежников... Из ближних городов есть уже депутации... Очевидно, их предупредили о дне переворота... Что ночью делалось, подумать страшно!.. И смешно в то же самое время. Например, словно сейчас вижу: скачет какой-то плюгавый подпоручик, усы, как у таракана... Мозгляк! Пигалица с пуговицей! Обращается к толпе, так напыщенно громко объявляет: «Панове, все идет прекрасно! Только что я видел генерала Хлопицкого, уговорил героя... Он принимает главное начальство над польской армией... Революция — у своей цели. Переворот, который вы переживаете теперь, дело моих рук. Я все задумал, устроил для освобождения родины. Зовут меня — Заливский!!!» Поклонился фертиком — и дальше. Другой толпе стал говорить то же...

— Хлопицкий... согласился?! Может ли быть?! Хлопицкий? Мой Хлопицкий?

— Увы, ваше высочество!.. И даже с условием: быть диктатором. Иначе, он говорит, нельзя будет остановить взрывов полной анархии, как сегодня ночью, когда тем-

ные элементы, подонки столицы грабили мирных граждан... Конечно, это следует прекратить. Но надо сознаться, сила революции растет... Восстание ширится... Дело серьезней, чем все ждали... Национальные гвардейцы с кусками бумаги на шапках, где написано их звание, уже заняли все караулы в городе. Заменяют полицию. А начальником у них газетный писака Бронниковский. По городу ходят слухи, что Австрия готова помочь Польше... Что 100 000 французов идут к берегам Рейна, а после поражения пруссаков явятся нам на... то есть на помощь повстанцам. И будто бы в Петербурге тоже вспыхнул новый бунт. Гвардия восстала и так далее. Это поднимает настроение в здешней войске и в народе. Все вооружились. Без пистолета, без сабли — никого не видно, начиная от десятилетних мальчишек... Ксендзы с саблями в руках идут впереди отрядов... Тут и банда потерянных женщин!.. Чахоточный литератор Мохнацкий... есть такой... тоже с саблей бегаёт по улице, призывает к оружию... к защите свободы... Тюрьма разбита, преступники — на воле. Открыты и Брюлевские камеры. Лавки закрыты... Всюду сходки. Лелевель, князь Островский и другие не отстают от черни! Словом, дело плохо, ваше высочество.

— Свинство! Какое свинство!

— А что вы думаете теперь делать? Как хотите действовать? — осторожно задал вопрос Замойский, собственно для этого и приехавший по поручению Административного Совета.

— Не знаю... Еще погляжу... Да что тут можно сделать?!

— Ничего нельзя! — поспешно согласился князь. — Самое лучшее — пока отступить в более удобное место... и так, чтобы не могли отрезать вашим отрядам пути на Брест. Ведь ваше высочество хорошо знает: сейчас в Варшаве и окрестностях под ружьем до... 28 000 человек при ста орудиях.

— Я знаю хорошо счет польской армии, — отчеканил Константин.

— Вот видите, ваше высочество! Если армия вся примет сторону восстания? А этого теперь можно опасаться...

— Быть не может! Не может быть! — почти со стоном вырвалось у цесаревича, создателя этой армии, которая теперь готова поднять оружие против своего творца.

— Верьте, ваше высочество, я говорю на основании фактов. Депутации прибывают отовсюду... Сношения у вожakov мятежа были со всеми и давно...

— Какое свинство! — только и сказал Константин.

— Ваше высочество, — вкрадчиво заговорил Замоиский, видя, что момент благоприятен, — положение тяжелое... Как назло, после вчерашней оттепели — ударил мороз.

— Да. Десять градусов. Мои молодцы-солдатики, дети мои — все мерзнут под открытым небом, на Мокотовских полях.

— Я видел, проезжая, ваше высочество... Говорят, и провианту нет... Ночью, будто, разграблена мародерами большая ферма пани Вонсовичовой... Она в дружбе с Хлопицким и в городе уже говорят об этом.

— Знаю! — понурясь проговорил Константин. — Бездельники найдены... Их судят полевым судом... и...

— Смерть? Неужели?!

— Нет, дам пощажу... Но пусть постоят под прицелом. Это будет служить острасткой для других. Что же вы хотели сказать?

— Вот и думается, не двинуться ли вам, ваше высочество, еще подальше от Варшавы... Куда-нибудь по Брестской дороге...

— Вы правы... я уж думал и сам... Если дело так серьезно?..

— Очень серьезно, ваше высочество!..

— Но, значит, можно ждать нападения и здесь, и на пути? Братоубийство... кровь... резня... Отвратительно!

— Нет, ваше высочество... Если вы позволите... Я поговорю с Советом, с вождями восстания, с Хлопицким. Он — порядочный человек и предан вам лично, ваше высочество. Я уверен, ни вас, ни российские войска никто беспокоить не посмеет.

— Что же, поезжайте, узнайте, — после долгого раздумья согласился Константин.

Являсь в Совет, ловкий, миролюбивый князь министрам и Хлопицкому, Лелевелю, уже попавшему в члены Совета, и другим, так ярко и преувеличенно описал то, что видел в Вержбне, как сумел напугать русских силой восстания, еще очень непрочного и слабого на самом деле.

— Знаете, панове, не надо дразнить раненного льва... Там — около десяти тысяч солдат собралось у цесаревича. Все негодуют, рвутся в бой. Патронов, пушечных зарядов,

я сам видел, хоть отбавляй... Но, может быть, если вы поручитесь за спокойное отступление им всем на Брест, если освободите пленных генералов в обмен на тех, кто попал в руки отрядам Константина?.. Тогда, может быть, играя на отвращении князя от пролития родной крови... Может быть, удастся что-нибудь?

— Поезжайте... уговорите!.. Мы ручаемся... Даем наше слово: волос не падет с головы ни у кого!

Замойский поехал...

В это время другая сцена разыгралась в Вержбне.

К полудню явился туда генерал Шембек и пожелал видеть цесаревича.

Встреча вышла трогательная. Троекратные объятия, поцелуи — все было при этой встрече двух старых «сослуживцев».

— Едва мог добраться до вашего высочества, — с чувством уверяет хитрый ополченный немец, уже все вызнавший в Варшаве и прискакавший сюда выведать еще, насколько сильны шансы цесаревича.

Русий глаз генерала сразу оценил положение. После первых теплых фраз он заторопился:

— Ваше высочество, что за охота сидеть в этой норе, мерзнуть, голодать... Доверьтесь мне... Вы знаете мою любовь и преданность вашему высочеству... Я все дело поправлю... Это же просто недоразумение. Разве могут восстать польские полки против своего цесаревича? Никогда!

— И я так думал, Шембек...

— А старый Шембек вам докажет, что вы не ошибались... Еду, все дело поправлю... Через два часа — приведу вам всю дивизию!

— Ты шутишь?!

— Через два часа узнаете, как я шучу!.. Как умсет шутить ваш старый верный Шембек... Увидите!.. Еду... устрою!.. Только — полная амнистия.

— Конечно. Я готов все забыть... И брату Николаю напишу: милость всем...

Снова объятия... поцелуи... Уехал генерал.

У Мокотовской заставы стоят на посту роты тех же пехотных егерей, которых против воли увлек генерал Курнатовский оберегать отступление цесаревича. Знает об этом уже Шембек.

— Что здесь стоите, стрелочки?.. Холодно, скучно, небось?

— Так есть, ваше превосходительство...

— Ну, так слушай команды... До Варшавы шагом — аррш!..

Заломил лихо свой кивер набекрень, едет во главе егерей и громко запел:

«Еще Польша не гинела».

Дружно подхватили егеря заветный напев...

Константин узнал, как умеет шутить старый Шембек в рядах нового польского правительства...

Между тем старания Замойского быстро увенчались успехом.

2 декабря нового стиля от имени временного правительства явилась к цесаревичу целая депутация, облеченная большими полномочиями.

В старомодной четырехместной карете, запряженной парой наемных лошадей, приехали графы Адам Чарторыйский, Островский, князь Любецкой и профессор Лелевель.

Константин принял послов Совета в доме Митона, в большом светлом покос. Княгиня сидела тут же рядом с мужем, очевидно, опасаясь за самый ход переговоров и за их исход. Характер Константина оправдывал эти опасения.

Но все пошло гладко с самого начала, как благодаря такту Любецкого, который говорил больше всех, так и решению Константина сохранить самообладание в такую важную минуту.

— Прежде всего хотелось бы выяснить общее положение дел, определить взаимоотношения между отечеством вашего высочества и Польшей. Чем бы ни кончился настоящий взрыв народного восстания, к прежнему возврата нет и быть не может! Польская корона может и должна быть связана с российской империей в лице государя, брата вашего высочества, только при условии, если восстановлена будет конституция, дарованная императором Александром, без всяких добавлений и ограничений... Затем согласно торжественным обещаниям, хорошо известным и вашему высочеству, мы ждем присоединения к царству областей, раньше принадлежавших польской короне. Наконец, чтобы мир был искренним и прочным, — конечно, необходимо знать, что государь объявит полную, безусловную амнистию всем участникам восстания.

— Дальше?

— Это — главное, ваше высочество. Каково ваше мнение о наших условиях?

— Я верю, что вы говорите со мной откровенно, и отвечу прямо: если это может привести к миру ваш край и восстановить прежние добрые отношения, то во мне вы видите вашего первого ходатая перед государем. Скажу больше: и о милости, и о слиянии областей уже не раз я писал и говорил брату... Ну, а что касается конституции? Конечно, я лично могу смотреть так или иначе. Но думаю, что дано, того не следует отнимать обратно... Закон, изданный раз, всегда закон и нарушения сго недопустимы ни для кого... даже — для верховного повелителя страны!

— Слова вашего высочества дают нам добрую надежду... и я теперь же хотел бы коснуться другого важного вопроса, касающегося лично вашего высочества... Если бы ваше высочество пожелали вернуться в Варшаву и, до решения его величества, по-прежнему принять начальство над польской армией с титулом... диктатора, вождя народных сил... и...

— Простите, я перебыю вас, князь, это невозможно... Успокойся, мой друг, — обратился он тут же к Лович, которая готова была вмешаться в разговор, — я понимаю, тебе, как и мне, странно слышать подобное предложение. Я никогда не возьму на себя роли... принца Оранского. Был и останусь первым слугою и верноподданным моего брата-государя. То, что касается моей личной обиды, я забыл... Хотя польский народ нанес мне тяжкую обиду в моем доме... Я все-таки люблю вашу родину. Жил с вами столько лет, женат на польке. Говорю на вашем языке так, что порою затрудняюсь выражаться по-русски. Я, так мне сдается, лучший поляк, чем любой из природных шляхтичей... Но то, что вы говорите, немыслимо! Без всяких условий — я еще могу вернуться, если мне гарантируют безопасность личную и моих войск... А иначе...

— Это невозможно, ваше высочество... Вам тогда придется покинуть пределы страны.

— Да?.. Я сам так полагаю! Но... есть еще вопрос. В арсенале хранилось военное имущество, принадлежащее русской казне... Оно разграблено. И, вообще, так печально, что эти дни омрачены злодействами, пролитием крови... Не пожелает ли ваше правительство снять с себя

хотя обвинение в грабеже перед лицом потомства? Я тогда охотнее стану хлопотать перед братом о помиловании виновных...

Резко поднялся с места граф Островский и, покрывая голову конфедераткой, которая была у него до этих пор в руках, произнес:

— Между нами нет виновных...

— Мы не просим о помиловании, — поддержал и Лелевель.

— Князь!.. Пан профессор! — вдруг послышался громкий голос Лович. Теперь она держала руку мужа, готового вспыхнуть от такой дерзости. — Не забывайте, что вы у нас в гостях... и что здесь сидит женщина...

— Простите, ваша светлость! — краснея от сознания своей неловкости, пробормотал Островский. — Я не думал...

Лелевель тоже невнятно что-то проговорил.

— Ну, хорошо. К делу. Общие вопросы выяснены. Перейдем к моему выступлению из царства... Можете ли вы мне поручиться, что мой отряд спокойно дойдет до границы? Я, со своей стороны, освобожу от службы мне те польские войска, которые еще не предали, не покинули своего старого знамени.

— Тут могут быть два мнения, ваше высочество, — заговорил Лелевель. — И если вы позволите мне с точки зрения права и исторической нау...

— Не слушайте его!.. Это — ваш предатель, — вдруг вся бледнея, воскликнула Лович, которой уже сообщили, что покушение на цесаревича было совершено по мысли Лелевеля.

— Ничего. Послушаем... Говорите, господин профессор.

Когда Лелевель кончил свою импровизированную лекцию о правах народов и государей, Константин также холодно и сухо заметил:

— Все это было хорошо, пока дело не разошлось с вашими красивыми словами. Добывая свободу, вы пустили в ход дикую силу, убивали, как звери, невинных людей... Этого я забыть не могу... Перейдем к моему выступлению из Польши...

Через часа полтора были выработаны следующие условия:

Его высочество объявляет: 1) что не имеет намерения атаковать город войсками, находящимися под его начальством; 2) что принимает на себя ходатайство перед пре-

столом его величества императора и короля о милосердном забвении всего прошлого, о возобновлении законных гарантий конституции, данной императором Александром, и о присоединении к Польше старых ее областей; 3) объявляет, что не давал литовскому корпусу повеления вступить в Царство Польское; 4) пленные взаимно будут освобождены.

Любецкий тут же от имени главнокомандующего Хлопицкого заявил, что тот обязуется честным словом не тревожить войск его высочества до самой границы России.

Пока обсуждали и писали это соглашение, Колзаков, проверявший расставленные караулы, подошел к карете и обратился к вознице с вопросом:

— Эй, ты, красавец, что это за узелок около тебя на козлах?

— А, панночку, это же кокарды наши польские, белые. Как только ваш цесаревич скажет, что хочет быть у нас крулем, мы ему дадим кокарду и всем панам тут... и жолнерам... Так-то, панночку...

— Глупы же вы, поляки, — качая головой, заметил Колзаков и вошел в дом...

Сейчас же после соглашения цесаревич подписал следующий приказ по войскам:

«Позволяю польским войскам, до сего времени остававшимся мне верными, присоединиться к своим.

Я выступаю с императорскими войсками и удаляюсь от столицы.

Я надеюсь на великодушие польской нации и уверен, что мои войска не будут во время их движения тревожимы. Я вверяю покровительству нации охранение зданий, собственность разных лиц и жизнь особ. Константин».

Эту бумагу увезли с собою депутаты, почти полдня пробывшие у князя, и передали ее временному правительству.

Свободно вздохнула вся Варшава, когда узнала, что ей не грозит нападение российских батальонов.

В пятницу 3 декабря по новому стилю, в 10 часов утра началось выступление войск цесаревича по направлению к Гуре и Пулавам. Налегке выступил с ними Константин и княгиня Лович, ничего не успев даже взять из тихого Бельведера, где уже стояла стража от Народ-

ного Правления. Два дня спустя на Марсовом поле собралась вся польская армия, свыше 30 000 человек с артиллерией и конницей.

В блестящем мундире, окруженный всем штабом, явился Хлопицкий, словно переродившийся, помолодевший, выросший в эту минуту.

Громким своим металлическим голосом, слышным во всех концах обширного поля, он заговорил, обращаясь столько же к рядам своей армии, сколько и к тысячам зрителей, окружающих блестящий парад:

— В этот час, когда наше отчаянное положение требует от каждого из нас величайшего напряжения сил и поспешности в делах, в этот час, когда малейшая задержка могла бы стать гибельной для блага отчизны, не из честолюбия или гордости, — это слишком все чуждо и далеко от меня, не ради властолюбия — только следуя примеру римлян, которые в часы опасности для родины избирали неограниченного ничем вождя, я теперь вам, поляки, и вам, отважное польское воинство, объявляю: на короткое лишь время, до собрания очередного сейма, — беру я на себя звание и власть диктатора страны и сложу свои полномочия в руки сейма, в первый день его открытия. Верьте мне, родные люди, народ польский, эту власть употребляю только на ваше общее благо.

Громкими кликами покрыта была эта короткая, простая, безыскусственная речь.

Конечно, благо Польши, как оказалось потом, Хлопицкий понимал иначе, чем все, окружающие его. Но он говорил то, что думал, что чувствовал сейчас, и толпа была захвачена силою его короткой искренней речи.

Сейчас же затем Хлопицкий обратился к «героям дня», подхорунжим, поздравив их с повышением в следующий чин и назначив в новые батальоны. Таким образом — и наградил юношей, и уничтожил опасную организацию.

Порядок быстро восстановился в Варшаве. Открылись магазины. Иллюминация чуть ли не каждый вечер озаряла узорами огней осеннюю темноту широких площадей и излучистых улиц города. Отряды войск, сверкая оружием, в красивых мундирах, в белых лосинах и гамашах, щеголеватые, подтянутые, как на параде, двигались по улицам, стояли на площадях, братаясь с национальной гвардией и горожанами.

Почти в день своего назначения диктатором Хлопицкий имел долгое совещание с князем Любецким и графом Езер-

ским, которые отправлялись в Петербург, как делегаты нового польского правительства, чтобы изложить подробно «цесарю-крулю» Николаю суть событий, происходящих в Варшаве, сказать, что ждет Польша и ее временное правительство.

В совещании принимал участие и новый министр иностранных дел граф Малаховский. Сам Хлопицкий просил князя передать Николаю его письмо, в котором прямо объявлял, что принял власть лишь для сохранения порядка и всегда готов сдать ее настоящему повелителю, польскому королю, императору российскому.

На это послание диктатор очень скоро получил очень любезный ответ.

Полковник Вылежинский прискакал из Петербурга с двумя письмами статс-секретаря по польским делам Новосильцева, уже успевшего добраться до русской столицы. Письма были адресованы на имя графа Соболевского как председателя совета министров и Хлопицкого — диктатора. В последнем — от имени Николая — высказывалась особая благодарность Хлопицкому за его добрые чувства, выражалась уверенность, что край, особенно — Варшава очень скоро должны образумиться и изъявить прежнюю покорность, если не хотят видеть русские войска на улицах и площадях разгромленной Варшавы.

Что касается восстановления конституции и гарантий, данных еще Александром, об этом может быть речь только в сейме, собранном законным путем, а не теперь, когда и столица, и все королевство — в брожении.

Прочитав свое письмо, задумался Хлопицкий. Он лично, конечно, не нарушал ничем добрых отношений с Петербургом. Даже, согласно данным ему полномочиям, назначая новое министерство, он призвал к делу лишь нескольких новых лиц, придав им звание и с п р а в л я ю щ и х обязанности министра.

— Министров назначать может лишь наш круль Николай, — объявил он при этом, — и я не хочу покушаться на право верховной власти...

Патриотический клуб, зорко следивший за каждым шагом «диктатора», был раздражен такой «хлопской» осторожностью.

Почти все газеты, которые дня два не выходили, пока не пришли с улицы наборщики, принимавшие очень горячее участие в уличных волнениях, — эти газеты единодушно заговорили новым, свободным, сильным языком,

какого не знали больше пятнадцати лет... Они разбудили общее сознание. Сейм, не ожидая почина со стороны диктатора, 18 (30) декабря сам возобновил свои заседания, причем первой его резолюцией было признание событий 29 ноября делом всенародного восстания. Это произошло немедленно, как только оглашены были условия, на которых Николай соглашался пойти на примирение: 1) все зачинщики восстания должны быть наказаны; 2) освобождение русских пленников; 3) разоружение народа, роспуск новых войск; 4) вся армия польская выступает в Плоцк и ждет там приказаний Николая.

Зашумел сейм, выслушав декрет. Рвутся ораторы на трибуну. Но Хлопицкий первым был на ней.

— Я рад, что так быстро кончается моя тяжелая обязанность. Согласно своему обещанию, в день первого заседания сейма — я слагаю с себя полномочия диктатора и звание полководца польской армии.

Подавленное молчание сначала послужило ответом на это решительное заявление прямого генерала.

Все понимали, что он обижен самовольным шагом гражданских вождей партии... Но и тут сумел с честью выйти из щекотливого положения.

Наконец заговорили сразу несколько человек: Лелевель, Островский, Чарторынский, Ян Ледуховский.

— Это невозможно... Грозит анархия... Не имеешь права, пан генерал!.. Теперь, когда родина на краю гибели?.. Бросать народное дело? Это...

Слово «измена», предательство — так и висели на устах, но сказать его никто не посмел. Только Островский, пользуясь мгновенным затишьем, заговорил примирительно, хотя и горячо.

— Чего не хватает пану диктатору? Пан диктатор пользуется доверием народа, нашим уважением, любовью... Даже враги чтут и ценят генерала Хлопицкого... Недавнее письмо цесаря — сильнейшее доказательство тому! — пустил легкую стрелу дипломат-граф. — Но народ желал бы...

— Народ может желать всего, что ему заблагорассудится. Это его право. Но я — одиночный человек, обязан держать свое слово: это — мой долг! Сейм собрался, и диктатор Хлопицкий слагает с себя власть. Диктатуры больше не существует. Сейм сам может выбрать вождей, найти меры для подавления беспорядков, анархии, если опасается возникновения этой гидры...

Молчат депутаты. Им ясно, что решение Хлопицкого — непреклонно. Но не менее ясно, что сейчас он только один может объединить вокруг себя все партии.

И у этих депутатов, у пылких, властолюбивых, слишком самолюбивых, до мелочности гордых, напыщенных, порою, сарматов, у шляхты, магнатов и первых вельмож короны и церкви хватило выдержки поступиться своими интересами, самолюбием, переломить свой характер ввиду грозного призрака «красного передела», социальной революции, подобной тому, что произошло во Франции, в Бельгии, в Италии... Этот призрак показался им страшнее власти Николая и штыков его армии.

— Пусть будет, как желает пан диктатор! — решили депутаты. — Заседания сейма снова прекращаются до времени, когда сам диктатор не признает их необходимость... или... пока родина не призовет избранников своих к работе...

— Как желают избранники народа, так пусть и будет! — любезно ответил Хлопицкий.

Лелевель попросил слова:

— Я должен дать объяснения, особенно теперь, после решения сейма. Другого решения и быть не могло, конечно... За месяц наш досточтимый герой, генерал-диктатор сделал то, чего трудно было бы иному добиться в долгие годы. Порядок в столице полный. Обыватели вкушают спокойствие и даже ликуют, как всегда, в настоящие праздничные дни... Театры, концерты, все общественные места — полны. Несутся громкие напевы. И не только патриотические гимны, песни свободы и славы звучат... Не только марш Косцюшко гремит, вызывая воинов на подвиги и славные дела... Нет, вальсы, мазурки, краковяки веселят варшавский люд, как будто ничего не грозит отчизне, как будто еще месяц назад не лилась на улицах кровь... А еще через два-три месяца не двинутся грозные полки северного властелина на нашу маленькую родину... Все это делается, конечно, столько же по природной живости и склонности нашего народа к веселью, сколько и от уверенности, что под сильной рукой диктатора, под его неусыпным оком, благодаря его заботам — мы можем спать спокойно.

Переглядываются многие, к чему клонит такую похвальную речь этот новый Антоний над трупом Цезаря — наизнанку.

Заметив, что все заинтересованы, оратор продолжал:

— Если высокое собрание не скучает, я буду продолжать. Можно? Благодарен. И так пока — благополучие полное. Даже грубые потребности жизни получили облегчение в своем осуществлении. Провизия так подешевела, как не помнят и сами старожилы наши. Пошлины городские уничтожены, рогатки сняты... За это варшавяне тоже благодарны пану диктатору... Армия наша увеличилась на десять тысяч человек, не считая двадцати новых пушек, сверх прежних ста... И она, эта армия, все растет... Народная гвардия прекрасно охраняет порядок в столице, где больше всего можно ожидать взрывов.

Не только студенты, чиновники, торговцы, ремесленники, даже наши евреи, до сих пор сидевшие по углам из боязни обиды с чьей-нибудь стороны, — даже они жертвуют на армию, на гвардию народную, сами записываются в ее ряды. Бреют свои бороды, стригут священные локоны... Дети несут свои игрушки, запасные грошики... Да что там говорить: наши славные польки, наши невесты, жены, матери, — мало того, что дали жизнь нам, воинам... Что воспитали нас, кормили своей грудью, живили своими ласками... Они, эти героини, хотят, готовы отдать саму жизнь за родину... Уже, как все высокие господа депутаты знают, уже формируются «полки Сарматок»; красивая форма такая: амарантовая юбка, белый плащ, конфедератка и два пистолета за поясом... Эти «амазонки» не только будут ходить за ранеными, собирать их на полях будущих битв... Они хотят вливать бодрость и смелость в сердца самых слабых... Они сами будут сражаться, если явится необходимость. Вот как поднял дух народа наш пан-диктатор.

Преувеличенные, двусмысленные похвалы сильно коробили Хлопицкого. Но остановить оратора он не решился. Слушая, кусал губы...

Сдерживая улыбки, слушали и другие, особенно недружелюбно настроенные относительно диктатора депутаты, вроде радикалов — Немоевских и всех представителей народно-республиканской партии.

Лелевель заговорил быстрее:

— Итак, под крылом нашего старого, вольного теперь, Белого Орла и нового, но богатого старой славой пана диктатора Хлопицкого — покой и свобода царства обеспечены. Никакой враг нам не страшен...

Эти слова были как бы эхом заявлений того же Хлопицкого, взявшего на себя полную ответственность за

участь целого народа. Только теперь, доведенные до абсурда в изложении Лелевеля, они показались хвастливыми и смешными, чего и желал оратор. Он вдруг переменяет тон и сильным, нервным звуком заговорил:

— А что будет, если пан диктатор, не дай Бог, захворает? Храни Боже, умрет? Он, конечно, еще молод... Но надо рассчитывать на худшее. Что будет, если друзья и почитатели пана диктатора в Петербурге, даже и ради этого героя, не пожелают щадить нашей бедной родины и двинут бесчисленные полки на Варшаву?.. Все может быть. Мы, видит Бог, ничего не имеем против русского народа... Вот его генералы и офицеры, жребием войны задержанные, как пленники, в наших стенах, чувствуют себя даже под замком, в стенах Крулевского замка, превосходно... О тех, кто может пользоваться свободой, ходить по улице, и речи нет... Несколько десятков тысяч русских в качестве обывателей, горожан, проживающих здесь, и не замечают разницы между прежними днями и настоящими. Разве только в том, что им живется и дышится вольнее, даже дешевле прежнего... И все это благодаря заботам нашего диктатора, конечно... Но этим же доказана и правда моих слов: мы не враги России. Мы — дети нашей отчизны и готовы отдать свою кровь за ее свободу и счастье. Мы хотим твердых гарантий для конституции Польши. Вот почему и бережем ее, по мере сил... Хотим, чтобы не силою одного человека охранялась она, хотя бы это и был наш герой, пан диктатор, равного которому нет в прошлых веках и не будет в грядущих... Мы решаемся желать, чтобы ряд людей, весь сейм, лучшие люди, избранные народом, — ведали дело земли... Начнется война. Пан диктатор, как генерал, пойдет туда, на поле славы, спасать родину... Кто же останется здесь?.. Особенно, если заранее не будут выбраны люди подготовленные, умудренные опытом народные правители, хотя бы и многие, но действующие заодно, под рукой и жезлом пана диктатора... Но он того не желает... Он диктатор. Да будет так, как он желает... И да спасет Бог нашу отчизну! — громким, потрясенным голосом закончил убийственные похвалы свои Лелевель.

Впечатление было очень сильное. Все молчали, как и сам тонко осмеянный, развенчанный Хлопицкий, багровый от сдержанного возмущения, от обиды, на которую даже нельзя было возражать.

Тогда поднялся и заговорил Немцевич.

Все словно ожили, обратились к старому бойцу за свободой Польши, ожидая, что он скажет. Наверное, еще усилит обвинения, так осторожно, но верно пущенные по адресу диктатора.

Негромко сначала прозвучала речь старого конфедерата, но крепили и росли ее звуки, как только первые фразы были сказаны, как только настоящее воодушевление охватило старика, привыкшего овладевать толпою.

— Рад, что так прямо и умно высказался пан профессор Лелевель. Еще больше рад, что мог быть свидетелем полного признания заслуг и личных достоинств нашего чтимого пана-диктатора, избранного представителями земли, получившего и всенародное признание на его месте... Это — все знают!.. Прав еще в одном отношении оратор. Он стоит за власть и силу народного парламента, желал бы, чтобы сейм ведал дела страны, насколько это позволяют настоящие исключительные обстоятельства... И я того желал бы... Но почтенный оратор забыл указать еще на одну опасность, грозящую родине и ее свободе.

Правда, порою диктаторы брали больше власти, чем им сначала было дано. Правда, они порою, подобно Цезарю и Бонапарту, становились императорами... Но кто был причиной этих переворотов? Не отсутствие сената или сейма, не властолюбие даже этих людей, взлетевших так высоко. Властолюбие слишком много в каждом мелком политикане, говорящем о свободе... Я не имею в виду личностей, уверяю профессора Лелевеля. Я говорю вообще... Катастрофа бывала вызвана именно слишком великим безначалием, которое вносили в дело свободы мелкие честолюбивцы, политиканы, основатели крошечных республик и держав, именуемых теперь политическими союзами и клубами... Да, прямо говорю: угнетателей свободы, тиранов создают неумеренные защитники излишних вольностей и безвластия, члены разных крайних партий и клубов... Да, да... Позвольте досказать, пан профессор, как слушали мы вас... Спасение вольной страны — в ее парламентах, сеймах; гибель — в кружках и клубах... какие бы благие цели ни ставили перед собой эти сообщества. Я не буду голословен и в нескольких словах докажу свое положение. Клубы — кружковщина всякая — порождает только разлад, кровавые стычки, братоубийственную войну, разжигая страсти, волнуя темные, полусознательные массы... Да, да... Вы, кто помо-

ложе, не помните славных дней Великой французской революции. Я пережил эти дни и теперь говорю. Знаете ли, кто погубил Францию-республику? Кто залил ее потоками крови, поставил на край гибели, нарушил внутренний порядок, обессилел ее перед внешними врагами? Клуб якобинцев. От его рук пали создатели французской вольности, отец свободы народной: Бальи, Мальерб, Кондорсэ, Верньо и тысячи иных, вместе с вожаками той же Горы, с кровожадным Робеспьером, жестоким Дантоном, изящным Сен-Жюстом и другими, чьи головы пали под ножом гильотины, столько лет служившим этим извергам словно детской забавой.

Мы, старики, помним еще, как разъяренные толпы якобинцев осаждали Народное Собрание в Париже и под угрозой смерти вырывали у представителей народа такие решения, толкали на такие шаги, которые прямо вели ко всеобщей гибели... Что же, и теперь в Польше должна повториться такая же трагедия? Нет, не надо этого. Пусть будет один человек пока, который сумеет побороть гидру безначалия и смуту партийной розни... Наши газеты принимают вызывающий тон, бросают обвинения, бездоказательные порою... Клеймят своих братьев, обвиняя чуть ли не в измене. И диктатор может, должен обуздать такую распущенность печати.

— Цензуры желает пан товарищ Косцюшки?

— Я не боюсь слов, пан профессор. Для спасения родины — даже цензуры... И потому — я тоже повторю: честь диктатору. Да спасет Бог нашу отчизну.

Удар, нанесенный Лелевелем власти диктатора, был смягчен, но не совсем отпарирован.

Пока варшавяне и варшавянки, успокоясь за грядущий день, веселились, плясали на святочных маскарадах, пели веселые песенки и злободневные куплеты, мешая их с грозными напевами военных маршей и патриотических гимнов, — вожди и магнаты делали свое дело.

Чарторыйский и Островский от имени объединенных патриотов явились к Хлопицкому и предложили ввиду предстоящей борьбы остаться только военачальником польской армии, которая во всей стране достигла уже почти 100 000 штыков при 200 орудиях. Но Хлопицкий упрямо отвечал:

— Я был бы подлец, если бы согласился изменить свое обещание, данное всенародно... Да и не верю в будущее, о котором вы говорите. Только власть единоличная может

сохранить порядок в Польше. А что касается отложения от России? Поживем — увидим, что из этого будет... Помоему, оно невозможно!

— Оно уже совершилось, генерал! — ответил Чарто-рыский. — Вы же не слепы. Теперь — не одна молодежь... Старики, ксендзы, женщины — все хотят видеть Польшу независимой и свободной... Смотрите!

Граф указал в окно. Из него видна была улица, здание Ратуши, где на большом плакате чернели крупно оттиснутые два стиха Мацкевича:

«Красуйся, зорька вольности, захваченная с бою!
Свободы солнце вечное — идет уж за тобою...»

— Вот священный клич нашей отчизны. Вот чего желает и ждет весь наш народ...

— Народ — шляхта? 300—400 тысяч человек, которые знают нас, которых мы признаем? А холопы... а миллионы темных людей, ютящихся по черным избам в лесах, среди болот?.. Чего они хотят? Что они знают? Нет, вы не заставите меня жить, закрывши глаза... Со-зывайте сейм. Все равно, если не сделаете того, я сложу свои полномочия...

— Погубите землю? Вы, поляк, сын своей земли?

— Нет. Говорил и повторяю: простым солдатом буду служить родине. Есть вожди... есть люди. Вот, Радзивилл... Скушинецкий... и другие. Я обещаю, что стану советом помогать им. Сам пойду сражаться, если надо...

— Ловим вас на слове, генерал, — подхватил Островский. — Вам переданы оба плана ведения войны, предстоящей неизбежно с Россией... Князь Любецкий пишет из Петербурга, что надо быть ко всему готовым... Он сам не может сейчас приехать...

— И не приедет никогда! Сбежал, как и наш храбрец Курпинский, как граф Красинский, Кемпинский и другие бельведерцы.

— Бог с ними... Скажите ваше мнение? Какой план лучше?

— Третий, мой!.. Примириться с императором Николаем, изъявить покорность и спасти Польшу от тяжких бед...

— Все это верно... но... теперь уже не время толковать о наших желаниях... Народ вступил в игру. Ему не внушите покорности... Все только и думают, что о борьбе. Итак, защищаться нам? Или нападать? Врезаться войсками

в Литву, в Волынь, где и народ, и большая часть войска — на нашей стороне... Пусть там с нами борется двуглавый орел, пусть там льется кровь... А не здесь... не на наших полях, где будет вытоптана последняя жатва, зарезаны последние кони и быки...

— Вы думаете, так случится? Полагаете, не хватит у двуглавого орла размаху и сюда послать сотни батальонов, пока все наше войско станет драться в чужой земле, оставя совсем без защиты свои поля и хаты?.. Недурной план...

— Так ваше мнение, генерал?..

— Только защищаться...

То же мнение провел Хлопицкий и в большом военном совете. Оно было уважено. Наступательный план генерала Хшановского — был отвергнут и остановились на плане защитном, выработанном генералом Прондзиньским.

Хлопицкий сложил с себя диктаторство, как только 19 (31) января 1831 г. возобновились заседания сейма под председательством Островского. По настоянию экс-диктатора главнокомандующим избрали князя Михаила Радзивилла. Хлопицкий согласился быть его советником.

В начале февраля, когда пришли вести, что русские войска, всего 114 000 человек при 340 орудиях по всей почти границе вступили в пределы Польши, Островский горячей речью выразил протест против этого вторжения и состоялась в сейме детронизация короля Николая. Еще раньше этих черных вестей, сеймом вновь было избрано народное правительство из 5 лиц. В него вошли: президент князь Чарторыский, члены — Немоевский, Лелевель, Баржиковский и Моравский.

Радзивилл сначала двинул войска навстречу Дибичу, чтобы остановить вторжение.

14 (26) февраля между Седлецом и Вислой состоялась первая встреча авангардов обеих армий.

Под Стоцком польские полки генерала Дверницкого вступили в бой с русскими войсками под начальством Гейсмера. Счастье сначала улыбнулось защитникам родины. Русские были разбиты, отступили поспешно, оставив немало пленных и 11 орудий в руках неприятеля.

Взрыв ликований потряс Варшаву, когда дошли туда первые вести об этой первой удаче.

— Счастливый знак подает пан Иезус своему народу! — толковали кругом.

Через пять дней в большой битве под Вавером, недалеко от самой Праги сошлись главные силы Дибича с корпусами Шембека и Жимирского. Исход этой битвы был нерешительным для обеих сторон... Силы оказались почти равны. Но все-таки русские двинули назад свои полки, ища соединения с подходящими ежедневно новыми дивизиями и корпусами...

Наконец, 24 февраля старого стиля разыгралась решительная битва при Грохове.

Радзивилл, гордый и набожный магнат, горячо молился перед боем в походной каплице, которая следовала за этим благочестивым генералом-вождем.

В жарком бою тяжело был ранен Хлопицкий, который не только явился советником Радзивилла, но и сам желал руководить какой-нибудь частью.

Когда осколком гранаты Хлопицкого ударило по обеим ногам и облитого кровью увезли его с поля битвы, Радзивилл растерялся совсем. Он то молился, то отдавал приказания, порою противоречащие одни другим...

Тяжелая, упорная битва кончилась поражением поляков.

Печаль, уныние воцарилось теперь в Варшаве... Не слышно музыки веселой и вызывающих песен.

Стягиваются постепенно к столице все силы военные, начали копать окопы на Праге и в других местах...

Отставлен набожный Радзивилл, только и знающий, что толковать о Промысле Божиим, о терпении. Главнокомандующим назначен Ян Скшинецкий, безумно храбрый в бою, но ограниченный, нерешительный по характеру человек. Порою и хорошие мысли приходят ему в голову. Но пока он соберется привести в исполнение задуманный план, обстоятельства меняются и его шаги оказываются запоздалыми, а порою и вредными для дела...

Рок повис над Польшей, как черная туча...

Не слышно прежних веселых напевов, прекратились танцы и пляски. Кокетливая пани Курпинская не убеждает, как прежде, со сцены юных полек:

Если сердце сильно бьется,
Если ждет любви момента, —
С подхорунжим пусть сольется,
С сердцем смелого студента...

Мало публики в садах и театрах. Все почти, даже старики, женщины, дети принимают участие в возведении

окопов, носят землю, таскают тачки. Дамы-аристократки, как сестры, работают рука об руку с простыми шляхтинками, с дочерьми народа...

Поются только гимны, военные марши, пробуждающие отвагу напевы...

Вот идет отряд добровольцев на возведение новых окопов и громко несется знакомый мотив, марш времен Косцюшки:

Песню воли запеваем вновь, вновь, вновь...
За свободу — проливаем кровь, кровь, кровь!..

Все уже и уже кольцо российских войск стягивается вокруг осажденной Варшавы... На защиту столицы, сердца страны, в ее стенах собраны почти все наличные силы крулевства: тысяч пятьдесят людей, пехоты, конницы и артиллеристов, да 130 орудий на всю оборонительную линию Варшавы, Праги и других предместий.

А для полного оборудования бастионов нужно около 450 орудий!..

Конница наполовину из ополченцев, или по-польски «рухавка»... И среди пехоты почти две трети нового состава вооружены одними косами, против русских, снабженных хорошими ружьями.

И хотя численность силы противников почти равны, перевес слишком на стороне осаждающих. Особенно сильна артиллерия у последних — до 350 орудий.

Теснее и теснее сжимается железное кольцо...

А там, на просторе литовских полей и в глуши волинских лесов, уже закончена борьба... Генерал Рыбинский с отрядами перешел прусскую границу и сложил оружие... То же сделал генерал Хлаповский, все время как будто щадивший и своих людей, и русские батальоны... Громко прозвучал выстрел поручика Скульского, когда он 13 июля убил из пистолета генерала Гелгуда, стоящего среди всего штаба на русской территории, куда увел этот генерал свой отряд...

— Изменнику смерть! — крикнул только этот самоchinный судья-юноша.

И выстрел, и крик этот разнесся по всей Польше, особенно отдался в Варшаве, где давно ходили толки про измену главных вождей армии.

Позван был даже на суд главнокомандующий, генерал Сквиинецкий.

26 июля собралась комиссия из пяти членов правления, из одиннадцати членов сейма, пополненная министром военным Моравским, начальником артиллерии полковником Бомом и генералами Томасом Любенским, Малаховским, Хшановским, Раморино, Прондзиньским, Серавским, Бонтан, Венгерским, Богуславским, Колачковским.

Но генералам не позволил говорить обвиняемый, который держал себя скорее, как обвинитель... Комедия суда кончилась тем, что перешла к обсуждению дальнейших планов обороны.

— Если все находят, что надо поставить на карту судьбу отчизны и сразиться с русскими в решительном бою, я готов. Одержу победу или положу свою голову! — с красивым жестом заявил вождь, всеми уличенный в целом ряде ошибок.

Это были только слова...

А дело шло все хуже и хуже...

Только один генерал Дембинский с остатками войск вернулся обходами в Варшаву, где его встретили восторженно и сейчас же сейм назначил его губернатором Варшавским...

В Варшаве шли лихорадочные приготовления к осаде...

Особенного уныния еще не замечалось, но толки ширились без конца. Особенно после одного странного события.

Среди первых сумерек угасающего дня весь небосвод с северной стороны вдруг озарился необыкновенным светом, и на нем среди легких туч показался большой огненный шар, вроде луны, только гораздо больше на вид...

Крики отчаяния зазвучали на улицах и площадях. Кто видел чудо, стал молиться, тут же падая ниц на землю, или кидался прочь, восклицая:

— Конец мира настал: луна падает на землю!..

Колокола тревожным набатом загудели повсюду, нагоняя еще больший страх.

Одни выбегали из домов, желая узнать, в чем дело. Другие спешили укрыться в стенах, в подвалах и погребах... Паника стала всеобщей...

Невиданный метеор пролетел полнеба, оставляя за собою широкий огнистый след, и исчез...

Но еще долго не могли успокоиться люди, видя в этом явлении Божий перст, угрозу перед карой небесной.

И не смолкали с тех пор речи, что за грехи ждет наказание весь польский народ: поражения, пролитие крови, чуму и гибель обещает этот кровавый метеор, пролетевший над Польшей...

— Слишком много измены среди нас! — толковали везде и всюду. — За изменников все земля должна понести кару... если мы раньше не уничтожим их сами...

Этот говор усилился после убийства Гелгуда... Принял широкие размеры после того, как Скшинецкий донес сейму, что даже к нему, к вождю польской армии дошло письмо от изменника Рожницкого, теперь укрывшегося в Петербурге. Ему, Скшинецкому, предлагал бывший прихлебатель Константина повлиять на сейм, устроить примирение с Россией, покориться Николаю...

Взрыв долго назревал... Газеты крайнего направления давали больше пищи брожению, называя по именам «изменников»... Клубы, особенно патриотический Лелевля и Мохнацкого, плодили недовольство... Дошло до того, что Народный Ржонд вынужден был арестовать главных «изменников», оглашенных всеобщей молвой.

Кроме генералов Гуртига, Салацкого, Янковского и Буковского, взяты были и женщины: пани Морхоцкая, Парисова, Бузанова и несколько других. Был арестован кондитер Лессли, роскошный магазин которого на Саксонской площади считался первым в Варшаве. Лессли был поставщиком Бельведера, другом Миттона, значит и теперь имел сношение с врагами народа...

Назначенное следствие не подтвердило обвинения. Но арестованных пока не выпускали на волю, может быть, опасаясь именно того, что скоро случилось... Но ни стены тюрьмы, в Королевском замке, ни крепкие замки и стража не спасли обреченных...

Все крайние партии давно были недовольны «умеренностью» народного правительства, пятиглавого «спящего Цербера», как называли сго.

Пущен был слух, что 18 (30) августа вернется в Варшаву Дембинский и тогда совершится переворот в пользу России: все настоящие патриоты будут схвачены, расстреляны и Польша вернется в прежнее рабство.

Чтобы отвлечь это, главари организаций с Мохнацким, Лелевелем, Хлендовицким и Чинским во главе, 14 (26) августа собрались в редакции «Dziennika Powszechnego», где и назначили на то же самое 18 (30) число вызвать народный

взрыв против «аристократов-предателей», захвативших власть у народа...

Но все разыгралось несколько иначе, чем ожидали сами зачинщики переворота.

Генерал Круковецкий, согласно распределению ролей, должен был находиться наготове перед замком, чтобы взять в руки начальство над армией. Лелевель, находясь в числе членов Народного Правления, имел полномочия стать главой гражданского управления страны...

15 (27) августа весь город находился в брожении. Газеты не вышли в свет...

Лавки были закрыты, так как ходили слухи о предстоящем народном смятении. По улицам носились офицеры верхом... Площадь Красинского чернела от толпы народа. К вечеру Народный театр, стоящий здесь, тоже был переполнен.

Давали «Фра-Дьяволо»... Уже самые театральные программы предвещали что-то недоброе.

На оборотной их стороне отпечатаны были две виселицы, на которых висели Чарторыйский и Скшинецкий.

Вдруг по данному знаку вся публика высыпала на площадь, смешалась с толпою, стоящей здесь, и все поспешили в соседние пустые помещения крепостных казарм... Там при тусклом мерцании нескольких свечей, воткнутых в горла пустых бутылок, состоялось бурное заседание членов Патриотического клуба под председательством Яна Чинского.

Здесь каждая речь жгла огнем...

Начал ксендз Пулавский, примкнувший к демократам-народникам, несмотря на свою сутану.

— Опомнитесь, поляки! — сразу начал громить оратор-ксендз. — Гибнет Польша, гибнет наша свобода, едва родившись в крови... Тонет она в слезах. Кто правит страною? Где те сильные духом, чистые сердцем, чьи слова ударяли бы в грудь народа, будили там мужество и силу?! Кто может обуздать раздор среди военных вождей? Кто направит силы армии на неприятеля, вместо того чтобы морить их в окопах или подставлять под пули врагов безответно, как овец под нож мясника?! Нет вождей, нет правителей... Пусть же дадут народу самому возможность сделать то, чего до сих пор не сделал сейм, не могли сделать вожди. Место и власть народу и его избранникам, а не шайке богачей-магнатов, готовых ради личной выгоды предать родину... Гибель предателям!.. Смерть изменникам!..

— Смерть изменникам народа и земли! — прокатилось по низким покоем, переполненным толпою.

Этот же клик вырвался на площадь, где стояли еще более густые толпы, и там повторялся долго-долго:

— Смерть изменникам!..

Заговорил Плужанский, один из соредакторов «Nowa Polska», органа патриотического клуба:

— Спасайте отчизну! — также сильно, нервно сразу заговорил он. — Братья, отчизна гибнет. Холера уносит столько жертв... Лучшие люди, защитники ваши, народ польский, пали от этого бича Божьего... Нет нашего редактора-товарища Людвика Жуковского... нет Козловского, народного трибуна... Унесен злым недугом советник и друг ваш Ильинский... Иностранцы врачи со всех концов Европы собираются на помощь полякам. А свое — польское — правительство? Что делает оно? Пирует, бездействует и... предаёт народ! Да, предаёт... Пробудитесь, поляки! Долой Скшинецкого, долой всех, кто вертел честным, но безвольным диктатором, смелым Хлопицким... Долой тех, кто выпустил из Варшавы предателя Любовицкого, да и многих других, кто сам заподозрен в измене делу земли, делу народа: долой Лубенского, Крисинского, Залусского... И Чарторьского долой, двуличного старика... Они не поняли духа народного. Не поняли той жажды справедливости и свободы, которая охватила нас. И проклятые тем, кто не имеет духу крикнуть: «Смерть изменникам!»

— Гибель предателям! — снова прогремело в залах. Снова эхом отдалось на площади, подхваченное тысячами голосов...

Заговорил Мохнацкий.

— Гибель изменникам... Либо — негодьям, ничтожным глупцам, севшим на места народных вождей! Как назвать иначе? Почему в руках этого генерала Скшинецкого гибнет польская свобода, гибнет Польша, все войско наше, равное войску, идущему на нас?! Сколько крови пролито... Сколько миллионов народных денег затрачено — и все бесплодно! Кто тому виною? Не столько даже братьев наших сложило голову в кровавых боях, сколько погибло от нужды, от холеры, от напрасной траты сил во время ненужных переходов с места на место... Помните Вавер и Дембы, Литву, Волынь, Подолию и Украину, где реяли наши знамена, где стояли наши полки с полками российскими. И что же? Мы вечно позорно от-

ступали... не по желанию солдат. Каждый из них — готов был сложить голову за отчизну. Начальники вели войско не вперед, а... назад, к Варшаве, словно указывая пути врагу. И он понял указания... Вся польская армия заперта на пространстве нескольких верст, внутри и вокруг Варшавы... Кто довел до этого ужаса? Почему генерал Сквишинецкий не исполнил прямого приказа сейма, не дал решительной битвы там далеко от столицы, на широких, свободных полях Мазовецких? Он позволил без выстрела занять лучшие позиции. Спасибо надо сказать ему за такой подвиг! Народ терпелив. Чужая сила, он верил, долго ждал... Но — столько печальных ошибок, столько позорных дел... Что же это? Самая черная измена портит все начинания, уничтожает последние усилия, какие делает измученный польский народ. Удача по воле Божией столько раз сама давалась нам в руки... и вместо того, чтобы пользоваться ею, наши «отцы отечества» только отталкивали ее, губили все! Чего же дальше ждать? Если не кары, то требую немедленного удаления от власти этих... бездарных, ничтожных... или, быть может, даже вероломных вождей, предателей земли и народа. Гибель предателям!

Видя, что настроение поднято до надлежащей степени, руководители и вожаки выбрали тут же депутацию из нескольких человек, в которую вошли и ораторы этого вечера: Чинский, Бонский, Плужанский.

За ними к палацу Радзивилла, где заседало теперь Народное Правительство, потянулась и вся толпа.

По пути она росла. Клики раздавались из нее:

— За нами, за нами, люди! Идем говорить с Ржондом... Мы желаем добиться правды и справедливости от этих аристократов-бездельников!..

На Замковой площади к толпе пристали военные, офицеры, народные гвардейцы...

Часть осталась здесь, у памятника-колонны круля Жигимонта, большая половина докатилась до палаца Радзивилла, где сейчас шло вечернее заседание Ржонда.

Услышав шум набегающей толпы, несколько членов Ржонда вышло навстречу делегатам и долго уговаривало их и толпу успокоиться, чтобы не поднять междоусобной резни.

Депутаты словно сдались на уговоры... И только, оглядевшись, перекинулись взглядами с Лелевелем, который в эти минуты стоял далеко в стороне, в тени колонн залы.

Вышли на площадь депутаты. Немедленно вызван был в заседание Ржонда генерал Венгерский, губернатор Варшавы.

— Силой или лаской, но рассейте толпы на Замковой площади, генерал. Иначе дело кончится плохо! — объявили ему правители. Чарторыйский особенно настаивал на решительных мерах.

Венгерский отправился исполнить приказание. Чарторыйский сел в карету и сам поехал на Замковую площадь в надежде уговорить толпы, усмирить «рокош».

Едва отъехал Чарторыйский, как толпы, стоящие перед палацом Радзивиллов, увидели на одном из каменных львов, стоящих у лестницы палаца, фигуру, делающую знаки руками и кричащую что-то толпе. Это был военный лекарь Бравацкий.

Толпа, шумящая и взволнованная, стихла, желая узнать, что ей скажут...

— Поляки, вас обманывали до этих пор и теперь хотят обмануть, посмеяться над нами. Мало того: хотят пролить нашу кровь. Я сейчас узнал: лакей Ржонда Венгерский послан за войсками. Наших братьев на Крулевском плацу хотят перерезать, перестрелять, как собак. Позволим ли это?.. Довольно измены! Встанем грудью за нашу отчизну, за наших братьев и детей. Гибель изменникам!

Негодующая толпа всей массой ринулась к Замковой площади.

Войск еще не было. Но когда толпа, не утратившая народной гвардии, которая сторожила замок, кинулась к воротам и стала их громить топорами, заступами, ломami, когда из толпы грянуло несколько пистолетных выстрелов, — из замка, из бойниц и окон его грянул дружный залп.

Несколько человек повалилось со стонами.

— Наших бьют! Убивают народ польский! Заступитесь, кто в Бога верует! — раздались крики толпы, которая сперва шарахнулась во все стороны, но сейчас же снова скипелась клубом.

Вдруг на площади показался в мундире генерал Круковецкий, давнишний соперник Скушинецкого.

— Да здравствует Круковецкий, генерал-губернатор Варшавы! — понеслись со всех сторон бурные крики.

В эту минуту на краю площади зазвучала боевая труба. Окруженный конницей, показался Венгерский и стал пробираться к воротам замка для его защиты.

— Прочь Венгерского! Прочь предателя!

Венгерский, не подумав, приказал раскрыть ворота замка, чтобы укрыть свой отряд во дворе замка. Но за рядами солдат прорвался и народ, залил весь двор, заполнил покои замка.

Шум, грохот, выстрелы, крики понеслись кругом...

Были разысканы в их кельях все арестованные здесь «предатели»: Янковский, Луковский, Гуртиг, нелюбимый особенно за то, что он был свирепым тюремщиком Лукасиньского. Схвачен и невинный ни в чем генерал — старик Салацкий...

Пока из соседнего палаца Примасовского явились войска, чтобы вытеснить из замка разъяренную толпу, она успела расправиться с генералами, искрошив их палашами, исколов штыками... Также погибли: шамбелян Феншо, советник Бентковский, панни Бузанова и несколько других узников. Трупы их потащили по лестницам замка, выволокли на улицу и повесили на фонарях.

Пролитая кровь опьянила озверевших людей.

— Пойдем Чарторыского искать! — крикнул шляхтич Корытко.

— Дурак! Безумец! — раздались окрики. — Чарторыский хотя и магнат, но истый патриот, добрый поляк. А мы таких не вешаем!

— Шпионов искать и вешать идем! — предложил шинкарь Юзеф Чарнецкий.

— Шпионов! — резким голосом выкрикнула Теофилия Косцеловская, служанка из кофейни, озлобленная против шпионов, срывающих поборы везде и всюду.

Толпа подхватила крик...

Все двинулись к тюрьме, к зданию прежнего Францисканского монастыря.

По пути увидели окна кондитерской Лессли.

— Вот гнездо предателя... Разнесем его...

Вмиг ворвались в кондитерскую эти одичалые, шумящие толпы. Разбили, уничтожили обстановку, разграбили все, что можно было унести — и дальше двинулись.

Вот и тюрьма... Здесь вытащили из келий всех, кто сидел по подозрению в шпионстве, в службе прежнему русскому правительству. На дворе заседал самозванный суд. Поодиночке подводили бледных, трясущихся шпионов, известных давно Варшаве. Макрот, Бирнбаум, Шлей, Грюнберг, Шимановский — все они нашли свой конец, или в петле, корчась на фонарях, или упали изрублен-

ные, избитые толпой. Убили Петриковского и Лубе... Заодно — замучили на Долгой улице, почти под окнами Лелевеля двух русских военнопленных: Ганкевича и барона Кетлера.

Страшная это была ночь! Люди озверели, стали хуже зверей...

Опасаясь народной расправы за прежнюю дружбу с русскими, князь Адам Чарторыйский в крестьянском наряде пробрался к войскам, защищающим Варшаву от наступающего неприятеля. А через несколько дней, видя близкую гибель общего дела, уехал в Париж, где стал во главе целой польской колонии беглецов и только в 1861 году умер там же, в отеле Ламбер, девяностолетним стариком.

В Варшаве после вышеописанной страшной ночи произошли большие перемены.

Вместо бежавшего князя Адама — генерал Круковецкий, как избранник народа, занял место председателя Народного Правительства. Непримирымый Немоевский был назначен губернатором столицы, генерал Казимир Малаховский заменил неудачника Дембинского в звании вождя всей армии польской. Генерал-губернатором был избран Войцех Хшановский.

Опираясь на поддержку всех влиятельных партий, новое правительство прежде всего постаралось задержать коноводов, подстрекнувших народные толпы к жестокой расправе, которая, конечно, ложилась темным пятном на всю нацию и даже породила несочувствие среди западных соседей, до последней минуты так чутко и сочувственно откликавшихся на освободительное движение, охватившее Польшу.

Два дня всего длилось следствие и военный суд, постановивший свой приговор не менее суровый, чем те жестокости, какие позволила себе толпа.

Отставной солдат Чарнецкий, шинкарь Драгонский, денщик Сикорский и неизвестного звания человек, по имени Вольский — стали у стены... Грянул залп... и правосудие, или возмездие, вернее сказать, свершилось!

Эти четыре человека, может быть, виновные менее, чем многие другие, явились искупительной жертвой за грозную ночь преступлений и крови...

Из остальных 40—50 схваченных «коноводов» — Косциловская на три года заключена в тюрьму, два ксендза: Пулавский и Шинглярский, несколько чиновников, тор-

гашей, мещан — отпущены на свободу по отсутствию прямых уликов.

Так закончился первый и последний взрыв народного безумия в осажденном городе.

Затем события быстро покатались своей чередой¹!

Здесь в нескольких словах остается сказать: что произошло с этой минуты до окончательного падения Варшавы, а, значит, и всего восстания, до печального дня 13 сентября 1831 года.

Непосильная борьба не лишила бодрости обитателей Варшавы. Никто не желал сдаться добровольно. Мужчины, до последнего, стали в ряды...

Женщины лежали, распростершись ниц в храмах, которые теперь не закрывались ни день, ни ночь... Все, даже старики и дети, работали над укреплением окопов, носили землю, возили тачки, ухаживали за больными и ранеными.

Последние гроши несли варшавяне на общее дело, когда истощилась казна.

Польки продавали свои последние драгоценности... Евреи, наравне со всеми, отдали все серебряные вещи, какие были в домах, золотые дукаты и украшения своих жен и дочерей...

Но никакие жертвы не помогали. Защитники города гибли. Силы обороны таяли с каждым днем. Все теснее и теснее сжималось кольцо осады. Голод показал уже свое бледное, наводящее ужас лицо, глядел незрячими впадинами глаз из всех углов...

Печально звучат колокола, провожая бесконечные вереницы гробов своим размеренным, щемящим сердце звуком:

— День настал!.. День настал!..

Так, слышится, вызванивают похоронные колокола. И не только эти трупы хоронит народ... Вольность свою хоронит с последними борцами народа!

Без конца звучат гимны и патриотические напевы на площадях... Шелест молитв и потрясающие рыдания звучат в костелах. Тут же рядом глухие проклятия несутся со

¹ Особая историческая повесть, которая выйдет вслед за настоящей хроникой, только и может вместить все переживания осажденного города, все яркие моменты боев здесь, под Варшавой, и на пространстве всей Польши, светлый проблеск надежд и взрывы отчаяния... Словом все, что развернулось в Польше за вышеупомянутый «черный год»...

всех сторон, прорезая печальные напевы и душу щемящий перезвон похоронных колоколов.

У тех, кто менее кроток и терпелив, сжимаются руки и звучат проклятия... ропот и жалобы на Судьбу, на Бога, на целый мир!

Всем стало ясно: конец недалек.

А в стенах парламента, на последних бурных заседаниях последнего польского сейма — звучат еще слова надежды, несутся громкие призывы, слышны пламенные речи...

Там вдруг поднимается пан депутат Шанецкий и говорит:

— Мы гибнем, граждане. Сил нет отразить удары. Но не все еще потеряно. Жив Бог наш — и может возродиться дорогая отчизна! Слушайте меня. Последуем примеру знаменитого четырехлетнего сейма, ознаменуем наш сейм резолюцией столь же славной и благородной: раз и навсегда уничтожим последний отголосок, пережиток феодализма: отменим барщину!

— Эта реформа поставит сразу Польшу на уровень общеевропейской культуры, выведет ее на путь истинной свободы и благоденствия. Сделаем это, граждане, — и мы сразу поднимем миллион сильных крестьянских рук на защиту родной страны! Миллион свободных земледельцев мы создадим в нашем краю! Миллионом свободных граждан усилим народное представительство, потому что миллиону вольных людей дадим политические права. Вся будущность страны и достоинство польского народа зависит от правильного решения этого вопроса. Война, лежащая бременем на одной шляхте, станет тогда «всенародной» — и мы победим!..

— Но если бы даже народ наш и после этого шага вынужден был подчиниться, — и тогда раскрепощение от рабского труда будет иметь благотворное влияние на судьбу нашу.

— Реформа эта останется вечным памятником, говорящим о преуспевании, развитии, о духовном величии польского народа!

Умолк благородный патриот, прозорливый гражданин-политик. И все молчало кругом. Не был услышан этот «плач Кассандры»... Надеюсь сам на себя, а, может быть, не надеюсь уж больше ни на что! — «народ-шляхта» вел за свой счет последнюю, упорную, непосильную борьбу.

Всего восемь месяцев тянулась еще она.

Скоропостижно, загадочно умер Дибич 29 мая 1831 года. Его немедленно заменил граф Паскевич-Эриванский, еще помнящий пророчество Милорадовича о «будущем штурме Варшавы...»

Окончательно отрезал новый главнокомандующий русских сил осажденный город от остального мира.

Гибнут варшавяне на линии окопов... Болезни, нужда, голод уносят больше даже, чем пули и штыки, чем осколки ядер...

Но дух бодр в осужденных на гибель... Они еще находят сил собираться в толпы, петь воинственные гимны, веселые народные напевы звучат порой, театры полны. Там — даются патриотические пьесы, там актеры — порою братаются с зрителями, напевают патриотическую песнь и восклицают:

— Да живет отчизна!.. Умрем за нее, но не сдадимся...

Увы, день сдачи все ближе и ближе.

Еще 5 (17) сентября Варшава жила обычной жизнью, словно надеясь на что-то. Но это были уже последние часы!

Выходя из театров, люди слышали гулкие удары осадных орудий, волнующий треск частых ружейных залпов.

А на другой день начался решительный штурм.

300 орудий гремело, принося разрушение и смерть осажденному городу.

Войско польское, отражающее бесконечные атаки русских отрядов, наконец изнемогая окончательно, вынуждено было к сдаче...

Редут Ордона вылетел на воздух... Люди — перебиты или взяты в плен...

Широкие ворота открылись врагу для вступления в Варшаву...

Последний номер «Nowa Polska», вышедший 6 (18) сентября, № 240-й, — еще призывал к оружию сограждан... Статьи его были полны отвагой и надеждой. А в это же время — ключи от ворот разгромленного города были принесены и сданы победителю!

8 (20) сентября польские отряды покинули Варшаву, и Паскевич со своими полками вошел в покоренный город, предместья и форты которого еще дымились, разгромленные огнем 300 орудий...

Уж головные отряды русских колонн вступали в Прагу, когда там под открытым небом мгновенно составилось но-

вое министерство: незаменимый Лелевель, Шанецкий, Бернацкий, Свирский, Малаховский и Круковецкий...

Великий князь Михаил, состоящий все время в русской армии, приняв депутацию, проехал со свитой по всему городу прямо в дворец бывшего наместника.

Паскевич со своим штабом остановится в Бельведере.

Затихло, как в могиле, в веселой столице сарматов, в шумной, кипучей Варшаве. Новые хозяева, новые порядки везде и во всем...

Тихо стало в столице... После нескольких слабых, отчаянных вспышек сопротивления победителям, тихо стало и во всем царстве.

Бывший диктатор народа, Хлопицкий, раненый в обе ноги еще в сражении под Гроховым, удалился в добровольное изгнание, хирея в бездействии и тишине.

— *Finis Poloniae!* — шептали порою его бледные губы...

Глава III

ПОСЛЕДНИЙ ПЕРЕХОД

(Вместо эпилога)

Сочи все радости, что на житейском пире
Из чаши Счастья пришлось тебе испить.
Увидишь сам: чем ни был ты в сем мире?
Есть нечто более отрадное: не быть!

Лорд Байрон

— Вот и отдых, наконец!..

Взглянем теперь, что произошло с главным действующим лицом этой правдивой повести, грозной печальной пьесы, разыгранной Роком — на глазах у целого мира.

Отступив из Варшавы на Гуру, на Пулавы, без всяких помех подвигался цесаревич к русской границе, куда и пришел скоро со всем своим отрядом.

Тяжелы казались эти переходы в стужу, порою без провианта для людей, без корму для коней...

Так возвращается на родину изгнанный из Польши бывший ее полновластный хозяин, когда-то наследник стольких корон!

Блестящим, сверкающим сном разворачиваются перед ним порою прошлые дни.

А теперь?..

Избегает взглянуть на жену Константин. Сколько лишений безропотно, твердо выносит эта кроткая, святая женщина?! Всего три рубахи насчитывается сейчас в гардеробе светлейшей княгини Лович. И остального не больше!

Но не жалуется, молчит гордая женщина, всегда спокойна. Даже старается влить бодрость в мужа, который совсем пал духом.

Свежий воздух, движение, подъем нервов совершили чудо: упорная болезнь княгини, которую не могли облегчить лучшие врачи Европы, словно испугалась лагерной, тяжелой жизни и оставила свою хрупкую жертву. Поправилась княгиня, пополнела. Желудок, тело, голова все поздоровело. Это немного утешает мужа. Но еще столько есть горького, что осилить не хватает возможности...

Вот и граница пройдена.

До Витебска по белорусскому тракту добрался Константин.

Здесь в июле 1831 года и остановился он на отдых в доме генерал-губернатора, князя Хованского.

Но и отсюда гонит судьба. Долго оставаться опасно. Холера свирепствует в городе и кругом, особенно среди войск, которые здесь на постое.

Странное и страшное совпадение смутило душу цесаревичу, как смутило оно многих других.

Явился к главнокомандующему Дибичу флигель-адъютант Николая, граф Алексей Федорович Орлов, объявил волю государя: сдать команду Паскевичу, так как действия Дибича показались не достаточно энергичными в Петербурге...

Исполнил приказ огорченный генерал. А через день его не стало...

— От молниеносной холеры скончался в несколько часов! — объявили всем.

Не верят почему-то люди, угрюмо покачивают головой.

— Мир праху храброго воина! — молитвенно отозвался Константин, когда дошла до него весть. — Не берегся старый боец, жил близко к солдатам своим... Вот и поплатился!

Однако заволновался цесаревич, объявил что выезжает немедленно в Петербург. Не ради себя, ради жены. Там легче уберечь ее от заразы...

Но сам мало бережет себя Константин. Даже плохо слушает советов княгини и своих врачей.

— Мне не нужно мое здоровье теперь... Для чего оно? — повторяет нередко цесаревич. — Только вот ее жаль... А то бы я и сам...

Не досказав, умолкает угрюмо.

Но когда тут же, в Витебске, почуял, что нездоровится ему на самом деле, заторопился, только и твердит:

— В Петербург едем скорее, мой друг! Не надо мешкать, княгиня. Там и врачи хорошие, и все... Да и тебе там будет безопаснее... Особенно, если я...

Смолк. Собирались стали в путь.

Но нездоровье быстро усиливается, как ни борется с ним крепкий еще телом Константин.

Неожиданно и сюда примчался граф Орлов, прозванный «черным вестником» после внезапной кончины Дибича.

— Государь узнал о намерении вашего высочества поспешить в столицу. Но по его мнению — сдача Варшавы близка. Его величеству желательно было бы, чтобы ваше высочество первый вошли в покоренный город, как бы для возмездия, для устрашения тем, кто посмел восстать против вашего высочества и самого государя нашего... Так мне поручено сказать!

Говорит Орлов, а сам глядит на Константина. И больно ему видеть печать смерти на этом лице.

Хотя и не сдается болезни цесаревич, на ногах еще, но едва крепится...

Однако слова «черного вестника» как будто силы придали Константину.

Почти гневно заговорил он:

— Я здесь не останусь. Повезу княгиню в столицу. А там поглядим. В Варшаву я не вернусь больше никогда! Так и передать прошу. Дай Бог и отсюда ноги унести. Так передайте бра... его величеству. Жены я ни под каким видом одной не оставляю. Это мое неотменное решение, на которое я имею право. Так и передать извольте его... величеству!.. Я не мальчик! Полвека служу верой, правдой! Я... Вот-с! Я сказал... Вы так...

— Не горячись, мой друг! Вредно тебе! — молит княгиня.

— И не думаю я... Только зачем раздражают меня, дразнят, как... Мне тошно и без того.

Пожал молча плечами граф Орлов, откланялся. Уехал.

— «Черный вестник»! Мертвечину почуял! — ворчит Константин. А сам бледный, без сил почти валится в кресло.

Успокаивает его жена, дает лекарство. Плохо ему совсем.

Ночь наступила, последняя, долгая ночь...

На рассвете — все собрались к умирающему.

Стонет в бреду Константин. Сразу осунулся, исхудал ужасно... Не узнать его.

— Скорей, скорее... собирайтесь... Едем! — протяжно повторяет он. — Тут — смерть! Скорее... тут отравят! Последний только переход остался... Последний... Домой, скорее...

Бледна стоит княгиня, даже слез нет у нее на глазах. Кругом все молчат, потрясенные: врач, Поль, Курута... все, кто мог войти в этот покой муки и смерти.

Стонет, мечется умирающий... Не хочет это большое, мощное тело расстаться с жизнью... трепещет. Руки — ловят что-то... Воздуху не могут набрать запекшиеся губы.

Вот затих. Наступило минутное облегчение.

— Жена... ты здесь?.. Не вижу!.. Руку дай... В Петербург скорее... Я умираю. Да, да, не спорь! Уезжай, как только умру... А там... скажи брату: умирая, молю его... простить поляков... не карать их... Про...

Снова судороги, жестокие муки потрясли больного...

Не приходя в сознание больше, так он и затих.

В 7 часов 30 минут вечера 15 июля 1831 года — Константина не стало.

Не долго пережила его княгиня Лович.

Поселясь в Петербурге в Царскосельском дворце, где царская семья радушно приняла в свой круг вдову цесаревича, — тихо угасала княгиня, никому не жалуясь, только по-старому в молитве находя утешение.

Через четыре месяца после кончины мужа, 17 (20) ноября в 2 часа утра она незаметно скончалась, словно уснула.

В Царском сале, в костеле св. Иоанна Крестителя схоронили прах Иоанны Грудзинской, княгини Лович.

Поль был также обласкан государем, особенно, когда остался круглым сиротой.

Назначенный флигель-адъютантом, он женился, умер в преклонных годах, но мужского потомства не имел.

Так прекратился род младшего внука Екатерины Второй, который не только не оставил после себя мировой памяти, но даже умер, окутанный тенью печали и забвенья людского...

Мы встретимся еще и с цесаревичем, как и с другими лицами, деяния которых правдиво описаны на страницах нашей повести, когда выйдет книга об «Осажденной Варшаве».

Между ночью бегства из Бельведера и смертью цесаревича, конечно, ему пришлось пережить много тяжелого и опасного...

Но здесь пришлось изобразить только «последний переход» Константина из этой бурной, земной жизни в иную, совсем неизвестную.

Мир ему и всем, кто на земле боролся и страдал!

СОДЕРЖАНИЕ

ЦЕСАРЕВИЧ КОНСТАНТИН

(В стенах Варшавы)

Роман-хроника

<i>От автора</i>	7
Часть I. Некоронованный круль (1814—1820 гг.)	11
Часть II. На дремлющем вулкане (1818—1821 гг.)	205
Часть III. Черные дни	303
Часть IV. Пути гибели	485

ЛЕВ ЖДАНОВ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ

ТОМ 5

Редактор *Т. Прокопов*
Художественный редактор *И. Сайко*
Технический редактор *Г. Шитова*
Корректоры
В. Антонова, М. Александрова,
В. Рейбекель

ЛР № 030129 от 02.10.91 г. Подписано в печать 3.02.95. Формат 84 X 108 1/32. Бумага тип. № 2. Печать высокая. Усл. печ. л. 32,76. Уч.-изд. л. 36,83. Тираж 23 000 экз. Заказ 129

Издательский центр «ТЕРРА». 109280
Москва, Автозаводская, 10, а/я 73.

Оригинал-макет и диапозитивы подготовлены ТОО «Макет». 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Первомайская, 21.

Отпечатано с готовых диапозитивов в АООТ «Ярославский полиграфкомбинат». 150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.

Scan Kreyder - 27.06.2018 - STERLITAMAK





Лев Жданов (1864—1951) — автор интереснейших исторических романов. Его произведения пользовались огромной популярностью в начале века. К сожалению, современный читатель мало знаком с блистательными романами Л. Жданова, мудрого и талантливое писателя. В собрание сочинений вошли лучшие, на наш взгляд, романы и повести, посвященные прошлому нашего отечества.

- Том I. Царь Иоанн Грозный. Историческая хроника в двух романах.
- Том II. Стрельцы у трона. Историческая хроника. Венчанные затворницы. Историческая повесть-хроника.
- Том III. Во дни смуты. Историческая повесть. Былые дни Сибири. Роман-хроника.
- Том IV. Последний фаворит (Екатерина и Зубов). Роман-хроника. В сетях интриги (Два потока). Исторический роман. Крушение богов. Роман-хроника.
- Том V. Цесаревич Константин (В стенах Варшавы). Роман-хроника.
- Том VI. Осажденная Варшава. Роман-хроника. Сгинула Польша! (Finis Poloniae!). Роман-хроника.

ЛЕВ
ЖДАНОВ

5



ЛЕВ
ЖДАНОВ

